А. М. РЕМИЗОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ЗГА



А. М. РЕМИЗОВ
ЗГА





А. М. Ремизов. Фотография. Петроград. 1915 г.
РО ИРЛИ. Публикуется впервые

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

А. М. РЕМИЗОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ЗГА



Санкт-Петербург
2015

УДК 821.161.1-32-34
ББК 84.3(2Рос=Рус)1
Р38

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Издание подготовлено при содействии
Е. Д. Резникова, А. Д. Резникова

Подготовка текстов «Неуемный бубен», «Странница», комментарии *А. М. Грачевой*

Подготовка текстов «Зга», «Шумы города» («Голодная песня», «Современные легенды», «Одушевленные предметы»), комментарии *В. Н. Быстрова*

Подготовка текста «Шумы города» («Семидневец», «Сказки»), комментарии *О. А. Линдеберг*

Подготовка текстов «Золотое подорожие», «О судьбе огненной», «Электрон», «Корявка», «По карнизам», комментарии, статья *Е. Р. Обатниной*

Научный редактор тома *А. М. Грачева*

Ремизов А. М.

Р38 Зга. Собрание сочинений. Т. 11. — СПб.: ООО «Издательство «Росток», 2015. — 790 с.

Книга «Зга» (Одиннадцатый том Собрания сочинений А. М. Ремизова) включает повести «Неуемный бубен», «Странница», «По карнизам», циклы рассказов «Зга», «Шумы города», произведения экспериментальных жанров «О судьбе огненной», «Электрон» и др. Мифология, фантастика и эсхатология сочетаются в них с изображением роковых катаклизмов русской истории и с историософскими размышлениями о судьбе России. Большинство текстов научно издается впервые после первой публикации в начале XX в.

ISBN 978-5-94668-159-9
ISBN 978-5-94668-160-5 (т. 11)



ОТ РЕДАКЦИИ

Собрание сочинений Алексея Михайловича Ремизова (1877—1957), выпускаемое Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук, является первым посмертным Собранием сочинений классика русской литературы XX века.

А. М. Ремизов сам определил ряд базовых эдиционных принципов публикации своих сочинений. Восьмитомное собрание, подготовленное писателем для издательства «Шиповник» (СПб., [1910—1912]) и повторенное в издательстве «Сирин» (СПб., 1910—1912), было основано на сочетании жанрово-хронологического принципа с системным подходом — сохранением по мере возможности принципа циклизации текстов. Публикуемые произведения были откорректированы самим автором, избавлены от ошибок предыдущих изданий. Тексты подвергались значительной правке, итогом которой явилось создание новых редакций, семантически и стилистически отличных от первоначальных. Впоследствии Ремизов отказался от ряда редакций Собрания сочинений 1910-х годов. После 1912 г. писатель публиковал свои произведения в периодике и отдельными книгами. Как известно, после революции 1917 г. судьба привела Ремизова в эмиграцию. За границей он продолжал активно печататься в периодике, опубликовал несколько книг, но с 1931 по 1949 год издание его книг полностью прекратилось. С 1949 по 1957 год выходили малообъемные и малотиражные издания. В связи с этим ремизовские законченные произведения большой эпической формы («Подстриженными глазами», «Плачужная канава», «Учитель музыки», «Иверень», «В розовом блеске», «Петербургский буерак») печатались в периодике только частями и главами, а пять последних так и не были целиком опубликованы при жизни писателя.

Рукописи большинства произведений, созданных Ремизовым до отъезда за границу в 1921 году, не сохранились, так как уничтожались самим писателем. Незначительная часть руко-

писей и корректур этого периода находится в рукописных отделах Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Российского государственного архива литературы и искусства, Российской национальной библиотеки, Государственного Литературного музея, Российской государственной библиотеки. Рукописи и корректуры произведений периода 1921—1957 годов сохранились более полно как в российских (ИРЛИ РАН, РГАЛИ, РГБ, ГЛМ), так и в иностранных архивохранилищах (Центр Русской культуры Амхерст-колледжа (США), Бахметевский архив Колумбийского университета (США) и др.) и в частных собраниях в России и за границей. Значительным событием для национальной культуры в целом, а также для исследования и издания наследия Ремизова стало осуществленное в 2013 году приобретение Россией значительного по объему архива писателя, хранившегося во Франции (Собрание семьи Резниковых), и передача его в ГЛМ. В настоящее время основные части ремизовского личного архива, включающего творческие рукописи, находятся в России (ИРЛИ РАН, ГЛМ, РГАЛИ, РГБ, РНБ) и в Америке (Центр Русской культуры Амхерст-колледжа, Бахметевский архив Колумбийского университета). Подобная разъединенность архива повлекла за собой рассредоточение черновиков одного произведения по разным частям света. Все это, учитывая в том числе специфику литературной работы писателя, создававшего до семи редакций одного и того же произведения, не позволяет на современном уровне изучения творчества Ремизова предпринимать труд по созданию академического полного Собрания сочинений. Коллектив участников настоящего Собрания сознательно не ставил перед собой подобной научной задачи, рассматривая данное издание как предваряющее последующий этап — подготовку полного академического Собрания сочинений Ремизова.

В период с 2000 по 2003 г. на базе издательства «Русская книга» вышло 10 томов Собрания сочинений Ремизова*. Научный коллектив, обеспечивший эффективность осуществления данного научного проекта, составили высококвалифицированные специалисты по творчеству А. М. Ремизова из ИРЛИ РАН

* *Ремизов А. М.* Собрание сочинений: В 10 т. М.: Русская книга, 2000—2003.

(А. М. Грачева, И. Ф. Данилова, А. В. Лавров, О. А. Линдеберг, Е. Р. Обатнина), а также привлеченные к участию в Собрании ученые из Италии (Антонелла Д'Амелия, университет Салерно), США (О. П. Раевская-Хьюз, университет Беркли) и Эстонии (А. А. Данилевский, Тартуский университет). Количество томов, составивших корпус Собрания сочинений, выпущенного в 2000—2003 годах, — 10 томов — было априорно задано издательством «Русская книга», исходившим из своего проекта по публикации наследия русских классиков XX века. В связи с этим в целях дать читателям в рамках изначально ограниченного объема Собрания сочинений максимальное количество текстов Ремизова авторы издания сознательно пошли на непоследовательность подачи материала. Зачастую текст ремизовского, используя термин академика Д. С. Лихачева, «жанра-ансамбля» представляет собой художественное целое, смонтированное из частей — произведений малых жанров, неоднократно повторяющихся в составе разных сборников и циклов. В подобных случаях составители не воспроизводили сборники или циклы целиком, а представляли читателям составляющие их тексты в хронологическом порядке, указывая в комментарии на последовательность их вхождения в состав того или иного «жанра-ансамбля». В конце томов такого состава приведены перечни содержания отдельных сборников и циклов (см.: Том 2. Докука и балагурье. М., 2000; Том 3. Оказион. М., 2000).

Несмотря на применение аналитических способов подачи сложных по жанровому составу текстов с повторяющимися в них малыми жанровыми формами и максимальное использование допустимого объема предустановленного количества томов, ряд важных художественных произведений Ремизова по вышеуказанным причинам не вошел в состав Собрания сочинений 2000—2003 годов. Среди подобных лакун оказались: произведение большой новаторской жанровой формы «В розовом блеске»; книги экспериментальной формы «Россия в письменах», «Пляшущий демон», «Два серпа» и др.; все драматические произведения («Бесовское действо», «Трагедия о Иуде принце Искариотском», «Действо о Георгии Храбром» и др.); сборники статей и эссе («Крашеные рыла́», «Мерлог» и др.), а также ряд повестей («Неуемный бубен», «Странница», «По карнизам» и др.), рассказов, легенд и сказок 1910—1950-х гг.

Предлагаемая вниманию читателей книга открывает этап продолжения издания Собрания сочинений А. М. Ремизова, начатого десятитомником 2000—2003 года.

Настоящее Собрание сочинений основано на тех же научных принципах. Его цель — представить свод произведений писателя, дать как широкому кругу читателей, так и исследователям выверенные и прокомментированные тексты.

Последовательность размещения материалов в каждом томе такова: тексты произведений, послесловие, комментарий.

Произведения располагаются по томам в жанрово-хронологическом порядке. При этом учтены разработанные самим Ремизовым принципы публикации своих произведений и специфики эстетической системы его творчества — «жанрово-ансамблевый» характер ремизовского художественного мышления, когда автор рассматривал текст цикла произведений или сборника (книги) как особый «жанр-ансамбль». Например, только в 1929 г. Ремизов соединил воедино комплекс рассказов о дихотомии в реальности обыденного и фантастического в единую художественную структуру — книгу «Зга. Волшебные рассказы». Таким же по типу экспериментальным жанровым образованием является сборник «Шумы города» (1921) — один из «протографов» романа-коллажа «Взвихренная Русь» (1927). В настоящем издании отдельные произведения, вошедшие в «жанр-ансамбль», печатаются в составе такого художественного единства. Поскольку Собрание сочинений не является академическим, в нем не ставится задача раскрыть во всей полноте творческую историю текстов произведений, принадлежащих как к «каноническим» жанрам, так и к «жанру-ансамблю».

В результате научного исследования произведений Ремизова было установлено, что представление автора о процессе художественного воплощения творческого замысла не соответствует идее однонаправленного развития текста от первоначальной редакции к последней, которая является основным текстом. В применении к творчеству Ремизова определение редакций, основанное на хронологическом принципе (I-я, II-я, III-я) — условно. Это фиксация лишь временной последовательности создания текста. Но такая последовательность неравноценна движению текста к основному в классическом понимании этого термина — как к наиболее полному, «лучшему» и законченному

отражению авторского замысла. Ремизовские редакции — проявление бесконечного процесса творчества. Каждая из них — автономна и эстетически равноценна. В художественном сознании писателя отсутствует понятие «основной текст» в традиционном понимании. Новая редакция раннего текста — это новое самодостаточное произведение, не перечеркивающее и не отвергающее предыдущего. В свете вышесказанного о дореволюционном этапе творчества Ремизова можно говорить, основываясь на редакциях, созданных именно в эти годы, что, хотя и в иных видах, те же произведения продолжали оформляться и позднее (например, берлинские редакции произведений 1910-х годов). В связи с этим в настоящем Собрании сочинений выбор текста для воспроизведения определяется не принципом издания его по последней рукописной версии или авторизованной публикации, а принципом издания в редакции, сыгравшей наиболее существенную роль в развитии литературного процесса. Так, например, повесть «Неуемный бубен» стала одним из манифестных произведений Ремизова рубежа 1900-х — 1910-х годов, знаменовала начало формирования его «теории русского лада» и имела тогда значительный критический резонанс. Поэтому она публикуется по редакции тех лет, а не по берлинскому изданию 1922 года. Одной из задач будущего академического Собрания сочинений будет последовательное рассмотрение литературной истории каждого текста, анализ каждой редакции. Настоящее Собрание такой задачи не ставит. Краткие сведения о прижизненных публикациях и автографах произведений даны в комментарии.

Основной принцип подачи текстов — выверка их по первоисточникам (изданию, корректуре, рукописи). Произведения, не опубликованные при жизни Ремизова, печатаются по рукописи с учетом прижизненных публикаций их частей. Устраняются их цензурные искажения, а также другие не авторские изменения. Явные опечатки печатного текста (пропуск и перестановка букв и т. д.) исправляются без оговорок. В сомнительных случаях текст печатается в исправленном виде, но с оговоркой в комментариях. В необходимых случаях производится конъектурное (не опирающееся на документальные источники) восстановление текста. Допускается восстановление в угловых скобках ошибочно пропущенного автором или типографи-

ей слова. При сомнении после восстановленного слова внутри редакторских скобок ставится вопросительный знак. Неточные цитаты в текстах у Ремизова не исправляются. Сохраняются в тексте и отмечаются в комментариях фактические ошибки автора.

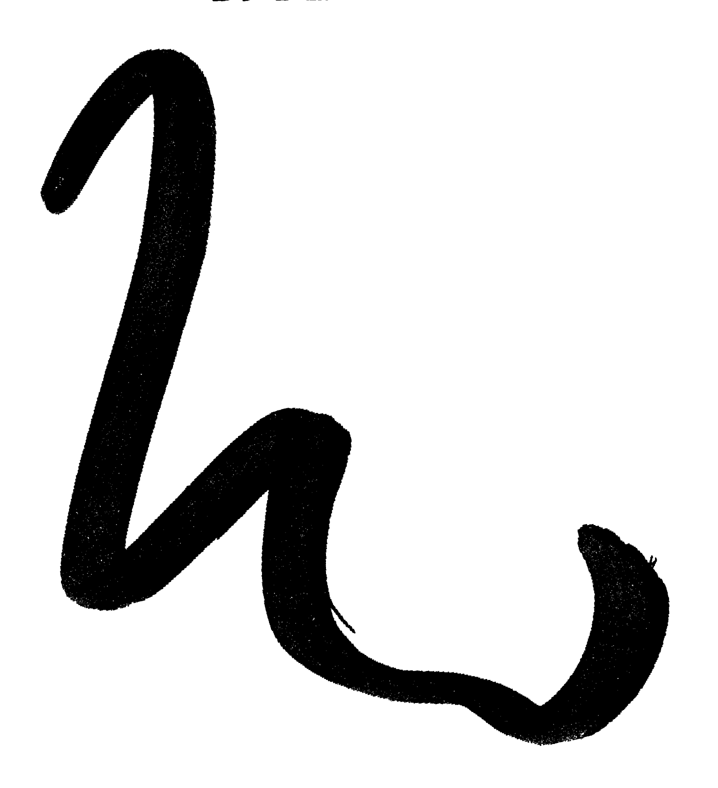
Общий орфографический принцип издания — максимальное применение общепринятой современной орфографии с сохранением существенных морфологических и фонетических особенностей языка Ремизова. Во всех сомнительных случаях предпочтение отдается авторским написаниям, учитывая принципиальную позицию в этом вопросе самого Ремизова: «Склад ладов русский природный — движение сочетаний слов можно представить себе как клокочущий котел. В этой кипи, кто только расслышит, и все будет ладно, только б расслышать. <...> Надо писать так — переводу неподдавно, конечно, такое совершается неумышленно. Нельзя научиться говорить ко всем, а следовать движению природной русской речи — можно. Как научить<ся>? Скажу по себе: ходить по словесной русской земле. <...> Я не собираюсь воскрешать никакие словесные века. Ни XI-й — русскую речь в староболгарском, ни XV — в сербском наряде, ни деловую дьяческую — XVI—XVII в. Я хочу, усвоив сложение русской природной речи, подслушав в сборе ладов русские ряды, по-своему складывать слова»*. В соответствии с волей автора точно передается пунктуация Ремизова, выявляющая ритмико-мелодический строй речи. Сохраняются авторские знаки, не мотивированные правилами современной пунктуации, и индивидуально-авторские комбинации знаков (сочетание запятой и тире, сочетание более трех точек, нескольких тире и т. п.), имеющие интонационное значение.

Все тексты сопровождаются подробными комментариями, цель которых — дать читателю сведения, помогающие адекватно понять сложные ассоциативные связи, исторические и культурные реалии, а также символику текстов Ремизова.

---

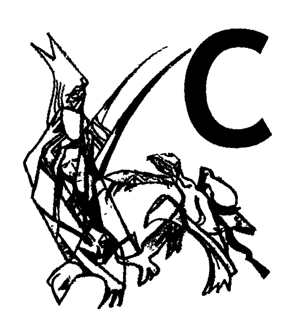
* *Ремизов А.* А. R. (Дом, отмеченный войной). 1955 // РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 6. Ед. хр. 28.

НЕУЕМНЫЙ БУБЕН





ГЛАВА ПЕРВАЯ



Среди достопримечательностей нашего города после древнего Прокопьевского монастыря с чудотворною иконою Федора Стратилата, высоких древних заново перекрашенных стен другого, женского Зачатьевского монастыря и пыльного бульвара, затейливо освещаемого единственною керосиновою лампочкою, тоже не без затейливости повешенною на проволоке между рестораном и эстрадою для музыкантов, после трактира Бархатова, знаменитого огурцами укропистыми и мерными какого-то необыкновенного засола и ядренистою белою капустою — зайчиком, после дурочки сестрицы Матрены, на которую одни молились, другие потешались, третьи отругивались, наконец, после памятника показывали Ивана Семеновича Стратилатова.

И у всякого, мало-мальски сведующего на этот счет, было полное согласие и единодушие. Скорее о монастырях поспорят, древность которых уже самой местной ученой архивной комиссией доказана, скорее в бульваре усумнится какой-нибудь глуздырь заволжский, либо в том же прославленном памятнике, но в Стратилатове никто и никогда, это дело немыслимое.

Двадцати лет начал он свою судейскую службу в длинной, низкой, закопченной канцелярии уголовного отделения, во вто-

ром этаже, и вот уж минуло сорок лет, много с тех пор сменилось секретарей, еще больше кандидатов — все чужой, наплывный народ, а он все сидел себе за большим, изрезанным ножами столом у окна, выходящего в стену трактира, около которой испокон веку складывались дрова, и переписывал бумаги.

Поговорите-ка, кого-кого он только не знает, каких губернаторов не вспомнит, о которых давно уж все позабыли, да что губернаторов! — председателя первого суда помнит.

Вон Адриан Николаевич, правда, волосу много, архиерейским гребнем не продерешь, а успел-таки ноги пропить, и сколько там ни мудрит секретарь Лыков, сажая безногого параличного писца для обуздания в архивный шкап под запор, пропьет и последнюю свою голову. Нет, Стратилатов не чета Адриану Николаевичу и столы-то их не рядом, а друг против друга, и недаром пишущую машину между ними поставили: водки Иван Семенович отродясь не знал, что это за водка, да и кандидатская пушка в тоненьком мундштуке никогда не соблазняла его, не курил.

— А зато жив и здоров, — пояснял Стратилатов, — прожил шестьдесят лет, проживу и сотню, проживу сотню, дотяну до другой: в первые времена по пятьсот благочестивые люди жили и все такое.

По словам Лукьяна, сторожа, за все сорок лет с Стратилатовым ровно и перемены-то никакой не произошло, цел, как целыши ягоды, либо яйца. Положим, это и не совсем так — Лукьян кривой, на левый не видит —а все-таки Иван Семенович еще молодцом и крепок, как крепкий хрен, хоть куда. Само собою, курчавых черных волос, о которых не раз проговаривался Стратилатов, кудрей этих — девьей сухоты и в помине нет; чисто, гладко — плешь во всю голову, от бровей до затылка, вот какая! Но что за беда, с плешью даже удобнее: деревянного масла меньше расходуется да и муху на плеши легче убить, притом она ему и к лицу как-то. Это товарищ прокурора обязательно должен бобриком стричься да чтобы руки были большие белые, как белые перчатки, с рубинчиком на мизинце, а у Ивана Семеновича и руки-то самые обыкновенные; пальцы вроде лопаточек.

— Плешь — украшение мужчины, — говорил сам Иван Семенович и не без гордости.

Другой сторож Горбунов, которому Иван Семенович считает своим долгом всякую субботу всучить душеспасительную картинку, такой же, как Лукьян, ветхий, и хоть смотрит в оба, а тоже перемены никакой не видит и только на уши указывает, что как-то широки они очень у Ивана Семеновича да длинны ни на какую стать, и словно бы в те еще времена, как жива была покойница мать Стратилатова, да первым охотником слыл Стратилатов по городу, словно бы тогда за черными кудрями они и не так торчали, не заострялись так кверху. Что правда, то правда: уши большие — ушан, спору нет, но посмотрите, когда спит Иван Семенович, войдите незаметно в его спальню, когда после обеда, распластавшись на продавленном тюфяке и голову закинув на промасленную, как блин, подушку, лежит он на своей колченогой железной кровати, они и совсем ничего: разлопушатся листом по подушке, сразу и не заметишь. Вся причина, должно быть, в серой жокейской шапочке с пуговкою, которую носит Иван Семенович, это от нее. Остаются очки — без них Стратилатов шагу не ступит, всегда на носу, — и не светлые, как у Адриана Николаевича, а дымчатые — консервы, а из-под очков чуть заметные полузакрытые веками, мутные глазки и белки, такие желтоватые с красными жилками.

Так-то оно так, но сам-то Иван Семенович утверждает совсем другое: очки, все равно, как и калоши, носит он больше для виду, а глаза у него голубые. Чем черт не шутит, может быть, они и вправду у него голубые и только из-под дымчатых очков такими кажутся мутными с желтоватыми белками, — обман зрения.

Шестьдесят лет стукнуло Стратилатову — седьмой десяток пошел, сорок лет, как сидит он в суде да бумаги переписывает и за все сорок лет не пропустил ни одного дня и во все дни никогда не отлынивал от дела, а перемены, как видно — какая же перемена? — в бане под паром, подбери он только живот, и совсем за своего помощника Забалуева сойти может, а Забалуев писарь — ёра-мальчишка.

— Собачья старость! — ухмыляясь, говорил Адриан Николаевич, подмигивая из-под очков на своего сослуживца, и говорил так безногий, конечно, больше насмешки ради, чтобы поиздеваться или просто из зависти, ибо всегда был и останется, по меткому определению Ивана Семеновича, обуян бесом.

И в самом деле, какой иной смысл в этой собачьей старости, чередующейся с Гекубой, Голгофой, Аварией, Объектом, Сферой, Раутом, и тому подобными ни на что не похожими выражениями, по крайней мере, никакой видимой связи не имеющими с Стратилатовым: сидит вот так, сидит, бумаги переписывает, либо прошение сочиняет, либо всей пятерней разглаживает свою клочкастую рыжую бороду, да с пьяных глаз и пустит через стол что-нибудь в таком роде, а все чиновники так смехом и заливаются, со смеха мрут. Ну, да верь всякому вздору, говорить с безногим, — гороху наесться, и то мало, сказано: обуян бесом.

Другое дело всехсвятский дьякон Прокопий, в доме которого вгнездился Стратилатов. Прокопий, когда речь заходила о беспримерной крепости и не по летам цветущем виде неугомонного жильца, ссылался на естество.

— Естество, — говорил дьякон, потягивая свою рыжую редкую бороденку, — такое естество, его же уставы попрать невозможно.

И, пожалуй, дьякон был прав.

Как яйцо круглый и полный, во всю щеку румянец, да такой румяный — малина, а губы — сирень-цвет, другого не подберешь, и над губою — пушок, либо так углом по губе кто провел, с масленицы осталось, нос — его за три версты увидишь — длинный, и все такое сытое да наливное, сахарное.

— Когда буду старым, отпущу бороду, — не без удовольствия объявлял досиня выбритый и даже кое-где поцарапанный от тщательного бритья Иван Семенович и молодцевато вытягивался на своих жилистых тонких ножках, инда утроба вся вздрагивала, стойкий, этак вставал открыто плешью к солнцу, крепко и твердо упираясь на свои огромные тяжелые ступни: вот, мол, я — голова.

И все, как один, соглашались, что Стратилатов — голова, каких мало, но тот же Адриан Николаевич не пропускал и тут случая позубоскалить.

— У тебя не голова, — ухмылялся безногий, — у тебя так, брат, головка!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Всякий день поутру часов в семь, когда по домам еще бродит сон, последний, но зато самый сладкий и такой крепкий, что ни стуком дров, ни колокольным звоном — а звонят и в Прокопьевском, и в Зачатьевском, и в приходских церквах — никакими силами, кажется, не одолеть и не выгнать его за дверь в сени, когда одни лишь торговки с молоком и корзинами идут на базар и кричат, как только умеют кричать одни лишь торговки, да бегут чиновники в казенную палату, в этот ранний заботливый час, проходя по Поперечно-Кошачьей, легко столкнуться лицом к лицу с Стратилатовым.

Зимою он в ватном пальто, на шею намотан красный гарусный шарф, летом в сером люстриновом пиджачке и в серой жокейской шапочке с пуговкою, из кармана непременно торчит пестрый платок, под мышкою синий мешочек с сахаром, и всегда калоши.

И если бы вдруг под каким-нибудь волшебным глазом так все изменилось: перескочили бы усики-пушок, долгий нос, малиновый румянец и сама гладкая, смазанная деревянным маслом стратилатовская плешь на другую и совсем непоказанную голову, на полицеймейстерскую — на самого Жигановского, а жигановские усы на председателя — старичка чахоточного, безвозвратно перетерявшего за упорными болезнями всю свою природную отклику, а сам Стратилатов превратился бы в какого-нибудь кита, свинью, мышь или белою лебедью поднялся бы со стаей лебедей над Волгою, все равно по одному этому синему мешочку и калошам ни с чем его не спутаешь.

Как в суде, так и в других казенных учреждениях, чиновники обыкновенно пьют чай в складчину, сахар обходится в месяц семнадцать копеек на брата. По расчетам же Стратилатова выходило, что выгоднее носить свой сахар. Вот почему неразлучен с Иваном Семеновичем синий мешочек, и это всем известно. Что же касается калош, то по огромности своей стратилатовские не уступят даже и тем, что в витрине у Охлопкова для ротозеев выставлены, и из тысячи в какой угодно толпе выделяются, притом с первого же взгляда в глаза бросится, что и надеты-то они только для виду: сапоги у Стратилатова рантовые, солдатские, из толстой грубой кожи, которую ни дождь, ни

мороз не берет, и одни сами по себе без всяких калош прекрасно скрадывают пространство.

Поднявшись в шесть под всехсвятский благовест и помолившись Богу, а Иван Семенович молится долго и усердно, выбрившись и поворчав на Агапевну, с незапамятных времен прислуживающую у Стратилатова, после утреннего чаю отправляется он по Поперечно-Кошачьей на толкучку, где с час и толчется около всякого старья и книжных ларей будто безглазый, в своих темных очках, как-то носом что ли высматривая заброшенное добро, сваленное, как попало, вперемежку с пустяками.

Толкучка для Стратилатова не праздное развлечение праздного человека, толкучка для него — существование, дело, как для врача эпидемия, для адвоката разбой, для газетчика несчастное происшествие; и не из тридцатирублевого чиновничьего жалованья, а через эту толкучку лежало у Стратилатова в государственном банке неприкосновенно целых десять тысяч.

— Умные люди всегда устроятся, дураки никогда не умеют! — так говорил Стратилатов.

Еще в свои молодые годы занялся Иван Семенович промыслом — продажею старинных вещей. Купить удавалось ему всегда задешево — без кошелька не выходил на толкучку и, пока другие зевали, брал без всяких проволочек облюбованную вещь, а затем сбывал ее за хорошую цену столичным скупщикам. Так скупая и перепродавая, сколотил себе Стратилатов капитал.

Наш город стариною славится.

Но не одна выгода, также и страсть гнала Ивана Семеновича на толкучку и не меньшая, чем у соседа его Тарактеева, мучного торговца, начетчика и нумизмата, и сам он не прочь был из-за какой-нибудь гравюры, качества весьма подозрительного и вовсе не принадлежащей Рембрандту, которому любил приписывать все без исключение свои гравюры, так рассориться с приятелем, как недавно еще поссорились на всю жизнь городской врач Лихарев с архитектором Барановым из-за каких-то кресел, будто бы петровских, и не все продавал он из добытых драгоценностей, оставляя себе кое-что и действительно ценное. И вот почему среди судейских чиновников один Борис Сергеич Зимарев — помощник секретаря и непосредственный на-

чальник Стратилатова за уменье свое точно и верно определять древности снискал у него искреннее уважение и даже дружбу.

В нашем городке всякий во всем понимал толк, да как-то без толку.

К девяти Стратилатов в суде. Он приходит первый, раньше всех, и только за последнее время секретарь Лыков не отстает от него, а иногда и предупреждает, но Лыков — исключение и вообще на настоящих прежних секретарей ничуть не похож. Прокурора Лыков не боится, а прокурора все боятся, язык у Лыкова не лопотун, не жало, а попадешь ему на язык, — в когтях у черта уютнее, просмеет, отбреет, и все напрямик в глаза жарит без обиняков, без околичностей, без лжи и лести, а когда смеются — бровью не двинет, точно замком заперт, и так законы знает, будто сам сочинял их.

Стратилатов является в суд не с пустыми руками: кроме синего мешочка с сахаром, он приносит с толкучки какую-нибудь старую вещь — картину, икону, книгу либо так мелочь. И первым делом сложит покупку за свой стул к стеклянной горке, где хранятся бланки, бумага и другие канцелярские принадлежности, затем высморкавшись так, что вся горка звякнет и ей отзовется другая с разбитым стеклом, от Адриана Николаевича, подложив под локти по листу чистой бумаги, чтобы рукавов не засалить, обсосет перо и примется за переписку.

До двенадцати лучше не беспокоить Стратилатова: в двенадцать секретарь потребует от него исполнений по предыдущему дню и, хочешь-не-хочешь, подавай бумаги, а не подашь, Лыков потачку давать не любит, такой столбняк нагонит, своих не узнаешь.

И не столько выговор, сколько само по себе ослушание страшит Ивана Семеновича. Начальству он предан, страх перед ним знает, и чем выше начальство или, как говорится, иное какое усмотрительное лицо, том страх сильнее: поджилки дрожат, ноги подкашиваются, ножки тараканьи вырастают и до слез обуяет трепет, до потери всякого соображения, до полного забвения нужнейших житейских обстоятельств, как-то, имени, отчества и фамилии, возраста, пола и положения, когда, например, случается столкнуться ему в прихожей с председателем, с которым ни разу во всю свою жизнь не сказал он ни одного слова. Нет, лучше не беспокоить Ивана Семеновича.

2 Зак. 3541

Но лишь только секретарь уедет с докладом и останется вместо него всего-навсего один его стол, заваленный делами, тут-то и наступает самое подходящее время побеседовать с Стратилатовым. Он становится неистощим и разговорчив: от одного к другому собирает он всех чиновников и, пришепетывая от удовольствия, пускается во все тяжкие — всякие истории, всякие приключения, всякие похождения исторические, современные и даже апокрифические, из отреченных книг заимствованные, вроде Повести о Ноевом ковчеге, и все, как на подбор, содержания весьма тонкого, жарит он на память, как по-писанному, пересыпая анекдотами, шуткою и так попутными замечаниями, тоже по смыслу своему исключительной легкости, затем переходит к стихам, известным больше в рукописном виде, нежели из печатных книг, в роде знаменитой Первой ночи, и декламирует поэмы нараспев, с замиранием — по-театральному.

Что за смех подымается! — Вот лопнешь, вот со смеху надсадишь бока, нет ему тына, ни помехи — три кандидата за столом Стратилатова да три за противоположным у Адриана Николаевича, помощник Стратилатова писарь Забалуев да Адриан Николаевич безногий с своим помощником писарем Корявкой — кто хохочет, кто сопит, кто взвизгивает, кто просто подкрякивает, а сам Иван Семенович так ржет, пыль подымается, пылинки летят, точно перетряхивают сданные в архив пропыленные дела.

Другому бы и невмочь, другой угорит, но как раз именно этот-то воздух и действует на Стратилатова благоприятно: хлебом не корми, дай подышать.

Разгорячается воображение, вылетают слова все игривее и забористее, да такое загнет, небу жарко. И уж не пришепетывает, а словно в бубен бьет, молодцевато вытягивается на своих жилистых тонких ножках, инда утроба вся вздрагивает, стойкий, этак встает открыто плешью к солнцу, и она гладкая, смазанная маслом, маслянистая румянится, как обе щеки, малиновым румянцем.

— Неугомонный бубен! — взывал, трясясь от хохота, безногий Адриан Николаевич.

Когда в прокурорский надзор стали поступать для уничтожения конфискованные книги по статье, как говорилось в про-

токоле, соблазнительного их характера, Стратилатов, имея ходы, получал такие неудобные книги, внимательно строчка за строчкою прочитывал их и, выудив места наиболее интересные и занимательные, преподносил чиновникам к всеобщему удовольствию и развлечению всей канцелярии и так же ржал, как при какой-нибудь Азбуке или при Воспоминаниях вдового священника — чтение довольно излюбленного и ходового, и так же подымалась вокруг пыль, летели пылинки, точно перетряхивали сданные в архив пропыленные дела.

— Грязный человек! — так отзывался, не иначе секретарь о Стратилатове, имея в виду эту самую падкость Стратилатова на предмет исключительный.

Как огня, боялся Иван Семенович Лыкова, но это мнение о себе пропускал он мимо ушей, не трогало оно его и не могло уколоть. Слава Богу, за сорок-то лет беспорочной службы нос его кое-что чуял, и пускай Лыков — законник, пускай аккуратен, как немец, и всех в страхе держит, а все-таки — тут Иван Семенович отдал бы руку на отсечение — Лыков революционер. Революционеров же Стратилатов за людей не признавал, а так за шушеру, выделяя лишь одних декабристов.

— Только благородные и могут бунтовать, а это все шушера! — вот подлинные слова Стратилатова.

Молодежь — чиновники, не относясь к Стратилатову так брезгливо и строго по-лыковски, насмехались над ним и изводили его, когда ему совсем было не до смеха, и чаще при спешных делах до чаю, за развлечения же и за то, что давал взаймы, пожалуй, даже любили.

Стратилатовское правило всем хорошо известно: попроси — не откажет и расписки не надо и только для порядку, когда уж возвратишь долг, попросит расписаться, вытащит из кармана сложенный в восьмушку лист с записями и укажет твою фамилию:

— Отметьте, что получено.

Мудрое правило, всеми оцененное по достоинству.

И вот почему в три часа, когда из суда вываливалась компания молодых чиновников и притом далеко не чинно, а шумно и безалаберно, это значило, что выходит Стратилатов.

По дороге домой обыкновенно он оканчивал спутникам начатый еще в суде рассказ, по тонкости своей, как всегда, требу-

ющий большой выразительности, прерывая свою кудрявую речь, и совсем не в ущерб ей, лишь у церквей, так как считал своим долгом, поравнявшись с церковью, обязательно помолиться, а молился Иван Семенович долго и усердно.

Так мирно в веселой компании да в приятных разговорах после дневных трудов добирался Стратилатов до Всехсвятской церкви. Миновав Всехсвятский алтарь, окруженный могильными крестами, приходящимися как раз против окон его гостиной, завертывал он на свой двор и шел по дорожке важно, степенно и благопристойно, как подобает чиновнику, заглядывая через свои темные очки в окна смежной квартиры полицейского надзирателя и предвкушая обед, щи какие-нибудь горячие, которые изждались его, упревая в печке за розовою занавескою, как изждалась старуха Агапевна, принимавшаяся уже несколько раз раздувать рыжим стратилатовским сапогом непослушный пузатый никелированный самовар — вазой, и, дойдя до амбара, где хранилась старинная мебель, сундуки и всякие мешки, опять заворачивал, ускоряя шаг при виде узенького крыльца и покосившейся, обитой войлоком и клеенкой, захватанной драной двери.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Откуда и как пошел Стратилатов, в точности не выяснено. Отец его из крепостных — управляющий в имении одного из крупных, впоследствии разорившихся помещиков нашей губернии, некоего Обернибесова, мать — обернибесовская крепостная. А между тем, сам Иван Семенович не без таинственности заявлял, что мужицкого в нем ни вот эстолько! — и что он — дитя дворянское и, как на некоторое будто бы неопровержимое доказательство, тоже не без таинственности и с видимым удовольствием, указывал на это место, как сам любил выражаться, — на свой длинный нос, который за три версты увидишь.

Опровергать не опровергали, никто этим не занимался, и сам вольнодумствующий Адриан Николаевич как будто тоже ничего не имел против, даже наоборот, был как-то особенно заинте-

ресован и при случае считал своим долгом высказать собственные догадки о таинственном зачатии Стратилатова.

Адриан Николаевич утверждал, что это место — нос стратилатовский — ровно ничего не доказывает, а если и доказывает, то как раз противное: ведь и последнему дураку ясно наизаконнейшее его происхождение от законного родителя — наследство простого человека, другое дело, будь на нем родинка или еще какое украшение, а что вот другое место и не менее выдающееся — стратилатовские лопухатые уши, заостренные кверху, подлинно самое настоящее высшей породы — обернибесово и, если уж ссылаться, так именно на уши и отнюдь не на нос.

Ошибался ли Иван Семенович, а Адриан Николаевич был прав, или, наоборот, Иван Семенович был прав, а Адриан Николаевич ошибался, разобраться в таком мудреном деле сверх силы человеческой и лучше всего, да так и наитие подсказывало, положиться на обоих, веруя тому и другому — и в нос и в уши.

Детство Стратилатов провел в обернибесовской старинной усадьбе и воспитание получил, как кажется, под стать таинственному своему зачатию. Смутно и путанно вспоминал Иван Семенович свои ранние годы, течение которых будто бы складывалось возвышенно и необыкновенно.

Уж само крещение было необыкновенно. Крестили его не в купели, а через шапку. И произошло все это при самых исключительных обстоятельствах. Было в тот год на селе беспоповье — умер священник, а родился Иван Семенович зимою слабенький — везти такого за сорок верст в ближайший приход было невозможно. Послали Егора, столяра обернибесовского, в то село к священнику. А священник ехать не может — храмовый праздник. Что делать? Да, вот что делать: окрестил батюшка шапку и дал ее Егору, чтобы тот, как приедет, надел бы ее на младенца, и уж никакого крещения больше не надо. Спрятал Егор шапку, поехал, верст двадцать отъехал, вывалился на ухабе, — имя-то и забыл. Повернул назад и прямо к священнику, а поп имени не хочет говорить: «Дай, — говорит, — двугривенный, скажу». Егор ему полтину — деньги-то управляющего! — да на радостях в трактир, выпил, обогрелся, шапку-то и потерял. Шапчонка старенькая, грош ей цена, да с пустыми руками тоже вернуться неловко. Едва отыскал какую-то, да скорее до-

мой. Надели ее на младенца, так через шапку и окрестили. Вот какая история!

Рос он смышленым, рано выучился грамоте, — скоро она ему в ум далась, и умел из ружья стрелять, рано пристрастился к чтению, перечитал много и разного, но больше божественного, пробовал и сам сочинять, писал стихи. Семнадцати лет по смерти отца своего переселился с матерью в город, в дом всехсвятского дьякона Прокопия. Из деревни вывезено было много всякого добра и, может быть, оно-то и легло в основание тем собраниям редкостей, какими славился Иван Семенович, и положило начало его промыслу.

О законном отце своем Стратилатов сам никогда не вспоминал, а на расспросы отвечал неохотно и говорил не иначе, как с какою-то горькою обидою и даже с презрением, и единственно за то, что отец простой — мужик. Мать же свою обожал, ухаживал за нею, холил, жалел и берег пуще себя, чуть не молился на нее — примернее и почтительнее не найдешь сына, а после смерти ее сохранил самые трогательные воспоминания, и кровать красного дерева с бронзовыми маленькими крылатыми львами и венчиками, на которой спала она, стояла под чехлом в сарае неприкосновенно.

— Мне ничего для мамаши не жалко, — рассказывал, бывало, Иван Семенович, — я наверное знал, что она помрет, но все-таки шесть рублей восемьдесят семь копеек истратил на лекарство. Так мне скучно было, места не нахожу, некому чаю налить.

Год спустя после смерти матери, справив поминки, Стратилатов женился.

Рассказывали, что в день свадьбы после венца, когда разошлись гости, провел он ночь один, затворившись в гостиной, и, стоя на молитве, боролся с собою.

— Иван, опомнись! Иван, побори! — так будто бы укорял Иван Семенович и обуздывал себя до самого утра, и взошло солнце, и все-таки не поборол, зато уж на следующий день в радости песни пел.

Жену он взял себе молодую, красивую. Глафира Никаноровна тихая, кроткая, редко слово услышишь и одна забота, что о своем Ванечке, да такая усердная и желанная, любо-дорого (посмотреть, и по-старинному: руки с подносом, ноги с подходом, голова с поклоном, язык с приговором, — чего еще, живи,

как Адам в раю, — а между тем на другой уж год Стратилатов снова остался в одиночестве.

Надо сказать, что об эту пору назначили в наш суд нового следователя — молодой человек, весельчак, большой шалопут и, хоть ни в каком родстве не состоял с Стратилатовым, фамилия одна и та же — Стратилатов.

Бывают же такие досадные совпадения: живет человек тихо, никого не трогает, все тебя знают и ничего за тобою не числится, и хвать, в один прекрасный день появляется некто с твоей фамилией и все перевертывается — ты уж тот да не тот или не совсем тот, потому что есть еще и другой, дели с ним свое имя, дели и всякую пакость. И появляется тебе этот самый с твоей фамилией не в каком-нибудь головоломном фантастическом смысле — не от расстройства и дурного воображения, а самым живым и осязаемым образом, с метрикою и даже с положением, и тут-то подымается проклятая мысль: а что если этот новоявленный — настоящий, а ты — подделка?

Задумался Иван Семенович и стал все думать и всякие строить предположения: что все это значило, и к чему бы это такое было, и нет-ли тут какого знамения, и кто настоящий, он ли Стратилатов или тот, следователь Стратилатов? И, ничего определенного не решив, насторожился.

Все шло по-хорошему, не случилось никакого недоразумение, не было путаницы и подмены, и уж собирался было Иван Семенович к новому году выкинуть из головы все свои опасения и окончательно утвердиться, что он и есть самый настоящий Стратилатов, а следователь — подделка. И вот, словно бы нечистое что, потянуло его на именины к Артемию, старому покровскому дьякону.

Как всегда именины Артемия справлялись хмельно и весело. Навалило гостей, хозяина с ног сбили. Много было барышень и много подавалось угощения. Стратилатов был в самом хорошем расположении духа, набил полные карманы лакомствами для своей Глафиры Никаноровны, философствовал с зачатьевским А х и т о ф е л о м — протопопом о. Пахомом, щеголяя своею ученостью и в оборотах речи употребляя отборные слова, вроде какого-нибудь п а к и - т е ч е н и я, о н - с и ц ы, н е п щ е в а н и я, г о б з о в а н и я и тому подобных замысловатостей, впопад и невпопад, а когда стали в фанты играть, засыпал острота-

ми, а за верблюжьим скаканьем, как выражался Артемий, — за танцами, смешил анекдотами, рассказами о Карапете Карапетовиче и его приятеле, о преимуществе новых языков перед древними, про смекалку, жую ремешки и про другие не менее забавные случаи, да так и не заметил, как ужинать подали. И вот за ужином среди всяких шуток, когда гости стали похваляться друг перед другом, расхвастались, послышалось ему, что в пьяном углу заговорили о Глафире Никаноровне, стал прислушиваться — так и есть, о ней, и все в выражениях самых иносказательных и неравнодушных, затем кто-то сказал:

— Эх ты, слепая курица, чего говоришь зря, по уши врезалась она в Стратилатова, их и водою не разольешь.

Выронил Иван Семенович вилку, как обухом ударило его по лысине: представился ему вертлявый следователь Стратилатов, вспомнились ему все предчувствия, вся тревога, и так зарябило в глазах, такое сердце взяло, что сам бы себе язык перекусил. Под предлогом внезапного внутреннего расстройства, Иван Семенович вылез из-за стола вон и, сломя голову, без шапки, бросился домой. Как добежал, не помнит, бешеный ворвался в дом и прямо с кулаками на Глафиру Никаноровну.

— Вон, вон из моего дому!

Та со сна ничего не понимает.

— Куда, говорит, мне деваться?

А он ее за косы, да так, что косы остались в его руке, пихнул к дверям, да за дверь, да как саданет коленкою с крыльца:

— К Стратилатову, вот куда, к паршивцу своему Стратилатову, чтобы и духу твоего не пахло.

Так и выгнал ни за что, ни про что, и бескосою.

Глафира Никаноровна сама после всю эту историю всем рассказывала и со всеми подробностями, жалуясь на свою горькую, сиротскую долю. Иван Семенович молчал, и не поминай ему — уши затыкал, когда говорили о жене его, имени ее не хотел слышать. А когда, и это еще совсем недавно, помощник Адриана Николаевича, писарь Корявка прошелся спьяну насчет неудавшихся браков вообще, и хоть имена умолчал, но очень уж прозрачно, Иван Семенович схватил чернильницу и пустил ее в Корявку, — в Корявку не попал, промахнулся: у секретарского стола грохнулась чернильница и осталось до

сих пор черное пятно. Значит, и через тридцать лет все еще кипело и мучило, — вот какие бывают искушения!

Следователя Стратилатова в тот же год перевели от нас, Глафира Никаноровна доживала век у своей матери, тихая и кроткая.

Одному оставаться в доме невозможно: и скучно, и неудобно, да и за домом надо чтобы присмотр был. Не устроил Стратилатов себе тихого семейного очага, не удалась ему семейная жизнь, ну да хоть как-нибудь, а надо наладить жизнь. Тут-то и определилась к нему Агапевна, и за старостью лет, никуда не годная, нанялась очень сходно, — не за жалованье, а всего за один хлеб, и с тех пор служит ему безответно и безропотно, верою и правдою.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Замечательный человек Иван Семенович, и всехсвятского дьякона дом, где протекают его тихие, одинокие дни, особенный.

Дом небольшой — две низенькие комнаты и кухня, и везде лампадки: в кухне лампадка, в спальне лампадка, а в гостиной две, — в обоих передних углах. Иван Семенович сам любит зажигать лампадки, Агапевне не доверяет — старая, руки у нее трясутся и за что ни возьмется, все из рук валится, и только в постные дни, в середу и пятницу, когда по примеру Агапевны, употребляет Иван Семенович натощак святое маслице, дозволяется ей вскарабкаться на табуретку и взять ложечку из лампадки.

Как пройдешь сени, если, конечно, за сундуки не зацепишься и шею не свернешь, будет кухня: налево шкаф, против шкафа русская печь с розовою занавескою, направо, у окна, залавок, посреди дверь в спальню. И везде, по всем углам, у печки, за шкафом, у залавка черствые хлебные корки сложены. Зачем понадобилось Агапевне черствые корки копить, Бог ее знает.

Беда с Агапевною! А ведь как старается старая, из кожи лезет, из последних своих клячных сил трудится, лишь бы только угодить своему соколу — Ивану Семеновичу: ходит за ним, как за малым дитем, и чтобы сердце его не уныло, охотно сказала

бы сказку, да память плоха — годы отшибли, и песню бы спела, да голосу нету, и что хочешь, — проплясала бы, заплела бы плетень, завилась бы вьюном, вывернулась, да старые кости — ноги не слушают, все бы вынесла — грубое слово, только бы из его сахарных уст, нелюбый взгляд, только бы из его светлых глаз, приняла бы напрасную смерть, только бы от его белых рук, а помрет Стратилатов, так она к нему, к покойнику, как к мощам, приложится, и не тление, благоухание от его смрадного трупа послышится ей и, кто знает, исцеление себе получит, да и другому недужному здоровье вымолит. Ей-Богу, заставь Иван Семенович Агапевну по-собачьему лаять, либо петухом петь, не заперечит: взвизгнет, залает шавкою, петухом прокричит, но от этого ничуть не легче. Беда с Агапевною!

В прежнее-то время старуха и пироги пекла, а нынче ослабла, ничего не может: того не доглядит, другое упустит, третье не досмотрит, только мышей разводит.

Хорошо еще, что Иван Семенович не взыскателен — ему одно: побольше чтобы всего было, да понаваристее, а таракан ли во щах плавает или лавровый лист, это ему все равно, да еще хорошо, что строгий он постник, все четыре поста соблюдает: и великий пост, и петров, и госпожинки, и филлиповки, все двенадцать пятниц, и в среду, и в пятницу, и даже понедельничает.

— Вот, старуха, — скажет другой раз Иван Семенович, — мало ты делаешь, а ведь хлеб-то ешь.

— Так, батюшка.

— Много ты ешь хлеба.

— Так, батюшка.

— Чаю пьешь много.

— Так, батюшка.

— Ты хоть бы таз вычистила.

— Хорошо, батюшка.

В жаркие дни, перед обедом, не столько от жары, сколько для удовольствия, Стратилатов обливался колодезною водою около грядок; грядки против кухонного окна, в церковной ограде, там же и колодезь.

Раздевшись в кухне весь донага и запасшись соленым огурцом, Иван Семенович вылезает в окно и, обойдя грядки, становится под ракитою. Агапевна с тазом вскарабкивается на табу-

ретку и начинается омовение. И во все время, пока бежит вода на его распаренную смазанную деревянным маслом, румяную плешь, ест Иван Семенович соленый огурец, веруя, что с его помощью не прильет кровь к голове, и солнца бояться нечего.

Предусмотрительность совсем не лишняя: солнце как раз в эту самую минуту призадерживалось, подымало свой осовелый, знойный глаз, жаркое, замирало прямо над Иваном Семеновичем, залюбовавшись ли на него, а он, поистине, был великолепен во всей своей красе с соленым огурцом во рту, или завидуя ему, а удовольствие, испытываемое Стратилатовым, было столь велико, что лопухатые, заостренные кверху уши его блестели.

Редко, однако, обходилось удовольствие без неприятных последствий, но не солнце — от него огурец защита, причина — Агапевна: то выскользнет таз из ее трясущихся рук, то воду прольет мимо, то себя обольет, то скувырнется с тазом наземь.

— Ты, Агапевна, хоть бы попрактиковалась, — скажет в досаде Иван Семенович, — зря только воду льешь, еще всемирный потоп сделаешь.

И вот из преданности ли, не смея ли ослушаться приказаний, или из страха всемирного потопа, Агапевна практиковалась: протаскивала она через окно порожнюю кадушку из-под капусты, ставила ее под ракиту, где Иван Семенович становился, вскарабкивалась с тазом на табуретку и поливала. Но путного из этого ничего не выходило: кадушка обливалась исправно, а Ивану Семеновичу не так еще давно чуть было голову тазом не проломила.

— Наказание мне с тобою, старуха! — скажет другой раз Иван Семенович.

— Так, батюшка.

— За грехи мои послал тебя Господь Бог.

— Так, батюшка.

— Крест ты мой.

— Так, батюшка.

— Ты хоть бы комнаты проветрила, не почтово-телеграфное отделение.

— Хорошо, батюшка.

Обедает Иван Семенович в гостиной.

Кухня, спальня, гостиная — так идут комнаты. Гостиная — самая парадная, и кажется, нет в ней свободного уголка, вся она заставлена и завешана. По стенам масляные картины и гравюры в больших старинных рамах, акварели, миниатюры, гобелены и на всех картинах и гравюрах — красавицы и все, как на подбор, в соблазнительной своей натуре. Одно исключение — портреты царей. Есть и другие картины, но они стоят повернуты лицом к стене, это те, где отсутствуют дамы. И так много смотрит всяких красавиц, что сразу не разберешь, где лицо, где принадлежность, сам же Стратилатов знает каждый мизинчик, каждую ямочку, каждое родимое пятнышко и любовно дает объяснения о любой, такие милые и игривые, выражаясь по своему, возвышенно, стихами рукописными.

По словам Ивана Семеновича, если бы возможно было, он обратил бы всех красавиц в перочинный ножик, и положил бы себе в карман, чтобы были неразлучны они с его сердцем, или обратил бы их в нарядных кукол, чтобы играть с ними, держа всегда у груди.

Как только очухаешься от картин, выступят перед тобою и другие предметы. Налево от двери большой сундук, полон набитый книгами, от сундука по стене витрина с монетами — монеты рядком лежат по зеленому полю и все редкие прекрасной сохранности, все же истертые — слепые у Стратилатова ходко идут на любителя, ну хоть тому же соседу Тарактееву, от витрины до угла стол с портфелями, в портфелях гравюры на меди, других Стратилатов не держит, и, конечно, все рембрандтовские, в углу икона Спасителя — Грозный и Страшный Спас. Направо от двери горка с саксонским фарфором, от горки по стене стол, на столе старинные ларчики, миниатюры и дешевые соблазнительные открытки, под столом довольно увесистая укладка, величиною в обхват, полная серебра и украшений, по бокам стола два венских стула; к углу шкап красного дерева. Шкап особенный с драгоценностями: тут и чашки белые, как сахар, с маленькими розовыми и зелеными цветочками, и хрусталь с вензелем червонного золота, чернильница в виде императорской короны — подарок гимназистки Яковлевой, которую, как признавался сам Иван Семенович, ровно три года соблазнял он и ничего не добился, печать Стратилатова, изображающая как бы некий перст, окруженный надписью: от оного

свое начало все восприяло, наконец, золотые туфельки и старинная чашка в виде яйца на курьих ножках с золотым крылом вместо ручки, эту чашку Стратилатов никому не дает, бережет пуще глаза, потому что из нее его мать чай пила. На шкапу приходо-расходная книга, куда Иван Семенович записывает и еженедельно подсчитывает расход свой на милостыню нищим, на дверцах шкапа старинный обернибесовский галстук с кистями. В углу икона Божьей Матери — Всех Скорбящих Радости, между иконою и шкапом старинное оружие.

Гордость же Стратилатова — овальное зеркало с овальными углублениями, шестнадцать раз отражает.

— Купцы в ногах молили, предлагали сто рублей, не взял! — гордился Иван Семенович непродажным своим сокровищем.

Зеркало висит между окон, выходящих к всехсвятскому алтарю, окруженному могильными крестами, перед зеркалом стол, по бокам по стулу, а посередке кресло с орлами.

Тут, усевшись на царское кресло между двумя неугасимыми лампадами у Спасителя и Богородицы, перед чудесным заветным зеркалом, отражаясь шестнадцать раз, обедает Стратилатов.

Кончится обед, разоблачится Иван Семенович — бережно снимет с себя серый люстриновый пиджачок, скинет долой сапожищи, шваркнет их в угол и на боковую. Ложится Стратилатов, ложится и Агапевна.

Спальня между гостиною и кухнею — проходная, по стене к кухне — лежанка, возле лежанки колченогая железная кровать с продавленным тюфяком и промасленною, как блин, подушкою. На лежанке спит Агапевна, на кровати Иван Семенович.

Тихо и безмятежно спит Стратилатов. Глубокий крепкий сон непробудно завеял его легкими крыльями, и кажется, прекращается в нем все течение жизни, наступало, как выражается всехсвятский дьякон Прокопий, всеобщее естества усыпление.

Сны Стратилатову снятся редко, а если уж надо присниться, то непременно такие дурные, хоть и вовсе спать не ложись. Три сна особенно мучили и изводили Ивана Семеновича.

Снится ему, будто едет он в золотой колымаге Императрицы Елизаветы Петровны, на нем серый люстриновый пиджачок,

на голове императорская корона и сидит будто он, развалясь, на высоких подушках. В окна мелькают дома с вензелями и везде одно имя, его имя — Стратилатов, бежит народ за колымагою, кричат ура, а он себе сидит, развалясь на высоких подушках, ничего не думает, ничего не желает — блаженствует, ура, Стратилатов! Но вот, как сворачивать колымаге на мост к бабьему базару, чья-то рука внезапно вытаскивает его через окно и на мороз. Нет лошадей, а его, Стратилатова, в сером люстриновом пиджачке и в императорской короне, впрягают в стопудовое дышло и давай погонять. Жилится Иван Семенович, трется о стопудовое дышло, весь бок облупил, падает, опять подымается, выбился из сил, а колымага ни трпру, ни ну. И нападает на него невыразимый ужас, начинает кричать и кричит благим матом.

А другой раз снится ему, будто сидит он в своем царском кресле перед чудесным зеркалом и, отраженный шестнадцать раз, любуется на себя и вдруг замечает, что нос его скосился на сторону и уж не узнает себя: одна ноздря маленькая, меньше игольного ушка, другая огромная, шире шапки — горло сквозь ноздрю видно. И опять от ужаса кричит.

Третий сон самый страшный, страшнее колымаги и носа. Снится ему, что он маленький и жива покойница мать. Матери будто недосуг: надо тесто ставить, блины печь и не ходячие, а жилые блины, как на поминках. И вот уложила она его в ящик, плотно накрыла крышкою и понесла на погреб и там закопала в землю. «Ночь обночуешь, а наутро возьму!» — и ушла. Лежит он в ящике — тесно, не перевернуться и бок колет и от сырости с крышки капает на лицо, а утереться нельзя — невозможно руку поднять. А капли холодные, тяжелые, упала одна на переносицу, потекла по носу да в рот, а за ней другая. Богородица, Дево, радуйся, хочет выговорить Иван Семенович и вместо Богородицы начинает из Гаврилиады: В шестнадцать лет невинное смиренье... И в ужасе кричит, и кричит и знает, что глубок погреб — не услышат голоса, да само нутро кричит.

И все эти страшные сны снились ему почему-то под двунадесятые праздники, в простые же будние дни обыкновенно ничего не снилось.

Тихо и безмятежно спит Стратилатов. Глубокий крепкий сон завеял его легкими крыльями и, кажется, прекращается в нем все течение жизни, наступало, как выражается всехсвятский дьякон Прокопий, всеобщее естества усыпление.

Но вещам не до сна в этот послеобеденный час, и они начинают свою вечернюю жизнь, пока еще не погас свет.

По левую руку от лежанки книжные полки с журналами — журналы перевязаны полными комплектами и расположены по их важности: «Исторический Вестник», «Русская Старина», «Русский Архив» и в самом низу «Вестник Европы», «Русская Мысль». На полках впереди книг табакерки и опять дешевые открытки соблазнительных красавиц вперемежку с видами святых мест. Против кровати книжный шкап до двери, над дверью две олеографии: на одной нимфа, сидящая на дереве, на другой Серафим Саровский с медведем. И опять книжный шкап и комод с гравюрами, гравюры на меди и, конечно, все рембрандтовские. и тут же всевозможные душеспасительные картинки, которыми одаряется по субботам сторож Лукьян. Между шкапом и комодом перед окном подставка, на подставке гипсовый рыцарь с мушкетом и в латах.

Лукаво глядят с открыток красавицы: «Иван Семенович, — подмигивают красавицы, — встань! — и смеются, как бесята, все черноглазые, подзадаривают красавицы, — ну же, плешня, да встань»! — и одна за другою потупляются, как Танька Мерин какая-нибудь в Денисихе. И наклоняется с дерева нимфа, протягивает пальчик: «Стратилатов, я пришла»! И выходят святые отцы, праотцы, великомученики, преподобные, великие чудотворцы из огненных срубов и тихих келий с медведем и благословляют его: «Мы станем тебе в помощь»! А гипсовый рыцарь с мушкетом и в латах не сводит своих белых упорных глаз.

Напрасно! сном праведника спит Иван Семенович, ничто не расшевелит его, ничто не тронет. И если бы сама синяя страшная тетрадка, втиснутая в угол шкапа между Скитским покаянием и Любовью — книжкою золотою, обойдя сторонкой Похождение Ивана Гостиного сына, Пригожую повариху, стихотворения Нелединского-Мелецкого, Батюшкова, Подолинского, Кольцова, Некрасова и другие любимые книги и, пробравшись сквозь ненавистного ему Толсто-

го, презираемого им Гоголя, уму непостижимого Достоевского и других подобных сочинителей, вылезла бы из шкапа, развернулась бы — страшная Гаврилиада, любимая и ненавистная, заветная и проклятая, да и та не подняла бы его из тихого безмятежного сна.

Утихает вечерняя заря, все предметы колеблются, как пьяные, и доносит ветер звон со старых звонниц и колоколен. Отдается, парит звон, колокол с колоколом перекликается — зазвонный, праздничный, буревой, гуд — колокол, и плывет из-за Волги крылатый и плавный лебедь — колокол. И вдруг как ударят в чугунную доску — задребезжит звонило, инда в висках треснет, и уж не колокол — Божий глас, это гонят стадо с полей — разревелся бык, ржет кобылица, звякает глухарь, гремит гремок, звенят бубенцы, раззвенелись бубенчики и сквозь звяк и рев свистит на ухо птица, свистит-пересвистывает, экая глупая!

С остервенением, оглушенный свистом, вскакивает Стратилатов на ноги, протирает слипшиеся мутные глазки, крестится:

— Господи, воззвах! — и, сплюнув на расхрапевшуюся Агапевну, снова завалится на продавленную теплую кровать, — ну еще посплю маленько!

И спит тихо и мирно плотным крепким сном.

— Вот, Борис Сергеевич, — не раз жаловался Иван Семенович своему приятелю Зимареву, — старуха у меня Агапевна убийственно храпит, точно фельдфебель, не могу выносить: у меня сон тонкий, будкий, вообще люди образованные не могут этого переносить.

Но что поделаешь, тут и сам Зимарев, даром что помощник секретаря и всякую древность определить может и год и число ей скажет, да против природы и он бессилен. Против природы не пойдешь!

— Ты, старуха, хлеба много ешь, — примется выговаривать Иван Семенович.

— Так, батюшка.

— Это от хлеба.

— Так, батюшка.

— На меня еще подумают и пойдет худая слава: хорош, скажут, чем занимается!

— Так, батюшка.

— Тебе грешно будет, ведь это смертный грех!.. ты хоть бы попридержалась.

— Хорошо, батюшка.

И вот из преданности ли, не смея ли ослушаться приказаний, или из страха смертного греха, пробовала старуха попридерживаться. И минуту — другую еще кое-как с грехом пополам стерпит, зато уж после как пустит — такой храп, такой свист, у соседа Тарактеева каменный дом, и то слышно!

Беда с Агапевною, и смех, и грех.

— Агапевну я решил рассчитать, — опять жаловался Стратилатов своему приятелю Зимареву, — выдумала старая: с печки сверзилась, по прямой дороге идти не может, лезла на лежанку, свалилась, чуть меня не зашибла, с этакой высоты!

И, вечно жалуясь и зарекаясь по конец веку своему, не станет он держать Агапевну, Иван Семенович все-таки и представить себе не мог, как бы расстался он со старухою. Нет, Агапевна прижилась к дому. Агапевну все углы знают, и Агапевна все знает, что надо ее барину Ивану Семеновичу. Расстаться с нею так же трудно и, кажется, просто невозможно, как трудно и невозможно покинуть низенькие крохотные комнаты дьяконского дома, где похоронил он свою мать, женился и где, как и все люди, хотел бы со временем Богу душу отдать. И если бы даже под сердитую руку, выведенный из себя и, может быть, действительно оскорбленный, прогнал бы ее, то все равно, на другой, ну на третий день, а уж непременно бы хватился ее, вышел бы вот так в сумерки на крылечко и покликал бы:

— Агапевна!

— Я, батюшка.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Бульвар — место общественного гулянья. На бульваре Стратилатов свой человек. С препятствиями или спокойно и ровно, но всякий день, выспавшись после обеда до семи, в семь отправляется Иван Семенович гулять на бульвар.

Порасправившись на свежем воздухе, усаживается он где-нибудь на скамейку между рестораном и эстрадою, и сидит, развалясь, как на тех предательских высоких подушках золотой колымаги Императрицы Елизаветы Петровны, и не шелохнется, млеет или насвистывает, помахивая перед собою тросточкою, в приятном ожидании с одною мыслью: не пора ли чай пить?

Проходящим по боковой аллее видна его серая жокейская шапочка с пуговкою да лопухатые заостренные кверху уши, беспокойно вздрагивающие всякий раз на шорох женского платья.

Не то в воскресенье, когда вечером на бульваре играет музыка. Музыка трогает Стратилатова до слез, от музыки он впадает в раж, минуты, кажется, не посидит спокойно, а если и присядет, то сейчас же встанет и пошел ходить. И что хочешь делай, хоть ножом режь, бегает взад и вперед. К мысли о чае: не пора ли чай пить? присоединяется пробужденное под музыку в его неугомонном сердце неугомонное желание, о котором он высказывается лишь в трогательные минуты дружеских излияний и которое ничем не выгубишь: найти среди гуляющих такую молодую хозяйственную девицу, которая полюбит его бескорыстно. И он бегает, как сумасшедший, будто безглазый, в своих темных очках, как-то носом, что ли, высматривая в нарядной примелькавшейся толпе ту, которая полюбит его бескорыстно, выкликая ее и вышептывая.

Когда сгущаются сумерки и зажигается, затейливо повешенная на проволоке между рестораном и эстрадою, знаменитая лампочка, бульвар оживает. Набираются шумно городские сорванцы и гуляки и за крикливою сворою по следам ее входит что-то подозрительное и скандальное, и бульвар принимает ту вечернюю воскресную выправку, которая сулит мордобой и участок. Одобрение и неодобрение начинают высказываться так громко и беззастенчиво, что хоть караул кричи — тут кавалер какой-то бросил барышне на колени зажженную бумажку, и та завизжала, словно перерезали ей горло, там другой кавалер ущипнул незнакомую даму, и опять крик. Крики, хохот, смешки, шутки, шалости и дурачество.

Стратилатов втирается в самую толчею и, окруженный молодежью: писарями, канцеляристами и всякой мелочью, бала-

гурит на свою излюбленную тему и, дойдя до крайности в неистовстве своем, ржет. Но и в неистовстве своем под разгонную отчаянную музыку осипших инструментов, под пьяные выкрики из ресторана, под обрывки визгливых куплетов надоедливых, повторяющихся и каких-то пропащих вроде тех, что поются у нас из году в год —

А это затмение было в кабаках,
А это затмение было в кабаках...

— среди всего этого пропащего затмения и искрою пробегающего тут и там самого безобразнейшего скандала, Стратилатов и в черной толпе ищет среди гуляющих ту, которая полюбит его бескорыстно, выкликая ее и вышептывая.

— Я кавалер, — говорит про себя Стратилатов, когда в понедельник начинают в суде прохаживаться насчет какого-нибудь бульварного происшествия, — я не позволю себе, не бриторылый лоботряс, не мальчишка я, Забалуева сын, Забалуев.

Нагулявшись вдосталь на бульваре, к десяти возвращается Иван Семенович домой чай пить.

Стратилатов любит чаю попить, пьет его помногу, не спеша, крепкий, как чернила, с панским вареньем, а чаще с медом — с липовым протопоповских сотов о. Пахома. Если случится гость, он всегда рад гостю, предложит стакан, угостит, потолкует, покажет редкости и честь-честью проводит до двери. Гости долго у Стратилатова не засиживались: напился чаю и ступай.

За самоваром, как выходит седьмому чайному поту, появляется музыка: Стратилатов на гитаре мастер да и петь, хоть голос не ахти какой, худо-не-худо, поет с чувством, с толком и страстью.

Гляжу как безумный на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль...

— поет Стратилатов, бренчит гитара. С умилением слушает Агапевна.

— Что, хорошо?

— Хорошо, батюшка, уж так хорошо, страсть как.

— То-то.

Что он ходит за мной,
Всюду ищет меня
И, встречаяся, глядит
Так лукаво всегда?..

— поет Иван Семенович, бренчит гитара.

Слушает Агапевна, пригорюнилась старая, слеза прошибла, плачет.

— Что, хорошо?

— Уж так хорошо, страсть как.

— То-то.

В будние дни пению уделяет Стратилатов малый срок — в будни дела, да и не время, зато в воскресенье уж сколько душе угодно и до прогулки и после прогулки — весь день, будто в радости, поет песни.

Наверстывается ли суббота, а в субботу, отстояв всенощную и не заходя домой, отправляется он на бульвар, с бульвара в Денисиху — в Денисихе такие д о м а б е з з а к о н и я — и, пробыв там час, другой, прямо ложится в постель, или еще по какой никому неведомой причине, только в воскресенье после заутрени в Прокопьевском и поздней обедни в Зачатьевском пению конца нет. И если уж сравнить, то не в обиду будь сказано, соловьем заправским, курским соловьем заливается Иван Семенович и весь дом всехсвятского дьякона, словно лес по весне, оглашается пением. Беспрепятственно, как по указу, проникает песня за стенку к надзирателю и вьется ласточкою у Всехсвятского алтаря над могильными крестами.

— Что, хорошо?

— Хорошо, батюшка, уж так хорошо, страсть как.

— То-то.

Кроме Агапевны одно время непременным слушателем стратилатовских песнопений состоял некий художник из Петербурга, говоривший на пяти языках, как сам о себе славил.

Появился этот Шабалдаев или, шут его знает, как его по-настоящему, нежданно-негаданно, и прямым путем с пристани к Стратилатову. Похвалил его редкости, удивился его познаниям и начитанности, вкусу и соображению и расположил таким образом. Похвалой и города берут. А кроме того, хоть и не оби-

дел Бог художника, дал ему росту, но во всем прочем пренебрег — вид совсем не художественный, гунявый какой-то, жалкий, ну, пиджачишка, правда, франтоватый и воротнички, и малиновый бархатный жилет, да все такое поистертое и поистрепанное, под мышкою портфель с картинами.

Русский человек жалостлив, разжалобился Иван Семенович. А тот лисицей. «Я, — говорит, — не постесню вас: сам лягу на лавочку, хвостик под лавочку, а портфель под печку». И оставил его ночевать. Ночь переночевал, а уж там, метлами гони, не уходит. Так и водворился.

А прожил неделю — другую, обжился, обтерпелся, оправился — брехун и хвастун, за милую душу обойдет и в дураки поставит, и такой плут — так и лезет в ухо, вот какой художник!

Иван Семенович на службу, а тот себе по городу шастать, будто картины писать и, хоть никогда кисти в руках не держал — в портфеле-то оказались одни картинки, вырезанные из «Нивы», а все-таки за художника его все принимали.

Народ у нас робкий и опасливый.

Стратилатов, однако, скоро раскусил своего сожителя, и большое находил удовольствие выводить его на свежую воду, а кстати, и поиздеваться. Хвастал, например, художник, будто на пяти языках говорить может, да похвальбой не города брать — похвальба хлопушка, хлопнул и нет ничего, оказалось ведь ни уха, ни рыла ни в чем не смыслит, кроме разве брехни своей дурацкой. Хоть и правда говорится, что брехнею свет пройдешь, а поставит ему Иван Семенович какой-нибудь вопрос по русской истории — в каком, мол, году Тушинский вор короновался, или чтобы перечислить всех бывших на Руси скопцов-митрополитов, — тот и начнет вилять, и сколько ни ссылается на какую-нибудь там княгиню Конкратову, у которой он будто бы принят, как свой человек, да на свои знакомства со всякими петербургскими сановниками, художниками и писателями, припертый к стене, в конце-то концов прикусит язык. Гнать бы его тут и в хвост, и в голову вместе с его портфелем, но Иван Семенович не гнал, а держал при себе и большое находил удовольствие, затевая споры, выказать свое превосходство.

Уж через какой-нибудь месяц Стратилатов говорил ему ты, затем стриг его, причем выделывал самые различные прически

от языческой — язычником, которого св. Владимир крестил, и каторжной, выстригая всю левую половину, а к правой не прикасаясь, или, наоборот, левую не тронет, а правую начисто всю выбреет, до французской по картинке, под какого-нибудь графа Де-ла-Гарта или прямо под Наполеона, и всегда таскал с собою на прогулку.

— Для оттенка вожу, — пояснял Иван Семенович, — девицы посмотрят, сравнят, кто лучше.

Спал художник в гостиной на сундуке — портфель под голову, за одеяло пальто, а вместо подстилки какие-то ватошные вещи Агапевна доставала. Всякий раз, отходя ко сну, Иван Семенович сначала крестил его, затем напутствовал и всегда в одних и тех же выражениях:

— Ты смотри, шут гороховый, внизу то-то там книги, а ведь ты слабый человек, взять с тебя нечего!

С год прожил художник у Стратилатова, сопровождая своего благодетеля на прогулках и слушая его пение. И ведь до чего дошел человек, там где-нибудь в Петербурге, может быть, и вправду втирал очки тем же сановникам, писателям и художникам — мало ли дураков на земном шаре! — да и тут крутил и все его как-то опасались, а перед Стратилатовым в бараний рог согнулся. Вздумалось Ивану Семеновичу, чтобы величал он его не иначе, как деспотом — деспот, мол, Иван Семенович, — так и против этого не восстал.

— Познай грех свой и безумие, мошенник, — скажет, бывало, Стратилатов, — я твои все пять языков покорю.

— Покоряйте, деспот Иван Семенович, воля ваша.

— В тюрьму тебя засадить, шельмеца, в подтюрьмок.

— Сажайте, деспот Иван Семенович, воля ваша.

— Потрясешь там своими бубенчиками, жульник.

Художник на все соглашался.

Такое послушание объяснялось очень просто: ведь как никак, а благодаря Стратилатову был у художника и даровой ночлег, и стол, — обстоятельство очень важное, и при нужде из-за одного этого на все пойдешь. Ну куда бы он без гроша сунулся, кто б его пустил к себе с его дурацким портфелем? Правда, места не пролежит, да ведь по нынешним временам всякого оторопь возьмет: а что если в портфелишке-то не картины, а разрывная бомба или какой-нибудь гремучий студень лежит?

Народ у нас робкий и опасливый.

Как нежданно-негаданно появился этот Шабалдаев или шут его знает, как его по-настоящему, так и исчез внезапно. Полюбился он члену суда — был такой пьянчужка-член в нашем суде Просвирнин, а полюбился за то, что пьет здорово и просить себя не заставит, так рюмка за рюмкой без закуски. Пили они раз у Бархатова и напился этот член до упаду, брякнулся спьяну наземь и стал на четвереньки, никак не может подняться, хоть ночуй в участке. Довел его художник до квартиры, получил в благодарность сто рублей взаймы, да и был таков. И сколько ни искали, ни тела, ни костей его не нашли.

Всегда с удовольствием вспоминал Стратилатов своего сожителя и никакого дела ему не было, что сожитель-то вовсе и не художник, как впоследствии оказалось по справкам, и не сыскной агент, как рекомендовал сам себя полицеймейстеру Жигановскому, а вообще личность темная и притом турецкий подданный. Все равно, турецкий подданный или художник, из Петербурга он или из Риги, безразлично, ведь больше уж не было никого под рукою у Стратилатова, кто бы, кроме Агапевны, так внимательно слушал его пение, не было человека, перед кем можно было бы так легко развернуться вовсю и безопорно.

Не так давно сдружился было Иван Семенович с регентом Ягодовым, и большого дал маху, уж думал, и жив-то не будет и небо-то ему с овчинку показалось тогда, — попал впросак, что говорить.

Не хуже того художника, как снег на голову, свалился Ягодов в наш город и сразу всех с толку сбил. Его визитная карточка, ходившая по рукам, производила на всех весьма сильное впечатление.

«Композитор церковных песнопений, санкционированный Святейшим Синодом, имеющий знаки отличия и прочая. А. К. Ягодов». — Вот она какая карточка!

— Шутка ли, санкционированный Святейшим Синодом!

— Пять золотых медалей имеет!

— Достали-таки мы себе человечка!

— Сто двадцать пудов одних нот привез!

Так и этак рассказывалось на всех перекрестках. Потирали руки от удовольствия: церковное пение у нас любят и регентами дорожат.

Обойдя достопримечательности города, после монастырей Прокопьевского и Зачатьевского, после бульвара и трактира Бархатова регент зашел к Стратилатову. Явился он весь в медалях, показал свою визитную карточку и воспламенил Ивана Семеновича. Забренчала гитара, пошло пение: пускай, дескать, умный человек голос попробует! — так думал Стратилатов. И не ошибся: регент слушал внимательно, прослушал несколько песен и, снова для внушения, должно быть, показав свою карточку, одобрительно потрепал по плеши Ивана Семеновича.

— Невелик у вас голос, — сказал регент, — потому что не работали над развитием голосовых связок, вторым тенорком петь можете.

И с тех пор повадился таскаться к Стратилатову и все будто пение слушать. Слушал не больно охотно и сколько раз даже прекратить просил, а между тем, под предлогом развития голосовых связок, требовал себе вознаграждения. Иван Семенович не ласково, но все-таки давал регенту двадцать одну копейку, ровно на косушку без посуды, а затем стал отвиливать и вовсе отказал. Но не в этом заключалась вся беда регентских посещений. Бог с ним, с вознаграждением, — изредка, ну раз в месяц, Иван Семенович, пожалуй, и дал бы двадцать-то одну копейку, не разорился бы, не в этом дело: регент всякий раз смущал его своими разговорами и наводил на грех.

В одно из первых регентских посещений Стратилатов, выкладывая перед гостем всю свою ученость, заговорил о Пушкине. Регент же помнил всего-навсего одну Птичку, но не пушкинскую, а которую еще в школе пел: Ах, попалась птичка, стой! — да и ту наполовину, в чем не преминул чистосердечно признаться. И все это оказалось кстати и в пору — ведь Стратилатову только того и надо: желая показать свое превосходство, приналег он на Пушкина, насказал стихов много и все, как сам выражался, эротических.

— Пушкин, — сказал в заключение Иван Семенович, — хороший человек, да погубил свою душу Гаврилиадой.

Вот уж истинно — слово не воробей, выскочит, не поймаешь: сказал Иван Семенович о Гаврилиаде и промахнулся. Регент почему-то заинтересовался, стал расспрашивать и, узнав суть Гаврилиады, уцепился обеими руками — с ножом к горлу пристал: дай ему переписать. Не желая входить в какие-ли-

бо препирательства — ведь не только рассуждать, но и думать о Гаврилиаде Стратилатов до смерти боялся — вытащил он из шкапа синюю страшную тетрадку и дал ее, чтобы только отвязаться. Дал и уж окончательно завяз, попал в ловушку и не выскочишь. Регент не только переписал Гаврилиаду, но и на зубок ее всю выучил, да и давай с тех пор перед Иваном Семеновичем на память стих за стихом точать: придет вечером чаю попить, возьмется за стакан и уж с языка не сходит она у него, и хоть бы запнулся разок, нет, слово в слово, буква в букву. Иван Семенович и не знает, что ему делать, за что и взяться, прямо невтерпеж: и в жар-то его бросает, и пот прошибает, и ерзает-то он, а поделать ничего не поделаешь: назвался груздем, полезай в кузов.

— Тебя, регент, — отмахивается Иван Семенович, — тебя за это живьем на угольях изжарить, вот что, как князя Воротынского Иван Грозный изжарил, вот что, или в тебе Бога нет?

А тот себе бабкает — нашептывает, пропади он пропадом!

Истерзав Гаврилиадою, регент принимался за философские рассуждения и опять нагонял такую чуму — приходилось туго. Гаврилиада из головы не выходила, а от философии голова трещала.

Сколько вечеров изводил регент Ивана Семеновича головоломным вопросом о четвертом лице Св. Троицы и о возможности ее пополнения — как сие возможно? — или о каком-то съезде двенадцати царей, которые станут искать правды и закона, зарытых в каком-то кургане под Полтавой, и когда откопают закон и правду, будут раздаваться даром сапоги и притом все на одну колодку и всем и каждому носить обязательно, хотя бы и не по ноге — как сие возможно? — или о каком-то курином слове, которое, если знать, так все тебе можно, и наконец, о надвигающейся комете, хвост которой заденет землю и в какие-нибудь полминуты все погибнут, и люди, и звери.

— А как же страшный суд, ты врешь, — упирается Иван Семенович, — годится ли этак делать, это не предусмотрено.

— Без всякого суда в полминуты, — стоит на своем регент, — от газов.

— От каких газов! — вскакивает в ужасе Иван Семенович.

— От газов, — тянет свое регент, — и никуда не скроешься, задохнутся без вина пьяные, без ума сумасшедшие, люди и зве-

ри одинаково, и останется повсеместно одна трава-крапива жгучка.

Ну как же тут не смутиться — комета еще что! — хуже бывала философия, вот хотя бы о том же шишигином хвосте: будто закроет тебя шишига хвостом, и ты пропадаешь и, сколько ни ищи, не найдут тебя, да и сам себя не найдешь, или о каком-то всеобщем и обязательном и притом искусственном погребении вроде австралийского и все как-то сбивчиво, спутанно, неясно, непонятно и ровно что против веры — как же тут не впасть в грех?

Одна лишь случайность выручила из беды Стратилатова. В соборном хоре под управлением Ягодова участвовали гимназистки, и вот после двух-трех генеральных спевок поступила в церковное попечительство жалоба, что регент обращается с гимназистками не по-композиторски. Попечительство произвело расследование и после праздников уволило Ягодова за халатное отношение к делу. Воспользовавшись случаем, Иван Семенович тотчас раззнакомился с приятелем, — предлог был самый подходящий: и это халатное отношение, и то, что на регентской визитной карточке появилась совсем другая надпись: «Бывший паршивого соборного хора регент А. К. Ягодов».

Страшнее всякой кометы стал Ивану Семеновичу этот регент, — закаешься и дружбу водить, — добрым словом ни разу не поминал он приятеля. И пусть лучше одни враги будут, и ты один останешься посреди травы-крапивы, так было отчаялся Иван Семенович.

Но сердце — не камень, в самое последнее время опять нашелся приятель — Зимарев Борис Сергеевич, помощник секретаря. Эта новая дружба возникла из побуждений совсем другого рода: о том, чтобы перед приятелем показать свое превосходство, не могло быть и речи, да и пение оставалось в стороне. Художник и регент, по убеждению Стратилатова, в подметки не годились Зимареву. Во-первых, Зимарев — его непосредственный начальник и защитник его перед секретарем Лыковым, во вторых, такой знаток древностей, что любого ученого за пояс заткнет и, наконец, балагурств стратилатовских не поддерживает и в разговоры такие разные не вступает, будто золотом уши завешаны, а все по-умному и деловито, даже до чрезвычайности.

Сухонький, маленький, волос на голове совсем нет, когда ходит, левой ногой подпрыгивает, а как усядется рядышком с Иваном Семеновичем, да уткнутся оба в какую-нибудь старинную рукопись или икону определяют, уши их сходятся — уши у Зимарева чуть разве чем поменьше стратилатовских.

С уважением относился Стратилатов к новому своему приятелю, ценя в нем и начальника, и ученого, и тишайшего скромника, советовался с ним, изливал свои горести и, хоть тот во внуки годился ему, смотрел, как на равного себе, пожилого, умудренного долголетним опытом, словом, видел в нем себе ровесника, правда, плохо сохранившегося, но все-таки одних лет.

Зимареву, не в пример прочим гостям, полагалось немного посидеть и после чаю и хлеб ему подавался вкусный, настоящий ситный, а не такой, как другим, что и проглотить не хочется — настоящий кирпич, и всякие крендели, и витушки, и варенье ставилось не заплесневелое, а то у Стратилатова варенья большой запас: которое заплесневеет, снимет плесень и расходует на угощение.

С течением времени Зимарев подобно художнику и регенту само собою попал как-то в непременные слушатели стратилатовских песнопений.

— Великое дело пение, — говорил Иван Семенович, как бы оправдываясь за свою страсть перед строгим, не издающим и мышиного писка, молчаливым приятелем, — одному петь невозможно, грустно одному, Борис Сергеич.

Обыкновенно вечером после прогулки, напившись чаю и поиграв на гитаре, Стратилатов усаживается за книгу и читает до часу. Чтение историческое и стихи больше по душе ему в его одиночестве, чем повести и рассказы, которых знает он так много, что, право, и читать уже нечего. Любимые его поэты — Некрасов и Кольцов, но выше всех ставит он поэта, которому Фет передал свой трепетный факел, его считает он всемирным поэтом.

— Ну и сан ведь высокий! — поясняет Иван Семенович, привставая всякий раз от избытка почтительности. Ровно в час закрывается книга, аккуратно ставится на полку либо в шкап на свое место, и тушится лампа. Усердно помолившись на сон

грядущий перед Грозным и Страшным Спасом, перед Божьей Матерью — Всех Скорбящих Радости, и, поворчав для острастки на Агапевну, ложится Стратилатов спать, завершая молитвою и воркотнею свой трудовой одинокий день.

— Ведь вот уж я не то, что другой, — любит говорить Иван Семенович и сам с собою, сладко потягиваясь под одеялом, и знакомым своим среди белого дня в канцелярии, — кто бы в трактир, а вы посмотрите, сколько я перечитал, сколько собрал редкостей, и беспорочная служба, и тут и там успеваю, меня и шишига хвостом не закроет — не пропаду, потому что человек я хороший. И говоря так, Иван Семенович ничуть не хвастал, да и всякий мало-мальски сведующий готов был обеими руками подписаться, что действительно шишига хвостом его не закроет и что человек он хороший. В этом роде все и высказывались и только один единственный раз начетчик купец Тарактеев, приятельствующий с Зимаревым по части нумизматики, человек смышленый и не дурак деньгу зашибить, не очень-то лестно отозвался о своем соседе, и на возражение Зимарева, что Стратилатов тоже ведь человек, усмехнувшись, сказал:

— Неужели человек? — и опять усмехнулся, — а я думал, — шишимора.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Нынешняя весна выдалась особенная: заветная мечта Стратилатова устроить себе тихий семейный очаг готовилась осуществиться. Казалось Стратилатову, что нашлась та молодая хозяйственная девица, которая виделась ему в Денисихе, когда брал он за руку размалеванную Таньку Мерина, и слушала его, когда разливался он под гитару пуще соловья, и высматривала со всех открыток, старых портретов и гравюр, которую искал он, шныряя вечером по бульвару среди гуляющих и гулящих, нашлась она, наконец, недостижимая, недоступная, немыслимая, которая полюбит его бескорыстно.

Нет, что хотите, а старик не спятил с ума, он только чувствовал, как все в нем обновляется и подтягивается: вместо малино-

вой плеши развеваются темные кудри, что так нудят девье сердце, и заголубели глаза и стал он почти что стражник Емельян Прокудин, стройный такой, осанистый, бледнолицый с красными губами и только что шпор нет.

Выйдя поутру в обычный свой час, Стратилатов, сам не зная чему, вдруг обрадовался: тому ли, что с крыш потекло и галки на крыше и потемнела всехсвятская алтарная стена, тому ли, что дьякон Прокопий прошел в церковь совсем налегке в одном подряснике и лишь по привычке обмотал шею шарфом да нахлобучил меховую шапку, и пробежала баба с коромыслом и ведром на церковный колодец в одном платье и козловых сапогах, и расходилась курица, кудахча: куда-куда яйцо снести? — или все тому же стражнику Емельяну Прокудину, который, стуча шпорами, прошел к надзирателю? Все его радовало и хотелось, чтобы все были рады. У каменного тарактеевского дома с высоким крыльцом он остановился было, чтобы дух перевести, и ему страсть захотелось подарить соседу какую-нибудь золотую редкую монету, ну петровский двойной червонец, что ли, только сейчас, сию минуту...

— «Господи, Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми»!.. — шептал Иван Семенович молитву преподобного Ефрема Сирина, следуя по Поперечно-Кошачьей на толкучку.

В свой обычный час явился Стратилатов в суд и много разных разностей принес в этот день с толкучки — улов старины выдался необыкновенно удачный.

Урвав минуту от переписки, опустил он руку за стул и, вытащив из груды покупок, сложенных в горке, несколько затейливых вещиц, положил их на стол перед Зимаревым, а из бокового кармана складень красной меди на самый верх.

— Есть девица хорошего роду, ваш совет не мешало бы, — наклонившись к самому уху соседа, зашептал Стратилатов пересохшими губами.

Зимарев покосился на разложенные вещи, красная медь складня кольнула глаза и очки его вдруг потускнели.

— Вы, Борис Сергеевич, человек положительный, не так чтобы уж молодой, присоветуйте-ка мне: Надеждой ее зовут, у Артемия, старого покровского дьякона живет, племянница.

А тот, утвердительно покачивая головою, бегал по складню своими тонкими пальцами и перевертывал его и к себе так близко подносил, словно обнюхивал.

— Дьякон-то пьющий, — продолжал Иван Семенович, — во время службы падает, а она тоненькая да беленькая, сиротка, сами увидите.

— Так, так, она самая! — Зимарев захлебнулся от удовольствия, забрало его за живое: складень оказался редкий, такого он давно добивался, везде разыскивал — это был наш русский Никола, простоволосый, с церковкою и мечом в руках, Никола Можайский.

— Хорошего роду, племянница дьякона, деться ей некуда, тоненькая да беленькая... — Стратилатов поднялся со стула и от волнения стал гладить себя по плеши, минуту казалось, что он выкинет какую-нибудь самую неподобную штуку: либо удар его хватит, либо, обалдев, на стол полезет.

— Голгофа! — крикнул вдруг Адриан Николаевич, указывая на него волосатым перстом.

И поднялось в канцелярии то, что обыкновенно бывало всякий раз, как почему-либо являлся секретарь Лыков с запозданием: со всех сторон посыпались на Стратилатова дурачества и насмешки и пошли глупые выходки, фык и шмык.

— Эх ты, генеральский нос! — кто-то пискнул из пишущей машины.

— Никола Дуплянский! — отозвалось из коридора.

— Авария! — поддал пару безногий.

— Как твой Бог поживает, здоров ли? — ввернулся писарь Забалуев.

— Видно, простудился! — хихикнул кандидат, сосед Зимарева.

— Гуся ел да поперхнулось! — отпустил Корявка.

— А я видел Ивана Семеновича с двумя девицами на бульваре! — перекинул другой кандидат от стола Адриана Николаевича.

— Неуёмный бубен! — поддакнул Забалуев.

— Гекуба, — потянул своим хищным носом безногий, — фальшивый грош на тарелку положил!

И много еще всяких заковырок и шпилек подпускалось Стратилатову, но он, уж снова уткнувшись в переписку, слушал

лишь краем уха и даже ни разу не огрызнулся, как огрызался в таких случаях, не сказал своего обычного: «Прошу вас заниматься делом!»— даже плешь не вспыхнула.

Адриан Николаевич, славившийся высоким искусством составлять прошения, никогда не остававшиеся без последствий, ибо от роду, должно быть, написано ему было заниматься таким художеством, закончил какую-то важную бумагу, и, выставляя вперед клочковатую рыжую бороду, принялся читать ее во всеуслышание.

Само по себе торжественное заканчивалось прошение не менее торжественно.

— «За неграмотную всеподданейшую Ксению Федорову Пискунову, — смаковал безногий, отчеканивая слова,— всеподданейше подписался столоначальник Адриан Николаев Хренов, с величайшим умилением всенижайше прошу к снисхождению моему горькому семейству заключающуюся именно я сам».

— Я сам, — залопотал Корявка, у Корявки язык будто в киселе и весь он какой-то слизлый, а голова беспросветно в подпитии, — я всегда сам! — и полез было с пером подписываться.

Но Адриан Николаевич, грозно подняв волосатый перст, выкрикнул в ярости и исступлении:

— Вставай же, поднимайся, пьяная развратная Русь, и принимай в объятия своих врагов!... — и, отпихнув помощника, туго свернул прошение так, что слоновая бумага хряснула, и вдруг впал в то запойное благодушие, которое оканчивалось совсем неблагодушно.

В канцелярии тотчас все притихло и перья чуть-чуть скрипели, как бы боясь нарушить счастливую, обещающую большое развлечение минутку.

Подперев свою седую голову, затянул безногий любимую разбойничью песню — последнюю песню Ваньки Каина, и пел ее на голос удалую, разгульную, бурную по-разбойничьи:

> Не шуми, мати, зеленая дубравушка,
> Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати!
> Что за утро мне, доброму молодцу, в допрос идти...

— Мирный тихий очаг... она тоненькая да беленькая, сиротка, деться ей некуда, — шептал Иван Семенович Зимареву, обсасывая, как ложечку с медом, стальное перо и, никого не заме-

чая, видел лишь ее тоненькую да беленькую сиротку, чувствовал и был на все готов; расходилось под песню сердце: и пусть она сердце его высосет и тело его иссушит...

И когда появился секретарь Лыков и с помощью сторожей, одноглазого Лукьяна и Горбунова, не прекращавший пение Адриан Николаевич заключен был в архивный шкап и там, надрываясь, кричал на весь шкап и потом начинал плакать, хныкал как дитё, жалобно приговаривая, что надоело ему и тяжко жить, Иван Семенович расчувствовался, и стало ему жалко безногого.

— Плеть обуха не перешибет, Борис Сергеевич! — сказал он срыву и громко, метя в Лыкова, чего никогда бы не позволил себе, не будь такой сердечной минуты.

> У Троицы у Сергия было под Москвою:
> Стояла новая темная темница;
> Во той ли во новой, во темной темнице
> Сидел удаленькой добренькой молодчик...

— протяжно плакал безногий.

Тут всех прорвало, лопнуло последнее терпение, кто-то фыркнул и пошли хихикать да пересмеиваться. Не смеялся один Лыков.

— Удостойте переписать! — говорил он, обходя столы и подкладывая каждому кипу бумаг; ключ от архивного шкапа висел у него на мизинце.

Не смеялся и Стратилатов, любивший посмеяться над безногим, и не то, чтобы прошло время, а такая, видно, выпала минута.

И за чаем выказал он себя в этот памятный день тоже необычно: из своего синего мешочка потчевал он чиновников сахаром и неудержимо болтал всякую чепуху чепушистую, молитвенно с восторгом как-то произнося свои излюбленные ходовые словечки, как-то с умилением, точно слово Божие, либо высокие титулы высоких особ. Все естество его было переполнено.

— «Господи Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми!» — шептал Иван Семенович молитву преподобного Ефрема Сирина, вдруг останавливаясь на самых интересных местах, и снова пускался болтать еще чепушистее.

Все естество его было переполнено.

В первый раз увидел Стратилатов Надежду — предмет своей любви — летом на именинах у Артемия, старого покровского дьякона. Слаще меду и сахару показалась она ему.

— Молоденькая такая — шестнадцать лет — да тоненькая, а как стали за ужин рассаживаться, расселась — полдивана заняла, на пальчике серебряный перстень с бирюзою, голубка гурливая! — так после передавал Иван Семенович свое первое впечатление.

Весь вечер он глаз не сводил с нее, подсаживался, смешил анекдотами, а стали в салки играть, ее одну салил, а в фантах, как набирать тройку, она сама его выбрала.

Встречались на бульваре — Надежда у портнихи Елены Антоновны работала и постоянно в воскресенье с мастерицами на бульваре прогуливалась, — гулял с нею. И лето, и осень, и всю зиму ухаживал.

Дальше да дальше, попался огонь к сену, залюбилась она ему, что банный пар, извелся и на себя не похож стал; и спать уж не спит по-настоящему, все ворочается, — тошно тому, кто любит! — одна она в мыслях, одну поминает, только ею и бредит:

— Голубка моя, гурливая!

Агапевна уж тайком кота завела. Приучила кота под кроватью ночевать, чтобы сон нагонял. Уляжется Иван Семенович, выгонит она Ваську из-под печки, пустит под кровать. А Васька такой воркотун, заведет свою песню: в и л ы - г р а б л и, с е н о к л а л и — чего еще? — спи, нет, все ворочается — тошно тому, кто любит! — одна она в мыслях, одну поминает, только ею и бредит:

— Голубка моя, гурливая!

Хуже того, как узнал про кота, целую бурю поднял:

— Не хочу,,— говорит, — под вилы-грабли спать, не грудной я младенец, где увижу кота, тут и задавлю, кот весь дом опалит.

И действительно, Васька за короткий промежуток след по себе оставил: все корешки «Русской мысли» и «Вестника Европы» опалил, а, по верхам шатаясь, задел и приходорасходную книгу и кое-кого из красавиц.

Покорилась Агапевна, завязала Ваське глаза, отнесла на пустой двор, там и покинула.

Еще плоше дело пошло, постылы потянулись дни — вчерашние щи, третьеводнишная каша добрее! Стало Ивану Семеновичу по ночам представляться, будто не одна у него, а две головы — разветвилась шея на две жидких шеи и на каждой по голове болтается. Любовь-то безумит! И стонет он ночь по-медвежьи, хоть зови попа да отчитывай.

— Зачем так стонешь, батюшка? — окликнет Агапевна.

— Нет, старуха, пройду я по двору и все прекратится.

И пойдет, выйдет во двор и прямо к рябине — рябина у могильных крестов — влезет на нее, да сверху и станет спускаться вниз головою. Любовь-то безумит! И стонет он ночь по-медвежьи, хоть зови попа да отчитывай. Болит сердце, печалью полна его грудь, одна она в мыслях, одну поминает, только ею и бредит:

— Голубка моя, гурливая!

Набралась страху Агапевна, тайком окуривала его ладаном, все боялась, не случился бы грех: подкараулит шишига да хвостом его и закроет — наложит он на себя руки. Да Бог дал, все вдруг по маслу пошло.

На самую масленицу заходит Елена Антоновна, будто к Агапевне, и за чаем, расхвалив Ивана Семеновича за благообразие его и примерность, за жизнь его скромную и воздержанную, прошлась на счет пьющего Артемия и сиротки его племянницы, которой деться некуда.

— Нечего вам одному век вековать, Иван Семенович,— турчала в уши Елена Антоновна, — вы еще молодцом, а от Агапевны у вас грибы по углам выросли; взяли бы к себе Надерку, все-таки молодой луч!

Предложение Елены Антоновны было по сердцу и под руку Стратилатову, но сразу решиться на такое он не мог: и сердце не терпит, и рад, и до смерти боится — пошли сомнения и не верилось.

— Молоденькая такая — шестнадцать лет — да тоненькая, а как стали за ужин рассаживаться, расселась — полдивана заняла, на мизинчике серебряный перстень с бирюзою, голубка моя, гурливая! — рассуждал сам с собою Стратилатов, нет, не верилось.

На первой неделе Иван Семенович говел и, приобщившись в субботу, послал на провед Агапевну к Артемию осмотреть

племянницу: больше откладывать дела нечего, надумался и решил.

Ходила разведчицею Агапевна и вернулась с приятною вестью.

— Дюже хороша! Походка павлиная, разговор лебединый! — нахваливала Агапевна Надежду, как цыганскую лошадь, и подливая масла в огонь, бесповоротно утвердила Ивана Семеновича в его решении.

Одна была остановка — сама Надежда: как посмотрит она на стратилатовское предложение и согласится ли переехать в дом Всехсвятского дьякона Прокопия? Это последнее и непустяшное дело взялась устроить Елена Антоновна.

Елена Антоновна и не за такое бралась. И уж в начале крестопоклонной недели все было устроено самым благополучным образом и без всяких, словно по щучьему велению.

В середу — в памятный для всех день, Иван Семенович признался Зимареву и закрепил тогда признанье свое подарком редкого складня Николы Можайского, а в пятницу, показывая приятелю какую-то старинную вещицу с толкучки и, по обыкновению, наклонившись к самому уху, сказал, придавая голосу особенную деловитость:

— Надежда согласилась, сегодня переедет! — и, не сдержав уж чувств своих, распустился в такой павлиний хвост, что сам Лыков, принимавший бумаги, улыбнулся.

Нет, что хотите, а старик не спятил с ума, он только чувствовал, что уж не в состоянии высидеть до конца в длинной низкой закопченой канцелярии, что не место ему тут за большим, изрезанным ножами столом, а там — на воле, где вот тронется — пойдет река, и шумят приречные ракиты, и чернеют болотные кочки, и птицы летят. И он в первый раз за всю свою сорокалетнюю беспорочную службу, под предлогом внезапного внутреннего расстройства, ушел из суда на двадцать три минуты раньше срока, причем о этих незаконных двадцати трех минутах заявил от полноты чувств своих не только Зимареву, что, пожалуй, и полагалось, но и писарям, Корявке и Забалуеву, и сторожам, Лукьяну кривому и Горбунову.

Из суда Стратилатов повернул не направо, к Поперечно-Кошачьей, а налево к Покровской — в сберегательную кассу, и, положив шестьсот рублей на имя Надежды, с облегченным серд-

цем пустился домой. Его тяжелые огромные калоши саженями скрадывали пространство. Он мчался во весь опор, так не то черт, птица не поймает. Жилистые тоненькие ножки горели, а пестрый платок торчал красным ухом — то и дело вынимал его Иван Семенович и обтирался. Проворно поднявшись на крыльцо, крепко ударил он кулаком в дверь и, не передохнув, снова ударил и ударил в третий раз — сидела на дворе куча воробьев, всех спугнул.

— Кто, батюшка, кто? — зашамкала за дверью Агапевна.

— Я, старая, отпирай.

Весь горел от нетерпения и все второпях, и обедал Иван Семенович на скорую руку, все на часы посматривал — Елена Антоновна обещала привести Надежду к вечеру, а уж темнело. И спать не лег.

Белая лебедь не раненая, не кровавленая будет у него живьем в руках, а как миловать ее будет и жаловать!

— Мно-о-о-гая, мно-о-гая лета! — бурчал себе под нос Стратилатов.

Да и не заснешь, пожалуй. Колченогой железной кровати не было, еще утром унесла ее Агапевна в сарай. На ее месте стояла широкая кровать красного дерева с бронзовыми маленькими крылатыми львами и венчиками, а вместо продавленного тюфяка подымался пружинный матрац, правда держанный, но зато совсем, как новенький, алое пушистое одеяло и гора белых подушек.

Белая лебедь не раненая, не кровавленая будет у него живьем в руках, а как миловать ее будет и жаловать!

— Мно-о-о-гая, мно-о-гая лета! — бурчал себе под нос Стратилатов.

Как на Рождество и Пасху, все было прибрано и вымыто, с картин стерта пыль и снята паутина и, кажется, не осталось в целом доме ни одного паучка. Не день, видно, месяц шли приготовления.

В гостиной в чудесное зеркало отражался шестнадцать раз белый, покрытый камчатною скатертью стол, круглый медный поднос с косичкинскими и хаминовскими сластями и чупраковскими пряниками, и рядушком с стратилатовскою на раззолоченной решетке чашкою, вмещавшей в себе до-

брых два стакана, заветная чашка — яйцо на куриных ножках с золотым крылом вместо ручки.

Агапевна хлопотала на кухне, возилась с пузатым никелированным самоваром, рыжий стратилатовский сапог ухал от натуги.

Иван Семенович поправил лампадки, перетащил укладку с серебром на сундук с книгами, положил в укладку книжку из сберегательной кассы — шестьсот рублей, запыхался, раскрыл красный шкап, сунул в карман печать свою — от оного свое начало все восприяло, бережно вынул золотые туфельки и, присев к столу на царское кресло, тихонько стал их на коленях у себя повертывать, словно прилаживая к маленькой ножке, непослушной такой и брыкливой, золотые туфельки.

Скажи только, что хочешь, он все отдаст, будет дарить, будет охранять на вечные веки телом, кровью и жизнью, скажи только, что хочешь, будет служить верно и вечно, белая лебедь не раненая, не кровавленая, белая лебедь!

— Мно-о-о-гая мно-о-гая лета! — бурчал себе под нос Стратилатов.

Теснее и теснее становилось ему в его заставленной, хоть и вымытой, вычищенной и без единого паучка, комнате. Душно становилось в комнате, как в паучином гнезде, душило нетерпение, как тот гнев, что не уложишь, меч, что не уймешь, огонь, что не угасишь, а сердце, прядя волну за волною, в пылу и трепете заплывчивое неуимчиво искликало и иззывало...

По-весеннему уж синел вечер на воле, томные на талом снеге высматривали кресты от Всехсвятского алтаря, черный ворон верный сидел на кресте. Два луча от лампадок — от Спасителя и Богородицы — скрестившись на золоте туфелек, горели багряною звездою.

Все естество его укреплялось и утверждалось и, как крепкое дерево под крепкою бурею, упорно уходило в глубь земли железным корнем, богатырский костяк вырастал в нем.

Вспомнил ли о чем, или спохватился, или кровь разыгралась, выронил он туфельки, встал, и, заложив большие пальцы в карманы жилетки, будто безглазый в своих томных очках, уставился на себя в зеркало и, отраженный шестнадцать раз, улыбнулся — так улыбнулся, что большой белый зуб сверкнул в углу рта, — пуще смерти истома...

В шестнадцать лет невинное смиренье,
Бровь черная, двух девственных холмов
Под полотном упругое движение...

— шептал он, не переводя дух, стих за стихом из страшной синей тетрадки, а два луча от лампадок — от Спасителя и Богородицы — скрестившись на его голове, горели багряною звездою.

Погас синий вечер на воле, потемнел снег, почернели кресты, черный ворон верный перескакивал с креста на крест, а он, не переводя дух, шептал стих за стихом, и два луча от лампадок — от Спасителя и Богородицы — скрестившись на его голове, горели багряною звездою.

И вдруг, словно со всех сил ударил его кто: зажмурившись и согнув шею, присел Иван Семенович на корточки — шестнадцать раз за его плешью выглядывала Агапевна.

Прошибла старуху слеза, заслушалась стихов, как пение, плакала:

— Уж так хорошо, батюшка, страсть как!

И долго Иван Семенович не отзывался — дух захватило — долго не раскрывал глаз; мотая головой и обороняясь, поднялся он, наконец, злее зла.

— Старуха, — захрипел вдруг словно из петли, — вон! административным порядком вон в двадцать четыре часа!

Покорно низко поклонилась Агапевна, высохли слезы.

— Прощай, батюшка! — и пошла.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Шила в мешке не утаишь. Сколько ни старался Стратилатов скрыть счастливую перемену своей жизни и как ни хитрил, скоро о ней стало всем известно.

— Радуется двор, когда рои роятся, радуется поле, когда распускаются цветы, радуется гумно, когда хлеб молотят; и человек, когда он счастлив! Виден сокол по полету! — признался как-то сам Иван Семенович.

Дождались Святой недели, разговелись и уж на розговинах все знали, что живет у Стратилатова Надежда — Артемия, старого покровского дьякона, племянница, и что живут они, как

в самом настоящем, только незаконном браке; он ее называет индюшечка-капуничка, она его — херувимчик.

Кстати и некстати начали поздравлять его и в выражениях, хоть и изысканных, и почтительных, но не совсем удобных, а в отсутствии секретаря Лыкова предлагали самые что ни на есть стратилатовские вопросы, касающиеся его счастливой семейной жизни и тех счастливых мелочей ее, затрагивать которые считается вообще непринятым и, кроме того, неприличным.

Сходились чиновники из всех отделений суда и толпою, и в одиночку — одни похихикать, другие же просто глазком взглянуть, даже из архива приходили, а уж в архиве известно, одни архивные. Интерес был так велик, так всех занимало, что позабылись не только все правила благопристойности, но и всякие исключения.

Стратилатов сначала отшучивался, потом дулся и крепился, потом вышел из себя и стал объясняться. И по его довольно-таки сбивчивому толкованию выходило совсем наоборот: Надежда будто бы поместилась у него на место Агапевны и больше не почему, Агапевну же он давно собирался вытурить за всякие злонамеренности — от старухи развелись грибы по углам и храпит она, как фельдфебель, и одушливая — кашляет, и завела было кота Ваську, чтобы спать под вилы-грабли, но что он не такой, как все, и ничуть не похож на охаверника Забалуева писаря, а потому никогда себе не позволит как дурно, так и безнравственно поступить с сироткою-племянницею дьякона Артемия, которой всего шестнадцать лет и деться ей некуда, и все, кому приходит гнусная мысль о нем, просто-напросто с своих же гнусных мыслей все сочиняют.

— Свиньи полосатые и больше ничего! — заканчивал Иван Семенович, и пот градом лил с его лысины.

Но из этих объяснений, завершавшихся свиньей полосатой, путного ровно ничего не вышло, только совсем уж втяпался. Подняли его на смех, ведь улики все на лицо!

Из суда по дороге домой всякий день заходил он к Косичкину, либо к Хаминову, либо к Чупракову и накупал сластей, конфет, пряников, чего в прежнее время никогда не позволял себе, в субботу после всенощной ни на бульваре, ни в Денисихе боль-

ше не показывался, что вызывало большое неудовольствие той же Таньки Мерина, в воскресенье уходил с бульвара еще засветло и вовсе не дожидаясь разгонного марша, наконец, кровать красного дерева с бронзовыми маленькими крылатыми львами и венчиками, заменившая его старую колченогую, и нежные прямо райские чаепития на крылечке с Надеждою, смутившие и вогнавшие в краску самого Забалуева, а Забалуев, как известно, хорошему тону, изящным манерам, светскому обращению и танцам обучался не больше не меньше, как в Денисихе. Что теперь станешь говорить?

Случай же, происшедший на Ивана Купала в день ангела Ивана Семеновича — столкновение его с всехсвятским дьяконом Прокопием — и слепому глаза открыл. А столкнулся он с дьяконом по сущему пустяку.

Ни в одной церкви нет такого стечения богомольцев, как за поздней обедней у Всехсвятской. Валом валит народ, затору нет, ровно в Прокопьевском, когда подымают чудотворную икону Федора Стратилата, и не протолкаешься. Много народа съезжается и сходится не только городских, но и подгородних и даже из дальних деревень. В церкви тесно, стоят и на паперти, и в ограде у церковного колодца, возле стратилатовских грядок, не малая толчея.

Всехсвятская церковь древняя обыденная — в сутки выстроена миром по обету после чумы, служба долгая, пение хорошее, о. Михей видный, истовый и речистый — брюхо выше носу подымается. Все это верно и правильно. Привлекает же богомольцев дурочка сестрица Матрена.

Бывают такие люди и совсем невзрачные и с лицом самым заурядным, но стоит им улыбнуться, и все их черты станут прекрасными и, глядя на них, становится легко и весело, или войдет такой незаметный совсем, а заговорит, и притом самое простое и немудреное, и вдруг как-то вырастет, и от слов его как-то просторно тебе, а то бывают и такие, только взглянут — взгляда довольно, и становится легко и весело. И вот эта-то радость, которою полны улыбка, слово и взгляд, должно быть, и привлекает к себе. За такими идет народ.

Дурочка Матрена не молоденькая — лет тридцать ей, не меньше, но личико у ней детское, а когда морщится, точно какого-то зверка напоминает, белку, вот кого! Платья на ней яркие, — то голубое, то алое, то канареечное, то пунцовое, на голове теплый платок, серый, пушистый черными кругами, а как спустит его — закроется вся, даже жутко станет.

Еще обедня не отойдет, выйдет она в ограду, сядет на камень у колодца, а за ней народ. Окружат ее: кто перекрестится, копейку у камня положит, поклонится и опять станет, а кто так стоит, смотрит. Ждут. Сидит она на камне — глаза у ней светлые, ну, право же, каждый зверек, каждая птичка, солнце, дождик, звезды, луна завели бы с ней ласковую беседу, как с малыми ребятами.

— Сестрица! — вдруг заговорят из толпы.

И она примется рассказывать и словно от какой-то большой радости, как дети, запыхавшись, то торопится, то протягивает, путает, но от каждого слова легко и так, что, кажется, и траве, и камню, и воде легко.

Рассказывает она из житий и евангелия, о рождестве любит рассказывать, как вела звезда волхвов: заснут волхвы, и звезда заснет.

— Не проспите свою звезду! Или уж нет звезды?

— Видим, сестрица!

— Помоги нам, сестрица!

— Вон она, сестрица!

А то сказку заведет про козу — которая все есть просит и сколько ее ни корми, все голодна, и о петушке, как петушка лисица горошком заманивала, чтобы только в окно петушок выглянул, а горошек-то вкусный, а зубы-то у лисы острые, и опять про козу, как бежит она за кленовым листочком полбока лупленая, и какие такие люди есть — облупили полбока козе — свистуны люди, как сохлые листья, сгребет их дворник и в яму, и опять о петушке: обманула горошком лиса, унесла петушка и съела, и вдруг про реки, как текут они полноводные, сильные, как серебро, светлые, да гульливые, ни песками, ни кореньями, ни камнями не держатся, и про птиц, какие они птицы-голуби...

— Реки текут, сестрица!

— Голуби-птицы, сестрица!

— Ты наша, сестрица!

И опять про козу: пасет ее старая-престарая старуха и не знает старуха, что ей делать, мало у ней хлеба, а все есть просит, все голодна коза.

— И я не могу накормить вас, а ведь вы голодны!

— Мы сыты, сестрица!

— У меня и ложек не хватит... — а сама глядит, улыбается, алый румянец покрывает бледность, и становится легко и так, что, кажется, и траве, и камню, и воде легко.

— Спасибо тебе, сестрица!

— Не покидай нас, сестрица!

— Ты наша, сестрица!

Стратилатов возвращался от поздней обедни — в день своего ангела он находит более уместным помолиться не в Зачатьевском, а у Иоанна Предтечи — настроение у него было самое именинное. Протолкавшись сквозь толпу, он тоже остановился неподалеку от камня.

Дурочка уж кончила рассказывать — стали понемногу расходиться — она сидела неподвижная, как камень, с плотно закрытыми глазами, и вдруг камнем упала на землю. Кто-то бросился за водою, чтобы подать ей напиться, но всем хорошо было известно, что она просто дурит и представляется, и будет биться и стонать до тех пор, пока дьякон Прокопий не принесет ей воды.

— Уж впрямь дурья порода! — сказал какой-то косоглазый в поддевке.

— Камнем вас там окаянных надо! — отозвалось с другого конца.

— Села баба на кота, поехала до попа... С днем ангела, Иван Семенович! — подмигнул проходивший с барышнями фельдшер Жохов, приятель Забалуева.

Иван Семенович кивнул фельдшеру, благодушно рассматривая дурочку.

И когда явился дьякон с ковшом, она, как ни в чем не бывало, поднялась с земли и, жадно выпив полный ковш, так стала уморительно морщиться, нос морщила, что, глядя на нее, все точно также носы заморщили.

— А кого ты, Матрена, во сне видела? — с улыбочкой пристала дьяконица.

— Дьякона.

—А как же ты, милая, его видела? — не отставала дьяконица.

— А видела я, — почти пропела дурочка и вдруг закрылась вся своим серым пушистым с черными кругами платком, — видела я, будто купаемся...

Взрыв хохота заглушил слова, во всю мочь гоготал дьякон, пищала дьяконица.

— Бывает же такая погань, — с омерзением сказал Стратилатов, — к духовному сану никакого уважения! — и плюнув, пошел к грядкам.

— А твоя Надерка шлюха гулящая! — пустил дьякон, гогоча вслед, уж так разыгрался.

— А вот я тебя, дьякон, застрелю, — обернулся Иван Семенович и быстро-быстро зашмыгал по грядкам к дому.

Гогот между тем не унимался: дурочкин сон и стратилатовская угроза довели его до неистовства, какая-то кликуша залаяла.

Но Иван Семенович не заставил себя ждать, словно из-под земли вырос он с большим грузинским пистолетом, украшенным тонкою резьбою. Он шел прямо к дьякону и в шагах пяти остановился, поднял пистолет и стал целиться.

И тотчас все притихло, одна лишь кликуша лаяла.

— Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! — зашептали старухи, расползаясь, как слепые щенята от матери.

— Ты попробовал бы лучше из палки выстрелить, авось вернее! — дьякон скорчил рожу, будто передразнивая, и стал пятиться.

А Иван Семенович упорно целился, и казалось, вот сию минуту спустит курок, раздастся выстрел и конец дьякону. Дьякон вдруг задрожал весь и, высунув язык, как-то приседая, словно на перебитых ногах, с высунутым языком пошел прочь.

Так пропал дьякон за крестами, окружающими всехсвятский алтарь, и осталось у камня всего несколько душ: какие-то деревенские бабы с узелками, и с ними кликуша, которая лежала теперь ничком на траве, да нарядная барышня Спицына, дочка купца Спицына, опекавшая дурочку, да сама дурочка. Она сидела на камне, держала на коленях платок и плакала тихо, как дети, у которых отняли игрушку. А Иван Семенович все стоял и целился. И, должно быть, так в оцепенении с пистолетом в руках простоял бы до вечера, до ночи, если бы не про-

будил его голос Надежды. Надежда, перевесившись из окна, с сердцем кричала ому, чтобы шел скорей чай пить — пирог поспел.

— Мерзавец, долгогривый пес! — очнулся Иван Семенович и пошел к дому, тяжело передвигая свои огромные калоши.

Эх, в прежнее-то время в обернибесовское, в те ранние годы, когда еще жива была покойница мать, как весело проходили именины! Настал сенокос, напускалась, разгуливала острая коса в мягкой траве, сметали сено в стога, лег бы подле стога или сел бы верхом на коня, поднялся бы конь, только топ стоит. Сколько в лесе деревьев, сколько прутьев на дереве, сколько на каждой ветке зеленых листьев, все узнал бы, весь лес объехал бы.

Но теперь не до того: другая песня! Именины не в именины пошли. На следующий день после столкновения, на свои черствые именины, Стратилатов перебрался на новую квартиру к соседу Тарактееву в каменный дом с высоким крыльцом.

Не хотелось ему расставаться с своими комнатами, трудно было, а пришлось, не хотелось и вещам трогаться с места, за столько-то лет насидели местечко, а пришлось. Просто взбесилась Надежда, кричала она озверелая на всю Поперечно-Кошачью, что и дня не останется в дьяконском паучином гнезде, где и не житье ей, а смерть — осрамил ее дьякон! — рвала и метала, вгорячах кокнула заветную чашку с золотым крылом, напустилась со зла на Ивана Семеновича, давай колотить его да хлестать по ушам, исщипала до синяков, так разбушевалась, так расходилась, вот глаза выцарапает, хоть веревкою крути. Так и покинул Иван Семенович в угодность своей Надежде свой старый дьяконский дом.

Переезд на новую квартиру и вся злополучная история с обстрелянным всехсвятским дьяконом вызвали новые толки, а разговорам, всяким шуточкам и насмешкам конца не было. Уверяли, что из стратилатовского пистолета лет уж двести никто не стрелял да и заряжать такой грузинский невозможно: без пороха разорвет; смеялись над дьяконом, который стрекача задал в виду огнестрельного орудия, и что дурочка с е с т р и ц а Матрена за это разлюбила своего дьякона, с особенным же удовольствием и довольно откровенно передавались подробности

самого переезда: как стражник Емельян Прокудин помогал вещи перетаскивать и какая награда досталась ему за усердие.

— Голгофа, — взывал Адриан Николаевич, указывая волосатым перстом на Стратилатова, — рогатая ты плешь.

Но Ивану Семеновичу совсем не до рогов было, весь поглощенный устройством своего нового угла, он только и думал, как и где расставить ему вещи, которых оказалось и много да и не послушные какие-то. Всякие издевательства, всякие назойливые вопросы раз от разу отскакивали от него, как от стены горох. И признался ли бы он в конце-то концов, что живет с Надеждою вовсе не как брат с сестрою, а ведь в сущности всем только и хотелось, чтобы он признался в этом, или же, потеряв последнее терпение, прибег бы к своей чернильнице и зачернил бы в канцелярии весь пол пятнами, а может быть, вооружась по самые зубы, опять за пистолет взялся бы, но уж, конечно, за самый скорострельный, об этом никто не думал, да и думать не стоило — все кончилось само собою.

Как лишь случай когда-то спас Ивана Семеновича от регента Ягодова, и регентских злопагубных нашествий и Ягодовской богопустной философии, так и теперь выручил его, но уж не случай, а целый ряд событий да таких важных — на весь город.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Женский Зачатьевский монастырь после древнего Прокопьевского первый. В его прошлом числилось за ним немало заслуг и много прелюбопытных историй: он и от врагов спасал, и просвещение насаждал, за его высокими стенами умирали в заточении узницы и простые смертные, и такие, при имени которых Стратилатов непременно бы привстал, одно время хлыстовство процветало в нем, но все эти доблести давным-давно поросли быльем, монастырь пришел в запустение, и шла жизнь хозяйственная, сварливая — монастырская.

Еще в конце прошлого года вдруг заговорили о монастыре, говорили с уха на ухо, а слышно было с угла на угол. Прошла молва, что творится в монастыре что-то необыкновенное и притом такое, что и подумать страшно.

По ночам будто бы подымается шум, появляется нечисть и скверна — вредные насекомые, жабы болотные, псы смердящие, мыши летучие, скорпионы и всякие гады земноводные, от которых и стон, и крик по кельям стоит, но мало того, в трапезной будто бы все предметы ни с того, ни с сего сами собою ворочаются: падает посуда с полок, вылетает пестик из ступки — зазеваешься, огреет по затылку! — выскакивают из печки горящие дрова.

Зачатьевский протопоп о. Пахом — Ахитофел сбежал от страху, когда, пришедши в трапезную молебен служить, увидел шествующий ему навстречу огромный пустой сапог, а какая-то летающая корзинка так хватила дьякона в спину, что у бедняги все печенки отшибло и к Пасхе преставился.

А затем стало известно, что в самое наикратчайшее время кто-то надругался над всеми монашками и такое попущение объяснялось ничем иным, как огненным искушением, которое будто бы нападает по ночам на монашек и нет от него никакого избавления.

Наш полицеймейстер Жигановский, любивший называть себя Понтием Пилатом, человек прямой и отважный, выведав через особых подручных суть дела, задумал расправиться по-свойски.

А дело-то было не без греха: оказалось, что и нечисть, и скверна — все эти появляющиеся гады земноводные, не более, как басня, пущенная лишь для отвода глаз, пустой же путешествующий сапог с летающей корзинкой — ловкая проделка; в действительности же по ночам монашки опускали с монастырской стены корзины и подымали в этих корзинах к себе в кельи своих кавалеров, а затем уж следовало огненное искушение.

Немедленно же нагрянуть врасплох и поразить всех на голову, вот что занимало полицеймейстера, — известно, Жигановский: два часа в сутки спал, и все жулики ему повиновались.

По обыкновению, долго не раздумывая, неожиданно подошел он ночью к монастырской стене, засел в корзину и благополучно стал подниматься. И уж в корзинке, покручивая свои лихие жигановские усы, рисовал в воображении своем целые картины: как все потрясены будут, какой кавардак выйдет — битва, разгром, поражение. И вот на самом на верху, когда оставалось только вылезать и действовать, монашки, заглянув

в корзинку, с ужасом узнали полицеймейстера, затабунились воронами, зачайкали да от страха и выпустили веревку: корзинка — вниз, а с ней и Жигановский, да так с высоты и брякнулся оземь, — тут ему и смерть приключилась.

Геройская гибель Жигановского стала притчею во языцех: только о полицеймейстере и было разговору. И был по нем от всех великий плач, как выражался, передавая событие, Иван Семенович.

Не успели сорокоуст справить, произошло другое событие, поднявшее шум вокруг себя не меньший.

Чиновник из судейского архива Страстотерпцев, не уступавший в своем пристрастии к чаю самому Стратилатову, коротая вечерок в трактире Бархатова с чиновником Предтеченским, побился об заклад на полтора рубля, что выпьет за один присест пятьдесят чашек чаю.

Предтеченский согласился, ударили по рукам и потребовали чаю. Случившийся у соседнего столика бывший регент паршивого соборного хора Ягодов, как отрекомендовался регент, и его закадычный друг, гармонист Молодцев, вызвались быть свидетелями. Бывший регент наливал, а гармонист отмечал выпитое.

И тридцать девять чашек Страстотерпцев выпил, не крякнул, опрокинул и сороковую, взялся за сорок первую, поднес уж блюдечко к губам, стал было дуть, чтобы не так горячо, да вдруг как хлынет вода из ушей, изо рта, из носа — из всех отверстий, пошатнулся, выпучил глаза и упал, да так весь и изошел водою, помер.

А немного погодя после похорон Страстотерпцева случилось такое, что, как говорил Иван Семенович, не случалось с тех пор, как почернел ворон.

Среди бела дня гимназистка Вербова, исполняя приговор местного революционного комитета, застрелила по ошибке, вместо губернатора, отставного полковника Аурицкого, а в ту же ночь арестован был секретарь Лыков и под усиленным конвоем препровожден в Петербург.

Да кому же после всего этого пришло бы в голову заниматься Стратилатовым! И что такое Стратилатов теперь? Шишимора, — не больше. Так в один голос сказали бы.

Бросили Стратилатова, забыли Стратилатова, оставили в покое всякие его похождения, и жила ли у него Надежда или никакой Надежды никогда и на свете не существовало, все это было так далеко, так неважно и глубоко неинтересно.

Иван Семенович чувствовал себя, как нельзя лучше, теперь уже беспечально, счастливо и невредимо пойдет его жизнь. История с Страстотерпцевым его ничуть не тронула, пожалуй, даже вызвала некоторое брезгливое чувство.

— Это все равно, что утопленник, сам в себе утоп, Бог наказал за жадность, — отзывался Иван Семенович.

Полицеймейстера Жигановского вписал он к себе за упокой в поминанье рядом с низложенным португальским королем, а за отставного полковника Аурицкого поставил на канун свечку.

Зато как торжествовал он, что арестован, наконец, Лыков, — неподкупный и неуклонный Лыков, державший голову повыше самого прокурора и чуть ли не знавший то самое куриное слово, если знать которое, то все тебе можно! Ведь, это же Иван Семенович первый открыл, что Лыков — революционер; и если о своем открытии не говорил при всех громко, а только шепотом, признаваясь на духу о. Михею, то исключительно из уважения и страха перед начальством: как никак, а секретарь — начальство, и не маленькое.

Скоро выяснилось, что Лыков обвинялся в организации какого-то вооруженного восстания. Иван Семенович, ничего не имея против, с удовольствием добавлял:

— И в экспроприации.

По его наблюдениям Лыков отнюдь неспроста ходил мимо сберегательной кассы.

— Конечно, — говорил Иван Семенович, — хотел ее ограбить.

А время шло своим чередом, как шло при Лыкове, а теперь без Лыкова, не обращая никакого внимания, кто прав и кто виноват, где ошибка и где правильно.

Пришла на двор осень. Дни были теплы и ясны — суха земля, а ночи теплы и тихи — частые звезды. До Рождества Богородицы простояло тепло, а за бабьим летом стала погода мокрая, пошли дожди.

Стратилатов приторговывал себе шубу — он решил ознаменовать свою новую жизнь: одеться по-новому — и, облюбовав

какую-то енотку, всем и каждому старался сообщить о своей покупке, а кстати и посетовать на всеобщее вздорожание продуктов. Но никто не обращал никакого внимания на его разглагольствования, и даже Зимарев, исправляющий теперь должность секретаря, и оказавшийся достойным преемником Лыкова, как-то не по-приятельски вел себя.

Участь Лыкова занимала всю канцелярию. Лыков не сходил с языка. Строились всякие предположения и, по мере поступления новых сведений, решалась дальнейшая его судьба: и как он будет держать себя на суде, и какую произнесет речь, и даст ли такой повесить себя, если приговорят его, как гимназистку Вербову.

Так за всякими разговорами и делами никого не удивило и даже не вызвало самого простого любопытства, когда в один прекрасный день, именно после Воздвиженья Стратилатов не явился в канцелярию. Дня три пустовало его место и тут только хватились. Стали наводить справку, оказалось, заявления никакого не поступало. Что за притча?

Прямо из суда отправился Зимарев на разведки. Стукнулся в каменный дом к Тарактееву на новую квартиру, но там Стратилатова не оказалось и справится не у кого: внучка Тарактеева, девчонка глупая и бестолковая, только и могла сказать, что зовут ее Катькою.

Пробившись попусту с девчонкою, Зимарев пошел на старую квартиру, надеясь разузнать что-нибудь от надзирателя. Но к надзирателю не пришлось стучаться, на крылечке встретила Агапевна.

— Это ты, золотой, — обрадовалась старуха, — а мой-то, мой-то! — и беззубый рот ее вздрагивал.

Она повела его в комнаты, усадила в гостиной на царское кресло перед чудесным зеркалом.

Все было на своем месте целым-цело, словно бы и не думал никогда уезжать Иван Семенович из своего насиженного гнезда: лампадки горели в двух передних углах перед Спасителем и Богородицею и висели картины целы-целехоньки, на красном шкапу лежала приходо-расходная книжка для записи милостыни, а на дверцах красовался старинный обернибесовский галстук с кистями — все старуха устроила и расставила по-старому, только на сундуке с книгами, на котором спал когда-то

художник, сидел теперь дымчатый усатый кот и, замывая гостей, пел свои вилы-грабли, да не было самого Ивана Семеновича.

Из расспросов выяснилось, какое несчастие постигло Стратилатова: будь тут о двух головах, — пропадешь, вот какое горькое!

После своего изгнания, приютилась Агапевна в уголку в сенях между сундуками и, стараясь на глаза не попасться, кое-как перебивалась, а когда Иван Семенович переехал к Тарактееву, позволил ей старик Тарактеев в кухне у дверей устроиться — днем за девчонкою внучкою присматривать. А старуха и в щель тараканом затиснулась бы, только бы не расставаться с Иваном Семеновичем, чувствовала старуха: быть беде. Дня не проходило без стражника Емельяна Прокудина, и днем, и ночью, торчал он у Стратилатова — на чужое добро лаком! — точал лясы с Надеждою. И правда говорится: лакома овца к соли, коза к воле, а ветреная женщина к новой любви, — стряс ее с ним лукавый. Дальше — больше, и в конце концов ушла Надежда с Прокудиным. На Воздвиженье перед обедом вломился стражник, забрал полный воз добра, ухватил и укладку с серебром.

— Ведь вот, милой, — рассказывала Агапевна, — наш-то схватился за укладку, не пускает. Дважды на улицу выбивались, а потом тот его и дерзнул. Мой-то свету невзвидел — скаканёт с рундука-то, да прямо в шайку, ажно вода захлипала, руками-то схватился за желоб, а труба прочь — а он боком-то, свету не взвидел! «Ничего, — говорит, — не понимаю, — дай руку мне, — веди меня, Агапевна!» — слезами заливается. А Надерка-то поганая на возу сидит да хохочет: «На что мне, — говорит, —тебя лысого да паршивого, помоложе есть!» А кругом народ-то издевается, сорок человек, срамота! Так-то, милой, из-за женщины такую муку принял. Теперь в больнице лежит.

На другой день Зимарев ходил в больницу. Было уже поздно, прием кончился, но его, как начальство, пропустили.

Стратилатов узнал приятеля, но трудно было узнать его: с забинтованным боком он лежал на койке — ни повернуться, ни руку поднять — как колода, и не румяный, а почерневший, и не черный пушок, седые щетинились усы, ясно было, он подкрашивал их и подстригал искусно, и засела колючая борода,

а маленькие глаза, мутные, как два стеклышка, перемигивались, скашиваясь к носу.

— Не боку мне жалко, Борис Сергеевич, а то, что она, подлая, укладку увезла; кабы не болен, прямо бы в суд пошел, — только и мог проговорить Иван Семенович, видно, больно закололо в боку.

И, глядя на приятеля своими мутными глазами, он словно все спрашивал: «и чего люди спорят, чего добиваются, и как разобрать, кто прав, и когда только все это кончится?»

Но отлегала боль, и он опять повторял:

— Не боку мне жалко, Борис Сергеевич.

Скрутило Ивана Семеновича, пришло время, и не дождался первого снега, не обновил енотку — не снес головы: на Федора Студита, как прилетать от железных гор зимним ветрам, приобщившись и пособоровавшись маслом, помер.

Рассказывали, что мучился он перед смертью крепко и томился. Все жаловался, что мыслей остановить не может и давит глаза шибко, и мерещилось ему, будто люди какие-то, на лопаты похожие, набрасываются на него, зацепили веревками под руки и тащат, как собачонку, к речке топить, упирается он, визжит, а они молчком себе тащат, а то будто кружится над ним ворон — черный вестник, железный нос, медные ноги, разинул клюв и все ниже, ниже спускается, хвост тоже мерещился шишигин, промелькнет по палате или в углу трубой стоит, дымчатый, пушистый, как у Васьки, вот-вот закроет.

— И-ва-а-ан! Васи-л-л-лий! Пе-е-е̣тр! — причитал Иван Семенович, призывая не то мертвых из поминанья, не то живых знакомых, и каменел, словно палка.

А как прийти последнему часу, за минуту до смерти, затихать уж стал и ералаш свой бросил — перестал бредить, да вдруг как вскочит с койки, выпрямился, вытянулся на своих жилистых тонких ногах, инда утроба вся вздрогнула, стойкий, этак стал открыто плешью к солнцу — сиделка уверяла, что Богородицу читать стал, а фельдшер Жохов хихикал, что вовсе не Богородицу, а будто стихи какие-то, — и как подкошенный, повалился; пот выступил на переносице, и покатилась капля по носу, капля за каплею, выбрало у него свет — потемнело, и отошел в вечную жизнь.

У Стратилатова наследников не было, не оставил он и духовной, и деньги — десять тысяч — перешли в казну. Вещи же назначили к распродаже и пока что жила при них Агапевна. И вроде полоумной стала, сна лишилась старуха: приляжет ночью на лежанку, а не лежится, выскочит в сени на крылечко — все ей представляется, все ей слышится, будто Иван Семенович кличет:

— Агапевна?

— Я, батюшка.

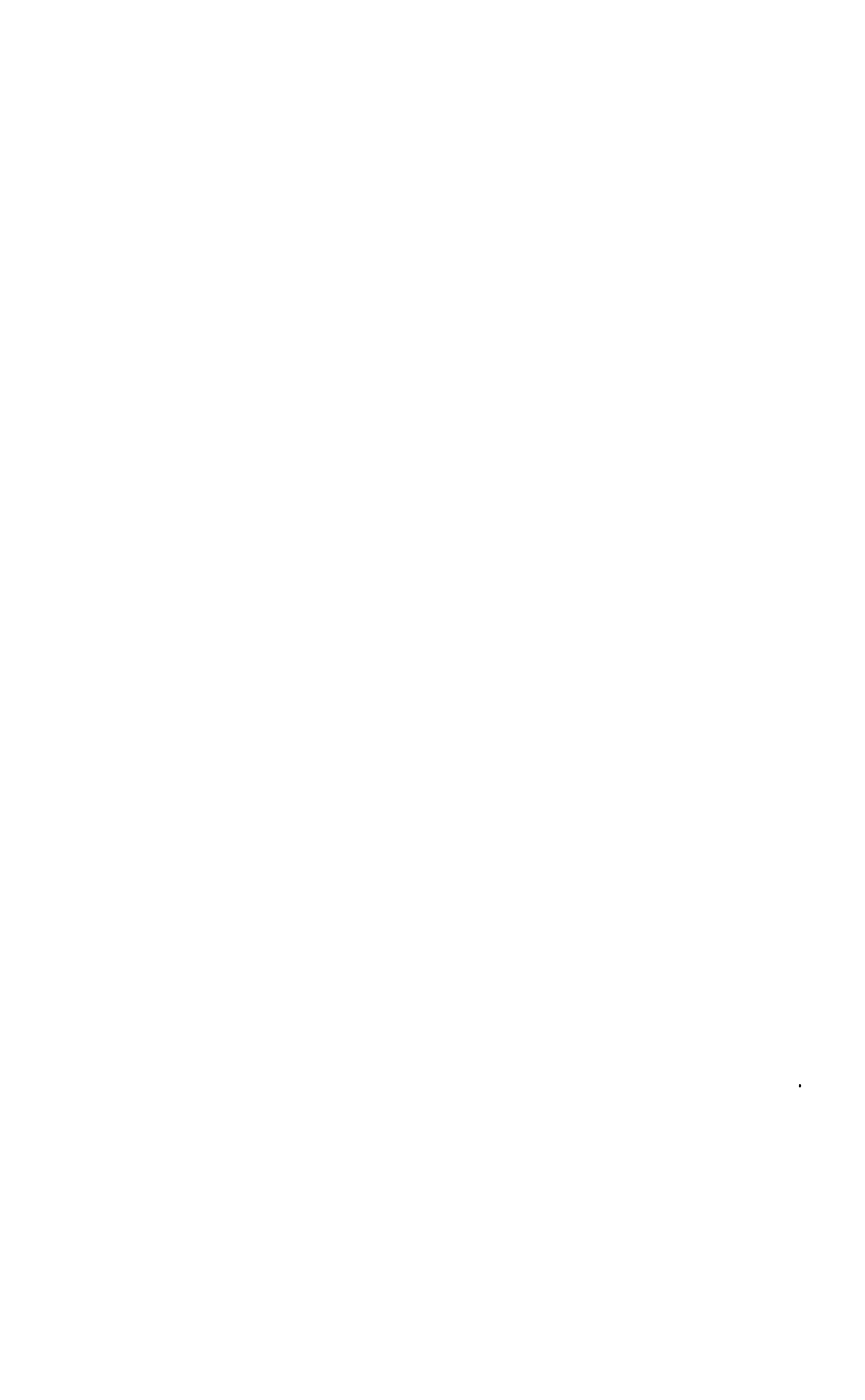
1909 г.

ЗГА

Волшебные рассказы

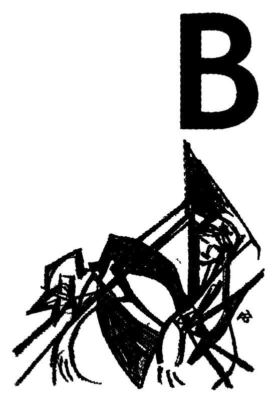


Посвящаю
С. П. Ремизовой-Довгелло



ЖЕРТВА

1



Вот уж по совести всякий, кто бывал в Благодатном, не покривит душой, помянув добром старое Бородинское гнездо.

И не в насмешку с испокон веков дано ему такое прозвище. Лучшего, сколько ни мудри, не придумаешь. И хоть никакого винограда в садах его не цвело и не зрело и райские птицы не пели, а уж, как есть, — ну благодатное:

сама благодать Божья разливалась
по его доброй земле!

Старый с колоннами дом, кленовая аллея, фруктовый сад, поля, лес, скот, люди — всё Благодатненское приводило в восхищение не только соседей, но и любого наезжавшего с других краев и по делу и так себе, да того же фыркающего подстриженного петербуржца и растрепанного избалованного москвича.

Дом полная чаша, лад и порядок.

Ей-Богу, пчеле на зависть!

Сам Бородин, Петр Николаевич, известный чудак и такой балагур — поискать да мало: где б он ни появился, в любом обществе и когда угодно, стоило ему раскрыть рот, и уж хохот не умолкал.

Хохотали знакомые и незнакомые. Безразлично.

А странно было лицо этого совсем седого, ничуть не меняющегося балагура. Шли

годы, перевалило ему за сорок, а одно и то же выражение, словно отпечатанное раз навсегда, лежало на его неподвижных, застывших чертах.

И странно, когда, надрывая живот, всякий со смеха покатывался по полу, лицо мертвенно-бледное чудака оставалось спокойным — ни улыбки, ни смеха, только жуткие блестки во впалых остановившихся глазах.

И не менее странно, что речь его, сбивавшая всё и всех с панталыку, отдавала каким-то механизмом, как у говорящей куклы. И когда кто-то попробовал записать эту речь, то на бумаге вышли самые простые ходовые слова и уж совсем не смешные.

И, несмотря на такой, казалось бы, неподходящий вид Петра Николаевича Бородина и неуместность каких-либо шуток, никому в голову не приходило спросить себя:

в чем же тут секрет, и отчего бывает так смешно и весело?

Только редкий любитель отгадывать загадки, — такой всегда найдется, — зарвавшись пытался давать объяснения, метя, как это водится, не в бровь, а в самый глаз: тут и игра физиономии, и искусная мимика, и необыкновенно острый взгляд, — ясно, явно, понятно.

К счастью, все подобные, набившие оскомину объяснения шли куда-то в прорву: никто ничего не хотел спрашивать, да и незачем было. Смешно, весело — чего еще?

Петр Николаевич нигде не служил и никакими общественными делами не занимался. Одно время выбрали его уездным предводителем.

Это памятное Бородинское предводительство скоро всякому вот где стало! Не оттого, чтобы там плохо было или неприятность какую от него видели, совсем напротив. Веселее года не запомнят: все дела были обращены в какую-то потеху, в один сплошной смех и умору, но в результате такая вышла путаница, такие всплыли несуразности и еще, Бог знает, что — не расхлебаешь. И, не знай Петра Николаевича, чего доброго могли бы в лучшем случае заподозрить, что он не в своем уме, да так, кажется, в Петербурге кто-то и выразился не то в гостиной, не то на докладе. Только, счастьем, всё окончилось благополучно.

Живой человек не без странностей, у всякого своя повадка.

Ну и Петр Николаевич не исключение.

Петр Николаевич до страсти любил всё прибирать к месту, притом так всё хитро делал, что после найти прибранную вещь чересчур мудрено было, а то и совсем невозможно:

много вещей пропадало и очень нужных.

Затем он любил наводить порядок, передвигая с места на место столы, стулья, этажерки, перевешивал картины, переставляя в библиотеке книги, в чем собственно и заключались его постоянные занятия с утра и до обеда ежедневно.

За обедом, предпочитая кушанья сладкие, как потроха, мозги, ножки, и не зная меры, он частенько объедался и потому вечно жаловался на живот.

Любил он топить печи — всё зяб — и с длинною кочергой расхаживал обыкновенно от печки до печки, помешивая жар.

Любил он поговорить с прислугой и мужиками, и, хотя разговор всегда начинался словно бы и о делах, но в конце концов выходила одна чепуха, что влекло за собою очень нежелательные для общего порядка и грустные последствия:

Петра Николаевича не только никто не боялся, но — что уж таить! — веры ему не было.

Кроме того, дуря и чудя, он обещал прямо-таки неисполнимые вещи: всем и каждому он дарил свою землю, правда, меру не очень крупную — три шага в длину и шаг в ширину — такой шутовской кусок.

Что еще? Да... у него была страсть резать кур, и резал он кур не хуже заправского повара: птица у него с перерезанным горлом не хлопала крыльями и не бегала безголовая, как это часто бывает от нелегкой руки.

И еще он любил посмотреть на покойника, и чем отвратительнее было лицо мертвого, чем сильнее чувствовалось разложение, тем находил он покойника привлекательнее. Всякий раз, когда на селе умирали, батюшка о. Иван давал знать Бородиным, тотчас закладывался экипаж, и Петр Николаевич, всё бросив, летел к тому месту или в тот дом, где случался покойник.

Такого рода с т р а с т и, как выражалась Александра Павловна, труня под веселую руку над своим избалованным мужем, в котором, кстати сказать, души не чаяла, страсти Петра Николаевича касались в действительности таких чисто домашних

подробностей, что упоминать о них представлялось бы совсем излишним, если бы не припутался сюда один вздорный слух, задевающий честь и репутацию всего Благодатного.

Года два назад в Благодатное заехал один старый приятель Петра Николаевича, тоже бывший петербургский лицеист, не видавшийся с своим другом с самого Петербурга.

Причина появления такого гостя так и осталась невыясненной; у него никто не спрашивал, а его камердинер толковал в лакейской очень сбивчиво, — не то генерал был послан усмирять, не то делить землю. Впрочем, всё это не так уж важно: разве не мог старый приятель просто из любопытства?

Гость был принят радушно. Встретила его Александра Павловна, сожалевшая, что в Благодатном не все в сборе — дети разъехались, и что ему будет скучно. Но гость был так весел, много рассказывал о Петре Николаевиче, о той тесной дружбе, какой они были связаны в Петербурге в ранней молодости, и кажется, ни в каком обществе не нуждался, с нетерпением ожидая своего друга.

Петр Николаевич, как на грех, с утра пропадал где-то на деревне у какого-то покойника и только поздно вечером вернулся домой.

Друзья встретились.

Но тут произошло что-то неладное. Видно было, что гость потрясен, испуган, что у него поджилки трясутся.

Или не узнал он своего друга, — или и узнал, но нашел такую перемену, что голова пошла кругом, — или заметил в лице, в поступи и в речи старого своего приятеля что-нибудь совсем для себя неожиданное, невероятное, невозможное, — в чем же дело? — А кто ж его знает!

Гость отступил на шаг и, замахав руками, вдруг лишился чувств.

Молчаливый и печальный, подозрительно озираясь и поддакивая на всё, что бы ни говорилось, и с той жалкою улыбкой, какою улыбаются люди, попавшие нечаянно-негаданно в самые обыкновенные житейские тиски, которые всякую минуту могут смять тебя в лепешку, гость прожил с неделю, и в одно прекрасное утро, лопоча какую-то ерунду и показывая какие-то бумаги вверх ногами, остервенелый, чуть ли не в одном белье и без багажа, ускакал из Благодатного.

А вскоре после его отъезда и пошли суды и пересуды и в городе и среди соседей.

Говорилось, что ничего особенного в Благодатном нет, что Бородинский прославленный дом как дом, да, пожалуй, даже с изъяном — одна половина очень заметно заново переделана после пожара; ну и сад как сад, старый, тенистый — правда, но таких садов, если поездить по России, сколько хочешь; поля, лес — что говорить — поля просторны, лес хороший, да тоже не какая-нибудь невидаль; а люди — даже совсем дрянь: беднота, земли мало, то переселялись, то опять вернулись, а во время беспорядков, если дом не сожгли и лошадям глаза не повыкололи, как это сделали у соседа Бессонова, то все-таки поговаривали и о том, чтобы дом сжечь, добро истребить да отобрать Бородинскую землю. Что же касается Петра Николаевича, то, перечисляя все его странности, несли такую крещенскую белиберду, что просто повторять совестно.

И в конце концов заказывалось другу и недругу даже в самой крайней нужде бывать в Благодатном:

место нечисто.

Кто-то из добрых друзей советовал Александре Павловне жаловаться губернатору, но она и слышать не хотела. Во всех слухах, на ее взгляд, правды ни капли не было, да и не стоило историю подымать.

В самом деле, мало ли что какой-нибудь подозрительный с своего подозрительного ума не сочинит и не выдумает — ему бы только валить с больной головы на здоровую!

Да притом же и разговоры как-то само собою прекратились — все-таки люди не так глупы, как кажутся.

И у всех одно осталось в памяти: Благодатное — рай земной, семья Бородиных — примерная, Петр Николаевич — известный чудак и такой балагур, поискать да мало.

Глава дому — Александра Павловна Бородина. Ее бдительному глазу приписывались порядок и обилие Благодатненского хозяйства. Твердого характера, скупая на слова, умела Александра Павловна держать всех в струнку и не потакать. Ее боялись и слову ее верили. Замуж она вышла рано, по любви, и с первого же года замужества пошли дети: сын и три дочери, все погодки. Жизнь Александры Павловны проходила в заботах и делах, которых с каждым годом, по мере того, как подрастали дети,

и отношения хозяйственные путались и усложнялись, всё прибывало, и так получалось, что забот не оберешься и всех дел не переделаешь. Но она готова была взвалить себе на плечи какую угодно тяжесть, лишь бы хорошо было мужу и детям. И никто не жаловался — ни муж, ни дети.

Вечерами, счастливая и веселая, она садилась за рояль: сильные пальцы ее, уверенно касаясь клавишей, вызывали большой праздничный звук — силой и радостью наполнялись высокие комнаты.

И с какою завистью подсмотрел бы отчаянный бродяга из тьмы своего бездомного белого света в освещенное окно на нее, довольную своим кровом, и каким проклятием проклял бы свою судьбу неудачник, случайно встретив ее счастливый взгляд, и с какой покорностью и верой, заслышав ее голос, пошел бы за ней тот, кто ищет себе поводыря!

Контр-адмирал Ахматов, чье суждение, по меткости своей, облетало все без исключения усадьбы и повторялось городскими щеголями, крестный отец младшей, Сони, называл Александру Павловну обольстительною брюнеткой. И, как всегда, был прав.

И кто бы мог поверить, что эта «обольстительная брюнетка», сумевшая устроить дом и жизнь дома — тихий, согласный очаг, почувствовала себя однажды самой несчастной из людей. Правда, с тех пор утекло много воды, удача и счастье стерли всякую память, а в душе ее осталась только радость, только одна уверенность в себе и в своих силах.

Пятнадцать лет назад, в год рождения Сони, Благодатное вдруг очутилось на волоске от гибели — дом чуть было не сгорел, Петр Николаевич чуть было не умер. И всех спасла Александра Павловна.

Осенью, в зимние месяцы, когда разъезжались дети, Александра Павловна проводила время только с мужем.

Она смотрела на него так, как двадцать лет назад, с тою же любовью и нежностью, и видела его таким, как был он двадцать лет назад, влюбленным, и складка, явственно означавшаяся между ее темных бровей, сглаживалась.

А он, высохший, длинный, как жердь, седой, с мертвенно-бледным лицом, уставясь своими неподвижными в жутких блестках глазами, стоял перед нею, оскалив зубы.

— Я тоски не знаю, — повторял он в тысячный раз, — мне легко!

А в голосе слышалось:

«мне всё равно, мне ничего не надо».

Но она не слышала этих жутких слов, они звучали ей, как те, тогда под первый поцелуй, и она, слепая от любви, отвечала ему страстью сохранившейся женщины.

Ой, как хохотал бы подглядевший в такие минуты через окно над этой уморительной, сумасбродною сценой. Но, кто знает, возможно, что, и не пикнув, лишился бы чувств, как тот гость, генерал — старый друг Петра Николаевича.

2

В Благодатном готовилось большое событие.

На Матрену Зимнюю назначена была свадьба старшей дочери Лизы, окончившей весною институт. Жених был известный крупный помещик Рамейков. Все ждали с нетерпением этой свадьбы. Рассказывали, что пир выйдет на славу и что Петр Николаевич перерезал чуть ли не всех кур!

Благодатное принимало торжественный вид. Гости съезжались загодя, и не мало очень почтенных лиц прямо обезживотели в обществе Петра Николаевича, который казался особенно в ударе на россказни и зубоскальство. Александра Павловна сбилась с ног. Всё надо было приготовить. Рук не хватало.

Наконец, собралась вся семья: из Петербурга приехал старший сын Миша — студент-первокурсник, из Киева — вторая дочь, институтка Зина, и гимназистка Соня из губернского города. Наступала важная минута. И, надо отдать справедливость, свадьба вышла веселая.

Конечно, не обошлось без шутовства. Благословляя образом перед венчаньем, Петр Николаевич, видимо, собирался сказать напутствие, но после довольно томительного молчания ограничился кратким и весьма непечатным пожеланием в одно слово, и от этого крепкого слова жених едва поднялся на ноги — смех буквально душил всякого.

В церкви Петр Николаевич шепнул батюшке, о. Ивану, что во сне яйца в яме видел, и хотя о. Иван не мог не знать дур-

ного значения сна, но тогда показалось ему всё в высшей степени несообразным. И так все были настроены, что о. Иван не выдержал и, оборвав молитву, фыркнул на всю церковь, а за ним дьячок, державший «теплоту», заржал уж без всякого стеснения, и — пошло: не то венчали, не то гоготали, как в балагане.

После свадебного ужина молодые уехали в Москву.

Но в Благодатном веселье продолжалось. Весь пост прошел как-то не по постному. А на святках молодежь затеяла спектакль, рядилась, ряжеными ездили по соседям. На пруду сделан был каток и горка. Тут на катке устраивались отчаянные состязания.

Миша Бородин считался первым конькобежцем. И, действительно, стройный и необыкновенно гибкий, с поразительной ловкостью и искусством он проделывал головоломные фигуры. Не отставала и Соня, девочка быстрая — огонек, а ее звонкий смех разливался заразительно звонко в Крещенские звездные ночи. Любо было смотреть на эту пару, когда об руку они бежали с горки до дальних верб. Этого нельзя сказать о Зине: Зина имела больше сходства с Лизой и, как Лиза, была сдержанна и молчалива, пожалуй, даже застенчива, но не без характера.

«В мать дети пошли», — отзывались тетушки и дядюшки и старые знакомые, хорошо знавшие Александру Павловну.

Подходило Крещенье. Товарищи Миши и подруги девочек стали разъезжаться.

И Бородиным уж пора было готовиться в путь, но в деревне было так хорошо, что об отъезде не хотелось и думать.

Под Крещенье Миша и Соня, когда зажглась Богоявленская звезда, выбежали на каток, где проводили они последние свои вечера.

Ночь выдалась светлая, вся усыпалась звездами, и мороз ударил так, что лед трескал, морозами щипало щеки.

Они рады были хоть всю ночь бегать!

Набегавшись, решили прокатиться в поле. Миша взялся править.

Но только что выехали они из ворот, лошади понесли.

Миша, вылетев из саней, ударился головою о забор, Соня упала в снег.

На крик сбежались.

Мишу подняли и отнесли в дом. Бросились за докторами.

К утру Миша помер.

Вот было горе!

В день похорон вечером, когда в доме было особенно пусто и всех одолевало то тягостное утомление, от которого и дело из рук валится и места себе не находишь, в Благодатное с нарочным получилась телеграмма от Рамейковых:

Александра Павловна вызывалась немедленно в Москву.

В ту же ночь Александра Павловна уехала.

Зина и Соня были в большой тревоге.

Петр Николаевич напротив: он по-прежнему, как ни в чем не бывало, продолжал свой образ жизни.

Разница была разве в том, что кур резалось больше. Но это объяснялось тем, что Зина, простудившись на похоронах, всё недомогала и ее надо было держать на диете.

Да еще — ну это чудачество! — к обеду велено было подавать большущий бычачий язык.

Наконец из Москвы пришло известие:

Лиза умерла.

Вот было горе!

Второго покойника опустили в Бородинский склеп, а в доме стало уж так пусто и уж так тягостно, — Александра Павловна бродила, как тень.

Она не могла простить себе, что так легко согласилась на этот брак, когда знала всегда Рамейкова за человека легкомысленного и даже подлого, да, подлого — почему не отговорила Лизу? Ведь Лиза ее послушалась бы. Да, она сумела бы убедить Лизу, она знала много самых отвратительных, самых постыдных фактов, о которых шептались посторонние даже у них в доме в день свадьбы.

Но теперь было уж поздно: и простишь ты себе или не простишь — делу не помочь.

Александра Павловна чуть не кричала.

Петр Николаевич выглядел несколько утомленным, но едва ли причиною был сам по себе факт смерти.

Смерть сына, как и смерть дочери, вызвали в нем то обычное для него чувство любопытства, какое он испытывал вообще к покойникам, и не к таким, а к совершенно ему неизвестным.

Утомление сказывалось скорее от бессонной ночи.

Гроб привезен был в Благодатное закрытым, но он настоял, чтобы гроб вскрыли. И, когда сняли крышку, он уж сам открыл лицо дочери и простоял над нею, не отрывая глаз, ночь.

Теперь в своем зеленом, бутылочного цвета, халате Петр Николаевич дремал в кресле.

Так прошла ночь после похорон.

Состояние Зины между тем ухудшалось. Она слегла. Вызванные доктора сказали, что у нее что-то вроде дифтерита. И всё Благодатное затаилось, дожидаясь рокового кризиса. Кризис наступил. Созвали консилиум. Безнадежно.

В доме заведен был строгий порядок, и обычно, когда съезжались дети, этот порядок поддерживался ими с их раннего детства: так Лиза ухаживала за цветами, Зина кормила попугая.

Теперь за цветами ухаживал старый камердинер Михей, а попугай кричал от голода.

И видно было, Зина всё помнила, и ее это мучило, и еще мучило ее то, что больная, лежа уж неделю в кровати, она нарушает какой-то порядок, и лучше было бы, если бы отвезли ее в город, но сказать об этом она не могла, — ее душило.

Из последних сил знаками Зина попросила Соню дать ей бумагу и карандаш и слабою рукой написала одно слово:

попугай. —

Карандаш выпал из рук.

И она умерла.

Вот было горе!

3

Третий бородинский гроб унесли из дому.

В церкви на отпевании, прощаясь с дочерью и в последний раз глянув на это покорное, обреченное лицо с плотно сжатыми, как сталь, синими веками и запекшимися измученными губами, Александра Павловна вдруг всё вспомнила, и не то недавнее счастливое, а то прошлое, тайное, что никогда не вспоминалось ей столько лет.

И заплакала она крепко.

И уж старою старухой, сгорбившись, пошла прочь от гроба.

«Разве я думала, что придется таких хоронить?» — плакала она, тряся головой.

А вместо утешения совесть, еще больше горбя и бороздя ей морщинами лицо, говорила ей, что некого винить, нет другого виновного, кроме нее, всё сама, и одна, — она одна виновата кругом.

Соня весь день не отходила от матери, жалась к ней.

И пробовала утешать, и плакала, и большими глазами смотрела — страшно становилось за перепуганную девочку.

— Мама, что ты говоришь?! — спрашивала она, пугаясь своего голоса.

И мать рассказала ей о том прошлом и тайном, что никогда не вспоминалось ей столько лет.

*

Пятнадцать лет назад, когда Соне был год, Александра Павловна взяла детей и поехала к своей матери — первый раз выехала она из Благодатного, оставив дом и мужа.

И вот приснился ей сон, будто муж ее в алтарь входит.

Страшно ей стало: не заболел ли он, не умер ли?

На другую ночь опять сон снится: сломалось обручальное кольцо.

И опять стало страшно: муж умрет!

И стала она домой собираться.

— Собралась, еду, — рассказывала Александра Павловна, — а сама, не переставая, Богу молюсь. Всё молюсь Богу: если, говорю, уж суждено горю, так сделай так, пускай Миша умрет, Лиза умрет, Зина умрет, только бы он жив остался! Что ж, думала тогда, маленькие еще ничего, только бы он жив остался. Про тебя я молчала, не могла. Приезжаю домой. Оказывается, в доме пожар был, а Петр Николаевич при смерти лежит. Бог услышал молитву: спас и дом и отца. А теперь... Миша умер, Лиза умерла, Зина умерла. Разве я думала, что придется таких хоронить?

Александра Павловна мучилась, не отпускала от себя Соню.

*

Петр Николаевич казался озабоченным и растерянным. Какая-то мысль точила его и беспокоила. Делать то, что он делал изо дня в день, он уже не мог.

Вечером он пробовал было передвинуть для порядка шкап в столовой, — отодвинуть-то отодвинул, но так и бросил его стоять на тычке.

Схватился за кочергу, но и с печами дело не пошло.

Несколько раз заходил Петр Николаевич в спальню к Александре Павловне и Соне, присаживался на кончик кровати и вдруг подымался, оставляя убитых горем жену и дочь.

— Все потерялись, Миша, Лиза, Зина и Соня, и все нашлись, одной Сони нет! — бессмысленно и жутко бормотал он, неизвестно к кому обращаясь, не то к Михею, не то к печнику Кузьме, не то к экономке Дарье Ивановне, заменившей по хозяйству Александру Павловну.

Только поздно ночью Петр Николаевич угомонился и ушел к себе в кабинет.

Камердинер Михей, как старый дядька, не оставлял его ни на минуту.

Тревожно и жутко было в доме, все углы стали холодными. Куда все девались? Где мир, смех и счастье?

Три гроба — три смерти морозом заледенили теплый огонек Бородинского очага.

4

Совершившиеся за какой-нибудь месяц события — эта Бородинская история со смертями тотчас была поднята на язык.

— Тут положительно дело нечисто!

Так заговорили не только в соседней Чернянке и не в соседней Костомаровке, но и в Британах и даже в Мотовиловке и, конечно, повсюду в городе.

Как, что, почему? — И давай — и пошло.

Всю жизнь Благодатненскую вверх дном перевернули, по косточкам перебрали и бабушек и тетушек Бородинских и то, чего никогда не было, и то, что было, но совсем не с Бородиными, а, скажем, ну с Муромцевыми. Всё на свет Божий вывели — глядите, господа, и судите, нам-то всё уж давно известно!

Ухватились почему-то за того таинственного гостя-генерала, друга Петра Николаевича, который, Бог знает отчего, сбежал тогда из Благодатного.

И сразу же все решили, что этот самый генерал всё знает, и стоит только допросить его — и станет всё ясно, как на ладони. Но где его достанешь? Туда-сюда. Руки опускаются.

Кто-то сказал:

— Перевердеева весь Петербург знает.

— Стало быть, он в Петербурге?

— Конечно!

Срочно был послан от губернатора запрос в Петербург. Чуть ли не в тот же самый день получилась справка. Доносилось, что генералов в Петербурге сколько угодно, и есть с такими фамилиями, что даже не совсем ловко в дамском обществе представляться, но Перевердеева никакого нет. Может быть, Переверзев?

И пока снова наводили справки о Переверзеве, судили и рядили вкривь и вкось, кто-то железный, не спрашиваясь, никому не отдавая отчета, уверенно совершал свое верное дело, кто-то беспощадный семимильными шагами из дальне-далека шел творить суд и расправу по-своему.

Без Александры Павловны ничего не клеилось, и она через силу, отрываясь от своих тяжелых дум, входила в мелочи жизни.

Она считала себя не в праве бросить на произвол судьбы дом, мужа и дочь, — мужа, из любви к которому она принесла такую огромную жертву, дочь, из любви к которой она пожертвовала бы сейчас всем своим покоем.

И не ошиблась ли она, когда, молясь, отдавала в жертву троих старших, а Соню забыла?

И не забыла Соню, а нарочно не помянула!

Зачем она тогда не помянула Соню? — Все бы уцелели.

А что если бы все четверо умерли? Но этого не могло быть: ведь если бы она всё отдала, а кто отдаст всё...

Зачем она тогда не отдала всех?

Вот вопрос, который сверлил ее и не отпускал.

А ну как и Соня умрет?

Она же вот сказала сейчас, что отдает всё, а стало быть, и Соню?

Вот вопрос, от которого, как помешанная, металась она, боясь думать.

— Соня, Соня, где ты? — спохватывалась Александра Павловна, ища дочь, которая не отходила от матери.

К мукам за себя, за свой поступок, к мукам за единственную дочь присоединилось беспокойство о любимом муже, жизнь которого держалась на трех дорогих смертях.

Петр Николаевич еле двигался, он уж не выходил из кабинета, он посинел весь, волосы примазались, и блеклая мертвая кожа, точно отделившаяся от тела, висела на нем мешком.

По дому, по всем комнатам пошел тяжелый дух.

Дом был старый, под полом водилось множество крыс — их было целое поколение, и нередко случалось, что какая-нибудь древняя крыса дохла. Вот, должно быть, почему шел невыносимый запах.

В другое время Петр Николаевич непременно бы нашел то место, где валялась падаль, пол подняли бы и падаль убрали бы, но теперь не до того было.

Все, кому случилось в это время быть в Благодатном, чувствовали, что так жизнь продолжаться не может, что рано или поздно — какой, всё равно — а должен отыскаться выход.

И ждали.

А ждать еще положено было три дня и три ночи.

И два дня и две ночи уже прошли.

*

В субботу вечером батюшка о. Иван служил в доме всенощную и накадил изрядно — ладана не пожалел.

После закуски уехал, и все не без угара разошлись спать.

— Ночью, — так после рассказывал Михей, — слышу я, барин меня кличет. «Михей, говорит, голубчик, принеси мне петушка, Христа ради, я тебя никогда не забуду». «А зачем, говорю, вам, барин, петух в такую пору? Ночь на дворе». А он только глазом подмигнул: понимай, значит, зачем. Пошел я в курятник, поймал петуха пожирнее, принес петуха и нож подаю. Взял барин петуха, резать стал, а сил-то уж нет — петух всё трепыхается. Ну, кое-как с петухом покончил. Крови целая лужа и на полу и на себе. Будто и лучше барину стало. «Хорошо бы, говорит, Михей, покойничка посмотреть!». «Господь с вами, говорю, какой теперь покойник, эка невидаль!». А у самого

по спине мороз подирает — вижу, с барином что-то неладно, ровно что его душит, так зуб-о-зуб и колотит. «А где, говорит, Соня?» Да на меня как посмотрит — умирать придет час, не забуду, так посмотрел. «В барыниной спальне, говорю, с барыней». Тут барин, видно, успокоился, а я отошел да и прилег.

— Проснулась я ночью, — рассказывала после экономка Дарья Ивановна, — слышу, будто кот мяучит. А откуда, думаю, коту взяться? Помяукала — не отзывается, шипит.

— Петух, действительно, пел, — показывали другие.

Но, видно, и петух не помог.

А какой петушок был славный!

Сил у старика больше не было, сейчас задохнется.

Петр Николаевич вдруг привстал на кровати:

— Все потерялись — Миша, Лиза, Зина и Соня, и все нашлись, одной Сони нет!

И одна заволакивающая мысль: найти Соню сейчас же, сию секунду, подняла его на ноги и повела.

Не выпуская ножа из рук, он пополз из кабинета в спальню.

Дверь в спальню была полуоткрыта.

В спальне было светло от лампадки.

Соня лежала с матерью на кровати лицом к двери.

— Курочка, куронька моя! — шептал старик, подползая к кровати.

Соня открыла глаза. Села на кровать.

И, глядя на отца, скрюченного, измазанного кровью, в ужасе вытянула свою лебяжью шейку.

— Куронька, куряточка! — шептал старик, силясь подняться на ноги.

И — поднялся.

Лебяжья шейка дочери в луче лампадки еще больше вытянулась под сверкнувшим ножом — один миг, и вишневым ожерельем сдавило бы лебедь!

Но старик уж не мог, силы его оставили, ему нет спасения!

Нож выскользнул из рук и вместе с склизлою кожей, отделившейся от его пальцев, упал на ковер.

Старик, дрогнув, присел на корточки, весь осунулся.

Всё в нем — нос, рот, уши — всё собралось в жирные складки и, пуфнув, поплыло.

И плыла липкая кашица, чисто очищая от дряни белые кости.

Голый, безглазый череп, такой смешливый, ощериваясь, белый, как сахар, череп стал в луче лампадки.

И в ту же минуту огонь, распахнув пламенем дверь спальни, красным глазом кольнул мать и обомлевшую дочь, и мертвую голову мертвого отца и, бросившись языками под потолок, развеялся красным петухом.

Дом Бородиных горел.

ЧЁРТИК

1



Дом Дивилиных у реки. Старый, серый, лупленный. Всякая собака знает.

Дверь в дому с приступками, узкая, серая, глухая — ни скважинки, ни щелинки — и для ключа никакой дырки не видно. В ночную пору не достучаться. Да и кому в ночную пору стучаться? — Разве бы вору? — Вору-то, положим, и не к чему, вор и без дверей залезет, на то он и вор. А если вот случай какой, надобность важная... Ну, уж не обессудь — звонка не водится.

Одно время на двери висела записочка:

х о д в о к о ш к о —

Плутня ли тут чья, или так уж надо было по случаю какой переделки, — действительно, о ту пору поблизости околачивались маляры. Но от этого не легче.

Ты сунься-ка, попробуй! — окно-то вон где: сколько ни скачи, не доскачешь, только жилу себе вытянешь. Оно если бы с тумбы или с фонаря... Да тумба-то на грех кривая: ехал как-то ломовик, зазевался, зацепил за тумбу, тумбу и своротило, так с тех пор кривою и осталась. А с фонарем тоже радость не ахти какая. Если бы хоть чуточку поближе, а то ишь угодил куда — совсем наискосок к Москва-реке. Это пока-то полезешь да приноровишься — да и лазить не стоит: пустое! Ну, да что, с улицы не подступиться.

Вот через забор разве с набережной махнуть? — Через забор — костыли помеха: другой попадет тебе толще пальца, вот этакий, а востроты — игла тупее. Его, брат, не перещеголяешь!

Если ткнуться в ворота... если ткнешься в ворота, прямо перед тобою будет на дворе огромный сарай; когда-то ходил сарай под извозчика, а теперь только конский дух остался, навозцем, да и тот продыхается.

Доберешься благополучно до сарая, поверни на левую руку и иди напрямик до собачьей конурки — собаки в конурке никакой нет, была одна, Белкой звали, да подохла, так что и побрехать некому.

А от конурки опять поверни на левую руку и упрешься прямо в дверь.

Дверь обита замуслеванной клеенкой и на блоке. Отворить ты ее, конечно, без труда отворишь, хитрости тут никакой нет, и пойдешь по коридору, и, наспотыкавшись вдоволь, уткнешься, наконец, в другую дверь. Тут-то тебе и ожидай! Пока не лопнет терпение — всё равно без толку — плюнешь и пойдешь.

Вот как законопачивались люди!

Улица узкая, пустынная: по утрам водовоз, вечерами отходники — вот и всё движение.

А в дому живут.

Но что в доме делается, ни одной душе не открыто.

2

Старик Дивилин в большой чести был, представлялся за юрода, за блаженного. Хоть и жил затворником, а нет-нет, да и показывался. Ходил старик под кличкой утопленника. Как-то, еще вскоре после женитьбы, попал он на Крещенье в прорубь и утонул. Стали искать, зацепили багром, на багре его и вытащили, подняли потом на руки и откачали.

С тех пор и пошло: утопленник да утопленник, и вся тут.

С тех пор и пошло: пить очень стал.

Стукнет эта нелегкая минута, — сейчас же всю одежду с себя на пол, да как есть, в чем мать родила, прямо на улицу. Дождь ли, слякоть ли, мороз ли трескучий или вьюга, — проходи мимо: никакого внимания.

И все ему в ту пору ракaми представлялись, а сам он будто рак наиглавнейший, вроде как бы ихняя матка рачья. Вытянет старик руки, растопырит пальцы клешней и ловит. Кто б ему ни попался, всякого словит. Идет он прямо на рынок и там первым делом за лошадей берется. Бьет во все кулаки скотину, лупит ее по морде, пока из сил не выбьется, да где-нибудь у стойла тут же и притихнет. И лежит под рогожей неподвижно, как мертвец, глаза открыты, огромные без белков, и выпучены — рачьи, и сам весь красный, как вареный рак.

А придет время, очухается, встанет и начнет бормотать да распинаться. Только слушай! Тут от баб ему прохода нет. Всё, что, бывало, ни скажет утопленник, всё так и сбудется. Никогда не обманывал. Такой уж, знать, дар был.

Большим уважением пользовался человек, редко кому выпадает от человека такое большое уважение. Да пренебрегал, не нуждался. Другого старик хотел.

Старуха Аграфена, как в монастыре, и носу никуда не покажет, так и сидит сиднем. А кто ее видел, не скажет, что она старуха: так лет сорок, не больше, да и то перехватишь, а эти годы не старые, в эти годы и как еще пошевелиться можно, другая-то на ее месте такие выверты вывертывает, молодая позавидует.

В беленьком платочке, вся прозрачная и неподвижная, не то без кости она, не то бессемянка. Тихая, не улыбнется. И всё в одном виде: и не стареет, и моложе не становится.

А бывало-то, до замужества, какие только, бывало, чудеса не творила, какие только чуды не чудила. Такая любовная: всякого приголубит и пригреет, и откуда-то слова такие появятся, прямо за душу хватит, и войдут слова в душу и угасят всякое пекло. Любому старику такие знания, что она знала. Бывало, расспрашивать кого начнет или в трудную минуту сама что посоветует, заслушаешься. Глаза голубые, волосы — лен. Монаху не устоять, не токмо что простому человеку.

И случись же тому — влюбилась она по уши в Ивана-утопленника, а Иван и в ус не дует, хуже, просто сам не знает, почему противна она ему да и только. Тут вот оно и произошло. Взяла она Ивана, добилась своего, да не своими руками.

Дело вот как было. Давно уж замышляла Аграфена недоброе — приворот сделать. Ждала только Пасхи.

На первый день Пасхи после обедни, когда вышел батюшка со святою водой, заметила она паску, на которую святая вода первее всех крапнула, отщипнула от паски кусочек и затаила у себя. То же проделала и с артосом, на который первее всего святая вода попала.

Завязала артос и паску в тряпочку, повесила на грудь, и так носила на груди до новолуния.

Когда же показался на небе молодой месяц, вышла она в глухое место, стала против месяца, сняла месяцу с груди свой золотой крест и стала наговор сказывать — приворот делать:

Месяц молодой всё видит,
месяц молодой всё знает,
и видит и знает,
кто с кем целуется.
И она, Аграфена,
целуется с Иваном.
Так и навеки,
чтоб целовались и миловались,
как голубь с голубкой!
Едет она на осляти,
гадюкой погоняет,
приступает к месяцу
с артосом и паской.
И Иван не отвертывается,
не говорит ей худого слова.
Так и навеки,
чтоб не сказал худого слова,
а всё ласково.

Аграфена сняла с груди тряпочку, вынула артос и паску, съела, а немножечко крошек оставила.

Побежала под каким-то предлогом в дом к Ивану, да незаметно и всыпала ему в чай крошки.

Дождалась, пока Иван выпил чай, и тогда ушла домой.

Иван рехнулся: жить уж без нее не может!

А она испугалась. Видит, дело не ладно, жить так, как раньше, она уже не может: тянет ее куда-то, наводит на такие мысли — кровь холодеет в жилах. Всё это так незаметно, как-то само собою, всё будто в шутку.

И чувствует она в себе необыкновенную силу, и захоти она самого невероятного, и оно тотчас исполнится.

И она уже боится хотеть чего-нибудь, боится думать...

Опять достала крест, повесила себе на шею, стала поститься, всё, всё, всё проделала, как написано.

И затихла.

Словно прихлопнуло ее. Словно чёрт задавил ее. Плюнул на нее чёрт и навсегда ушел, бросил в этом мире жить в покое, в молчании, без веселья, без радости, без единой улыбки, хоть на один миг.

И она жила безмятежно, безропотно.

Куда всё подевалось? — Сама не поймет.

Да и было ли что? — Ничего не помнит.

Будто родилась такой, будто отродясь не веселилась, не радовалась, не улыбалась ни разу. Молится да вздыхает, молится да вздыхает.

О чем молится? — О грехах.

Да о каких грехах?

3

Дети у Дивилиных рождались часто. И помирали. Родится крепыш, поживет с год, уж и ходить начнет и разговаривать, да вдруг ни с того ни с сего и протянет ножки, — Богу душу отдаст.

Осталось в живых всего навсего двое — два мальчика.

Старший, Борис, большую охоту к ученью имел. Всю свою половину в доме книжками уставил. Неразговорчивый, сидит, бывало, всё читает, и не оторвешь его ничем: ни сластями, ни играми. Кончил он гимназию, поступил в университет студентом.

Сам старик Бориса до страсти любил. Ни в чем ему не отказывал. Всё хотел, чтобы из него доктор вышел.

Бывало, в тихий час, когда не случалось запоя, подсядет старик тихонько к сыну и всё расспрашивает:

откуда мир пошел, да откуда земля, да откуда человек и всякий зверь?

и зачем всё так приключилось, как оно есть, и будет ли конец этому, и наступит ли другое?

и какое такое это другое будет?

и почему на земле все причины и боль и страсти?

и зачем смерть приходит и люди родятся, и зачем сердце у него сохнет?..

Понимал ли старик, что́ ему сын из книжек рассказывал, понимал ли сын, о чем его старик спрашивал?

Старик всё тянул свою черную редкую бороду, впивался в нее пальцами, будто клешнями, качал головою.

И так же тихонько, как входил, опять отправлялся к себе на свою половину и там нередко в потемках, при крошечном свете лампадки, целыми ночами ходил взад и вперед и бормотал сам с собою, и, впиваясь пальцами в черную редкую бороду, кивал головой, и, выпучив черные без белков рачьи глаза, стоял столпом. Стоял долго, весь — камень.

И опять тихонько пробирался к сыну и, если заставал его за книжками, садился молча, глядел на него, а впадина меж бровями чернела чернее глубокого колодца.

— Зачем смерть приходит и люди родятся, и зачем сердце у него сохнет?

Борис рано женился. Ходила к Дивилиным в дом к матери Аграфене молоденькая монашка Глафира. Вот на Глафире он и женился.

Родилась у них девочка.

А вскоре случилась в доме такая темная из темных история. Однажды ночью к дому подъехала «черная карета». Вышли из кареты люди. Вошли в дом. Взяли Бориса. Посадили с собою в карету. Карета укатила. Уехал Борис. И больше не вернулся.

Больше Борис в дом не вернулся.

Так и сгинул, — ни слуху ни духу.

Двенадцать лет прошло с тех пор, а всё ничего не известно, и сколько ни ломали голову, ни до чего не дошли, и сказать ничего нельзя: как, что и почему?

Двенадцать лет, как умер старик, не возвращается Борис, и вернется ли, — одному Богу известно.

Старик умер с горя.

С того дня, как увезли Бориса, он больше не ложился спать, больше он не мог спать.

Все ночи проводил старик в комнате Бориса на своем обычном месте у стола и, облокотясь, смотрел туда, где прежде сидел Борис над книгами.

— Зачем смерть приходит и люди родятся, и зачем сердце у него сохнет? — бормотал старик.

Да так и помер.

Уже после смерти его через несколько месяцев Аграфена родила последнего. Окрестили мальчика Денисом в честь дедушки.

Ни смерть старика, ни случай с сыном не смутили ее ровного изо дня в день равного века.

Только один раз голубые ее глаза вспыхнули голубым огоньком. Только один раз — и погасли.

Безмятежность, безропотность. Молится да вздыхает, молится да вздыхает.

О чем молится? — О грехах.

Да о каких грехах?

4

Весь дом и всё дивилинское хозяйство лежали на руках невестки Глафиры. И Глафира заправляла всем по-свойски.

Сохлая, как щепка, тощая, как спичка, без кровинки, хищная и злая, что Яга на суковатом помеле, — сущая Яга.

Там, в монастыре, тихая по нужде, смиренная по послушанию, развернулась она тут вовсю в пустом доме с его половинками, коридорчиками, переходами, закоулками, лестницами без конца и всякими без числа комнатами.

Вышла Глафира замуж за Бориса... шут ее знает, почему она вышла замуж. По любви, или расчет у ней какой был, или просто так пора пришла... Теперь свободная, она свободно могла делать всё, что хотела.

Но что ей делать, кроме как по хозяйству, в этом пустом доме? — Да ничего.

Как ничего?

И попадало ж от нее Антонине и Дениске.

По двору побегать, либо со двора куда: покататься там на лодке, поудить рыбу, — ни-ни!

Только по большим праздникам Яга забирала детей и отправлялась с ними пешком на другой конец города, в монастырь за заставу. И всю-то дорогу муштровала и за службою

пьявила, — какое уж там развлечение, хуже карцера, куда Дениска частенько попадал и за лень и за шалости.

Дениска — мальчишка рослый, и грудь у него железная.

На перемене и часто во время урока, расстегивая курточку, показывает он мальчишкам свою грудь. И все соглашаются, да и не могут не согласиться, что грудь у него, действительно, железная, и если постукать, отдает здорово.

Когда Дениска только что поступил в гимназию, его встретили кличкою — так, по отцу — утопленником. Но в первый же день он избил одного из самых отчаянных и задирчивых во всей гимназии, и с тех пор его побаиваются.

Лентяй страшный, за книжку не усадишь. Одно пристрастие: очень рисовать любил. Только и дело, что выводит рожицы, учителей да разные разности. Полны карманы карандашей, гуммиластиков и снимки.

«Снимка» ходила не только для снимания точек при оттушевке, но и для озорства. Снимка такой предмет, что сам в рот просится. И пахнет от снимки чем-то таким приятным, особенно когда она свежая и с бумажки так на желтой своей перепонке отлипается.

Дениска любил жевать снимку, пожует-пожует, а потом какую-нибудь фигурку из нее и сострoит: либо лягушку, либо несуразность и еще там что, отчего весь класс, как один, завизжит, и унять уж невозможно станет. Потом надует пузырек и, когда притихнут, возьмет да и сдавит снимку, чтобы лопнуло. И лопается, трещит пузырек по всему классу, а причины не видно.

Из-за этой снимки сколько раз в карцере Дениска сидел, да по воскресеньям ходил в гимназию, если считать, так всякий счет потеряешь.

Книжки читать для Дениски всё равно что поклоны класть. И те книжки, которые выдавались ученикам на дом, с первых же строк нагоняли на него такую зевоту, и так его всего корчило, что вот того и гляди, возьмет он эти самые книжки да в клочки.

А знал Дениска много разных историй, разными путями они попадали к нему: и наслушался вдоволь, и так из головы выдумывал.

В гимназии за карцером присматривал старичок швейцар Герасим. Сидит, бывало, Дениска, и старичок Герасим сидит, смотрит к Дениске в окошечко: тоже никуда уйти нельзя, отве-

чать за всё будешь. Вот старичок скуки ради и рассказывал. И про что только не калякал старик: и про сражения, и про деревню, и про колдунов, и про покойников. А сказки начнет — хоть бы и век сидеть в карцере! — вот как рассказывал.

Антонина тоже училась в гимназии. Но прошлой зимою с ней беда приключилась, и из гимназии ее взяли.

Как-то на первый снег поела Антонина с Дениской снежку. С Дениски как с гуся вода, попершил, тем и отделался, а Антонина слегла. Да так тяжело, всякая надежда пропала, что встанет. И всё же выходилась, только с ногами стало неладное: ступить она могла лишь на одну, левую, и то носком, а правая нога так болталась, как хвост. Пришлось девочке костыли носить.

И куда девалась ее светлая коса, — так какие-то одни волосики торчат, а от косы и помину нет.

Первое время после болезни Антонина всё еще продолжала ходить в гимназию. Самая озорная — Дениске в озорстве не уступит, — самая неугомонная во всем классе, сидела она теперь, запрокинув голову, как горбатая, и костыли торчали за ее спиной, как два чёртова кукиша.

На бледном ее личике порывалась скорчиться рожица, и губы коверкались, готовые уж задать такой смех, от которого и учитель и доска покатятся по классу, но ничего не выходило, — выходило что-то жалкое, жуткое и мучительное, отвернуться хочется.

Учителя избегали вызывать ее, а когда спрашивали, то разрешалось отвечать сидя... Да она, бывало, и минуты на месте не усидит! Извелась девочка. Вот и взяли ее из гимназии.

И теперь Антонина с утра до вечера в комнатах под призором своей матери — Яги.

Ягу дети не любили, как не любила Антонина своих классных дам, как не любил Дениска нюнь, пихтерь, тихонь, фискал, директора и надзирателей.

Старуху же Аграфену, напротив. И часто дети заходили к ней на ее половину. Величали Аграфену бабинькой. Так уж повелось: бабинька и бабинька.

Тепло у старой, уютно.

Стены в картинках; картинки шелками да бисером шиты: тут и цветочки, и лютые звери, и монастырь, и китайцы, амазоны на конях и так амазоны, лебеди, замки, и опять китайцы.

В углу иконы, по бокам святыня: шапочки, туфельки, рукавички, ленты, пояски, крестики, гашники, нагузники — все с мощей от угодников.

На столиках шкатулки — бисерные, и кожей обделанные, и разрисованные, и хрустальные.

Бабинька в беленьком платочке, словно воды в рот набравши, ни слова не скажет, только молится да вздыхает.

А какая у бабиньки лестовка: белая лестовка, скатным жемчугом осыпана, на лапостках по золотистому бархату жемчужные веточки, и краешки и ободки жемчужные, и каждый бабочек — ступенька из целой жемчужной дорожки.

Лазали себе дети по шкатулкам, отворяли сундучки, вынимали диковинки и все пересматривали и все перетрогивали. И чего-чего там не было...

Старуха, между тем, не оставляя молитвы, отпирала один из шкапчиков, брала из шкапчика полную тарелку сушеных яблоков, и груш, и слив, и винограду и ставила на стол перед детьми.

— Ягодку, ягодку! — шептали ее поблекшие губы.

Бросали дети шкатулки и коробочки, принимались за тарелку, уписывать.

— Ягодку, ягодку! — шептала бескровно старуха.

И тарелка пустела.

— Прощай, бабинька, благодарим! — целовали дети старуху и шли к себе в детскую.

5

Детская — на половине Бориса.

После смерти старика все книги пошли на подтопку, и в доме не осталось ни одной завалящей книжки.

Исчезновение Бориса приписывалось книгам.

— Всё от книжки, — говорила Яга, — книжки от Дьявола, и водить в доме погань — только его тешить, да и пыль заводится.

И там, где раньше не было ни уголка не заставленного, в пустой комнате проводила Антонина все свои дни.

Только и ждала что Дениску.

Дениска возвращался из гимназии с опозданием: то оставят, то так прошляется с мальчишками.

Рассказывал Дениска Антонине страшные и чудные истории, и Антонина любила их слушать.

Сама просила, чтобы рассказывал.

Всякую историю, всякое ухарство принимала она с какою-то страдною болью.

Она хорошо знала: удел ее сидеть вот тут, вот так, и большего нет для нее и не может быть ничего до гробовой доски. Она бередила себя, поддразнивала, слушая рассказы и представляя себе те ухарства, на которые и она когда-то была готова.

Глядя куда-то под потолок, как горбатая, хохотала она, захлебываясь, так громко, как только могла хохотать. И глаза ее горели со смехом и слезами, и вся она подпрыгивала и костыли за спиною прыгали.

— Денька, миленький, Денька, еще что-нибудь!

А Дениска взялся было за карандаш — замахнулся какого-то чудищу изображать...

— Денька, про дятла! — стучит кулаком Антонина, и бровки у нее сходятся: не то заплачет, не то ударит костылем.

И начинается сказка про дятла, начинает сказку Дениска.

Сказка всем известная, как кормила и поила собака мужика и бабу, и как выгнали собаку за старостью лет со двора, и как очутилась собака в таком скверном положении, что хоть ложись да помирай.

— И придумала собака идти в чистое поле и кормиться полевыми мышами, — Дениска вытягивает губы и так скашивает лукаво глаза, будто сам мышку ловит, — пошла собака в поле, увидел ее дятел и взял к себе в товарищи...

Тут начинаются собачьи похождения.

Долгая сказка и жестокая.

Рассказывает ее Дениска с азартом, словно бы собачья и дятлова участь были его участью.

Накормил дятел собаку по горло и напоил досыта.

— «Я теперь и сыта и пьяна, хочу вдоволь насмеяться!» «Ладно», — отвечает дятел. Вот увидели они, что работники хлеб молотят. Дятел сел к одному работнику на плечо и ну клевать его в затылок, а другой парень схватил палку, хотел ударить дятла, да и свалил с ног работника. А собака от смеха так и катается по земле, так и катается...

И чем жестче куралесы собаки, тем глаза у Дениски игривее.

Достукалась собака — ехал мужик в город горшки продавать — завязла собака в спицах колеса, тут из нее и дух вон.

— Озлился дятел на мужика, сел на голову его лошади и стал ей выклевывать глаза. Мужик бежит с поленом, хочет убить дятла; прибежал, да как хватит — лошадь тут же и повалилась мертвая. А дятел вывернулся, перелетел на воз и пошел бегать по горшкам, а сам так и бьет крыльями. Мужик за дятлом и ну поленом по возу-то, по возу-то. Перебил все горшки и пошел домой ни с чем. А дятел полетел к мужиковой избе, прилетел, и прямо в окошко. Баба печь топила, а малый ребенок сидел на лавке; дятел сел ему на голову и ну долбить. Схватилась баба, прогоняла-прогоняла, не может прогнать: дятел всё клюет. Вот она схватила палку, да как ударит: в дятла-то не попала, а ребенка до смерти ушибла. Воротился мужик, видит: все окна перебиты, вся посуда перебита, и дитё мертвое. Пустился гоняться за дятлом, исцарапался весь, избился, и поймал-таки. «Убить его»! — кричит баба.

Дениска вывел на бумаге какой-то трехаршинный нос, подставил ему ножки, причмокнул:

— Нет, — говорит мужик, — мало ему, я его живьем проглочу.

И проглотил.

Бледное лицо Антонины покрывается красными пятнами, бегает под глазом беспокойный живчик, и начинает она хохотать.

И в детской, пустой с пустыми полками для книг и с двумя кроватями по углам, с длинными стенами, сплошь изрисованными рожицами, носами, хвостиками, горит огонек далеко за полночь.

Только Яга, шлепая туфлями, разгоняет детей по кроватям.

Но и в кроватях они долго еще переговариваются и прыскают от хохота и пищат мышами.

Мерный свет лампадки, мерный ход часов подговаривают, подшептывают им в этой ночи и доме пустом.

6

Единственный гость у Дивилиных — тараканомор Павел Федоров.

Дети хоронились от тараканщика, и тараканщик не любил детей.

— Поганое, — говорил тараканщик, — дьявольское семя. Зачаты во грехе, грехом насыщены, грех плодят. Поганое.

На дворе росло репею видимо-невидимо, и Дениска урывками, когда удавалось незаметно проскользнуть от Яги, собирал колючих собак и незаметно сажал этих собак тараканомору на самые непоказанные места.

Если было когда-либо такое поразительное сходство человечьего лица с собачьей мордой, так именно у Павла Федорова.

Да большего сходства, наверно, и никогда не было. Ну прямо собака и собака. Заросший весь, поджарый, зубастый, и не голос, а глухой лай. Пес сапатый.

Павел Федоров ходил по известным купеческим домам и там морил тараканов.

Через плечо висела у него черная кожаная сумка с белым ядом, а в руках — палка с кожаным наконечником.

Наконечник он обмазывал свиным салом, вынимал из сумки баночку с белым порошком, осторожно открывал крышку и макал туда палку. Потом шептал какое-то тараканье слово и приступал.

Он ходил по стене, где водились тараканы, и медленно прикладывал свой наконечник, так что вся стена покрывалась беленькими кружочками вроде огненных белых языков.

Медленно прикладывал тараканщик наконечником, да с расстановкою и со вкусом.

И тараканы, уж не боясь света, ползли на приманку и ели белые кружочки, ползли из всех потайных гнезд, из всех щелей и подщелей, с малыми детьми, с яйцами и ели белые кружочки. Наевшись, сонно уползали они назад в гнезда, щели и подщели, чтобы уж никогда не выйти не только при свете, но и в самый разгар усатой тараканьей жизни — в ночную пору.

Тараканомор считал свое дело большим и важным. Словно бы в тараканьем шуршаньи мерещился ему сам Дьявол, а побороть Дьявола, стереть Дьявола с лица земли было главным и первым заветом тараканомора.

И, отрываясь от работы, он только и говорил о главном.

— Вся земля в плену у нечистого, всё проникнуто его сетями, всюду его сатанинские лапы. Дети родятся не для славословия — поганое семя! — они родятся, чтобы творить козни Дьявола. И конец уж идет, прогнивает земля от нечистот и пакости. И время уже близится... Дьявол и все сети его станут явными, ибо скрываться ему уже не к чему. Обречена земля, умирают

последние праведники, расплождаются, как песок морской, сыны бесовские. Скрываться уж не к чему. Сядет он на престол, как царь и судия, начнет повелевать и судить от моря до моря своих рабов и обратит царство свое в ад кромешный с огнем неугасимым и червем неусыпающим.

Тараканщик так лицом к лицу никогда не видал Дьявола. А стань Дьявол перед ним, тараканщик не устрашился бы вступить в борьбу.

Поморив тараканов, Павел Федоров закрывал свою баночку, убирал ее в сумку, вешал сумку через плечо и принимался за палку, в трех кипятках обмывал наконечник, вытирал сухою тряпкой, ставил палку в сенях, потом, плескаясь и фыркая, мыл себе руки, и бороду, и под бородою, шептал опять тараканье отпускное слово и, помолившись, садился за стол пить чай со сливным вареньем.

Не дай Бог, чтобы варенье не так было сварено, как любил тараканщик.

За стол не сядет и выговорит:

— Ты сливу разрежь сперва пополам, посыпь ее сахаром, да ставь сковородку на ночь в печь, да наутро вынь из печи и начинай варить. Тогда слива к сливе, что таракан к таракану, будет отдельно.

Возьмет тараканщик свою палку, нахлобучит шапку и уйдет.

И ты его проси не проси, ни за что, в сердцах, не вернется.

А если всё оказывалось в исправности, тут за чаем начинался разговор о главном.

И изливают хозяева душу, перебирая все горести и беды своей семейной жизни.

— Поганое, — лает тараканщик, — всё поганое.

И когда бы он ни пришел, что бы он ни услышал, кого бы ни увидал, ему от всего отзывало поганью, скверным духом, — мерещился Дьявол.

Но самого Дьявола так лицом к лицу он никогда не видел. И если бы Дьявол явился к нему, тараканщик не устрашился бы и — верил, он верил, одолел бы его.

Если бы Дьявол явился к нему!

*

Жизнь Павла Федорова проходила в мореньи тараканов. Так не по делу он никуда не заходил, исключая Дивилиных.

И только иногда, а случалось это не больше пяти-шести раз в году, он сдергивал с себя черную сумку с белым ядом и куда ни попало швырял свою палку с кожаным наконечником.

Это приходило совсем неожиданно. Суровость и мрачность вдруг достигали какой-то своей последней точки. Он начинал весь дрожать, глаза застилало, зубы скалились. Собачий вой подымался в груди, и если б тогда привязать его на цепь, он завыл бы собакой.

Он запирал все двери, завешивал занавески, шарил по углам, засматривал под кровать — его тянуло.

Душа его горела, сердце стукало, нутро выворачивалось.

Стуча зубами, как в лихорадке, наконец вырывался он из комнаты и шел, окутанный мутью, с тяжелою тупою головой, а мозг его придавливало, будто лежал на нем плотный слой коры.

Слепо добирался тараканщик до Зверинца.

Там, в Зверинце, молча бродил он от клетки до клетки, от кролика к морской корове, от обезьяны к слону. Потом так же молча и слепо, когда темнело, покидал он Зверинец, выходил на главную улицу.

А на улице уж пробуждалась ночная открытая жизнь.

Шел он всё напряженнее и беспокойнее, глядя перед собой, не давая дороги, не сторонясь, не уступая, напролом.

И если бы нелегкая подтолкнула остановить его, трудно ручаться, чтобы тут же не задушил он, а будь при нем нож, не зарезал бы негодяя.

И так он шел по улице медленнее и медленнее, пока вдруг не застывал на месте: тогда первая попавшаяся женщина была обречена.

Он не вел, а волок ее, тащил в какой-нибудь номер или комнату.

Там набрасывался — брось голодной собаке кость, как она набросится! или рыбу... с костями, с кожей, с внутренностями, и урча и сопя, всё схряпает, загрызет с костями, с кожей, с внутренностями поганое лакомое мясо.

И было в этом что-то головокружительное, и продолжалось целые часы, целую ночь.

Молча, не глядя, покидал тараканщик не человека, не женщину, молча, не глядя, покидал тараканщик труп, и шел к себе

домой, чтобы заснуть мертвым сном и, выспавшись, начать жизнь обычную и работу — морить тараканов.

7

Приключения тараканомора оставались глубокою тайной. Как загадочные истории, они нет-нет и выплывали на свет, но никто не поверил бы, что всё это — его дело рук. Все считали тараканщика за необыкновенного, не простого, но чтобы такое делать... да никому и в голову не придет.

Тараканщик у всякого на языке.

За последнее время стали немало занимать его посещения Дивилиных: ни к кому без дела порога не переступит, а к Дивилиным — накось! — каждую субботу обязательно.

А дом глухой, не подступишься, и нет возможности узнать, чем он там занимается. А уж очень всем любопытно было знать, чем он там занимается.

Кто-то смеялся:

— В доме все уж давно перемерли, и ни одной ноздри не осталось, а на место людей тараканы завелись, с этими тараканами тараканщик и водит компанию; вот какой хлюст!

— А Дениска? — возражали смехачу, — ведь шляется же мальчишка всякий день в гимназию!

Нет, шутки в сторону, шутками тут не отделаешься. И начинались догадки.

Вспоминали самого старика — у т о п л е н н и к а. Без утопленника не могло обойтись.

Говорили:

— Утопленник и не думал помирать, утопленник жив и находится в великом затворе, только с тараканщиком что и водится.

Говорили:

— Тараканщик с Дивилиными бабами новую веру хочет объявить.

А другие говорили:

— Никакой веры тараканщик сделать не может, все веры уж сделаны, а просто живет он с Дивилинскими бабами: с Глафирою полюбовно, а со старухой, как с малым дитём, обманом.

— Да он и не человек вовсе, — замечали хитрецы, — нешто человеку дана власть над тварью, а ему таракан повинуется.

— Таракан не корова, — встревался встревальщик, — корова ли, лошадь ли, овца ли, баран ли и прочий скот, все они Богом благословлены на служение человеку, таракан же не в воле человека, о таракане да о мышах нигде не сказано.

Находились бабы, уверяли бабы, будто они собственными глазами видели, как тараканщик превращался в таракана, и затем собственными ушами слышали, как хрюкал он по-свинячьи.

— При чем же тут свинья, — унимал догадливый догадливых баб, — дело не в свинье, и свинья не при чем, а вот куда девался старшой утопленников сынишка Борис?

— С книг.

— Конечно с книг. Да с каких книг? С простой не сгинешь: черную он читал книгу.

— А откуда она к нему попала?

— От утопленника.

— А утопленник откуда достал?

— Ну, утопленник на то и утопленник.

— Никакой черной книги нет.

— Как нет?!

— Да так, очень просто, нет и нет.

— Нет, говоришь, значит, по-твоему, и Бога нет?!

И если бы не Федосей, отколошматили бы беднягу, до новых веников не забыть.

Федосей — мудрый, слова от него не добьешься, а уж если начнет, за словом в карман не полезет.

— Черная книга есть, — отчеканил Федосей, и все язык прикусили, — черную книгу написал Змий, от Змия перешла она Каину, от Каина — Хаму. А когда пришел потоп, Хам скрыл книгу в камне. А когда кончился потоп, вышел Хам из ковчега, пошел к камню, отвалил камень, вынул книгу и передал ее сыну своему Ханаану. И пошла книга от сына к сыну в род Хамов. И задумали сыны Хама насмеяться над Богом, как отец Хам насмеялся над своим отцом Ноем. Задумали сыны Хама построить великую семи-лучей башню, соединить разделенное Богом — небо и землю. Но разгневался Бог, смешал языки, рассеял людей по лицу земли, и попала книга в Содом. И не было преступления, которое не совершил бы проклятый город. Провалился проклятый город, канули грехи и злодеяния, но

книгу не приняло озеро, и огонь не попалил ее. Досталась книга Новуходоносору царю. И творились всякие беззакония. И творились всякие беззакония сорок два века человеческих, пока не разрушены были царства и не попала книга на дно морское. Там, под горючим Алатырем-камнем лежала книга невесть сколько. И вот, один арап за великие грехи свои взят был в плен праведным царем и заключен в медную башню. Но Дьявол полюбил арапа, научил арапа, как достать книгу. Чарами колдовскими сожжен был праведный город, погиб праведный царь и всё его христолюбивое воинство, и вышел тот самый арап из медной башни, спустился на дно морское и достал со дна морского черную книгу. И пошла она гулять по белому свету, пока не заклали ее в стены Сухаревой башни. До сей поры она лежит там, и не было еще никого, кто бы сумел достать ее из стен Сухаревой башни. Она связана страшным проклятьем на девять тысяч лет с тысячью.

— Да как же он пробрался в стену-то, с пустыми руками к этому предмету не подступиться?

— А утопленник-то на что, э-эх ты, голова!

— И совсем не утопленник, а тараканщик .

— Конечно тараканщик! — загалдели все в один голос.

— Да будет вам огород городить, — вступился здравый человек, — какую вы такую загадку разгадываете, когда всё ясно, как Божий день. Дивилины, слава Богу, не щепотники, закон чтят, службу-то править надо, тоже собакой жить не полагается, вот тараканщик и ходит к ним службу отправлять и больше ничего.

— Бабы-то уж очень подозрительны... — усумнился кото— рый-то.

— Наладил: бабы да бабы, а сам хуже бабы!

— Старуха Аграфена с нечистым, говорят, зналась и старшого, которому пропасть, понесла от чёрта, да и эта их Глафира сущая Яга.

— И по какой такой причине утопленникова внучка Антонина безногая сидит? Нет, тут что-то неладно.

Снова начались догадки. Трепался язык вовсю. И ссорились, и дрались, и опять мирились. Приплеталось и совсем неподходящее. Даже совсем неподходящее.

Был один человек ихнего же толка, который не только книги читал, но и сам что-то писал божественное. Ходили к нему за

расспросами, но ничего не узнали, только еще больше запутались.

Человек этот такое им загнул словечко, поджилки затряслись и бороды сгунявились.

— Может статься, и Миша-то у нас того, не тараканьим ли делом промышлять стал! — не решив недоуменного вопроса, порешили.

Были и такие дотошные, выслеживать стали, кто в дом к Дивилиным ходит, но никого, кроме тараканомора, не встретили.

И согласились все на одном, что творится в доме что-то чудесное. И с течением времени никто уж не сомневался, что в доме нечисто.

Но что в доме делается, ни одной душе не было открыто.

*

Всякую субботу к Дивилиным приходил тараканомор Павел Федоров. Все сходились в образную. Павел Федоров облачался, и начиналась служба. Служба длилась долгая.

И когда кончалась всенощная, утомленную Антонину почти на руках уводила Глафира в детскую, а Дениску шлепками прогоняли спать.

Утром в воскресенье совершалась обедня. После службы обедали. И тараканомор уходил к себе домой.

Вот и всё.

Так было при покойном старике. Так было и теперь, после его смерти.

Тогда утопленник был за священника, а тараканомор за дьякона, теперь за священника был тараканомор, а за дьякона ходила Глафира-Яга.

Вот и всё.

Службы совершались чин-чином по уставу со всею строгостью, какая только отцами положена была.

Служил тараканщик с оттяжкою и гнусил на весь дом, благо еще стены толстые, а то бы в реке всех рыб посмутил.

У тараканщика лестовка ременная: лапостки алые с белыми и голубыми веточками, у Яги на лестовке лапостки черного бархата с синим ободком и все золотом расшитые, горят при свечах, что звездочки.

Вот и всё.

А люди... люди чего не скажут!

8

Однажды, после долгой всенощной, Дениску прогнали спать. Лег Дениска, а спать что-то не хочется.

Вот он лежал-лежал, покликал было Антонину. Антонина не отзывается, сопит, — так истощали ее все эти стояния и поклоны.

Делать нечего, встал Дениска, походил по комнате, и взбрело ему в голову в потемках по дому побродить, а если придется, и Ягу попугать, — Ягу попугать, чтобы вперед не подзатылила.

И, держа в голове, как бы всё это лучше обделать, вышел Дениска из детской, спустился с лестницы и уж хотел отворить дверь в коридорчик, окружавший женскую половину, да только дверь не поддается, дверь оказалась заперта. Что за оказия? Походил он вокруг. Приставил ухо к замочной скважине, — ничего не слыхать. Зашел с другого конца, и опять та же история.

Так и пошел ни с чем.

И долго Дениска ворочался, всё головою раскидывал: отчего это дверь заперта — никогда дверь не запиралась! — и ничего не слышно, хоть бы вот этакий комариный зуд.

И снились Дениске всю ночь страшные разбойники, хотели разбойники не то живьем его проглотить, не то отрубить ему голову, — словом, что-то страшное сделать. Но Дениска не трусливого десятка, укусил главного разбойника за палец, и проснулся.

«Это дело нужно разведать; так оставить его нельзя!» — порешил Дениска и, сговорившись с Антониной, притворился на следующую субботу больным.

И чесался-то он, и ерзал, и перхал, и глаза муслил, и рука-то у него онемела, и в голове-то где-то в самом мозгу свербит, что страсть, и в ушах такой звон, — куда звон у Ивана Великого!

Ко всенощной его, конечно, не тронули, куда такого тронешь: прямо на ладан дышит.

А когда началась служба, Дениска шасть с кровати, спрыгнул да со всех ног в коридорчик, ключ от одной двери и прикарманил. Воротился опять в детскую, улегся, лежит.

Кончилась служба, Яга привела Антонину, а он себе мечется весь, будто в жару лютом, и кукишки кажет и язык высовывает.

Притворила Яга дверь, помешкала на площадке у детской и спустилась вниз.

И всё в доме затихло.

Вот выждал Дениска время, да тихонько в коридорчик к двери.

Думает себе, так сейчас всё и увидит, потирает руки от удовольствия. Ан нет, не тут-то, — толкнулся, а дверь-то не отпирается — заставлена.

Осмотрел Дениска всё тщательно, понапер грудью — маленькую щелку сделал, да в щелку и юркнул. И пошел.

Столовую прошел, шкапную прошел, заглянул в боковые — нет ничего, темно. Обогнул Ягиную комнату, малую молельню и к образной.

Приставил ухо к образной и слышит: долбит тараканщик, а о чем долбит — ничего не поймешь. Долбит и долбит. И опять тихо. И опять долбит, что твой дятел.

Пождал Дениска, послушал и только что уходить собрался, как вдруг, откуда ни возьмись, чья-то огромная нога — хвать его сапожищем, и наступила.

Хорошо, что у Дениски железная грудь, а то только мокренько бы стало, проломил бы его сапог, как пить дал.

Дениска свернулся в горошину, зажмурился да по полу ползком, по полу и покатился, докатился до двери, да в щелку, да в коридорчик, да по лестнице в детскую бух на кровать.

А в ушах так и долбит и долбит тараканщик.

Что за чудеса? Много Дениска с Антониной ломали голову.

Подступал Дениска к бабиньке, и так и сяк приставал к старухе, но старуха ни полслова, хоть бы что, только молится да вздыхает, молится да вздыхает.

О чем молится? — О грехах.

Да о каких грехах?

9

Слух о том, что в доме Дивилиных неладно, исколесив много дорог, дошел и до гимназии.

Учитель географии, по прозванию Мокрица, будто случайно, спросил Дениску:

— Эй ты, как тебя, Дивилин, что ли, каких это у вас там в доме чертей вызывают?

Дениска Мокрице язык высунул.

Мокрица рассвирепел: заставил Дениску простоять битый час не двигаясь, и сам стоял против Дениски и, не спуская глаз, следил за ним.

И Дениска, выпятив свою железную грудь, выстоял час, не только не шевелясь, но и не сморгнув ни разу. Не потому, чтобы боялся Мокрицы и слушался, а просто из ухарства и упрямства.

«И выстою, что — выкуси — а?!» — каменел каждый мускул на его детском нежном лице.

Но Мокрицей дело не кончилось.

Позвали Дениску к директору. Когда звали ученика к директору, это означало, что просто уж решено выгнать из гимназии. С тем пошел и Дениска.

Директор долго морил Дениску. Дениска стоял и смотрел на директора. Бритая директорская губа то поднималась, показывая волчий клык, то прикусывалась без остатка.

— Чем занимаются твои родители? — не глядя, спросил директор.

— Отец помер, — ответил Дениска.

— Чем занимаются твои родители в настоящее время?

— Капусту рубят.

Директор скосился.

— Я тебя про капусту не спрашиваю... — забарабанил директорский палец.

Дениска молчал.

— Ты у меня позанимаешься, наглый мальчишка! — уж грозился директорский палец, а острый камень перстня, сверкнув, кольнул прямо в глаза. — Остаться после уроков!

Призадумался Дениска пуще прежнего.

Отпирал он запрятанным ключом дверь коридорчика, проникал к образной, прислушивался, слышал долбню тараканщика — и только.

Тут на грех пошли истории в гимназии, да такие, не было уж возможности продолжать свои наблюдения.

Много суббот пришлось Дениске отстаиваться в карцере.

И всё из-за пустяка.

Как-то на большой перемене, пробегая мимо инспектора, Дениска, столкнувшись с ним нос к носу, крикнул:

— Леонид Францевич, в каком у меня ухе звенит?

— В левом, — ответил, не задумавшись, инспектор и вдруг побагровел весь: так ошеломил его Дениска своим неожиданным, недопустимым, прямо невозможным вопросом.

И за этот-то самый вопрос, а скорее за то, что инспектор ответил ему на недопустимый вопрос, наказали его жестоко.

В карцере Дениска не отсиживался, а отстаивался.

Стоял столпом, как велел директор, руки по швам, голову так. И старичок швейцар Герасим, хмуря седые солдатские брови, тоже стоял и наблюдал в окошечко, словно бы под туркой.

Дениска стоял, а сам думал: что же это такое происходит в доме у них, и все даже спрашивают, и всем интересно знать, а он не только не знает, а и узнать ничего не может?

И возвращаясь поздним вечером из карцера и не попадая уж к обеду, измытаренный после долгой всенощной, Дениска подолгу разговаривал с Антониной и гадал, и всё об одном, о доме: что за причина завелась у них в доме?

Антонина как-то сказала:

— Может быть, они там детей делают...

— Детей не так делают, — отвечал сурьезно Дениска, — ты ничего тут не понимаешь.

— Ну тогда что же можно еще делать? — поправилась Антонина. — Карт в дому нет, отобрал тараканщик.

— Не люблю я эту собаку, такая собака, — огрызнулся Дениска.

— А, по-твоему, бабинька... — растягивая и что-то свое соображая, перевела Антонина.

— Бабинька помешанная.

— Грех так, она тебе мать.

— Кто?

— Бабинька.

— А твоя мать — Яга.

Антонина не ответила, только нехорошо сдвинула бровки.

— Яга говорит, будто твой отец от книг пропал, конечно Яга! От книг учителя делаются.

— Я тоже не люблю тараканщика, — сказала Антонина.

— А знаешь, Антонина, я придумал. Я влезу в окошко.

— В окошко не видно, — покачала головой Антонина.

— Тогда вот что... я... Антонинка! Я просверлю дырку в образной, так — маленькую дырку.

Девочка сверкнула глазами:

— И всё увидишь.

— Конечно, увижу, да как еще!

— И мне расскажешь?

Ударили по рукам.

А в доме принимались предосторожности.

Слухи ли по городу, либо еще какие подозрения, либо просто сердце подсказывало: теперь не только вечерами в субботу, но и в обыкновенное время запирались все двери и все комнаты, так что проникнуть в коридорчик никакой или почти никакой не было возможности.

Глафира ягела, тараканщик чертенел.

Одна старуха Аграфена безропотно, безмятежно всё молилась да вздыхала, молилась да вздыхала.

А всё же как-никак, а под разными предлогами удавалось Дениске урывать минуты и ковырять в двери дырку.

Целые недели старался, и к одной из суббот дырка поспела.

Как Дениска выстоял всенощную, одному Богу известно.

И когда всё затихло, он спустился из детской, отпер своим ключом дверь, пробрался в коридорчик и через столовую, шкапную, боковую прямо к дырке.

Антонина не могла заснуть, ждавши. Битый час ждала она Дениску.

Калечные мысли проходили в ее голове, отвратительные, недетские — калечные, и дразнили, и приманивали, и ужасом подымали волосы, и щемили ее больные места.

Тянулись минуты, они тоже, казалось, на костылях шли.

Сломя голову прискакал Дениска в детскую:

— Знаешь, что они делают?

— Что? — испуганно спросила Антонина.

— Они молятся.

Антонина заплакала.

Так ее измучили калечные мысли и ожидание чего-то страшного и необыкновенного.

А Дениска больше не знал покоя.

Одна мысль точила его, он всё думал и думал: да чем бы это насолить тараканщику, и Яге заодно, какую бы такую штуку придумать, чего бы такое им подстроить, когда они молятся?

Так проходили вечера за вечерами.

Всё валилось из рук.

Сколько Дениска бумаги перевел зря: начнет рисовать, и разорвет.

— Они молятся, — повторял он и спохватывался, цепляясь за что-то, за какую-то дорожку, которая вела его к уморительной каверзе, — они стоят все трое рядом... они целуются... эта собака и Яга... они молятся...

— О чем же они молятся?

— Молятся. Видно только, как губы их раскрываются, и потом хлест лестовок, хлещутся.

Антонина насторожилась.

— А если... Антонинка, знаешь, я придумал, Антонинка! В эту субботу я проберусь в образную... — и Дениска затрясся весь от хохота и горел весь от мысли, мелькнувшей в бедовой его голове, — понимаешь, Антонинка? Ты понимаешь?

И шепотом на самое ухо он сказал что-то Антонине, покосился на дверь, потер себе руки от удовольствия и, схватив со стола снимку, принялся жевать ее во все скулы с наслаждением.

Красные пятна вспыхнули на бледном личике девочки, загорались глаза смехом и слезами.

И она вдруг захохотала, и хохотала, захлебываясь, так громко, как только могла хохотать, и вся подпрыгивала, и костыли за спиной прыгали.

— Он? — подмигнул Дениска, вынимая изо рта снимку и принимаясь выделывать из снимки какую-то странную дьявольскую фигуру.

— Он! — хохотала вся в слезах Антонина.

10

Суббота выдалась особенная — масленичная. Всю неделю объедались блинами, разнесло животы во какие, куда гора! Уж и в горло не шло, душа не принимала, а всё-таки ели. На то она и масленица не простая, а широкая.

Служба тянулась долгая, с такими бесчисленными поклонами и такими трудными: поклонишься, а сам и не встанешь.

Яга повела Антонину в детскую, девочка просто валилась.

А Дениска что-то замешкался: лампадку полез поправлять у Трех Радостей.

И что-то уж очень долго вертелся, так что тараканщик стащил его со стула, пхнул коленом.

Такой был суровый и мрачный в эту субботу тараканщик. С блина ли, либо т о к нему подходило, — душа его начинала гореть, сердце стучать, нутро выворачиваться, — Бог знает. И когда он пел, и когда гнусил молитвы, зубы его скалились, и весь он подергивался, будто держала его какая-то злая лихорадка, самая злющая из всех дочерей Иродовых.

Дениска кувыркнулся на пороге, но тараканщик поднял его и так саданул, что мигом очутился Дениска прямо на своей кровати.

И Антонина и Дениска притворились спящими.

Ждали.

Колотилось их сердце — ух как!

*

В доме мрак и тихо.

Все двери затворены и заперты.

Яга еще раз пробует ключ от двери образной.

В образной началось моление.

О н сегодня должен явиться, — сам Дьявол должен явиться, и не в тайном, в явном своем лике. В этот страшный день надлежит быть последнему дню. Они готовы. И пусть Он им явится. Они вступят в борьбу. И Он побежден будет.

Их трое. Трое верных. Мир и земля в грехе. Грех растет. С каждым часом внедряется грех глубже в сердце, в корни сердца. Но их трое. Трое верных среди неверия и греха. Ангел-хранитель покидает землю. С плачем и скорбью летит ангел на небо. Кадильница его пуста. Нет фимиама молитв и покаяния. Нет дел человеческих, угодных Богу. Дьявол всё победил.

Они готовы. И пусть Он им явится. Они поразят его.

И вот они клянутся. Именем Бога, именем Христа, именем Святого Духа. Они клянутся любовью к Ним. К Богу, ко Христу, к духу Святому.

И они клялись. Душу положат свою, душу погубят свою, чтобы сохранить ее.

Они готовы. И пусть Он им явится. И они одолеют его.

Вспыхнут костром, — с ними вспыхнет земля и вместе все твари, — и станет земля и все твари белыми и светлыми, как белы и светлы ризы Господни.

А теперь им до́лжно покаяться друг перед другом.

У Глафиры и Аграфены — великий грех на душе: однажды могли они показать свою веру и любовь к Богу. Но Дьявол смутил и поколебал их: они отвергли и веру и любовь к Богу во имя любви к человеку, — п о г а н и.

Когда умер старик, предложил им тараканщик принести в жертву Антонину, но Глафира и Аграфена хоть взяться-то и взялись, а не могли этого сделать.

Они каялись друг перед другом.

— Ты мне сказал, — исповедалась Глафира, — ребенок, которого я родила, самое любимое, что есть у меня, и во имя любви к Богу он должен умереть. Ты велел мне отдать ребенка матушке. И я отдала ей девочку. И, как ты сказал, я осталась одна в комнате. Знала я, что за стеною делается, и слушала. И слышала я, как пискнула девочка. Потом всё затихло. И ногтями я скребла стену, а сердце мое от горя полыхалось. Не могла больше вынести. Не послушалась. Бросилась я в комнату к матушке, а девочка жива еще, дочка моя, сидит она на руках и ротиком смеется. Тогда упала я на колени и просила матушку: «Матушка, не губи ее, оставь ее!» Господи! Господи! Господи! Прости меня!

— Ты велел мне задушить младенца, — шепотом сказала старуха Аграфена, — и я взяла Антонину у невестки, понесла в образную сюда. Посадила ее к себе на колени, надела на шею петлю, а дитё улыбается, смешно ему: щекочет шейку петля. Я затянула петлю потуже, тяну веревку, и вот девочка заплакала, больно, ой, горько заплакала. Ослабила я петлю, сняла с шейки, надела на себя, будто играюсь, а девочка уж улыбается и смеется и в ладошки хлопает. Прости меня, Господи!

— А если бы теперь? — глаза тараканщика остановились страхом.

Глафира ринулась хищная, — хищные раздулись ноздри, как у кобылы.

Достойно есть величати Тя, Богородица,
Честнейшую и Славнейшую горних воинств,
Деву Пречистую, Богородицу...

— затянул тараканщик и, круто обернувшись к Глафире, ударил ее по лицу своей ременной лестовкой.

Не пошевелилась Яга.

Только струйка алой крови перемелькнула на Ягином смертельно-бледном лице.

— А если мы не достойны его увидеть? — шепотом спросил тараканщик.

И вдруг закричал громко, вонзаясь глазами в красный огонек лампадки:

— Заклинаю Тебя Богом живым, Святою Троицею, Матерью Божьей, стань тут, Сатана, стань! — стань! — стань!

Тяжкое молчание, невыносимое стянуло образную.

Хватало за горло, душило.

— Холодно, ой, холодно! — вскрикнула Яга и упала.

Звездочкой сверкнула ее лестовка по полу.

Тараканщик, сжимая кулаки, страшным глазом обвел комнату.

Глаза старухи голубые вспыхнули голубым огоньком, вся она согнулась и, казалось, бросится на тараканщика, вопьется ему в горло и пить будет его кровь, как пил бы его кровь сам Дьявол.

Тараканщик выхватил из рук ее белую жемчужную лестовку и, пошатнувшись, дрогнул с головы до ног.

На иконе Трех Радостей, там, где сливается жемчужная одежда Божьей Матери с жемчужной рубашечкой Младенца, у благословляющих рук Младенца торчал на белом черненький чёртик, растопыривая тощие ножки и егозя мышиным вертлявым хвостиком.

И оно наступало.

Наступал час тараканщика.

Занавески и расшитые полотенца на иконах текли перед ним длинными кровавыми струями, огонек лампадки надувался.

Оно наступало.

Старуха улыбалась — голубые глаза ее вспыхивали голубым огоньком.

Тараканщик стучал зубами: были они, как чужие ему, холодные, как лед. Глаза застилало. Спирало дыхание.

Оно шло верно и быстро, всё ближе подходило, подкатывалось к его сердцу, трясло изо всей мочи, как никогда еще, ни там дома, с наглухо запертой дверью, над полыми предметами

и стаканами, ни там в Зверинце, ни там на улице, ни там в грязных номерах.

И — ударило его.

Бросился тараканщик к иконе и, размахивая и крутя в воздухе жемчужною лестовкой, нечеловечески подпрыгнул.

И прыгал, и прыгал, доставал ее, белую, белоснежную, пречистую, срывая белые одежды, и хлестал по ней.

> Достойно есть величати Тя, Богородица,
> Честнейшую и Славнейшую горних воинств.
> Деву пречистую, Богородицу...

А черный чёртик на уцелевшей жемчужине у Младенца, там, где сливается жемчужная одежда Божьей Матери с рубашечкой Младенца, зацепившись хвостиком, непобедимый, будто егозил, растопыривая тощие ножки.

Градом катился жемчуг, осыпал тараканщика, колол глаза.

Разлетались жемчужины, прыгали по полу, плясали по Яге, голубым огоньком горели в глазах старухи.

И глухой собачий вой разрезал ночь, ночь и комнату, будто тысячи собак выли и грызлись, отнимая друг у друга единственный кусок поганого сладкого мяса.

Старуха улыбалась.

*

Дениска, уткнувшись в подушку, захлебывался от хохота.

— Он! — пищал Дениска, — я его укрепил крепко на Трех Радостей!

— На Трех Радостей, — повторяла горячими горячими губами Антонина, прижимаясь калечным телом к железной груди Дениски.

И бесившиеся вопли из низу и какой-то девичий, будто из земли, из крови выходящий крик не тревожили хохота, не смущали горячих детских и счастливых объятий.

— Он, — задыхался Дениска, — черненький, с лапками и с хвостиком.

— И с хвостиком, — шептала горячими губами Антонина.

Так и заснули Дениска и Антонина.

Крепкий сон залег в детской.

Спали рожицы и хвостики по стенам, спали пустые полки, спали карандаши и гуммиластики и кусочки снимки, оставшиеся от чёртика, как спали в непробудном сне непроницаемые серые стены Дивилинского дома.

И сквозь сон, казалось, один безымянный сторожил сон спящих.

Кто он? Как его имя? Откуда он и зачем пришел?

Он стоял на площадке, приотворял дверь и, бескостный, тихонько на цыпочках подходил к кроватям.

Антонина и Дениска, перевертываясь на другой бок, раскрывали свои испуганные глаза под огромными, сверлящими огоньком острыми глазами.

Такой, как Амазон на картинке у бабиньки, только голова у него, будто не на шее — на винте, всё поворачивалась, как на винте. Длинные тонкие губы его — отвратительные, чуть улыбались.

— Он, — бормотал Дениска.

— Он, — повторяла Антонина.

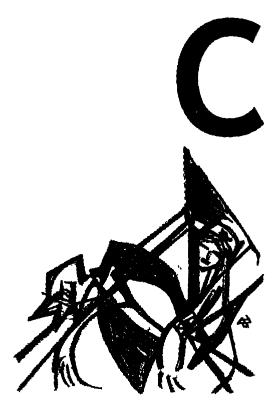
И серел рассвет, вставал серый день там, за окном.

Там за окном лежала река, покрытая серым сколотым льдом. Дым клубился над городом из теплых труб. Спозаранку топились печи ради последнего дня — Прощеного воскресенья.

1906

ЧЕРТЫХАНЕЦ

1



Старый Версеневский дом у всякого на языке.

Крутовраг — место нечистое.

Много любопытного и, конечно, страшного рассказывалось о доме.

Сам Сергей Сергеевич Версенев не из красноречивых, ну да его дело — сторона, но Елизавета Николаевна и дети — гимназист Горик и гимназистка Буба — поговорить о старине любили, и с удовольствием, как в кухне за чаем любила потолковать нянька Соломовна, повар Прокофий Константинович и лакей Зиновий, только шепотом.

В саду у песчаной горки, сложенной в крепостное время детьми и стариками, показывали тинистый прудик, и в самую лютую зиму замерзавший только по краям вокруг студеного быстрого ключа, и притом, как уверяли, вовсе бездонный.

По ночам из прудика будто бы выезжала тройка и, завернув по липовой аллее, бесшумно подкатывала прямо к балкону: выходил седой старый старик — дед Версенева, подымался на балкон и, прогуливаясь, нюхал цветы или, нанюхавшись цветов, проникал через залу в подвалы и опять на тройке возвращался в свой бездонный прудик.

Под домом замечательны были два сводчатых каменных подвала: большой, пустовавший, и маленький, в котором стояли вина.

Из пустого подвала, где когда-то наказывали провинившихся крепостных, слышались по ночам стоны, а в маленьком, хранившем в старое время версеневские сокровища, звенело что-то, как звенит пересчитываемое золото.

В доме в первую голову водили наверх в угловую комнату, из окна которой видна была дорога.

В этой комнате в гардеробах висели старинные платья и стояла затейливая обувь — бабушкины наряды.

Говорили, что мать Сергея Сергеевича, Федосья Алексеевна, покинутая мужем своим в Крутовраге, дни и ночи сидела у окна, и умерла так у окна, глядя на дорогу, понапрасну проглядев глаза.

Печально было в светлой печальной комнате и жутко, жутче и пустее, чем в большом подвале, стены которого испещрены были бурыми крапинками, как от крови. И по соседству с комнатою Федосьи Алексеевны никто не жил, а сложены были игрушки.

Хорами, разделявшими дом на две половины, следовали вниз и через просторную прихожую попадали в высокую, в два света, залу с высокими узкими зеркалами между балконных окон.

Зеркала, отражавшие люстру, навязчиво провожали своим тяжелым зеркальным взглядом.

Направо шли внутренние покои, заканчивавшиеся пристроенной кухней, налево — парадные комнаты.

В гостиной под фамильными портретами стояли ломберные столики, знававшие на своем веку большие азартные ночи.

У столиков ночью, так рассказывали очевидцы, появлялся отец Сергея Сергеевича, Сергей Петрович, отчаянный игрок, спустивший за границей огромное состояние своей покинутой жены: он бродил от столика к столику, приподнимал половинку и шарил под сукном, надеясь, должно быть, найти какой-нибудь завалившийся случайный золотой.

Из гостиной водили показывать библиотеку и кабинет.

Тут, в кабинете, у шкапа с темным астрономическим глобусом, забившись в угол, умер Сергей Петрович, видевший перед смертью самых настоящих чертей, т. е. без рожек и хвостиков.

И хотя знал об этом один Сергей Сергеевич — одного лишь сына допустил к себе отец перед смертью, но рассказ о настоя-

щих версеневских чертях, без рожек и хвостиков, можно было услышать по всему Крутоврагу, во всех уголках, от всех животных, начиная с глухого огородного деда Гордея и кончая крутовражской всемогущей швеей, Анной Федоровной Рафаэль.

Животными звал покойник Сергей Петрович всех без исключения простых, незнатных людей.

Осмотрев парадные комнаты и внутренние покои правой половины, разделенные широким темным коридором, заглянув в оба подвала, гости приглашались в столовую, где еще в недавнее время лилось разливанное вино, как недавно еще в гостиной сыпалось звонкое золото.

В длинной и низкой столовой заканчивались версеневские разговоры и всякие воспоминания.

Много еще любопытного и, конечно, страшного рассказывалось о доме.

И оттого долго так по комнатам горели свечи, не тушились, а ночной треск паркета далеко отгонял от дома всякий сон.

Белые колонны, тяжелые, как слоньи ноги, поддерживали звенящую под ветром крепкую кровлю и одни, казалось, и день и ночь, только одни спокойно дремали, не смущаясь ни рассказами, ни ночным комнатным страхом, ни летучими мышами, влипавшими в них, как мухи в няньку Соломовну, да старые деревья — тополи, переросшие дом, всё шумели и в ясный день, как и в пасмурный.

*

Двери Версеневского дома настежь: входи, кто хочет и когда хочешь.

У Версеневых постоянно гости, круглый год — именины.

Родственники и знакомые, соседи и из города частенько наезжали в Крутовраг, и, как в дедовские времена, не в одиночку и не парами, а всем домом — с фамилией.

Версеневы и в самые раздорные дни умели как-то со всеми ладить и всем были рады.

Весело, должно быть, бывало в Крутоврагe.

Да и почему бы не быть в Крутоврагe весело? Не всё же ночь с ее страхами, есть и день. Да и что ночь, будь она и версеневская со всем своим глупым страхом?

Елизавета Николаевна, сама такая мастерица на всякие развлечения и первая во всем коноводчица, детей ни в чем не стесняла, давая им полную волю.

У Горика и Бубы много было сверстников: у Горика гимназисты, у Бубы гимназистки. Устраивались спектакли, ставились шарады, живые картины, постоянно фейерверки, пикники, всевозможные катанья и в экипажах, и верхом, и на лодках.

Какой уж тут страх и как не быть весело!

Недоставало только аэроплана, о котором у Версеневых мечтали, как в былые времена мечтали в гимназиях всё о той же всегдашней Америке — бежать в Америку.

А попади такой аэроплан в Крутовраг — и конец: залетели бы Версеневы за такие облака, в такие темные тучи, откуда одна дорога — вниз головой.

С жаром и страстью предпринимались развлечения и начиналась всякая игра, и чересчур уж страстно и до смешного сурьезно, как какое-то решительное дело жизни, без которого конец — ни стать, ни сесть, одна дорога — вниз головою.

Взрослые, заражаясь веселостью, приставали к детям. И версеневские неугомонные дни превращались в забаву.

Весело, должно быть, бывало в Крутовраге.

Устройство развлечений обходилось дорого, — оно требовало и больших расходов, и забот, и немало рук. Случались недоразумения.

Но какое же разумное дело без недоразумений!

Эдуард, садовник, выписанный в Крутовраг чуть ли не прямо из Риги, работящий, философ и большой искусник, одно лето вместо прямого своего дела — ходить за цветами и удивлять искусством — пускал по вечерам ракеты. Пускать ракеты наловчился, а цветы погибли, и какие цветы!

Да мало ли еще случаев — развлечения не дешево давались.

Редкий вечер не проходил без пожара.

За последние годы так часто горело, что даже звезды — крутовражские тусклые звездочки, пугливо поблескивавшие над Версеневским домом, не пугались вздувавшегося красного зарева.

Кругом по деревням то и дело жгли. И винили не столько оплошность, сколько поджог: всякий народ — экономии богатые.

Казалось бы, следовало быть поосторожнее — долго ли тут до греха! — а между тем первое удовольствие, первое версеневское развлечение — жечь.

Ракеты, фейерверки, костры: в лесу пекли картошку и так раскладывали костры — в летние ночи до зари не потухали костры, — в саду непременно фейерверки и опять костры. Без этого добра игра не в игру, вечер не в вечер, об ужине забудут, но о какой-нибудь чадящей на весь сад и далеко кругом распыхивающей искры персидской молнии... о молнии — никогда.

Версеневы жгли где только можно, и когда совсем нельзя, жгли, что попало. И в такой опасной игре Елизавета Николаевна не только потворствовала и потакала детям, но сама подавала первую мысль и была всему главной зачинщицей. Все опасные затеи выходили у ней с какою-то ребяческой плутоватостью, словно была она не мать, а сестра Бубе, и, ни в чем не уступая детям, она всё делала с тем же сумасбродным жаром и страстью, до смешного сурьёзно.

Непоседливая и беспокойная — летом театры и эти костры, зимою всякие званые вечера и разъезды по соседям, — Елизавета Николаевна производила впечатление человека крайне легкомысленного.

И что же? Оказывается, всё это делалось для детей и все огромные расходы, — всё для детей.

Искренно и с убеждением говорила Версенева о своих обязанностях и с таким правом, что вся плутоватость ее, сшитая на первых порах белыми нитками, вдруг куда-то пряталась в ее испуганных глазах.

Соседские приятельницы, обладавшие необыкновенным даром рассказывать о всяких пустяках и с точностью в самых пустяковских подробностях, уездные знаменитости по пересудам и ссорам, с искусством безобидных блох запрыгивающие в самые потайные уголки, и те не могли никак подковырнуться, и никакого романа не выходило.

Дети здоровьем не отличались и, по существу своему замкнутые, пожалуй, и совсем захирели бы, — это она детей разбойниками сделала, сама первая разбойница, это от нее так весело в Крутовраге и уезжать не хочется.

И затеи без нее не затеялись бы, и костры все погасли, — всё ее рук дело, маленьких, проворных и таких цепких...

Нельзя сказать, чтобы Сергей Сергеевич был негостеприимен, напротив, радушен и ласков и бывал рад всякому гостю, и какими душистыми сигарами угощал он гаванскими — и бразильского листа, и мексиканского!

Но уж так пошло, и, казалось, иначе и не могло быть: гости, охотно посещая Версеневский дом, избегали хозяина.

И секрет очень прост: с Версеневым бывало невыносимо скучно.

А так ничего, ни с виду, ни в манерах, ни в привычках Сергей Сергеевич не представлял ничего странного и дикого, — человек как человек, ну, совсем как все, и даже посапывал по-настоящему, разве чуть погуще крутовражского предводителя Турбеева, но и чуть потише отставного генерала Белоярова. И одевался он щегольски, ничем не хуже земского начальника Пусторослева, прославившегося беспримерной забывчивостью как в делах частных, так и в служебных. Ну, чего же еще? И притом всегда готовый и всегда предупредительный, и те же гаванские сигары, и всё-таки остаться на минуту с глаза на глаз с Версеневым... да лучше просидеть лишние сутки на какой-нибудь заброшенной станции, чем остаться с Сергеем Сергеевичем хоть на минуту.

Прервав на полуслове собеседника, Сергей Сергеевич начинал морщиться, стараясь не то припомнить что-то, не то подыскивая слово какое-то пояснее обыкновенных ходовых слов, а где-то в горле принималось пищать что-то. И так продержав ошарашенного собеседника в напряженнейшем ожидании, вдруг махал рукою, сопровождая досадливость свою и бессилие единственным одним излюбленным словом:

— Чёрт.

— Чёрт! — во все часы и днем и ночью повторялось без конца и в доме, и в саду, и в лесу, и на поле, и на речке, всюду, где только ни появлялся Версенев.

А Версенев, не отставая от веселой компании, — его постоянно тянуло на люди, где пошумнее, — посапывая, всюду следовал как тень.

И затертый, оставаясь в тени, уж сам с собой повторял он под музыку, под танцы, под смех и крики, под треск костров,

под рассыпающиеся ракеты свое единственное, всё покрывающее — и досаду и бессилие — одно черное слово:

— Чёрт.

И уж так все обвыкли, так прислушались к версеневскому чёрту, что и замечать перестали.

Одна нянька Соломовна — Ефимия Авессаломовна, вынянчившая Сергея Сергеевича, открещивалась да головою покачивала.

А в кухне либо в девичьей, обсуждая господские дела, пеняла нянька не на расходы, не на расточительность версеневскую, не на хозяйский глаз — уж какой тут глаз! — а тому пеняла нянька, что чёрт на языке постоянно у барина.

Известно, это всем известно от той же Соломовны, чем всё такое кончается.

— Чёрта помянешь в недобрую пору, пройдет он черным вихрем, подхватит человека, и пропадет человек в этом вихре! — твердила нянька, крестя рот да покачивая головою.

И все были в согласии с нянькой, особенно если дело шло к ночи, никто не противоречил. И сам повар Прокофий Константинович не насмешничал, зря не говорил кучер Антон, заодно были и все три горничных — Харитина, Устя и Саня, а с ними и прачка Матрена Симановна и плотник Терентий, помалкивал и лохматый, ни в какую сверхъестественную силу не верующий кузнец, по прозвищу Индюк, сам ровно колдун или Бог знает что, не усмехался и молчаливый Зиновий, не зубоскалил и помощник Зиновия, казачок Петр, до трепета верующий только в сома, только в страшного с усами сома, который съел телку и в двенадцать лет раз из речки показывается, не дай Бог увидеть.

— Так-то, — говорила Соломовна, — вот у покойника барина Сергея Петровича все у него под одну кличку шли: «Животное, скажет, поди сюда!» И даже самого батюшку животным звал. Грех великий, да всё не такой.

А Сергей Сергеевич, измызганный среди своих, незаметно появлялся в кухне или в девичьей и, посапывая, останавливался.

Перепуганные вскакивали слуги, ожидая приказаний, готовые на всякую хозяйскую встряску.

Сергей Сергеевич не двигался и, в упор глядя на того же лохматого Индюка, который сам ровно колдун или Бог знает что, начинал морщиться, стараясь не то припомнить что-то, не то подыскивая слово какое-то пояснее обыкновенных ходовых слов, а где-то в горле принималось пищать что-то.

И так продержав оторопевших слуг в напряженнейшем и тягчайшем ожидании, вдруг махал рукою, сопровождая досадливость свою и бессилие единственным своим излюбленным словом:

— Чёрт!

— Чёрт! — отдавалось где-то и в коридоре, и где-то под печкой, и где-то в подвалах, и где-то под потолком, высоко, на черном чердаке, перебивая музыку, танцы, смех, крики, рассыпающиеся ракеты и треск костров.

И на небе звезды — крутовражские тусклые звездочки, приглядевшиеся и к красному зареву, как-то неспокойно поблескивали над Версеневским домом.

2

Когда и отчего повелась за Версеневым такая дурная привычка чёрта поминать, об этом никто не знал, потому что никто и не думал.

«Если все присказки, поговорки да прибаутки замечать да еще и думать о них, то и веку своего не хватит, а главное, чего доброго еще и сам в нечто подобное превратишься и ничего от тебя не останется: мало ли какие бывают прибаутки! Вот предводитель Турбеев к последнему пустяковскому слову, а непременно прибавит как говорится, и сходит у Турбеева всё хорошо и благополучно. А крутовражский лавочник Хабин, переняв предводительскую манеру, чуть было не разорился. Да и как было Хабину не разориться? Взять хоть такое в обиходе лавочном самое обиходное лавочное выражение: «стоит это, мол, столько-то!» — выражение ясное и точно определяющее цену в рублях и копейках, у Хабина же с предводительской закваской совсем не тот разговор — не «столько-то рублей стоит товар», а «как говорится, столько-то»... Или: «пришлите, как говорится, немедленно». «Немедленно» — битый дурак поймет, а «как говорится, немедленно» — и не всякому умнику вдомек. Так и с версеневским чёртом: начнешь вдумываться, разби-

рать да копаться, тут-то и перенимешь, свыкнешься, примешься сам повторять да и пропадешь. Старуха Соломовна всё верно говорит — Соломовна крепостная, много чего видела и слышала не мало, многому научилась из терпения своего, слова Соломовны правильные: чёрта помянешь в недобрую пору, пройдет он черным вихрем, подхватит человека, и пропадет человек в этом вихре».

Так размышляли крутовражские и некрутовражские — все, кому волей-неволей приходилось сталкиваться с Сергеем Сергеевичем, и притом люди не какие-нибудь, а начитанные и пытливые — доморощенные археологи и механики.

Так размышлял крутовражский поп о. Астриозов, всюду и везде ищущий, и в отношениях и в поступках, связующее звено, и не простое, железное звено — связующее.

О других версеневских знакомых говорить не стоит и нечего. Мимо ушей пропускали они версеневского чёрта, не придавая ему ни малейшего значения.

«Ну поминает Версенев чёрта и пускай себе поминает на здоровье! Есть выражения, обличающие сановитость и надменность — пустороcлевское изволите ли видеть, есть и божественное, свойственное людям восторженным — Господи Иисусе, а бывает, что и очень с положением люди и знатные, хотя бы тот же отставной генерал Белояров, а выражаются совсем даже по-непечатному, и не от растерянности, и не оттого, что врасплох застигнуты или в испуге, что возможно со всяким и до щепетильности аккуратным и изысканным в выражениях, нет, просто по привычке — такая дурная привычка».

Так размышляли люди безразличные.

Самого Сергея Сергеевича о чёрте спрашивать не решались. Подтрунивать, конечно, подтрунивали, но чтобы напрямки спросить — никогда. Неловко же в самом деле касаться всякой мелочи.

А сам Версенев лишнего за собой ничего не замечал.

Ведь если бы замечал он, то когда-то-нибудь, ну случаем, ну невзначай, да обмолвился бы. А то сроду никогда, ни в каких именинных тостах, ни в каких приветствиях, всегда заканчивавшихся чёртом.

Без чёрта ни одной речи, ни одного разговора, ни одной фразы.

Но всё-таки, когда же этот глупый чёрт к нему на язык попал и отчего попал?

Одно было ясно: что не только никакого астриозовского железного связующего звена не было, но и самого обыкновенного не железного — версеневский чёрт висел в воздухе не выше и не ниже предводительского как говорится, и так же не менее ясно было, что без этого чёрта Сергей Сергеевич немыслим, и отними его от Версенева, и очутился бы в Крутовраге уж не Сергей Сергеевич Версенев, а лицо совсем постороннее.

*

Версенев помнил свою мать.

Федосья Алексеевна — московская, из старозаветной купеческой семьи.

Долгие всенощные, ранние обедни, бесноватые в Симоновом монастыре, масленичные катанья в Рогожской, красная пасхальная свеча, кремлевский звон, первомайские зеленые Сокольники, тихие ночные рассказы странников, хождение пешком к Троице-Сергию, крестные ходы и отцовский крепкий домашний уклад — это ее колыбельная песня, ее вынянчившая, завившая первую косу с алою ленточкою, вздувшая первый жгучий огонек и в упавшем сердце и в широко раскрытых глазах, первою скорбью опечалившая ее первую улыбку.

Морозовская старая Москва, и вдруг Версеневский барский дом — Крутовраг с бездонным прудиком и большим сводчатым каменным подвалом, испещренным бурыми крапинками, как от крови.

Из смутных ранних воспоминаний вставала она в его спутанной памяти.

И никогда во всю свою жизнь он не мог забыть мать — у окна наверху, в угловой комнате, у окна по целым дням и ночам.

Он спал в ее комнате, — всегда и неразлучен с нею. И часто, просыпаясь среди ночи, заставал ее одну у окна.

А когда подрастать стал и узнал, что есть отец у него, как и у других детей, но что отец его далеко, за границей где-то, очень далеко за Крутоврагом, когда узнал он, что мать ждет отца и ночи потому не спит, и сам стал ждать отца.

От отца получались письма.

С каким нетерпением бросался мальчик к матери, требуя от нее, чтобы вслух читала она, что в письме отец пишет.

А письма были кратки, и всегда одно и то же: сперва о деньгах, затем назначался день приезда в Крутоврaг.

И наступал день, но отца не было, отец не возвращался.

Мать старалась скрыть огорчение, не плакала, мать сидела у окна по-прежнему, но он чувствовал всем чутким детским существом своим ту тяжесть, что лежала у нее на сердце, мучила ее, морозом трясла, и, чувствуя, хотел и не знал, как помочь, и уж сам плакал тихонько и беспричинно.

Возвращение отца в Крутоврaг стало заветною его мечтою.

Своим чередом приходили письма.

В письмах говорилось о деньгах и назначался день приезда.

И приходил день, а отца всё не было.

И вот однажды, когда, кажется, последнее терпение оставило его и ждать дольше стало невозможным, он выбежал на дорогу и бежал долго по дороге без остановки, без передышки и, вдруг зажмурившись, помчался обратно к дому.

— Папа едет! Папа едет! — кричал он матери и с такою неподдельною и правдивою радостью, так уверенно, так настойчиво, что и сам слышал, и мать услышала, как далеко по дороге за Крутоврaгом зазвонил колокольчик.

И она поверила, она бросилась на крыльцо, упала на колени и, крепко обняв сына, крепко держалась за него, как за свою единственную защиту, как за любимого брата, как за верного свидетеля своих горьких мук, бессонных ночей, горечи и обиды.

И уж не сдерживая ни смеха, ни слез, не могла она удержать крика, а он рвался из груди, из самого сердца — от всего ее сердца.

Мать и сын, они глядели на дорогу —

И казалось, одни у них были глаза, одними глазами они глядели на свет, глядели на дорогу, и верилось им и не верилось.

А колокольчик далеко звенел по дороге.

Проехали бочки с дегтем, проскрипели колеса. Долго застилала пыль. Но и пыль укатилась, — улеглась, не пылила дорога.

Лежала дорога до самого края, и кругом было пусто, пустынно, не звонил колокольчик, так пустынно и одиноко, только шумели деревья в саду — тополи, все шумели.

С этого дня началась для мальчика новая жизнь: стал он с этого дня играть в п р и е з д п а п ы.

Такую игру выдумал.

Его занимало, как мать, заслышав голос: папа едет! — вскакивала от окна и дрожала, бледная такая, без единой кровинки; его забавлял крик ее, становившийся с каждым разом всё жутче и короче, и как замирало ее сердце...

Играя, он верил, как всякий раз верила ему мать.

Мать и сын, они глядели на дорогу —

И это так давно было и так недавно, вот здесь, на этой земле.

А как тогда в саду деревья шумели — тополи!

невольно к этим грустным берегам...

— Чёрт! — только мельком припоминая свои первые впечатления, отмахивался Сергей Сергеевич.

Мать не дождалась отца, померла, так и померла у окна, глядя на дорогу.

Вскоре после ее смерти вернулся отец.

Мальчик испугался отца: это был совсем не тот папа, не настоящий папа, о котором он столько думал и так нетерпеливо ждал.

Он прятался от отца, кричал по ночам и плакал.

Отец, не отличавшийся сговорчивостью, круто принялся за сына: и строго держал его, и наказывал — тут и слезы забудешь, и уснешь тихо, и перестанешь дичиться.

Осенью свезли его в город и отдали в корпус.

И началась для Версенева другая жизнь, и, пожалуй, самая веселая.

Приезжая на каникулы в Крутовраг, он понемногу свыкся и уж не чувствовал ни подавленности, ни отчужденности.

О матери в доме не говорилось: Сергей Петрович никогда не упоминал о матери, а он первый не смел.

Угловая комната наверху, в которой, кроме фамильной старины — гардеробов с платьями, заботливо сохранялась знакомая обстановка матери: столик ее, зеркало, — эта заветная комната всё реже привлекала его.

Сначала он тайком бегал наверх и даже плакал, сидя у окна, где когда-то сидела мать, а потом его развлекать стали лошади.

Так и не узнал он, а после жалел, что не узнал, зачем отец покинул мать.

В кабинете отца висел ее портрет, и всегда, до последних дней. Любил он ее?

В Крутовраге шла широкая жизнь, много играли в карты, но отец был угрюм. А если любил, зачем же покинул?

Зачем отец покинул мать?

И зачем столько муки, столько горьких дней и ночей выпало ей на долю?

невольно к этим грустным берегам...

— Чёрт! — отмахивался Сергей Сергеевич, вспоминая прошлый Крутовраг.

Окончив курс, он поехал в Петербург и там поступил в полк.

Жить ему было легко. В деньгах он никогда не нуждался: отец не жалел для него средств и высылал часто и аккуратно. Отец очень заботился о нем, всё делал, чтобы хорошо ему было. И он ни на что не мог пожаловаться. При связях и деньгах перед ним открывалось самое завидное и счастливое будущее.

Жизнь он вел такую, как было принято в его обществе: играл в карты, участвовал в кутежах и попойках, танцовал на балах, рассказывал анекдоты, острил, ухаживал за дамами, входил в мелочи полковой интриги, волновался, ссорился, — и всё проходило ровно и очень похоже на вчерашнее. А если что и случалось, как будто исключительное и особенное, то всё-таки оно не выходило из общепринятого и возможного в его обществе: ну, раз проиграл очень много в карты, но кто же не проигрывает раз очень много? Так и другие все исключения были в таком же роде, ни больше, ни меньше.

Ровно, с незначительными скачками проходила петербургская жизнь.

Кажется, и припомнить нечего Версеневу из всей такой удачной, легкой, с такими большими обещаниями, но ровной петербургской жизни.

И всегда только одно воспоминание.

Правда, ничего особенного, и случай самый обыкновенный.

Но много ли есть на свете чего необыкновенного?

Сергей Сергеевич уж после, в Крутовраге, не раз думал об этом и, спрашивая себя, один сам с собою судил и решал себя.

Он давно понял, что в конце-то концов всё дело не в особенности поступка, бьющей в глаза и выходящей из ряда вон при-

нятого и привычного, и часто западает в душу совсем незаметное, — так, крохи, так, завалящее.

«Комета пролетит, упадет звезда, землетрясение провалит целый город — и всё-то забудется, мимо пройдет, обесценит, как вчерашний снег, а огонек какой-нибудь, из-под моста откуда-нибудь огонек, чуть подмигивающий тебе, либо дурацкий дылда-фонарь — коптилка керосиновая, торчащая под твоим окном на улице, — глупости, а на всю жизнь останутся».

Да, он много думал об этом, а судя и решая себя, заглянул в самую тьму, в самую муть души.

Только много ли увидишь?

А если и увидишь, много ли рассмотришь?

А если и рассмотришь, сумеешь ли передать?

А если и сумеешь, хватит ли духу?

«Убить или обмануть, оболгать и предать, кажется, чего еще — ведь преступление, грех великий, всякими законами караемый. А на проверку что же? Да тому же убийце... да плевать ему на убийство-то, — ну, убил, и как с гуся вода, — и всё дело его, вся боль его, кара и награда, всё, что донесет он до последней минуты своей, всё, чем жить будет, убивая или спасаясь, всё равно, вовсе не в убийстве, а в том, что за день, за неделю, за месяц, за год, может быть, за десять лет до убийства, проходя по улице, девчонку какую-нибудь, надоедливую нищенку толкнул — нищенки такие девчонки другой раз по улице снуют с какими-то замусоленными карточками: купите счастьице! — да и не в том, что толкнул он эту нищенку, предлагающую счастьице, а в том, что нищенка — девчонка мороженая посмотрела тогда, так посмотрела на него, — на всю жизнь».

— Чёрт! — только мельком припоминая свой петербургский случай и рассуждения свои, отмахивался Сергей Сергеевич.

У одного его товарища была невеста: он очень важного рода, а она совсем не из знатных и бедная. Родственники жениха были против и всячески мешали свадьбе.

Сергей Сергеевич, приняв к сердцу историю своего товарища, постоянно бывал у него, искренно от души желая всякого счастья и ему, и его невесте.

И когда, наконец, после многих хлопот всё уж было налажено и назначен день свадьбы, вдруг всё кончилось неожиданно печально, и свадьба расстроилась:

невеста отказала жениху.

Версенев помнит вечер, осенний петербургский вечер с пронизывающим сырым ветром и мутными от мелкого дождя фонарями, помнит ее комнату где-то на Рузовской у казарм. Она просила его прийти к ней всё по поводу той же расстроившейся свадьбы. Он и поверил, но когда он пришел к ней, она открыла ему по правде...

Он помнит ее лицо, как побледнела она — так бледнела его мать, когда вбегал он к ней в ее угловую комнату: «Папа едет!»

Она открылась ему, что полюбила его, любит его, только его одного и любит.

Но ведь он ее совсем не любил. И разве он давал ей повод хоть что-нибудь такое думать? Он был к ней внимателен, как к будущей жене своего друга, он искренно от души желал помочь им: ей и ему. Он никогда не любил ее и совсем не любит.

Он помнит, как она стояла — она у окна стояла, к окну подвинувшись в угол, а в окне дождик — постукивал дождь, не передыхая, равномерно: капля за каплей, струйка за струйкой.

Он помнит, как она смотрела, не мигая, с опущенным ртом, и какими глазами провожала его, не шелохнувшись, словно уж костенея — ведь всю кровь ее тела, всю силу души, всю надежду сердца он забрал с собою:

так вот, взял да и за дверь!

На следующий день под вечер он ее опять встретил, и совсем случайно, у Кокушкина моста.

Это она была, он не ошибся. Он ее узнал сразу по ее взгляду — она так же посмотрела на него, как и накануне, глаза не мигали.

И потом он слышал, как что-то бухнуло в гадкую липкую воду — в черный канал. Но он даже не оглянулся, шел своею дорогой.

И разве это он ее в канал головою ткнул — в гадкую липкую воду?

— Чёрт! — только мельком припоминая свой петербургский случай, отмахивался Сергей Сергеевич.

Вскоре после этого случая, вызванный в Крутовраг, он уехал из Петербурга: отец был при смерти.

Старый Версенев Сергей Петрович умирал один, никого не допуская к себе — ни доктора, ни священника. И лишь в край-

нем случае одно животное — лакей Зиновий входил к нему. От еды старик отказался и ночи не спал.

И во всем доме никто не спал по ночам.

Жутко было в доме, и говорить боялись, шепотом говорить боялись.

Свет горел во всех комнатах, все двери были настежь и только в кабинете у старика плотно затворены.

Сергей Сергеевич приехал домой поздно ночью и, чтобы не беспокоить отца, хотел сказаться утром. Но отец догадался и через Зиновия позвал его в кабинет.

Старик сидел в кресле, забившись в угол у шкапа под старым астрономическим глобусом, страшно исхудалый — в чем только душа держалась!

Старик ловил ртом воздух, словно бы кто-то сдавливал ему горло, а глаза были совсем мертвые — зрачки темные, мертвые, только ободок у зрачков блестел неприятным резким блеском.

Сын взял старика за руку и наклонился, — рука у старика была холодная.

И, наклонившись, чтобы поцеловать его в щеку, почувствовал непреодолимую брезгливость и отвращение и поцеловал его в воздух.

Поздоровались.

Старик поцеловал сына — губы у старика были такие холодные, холоднее рук.

Сын, выждав минуту, снова наклонился:

— Ну, как поживаете?

— Черти приходят, — шипя, сквозь зубы сказал старик.

— Какие же, маленькие, с хвостиком? — попробовал сын обратить в шутку ответ отца: он умел с стариками и ладить, и разговаривать.

— Что ты, настоящие... черти! — прошипел отец, и глаза его еще темнее стали.

Версенев помнит эти глаза, совсем мертвые, с темными мертвыми зрачками, и резкий живой ободок зрачков, и как резкий живой ободок зрачков, сузившись, вдруг заблестел красным нагаром.

Он схватился за шашку и отступил от старика.

— Настоящие... — шипел старик и скреб себя по груди и, вдруг с визгом подпрыгнув в кресле, ткнулся носом в ковер.

Так вот о ком он когда-то столько думал и так нетерпеливо ждал!

Но что мучило отца?

Кого он видел?

Кто приходил к нему?

Кто настоящий?

Кто настоящей последней совестью, последней волею, последним словом положил свою руку на его сердце?

Кто же он?

— Чёрт! — отмахивался Сергей Сергеевич, припоминая смерть отца, о котором он когда-то столько думал и так нетерпеливо ждал.

К новому году Версенев вышел в отставку, совсем переехал из Петербурга в Крутовраг, занялся хозяйством и женился.

Почему он женился, уж и сам хорошенько не помнит: должно быть, понравилась ему тогда Елизавета Николаевна — она была такая тихая и кроткая — тихий ангел.

Да и скучно ему было одному в старом доме.

Хозяйничал Сергей Сергеевич недолго. Попробовал служить в земстве, но и тут не пошло дело, бросил службу. И всё из-за пустяков каких-то. А понемногу, и совсем незаметно, от всего устранился.

Толковый и дельный управляющий-латыш, окрещенный в Крутовраге за свою угрюмость Фордыбаем, да Елизавета Николаевна, сумевшая наполнить старый дом несмолкаемым шумом и веселыми гостями, — все дела на них и вся судьба версеневская.

3

Горик и Буба учились хорошо и гимназию окончили с медалями. Горик поступил в университет, Буба — на курсы.

Лето последнее прошло особенно шумно и весело и озорно.

Крутовражские мальчишки, и забитые — Китов ус, Конский волос, Лопатка, и озорные — Игонька, Игошка, Енька, Ежка, Ермошка, под предводительством Горика, играя в экспроприаторов, так живо разыграли нападение, что соседние белояровские ингуши чуть было не пристрелили самого атамана.

Ракеты, персидские молнии рассыпались над домом, в саду дымили костры, а кругом пожары с разливающимся в ночи красным зловещим заревом.

Когда пришло время ехать в Петербург, Елизавета Николаевна тоже начала сборы.

И дети уехали с матерью, и уж больше не вернулись в свой веселый Крутовраг.

Елизавета Николаевна так и сказала мужу, что в Крутовраг она больше никогда не вернется и дети не вернутся.

Никакой плутоватости, никакой тихости не было в ее словах, Видно было, что она решила твердо и бесповоротно.

Сергей Сергеевич сначала ничего не понял, не хотел понять, — ему было и тяжко, и неприятно, ему не хотелось расставаться, ему трудно было начинать жизнь по-новому, отвыкать от того, к чему привык, привыкать к другому, другую жизнь он просто и представить себе не мог — восемнадцать лет прожили Версеневы вместе!

И он пробовал возражать жене, и всякий раз только махал рукою: все возражения сводились к мучительному писку, подымавшемуся где-то в горле, а затем следовал всегдашний чёрт.

Так ничего и не вышло.

И в конце-концов щетинку из него вынули, как выражалась нянька Соломовна — «щетинку» вынимают у детей-крикс в бане, чтобы не кричали! — он со всем согласился и подписал, что надо.

Относительно денег всё наладилось легко и просто.

Латыш управляющий, толково и ясно представив положение версеневских дел, взялся доставлять всякие отчеты в Петербург Елизавете Николаевне.

И Крутовраг опустел.

Версеневское событие, облетев крутовражские поля, полетело по большой дороге, сворачивая то влево, то вправо из усадьбы в усадьбу.

И почему-то никого особенно не удивило оно, никого особенно не встревожило, словно давно уж этого ждали, и если не говорили, то единственно щадя, как не говорят, щадя, безнадежному о его скорой смерти.

Семейное разногласие, которому приписали отъезд и суровое решение Версеневой, или семейная разно... ца, как вы-

разился сосед Версеневых отставной генерал Белояров, любивший стиль живописный, заняло лишь уездных приятельниц, восторжествовавших теперь с своими тайными подозрениями.

«Кому же не ясно, что всё дело не без романа, роман налицо, и самый настоящий и, хотя нигде не упоминалось об избраннике сердца, само собою, избранник где-то ходил, иначе откуда же всё разногласие?»

Так размышляли дамы.

Но уж никто не хотел разбираться, не было охоты встревать в чужую беду, — своя хата с краю, так-то спокойнее.

Неспокойно лежали поля и шумел золотой осенний лес, неспокойны были и звезды — крутовражские тусклые звездочки, пугливо поблескивавшие над Версеневским домом.

Крутовраг опустел, и калачом не заманишь.

Правда, на первых порах явились три дамы — приятельницы Елизаветы Николаевны.

Не утерпев, приехали они в Крутовраг понюхать воздух, как сами же после объясняли.

Дамы осадили Версенева и трещоткою трещали ему на уши, так что и чёрта своего пустить не мог он за трескотнею.

И хотя Соломовна, провожая последних гостей, русским языком растолковывала им, что «болезнь барина зубом барыне в спину вонзилась» и оттого всё и вышло, дамы не могли примириться и, разъехавшись по домам, на своем стояли — на избраннике сердца, который где-то ходил.

Тут-то, говорят, отставной генерал Белояров, будучи на именинах у одной из дам, и выразился о версеневском разногласии по-своему — живописно, добавив, впрочем, для смягчения:

— Всему есть вес и мера.

Тем дело и кончилось.

А из соседей заезжал наведаться земский Пусторослев, прихвативший с собою агронома Рацеева, которого почему-то отрекомендовал знаменитым петербургским оратором с вязигою вместо костей.

Рацеев, действительно, не уступая стерляди, перегибался всё время, но не сказал ни одного слова. Зато сам Пусторослев болтал весь вечер, перебирая случаи из своей всем известной беспримерной забывчивости.

А историю о своей нашумевшей командировке за границу для каких-то важных специальных целей рассказал и до ужина, и после ужина.

Пусторослевскую историю Сергей Сергеевич неоднократно слышал: командированный министерством во Францию, Пусторослев из Франции поехал в Испанию, а из Испании — в Италию, а из Италии — куда-то в Алжир, и, требуя всё время подкрепления и тратя уйму казенных денег, только вернувшись в Россию, вспомнил, зачем собственно послан был за границу.

— Забвение — удел богов! — многозначительно растягивая свое изволите ли видеть, подмигивал Пусторослев белыми, как будто ничего не видящими глазами, намекая, должно быть, на разногласие.

Всего раз зашел лавочник Хабин чаю попить.

На безлюдьи Версенев страшно обрадовался и Хабину.

Хабин сидел долго. И за чаем в низкой длинной столовой, всё начиная какой-то ни к чему не относящийся разговор по поводу каких-то отдаленных предметов и зарекаясь в тысяча первый раз отстать от своей пагубной привычки, завязал в своем как говорится, а Сергей Сергеевич, в упор глядя на обалдевшего гостя, махая рукой, пускал своего чёрта.

— Привычка, как говорится, вторая натура! — лепетал весь покрасневший, пóтом прошибленный, измытарившийся лавочник, не находя уж дверей.

И только поп Астриозов, не оставлявший своей исконной мысли найти связующее звено, и не простое, железное — связующее, нет-нет, да и заглядывал к Версеневу.

Поп, и без того робкого десятка, оставаясь один на один с Сергеем Сергеевичем, робел еще больше и, пристрастившись к сигарам, чавкал сигарой, пуская в версеневского чёрта свое краткое, крепче крестного знамения, звено.

— Звено-с, — повторял поп, стряхивая пепел, и когда надо, и когда не надо, и с мексиканского листа, и с бразильского.

На безлюдьи Версенев страшно рад был и попу.

А то всё один, целые дни один.

Сергей Сергеевич перестал и в церковь ходить, — он уж и в церкви за службою не мог удержаться от своего чёрта, что приводило в большой соблазн богомольцев.

Произошла даже неприятность: Головешкин-староста пытался на царском молебне заушить м а с о н а. Сергей Сергеевич и перестал в церковь ходить.

В белом фланелевом бекеше, с сигарою, бродил Версенев по опустевшему дому.

От красного сигарного огонька красный огонек мелькал в его запалых потускневших глазах, и зеленели крепкие седые усы.

Занять время нечем ему было. Да и чем занять? Не играть же в игрушки!

Ведь он так привык к шуму и постоянным гостям, к жене и детям — восемнадцать лет прожили Версеневы вместе!

И не раз часами он простаивал у балконной двери, считал ворон — кружились вороны над опавшими голыми липами и кричали... сколько их, и о чем они все кричали?

А то подымался наверх в угловую комнату, где когда-то сидела его мать Федосья Алексеевна, садился, как мать, у окна и глядел на дорогу — куда уходила дорога, и есть ли конец ей?

Или слушал, как перед домом шумели деревья — тополи... о чем они все шумели?

А то сядет в отцовское кресло под огромный астрономический глобус, уставится в одну точку, может быть, в ту самую точку, откуда выходили к его отцу настоящие черти без рожек и хвостиков, да так и заснет.

— Чёрт! — повторялось и день и ночь, и наяву и сквозь сон, отдаваясь по пустому дому.

С наступившими холодами вставили рамы и балконную дверь, забив щели свежею паклей, замазали.

А потом и снег выпал, стала зима.

Дни потемнели, прибавились ночи, — долгие ночи.

Еще пустее, пусто, как в большом подвале, пустынно стало в Версеневском доме.

Хоть бы сны снились тихие!

Как-то приснилось Сергею Сергеевичу, будто он — Версенев Сергей Сергеевич, отставной капитан сорока семи лет, а между тем по виду своему нет в нем ничего человеческого.

Снилось Сергею Сергеевичу, будто он — насекомое злое и мстительное, ядовитым насекомым, тысячехвосткой ползет в поле, цепляясь за стебли лапками. Холодный летний рас-

свет — утро чуть проясняется, и низкая, побледневшая добела с красным нагарным ободком огромная луна.

И вот он, Сергей Сергеевич Версенев — тысячехвостка, ползет по траве, и знает он, что по траве ползет, по самой обыкновенной крутовражской, но ему, как тысячехвостке, трава кажется такой большой и такой высокой, — стебли словно осока, осока — толще всяких деревьев, и черная земля — огромными комками.

И тяжко ему и трудно ему: должен он влезть на каждый стебель и опуститься, и опять подняться и опуститься, и так со стебля на стебель.

И он ползает и не знает, куда он ползает, и за что это наказан он переходить со стебля на стебель?

И злоба мучает его, и злость точит сердце, и устал-то он смертельно.

Огромная бледная, белая луна с красным нагарным ободком, и холодно.

Рассказав как-то сон свой о. Астриозову и получив от попа краткое толкование: к перемене погоды, Сергей Сергеевич улыбнулся:

— Странно мне, — сказал он, — точно всё не настоящее.

А в другой раз, пытаясь рассказать сон Зиновию, на полуслове прервав себя, проговорил хрипло сквозь зубы, как покойник Сергей Петрович:

— Душу остригли, чёрт! — и заплакал.

А Петру-казачку будто бы сказал:

— Помереть бы мне, Петр, в нищете на соломе.

Скучал Сергей Сергеевич.

Без дела, без гостей одному зимою скучно.

— Бояться стали, — докладывала Соломовна о. Астриозову, когда на Рождество приехал поп с крестом Христа славить, — прежнее время, бывало, ничего, а теперь выбегут вечером ко мне из кабинета в девичью, боятся: будто стоит кто-то около их. И всё гостей ждут: вот гости приедут! А то сидят и плачут.

А на новый год не утаила Соломовна и покаялась попу в своих снах нехороших: на святках гадала Соломовна, оттого и сны ей приснились.

Святочные — вещие сны.

То ей приснилось, будто пол она моет, — а это нехорошо, когда во сне пол моешь!

то пожар — дом горит: горит будто дом, все доски разворотили и кирпичи вынимают из печки, а огня не видно.

— Я будто и спрашиваю, — двое каких-то мужиков у печки с кирпичами возятся, — спрашиваю я у них: «Как же это так?» А они говорят: «Мы, Соломовна, ничего не знаем».

Самый же главный сон — новогодний.

Снилось Соломовне, входит она будто в залу, а из балконной двери навстречу ей покойник Сергей Петрович и с ним старик старый-престарый, прихлопнули они дверь, да прямо к кабинету, сами рукою шарят, как слепые.

Но о. Астриозову не до нянькиных снов было, свой новогодний сидел у него вот где!

О. Астриозов многосемейный — семь душ на руках: старший сын — дьякон, младший — грудной. А по сну выходило чудно́: старший-то будто в пеленках, грудной, а самый младший, который грудной, — бородатый дьякон.

— Звено-с! — повторял поп, забирая от Соломовны новогодний щедрый кулек.

Скучно проходили праздники.

И на кухне было невесело.

Разговор вели, как при больном, шепотом.

Компания старая — старик-повар Прокофий Константинович, кучер Антон, прачка Матрена Симановна, плотник Терентий, кузнец Индюк, лакей Зиновий да казачок Петр попивали чай вокруг Соломовны.

Недоставало только горничных: Харитину барыня с собою в Петербург взяла, а Устю и Саню рассчитали.

За чаем шли воспоминания, обсуждались версеневские дела и высказывались опасения за барина, которого рано или поздно попутает грех.

— Чёрта помянешь в недобрую пору — пройдет он черным вихрем, подхватит человека, и пропадет человек в этом вихре, — позевывала Соломовна, крестя рот да покачивая головою.

А Сергей Сергеевич, исходив все комнаты, вдруг вбегал в кухню и, посапывая, останавливался перед ошарашенными слугами и, уж глядя куда-то за бесстрашного лохматого Индю-

ка, начинал морщиться, а где-то в горле принималось пищать что-то.

И вдруг махал рукою:

— Чёрт.

— Чёрт! — отзывалось где-то и в коридоре, и где-то под печкою, и где-то в подвалах, и где-то под потолком высоко на черном чердаке и, ветром разносясь по саду, кружилось вокруг белых колонн.

*

Рождественские морозы сменились оттепелью.

В Крещенский сочельник вдруг по-весеннему закапало, а прудик пожелтел.

Потянуло весною.

Весь день с тревогою заглядывал Сергей Сергеевич в окна, растворил балконную дверь, долго стоял у балконной двери, прислушивался.

Весь день до вечера, места не находя себе, бродил он из комнаты в комнату.

А вечером, когда зажгли свет и весь дом осветили, стал он еще неспокойнее.

На воле таял снег, стучал по крыше, так дождик осенью стучит по стеклу — капля за каплей, струйка за струйкой.

После чаю Версенев поднялся наверх и затих.

Соломовна ходила внизу по комнатам, шептала молитвы, мелом ставила богоявленские крестики на окнах и дверях.

В угловой комнате наверху сидел Сергей Сергеевич и смотрел в окно.

Беззвездная ночь закрыла дорогу, и только голые ветви под ветром тянулись к окну.

Долго сидел Сергей Сергеевич без всякой мысли, бессмысленно глядя в окно.

И вдруг он услышал, как далеко по дороге зазвонил колокольчик.

Он вскочил от окна.

А колокольчик звонит.

Он зажмурился, заткнул себе уши.

Колокольчик звонит.

Хотел вниз бежать, позвать Зиновия, Соломовну, кучера, всех позвать.

А колокольчик звонит.

И не узнал он комнаты: там, где висело зеркало, открылась дверь.

И он вошел в эту дверь.

И дверь за ним захлопнулась.

Длинный, без конца, коридор.

И всё как будто знакомое: много мраморных плит — орнамент выпуклыми розетками, мозаика по полу — белое с красным.

Жарко, душно и сыро.

Он шел по коридору и знал, что должен пройти весь коридор до конца. И когда он дошел до конца и отворил узорчатую тонкую из чекана дверь, за дверью оказалась другая дверь. Он и эту отворил.

А там третья дверь.

И так дверь за дверью: отворит одну — и сейчас же другая.

И по мере того как уходил он куда-то, растворяя дверь за дверью, он чувствовал, что надо ему, хоть на минуту, остановиться, ну вверх посмотреть, ну оглянуться, хоть на минуту одну, иначе беда — несдобровать ему, и не мог ни остановиться, ни поднять головы, ни оглянуться, словно кто-то вел его и еще другой кто-то сзади подгонял.

И когда, наконец, растерявшись, бормоча всякий вздор и отсмеиваясь и отругиваясь, он отворил последнюю дверь, — чем-то острым ударили его в спину, и он упал.

Упал он и, падая, увидел, как звезды — крутовражские тусклые звездочки, разгораясь всё ярче, всё яснее, красные звезды дико вихрем неслись прямо на него.

Но это не звезды, это сам он несся в вихре под красные звезды.

*

— Мелила я крестики, окрещивала окна и двери, — рассказывала после Соломовна, — и кличет меня Зиновий: «Назар-скотник пришел, святой водицы просит богоявленской». Вышла я в кухню к Назару и слышу, ровно балконная дверь хлопнула. Думаю себе, не грех ли какой: времена неспокойные — всякий

народ. И опять слышу — хлопнуло. Я и говорю Прокофию Константиновичу: «Прокофий Константинович, говорю, слышите?» «Слышу, говорит, слышу, ветром пуляет». И только это он сказал, в третий раз хлопнуло, — все стекла затряслись, так хлопнуло. Бросилась я в залу: так и есть — дверь настежь. Кричу Зиновию: «Где барин?» Нет нигде барина. А ветром так и садит. Вдвоем дверь не можем затворить. Так и рвет дверь. И гудит по всему дому, свет гасит. «Барин, кричу, барин!» Нет барина.

Наутро в Крещенье нашли Версенева в прудике, по следу нашли:

от балкона след по аллее прямо к прудику.

Видно, грех попутал Версенева!

Забрел он ночью к прудику, лед под ним и не выдержал. Провалился он, завяз по грудь в тине, за ночь его и затянуло.

Так и замерз, стоя, в белом бекеше, головою в снег.

И много же было разговору потом, — весь Крутовраг на ноги подняло, — да разговорами сыт не будешь.

СУД БОЖИЙ



1



О. Иларион — монах угодный, умен и верою крепок — с т а р е ц.

Как казначей и духовник — на виду и сам всякого видит. Бдительный — не пропустит ни одной службы. Много лет бессменно и в безмолвии у мощей стоял. Говорят, прозорливый. Оттого, должно быть, в монастырь народ идет побывать на духу у старца. Строгий и взыскательный, потачки не даст, а глаза хорошие — всю душу выложишь. Высокий, прямой, борода седая, длиной в меру — не песья. Быстрый, не побежит, а всюду поспеет. И узнаешь, не глядя: мантия, как у прочих, а шуршит, словно гофреная. В этом шуршанье богомольцы и братия особую благодать видели.

В монастыре он давно, а когда и почему — неизвестно. Одни говорили, что от несчастной любви, а другие — что возлюбил еще с юности пу́стыню, а третьи — ничего не говорили, во всё веруя.

А было во что: много разного складывали.

Показывали, например, в монастырской ограде кедры, будто бы вывезенные старцем в Москву с Вычегды из пустыни, а кедры были такие огромные — век, а то и боле.

Показывали также вериги, с отроческих лет носимые будто бы старцем, и эти

вериги — тяжести непомерной — надевали обыкновенно на бесноватых: шибко от бесов помогало.

И всё в таком роде. Впрочем, что же? — по заслугам и честь, так из головы не выдумаешь.

Всякий раз, когда в монастыре подымался трудный вопрос или требовалось уладить какое-нибудь запутанное дело, на совет к настоятелю призывался о. Иларион.

И не без проку: старец, обсудив вопрос, удалялся в церковь и, один промолившись ночь, выносил утром решение, и было оно мудро и всегда на великую пользу. Живи, не бойся!

Случилось однажды, киевский владыка, гостя́ в Москве, посетил монастырь и, прожив в нем некоторое время, уехал, тронутый и довольный строгим уставом и образцовым монастырским порядком.

В благодарность за такое внимание решено было послать владыке подарок.

А так как слыл владыка за большого молебника, то из всех монастырских сокровищ выбрана была чудотворная и издавна чтимая икона Божией Матери, именуемая Скорбною.

Рассказывали, что во время пожара, случившегося однажды в монастыре, когда середина и крыло иконы, изображавшие Иисуса и Предтечу, погорели дотла, она одна уцелела в огне нетронутой.

На ней представлена была Божия Матерь, как стояла Она у Распятия.

Образ был древний, лик темен, но из теми явственно виделись и скорбь, и мука, и вся горечь, и глубокое покорство святого сердца, через которое судимо было, чтобы прошел меч. Украшенная богатою ризою и цветными камнями, икона была по размерам небольшая — под силу одному унесть.

Отвезти драгоценную святыню в Киев поручено было о. Илариону.

2

С первого шага пошли неудачи.

Купе второго класса, в котором поместился о. Иларион, заняли еще три пассажира. И это было бы куда ни шло. Вскоре же оказалось, что все они хоть и очень приятные и услужливые спутники, но курильщики самые отчаянные. И это было совсем

некстати: ехать до Киева приходилось целые сутки, а от табачного дыма у о. Илариона кружилась голова и болело сердце. Что было делать? Просить не курить — совестно, перейти в другой вагон, — места нет.

И вот, чтобы как-нибудь уберечься и в то же время не стеснять своих соседей, о. Иларион, выждав контроль, вышел на площадку и решил стоять на площадке весь путь до Киева.

Погода выдалась теплая, и продувавший ветерок не мешал: легко овевая лицо, подымал он вскрылия клобука и играл в них, шелестел ими, как крыльями.

Любо было и хорошо!

Весенние поля, лес и река шли чередом.

Дружная широко полегла зель и туда и сюда и, благодатная, укрывала душистым ковром необъятный край земли до небесной сини и словно всё кликала кликом реющей песни своего жаворонка,

а лес, зеленея молодою клейкою листвой, что-то всё говорил, шумя,

а пробегавшие реки и речки, вырастая под половодьем, полноводные, гудели, куда колокол.

И оттого ли, что столько лет проведено было однообразно, на одном месте в стенах городского монастыря, среди свечей, лампадок и ладана, или еще от чего, что доносилось ветром и касалось глаз с этой шири и дали, почувствовал о. Иларион, как стало ему весело и радостно как-то.

Пускай одежда на нем темная и голова его — седая, и душа, принявшая многое множество и самых отчаянных и самых горьких признаний, отягчена и утомлена чужими грехами и тайнами, а там — всё молодо, а там — всё полно неведения, он нисколько не представляется чужим, ни одиноким, и вид его не режет глаз.

Была ли это молитва — и старец молился без слов и мысли единым духом, как преподобный Коряжемский Логгин молился среди своих печальных кедров белою ночью всю ночь до колокольного звона, плывшего по реке из Соли Вычегодской.

Или проходили в нем воспоминания, но какие? — не тех же дней, которые с болью прожиты и лишь теперь благословлены? — Нет, не этих дней.

И что за голос он слышит, и куда зовет этот голос?

Или видел он руку, показывающую ему дорогу, но не назад в монастырь, а куда-то в эту ширь и даль:

там ложе — земля, а покров — небо.

Он стоял и, не отрываясь, глядел вокруг.

И если бы захотел в те минуты собрать свои мысли, они не сказались бы. И было так весело и радостно как-то.

Слезы сами собою подступали и крупные катились из засветившихся, веселых и кротких глаз.

И время неслышно шло.

«А не искушение ли это?» — шевельнулась чуть внятная мысль, и тотчас о. Иларион перевел глаза и, вздрогнув, потупился:

какой-то господин, стоя у двери, выходящей на площадку противоположного вагона — первого класса, упорно смотрел на него.

— Искушение! — сказал сам себе о. Иларион и, подтвердив словом свою предательскую мысль, всполошил мысли:

они лезли в голову всякие, и подонки их.

Чувствуя на себе неспускаемый взгляд, старец схватился за четки и с каким-то остервенением принялся читать положенную молитву и, читая ее, затверженную, потерявшую всякий смысл — пустую, стал убеждаться, что всё только что бывшее с ним — нечисто.

«Дьявол, — распалялся монах, — Сатана, радующийся, когда удается ему обойти человека: заставить размякнуть человека и разнюниться. Всё от Дьявола. Скверную шутку сыграл с ним, нечего сказать! Замутил ему память... Да разве он, столько лет проведший в монастыре и столь много потрудившийся для своего и чужого спасения, мог сам собою забыть пример старца, имя которого принял и житию которого следовал? А как поступил троекуровский старец, попав однажды в такое же положение? Выведенный по весне в садик, старец сказал: Хорошо, очень хорошо, пожалуй, захочешь и еще! и велел вести себя обратно в келью».

Подводя итог пережитому, о. Иларион укорял и превозносил себя.

Он допытывал: какой это иной путь указан ему? И разве мыслимо оставить ему монастырь?

Он один вот этими руками устроил монастырь, и без него пропадет монастырь.

А все эти люди? Ведь только из-за него они идут, от него ищут себе утешения. Что они без него будут делать? Куда денутся? — Очумеют в своей темной и жалкой жизни, как псы, подохнут без покаяния.

А! он догадался! Он знает этот путь. Знает, куда ведет эта дорожка. В мир звал его Сатана, красотою, полями соблазнял его. Нет уж, ошибся. Не будет этого, как не может быть снег черен, соль пресна! Он оставил мир, чтобы спасти его. Это единственное, чем жил он, живет и будет жить. И знает он, как спасти мир, знает он, кто виновник страдания.

Еще в молодости, как изведывал и пробовал жизнь, ходя среди людей последним блудником, вором и пьяницей, еще в те годы, когда, чувствуя силы, искал он себе дела, эта мысль о спасении — а он давно это понял — не покидала его: он ею только ведь и мучился.

— Господи, помилуй мя! — произнес о. Иларион глухо и с какою-то обидою, что вот Господь попустил искушать его.

И, подняв глаза, он снова встретился с упорно направленным на него взглядом:

наблюдавший за ним господин, выйдя на площадку, стоял теперь прямо против него.

Коробило от этого взгляда.

О. Иларион, бросив молитву, стал оправляться: поправил клобук, поправил наперсный крест, поправил рясу.

Но одежда всё как-то лезет на нем. И стоять становится трудно.

Воды бы попить!

И в ушах звон: назойливо стучат колеса и где-то неприятно лязгают цепи.

Какое-то утомление клонит его.

И ему хочется опуститься тут же на площадке, вытянуть ноги и заснуть.

Он долго боролся, брался за четки, таращил глаза, переминался, но силы оставили его, и, не заметив, стоя, он заснул.

И хотя спал он всего ничего, тягучий и безобразный сон довершил весь его страх и беспокойство.

Представилось о. Илариону, будто он в монастыре, сидит в трапезной за столом и ест котлеты. А перед ним стоит его любимый ученик, умерший несколько лет назад еще юным, и служит ему. И вот, будто ест он эти котлеты и, входя во вкус, начинает соображать, что котлеты не говяжьи, а сделаны котлеты из мяса, вырезанного из ног этого любимого ученика, и ясно видит он те самые места, откуда вырезано на котлеты.

*

Очнувшись, о. Иларион вошел в вагон.

Купе от папирос дымилось, а спутники, примостившись, резались в карты. Тут же стояло угощение. Заметно было, что не без усердия прикладываются к рюмкам. И было очень весело.

Наперерыв друг перед другом бросились соседи потчевать о. Илариона, но он, от всего отказавшись, попросил только воды. Воду скоро достали. И не выпив и несколько глотков, о. Иларион почувствовал утоление.

Присел к соседям и, насколько позволяли силы остаться, оставался в купе.

Беззаботность ли и веселье его спутников, перемена ли места, но что-то отрезвило его, и он снова вышел на площадку.

Был уже вечер. Село солнце. Попадавшиеся поля, лес и реки ложились по сторонам затуманенные и затихнувшие, и лишь вечерние птицы робко начинали свои поздние песни.

А вечерница — первая звезда, восходя по небу, зажигала свет свой.

Тихий свет тихо входил в душу старца, наполняя ее смирением и покорностью.

Ожесточенности не было, а с нею улеглась гордыня. Он уже не думал о своих заслугах и трудах, ни о том, как спасает себя и других, не поминал дьявола, который будто бы только и ищет, чтобы смущать его, не роптал.

Это был уж не прославленный старец, а простой монах, к которому тянуло и которого любил народ.

Между тем, всё тот же господин, следивший за ним, перешел на его площадку и стал с ним рядом.

И опять страх еще пуще овладел о. Иларионом, но он не пошевельнулся и продолжал стоять смиренно и покорно, готовый всё вынести, что бы ни случилось.

А что могло случиться, ясно ему не представлялось.

Он чувствовал только недоброе что-то в соседе и в том, что этот сосед неотступно преследует его.

Так стояли они плечо в плечо.

Погаснул вечер. Темная протянулась ночь.

Безветрие и тишина.

И слышны были лишь стуки сердца.

— Батюшка, — сказал незнакомец.

О. Иларион повернулся и, смиренно наклонив голову, дал понять, что готов на всё ответить, что бы ни спросили его.

— Вот я всё смотрю на вас, — продолжал незнакомец, — и никак понять не могу, скажите, батюшка, почему это вы стоите тут: и днем стояли, и вечером, и сейчас?

— В нашем вагоне курят, я не могу выносить дыма: у меня голова разбаливается и сердце. Я и вышел сюда.

— А вам далеко? — полюбопытствовал незнакомец.

— В Киев, по поручению настоятеля, — сказал о. Иларион.

— Так знаете, батюшка, переходите ко мне: у меня свободно, отдельное купе, и в целом вагоне, кроме меня, никого нет — пустой вагон. Мы вместе и разместимся, одному очень скучно.

Голос незнакомца пресекался, какая-то затаенная мысль, которую он уж не мог удержать в себе, а с нею и тревога прозвучали в его словах.

И это не внушало доверия.

И вид незнакомца: это был молодой человек самый обыкновенный, каких часто встречаешь, без всяких приметин, — всё было на своем месте, правильно, но почему-то тоже не внушало доверия.

О. Иларион хотел было отказаться, но, и не сделав даже попытки, как-то помимо воли дал согласие.

Сказав, что хочет взять вещи, он пошел в свой вагон.

Страх не отпускал, что-то предостерегало его не возвращаться.

И сделать это было легко: в купе все спали и он, в свою очередь, тоже мог бы лечь и хорошо выспаться, курить не будут.

Присел о. Иларион на диван, и стал уж успокаиваться, но, не прошло и минуты, вдруг поднялся.

Совесть заговорила в нем. Совесть укоряла его в малодушии и повелевала немедля идти и не бояться, потому что он — монах, а монах ничего не должен бояться.

Забрав с собою чемодан с чудотворною иконою, о. Иларион вышел из вагона.

Молодой человек, поджидавший его на площадке, помог ему перейти в свой вагон и, введя в купе, затворил дверь. И снова одни с глаз-на-глаз они остались в пустом вагоне, сидя друг против друга.

Впрочем, молодой человек не заставил себя ждать.

— Я так измучился, батюшка, — заговорил он, волнуясь, — просто нигде себе места не найду, пробовал читать, не читается, и спать не могу, вышел на площадку — одному тут жутко и скучно! — вижу, вы стоите, и стал я наблюдать за вами, и чем больше вглядывался в вас, тем больше вы мне нравились, и решил я: спрошу у вас, и как вы скажете, так я и сделаю.

— Говорите, — тихо произнес о. Иларион, — что в моих силах, помогу вам, — и привычно приготовился слушать и всё принять, что только может открыть человек от первого преступления до последнего злодейства.

— Я единственный сын, — начал спутник, — родители мои очень богатые люди в Киеве. Когда я был еще мальчиком-гимназистом, они выбрали мне невесту, и сказано мне было, что, когда я кончу университет, женюсь на ней. Она — моя сверстница, и мы часто вместе проводили время. Сначала, как дети, играли, потом стали вместе читать, ходили в театр, танцевали. Отношения у нас были самые лучшие: я к ней, как к сестре, она ко мне — как к брату. Кончив гимназию, я поехал в Москву в университет. Сначала мы переписывались: я скучал один. Но потом, вот уж два года, как я встретил одну девушку, полюбил ее, и мы сошлись. Родился у нас ребенок. В Киев родителям, не желая огорчать их, я ни слова не написал. Это для них было бы настоящим горем. А ее я как-то упустил из виду и даже забыл, что есть у меня какая-то невеста и что я только на ней и могу жениться. За всё это время, отговариваясь разными делами, я ни разу не был в Киеве. Наконец, я кончил университет, жили мы хорошо, я начинал подумывать, как нам устроиться, и вдруг получаю от отца телеграмму: требует, чтобы немедленно я приехал в Киев, и что день моей свадьбы назначен. Сперва я не хотел ехать, мне казалось невозможным и диким такое требование, но потом что-то заколебалось во мне, стал я думать и, в конце концов, взял и уехал. А как сел в вагон, так опять сызнова и пошло:

и ни в чем уж теперь разобраться не могу, всё у меня перепуталось. Вот я и решил спросить у вас, и как вы скажете, так я и сделаю: ехать ли мне в Киев или обратно в Москву?

— Какие пустяки! — сказал о. Иларион. — Прямое дело ехать вам в Москву.

— В Москву? — спутник при этих словах так подпрыгнул от радости, что чуть в окно не выскочил.

— Конечно, в Москву: раз вы полюбили, то надо и быть вам с теми, кого вы любите.

Сказав это, о. Иларион почувствовал, как что-то тяжелое отлегло от сердца.

Откинувшись на диван поудобнее, совершенно спокойный, он просто руками разводил, вспоминая пережитое за день.

Откуда у него страх явился перед этим несуразным человеком, который сам себя опутал кругом и история которого, впрочем, как и большинство историй, выеденного яйца не стоит?

А несуразный человек — спутник старца, тем временем о себе рассуждал.

Как же это он так поступил необдуманно и, Бог знает, из-за чего, — из-за каких-то капризов родителей поехал в Киев, чтобы связать свою жизнь с нелюбимым человеком, оставив жену и ребенка, которых он любит. Да ведь он своим глупым поступком мог бы всю жизнь себе искалечить, и не себе только, ведь он даже не сказал ей, зачем едет, и узнай она настоящую причину, возможно, не перенесла бы...

И, словно очнувшись от какого-то продолжительного глубокого обморока, он бросился собирать свои вещи, чтобы на первой же станции, ни минуты не медля, пересесть в другой поезд и ехать обратно в Москву.

В ожидании счастливой остановки, болтая всякий вздор, сколько любопытного успел передать он и про своего маленького сынишку, и о всех своих планах, и как его встретят, и как они заживут спокойно, и как он когда-нибудь жене всё расскажет, и сколько будет смеха, а какие зимой вечера у них будут! — и куда они на будущий год поедут, и какие игрушки он купит.

Затем начал рассказывать какой-то анекдот, и на самой соли его, не кончив, сам первый же стал смеяться, и смеялся на весь вагон раскатисто и молодо, словом, переродился: и не узнаешь.

Поезд приближался к станции, и оставалось всего каких-нибудь две-три минуты, как вдруг страх больший, чем все бывшие за весь путь, охватил о. Илариона.

— Постойте, — сказал он счастливому своему спутнику, который уж одной ногой был за дверью, — обождите немного... Я только что сказал, что надо вам в Москву ехать, и считаю, что по моему разумению другого выхода для вас нет, но я — человек и, как человек, могу ошибаться. Признаюсь, сегодня, когда мы там стояли, я подумал, что вы замышляете что-то недоброе, что вы, может быть, убить меня хотите, а ведь на самом деле вы оказались простым и добрым человеком и зла мне никакого не сделали. Вот я и хочу предложить вам: сделаемте так, как делается у нас в монастыре. Обыкновенно в трудных вопросах, когда представляются несколько решений, мы пишем на записки и кладем у иконы. Потом, помолившись, вынем одну записку и, как в записке говорится, так и поступаем. За всю мою жизнь не было случая, чтобы указанное таким образом решение приводило к чему-нибудь дурному, ибо решение это божеское и ошибаться не может. Согласны ли вы поступить так?

— Согласен.

— И что вынется, то и будет, — повторил о. Иларион.

— Раз вы говорите, я согласен.

В это время подъехали к станции, и молодой человек, видимо, загрустил, но когда снова тронулся поезд, он понемногу вошел в колею и, хотя смеха не было слышно, вид у него был веселый.

Помогая о. Илариону распаковывать чемодан, он заранее был уверен, что божеское решение, которое сейчас скажется, не может не совпадать ни со здравым смыслом, ни с мнением старца.

Взяли они икону, поставили на столик, написали две записки, свернули записки в трубочки и, положив перед иконой, стали на молитву.

И молились горячо и долго, не слыша ни звонков, ни остановок.

Не заметили, как и ночь прошла и светать стало.

Только когда поднялось солнце, о. Иларион, положив последние три поклона, вынул записку.

Молча прочитал ее, молча передал своему спутнику.

— Такова воля Божья, — сказал о. Иларион твердо, но с упавшим сердцем.

— Воля Божья, — повторил за ним сухими губами его убитый, опечаленный спутник.

И больше они не проронили ни слова.

В вагоне было душно и неуютно.

И хоть бы окно раскрыть!

А там вместе с солнцем проснувшаяся и цвела, и ворковала лебединая степь, широкая — до самого моря.

Совсем близко около Киева, когда отобрали билеты и о. Иларион поднялся, чтобы идти в свой вагон, молодой человек остановил его, прося исполнить просьбу:

прийти к нему на свадьбу.

— Это последняя к вам просьба, батюшка, — сказал он, — непременно приходите, — и назвал старцу день, час и церковь.

К счастью оказалось, что день этот о. Иларион проведет еще в Киеве, и он пообещал.

Так они и расстались.

Уж навстречу поезду выходили с холмов белые церкви, и поезд, перейдя Днепр, приближался к вокзалу.

О. Иларион, простившись со своими спутниками, вышел с чемоданом на площадку.

Среди встречающих ему бросился в глаза старик с пожилою дамой, а с ними барышня, они направлялись все трое к вагону первого класса.

И о. Иларион сразу догадался, что это — отец, мать и невеста его несчастного спутника.

Барышня ему не понравилась.

И снова упало сердце.

— Такова воля Божья.

3

Владыка милостиво принял о. Илариона, а драгоценному подарку просто не знал благодарности. Владыка обещал непременно еще раз побывать в их монастыре и уговаривал старца подольше остаться в Лавре, чтобы, пользуясь пребыванием старца, получить от него некоторые советы, в которых очень нуждался.

Дни проходили незаметно.

О. Иларион, ни разу до сей поры не бывавший в Киеве, занят был посещением киевских святынь и осмотром древностей. Свободные часы проводил он у владыки. Но ни в пещерах, ни у владыки, в примиренности и умилении своем перед виденным благолепием, завершавшимся звоном печерских колоколов и киевскими распевами, мысль о данном обещании дорожному спутнику не покидала его.

Наконец, подошла пятница — день назначенной свадьбы и последний срок пребывания о. Илариона в Киеве.

Он собирался было задержаться и еще некоторое время, но из Москвы получены были письма, в которых его торопили: присутствие старца в монастыре оказывалось необходимым для решения неотложного дела.

Свадьба назначена была после вечерни, а поезд отходил поздно вечером.

Хотя промежуток был довольно большой, но о. Иларион, опасаясь пропустить поезд, задумал заранее взять билет.

После прощального обеда у владыки, когда зазвонили к вечерне, о. Иларион отправился на вокзал и, пробыв там ввиду встретившихся препятствий долее, чем следовало бы, заторопился взять извозчика.

Вечерни давно кончились, а где находится церковь, о. Иларион не представлял себе и потому очень обеспокоился.

Когда же, наконец, приехал он к церкви и увидел множество экипажей, стоящих по обе стороны улицы, он еще больше забеспокоился: ясно было, что свадьба уже началась.

А когда вошел в церковь, тут уж от досады чуть не заплакал: посреди церкви стоял г р о б.

Ни минуты не медля, о. Иларион поспешил назад и, насилу отыскав своего извозчика, сказал ему с упреком:

— Не туда ты меня привез, уж не брался бы лучше!

— Да вы, батюшка, сказали: в Кирилловскую, я вас и привез в Кирилловскую.

— Наверное, две церкви Кирилловских! — о. Иларион, не дожидаясь ответа, занес было ногу в пролетку. — Вези скорее в другую.

— В какую же другую, батюшка, всего только одна и есть на весь Киев, а другой никакой нет.

— Ты ничего не знаешь! — о. Иларион стоял на своем.

— Так спросите кого другого, одно и то же скажут, — огрызнулся извозчик, — и не таких возил!

О. Иларион вернулся в церковь и, еще раз убедившись, что в церкви не свадьба, а покойник, направился к церковному ящику: тут, думал он, дадут ему самые точные справки.

— Это Кирилловская церковь? — спросил он старосту.

— Кирилловская.

— А еще есть Кирилловская?

— Одна Кирилловская.

— А где-нибудь на окрайне, или по-другому называется?..

Но староста, занятый счетом денег и, видимо, не желая продолжать праздный разговор, только покачал головою.

Ничего другого не оставалось, как уйти. Но куда?

Искать несуществующую церковь по меньшей мере странно, да если и допустить, что по какой-либо случайности — мало ли что бывает — такая церковь и оказалась бы, то всё равно уж поздно: время пропущено, и никакой свадьбы он не застанет.

Может быть, он перепутал название, или день, или время?

Да нет, память ему не изменяет, он хорошо помнит: Кирилловская, пятница, пять.

И зачем понадобилось ему на вокзал тащиться? Успел бы еще тысячу раз, и билетов сколько угодно. Пошел бы к вечерне, всё разузнал бы толком.

— Кирилловская, пятница, пять, — повторял машинально о. Иларион, проталкиваясь к выходу.

Не досада, горечь заливала его сердце: он не сдержал своего слова, не исполнил обещания.

Народу была полная церковь, и почему-то не стояли на месте, а все двигались по разным концам, как у праздника, когда прикладываются.

Теснимый со всех сторон, уже достигнув паперти, о. Иларион как-то помимо своей воли очутился в круговороте и понесен был волною назад, как раз к тому месту, где стоял гроб.

«И что это за порядок хоронить после вечерни, нигде такого обычая нет! И что если тот человек просто подшутил над ним?»

— Кирилловская, пятница, пять.

О. Иларион на минуту приостановился, и вдруг словно холодною водой плеснули ему в лицо.

Вскинув глаза, старец застонал: просто невероятным было то, что он увидел.

Он находился в парадной толпе расфранченных дам и мужчин, никакого гроба не было, а там, где раньше виделся ему гроб, стояли теперь молодые: жених — его спутник, невеста — та барышня, которую в день своего приезда он заметил на вокзале.

Кончалось венчанье.

Присутствие монаха само собою обратило на себя внимание. И не только это, а скорее вид о. Илариона и поведение.

А вел себя о. Иларион странно.

То начинал он молиться и лежал распростертый ниц, то гордо подымал голову, словно вызывая кого-то и крепко что-то оспаривая, то испуганно озирался и вертел головою, желая что-то сбросить с себя, то опять дерзко сжимая кулаки, то униженно сгибался весь, словно просил отдать ему что-то, что насильно взяли у него и не хотят отдать, то застывал на месте и стоял, как столп, с остановившимся взглядом человека, пораженного какою-то отчаянною мыслью, и потом рукою показывал, словно объясняя кому-то, что был он вот какой, а теперь — нищий, и просил подать Христа ради.

О. Иларион видел одно: брак, на котором он присутствует, заключен противно всякому здравому смыслу, но по указанию Божьему, и по указанию Божьему — а это ведь только что открылось ему — станет не жизнью, а г р о б о м.

И видя только это одно, не мог он понять и всё спрашивал:

какой же смысл этого гроба — человеческих страданий?

зачем человек обрекался на страдания?

кому и для чего понадобились эти страдания?

Вот он, старый, проживший много лет в монастыре, спасал себя и спасал других, но он не помнит, забыл, как спасал и как спасался, а забыл потому, что прежде понимал, а теперь не может понять, какой смысл страданий его и тех людей, которые приходили к нему, и зачем, и кому, и для чего страдания всех этих жалких плодящихся, как моль, ничтожных жизней?

Перед ним проходили жизни, Боже мой, какие калечные! — и он не видел им оправдания и просил, не умея ответить, подать ему ответ, ну хотя бы как милостыню, ради Христа.

— Не сына ли его и не дочь ли его венчают?

— Нет, это его любовница.

— Тоже монах, а пьяный: ишь как назюзюкался!

— Блаженный, поди!

— Представляется: знает, купцы, — купцы любят!

Многое еще говорилось, и всё — как самое достоверное.

И одни жалели его, другие ругали и насмехались над ним, третьи — этим всё равно: некогда было.

Молодые приложились к образам, отошел молебен, и весь народ хлынул к паперти.

И о. Иларион вышел.

Он шел по незнакомым улицам, как-то чудно размахивая руками, будто не монах, а спешащий по шутовскому делу наряженный в монашеское платье простой мирянин, скоморох.

А спешил он не в Лавру, не за тем, чтобы проститься, и не на вокзал, чтобы ехать в Москву в свой монастырь, он никуда не спешил.

Далеко уж от церкви нагнал его извозчик.

— Эй, батюшка, а что же вы деньги-то?

О. Иларион молча отдал весь кошелек, всё, что у него было.

«Рехнулся!» — подумал извозчик и, посмотрев вслед удалявшемуся странному седоку, сказал:

— Придурай! — хлестнул лошадь и поскакал к трактиру.

Весь вечер и ночь ходил о. Иларион по улицам, исшагал город вдоль и поперек — из конца в конец, не останавливаясь и не оглядываясь.

А на рассвете дня, выйдя за город на дорогу, нагнал он какого-то не то странника, не то бродягу.

— Куда идешь? — спросил он странника.

— Куда глаза глядят, — ответил странник.

И о. Иларион пошел за ним.

И степь закрыла их.

ЗАНОФА



Хорошо на Батыеве — веселое село.

Всего вдоволь: и лесу кругом, и река под боком. В реке рыба — не выловишь, в лесу зверь — чего хочешь, всё есть.

Одно — жутко. Не больно разгуляешься. А разгуляешься, не пеняй зря: если что недоброе после окажется, сам виноват.

Как стоит Батыево и Спасская церковь построена, не переводится нечисть, и нет на нее никакой потравы: живуча, что черви.

Сгинет одна, смотришь, другая уж действует.

Иной раз не успела ведьма передать своего ремесла, всё равно, где-нибудь другая проявится, и почище, не ученая, а рожена я.

Рожена я — это которая просто от матери такою ведьмою на свет родится.

Ученая — так себе, а эта свое возьмет: с роженою шутки плохи, пустяками заниматься не станет, живо такое сделает, век свой вечный не отмоешься.

И роженых и ученых на селе водилось немало.

Старики не запомнят, когда бы их на селе не было, и не было человека, кто бы додумался, откуда они, и где корень их таковский.

А сколько народа в могилу сошло, погибли задарма несчастные: с этою нечистью лучше не начинай делов, изведут,

а сами, как ни в чем не бывало, жить будут и живут человеку на страх, Рогатому на угождение, его злой воли дочери.

Такое, право, нечистое место.

*

Го́мит гом, шумит молва по Батыеву, гремит слава по всему Черноречью: нет страшнее от гор до моря ведьмы Занофы.

Были старые: Арина да Устинья, каждая сто и побольше годов на плечах носила, а эта молодая — всего тридцать минуло. Те, хоть и портили, да всё-таки меру знали, сами же после и помогут, а эта нипочем.

Известны были Занофе самые страшные порчи, умела она засекать.

Возьмет так, окружит кольцом человека, и тот человек, сколько бы он ни бился, никогда и никуда из круга не выйдет, будет плутать у себя под дверью, а в дом не войдет, будет стоять на пороге и не двинется.

Те ведьмы как ведьмы, с первого взгляда и малому ребенку приметны: нос крючком, сухопарые, хвост. А эта — такой красивой, обойди весь свет, не найдешь, но и такого уродца с сотворения мира не слыхано: тело и всё — настоящее, как у самой здоровой, а ноги ребячьи, — не могла ходить Занофа, только ползала.

И пускай бы себе ползала, а то, говорят, летает: подымется птицею и летит.

И увидеть Занофу никогда не увидишь, разве ночью.

Ну, от этого избави Бог всякого, лучше на месте три раза провалиться, да на Пасху у заутрени не стоять, чем такую увидеть.

Отец Занофы развозил товары по ярмаркам, и товар не залеживался, — покупатель напролом шел: не проведет Чабак, гнилья не подсунет.

И не прими старый греха на душу, ей-Богу, записали бы его в угодники.

Мать Занофы — бродячая, цыганской крови, плясала да пела — вой-да!

Ударит, бывало, в звонкие ладони — пропадай голова, только б глазком взглянуть, да и Богу душу отдать.

Другой такой Степаниды не бывало.

Не сразу Чабак стал на ноги. Спервоначала едва концы сводил, держал он на селе лавчонку, ею и пробавлялся. Детей полны углы, всех накормить да обшить — чего-нибудь да стоит. Мужиками жили.

Родилась Занофа — и перемена пошла.

Повалило Чабаку счастье, стал богатеть, расторговался и настоящим купцом заделался. Покупатель так со всех сторон и валит в лавку, — никаких товаров не напасешься. Разбогател купец. Барышей хватало на всё: дом выстроил, сад развел, повыдал дочерей замуж, а сына в город по торговле пристроил.

Пожертвовал Корней колокол на церковь, и удался колокол звонкий и гулкий: как ударят ко всенощной, по всему Черноречью гудит и до самой Москвы, до Ильинки хватает.

И не искал Чабак богатства, само оно в руки шло.

Умные люди и тогда уже смекали, что замешалось тут нечистое, да про себя держали, болтать зря не годится:

> и человека ни за что опозоришь, и самому на том свете тоже не пройдет даром.

Один Митрошка, — парень такой был, ничего не боялся, — бывало, как начнет болтать и доказывать, всё, бывало, на девчонку кажет на Занофу и ей всё приписывает.

Не обращали внимания: разняла человека хмелина, нечего с него и спрашивать.

А девчонка была, действительно, Бог ее знает!

Родилась Занофа в Купальскую ночь, в петухи, последней у матери. Родилась она в счастливой с о р о ч к е и с родимым пятнышком у большого пальца на левой ладони.

Сорочку Занофину бабка припрятала, а после к себе унесла. Потужили Чабаки, да делать нечего: назад такую вещь не возьмешь, — кому досталась, тот и пользуйся!

Слух же пошел по селу.

Странники и богомольцы толпились у Чабаков.

Заходили в дом странники получить у Занофы с ее левой руки счастье.

И счастливая рука щедро раздавала счастье, никому не отказывала. Доходили странники и богомольцы до святых мест и возвращались во всем благополучии.

Никто не жаловался.

И из дальних сел и деревень приезжали к Чабакам за счастьем и возвращались восвояси довольными.

Ни с кем беды не случалось.

Росла девочка разумная и, как птичка, чирикала день-деньской:

> всё ей покажи да расскажи, и увяжется за большими, ничего не боится.

Однажды, на первую траву, взяла ее Степанида в хоровод постоять.

Любила девочка в веселом хороводе постоять.

А когда пошел хоровод по улице, поднялся вдруг ветер, сшиб ее с ног, и упала она на землю.

С той поры онемели у ней ноги, не могла ходить.

Не бегала Занофа, а лежмя лежала.

И странное дело: всё тело ее росло, а ноги в одном и том же положении оставались — ребячьи, маленькие.

Еще больше народа сходилось в дом к Чабакам, и разливалось Занофино счастье по всему свету.

Но, видно, шила в мешке не утаишь.

Одна захожая старица заметила у Занофы на счастливой руке к р е с т и к и, и какие-то совсем не простые крестики.

А тут, после Занофиной счастливой-то руки, вышел Фома на богомолье целым, а назад пришел без ноги, а у Еремы глаз вышибли, Катерину, старостину внучку, замуж выдали, пожила с год Катерина хорошо, а на другой год запила, тоже Барабан пошел в Петербург и не вернулся, а у того самого Митрошки ни с того, ни с чего выросло вроде х в о с т а что-то.

А тут еще такое случилось, и дураку толковать не требуется.

Чем старше становилась Занофа, тем тяжелее у Корнея забота росла.

Хотелось старому еще при жизни дочь пристроить и умереть уж спокойно.

Посылал Корней сватов. И женихи приезжали. Много зарилось на богатство: богаче Чабака на всем Батыеве не было. Да ничего из сватовства не выходило. Другой бы и рад-радешенек, да в последний срок решимости не хватало. Уж очень жуткий взгляд у невесты: взглянет, как ножом полыснет, — от таких глаз не спрячешься. Ну дело и разойдется.

Не любила Занофа женихов, пеняла отцу, а со стариком и сам чёрт не сговорит, упрямый, стоял на своем.

Приехал как-то к Чабакам купец один из города по делам. Весельчак, всё село перемутил. Бабы и теперь всплакнут, как про Родионова рассказывать примутся.

И полюбился Родионов Занофе.

Сама она отцу открылась.

Обрадовался старик, сейчас же к купцу — к Родионову. Любил старик дочь, душу продал бы, вот как любил! А купец шалый, море ему по колено, высыпал шуток с три короба, и по рукам ударили.

Всё честь честью: благословились, смотрины справили и всё, что в таких случаях полагается, на то уж баба — первая заводчица. Гуляли, аж обезножили!

И подошел венчальный день, обрядили Занофу к венцу. Поехали в церковь. Народу собралось — всё село: всем любопытно.

А жениха нет.

Думали, случилось что. Туда-сюда. Одного послали, другого послали, а жениха всё нет.

Нигде Родионова разыскать не могут.

Поохали, поахали, а ничего не поделаешь — по домам надо.

Занофа — ни с места.

Уж и уговаривали ее, и просили, и силою взять хотели, не соглашается, не хочет ехать назад.

И как была в подвенечном платье, легла она на землю и поползла, да так и ползла по земле до самого дома, сама вся, что бумага, белая, а глаза — да если бы все громы разразились и вся молонья попадала, такой грозы не бывало бы! — раскаленные глаза жгли.

Кто как стоял, так и остался, а она всё ползла.

Наутро Родионов отыскался. Нашли его у Чабаков в хлеву удавленного.

Опоросилась у Чабаков свинья, и стояли в хлеву старые плетеные ясли для поросят. Так он и забился в поросячью плетенку, а возжи за осокорь натянуты.

Уж мертвый.

Началось следствие. Доказали на Корнея.

Клялся Корней, что не при чем он совсем. Клятве не поверили и засудили.

Пошел старик в Сибирь, да там, должно быть, и помер.

Вот оно какое дело.

Тут уж Митрошка с хвостом забрехал на всю улицу, и умные, которые раньше смекали да помалкивали, развязали язык.

И теперь всем стало ясно, какое это такое счастье Чабаковское и что это за счастливая рука Занофина с родимым пятнышком у большого пальца на левой ладони, и с крестиками.

И хоть Корней задушил Родионова, про это всякий знал и не сомневался, но без Занофы не обошлось.

Всё — Занофа, всё она — ведьма.

Всполошилось Батыево.

— Она еще и не то сделает, — говорили про Занофу, — она напустит град и выбьет поля, она нашлет молонью и сожжет хлеб, она уморит скот, она передушит ребят, она испортит баб, она погубит мужиков, она не оставит ни церкви, ни избы, не пощадит и завалящей щепки.

— Она еще и не то сделает, — шептали помертвевшими губами, перепуганные насмерть, — она обратит всех в сов и заставит жить в норах.

— Глаз у нее черный.

— Рука у нее проклятая.

— Ведьма она проклятая.

Фома да Ерема подговаривали прикончить ведьму, да не нашлось смельчака, руки у всех оказались коротки.

И все отшатнулись от Занофы, и брат и сестра отреклись от нее.

Что бы ни случилось на Батыеве, всякий грех, всю беду, всё валили на Занофу.

И осталась Занофа одна с матерью.

Косясь, проходили по селу мимо белого дома с синею дверью и синими ставнями, не пели песен, не говорили в голос, завидя вышку, где, как сторож на карауле, караулил аист ведьмино логово.

А она, хоронясь, лежала у окна, всё видела — через три поля видела, всё слышала — через лес слышала.

И видела Занофа и слышала, знобила сердце, а сама встать не могла.

2

Опустел дом старого Чабака.

Там, где, бывало, от народа стены ломились, не слыхать ни смеха, ни топота, а у запертых ворот по двору не видно ни конской ископоти, ни лошадиного сбега.

Крещеного к Чабакам нипочем не заманишь, разве крайность, а то лучше на пороге подохнуть, чем войти в проклятый дом.

В комнатах травы висят.

И пахнет до одури пряным, на ногах не выстоишь.

А по всем стенам птицы, — Занофа рисовала, и не птицы, а коты крылатые. От этих птиц-котов и стены и дом точно летели.

Неспокойно в комнатах, жутко.

Управится Степанида по хозяйству, подсядет к Занофе. Смотрит на дочь: жалко, — и не знает, что делать.

А Занофа лежит, глаза раскрытые, и горит в них огонек, — его ничем не зальешь.

Говорила Занофа матери:

— Счастливая ты, счастливо прожила жизнь, плясала и пела, ты так плясала, на тебя приходили смотреть. А у меня нет ничего.

Подымалась старуха, мотала седою головой, надувались жилы на бронзовой шее:

— Нет, Занофа, ты сильная, ты красавица, краше нет тебя.

Занофа не слышала, Занофа не слушала, она свое говорила матери:

— Ты счастливая. И есть же такие счастливые! Кто это делает? А я — чем я виновата?

— Ты не виновата, ты ни в чем, Занофа, не виновата... это люди такие...

— Люди? Какие? Счастливые? У меня ни одного дня нет, ни одной минуты, ну, хоть бы одна минута счастливая!

Старуха выпрямилась:

— Уйдем, Занофа, бросим дом, бросим всё, уйдем в степи, там в степи на воле...

— Зачем ты лжешь? Какая воля? Где воля? Что она тебе, воля? И куда я пойду? Ведь я урод, слышишь, я урод, я не могу ходить! А это за что? Кто это делает? Какая правда? И где правда?

Занофа приподнималась на руках и куда-то смотрела, ненавидя мать, проклиная людей, весь мир, проклиная с его волей и правдой.

И ей казались все такими счастливыми, а она одна — проклятая, поползень, а за что, она не знает вины.

И сердце, ровно вепрь, оскаливший зубы, — страшная месть выходила из сердца.

Старуха опускалась на лавку, глаза от горя сами закрывались. Старуха засыпала бессильная, ничего не могла она сделать.

А Занофа долго на вытянутых руках, взъерошенная, как кошка, прицеливалась глазами и кружила.

Что-то невозможное, нечеловеческое совершалось в душе ее, — невозможное, нечеловеческое творилось в сердце.

Тогда-то и начались на селе пожары, и вдруг умирали люди, и погибал скот, и топтались нивы, падали все беды, всё поветрие лихого глаза.

Медленно отлегало от сердца, медленно подгибались стальные ненужные руки.

Забивалась Занофа в угол кровати и, вся подобравшись, хоронилась, как подбитый зверок.

Вспоминала Занофа детство, отца, свою счастливую руку, потом хороводы... хоровод, вихрь, сваливший ее наземь, и землю, на которой она лежала уж безногая, год за годом — все годы на этой кровати, и как однажды сама вздумала ковырять себе счастье на правой ладони, — под венец поехала, и как назад из церкви ползла.

Старуха вдруг просыпалась.

Занофа плакала.

Лицо в кулачок, как у той прежней счастливой девочки, которая, размахивая счастливою рукой, прыгала на одной ножке от дверей до калитки и пела тоненьким голоском и рассказывала сказки и, вытянув губки, представляла гром и сама же пугалась, и бранила, гнала со двора дождик, и так вот плакала, когда не переставал, шел дождик, и гулять не пускали.

— Тебе есть хочется? — наклонялась старуха к дочери.

— Смерти хочу! — шептала Занофа.

Старуха жевала поблекшими губами, теребила сухими пальцами кончики землистого платка, черная, сама земля.

И птицы-коты на стене летели, пыжили свои кошачьи морды, и вся стена рвалась.

— Смерти хочу!

*

Чуть начинало смеркаться, и теплый вечер укладывал на покой дневной ветер, и нарядная выплывала ночь в звездах, и пробужденные звездами, гукая вдоль по реке, раздавали совы тоску, выползала Занофа в сад.

Там, лицом к лицу с ночью, она копалась в земле с цветами до самой зари.

Но бывали ночи, как дни, и Занофа не могла спуститься с кровати.

С каждым летом сад зарастал.

Засорялся цветник, и пустели гряды.

Глухой бурьян забирался во все уголки.

Поникали ветви, и тени становились всё гуще, покрывая всякий просвет.

В ночи приходили к Занофе сны, и она с криком вырывалась от них и, таясь, целый день жила под их рукою.

И тогда мать и дочь не говорили друг с другом, а только смотрели друг на друга, но бывало и так, что и смотреть страшно было.

Степанида гадала.

И карты не сулили добра: у д а р, н е п р и я т н о с т ь, п о с т е л ь ложились на сердце, а кончалось у г о щ е н и е м — пиковою дамой.

Только редкое утро озаряло дом, будто счастьем.

Просыпаясь, Занофа окликала мать:

— Маменька, что мне снилось сегодня!

Старуха бросалась к дочери:

— Что такое, что тебе снилось?

— Мне, маменька, сапоги снились, а потом, будто ты мне подаешь рубашку, а рубашка в крови.

— Сапоги, это дорога, — толковала Степанида, — а кровь, кровное свидание будет с родными, а мне лук снился, ем будто лук-сеянку. Старик не вернется ли?

И, забывшись, Степанида мурлыкала песню.

— Маменька, эта дорога, я знаю, маменька: моя смерть.

Старуха молчала.

— А на кладбище тихо, там никто не тронет.

Старуха молчала.

Всё у ней валилось из рук — тряслись руки, и не знала старая от своего горя:

не то садись и плачь, не то сидя плачь!

Тянулись дни за днями.

Так много смутных дней прошло в Чабаковском заброшенном доме. И ударился бы головой об стену, лишь бы вырвать из глотки хоть какой-нибудь звук.

Так страшно было молчание в Чабаковском доме.

Стояло ли вёдро или ненастье, шел ли дождь или светило солнце, всё равно, глаза одного хотели:

закрыться!

Старуха не могла уж больше вынести, пугалась молчания, подымалась тихонько, подходила к дочери, черная, запачканная, сама земля:

— Деточка, деточка моя!

— Ну, что? — вскидывала Занофа страшные глаза на согнувшуюся мать.

— Я так, деточка. Я ничего. Я только сердцем прошу...

3

Хорошая была ночь: на дальнем болоте трубили жабы, и маленькие птички — пастушки чуть слышно свистели, сливая свой свист с трескотом, и земля колыхалась.

За рекою тоскливо гукали совы, и трещали лягушки, словно бы бричка по дороге катила.

От высоких осокорей через весь Чабаковский двор тянулась глубокая тень в лунном круге.

В белой рубахе, как белый цветок, лежала на траве Занофа. Печально рассыпались по плечам темные расплетенные косы. Оскалив белые зубы, глядела Занофа куда-то — за звезды.

А звезды были такие — далекие.

Одна дума таяла, будто месяц таял на сердце, — дума о смерти.

И показалось Занофе, мелькнуло что-то под хлевом, будто вышел кто-то из хлева со свечкою, вот обогнул осокорь, и упал в траву, и уж полз через полосу тени к саду.

Огонек, колеблясь, мелькал, как свеча, — две свечи.

И чем ближе подползал огонек, тем яснее становилось Занофе, что это человек ползет, и уж лицо прояснялось, она узнала, — это он, жених ее, его глаза.

Его глаза светились.

Занофа приподнялась на руки и, как кошка, выгнув шею, поползла навстречу.

И они ползли друг к другу.

И путь между ними всё укорачивался.

Уж развевались его волосы и губы улыбались ей...

Так путь между ними кончился.

Руки его протянулись к Занофе и, охватив ее грудь, прижали крепко, горячие, на всю жизнь, навечно.

И в миг синий, как там в хлеву с вожжею на шее, скаля зубы, он приподнял ее с земли.

И они полетели — жених и невеста.

*

Утром нашли Занофу в конце сада у сажалки:

> сидела она вся белая на перелазе придушена — чёрт задушил!

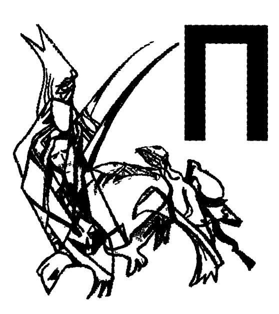
Целый день пьяно Батыево. Стоном стон стоял, песня, и гам, и топот.

Откалывали казачка, ног не жаль.

Эк ведь как прорвало, — Фома Ереме последний глаз вышиб, а у Митрошки что-то вроде хвоста оторвали прочь с мясом. Да и как для такого случая — без страха, без ведьмы! — не ударить по всем.

ПОКРОВЕННАЯ

1



Первый удар колокола слушай от Ивана Великого. Трижды гулко ударят в Успенском, за Успенским подымут звон у Симонова, а уж за Симоновым и все сорок сороков, — со всех семи холмов вся Москва гудит.

Сколько веков так под красную Пасху на златоглавой Москве звонят! Звонили так и при царях московских, при государях всея Руси.

Палагея Сергеевна слушает звон, но никаких царей-государей не вспоминает, ничего не вспоминает она, — вся ее память закрыта, все воспоминания погашены.

Слушает и старая кухарка Настасья, истово кладет кресты, шепчет старуха под полунощный, душу потрясающий, воскресный звон, истово кладет кресты, и тоже ни о чем не помнит, вся в тихом, в молитвенном озарении.

«Христос воскрес».

— Христос воскрес, Палагея Сергеевна! — говорит она, тихая, вся в тихом, в молитвенном озарении.

А за окном Москва гудит, не разобрать колоколов: который колокол у Семена Столпника, который у Сергия в Рогожской, который у Мартына Исповедника, который у Воскресения в Гончарах, — смешались таганские с рогожскими и гончарные с николоямскими, гудят.

Палагея Сергеевна слушает звон, смотрит упорно, не на пречистый образ так она смотрит, не на Покров темный с ясной лампадкой, а куда-то через паутинные зимние рамы в тьму полунощную пасхальной ночи...

И вдруг слезы градом бегут из упорных, пересиливающих и эти слезы, всё еще живых глаз, а губы кривятся, беспомощные.

С тех пор как Палагея Сергеевна вышла замуж, вот уж четвертый десяток, не ходит Палагея Сергеевна под Пасху в церковь, а сидит дома.

Первые годы в замужестве каждый год рождались у нее дети, и стоять ей в церкви трудно было, — дома сидела. А когда разошлась она с мужем и переехала от мужа с детьми на Хиву в переулок, она опять сидела дома, не ходила в церковь: дети маленькие были, и ей было страшно оставлять детей одних в доме.

А стали дети побольше, — пять сыновей у Палагеи Сергеевны, все погодки, — уж дети-гимназисты уходили в церковь, а она дома сидела, дом стерегла с Настасьей.

И выросли дети, ученье кончили, в люди вышли, всякий своим домом зажил, своей семьей, и осталась одна без детей Палагея Сергеевна, но и одна, по привычке, что ли, не выходила она на Пасху в церковь, сидела дома.

Палагее Сергеевне за шестьдесят, и уж сорок лет, как в пасхальную ночь она только слушает звон, этот полунощный, душу потрясающий, воскресный звон.

И не тихое озарение от ясной лампадки покрывает лицо ей, та вон ночь со своей полунощною тьмою, да вдруг неудержимо слезы...

И на миг слезы оживляют ее угасшую память.

В слезах, сквозь частые слезы неудержимые, она видит себя, и не седой, с облезлой маковкой, покрытой кружевной черной наколкой, не беззубой сутуловатой старухой, чудной и странной, беспамятной, сумасшедшей, доживающей свои дни на Хиве в переулке с кухаркой Настасьей, а барышней задорной, Полинькой Расторгуевой.

*

«Полинька, Христос воскрес! Полинька, поверни-ка губоньки, носик свой курносенький, глазки свои жучочки, деточка, Христос воскрес!»

Это Анна Ивановна всё целует свою любимицу, свою последнюю дочку Полиньку: в первый раз в церковь под Пасху повела она Полиньку, нарядила, словно куколку, кутает в бархатный алый салопчик, уж к кресту приложились, вышел батюшка паски святить, домой пора.

А у Полиньки один глазок уж давным-давно, за евангелием еще, как евангелие стали читать, тут и заснул, а другой, плут, не спит, всё таращится:

любопытная она такая девочка.

Полинька девочка длинноногая с тонкой шейкой.

Полинька стоит у клироса в теплом приделе, где идет служба. Она ученица лютеранской школы Петра и Павла. Она в четвертом классе, ей четырнадцать лет.

Как Полинька рада пасхальной заутрене, когда всё поется, не читается, и царские двери настежь раскрыты, виден жертвенник и престол, как она рада пасхальному пению — все запели, вся церковь поет, и теплым огонькам — красным свечкам, и красным бархатным ризам — золотом расшитому облачению в маленьких жемчужинкам, и душистому зеленому можжевельнику, колкому под ее атласными белыми туфельками.

Сердце стучит, уши горят...

Она влюблена, она в первый раз влюблена. И таит в себе эту первую свою любовь. Он ничего не знает, и никогда не узнать ему: сама ведь она никому и никогда не скажет, виду ему не подаст.

Через всё пение, через все возгласы ей слышится голос, его голос.

И так горячо она думает, и только о нем: он — всё в ее сердце, им полно всё ее сердце.

Сердце стучит, уши горят...

Скоро узнает она — он сосед их — скоро узнается, что после праздника свадьба его назначена, женится он, и как она тогда горько заплачет, захлебнется она в своих первых слезах. Но она еще ничего не знает, она еще ни о чем не догадывается. Завтра она его увидит, завтра он к ним в дом придет ее отца поздравлять, — отец ее известный в Москве купец, к отцу все ходят с праздником поздравлять, — он непременно придет.

И Полинька рада, она всем, она всему рада: она ждет его.

«Христос воскрес, Полинька!» — нянька говорит, Авдотья.

«Воистину, нянечка, Христос воскрес!»

И улыбается Полинька, целует долготерпеливую няньку Авдотью, подслеповатую бисерницу, сеченную в крепостях, которая любит Полиньку, как покойница Анна Ивановна любила свою длинноногую болотную птичку.

*

Полинька барышня-невеста.

Полинька кончила немецкую школу, ей восемнадцать лет. И не думает она уж ни по-немецки, ни по-французски, как думала раньше, когда училась в школе, она думает по-русски и книжными словами и словами покойницы няньки, долготерпеливой Авдотьи-бисерницы. Давно забыта ее первая любовь, кудрявый сосед Прохоров, много раз с тех пор влюблялась она, и сколько раз влюбленная думала она, что от тоски с ума сойдет. Всё забыто, всё улеглось и не вспоминается.

Полинька — невеста, и он тут, жених ее, недалеко от нее у клироса стоит.

Она его любит и знает, что и он ее любит. Каждую субботу он ходит ко всенощной в церковь, куда она ходит, на балах он танцует с нею: зимой танцевали они в Купеческом клубе и в Благородном собрании, летом в Петровском-Разумовском, в Петровском парке, в Богородском, в Сокольниках, в Останкине, в Леонове, в Свирлове — и в Опере кресло у него рядом с ее креслом. И всё-то он замечает, и если Полинька расстроена, никто не заметит, а он непременно увидит, по глазам ее, по блеску глаз разгадает, и скажет. Перчатки у ней стащил... ну, потом вернул. Он еще не сделал ей предложения, после Пасхи сделает, на Красную горку. А потом и свадьба. Уж жильцы от Горбовых из дома их съехали: это для молодых, там они поселятся. Отделают комнаты, и тогда свадьба.

И Полинька смотрит уверенно.

Она и не догадывается, и нет у ней в мыслях, что не бывать ее свадьбе, что после Пасхи, на Красную горку, всё сорвется, рухнет всё дело: они объяснятся, она первая ему скажет, но старик Горбов запретит сыну жениться, и послушный сын покорится. Как ужаленная, завертится она, задохнется она, от обиды изноет, заболит, и будет долго одна с обидой своей, всё одна,

на люди не выйдет. А пока она ничего не знает, она — невеста, она так уверенно смотрит.

«Христос воскрес, Палагея Сергеевна!» — это Горбов, жених ее, он подошел к ней, он целует ей руки.

«Воистину воскрес!»

И улыбается Полинька, и целует подругу, свою сверстницу, тоже невесту, Клавденьку, крепко целует трижды.

Полинька вся в белом, с алым шарфом.

Полинька одна стоит в теплом приделе, где служат. Ей уж двадцать два года. Нет ее подруги Клавденьки. Клавденька давно замуж вышла. Похудала Полинька, и скорее похожа на ту длинноногую девочку, на болотную птичку, влюбленную в кудрявого соседа, не на невесту Горбова, и это ее хорошит.

А как много всего за это время прошло!

Умер отец старик, сам Расторгуев, кучер вывалил Полиньку из саней, и она сильно ушиблась, — один Бог спас, на балах Полинька теперь уж первая, все за ней ухаживают, но ее не так забавляют балы и ухаживания, не так занимают и толки о женихах. После той горбовской горячки Полинька стала как-то равнодушнее, ну, конечно, не раз влюблялась она, и не в одного, а в нескольких сразу, но как-то всё выносила легко, не было той первой боли и тоски до отчаяния.

Полинька встретилась с новым человеком, такого она раньше никогда не видала. Познакомилась она с ним в Богородском на даче.

Он совсем не похож на тех людей, какие бывали в их доме у ее отца, он ни на кого не похож: ни на Прохорова, ни на Горбова. Он и одет по-своему: в бархатном пиджаке, в белой фуражке и высоких сапогах, и еще носил он ситцевую лиловую рубашку, и было у него драповое истасканное пальто, — всегда очень растрепан, а как нравился!

Из всех богородских барышень он отличил Полиньку и танцевал с ней, как когда-то танцевал жених ее Горбов. Он приучил ее смотреть на всё обыкновенными глазами, — так сам он говорил ей, вместе читали книжки.

Да, она заметно переменилась. Раньше она только и гадала, что о свадьбе, чтобы замуж выйти, к замужеству сводились все ее мысли, к женихам, а после встречи с ним она захотела быть

самостоятельною, трудиться, приносить пользу обществу, идти наперекор, чтобы вышло из нее что-нибудь настоящее, — так сам он говорил ей. Она по его совету перестала носить шиньон, и стала учить грамоте фабричных ребятишек. Открылась ей целая новая жизнь, и время у ней занято.

Но Лебедев женатый, у него есть дети. Жена стала присматривать за Полинькой и мужем, и вышло так, что должен он был уехать куда-то в Казань с женой и детьми. Он был такой печальный, когда прощался с Полинькой, писать обещал, помнить всю жизнь. И ничего не написал. Так и сгинул где-то в Казани, ни строчки не написал.

Досадно было Полиньке.

Впрочем, теперь-то ей совсем безразлично, помнит ли ее Лебедев или забыл, напишет он ей когда, или так и пропадут о нем всякие вести, ей всё равно. А насчет Горбова, жениха своего, ей просто смешно, да и представить ей себе трудно, понять она не может, как это тогда могла убиваться так. Да и не думает она ни о ком из прежних своих: ни о Горбове, ни о Лебедеве, ни об одном человеке, о ком хоть одну минуту жарко подумала, ну, после бала.

Зимою вернулся в Москву ее двоюродный брат, с которым была она в дружбе, и не один он вернулся, а с женою-цыганкой: на цыганке женился. Родственники встретили неласково цыганку, и только одна Полинька, наперекор всем, привязалась к своей новой родственнице и постоянно бывала в их доме. И там, у них в доме, познакомилась она с одним художником.

Зима прошла весело. На Новый год Полинька была на маскараде и опять, на Крещенье, на маскараде. И всякий раз с Кистеневым, — и на маскараде, и на балу, и на всех вечерах она с ним, только с ним. На тройках в Стрельну каталась, и в санях она с ним сидела.

Сердце стучит, уши горят, красная свечка плывет.

Не любила так никого Полинька, как его любит. Он вернется в Москву скоро уж, вот, после Пасхи, в мае. Она знает, он тоже любит ее, она выйдет замуж.

Через всё пение, через все возгласы ей слышится голос, его голос.

И так горячо она думает, и только о нем: он — всё в ее сердце, им полно всё ее сердце.

Сердце стучит, уши горят, красная свечка плывет —

Да, она выйдет замуж, не за него только, за другого, так она выйдет, без любви, очертя голову.

Но она об этом и подумать теперь не может, мысли у ней не может быть, что именно вот так оно и будет, а не иначе. Да она бы в минуту поседела, шепни ей о судьбе ее. Он вернется из Петербурга, после Пасхи, в мае, свидания их будут всё чаще, и без слов всё между ними станет ясно, по горлышко дойдет им любовь их, вплотную близость их. Она его будет звать Сашей, он ее — Полинькой. Так и простятся. Осенью он уедет в Петербург, он еще учится, и еще не один год учиться ему. Потянется осень. Будут родственники и старшие докучать сватовством: ведь все ее подруги замуж вышли, и ей пора, ей уж двадцать два года. Ей двадцать два года, а ему надо учиться, и не один еще год учиться. А с годами мало ли что, мало ли перемена какая будет? А тут есть человек не молодой уж, но богатый, вдовец и с детьми. И она поддастся. Не на богатство позарится она, что ей? — приданое отец завещал большое, нет, все ее мысли петлей закрутятся, станет ей как-то всё равно, и она выйдет замуж по сватовству, без любви, так она выйдет, очертя голову.

А как придет в себя, да как увидит, что сделала, и упадут руки. И вернуть не вернешь. И лучше бы не встать ей тогда, не подняться с земли, когда кучер из саней ее вывалил. Но она еще ничего не знает. Как она далека от своей судьбы!

Сердце стучит, уши горят, красная свечка плывет —

Это ее последняя Пасха, в последний раз стоит она в церкви, слушает пасхальное пение, а слышит его. Она одна стоит в последнюю свою Пасху вся в белом с его алым шарфом.

Полинька подходит к кресту.

«Христос Воскрес!» — дает ей батюшка крест.

«Воистину!»

Шепчет Полинька, зарделась вся, как ее алый шарф, целует тяжелый кованый крест, и крест обжигает ее горячие губы ледяным холодом.

*

Так ясно, так живо видит себя Палагея Сергеевна в церкви в свою последнюю Пасху: она вся в белом с алым шарфом, — и слезы душат ее.

— Христос воскрес, Палагея Сергеевна! — шепчет Настасья, и у старухи на запалых глазах навертываются тощие, мутные слезинки.

А за окном звонит Москва.

Всех звонче подал весть есак, и поднялся трезвон во все тяжкие и велие, все колокола звонят, и новые и старые: немчин, годунов, широкий, глухой, карнаухий, переспор, сокол, медведь — московский звон.

И глухо сквозь частый трезвон доносит на Хиву в переулок кремлевские пушки — сто и один выстрел: крестный ход обошел вокруг церкви, — настежь церковные двери, крестный ход входит в церковь, — и сущим во гробех живот даровав! — и началась заутреня.

Палагея Сергеевна быстро, быстро идет из кухни в свою комнату, словно бы окликнули ее, словно бы случилось что в ее комнате: лампа ли со стола упала, или стряслась какая беда.

И нет ничего, ничего не случилось, так всегда она ходит, не ходит, а бегает.

Палагея Сергеевна отпирает комоды, — там всё вверх дном у нее, и среди всяких тряпок, писем, просроченных ломбардных квитанций, фотографических карточек, пузырьков, пустых футляров и всяких коробок ищет она что-то: не купленный ли подарок Настасье — прежнее-то время праздничный подарок всегда в комоде хранила, или еще что задумала...

Какие у ней пошли мысли?

Куда толкнули ее воспоминания?

2

Одна Настасья в кухне перед пречистым образом, перед Покровом темным с ясной лампадкой.

Не слышит Настасья московского звона, не слышит, как из пушек палят, не считает пушки, — тощие мутные слезинки поблескивают на ее запалых глазах.

— Матушка, Покрова́, Заступница усердная! — перебирает губами старуха: ей тоже в тайности сердца свое припомнилось, мытарство свое.

Настасья одних лет с Палагеей Сергеевной, а в церковь под Пасху она не ходит уж больше полвека.

Не годы ей вспоминаются, всего несколько дней.

Шестнадцати годов просватали Настасью из дальней деревни. Попался ей муж богатый и по сердцу пришелся: не силою, не неволею, охотой пошла за него. Весело справили свадьбу, и увез ее муж в свою деревню. И стала Настасья жить-поживать, не печалится в новом доме. День прожила хорошо, и другой прожила хорошо, и третий день кончился по-хорошему, грех и пожаловаться. Тихо, советно, ладно ей с мужем жить. А на четвертый день нежданно-негаданно объявилась в дом прежняя жена его, невенчанная, с которой до тех пор жил он, и детей с собой привела, — баба еще молодая, здоровая, да его-то не тронула, а на ней, на своей разлучнице, изнесла всё свое сердце, выместила обиду, избила Настасью, и всё, какие платья были, какие рубашки, приданое — всё порвала, на куски порезала. В чем была, в том и выскочила Настасья, вся избитая. Куда идти? Да куда ей идти — к отцу. И пошла к отцу, без дороги шла она, как зверь, и лесом и полем, и лесом и оврагами, как зверь. Пришла к отцу. Ей бы с первого слова и открыться во всем старику, заступился бы старик за дочь, нашел бы управу — если Бога человек не боится, людей забоится! — нашел бы управу, а она... да она еще тогда, без дороги зверем через леса-то рысчущи, уж тогда всю судьбу свою передумала, и ни словечком не пожаловалась, никого не обмолвила, всё на себя сказала, себя одну обвинила, грех его взяла на себя. Отхлестал ее старик вожжей, да вон из дому.

«Вон пошла, потаскуха!» — зарычал старик.

Она и пошла, волочашкой по людям пошла из деревни в деревню, из села в село. И попала в Москву к Расторгуевым, нанялась в судомойки. А когда Палагея Сергеевна от мужа уехала, попросилась она к ней на Хиву, да с тех пор и живет в кухарках.

Родителя своего, старика вспомнила Настасья, так и помер старик...

— Царствие ему небесное!

Мужа она вспомнила, три денька свои, и муж помер...

— Царствие ему небесное!

Дорогу свою она вспомнила, когда зверем без дороги через лес рыскала.

— Матушка, Покрова́, Заступница усердная! — перебирает губами старуха, и уж легко ей на сердце, тихая, вся она в тихом, в молитвенном озарении:

«Христос воскрес».

3

Долго рылась Палагея Сергеевна в комодах, по всем уголкам шарила, все вещи перерыла и нашла, наконец, что ей надобно: из-под самого дна вытащила она зеленую в переплете тетрадь — свой дневник.

Руки у нее трясутся, кружевная наколка сбилась на облезлой маковке. Быстро перелистывает она зеленую тетрадь. Слова горят.

Это ее девичий дневник.

Да, всё так, всё, как было.

«12 января уехал в Петербург К. Я думала, я с ума сойду».

«30 мая. Скучала я страшно всю весну. 11 мая поехала в Богородское, там ждала К. Он приехал 26-го. Мы ездили с ним в Медведково. Постоянно он гулял со мной, целый день проводили мы вместе, играли в карты, в бильбоке, серсо. Он звал меня Полинькой, я его — Сашей. Весело было».

«31 мая и 1 июня были мы в Кунцове. Весело было».

«2 июня в среду мы с ним вечером... Как приятно вспомнить этот вечер!»

«3 июня ездили к Троице. Назад мы с ним ехали д в о е».

«30 августа К. пробыл у нас два часа. Мы с ним сидели в моей комнате, и простились. Боже мой, я это вспомню когда-нибудь! Что же это было? Милый, дорогой мой! Когда он уехал, я была сама не своя. Неужели мы не свидимся? Я люблю его до безумия».

«23 октября. Мне сватают жениха Т. Он был у нас. Боже, как ночью плакала. Он мне совсем не нравится. Что же это будет? И неужели моя дорожка кончилась? Что же это такое? Я ума не приложу. Молиться не могу. Что мне делать? Никто не знает, что так безумно люблю е г о. Мне двадцать два года, а ему еще долго учиться, не пара мы. Несчастный тот день, когда мы с ним

встретились. Какая я буду жена, какая мать, когда люблю до смерти другого! И если я должна буду венчаться, честно ли я поступлю? А ведь всё равно, я знаю, мне за него не выйти».

«26 ноября Ф. П. Т. сделал мне предложение. Я согласилась. Что-то от сердца точно оторвалось, похолодело. Мы познакомились 13 октября, а теперь 1 декабря. Я больна, нервы расстроены сильно. Сама не знаю»...

«26 декабря. Утро. Сегодня назначено мое благословение. Теперь всё кончено. Больше ждать нечего. Кончилось всё. Я отношусь спокойно и равнодушно, а, верно, заплачу после».

*

Да, верно, всё так, всё, как было.

И уж в глазах ее нет больше слез: строчки, буквы, цифры ей выжгли все ее слезы.

Палагея Сергеевна словно замерла вся, ее зеленая тетрадь выпала из рук.

Она одна в комнате.

И сколько лет, с тех пор, как от мужа с детьми уехала, она живет в этой комнате. Костяник и тряпичник давно зарятся на ее комоды. И пусть бы забрали всю ее рухлядь, да и ее заодно.

Она одна в этой опостылевшей комнате, она во всем мире одна.

Не слышно ей звона, а уж к обедне звонят, она ничего не слышит.

И одна ночь из окон глядит на нее.

Как же это так?

Что же это она сделала?

Зачем она так сделала?

Когда она в свою последнюю пасхальную ночь стояла в церкви, и вся душа ее была обращена к нему, и всей душой, всем существом своим она ждала его, для нее всё играло, всё горело пасхальным огнем алым, как тот шарф ее алый, потому что она любила. А когда, любя его до смерти, связала жизнь свою с нелюбимым, пала ей на голову ночь, потому что сама свою любовь предала.

И эта ночь, эта беспросветность — кара ей...

Дети ее, не от любви рожденные, с ужасом, с отвращением, с проклятиями на свет выведенные, как новая еще обуза для ее и без того опутанной жизни, как петля, туже, всё крепче затяги-

вающая ей горло, а и без того дышать нечем, дети ее — ей совсем чужие. И та же беспросветность, нет, еще бо́льшая ночь.

И эта ночь, эта беспросветность — кара ей.

Жалко ей было детей, а ведь и котят слепых жалко, всякую беспомощную и беззащитную тварь жалко, но любить она не могла их. И когда захотела детей полюбить, вот когда от мужа решила уехать с детьми, в детях думала найти себе свет и покой, не нашла она света — как так полюбишь? — а без любви одна ей ночь.

И эта ночь, эта беспросветность — кара ей.

Как же это так?

Что же это она сделала?

Зачем она так сделала?

Зачем наперекор своему сердцу поступила тогда, в комок сдавила свое живое сердце, свою любовь предала?

Или от отчаяния?

Веры не стало, потеряла веру?

Поверила Горбову, который сыновней покорностью своей крепко обидел ее, поверила Лебедеву, учителю своему, который клялся ей помнить вечно и, малодушный, даже не написал ни строчки?

И опустело сердце.

Да пусть бы и этот художник также обманул ее, любовь-то зачем предала?

Уж если в самой тайне своей она никому не верила, во всех отчаялась, и только себе верила, так бросила б дом, Москву, в Петербург переехала бы. Отец дал ей образование, в немецкую школу определил: умный был старик, ценил знание. В Петербурге она не пропала бы. Начала бы там новую жизнь самостоятельную и вышло бы из нее что-нибудь настоящее. А не захотели бы опекуны приданое ей выдать, что наперекор идет, а им всем хотелось, чтобы замуж она вышла, Бог с ними, Бог с ним, с приданым и со всеми деньгами отцовскими. А то и деньги на руках и всё — дом, свои лошади, всё, что хочешь, ни в чем нет недостатка, а какая жизнь! Одна ночь.

И эта ночь — кара ей.

Или в самой тайне своей, отчаявшись и в себе, надеялась она, что свыкнется и забудет, притерпится, и тогда сама собой пойдет какая-то новая жизнь?

Кто-нибудь и свыкнется, кто-нибудь и притерпится, да она-то не свыклась, не притерпелась, ничего не забыла, не могла забыть.

И в этой жгучей ее памятливости — кара ей.

Или еще на что надеялась?

Нет, какая еще может быть надежда?

Да если и была хоть какая-нибудь надежда, в первую же ночь, как осталась она одна с мужем с глазу на глаз, тут и конец.

Любовь свою предала!

И ночь из всех окон глянула на нее.

И эта ночь — кара ей.

Вот она распяла себя, и распятая тянула свои бесцельные отчаянные дни, и еще живет: и пьет и ест, читает по утрам Московский Листок, плачет, без мысли, без памяти, с погасшей и вдруг вспыхивающей памятью и ужасом бесцельной своей распятости, судьбы своей, о которой шепни ей тогда в ее последнюю пасхальную ночь, когда вся в белом с алым шарфом целовала она горячими губами тяжелый кованый крест, показавшийся ей тогда холодным, как лед, и она в минуту поседела бы.

Настасья-старуха тоже распятая.

Настасья сама тоже распяла себя: невиновная, она чужую вину взяла на себя, грех нá душу приняла мужнин из любви к мужу своему, суженому, который обманул ее, из жалости к детям его, из жалости к той покинутой жене его. И для нее всё светится, она вся светом покровенная, сама, как живой свет.

А тут одна ночь.

Кто это, что это, что обрекало ее — ведь была она курносенькой Полинькой, и была она длинноногой болотной птичкой Полинькой, и барышней-невестой Полинькой, и ведь это она стояла вся в белом с алым шарфом, вся, как одна любовь, — кто это, что это, что назначило ей такую бесцельную муку, распяло так жестоко?

А, бывало, в годы замужества, когда с мужем жила еще, бывало, ночью увидит она его во сне. Проснется утром... Боже мой, и не просыпаться бы ей вовсе.

«Саша!» — тихо покличет, вся душа заноет.

И потом день-деньской места себе не найдет, да куда-нибудь забьется в угол, уткнется в подушку.

«Саша!.. никогда... я тебя никогда не увижу! А тебя люблю, только тебя!» — вся душа зарыдает.

Зачем это?

И зачем ей такая тяжелая кара — ночь до века, мука до гроба?

Всю в белом с алым шарфом кинуло ее из церкви, с пасхальной обедни, на Хиву, в переулок, доживать свой долгий, невыносимый, беспросветный век.

И зачем она так жестоко распяла себя?

Палагея Сергеевна подняла с пола зеленую тетрадь, положила тетрадь в комод и совсем тихо, необычно тихо пошла из комнаты в кухню к Настасье.

Страшно ли ей стало, что одна она в комнате — в целом мире одна, или от какой-то внезапно блеснувшей мысли страшно ей стало, и страх этот сковал ее шаг?

Или еще что задумала?

*

Тихо, совсем тихо вошла она в кухню.

Перед пречистым образом, перед Покровом темным с ясной лампадкой, стояла Настасья, вся в тихом, в молитвенном озарении.

— Христос воскрес, Палагея Сергеевна!

Стоит Палагея Сергеевна перед Настасьей, — так еще недавно Настасья стояла перед пречистым образом Покровом заступающим, и слезы бегут из глаз, а кривящиеся мокрые губы тянутся к старухе, и голосом загубленного сердца беззвучно шепчет она из тьмы своей отчаянной ночи потрясенной души воистину, а из кривящихся беспомощных губ беспомощно просится:

— Веревку, — просит она, и слезы давят ее, — веревку!

*

А за окном по церквам идет перезвон.

«Искони бе Слово, и Слово бе от Бога, и Бог бе Слово.

Се бе искони от Бога. Вся тем быша, и без Него ничто же не бысть, еже бысть. В том живот бе, и живот бе свет человеком. И свет во тьме светит, и тьма его не объят».

Вся Москва перезванивала: вон у Семеона Столпника, вон у Сергия в Рогожской, вон у Мартына Исповедника, вон у Воскресения в Гончарах.

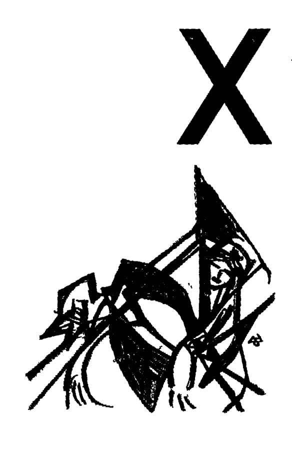
Скоро станет светать.

Приложатся к кресту, освятит батюшка паски, и понесут из церквей куличи, паски да красные яйца по домам, всяк в свой дом, разговляться.

А там заиграет и солнце, воскресное красное солнце над златоглавой Москвой.

ЦАРЕВНА МЫМРА

1



Хорошо было Ате в Ключах, так хорошо, что едва промелькнут они хоть бы самым своим последним кончиком в его крепкой памяти, как уже всё другое — теперешнее: Старый Невский, где он живет с отцом и матерью, и гимназия с уроками, переменами и отметками, и учителя все, начиная с немца Ивана Мартыновича и кончая чистописанием — Иваном Евсеевичем, и все первоклассники, даже приятели — Ромашка и Харпик — так всё попрячется и вдруг сгинет совсем, словно никогда и ничего не было, а были всегда и будут одни веселые Ключи.

«Дело не волк, в лес не убежит!» — скажет себе Атя и, отложив куда подальше противный учебник, сидит и сидит себе — думает думу.

А то проснется Атя ночью, и какой-нибудь намек один — донесется ли храп из кухни, или сам так заворочается, будто не кровать под ним и лежит он не в комнате, а на траве — на зеленом лугу, и в ту же минуту ему ясно представится, что он не в Петербурге, а далеко, в родных Ключах, где родился и жил до гимназии у дедушки о. Анисима.

И он лежит так всю ночь и хоть старается думать о ветре, как ветер и колосья шумят, чтобы только заснуть, а сон не идет.

Будь сейчас крылья у Ати или ковер-самолет — пропадай всё! — улетел бы в Ключи.

Ключи на горе. Под горою белая церковь. Против церкви дом дедушки, сад и пчельник. Перемахни через плетень — река. Река Коса. А за рекою поле, и за церковью поле. И опять гора и на много немерных верст лес. Лес — медобор частый, крепкий, нерубанный: зверю — туда-сюда, человеку — знай, посматривай. Муравьиные кочки — стога. Как пойдут осенью по грузди да рыжики, кочки жгут: волк муравьиного духу не любит, помогает от волка.

На белой колокольне — стрижи: их видимо-невидимо. Закатится солнце, начнут они перелетать и, летая, всё говорят посвоему, по-стрижиному.

Стрижи старые: каждую весну прилетают в Ключи на колокольню. Что их сюда манит: звон ли вызвонившихся зазвонных колоколов? или привыкли они к седому дедушке? Они много знают, они должны помнить: как дедушка молодым был, как жена дедушки померла, как родилась Атина мать...

— Атя приехал, — говорят стрижи, перелетая, — какой за зиму Атя большущий стал!

Козы и овцы, коровы и телята, свиньи и кони, гуси, индюшки, все догадаются, как покажется на селе Атя:

скот и птица понятливы — пером да шерстью чуют.

От Медведок до Ключей, если скорой ездой, то и в день доедешь.

Сядет Атя в плетушку, а Федор-Костыль как свистнет, и понесутся крепкие карие кони, и без дороги мчатся с горы на гору, из леса в лес, из деревни в деревню — поспевай отворять ворота!

С копыт пыль стоит, завивается дымом, а по полям не унылые версты — вотя́чки в белых, затканных шелками, нарядах, сверкая серебром уборов, протянутся белые им навстречу.

И вотские песни дикие, что лесной гул, и глубокие, что вой половодья, а звонкие — не так звонка болотная тростинка, а светлые — не так светла говорливая жалейка, в лад ручьями поплывут за ними.

И ветры, меняя кручину на веселье, с гор надзынут тоску.

Эй, звени, колокольчик! — раззвонился, гулкий, утомлен, как кони, гудит.

Проехали мельницу — прогремела плотина, миновали заповедные луды — вещие рощи Кереметя.

Да жив ли гордый бог — непокорный брат Инмара, творца неба, земли и солнца?

«Жив», — шепчет вещая роща.

А вон и шаймы — старое вотское кладбище.

Издалека заслышат в Ключах гул колокольчика: выбежат Паня и Саша — побросают на кухне стряпню, выйдет крестная, охромеет от радости, и завизжит тямкая Гривна, а дедушки нет: ушел дедушка в церковь.

Атя — к курам. У кур — заяц: так называется заяц, сам по себе он просто кролик.

Вон, посмотрите: от всех убежит, никого не подпустит, а тут ничего.

— Здравствуй, заяц! Дай, зайчик, лапку!

Узнал Атю усатый: мяучит и подает ему лапку.

А вот и сам дедушка: не утерпел — бросил книги и всё, идет из церкви.

Рано утром, лишь заря упадет и тепло-красная рассыплется по горам и лесу, встанет солнце — подымется и Атя и бежит на Косу купаться, а потом — пора рабочая! — целый день за работой: навоз возит.

Придет вечер, станет закатываться солнце, золотым венцом украсит курчавую липу, наденет на иву золотое колечко, тут только Атя домой, и уж испачканный, весь в земле: на что только похож!

А дедушка скажет:

— Экий ты у меня хозяин!

— Я, дедушка, девять возов свез! — засмеется Атя.

А когда Атя смеется, показывает свои крепкие широкие белые зубы, и хочется, чтобы Атя всё время смеялся.

Старый да малый — дедушка и Атя — один без другого за стол не сядет.

За вечерним чаем Атя читает, что на день в отрывном календаре написано: какие приметы, и о погоде, а другой раз так из книги читает, больше арабские сказки — Тысяча и одна ночь.

Дедушка любит арабские сказки слушать.

— На тебе пятак за работу, да смотри, не прохарчи.

— А я, дедушка, все мои прошлогодние в Петербурге прохарчил: видел гиппопотама! — засмеется Атя.

А когда Атя смеется, глаза его, как светляки, загорятся, и станет всем весело.

И день за день, как река, течет,

Проводили девятую пятницу. Народу — вот какая коса!

В крестном ходу Атя носил крест вокруг села.

За иконами народ шел, за народом скотина — козы, овцы, бараны, коровы, кони, — и им полагается!

Заяц тоже ходил.

Ну, не так, как конь или корова, заяц всю дорогу промяукал на руках у крестной, а то живо в лес утечет!

Поджидают из Петербурга дядю Аркадия.

Только и разговору в Ключах, что о дяде Аркадии.

Крестная во сне его видела, будто выходит дядя Аркадий из чулана во всем в белом и прямо одним шагом на подволоку.

И, веруя в сон, уж наготовила крестная к чаю пряжеников.

А пряженики масляные, вкусные, так во рту сами и тают, — Атя за дядю Аркадия все поел!

Не за горами Петровки: подавай пескаря! Поскорее бы рыбачить!

Атя не трусливого десятка: на любом коне уедет, в любую погоду по реке вплавь пустится, а вот покойников Атя страсть боится.

Когда стоят они неотпетые под колокольней, он боится вечерами смотреть в окно на церковь, и спать один не ляжет: всё ему мерещится, всё ему страшно.

И идет с ним на подволоку Паня или крестная, или безрукий старый вотяк Кузьмич, и под рассказы и сказки он засыпает тихо.

Но когда приносят покойников в церковь или несут гроб на кладбище, всякий раз Атя бежит посмотреть и слушает заупокойный звон.

Сторож Костя могилы копает, Костя и звонит.

Ударит Костя десять ударов — десять звонов медленных с оттяжкой: начинает он с тонких, потом потолще — заунывно, жалобно, жутко по-печальному, а в последний как срыву трахнет во все, аж оборвется что-то, и ты с колоколами бух! — и летишь:

Святый Боже,
Святый Крепкий,
Святый Бессмертный,
помилуй нас!

Без Ати не обходится ни одной службы.

Атя стоит на клиросе и поет, только ничего не выходит: он никак не может с дьячками поладить — дьячки на подбор один к другому стар старее, и лишь одно выходит — Подай Господи!

— Молодой мой псаломщик, — похвалит дедушка, — завтра нам в Полом ехать на молебен.

И Атя с дедушкой ездят по деревням и селам, служат молебны, едят быка и кашу.

И Ате уж кажется, что он настоящий молодой псаломщик, а когда большой вырастет, будет священник, как дедушка, и тогда дядя Аркадий не острижет ему волосы: они у него длинные будут, по пояс, и не в две косички заплетет их, как дедушка, а в двадцать две.

Дядя Аркадий! Ну, наконец-то!

Дядя Аркадий приехал, понавез с собою сетей и удочек, а крючков — едва поместились в самой большой корзине.

Атя рыбачит.

Рыба Атю любит: раз такого изловил он леща, сковороды не нашлось, чтобы изжарить, хоть пускай опять в воду.

Атя смеется —

Вечером весело: вечером кружатся галки.

Как повадятся галки с поля в сад летать, облюбуют себе ночлег, ночь отночуют, а наутро смотришь — уж лучше не ходи после них в беседку! А в комнате душно. Не в комнатах же из-за галок чай пить?! А чаю попить надо толком: чай в Ключах уважают, — и так, и с подогревцем; на вольном воздухе любо.

И вот дядя Аркадий пугает галок: как затрясет он деревья и так гаркнет вовсю — что галки! — забор затрещит, стекла в церкви задребезжат и сами покойники под колокольней с удовольствием скрылись бы куда, ну, хоть в ту же старую баню.

Атя никак не научится пугать галок и гаркать вовсю, как гаркает дядя Аркадий.

— Дедушка, пчелы поют! — принесет Атя дедушке новость.

Тут уж всё бросай: ни пить, ни есть некогда. Весь дом на ногах.

Дедушка, дядя Аркадий, крестная, Паня, Саша, Кузьмич и, конечно, Атя, надев на лицо решето, целый день на корточках около улья следят, куда полетит матка.

А когда матка выйдет, все они, как один, пчелами снимутся с места да за роем бегом со всех ног, как попало, по грядам, по кустам да через плетень в поле, пока где-нибудь за полем в лесу матку не словят.

Слава Богу, еще будет улей, а меду — до весны на всю зиму.

Дошла озимь в наливах, подрос овес. На дворе — Казанская.

В Ключах на Казанскую ярмарка.

Приедет на село прозорливец, б р а т е ц Сысоюшка. Понаедут гости. Крестная испечет кулебяку: всё отдашь за кулебяку, да мало. Эй весело!

«И зачем это Казанская не целый век живет!» — думает Атя.

На селе на улице хороводы.

Станут вкруг девки и, пристукивая, идут одна за другой вереницей под однозвучный трум и грёк переманчиватой балалайки.

Так ходят долго, вдруг, взмахнув руками и взвившись, будто птицы, переменятся местом.

И снова, пристукивая, ходят перебором одна за другой вереницей без передышки долго, — серебро их уборов шумит без ветра, и перстни горят без огня.

Дядя Аркадий берет Атю смотреть хороводы.

Дядя Аркадий и Атя стоят в стороне с парнями. Стоят они молча, не переступят.

И Ате становится жутко: то ему хочется броситься в круг и, когда в кругу завертятся, вертеться и взвиться птицей, когда в кругу взовьются; то вспоминаются десять похоронных ударов и сжимается сердце, — не о н и ли в венчиках неотпетые вышли из-под колокольни и ведут этот жуткий и переманчиватый танец?

Темные мглы покрывают их, а в ночи по небу выходят бледные звезды.

— Покойники душу новорожденному дают, — говорит Кузьмич Ате уж ночью на подволоке.

«Посмотреть бы, как это делается!» — думает Атя.

Кузьмич — приятель Ати.

Кузьмич отрубил топором себе руку, а без руки какая работа? — ничего Кузьмич не может и сколько уж лет живет у дедушки вроде сторожа при церкви.

От Кузьмича Атя узнал много разных чудесных историй, а чудищ сам отыскал, столкнувшись в лесу нос к носу. Как-то, зайдя в чащу, Атя повстречал Лесуна.

Лесун любит пугать, кто в лесу ходит. Но так как был полдень, — а кому полднем ходить! — то Лесун и шатался без дела: тощий-претощий, от горшка два вершка, — одна рука, одна нога, один глаз, а рот и нос, как у Ати.

А вот было страшно: под старой елкой во мху-мокряке, скорчась, посапывал Кузь-Пине, самый страшный, с длинными зубами, а около, у ног его валялись человечьи обглоданные белые косточки.

Атя одним глазком взглянул на чудище да уж едва на дорогу выбрался: шути шутки, живо съест, не попросишь!

А то раз собирал Атя землянику, а из оврага — Искал-Пыдо.

Этот ничего: с лица вылитый Кузьмич, на плече дубина, одно — ноги коровьи мохнатые с копытом.

Атя его земляникой угостил.

Ничего себе, ест.

Вот Лешего да Водяного так и не пришлось видеть, но зато Атя знал, где на Косе гнездо Водяного, и когда осенью разрывало плотины и подымалась вода, он знал, что это значит.

«Хоть бы разок попасть к Водяному на свадьбу! — ночами мечтал Атя, — красавица Водяная царевна, а морская еще краше... как Клавдия Гурьяновна»...

2

Атя бережет свои думы. Атя никому о них не рассказывает: Ключи — его тайна.

Даже Ромашка и Харпик посвящены только отчасти, но кому бы Атя открыл свою тайну, так это единственной Клавдии Гурьяновне!

А за что, и сам он не знает, — вот она какая, Клавдия Гурьяновна.

Атя чувствует, что тянет его в ее комнату, что приятно ему, когда она пьет с ними чай, когда угощает его конфетами и апельсинами, и когда заставляет смеяться, и когда берет с собою гулять по Невскому, и когда заходит с ним в магазины и в «электрические театры» — Кинематограф.

Атя знает, вся она — особенная, такой нигде не найти: белое лицо, обсыпанное белою пудрой, спущенные на лоб завитки, красные, накрашенные краскою губы, щелочки-глаза, и всё такое маленькое, будто и нет ничего — и нет лица, и вся она такая маленькая, а платье шуршащее с вырезом, и голос у нее особенный, так никто не говорит, и всегда было слушал ее и всегда бы смотрел на нее.

Атя без всякого дела входит в комнату Клавдии Гурьяновны и стоит молча, уставясь на нее, а когда она что спрашивает, отвечает робко и так коротко, ничего из его ответов понять невозможно.

— Эх, ты глупый, глупый ты мальчик, а ну-ка засмейся! — говорила Клавдия Гурьяновна.

И сама первая смеялась, — как-то горлом смеялась.

Казалось Ате: это не смех у ней, так простые не смеются.

Раз, не вытерпев, Атя сказал:

— Хорошо у нас в Ключах, вот бы вам, Клавдия Гурьяновна!

— Так ты знаешь, где они! — подхватила, обрадовавшись, Клавдия Гурьяновна: она в тот день потеряла ключи от шкапа и, как ни шарила, нигде не находила.

«Еще рано, — подумал Атя, — не пришло время, надо наперед чем-нибудь отличиться, и тогда можно всё»...

В этот вечер мать заметила Ате:

— Не шляйся, Атя, так часто в комнату Клавдии Гурьяновны, она может обидеться и съехать.

Так как квартира была большая, а дела у доктора — отца Ати пошли хуже прошлогоднего, то одну комнату пришлось сдать.

Эту комнату занимала Клавдия Гурьяновна.

Появление Клавдии Гурьяновны внесло новую жизнь. Она была предметом постоянных разговоров. Ею занимались. Ею дорожили. Для нее мать Ати надевала корсет, а не ходила, как раньше, целыми днями в капоте. Доктор не рассказывал за обедом об операциях. Дядя Аркадий доставал ей билеты в театр и на концерты.

А всё, что говорилось о ней, Атя внимательно слушал и не пропускал мимо ушей ни одного замечания.

По утрам Атю заставляли мыться: в кухне ставилась лохань, в лохани он и плескался.

— Ты не маленький голышом ходить, пройдет Клавдия Гурьяновна, нехорошо, — заметила мать.

Это случилось чуть ли не в день водворения в дом таинственной жилицы.

Но Атя не сразу понял всю суть сделанного ему тогда замечания: оно лишь впоследствии стало ясным и подтвердило его собственные наблюдения.

«Если при кухарке Феклуше, — рассуждал Атя, — при маме, а в Ключах при крестной и при Пане и Саше, он всегда мылся и ходил без рубашки, то это понятно и можно, так как все они такие, каких много, но при Клавдии Гурьяновне это немыслимо и нельзя, потому что она — единственная».

Вскоре он узнал от Феклуши, что Клавдия Гурьяновна — с о д е р ж а н к а.

Слово, услышанное им впервые, получило тотчас свой особенный смысл: оно означало у него не более и не менее как то, что та́к, содержанками, называют самых умных и самых богатых.

«Содержанка — содержание, — докапывался Атя, — нет в изложении содержания — двойка, есть содержание — пятерка. Директор получает большое содержание: содержание — деньги».

И недаром, по его наблюдениям, все в доме обращались к Клавдии Гурьяновне с вопросами, спрашивая ее мнение о каком-нибудь нужном в данную минуту деле, и недаром цепочка у ней такая длинная — по коленям болтается, а шуба белая с черными хвостиками, как на порфире.

Доктор как-то вернулся домой поздно и, сердитый, молчал во время обеда, а когда подали ему воздушный пирог, который как на грех сел, сказал с сердцем матери:

— Пустила в дом проститутку...

Мудреное слово п р о с т и т у т к а, и уж ничего не скажешь! Атя, сколько ни бился, — даром.

«Конечно, — думал он, — слово латинское и во втором классе проходится, но ждать до будущего года невозможно, лучше

спросить теперь же дядю Аркадия: дядя Аркадий по-латински говорит!»

И в первое же воскресенье, когда пришел дядя Аркадий, Атя попросил его разъяснить себе непонятное слово.

— Проститутками называются, — принялся, не улыбнувшись, объяснять дядя Аркадий, — все окончившие институт, а институт — учебное заведение, в которое принимаются только знатного происхождения, так что тебя, например, как сына доктора, ни в коем случае не допустили бы, хоть ты тут разорвись на части.

Атя чуть было и не разорвался на части, только не от отчаяния, что не может быть проституткой, а от радости:

> он был прав — она необыкновенная, она не только содержанка, то есть умна и богата, она проститутка, то есть знатная.

«Она, — решил он тут же, — она княгиня. А раз она в нынешнем году княгиня, то на будущий год сделается великой княгиней, а там, не пройдет и года, будет царевной».

— Царевна моя! — шептал Атя, проходя мимо запретной комнаты.

У Клавдии Гурьяновны гостей не бывало, кроме одного.

Ее гость являлся то рано поутру, то поздно вечером.

По вечерам он засиживался за полночь: она играла на пианино, он пел.

Все его называли Депутат.

— Депутат пришел, — говорила мать, — не шуми так, да одерни курточку.

А доктор, заслышав пение, морщился:

— Депутат поет?

— Депутат, — отзывалась мать.

Кто этот гость, что за Депутат, разъяснилось скоро.

Мать сообщила дяде Аркадию новость: доктор решил больше не выписывать газет, так как к жилице ходит член Государственной Думы, и жилица всё знает лучше всякой газеты.

«Необыкновенный гость, — раздумывал Атя, — из Государственной Думы! Конечно, он куда выше Ивана Мартыновича и Ивана Евсеевича, пожалуй, как грек Копосов — классный наставник в третьем классе».

Как-то столкнувшись с гостем, Атя, шаркнув, поклонился ему, как инспектору, и тут же заметил, что гость лысый, как батюшка Китаец, а одет — куда дядя Аркадий — дядя Аркадий в подметки ему не годится, даром, что актер.

По вечерам Клавдия Гурьяновна обыкновенно сидела с матерью в столовой, и они разговаривали о разных разностях.

Атя, делая вид, что учит уроки, прислушивался из соседней комнаты.

Разговор вертелся около гостя — Депутата, члена Государственной Думы.

Мало-помалу из разговоров выяснилось для Ати, что у Депутата семья — две взрослые дочери на выданье, и что он так любит свою жену, дыхнуть без нее не может, и только необходимость заставила его жить отдельно в Петербурге:

> они уж друг другу не письма пишут, а каждый день обмениваются телеграммами.

— Когда мы с ним встретились, — рассказывала Клавдия Гурьяновна, — он сказал мне: «Клавдия Гурьяновна, дорогая моя, я без вас жить не могу, живите в Петербурге, пока я член».

— Царевна моя, — шептал Атя, забрасывая тетрадку с разбором, — а я с тобою вечно!

Клавдия Гурьяновна петь мастерица.

Оставаясь одна в своей комнате, она пела бродячую песню, — такие песни поют под гармонью на третьем дворе.

В песне говорилось всё о любви.

> О, когда б эта ночь
> Не была хороша,
> Не болела бы грудь,
> Не страдала б душа.

И в напеве песни Ате слышалось что-то близкое, словно про него была сложена песня и о нем она пелась.

Его царевна одна стояла перед ним везде и всегда.

Ате казалось, весь мир был для нее — для его царевны.

И все ее знали, только нельзя было говорить о ней громко, нельзя было произносить ее имени.

Все ее ожидали и таили свое ожидание в себе, как заветное.

Вот почему в Ключах, заслышав колокольчик, спешили за ворота и с замершим сердцем смотрели на дорогу: не она ли?

А дедушка, стоя в алтаре за обедней, когда подымал руки и молился про себя над чашей с дарами, он ей молился.

А крестная, если свеселка глядела и всё ей удавалось, она ее во сне видела.

А Саша и Паня, если весь день смеялись и сами не знали, отчего смеются, это, значит, им намекнул кто-нибудь, что она в Ключи едет.

А когда Кузьмич не оканчивал сказки, говоря, что конца он не скажет, и по губам Кузьмича бродила улыбка, — понятно: в конце сказки о ней говорилось, а как сказать тайное, необъявное, безвыносное слово?

А сам Атя всегда держал ее в мыслях, потому и смеялся, потому и глаза горели...

— Атька влюбился в Клавдию Гурьяновну, поздравь! — трунила мать.

Стало быть, засядет на второй год! — невозмутимо говорил дядя Аркадий.

— Терпи голова, с кости скована, — соболезновала Феклуша.

— Меня все дети любят, — смеялась горлом Клавдия Гурьяновна.

«Надо чем-нибудь отличиться, без этого нельзя, — думал Атя, — завоевать Индию или Америку, подать ей знак, тогда она узнает и объявится»...

— Царевна моя!

3

Надежда на летнюю поездку в Ключи ухнула.

Отец сказал, что если Атя останется на второй год, то и думать нечего — всё лето будет жить в Петербурге.

А уж шла весна, последней четверти подходил конец, и судьба Ати должна была скоро решиться, и ясно было, что она решится не в его пользу.

На чистописании Харпик, играя с Атей в перышки и проигрывая — перо, подпрыгивая, ложилось не брюшком, как следовало бы, а спинкой, — бросив игру, сказал:

— Хочешь в Америку бежать?

— Хочу, — ответил Атя.

— Ромашка тоже хочет.

— А как же мы побежим?

— А уж это я знаю, мы с Рождества голову ломаем, только тебе не говорили, хотели, чтобы уж сразу начисто... У тебя Америка есть?

— У папы в приемной Африка висит.

— Африка ни к чему. Надо спросить Ромашку, его отец архитектор, должна быть. Наметим необитаемый остров, там и поселимся.

— Построим дворец! — схватился Атя.

— Можно и дворец, можно и замок, что хочешь.

— И никого не будет, ни одной души?

— Одни гиппопотамы.

«Начинается, — думал Атя, — теперь только действуй, всё будет, что хочешь: Харпик и Ромашка — бестии, на край света дорогу найдут».

На другой день Ромашка притащил Южную Америку. Карта оказалась немая и неполная, одна четвертушка карты, но всё-таки Америка.

Час, который просидели они после уроков, оставленные Иваном Мартыновичем за целый ряд проделок, прошел незаметно.

Харпик и Ромашка распоряжались, посвящая Атю во все подробности своего бегства, потом, взяв по листу бумаги, занялись рисованием необитаемых островов.

И выбрав один кружочек — их остров, сложили карту и ударили по рукам:

завтра после уроков тронутся в путь.

— Вы ступайте прямо на вокзал и там ждите, а я принесу денег, — сказал Харпик.

— Достать бы паспорт, — задумался Ромашка.

— Паспорт я достану, это очень просто, — объявил Атя.

Он вспомнил, как совсем недавно дядя Аркадий ездил в Москву, взял с собою по ошибке кухаркин паспорт, и прожил по кухаркину паспорту целую неделю беспрепятственно.

Так и порешили:

Харпик деньги,
Атя паспорт,
А Ромашка карту.

Только бы дожить до завтра!

Атя не завел глаз. Шла ему ночь за белый день. Провалялся ночь, думая. Не о Ключах думал он, об Америке.

На необитаемом острове он построит дворец, какого никогда еще никто не строил, дворец будет весь из павлиньих перьев с золотыми и с серебряными лестницами, и с окнами из драгоценных камней. Он привезет туда на гиппопотамах свою царевну, и будут они жить, окруженные морем, под вечным солнцем, вечно. Она будет называться царевна Мымра, и остров, который он отдаст ей, будет носить ее имя — остров Мымры. Потом он завоюет для нее еще много островов и, в конце концов, все земли — весь мир. И тогда выйдет она из дворца и осветит весь свет...

На уроках Атя, Харпик и Ромашка вели себя сносно, ничего такого не выкозюливали, скорее были рассеянны и, когда их спрашивали, отвечали совсем невпопад. По колу стояло у каждого в балльнике. Да уж всё равно!

Как только кончился последний урок и Атя звонко прочитал Благодарим Тебя, Создателю, Харпик, не задерживаясь, кинув книги под парту, побежал опрометью домой.

Дома у Харпика никого не было: отец — в суде, мать — в Гостином, только одна кухарка Василиса.

— Дай мне, Василиса, три рубля, — попросил Харпик.

Но у Василисы таких денег не оказалось, и, повертевшись в кухне, Харпик сунулся к отцу в кабинет, и долго не пришлось рыться: под старым портфелем лежала мелочь.

Харпик пересчитал: ровно три рубля. Вот как везет!

— Прощай, Василиса, мы с тобой больше никогда не увидимся, — приостановился Харпик на пороге.

— А вы куда едете? — полюбопытствовала Василиса.

И вдруг Харпику стало так жалко Василису, уж готов был выболтать тайну, да к счастью спохватился.

— На Николаевский вокзал едем, прощай, Василиса!

Атя и Ромашка давно уже толкались на Финляндском вокзале, и много ушло поездов, прежде чем явился, наконец, Харпик.

Не считая ворон, взяли билет до Териок, засели в вагон и — прощай гимназия, прощай Россия! — пустились в Америку прямо на необитаемый остров Мымры.

Ехать было весело. Пели Вставай — подымайся, курили.

Дорога представлялась Америкой, а пассажиры — сыщиками-шерлоками.

Возле Куоккалы Атя вытащил из штанов паспорт кухарки Феклуши и с гордостью показал его товарищам.

— Теперь хоть к самому черту — ничего: паспорт настоящий, — одобрил Харпик.

— Любому сыщику нос наставим, — подтвердил Ромашка.

Так и доехали до самых Териок.

Выйдя из вагона, отправились гимназисты на дачи и бродили до позднего вечера, делая всё, что душе угодно: лазали по крышам, лестницам и деревьям.

Ромашка предлагал выкупаться в море, и одно помешало: лень было раздеваться.

Становилось холодно, захотелось есть: всё-таки, не обедавши трудно.

И, вернувшись на вокзал, они в первую голову купили себе ситного и тут же весь его кончили.

Надо уж было подумать о ночлеге. Ночевать на шпалах холодно, да и снег пошел, а на вокзале — вокзал запрут.

Думали, думали, как им быть, и решили попроситься у сторожа переночевать в будке.

Сторож оказался сговорчивым, не артачась, согласился. Но прежде чем впустить их в будку, заставил прибрать вокзал и размести рельсы.

Прибрали вокзал, размели рельсы. И уж так заснули, сроду не спалось так сладко.

Во сне снились одни сласти: целыми коробками шоколад и мармелад, и простые конфеты — ешь, сколько влезет.

Если бы не сторож, ей Богу, целый день спали бы.

— Эй, мученики-грешники! — подтрунивал сторож по-своему.

Опять вышли они на вокзал, купили на последние ситного, подзакусили и двинулись было по-вчерашнему на дачи, и вдруг в дверях — жандарм.

— Вы куда? — спросил жандарм сердито.

— Мы с дачи Назарова, — ответил за всех Ромашка; Ромашка прошлое лето жил в Териоках.

— С дачи Назарова? — переспросил жандарм и, поговорив о чем-то тихо с подошедшим к нему господином, должно быть,

сыщиком, сказал совсем уж сердито по-жандармски, — вы арестованы!

В это время подходил поезд из Выборга.

И путешественники в сопровождении жандарма и сыщика понуро пошли к вагонам — обратно ехать им в Петербург.

«Что он скажет своей царевне, как теперь подойдет к ней, где его Индия, где его Америка, где необитаемый остров, где остров Мымры, примет ли она его, или всё пропало?» — мучился Атя, глядя в окно на черную весеннюю дорогу.

А Харпик и Ромашка обдергивались: зададут им баню, прощай, Америка!

4

Дни шли неделями. Неладно шли.

Правда, встреча на вокзале вышла совсем не страшная: мать Ати просто плакала от радости, да и в гимназии всё обошлось благополучно, допустили к экзамену.

Но что Ате в гимназии? Он не добыл острова, а с пустыми руками куда сунешься?

Клавдия Гурьяновна всё подсмеивалась. Звала Атю отставным американцем.

«Да надо же что-нибудь придумать, — метался Атя, — отрубить что ли себе палец и отдать его ей или выколоть себе глаз, пускай чувствует».

— Всё дедушка виноват, — жаловалась мать отцу, — знаю я, что там в Ключах делается, никуда не годен мальчишка стал, уроки на ум нейдут. То влюбился в Клавдию Гурьяновну, теперь бредит какой-то Мымрой.

Доктор-отец держался того правила, что при лечении необходимо прибегать к п и в у с к а с т о р к о й, так как от засорения желудка всякая ерунда бывает. А при воспитании — к в н у ш е н и ю, так как одними словами не проймешь, а потому решил обязательно при первой возможности выпороть Атю.

Но так случалось, что поймать Атю он никак не ухитрялся: то дела задержат, то Атя в гимназии, то и не в гимназии Атя, а скроется куда-то, словно сквозь землю провалится.

Однажды утром отец заглянул в детскую: Атя в одной рубашке сидел на кровати и о чем-то думал, конечно, он думал о своей Мымре!

Доктор, затаив дыхание, крался совсем незаметно, и казалось, еще один шаг и уж взял бы свое — отхлестал бы Атю как следует, чтобы помнил.

Ремешок от радости ерзал в руках доктора, но Атя не дурак, живым в руки не дастся, — скок! — только пятки сверкнули — спасайся, кто может! — И, не долго думая, опрометью, как угорелый, прямо в комнату к Клавдии Гурьяновне.

Дверь оказалась незапертой. Клавдия Гурьяновна лежала в постели.

Атя — к ней, забился под одеяло.

И слышно ему было, как отец подошел к двери, постоял немного и отошел с носом.

— Царевна моя, ты спасла мою жизнь от смертной казни, — шептал Атя, и от счастья голова у него шла кругом, — ты простишь меня, прости меня, я самовольно пришел к тебе без острова, без ничего, ты простишь меня, я не сумел достать тебе царства, я его достану тебе: Индию, Америку, все острова, все земли... все, все... весь мир!

Дух захватило, казалось, душа его обняла ее душу и обнимала так крепко, что его сердце рвануло и тело вдруг задрожало:

> ведь она была так близко, недоступная и гордая его царевна Мымра.

Клавдия Гурьяновна закрылась рукой от смеха.

— Можно? — перебил депутатский голос за дверью.

— Сейчас! — и, отпихнув Атю, Клавдия Гурьяновна показала под кровать.

Атя покорно повиновался и, очутившись под кроватью, весь застыл, стараясь не дышать, и жмурил глаза, чтобы не глядеть.

Так гость-Депутат его не заметит!

И сидел на корточках точь-в-точь, как когда-то в курнике на гусиных яйцах, сев тогда, чтобы гусей вывести.

Не дышал он, не глядел, но всё слышал.

Депутат раздевался. Депутат снял сюртук, снял ботинки. Упала депутатская запонка, звякая, покатилась запонка по полу, стала у ног Ати.

И стало Ате нестерпимо жарко, словно не запонка, — уголь дышал в него жаром.

Они говорили. Слова их были самые обыкновенные. Так все говорят, такие всем говорятся.

И по мере того, как Атя вслушивался, бросало его то в холод, то в жар: не слова, а самый склад слов, связь слов, говор слов звучали для него, как распоследняя ругань и оскорбление.

Он ничего не понимал такого, что происходило, он ничего еще не понимал, он только сердцем вдруг понял и через тоску свою, через любовь свою постиг и оскорбленной душой своей увидел, что она не единственная, не царевна Мымра, а как все, как мать его, как Саша и Паня, как крестная, как кухарка Феклуша, такая же...

И пустыня открылась перед ним.

Проколол бы он себе уши, лишь бы ничего не слышать, а ведь всё слышал.

И было душе его и телу его так, будто били его, как однажды в Ключах били вора, запрятавшегося под кровать в кухне, били по голове, по лицу, под живот. Глаза остеклились. «Добейте его!» — «Нет, кричат, подождет!» Отпустят — и бьют...

И вот, будто чавкнул кто-то обухом его по темени, затряслась кровать над ним, затрясся пол под ним, всё поколебалось — конец его жизни.

Только когда гостя выпустили с парадного хода на улицу, а Клавдия Гурьяновна одевалась, Атя, очнувшись, выполз из-под кровати и вышел из комнаты, не оглянулся, а на вопрос ее: пойдет ли он с ней после обеда на Невский? — ничего не ответил.

*

Без книг и без завтрака шел Атя в гимназию.

Ничего не замечал он. Не помнит, как дошел до гимназии.

Кое-как высидев начало урока, попросился он выйти. Выйти ему позволили.

И он вышел из класса, остался один в уборной.

Пусто было в уборной, стучала вода в водопроводе.

И как вспомнил он, как помянул всё, — камни легче:

его царевны не было!

И покатились слезы. Атя заплакал.

Первый раз в жизни заплакал.

Так заплачет земля в последний раз, когда с неба попадают звезды.

О, когда б эта ночь
Не была хороша,
Не болела бы грудь,
Не страдала б душа.

— — долетала бродячая песня бродячей певицы с соседнего двора на гимназический двор, а со двора с весенним воздухом в окно к Ате.

И Атя сквозь слезы, словно смеялся —

Где искать ему звезду свою — царевну?

СЛОНЕНОК

1



Павлушка засел на второй год в приготовительном классе.

Только он один и был второгодником.

Сидел Павлушка на последней скамейке у шкапчика: у шкапчика всегда второгодними сидели.

Место было не простое, особенное.

Всякий день после молитвы, когда учитель Иван Иванович запирал в шкапчик журнал, чернильницу и ручку, только с Павлушкина места можно было заглянуть в этот шкапчик.

И чего-чего только в шкапчике не хранилось: разные коробочки, ножички, картинки, кораблики, раковинки, стрелки.

Так повелось: если кто из учеников приносил в класс какую-нибудь любопытную вещицу, Иван Иванович отбирал ее и прямо в шкапчик.

Гимназия была старая, Иван Иванович — старый, шкапчик — битком набит.

Раз Павлушка слоненка подсмотрел.

Серый слоненок, как настоящий, с хоботом и клыками, а уши мягкие, большие, и хвостик.

«Там, пожалуй, и еще кто-нибудь такой сидит, какая-нибудь заводная машинка, пистолет или обезьянка!» — подумал Павлушка, и завертело:

как бы это устроить, чтобы в шкапчик пробраться, потрогать всё, посмотреть и с собою взять.

Долго ломал он голову, а придумать ничего не придумал, — одному невозможно.

Хорошо, что Доронин и Воскресенский, с которыми сидел Павлушка, оказались ему на руку.

Доронин — Трясогузка, востренький, розовенький, и озорничал, а виду не показывал, всё оставалось шито-крыто.

Воскресенский — Пугало, вихрастый и веснушчатый, лез прямо на рогатину, сух из воды никогда не выскакивал.

Прежде всего Павлушка экзамен им задал, удочку закинул.

И не ошибся. Поверил. И все трое, как один, сговорились.

Уговор лучше денег — чур! никто никого не выдаст.

Приходили они спозаранку и приступали.

Трясогузка у дверей караулил, Павлушка с Пугалом работали.

Ковыряли замок по-всякому: и пером и ручкой, и шпилькой и гвоздиком.

Хоть бы что — дудки!

— Надо стамеской, — сопел Пугало.

— Винти уж! — подгонял Павлушка.

Ни с места.

И бросали, и опять сызнова.

Как-то шпилька и переломилась.

Туда — сюда — пропали! Кусочек засел в нутре.

Пришел Иван Иванович, прочитали молитву, стал Иван Иванович отпирать шкапчик. Туго. И так вертел, и сяк.

Пыхтел, пыхтел, насилу отпер.

— Кто? — спрашивает, а сам из-под очков смотрит.

Молчат.

Никто, как Павлушка с Пугалом.

Отпирались.

Не вывезло. Хуже.

— В карцер на два часа.

Засадили их в карцер.

Сидят. А дума одна:

как шкапчик открыть, чтобы всё посмотреть, потрогать и с собою взять.

— Надо подпилком, — решает Пугало.

— Подпилком что! — шурупом, раздобыть шуруп, повинтить — и готово дело.

2

На дворе октябрь.

Кончается четверть. Скоро станет Иван Иванович баллы выводить. А у Павлушки едва тройка выходит, тройка с минусами.

Падал мокрый снег и, не долетая до мостовой, где-то у ног таял.

Таял снег на крышах, только на дровах дровяного двора лежал легким белым слоем.

Было скользко, ноги не слушались.

Голодный, в длинной, сшитой на рост шинели, таща на уцелевшем ремне изодранный ранец, плелся Павлушка домой из гимназии.

И почему это он не может, не запинаясь, как Медведев, считать по порядку? И хитрости-то тут нет никакой: веди счет сзаду наперед, и только:

«33, 32, 31, 30»...

Вот и не сшибся, а тогда в классе ни с места: стал перескакивать, мяться.

«Тупая голова!» — сказал тогда Иван Иванович и поставил двойку.

— Тупая голова! — Павлушка снял картуз и потрогал себя за голову, — тупая голова... на третий год не оставят.

— Выгонят, — будто ветром донесло с дровяного двора.

Павлушка расстегнулся и, запрокинув голову, принялся ловить ртом снежинки.

Снежинки холодные падали, щекотали горло. Горло сжималось.

Так невесело, так ему было невесело, — плакать хотелось.

И представлялось, как его из гимназии выгонят, как тогда он до дому дойдет, как придет домой.

«А дальше?»

«Дальше вот что, — будто говорил ему кто-то на ухо, — ты запрись т а м, ну, приноровись, да головой бух в дыру, или застрелись ружьем».

«А если не выгонят?»

«На третий не оставляют».

— 33, 32, 31, 30... — шептал Павлушка.

«Вот, вот, здо́рово!» — одобрял и пытал чей-то голос, то суровый, то ласковый.

Павлушка вошел к себе в дом.

Дома мыли пол.

Всё было подоткнуто и перевернуто.

Слонялся Павлушка по столовой, отщипывал мякиш.

И только после обеда, когда всё уложилось, и кухарка Маланья — Аксолот пошла в баню, Павлушка присел к своему столику, но ранца не расстегнул и к книгам не притронулся — завтра!

Так просидел он, пока не стало смеркаться и не ударили ко всенощной.

Уши горели у него, как на улице, и ничто не занимало, думалось тяжело об одном.

Стеклянный козленок из-под духов — любимец Павлушкин, — как повалился, когда передвигали столик, так и оставался лежать на боку.

«И пускай себе лежит, эка!»

Лень было руку протянуть и навести порядок.

А Павлушка такой аккуратный. Всякую пылинку сдует, соскоблит, подчистит. Старшая сестра Катя, у которой жил Павлушка, звала его Кротиком: «Кротик всё соберет, ничего так валяться не оставит!»

На этот раз Павлушка не прибрал стол Кати.

«Пускай, только бы ружье достать».

3

В церкви за всенощной Павлушка стоял сумрачно, букой. Смотрел он в темный лик Божьей Матери, смотрел на драгоценные камни и жемчуга белой ризы.

Разноцветные лампадки, полные масла, разноцветно горели, и от света играли камни и жемчуга таяли.

Но душа Павлушкина была в потемках.

Крестился он, когда крестились, кланялся, когда надо было кланяться.

И чудился ему какой-то запах.

Пение и молитвы будто выплывали из этого запаха и так плавали пропитанные.

Ладан не гасил, а распускал его по всей церкви.

«Утром за обедней отпевали жену бондаря. Бондариха испортилась. Вот и не продохлась», — решил Павлушка.

Впереди, у амвона, стоял бондарь в чуйке и, широко крестясь, бухался в землю.

Павлушка и раньше слышал, что бондариха давно хворала, что ее много лечили и даром — ничего не помогало, а бондарь жаловался на обузу.

«Это он и бухается от радости, что Бог ее прибрал, надоела она ему. Думает, померла и крышка, не увидит... Не-ет!» — Павлушка пискнул от злорадства: он знал, что бондариха тут, в церкви, стоит где-нибудь в уголку, всё видит, всё понимает, только ее не видно. Как в шапке-невидимке.

«Надеть шапку-невидимку, вынуть из кармана у Ивана Ивановича ключи, отпереть шкапчик, вытащить слоненка... двойки переправить на пятерки, а потом что-нибудь такое»...

В алтаре вдруг поднялась суматоха.

Дьякон бросился от жертвенника к престолу, псаломщик, читавший шестопсалмие, остановился.

В тишине, недоумевая, переглядывались.

Наконец, разрешилось: из алтаря под руку вывели священника.

Измученный, с открытым ртом, ткнулся старик-священник с заплаканным лицом в темный лик Божьей Матери:

— Владычица, прости меня!

И пошел из церкви.

Служба продолжалась, псаломщик читал шестопсалмие. Голос его звучал твердо и уверенно.

И все, кто был в церкви, теперь знали твердо и определенно, что священник уже не вернется в церковь, что он умрет, дорогой ли, дома ли у себя, всё равно умрет.

— Все умрем, — говорило что-то в словах псаломщика, — умрем, и принесут сюда, поставят тут перед амвоном...

И вспомнилось Павлушке, как хоронили одного актера. Тоже старика. В церкви на отпевании рассказывали, будто играл актер на театре и помер. Моментально помер. Смыли с лица краску, положили его в гроб, принесли в церковь. Цер-

ковь была полна актеров, бритых и чудны́х, да актрис в больших шляпках. Когда кончилось отпевание, священник дал покойнику рукописание, полил маслом, поклонился и пошел в алтарь. А с паперти уж несли крышку белую, глазетовую. И покрыли гроб крышкой, стали гвозди вбивать... Жутко было. И было еще какое-то успокоение, уверенность, что вот заколачивают гвоздями и сейчас понесут на кладбище, и там опустят в яму и землей завалят —

— Не тебя! — чуть не взвизгнул Павлушка, как и тогда на отпевании, как и тогда от нахлынувшей радости.

Тут стал перед глазами другой случай.

Тоже раз зашел Павлушка в церковь: тоже покойник был. Уж прощались. Прощались как-то робко, руку не целовали. Только смотрели на огромные стеклянные руки. И вот женщина старая, горбатая от горя, одна целовала эти руки, целовала лицо, полузакрытое желтой ватой, целовала рот, а изо рта темной струйкой бежала сукровица.

«И меня!» — казалось, надрывалось что-то в этих поцелуях единственных... она не хотела остановиться, не хотела перестать, не могла оторваться, и целовала и лицо, и руки, а с паперти уж несли крышку белую, глазетовую.

«И тебя! всё равно... принесут!» — злорадствовал тогда Павлушка и, теперь вспомнив, похолодел весь.

— Принесут... чтобы меня не приносили, чтобы не умереть мне, Божия Матерь, сделай Ты... ведь я маленький! — Павлушка стал на колени и, кланяясь в землю, ударялся лбом о холодные плиты.

Играли камни на белой ризе, жемчуга таяли, и казалось ему, лик Божьей Матери участливо глядел на него.

Знал Павлушка твердо, всё Она даст ему, ни в чем не откажет... не будет двоек, слоненок у него будет... он ведь ни в чем не виноват...

«А бондарь виноват?»

Бондарь, бухаясь в землю, вытягивал ноги. На тяжелых сапогах сверкали подковки.

Павлушке вдруг захотелось подковок.

«Ты отними от него, дай их мне!»

И он протянул руку к сапогу бондаря попробовать, не отвалились ли чудом подковки, и, пораженный, остановился: справа и слева сверкали такие же подковки.

А почему у него нет подковок? Почему только один он стоит маленький, ни в чем не виноватый и всем чужой?

И вдруг понял.

Кругом были грешные, несчастные, грешные, как бондарь.

Они молились —

«Кто их услышит? Ты их услышишь!»

Они просили —

«Им будет ответ? Ты им ответишь!»

— Мне будет ответ, я не виноват ни в чем, — шептал Павлушка, и ему до боли стыдно, что он не виноват ни в чем...

— Слава Тебе, показавшему нам свет! — дьякон растворил царские врата, и запели певчие: Слава в Вышних Богу.

Павлушка стоял, как пригвожденный, не засматривал в окно, как всегда засматривал: не увидит ли свет показавшийся?

Мимо неслось Великое славословие, он повторял одно слово черное, звал темное с подковками, с серебряными.

— Пускай мне двоек наставят, пускай меня выгонят, пускай меня черт возьмет! — шептал Павлушка, прося и требуя.

Всенощная кончилась.

Бочком вышел Павлушка из церкви и побрел домой. Шел он домой оголтелый, распахнувшись, нес он не сердце, а комок вместо сердца.

Хотело сердце, ни в чем не виноватое, быть грешным, повинным.

Хотели глаза, ни в чем не виноватые, плакать от отчаяния.

Молить —

«Кто их услышит? Ты их услышишь!»

Просить —

«Им будет ответ? Ты им ответишь!»

Хотел Павлушка, чтобы чёрт сцапал его, чтобы чёрт посадил его к себе на закорки и пустился бы с ним по белому свету, куда хочет, куда глаза глядят.

Хотел, чтобы рука огромная, стеклянная покойницкая схватила его и тут бы на месте прихлопнула.

Быть бы ему вот этим отходником, трясущимся на бочке, ехать бы, трястись ему оборванному и голодному в ночь на

грязную работу, нюхать этот отвратительный запах и копаться в зловонной бурде.

Павлушка стремительно повернул с тротуара и пустился за бочкой, стараясь как можно больше надышаться мерзостью и норовя выпачкаться.

4

Спинка. Брюшко.
Рак. Лягушка.
Детская игрушка.

— пели — выговаривали хором: Трясогузка тонко, Павлушка потолще, а Пугало толсто, и выделывали при этом руками разные финтиклюшки, заканчивавшиеся дружным кукишем.

— Павлушка, — просунулась в дверь Маланья-Аксолот, — поди-ка сюда, что я тебе скажу.

Все повскакали к Аксолоту.

— Мухтар пришел, ворону приволок, варить что ли?

Павлушка погрозил пальчиком, и на цыпочках всей гурьбой двинулись гимназисты в кухню.

Главное, надо было всё от сестры Кати скрыть, а то Катя еще возьмет, да и выбросит ворону за окошко. А о вороне Павлушка давно умом раскидывает. Ему как-то попалась одна книжка, в книжке всякие звери и птицы нарисованы были, и рядом с птицами что-то вроде смерти. «И не смерть это, — объяснила Катя, — это скелет, а скелет можно и самому сделать из вороны». И с тех пор засела ворона Павлушке в голову, колом не вышибешь, — непременно захотелось ему скелет устроить, и чтобы скелет у него на столике стоял со стеклянным козленком.

Мухтар, лохматый дворник в валенках, и весь какой-то будто сделанный из валенок, топтался в кухне, кадя себе под нос дохлой вороной.

Обступили гимназисты Мухтара, выхватили из рук ворону.

Положили ворону на грязную табуретку из-под помойной лоханки, подсучили рукава и уселись кружком на корточки. Трогали ворону пальцами, рассматривали всю кругом, расправляли крылья, потом за клюв принялись, раздирали задеревенелый клюв.

— Ворона старая, — сказал Павлушка, — ни одного целого зуба.

— Ворона жрет десной, у их сестры зуба не водится, — Аксолот-Маланья поставила на плиту доверху полный поганый чугун.

— Нет, водится, — заступился Пугало, — вот такие в семь аршин, круглые...

— Круглые! — передразнила Маланья, — круглый-то зоб, как яйцо.

— Зоб вон, под шейкой, там камни хранятся, не знаешь ты!

Маланья подкладывала дров в печку. Вода нагревалась.

А ворону гимназисты щипали. Перья складывали они в кучку. И тряслись над каждой пушинкой, чтобы потом из вороньего пуху Аксолоту перину сделать.

А как ощипали, зажгли лучинку и стали лучинкою палить ворону, чтобы все пенушки вывести.

И вывели они пенушки, принялись потрошить.

Обломанным перочинным ножиком взрезали зоб: искали камней, но камней не было, а была какая-то липкая труха.

Перемазались, всё перемазали: и руки, и лицо, и курточку.

Не отрубая головы, положили ворону в чугун.

Закипела ворона.

И пошел по всем комнатам такой смрад, такой дух, хоть из дому беги.

Прибежала Катя, рассердилась, ворону велела в сени вынести, а детей прогнала из кухни.

Вот тебе и ворона!

Гимназисты потащили за собою Мухтара. Мухтар был выпивши, а когда Мухтар выпивши, с ним весело, и вороны не надо.

— Мухтар, а Мухтар, покажи, как ты... это делаешь? — щипали и подпихивали дворника, напихивая на него вертлявого Трясогузку.

— Нельзя, нельзя, — отбрыкивался Мухтар.

— Да не умеешь! да ты не умеешь! да ты, ты не умеешь! — дразнили, поддразнивали дворника, пока его не прорвало.

И Мухтар облапил Трясогузку.

А Трясогузка-Доронин дал ему подножку, вывернулся, да и был таков. И полетел Мухтар к чёрту на кулички — грохнулся об пол.

И ползая по полу, хорохорясь, представлял дворник и выделывал разное такое.

Грохотали от удовольствия гимназисты, покатываясь со смеху.

— Ну, теперь спой, Мухтар, спой нам, пожалуйста!

И поднявшийся на ноги, разморенный, запел Мухтар песню несуразную и таким же, как весь валенный, каким-то валенным голосом:

Что же ты, Матрена,
К лесу не пришла,
Али ты, дурёна,
Другого нашла.

И остановился:

— А дальше нельзя.

— Нельзя! нельзя! нельзя! — задразнили снова Мухтара.

Просунулась в комнату Аксолот-Маланья, позвала Мухтара: его в сторожке спрашивают.

Мухтар обозлился и ругался.

И, ругаясь, вышел.

Ушел Мухтар. Чего бы еще выкинуть? Сидеть так, сложа руки, — скучно. Раздумывали.

Павлушка подговаривал впотьмах на чердак лезть, да дело не выгорело: поймают, изобьют, как жуликов.

Наконец, выдумали игру.

Пересчитались, кому водить, и начали.

Трясогузка и Павлушка хлестали ремнями Пугалу, а Пугало, взобравшись на стул, отхлестывался.

Вся игра в том только и заключалась, чтобы отхлестываться.

Сначала всё шло мирно, хлестались понарочну, потом перешли и позаправду, норовя двинуть пряжкой.

Павлушка хватил Пугалу по лицу, Пугало не удержался и кувырнулся со стула. Кувырнулся Пугало, ударился об пол, — заплакал.

Задрало остальных.

— Нюня! Нюня! Нюня! — принялись дразнить.

— Пугало! Пугало! Пугало! — поддразнивали.

— Сам Пугало! второгодник! — отбрыкнулся было Пугало на Павлушку.

— А твой отец — пропоица, сосуд за обедней уронил.

— Пропоица! Пропоица! Пропоица! — наступали на Пугалу.

Пугало плакал.

И чем бы всё кончилось, кто его знает, да за Трясогузкой горничная пришла домой уводить.

Поднялся было и Пугало, да опять сел.

Увела горничная Трясогузку. Пугало с Павлушкой одни остались.

И стало вдруг Павлушке стыдно, что обидел он Пугалу.

— Пугало, поди сюда! — позвал Павлушка робко.

Пугало всхлипывал.

— Поди сюда, говорю, слышишь?

Но Пугало всё всхлипывал.

— Давай, Пугало, слоненка унесем! — тронул Павлушка Пугалу.

— Давай.

— А как же мы его унесем?

— Стамеской.

— Стамеской не выйдет, долотом лучше.

— Долотом.

— А когда мы его унесем?

— Завтра.

— Никому не скажем?

— А дразнить не будешь?

— Я тебе, Пугало, козленка отдам, хочешь?

— Хочу.

Павлушка отыскал тряпочку, бережно закутал в тряпочку стеклянного любимого козленка, чтобы козленку холодно не было, и подал его Пугале.

— Вот тебе, Пугало, бери!

Пугало встал, вихры торчали, и щеки горели.

— Павлушка, — сказал Пугало не по-своему, — ты... папашу... в заштат выгнали... благочинный. Мы, Павлушка, с голоду помрем.

5

Утром на следующий день Павлушка в гимназию не пошел. Надел было ранец, и подкосило.

Поставили Павлушке градусник: жар. Хотели в постель уложить, заартачился, не хотелось ложиться.

Пошел ходить по комнатам.

В окно смотрел.

За окном падал мокрый снег и, не долетая до мостовой, таял.

Таял снег на крышах, только на дровах у сарая лежал легким слоем.

И так тянулось время, так невесело.

Так Павлушке было невесело, — плакать хотелось.

Столик стоял сиротливо, — козленка не было. Жалко стало козленка. Зачем его отдал? Теперь у него нет ничего. И у Пугалы тоже нет ничего... с голоду помрет. И козленок, и Пугало.

«А слоненок?»

Закрыл Павлушка глаза, стал на пальцах гадать: принесет Пугало слоненка или не принесет?

— Нет. — Нет. — Нет, — шептал, гадая, Павлушка.

А ну как никакого слоненка и нет в шкапчике, а так он его себе выдумал? И откуда взяться слоненку в шкапчике? А если слоненок на самом деле сидит в шкапчике, то дастся ли слоненок взять себя? Пойдет ли к нему? Не всем ведь дается слоненок, не ко всякому идет. К Пугале пойдет, а к нему?

Закрыл Павлушка глаза, завертел пальцами.

— Да. — Да. — Да, — шептал он, гадая.

В комнату сестры Кати вошел настройщик, стал пьянино настраивать.

— Серый слоненок, серая мордочка, — будто выговаривая, ударяла нота.

Павлушка лег на кровать прилечь и прислушивался.

— Серый слоненок, серая мордочка, — ударяла нота.

И представилось Павлушке, будто какой-то маленький зверок выскочил из часов, подполз к кровати, понюхал его и забегал по комнате.

Бегает зверок на одной ножке, выпускает паутину, путает комнату, приплясывает.

И хочет Павлушка встать, поймать зверка, и не может. Не может он ни голову поднять, ни рукой тронуть.

Бегает зверок на одной ножке, паутиной путает комнату, приплясывает, губой причмокивает:

Чок-чок! Пятачок.
Побежала в кабачок...

Опутал зверок комнату, стулья, стол, опутал кровать, опутал Павлушке ноги, опутал руки, путает тело.

Сердце Павлушкино путает.

— Слоненок, миленький, не трогай меня! — плачет Павлушка.

Но зверок-слоненок не слушает, ему и горя мало, всё шибче, всё прытче бегает по комнате, приплясывает, губой причмокивает:

Чок-чок! Пятачок.
Побежала в кабачок...

И вдруг для Павлушки понятным становится, что не зверок это, не слоненок, а чёрт.

Павлушка раскрыл глаза испуганные, ни в чем не виноватые, измученные.

В комнате сестры Кати настройщик настраивал пьянино.

*

У Павлушки корь.

Третий день, как началась корь, и теперь жарила вовсю.

В первый же вечер забегал Пугало, принес Пугало Павлушке заячью лапку.

Лапку положили больному под подушку, а Пугалу прогнали: заразится.

Всякий день пичкали Павлушку противною касторкою. Аксолот-Маланья давила капсулю и, размазав касторку на кусочек черствого хлеба, потчевала Павлушку.

От одного воспоминания у Павлушки в глазах мутилось.

Слава Богу, больше не надо!

Пришел доктор, посмотрел язык у Павлушки, пульс щупал.

«Павлушка не должен чесаться, а то хуже будет».

А Павлушка почесывался: притворялся, что спит, и сам почесывался.

Вот вышла Маланья-Аксолот в кухню, притворила за собою дверь плотно. И когда совсем в доме затихло, Павлушка соскочил с кровати и, ступая босыми ногами по холодному полу, дрожа всем телом, пробрался к зеркалу.

Глянул на себя в зеркало и зажмурился. И снова с болью впился тяжелыми глазами на свое непохожее лицо.

Не было места, не покрытого красным лоснящимся пятном, сплывающимся с другим таким же красным и лосным, и с третьим, везде: на лбу, на голове в волосах, на носу, на груди.

Ощерил Павлушка зубы, и не блестящие и белые, а мутные теперь, мутно-зеленоватые. Хотел язык совочком состроить, а язык тяжелый, не поворачивался.

Шептал Павлушка нестерпимо чешущимися губами и гримасничал, — не узнавал себя.

И вдруг понял, что отражается в зеркале, смотрит на него из зеркала не он уж, — он умирает и скоро умрет.

Шатаясь, отчаянный подполз Павлушка к кровати, надернул на себя одеяло и, в страшном холоде и тоске недетской, скорчился.

И ему казалось, он большой, и не только большой, а старый, как тот старик-священник.

«Владычица, прости меня!»

Комната наполнялась ходом часов, слушал Павлушка, как часы ходили, а ходили они будто на длинных ногах в мухтарских валенках, ходили по комнате вокруг кровати, шлепали:

— И тебя! не уйдешь!

Павлушка нащупал под подушкой заячью лапку, ухватился за лапку, как за последнюю соломинку, но не поддалась лапка, выюркнула из рук.

И стала лапка под одеялом прыгать, проскочила ему за ворот под сорочку, выпустила коготки, зацарапала по голой спине.

— Лапка! лапочка! — стонал Павлушка.

Но удержу ей не было.

И всё пришло, всё сошлось, чтобы мучить Павлушку.

Прилетела ворона ощипанная, пустая, без внутренностей, уселась синяя над головой, разинула клюв —

Вышел слоненок из шкапчика, выгнул хобот, поймал за ногу и потянул Павлушку с кровати на пол —

На полу дьякон ползал — отец Пугалы — растерзанный, что-то красное — причастие — собирал в горсть, чмокал пьяной губой —

И сыпались сверху с потолка на Павлушку ножички, стрелки, машинки, коробочки, картинки, кораблики, раковинки,

балльники, двойки — стреляли, давили, резали, крышками защемляли пальцы, царапались —

И уж не видел он ничего, ничего не слышал, он летел куда-то в пропасть, он летел на закорках у чёрта, летел не по белому свету, а по чёртову полю.

И представилось Павлушке, идет он будто с сестрою Катей по огромной, широкой каменной площади на чёртовом поле. Схватились они за руки, торопятся. И жутко и страшно им, и куда идут — сами не знают. Одно знают, пришел конец.

И нет им спасения.

Знают они, кто-то, какой-то старик слепой и гадкий подстерегает их. Он давно подстерегает их.

И нет им спасения.

И чувствует Павлушка, что старик уж тут. Да вон бледный, изможденный, с зеленоватою бородой, как бондарь. Старик стал на тумбу, вот-вот бросится...

И нет им спасения.

Схватил Павлушка тяжелый лом, ударил старика по лысине. Бьет и сам чувствует, что сил уж нет больше, нет сил еще раз поднять лом.

А старик поднимается с тумбы, бледный, изможденный, с зеленоватою бородой, как бондарь.

— Слава Тебе, показавшему нам свет!

6

Много недель провалялся Павлушка.

Вытянулся Павлушка, глаза потемнели, и всё будто внове: слышал он каждое слово, каждому слову радовался и предмету.

Потом скучища напала смертная. Никого к нему не пускали, а самому не позволяли из дому выходить.

Ушла осень, пришла зима.

Всё стало белое, снег похрустывал.

Выбежать бы на улицу, да в снежки!

Играли другие.

А что толку в окно смотреть, как играют другие?

Скучища была смертная.

И вот, наконец, на Катины именины, в первый раз Павлушка на волю вышел.

Появились в доме Трясогузка и Пугало.

Под орех разделывали, чего они только не выкидывали.

Да всему есть конец. Прогнали их в комнаты.

И весело было на именинах у Кати, как никогда.

Пили красное вино, ели мороженое. Отмочил Павлушка коленце: вымазал себе нос табаком.

— Сыт, пьян и нос в табаке!

Вымазались Трясогузка с Пугалом, вымазали Мухтара и Аксолота-Маланью. Потом передрались, перецарапались, а кончили миром.

Слоненок всё равно их будет!

Мухтар достал плоскозубцы, — у них есть теперь плоскозубцы, а плоскозубцами всё можно.

Завтра пойдет Павлушка в гимназию.

Завтра же они отопрут шкапчик, вынут слоненка. Запрягут они слоненка в санки, и помчится слоненок по улицам, мимо гимназии, в поле.

— Будем кричать и петь во всё горло!

— Ничего не будем бояться!

— Нацепим слоненку на мордочку красную ленточку!

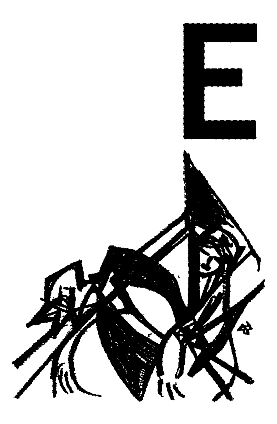
— Порвем книжки и балльники!

— На край света поедем!

— А гимназию к чёрту!

ГАЛСТУК

1



Еще ранней осенью заметили на Невском черного студента, отличавшегося от других студентов нарядных, в своих новеньких мундирах. Новички, попавшие впервые в Петербург, обыкновенно партиями прогуливаются по Невскому, с любопытством осматриваясь по сторонам и подолгу останавливаясь у витрин магазинов.

Обративший на себя внимание черный студент тоже был новичок и тоже франтовато одет, но и лицо его, и манера держаться очень выделяли его.

С черными горячими глазами, черный — другого черного такого не было на Невском.

Глаза его, даже когда он улыбался, а он очень игриво улыбался, сохраняли неизменно одно и то же выражение: какая-то старая печаль, какая-то пережившая века древняя грусть, из века в век поддерживаемая непотухающим скрытым огнем, светилась из его глаз. А когда он скашивался, не поворачивая головы, в сторону пробегавшей модницы, видны были лишь огромные блестящие белки.

В походке его было много уверенности и солидности, шел он ровно, не раскачиваясь и не размахивая руками, и в то же время чувствовалось, что среди гуляющих он самый и есть самый вздорный и фантастический.

— Абдул-Ахад, — сказал как-то черный студент, представляясь беленькому пугливому студенту.

— Турка! — подмигивали лакеи в кофейных и приказчики в магазинах при виде Абдул-Ахада.

Любители арабских сказок должны были почувствовать большое волнение, случайно столкнувшись с Абдул-Ахадом — Туркой, как стали звать его товарищи-студенты.

С Невского Турка перебрался на Васильевский остров. На двенадцатой линии он нанял комнату. И уж к началу зимы весь остров знал Турку.

Турка богатый и щедрый.

Турка у всех на виду.

И не было, кажется, ни одной барышни на острове, в которую не влюбился бы Турка, и не было на острове ни одной барышни, которая не вздыхала бы о Турке.

Самые невероятные смешные легенды ходили о Турке.

Правда, и сам он первый любил порассказывать о себе, и много невероятного и смешного, и о путешествиях, и о приключениях, и притом так, будто всё сам он и путешествовал, и приключения его собственные.

Любители арабских сказок должны были почувствовать большое волнение, случайно подслушав рассказы Абдул-Ахада.

А беленький пугливый студент, к которому Турка чувствовал особенную нежность и всегда покровительствовал, беленький пугливый студент, неизменный спутник Турки, как-то хвастаясь о своем покровителе, передавал не без задора и гордо, будто Турка еще приготовишкой в гимназии был уж отцом семейства и притом чувствовал себя в своей роли совсем неловко.

Да и сам Турка, в минуту особенной откровенности, что-то подобное о себе рассказывал и даже представлял свою тогдашнюю гимназическую неловкость: стоять в углу, будучи отцом!

Верить особенно не верили, но весело было очень.

— Конечно, — говорили, — Турка!

— Турка пришла! — весело, с добрым смехом встречали Абдул-Ахада, когда он появлялся на студенческой вечеринке.

Турка привык к Петербургу, обжился, как другие турки — хохлатые турки, так называла хозяйка Абдул-Ахада сфинксов у Николаевского моста, привыкли к холодной Неве, к бледному небу, к изморози и петербургскому ветру.

Турке всегда жарко — и дорогая шуба его всегда нараспашку.

— Конечно, — говорили, — Турка!

— Турка! Турка! — весело, с добрым смехом встречали на улице Абдул-Ахада.

Но Турка капризный: сегодня весел, а завтра плачет, сегодня всякие рассказы и самые фантастические планы, а завтра блестят белки.

И это все знают — и смех его, и слезы, и гладят Турку, когда он плачет.

— Милый Турка, полно! — и гладят, будто кошку.

На Святках Турка рядился, после Святок сел за лекции.

Но что для Турки лекции? А что полицейскому приставу Турка?

Нежданно-негаданно попал Турка не на свою двенадцатую линию и не к хохлатым туркам-сфинксам, мимо которых так часто ходил Абдул-Ахад, а попал Турка на Арсенальную набережную в Кресты.

2

Попасть в Кресты очень просто.

Случилась на Невском демонстрация. На демонстрации случился Турка. Какая же демонстрация без Турки? На демонстрациях много знакомых и очень весело, как ни на каком балу, ни на каком маскараде.

— Турка! Турка! — кричали товарищи, весело встречая Абдул-Ахада.

И сначала всё шло весело и задорно, но у Думской каланчи демонстрантам устроили ловушку, и пущены были в ход нагайки и шашки.

Турка всё, что хотите, и в приготовительном классе в гимназии он уж был отцом семейства, всё это правда, а в Китае он никогда не был, хоть и рассказывал о живых поджаренных рыбах, которыми угощал его какой-то важный китаец, но Турка — рыцарь, Турка не может допустить, чтобы хорошенькую барышню, да еще его знакомую, бил солдат шашкой.

Три молоденьких курсистки бросились на Думскую лестницу и, закрываясь руками, стали на колени спиною к солдатам.

Солдат поднялся за ними и поочередно стал наносить удары тяжелой крепкой шашкой.

Турка пришел в ярость.

А кто-то захохотал из толпы, отпустив обидное про несчастных, терпеливо стоящих на коленях избиваемых барышень.

И с разных концов визг и крики.

Кругом бежали и падали.

Черный, с черными горячими глазами не бежал Турка, как другие, и не кричал, как другие, он только выворачивал свои горячие глаза.

И ярость дошла до точки.

А белки блестели так страшно, что у городового, вышибавшего последний дух из своей черной подвернувшейся жертвы, на минуту промелькнуло:

«Да уж не сам ли это живучий чёрт окаянный?»

Дух из Турки не вышибли, а в Кресты попал.

*

Вместе с Туркою, как и Турку, привезли в Кресты с демонстрации много студентов, и скоро из всех самым беспокойным, самым вздорным оказался Абдул-Ахад — Турка.

Когда всякие подтеки, ушибы, ссадины и царапины поджили, ожил и Турка. Ожил Турка, — и как малый ребенок... Что с него взять?

На свидание к Турке ходили две невесты.

И в обеих Турка был влюблен, и уж сам хорошенько не знал, какая из них лучше и какую он любит больше.

Цветы, шоколад, пирожки носили в тюрьму невесты. Свидания длились долго. Но Турка капризничал, ему всё мало. Турка просил допустить к нему еще и третью невесту.

И разрешили ходить к Турке трем невестам, — каждая ходила по очереди. И этого мало, Турка не унимался.

Да и как было уняться, ведь на самом-то деле их было не три, а тридцать три невесты!

Камера Турки помещалась во дворе, на пятом этаже. Окна высоко. Так, с пола ничего не увидишь. Турка на стол ставил табуретку и, взобравшись на табуретку, по вечерам смотрел в окно.

А-там, по набережной, от самых хохлатых турок-сфинксов прогуливались его невесты, все тридцать три.

Турка только о них и думал, ждал свидания, и во сне всю ночь только их и видел.

А тут весна пришла. Стали строго запрещать в окно смотреть. Но кому же, как не Турке, смотреть в окно, когда весна пришла?

Турка приказаний не слушался.

Пугали карцером — не испугался.

Сажали в карцер — не действует.

И бросили. Что с него взять?

Раньше, на воле, весь мир его делился: на хорошеньких барышень, на просто молоденьких и вообще на женщин — в первых он влюблялся, во вторых не прочь был влюбиться, а за третьими всегда был готов поухаживать.

А теперь, когда пришла весна, он всех стал любить и любил равно, не деля никого: и хорошеньких, и просто молоденьких и вообще всех женщин.

И уж по набережной всякий вечер прогуливались и не тридцать три, а триста тридцать три невесты, — он видел их собственными глазами.

Все женщины были его невесты.

На Пасху Турка даже плакал. Плакал он оттого, что его в церковь не повели, когда всех его товарищей водили, а еще оттого, что вечером, увидав из окна прогуливающихся по набережной всех своих невест, ему стало их очень, очень жалко.

Пришел май, белые ночи.

Из окна смотрел Турка на май, на белые ночи.

Как-то, после проверки, взобравшись на табуретку невест смотреть, заметил Турка, что из соседнего решетчатого окна торчит черная борода.

Сосед тоже увидал Турку и, предупреждая, стал делать знаки не разговаривать.

С Туркой разве сговоришь?

Турка обрадовался черной бороде.

— Давно сидите?

— Два года.

— Откуда?

— Из Вилейки.

— По какому делу?

— По доносу. Я ничего не знаю.

— Навещает кто?

— Нет. У меня дома жена и девочка.

— А чем занимались?

— Меламед — учитель.

— Не скучно?

— Коробки клею.

— О жене скучаете?

Но сосед ничего не ответил, — черная борода юркнула за решетку.

Да и к Турке постучал часовой, пришлось слезать.

Когда же отошел часовой, Турка снова вскарабкался к окну и снова принялся вызывать соседа, но черной бороды больше не показывалось, и видна была из-за решетки одна согнутая, усталая спина.

Потом Турка забыл о бороде, а тут, наконец, и выпустили Турку. Что с него взять?

3

Вышел из Крестов Турка и прямо на Невский, и уж не знает, что с собою делать и куда деваться.

Идти к знакомым? К знакомым он и завтра поспеет — три дня срока ему, три дня разрешили жить в Петербурге, за три дня он успеет всё сделать и со всеми повидаться.

Турка ходил по Невскому и улыбался, всем улыбался, и молодым, и старым.

— Турка! Милый Турка, как поживаешь? — улыбались ему в ответ, так казалось ему, что улыбались.

От нечего делать он заходил в кофейные, ел пирожки, пил кофе, заглядывал в кинематограф, но долго усидеть нигде не мог.

— Турка! Милый Турка, как весело, хорошо на воле! — шумели, жужжали, нашептывали прохожие, так слышалось ему среди шума самой шумной улицы.

Показывали на Невском диких людоедов. Из Новой Гвинеи привезли в Петербург людоедов.

«Самое дикое племя на всем земном шаре!» — так зазывала афиша.

Пошел Турка смотреть диких людоедов. Людоеды были совсем как театральные черти, а улыбались, как сам Турка. И не утерпел Турка, взобрался к ним на эстраду.

Дикие не понимали, что говорил им Турка, да и другие, недикие, как и сам Турка, едва ли что понимали, но впечатление было неожиданное: дикие, приняв его, должно быть, за своего бога, натянули луки и, выпустив свои стрелы и став из маленьких огромными, как Петр Великий, пустились так неистово прыгать по-кенгуручьи и так зарычали вепрем, что публика, давай Бог ноги, скорее к двери.

В суматохе за публикой вышел и Турка.

— Турка! Милый Турка, весело, как весело! — кричали ему вслед, так казалось ему, что кричали.

Ладожский лед по Неве прошел, и было тепло. Впрочем, Турке всё равно было бы жарко, если бы и лед не прошел.

Ночь белая, прозрачная манила далекими серебряными звездочками.

По случаю царского дня на Невском вдоль тротуара зажгли разноцветные электрические фонарики, а на домах яркие вензеля.

Гуляющих было очень много.

Турка глазел по сторонам и улыбался.

Всё таким нарядным казалось ему, таким молодым и чистым, всех, без разбора, всех расцеловал бы он.

На углу Екатерининского канала Турка приостановился.

От Казанского собора показались кавалергарды.

Большие, на конях, в серебряных латах, привидениями двигались серебряные всадники.

Турка смотрел на кавалергардов и улыбался.

И долго серебрились латы среди белой ночи, разноцветных зеленых огоньков и потемневших, бородой висящих, флагов.

Проводив кавалергардов, пошел он за толпою.

На мосту ему приглянулась прохожая — так, черненькая, стройная, совсем как подросток, и не накрашенная, а глаза блестят, будто кавалергардские латы.

Он улыбнулся ей, и она улыбнулась. Взял ее под руку. Ничего, — улыбается. И пошли.

Шли они и смеялись, как старые знакомые.

Еще бы: ведь она его невеста! Тут все были его невесты.

Ночь белая, прозрачная манила далекими серебряными звездочками.

— Далеко к вам?

Она назвала гостиницу.

И из ее ответа понял Турка, что на улице она еще недавно: у себя в комнате не принимает.

Повернули к гостинице. Взяли номер.

И в номере снова Турка убедился, что она совсем недавно на Невском: от пива отказалась.

Коридорный принес лимонаду. Выпили. Стали раздеваться.

Она — еврейка, а зовут ее Розой.

— А вы кто, еврей?

— Нет.

— Грек?

— Нет!

С большими удивленными глазами принялась она перебирать все народности, какие только знала. Дошла она и до китайца и даже до папуаса-людоеда, которого тоже ходила смотреть, как Турка.

— Папуас?

— Нет.

— Турка?

Турка не выдержал и стал хохотать.

— Турка! Турка! — обрадовалась Роза, так радуются дети, когда находят, наконец, и совсем-то не хитро спрятавшегося, и повторяла весело с добрым смехом, как товарищи-студенты, встречая где-нибудь в непоказанном месте Абдул-Ахада.

Розе оставалось только снять корсет.

Турка болтал всякий вздор, уверял, что он не турка, а самый настоящий людоед и сейчас так вот и съест ее всю и с косточками, и сам хохотал, захлебываясь.

Из-под корсета у Розы вдруг выпало что-то на пол, и Турка заметил. Но Роза быстро схватила с пола какую-то вещицу и зажала в руке.

Что бы это могло быть? И отчего она так покраснела?

— Что такое?

— Нет нельзя, это нельзя! — Роза отступила.

— Почему нельзя? — заспорил Турка, он обнял Розу, усадил к себе на колени, — ну, скажи, ну, что тебе стоит?

— Нельзя, — твердила она, — не спрашивайте, пожалуйста, не надо об этом.

Разве сговоришь с Туркой! Турка стоял на своем: скажи да скажи.

Клялся, что никакой тайны он не выдаст и не будет смеяться: ему, Турке, всё можно.

— Всё можно, — приставал Турка, — а этого нельзя. Ну, почему, почему нельзя?

Но она крепко сжимала в руке какую-то вещицу и молчала.

Казалось, никакими силами не заставишь ее выдать тайну, хотя бы все невские городовые бросились на нее со своими крепкими кулаками: она решительно отказалась сказать хоть слово.

Пустяки раззадорили Турку. Турка не унимался. Ему надо знать секрет Розы.

Черный, выворачивая свои черные горячие глаза, он схватил ее за руку.

И она разжала руку.

Сначала даже ничего и не понял Турка, не поверил глазам.

— Галстук?

В руке ее был самый обыкновенный черный галстук — середка галстука в виде черной бабочки.

Роза заговорила быстро, путаясь и повторяясь и передыхая, как дети, — так дети говорят или, когда очень рады, на ушко: «Мама, а мама!» — или, когда провинились, горько: «Больше никогда не буду!»

Это галстук. Это галстук ее мужа. Роза не хотела говорить Турке о своем муже. У Розы и девочка есть — девочке три года. Она из Вилейки. Мужа в Петербург отвезли в «черной карете», уж два года. Сосед на него сказал. Муж ее в хедере был меламед.

— Меламед — учитель, — повторила Роза.

— А я его видел, твоего мужа, у него борода черная, и он худой такой, спина сгорблена, скелет с черной бородой! — обрадовался Турка, вспомнив свой пятый этаж, камеру, вечер и себя на табуретке у окна, — я сам только что из Крестов, и он там, в Крестах. Кресты на Выборгской стороне, Арсенальная набережная, № 5.

Но уж Роза была не на коленях, Роза валялась на полу у ног Турки и так кричала, словно били ее, и всю душу в ней выворачивало.

Турка схватил графин, налил воды.

Да что же это он сделал такое, отчего она так бьется и кричит?

Но Роза не притронулась к стакану, не поднялась и, лежа на полу в одних чулках и рубашке, взвизгивая, громко, громко плакала, сжимая крепко в руке галстук — середку в виде черной бабочки.

Турка не узнал Розы: это совсем не бледненький робкий и плутоватый подросток, это была исступленная женщина, которую давило горе, старя и кривя ей лицо.

И в дверь стучат: требуют отпереть.

Турка ходил вокруг Розы, не зная, что делать.

— Успокойся, — трогал он Розу, — ну, что такое галстук? Ей-Богу, я ничего не сказал!

В дверь стучали. И, казалось, не только в дверь, но и во все стены стучали и в потолок, и не кулаком, а молотом.

И пришлось отворить, — всё равно дверь сломают.

Турка отпер.

Околоточный, городовой, номерной, извозчик и с ними какая-то девица, должно быть, соседняя, из соседнего номера, вошли в номер.

— Что у вас такое? — околоточный подозрительно оглядывал и раздетого Турку, и бьющуюся на полу Розу.

— Ничего, — ответил Турка, — я совсем ничего!

И бросился к Розе, поднял ее с пола и кое-как усадил на диван.

Роза не обращала внимания на вошедших, не видя и не слыша никого, взвизгивая, громко плакала.

Околоточный предложил Абдул-Ахаду одеться: Турка пойдет с ним в участок, и там протокол составят.

Да что же это он сделал такое?

Разве он бил ее?

Или сказал что-нибудь обидное?

Ровно ничего — ровно ничего худого он ей не сделал, и не думал.

Турка торопливо, как провинившийся, одевался.

Но руки не слушались: и не застегивалось, и не прилаживалось, как следует.

А кругом стояли и смотрели на него как на какого-то пойманного воришку, и, казалось, подмигивали ему:

«Что, мол, взял? Попался!»

В кармане у него было золото, он всё положил Розе в ее незанятую руку и пошел с околоточным в участок.

За околоточным вышли и другие: вышла соседняя девица, извозчик и номерной — они свое дело сделали, их больше не требуется.

Осталась только Роза.

Она всё плакала, сидя на диване в одних чулках и рубашке, взвизгивая, громко плакала, крепко сжимая в руке галстук — середку в виде черной бабочки и золото Турки.

Она одна осталась в номере, и с нею невский курносый городовой.

ПОЖАР

1



Белая Фекла, ворожея и ведьма, осенним утром родила крылатую черную мышь. И всякий опознал в новорожденном чёртово дитё. А Ермил, немой и безногий сын Феклы, закопав у помойки погань, повесился.

В ночь на Катеринин день, когда, по давнишнему заведению, девушки отгрызают ветки и с ветками в зубах ложатся спать, чтобы видеть во сне суженого, среди жестокой бушующей метели загрохотал внезапно гром. А блаженненькую Аленку, дочь старшего железнодорожного рабочего, нашли на рассвете в городском саду опозоренную и мертвую с веткою в зубах.

На Николу показались в дымных облаках три радужных солнца вкруг люто-морозного солнца.

И эти три явившихся солнца легли на город гнетом.

— Огневица, ишь болезнь-то какая, чего уж нам-то простым ждать.

— Не каркай, все под Богом ходим, все у Бога равны.

— Да я что, мое дело — сторона, о. дьякон намедни на ектенье поминал!

Шептались и перешептывались о тревожных вестях.

И уж смутно чувствовалась беда: она стояла на пороге и только ждала положенного ей часа.

— Китаец, тысяча-миллионная армия, прет на Россию прямо с туркой.

— Господи, силища-то!

— А наши, нешто промашку дадут?

— Известно, одно сказывают: б о р с ними.

— Пропащая наша жизнь, вот что!

На ночь тщательно открещивали окна, за лампадкою крепко дозор держали.

— Вот что скажу тебе, Макарьиха, Авдотья сказывала, у купца Подхомутова нечистого из стола кликали.

— И-и! Что ты?

— Вот тебе крест, Царица Небесная! Авдотья баба продувная, да и сама Подхомутиха не отпирается: предстал о н синий о шести лапах.

—Упаси нас, Владычица! То ли еще будет!

— Пропащая наша жизнь, вот что!

Нехорошие сны виделись.

Снилась церковь Нового Спасителя, будто на Пасху, без алтаря и без икон, а в церкви будто удавленник безногий и немой Ермил, сын Феклы, ходит и христосуется.

Снился какой-то мальчик распухший, в занозах весь, кувыркался по полу.

— Сказывал мне солдатик один, с т о л о в е р, — шамкал сторож при железнодорожных мастерских Семен, — дедушка, мол, напасть на всю Россию идет: расщепился на Москве царь-колокол на мелкие осколки и каждый осколок в змея обернулся, и уползли змеи под колокольню Ивана Великого. Колокольня качается, а как грохнет, и разлетятся сердца человеков, и наступит всеобщее скончание живота.

— Чего не наскажут, умора, да и только! Перво-наперво производная сила, а всё прочее — пристройка. Отречемся от старого мира...

— Ты у меня глотку подерешь, церемониться с вашим братом не станут, живо в часть, бунтовщики!

«И вообще, — говорилось в полицеймейстерском приказе, — если явится необходимость, то без всяких послаблений будут приняты меры к потушению новоявленных солнц, о которых злонамеренные лица распространяют слухи и мутят мирное население».

Но радужные солнца не пропадали, нет-нет, да и показывались на небе вкруг люто-морозного солнца.

Жизнь шла своим чередом.

Никогда еще по округу не видели такого дорода, не запомнят такого урожая, как летошний. Мельницы без устали нагружались и перемалывали отборное зерно. По скрещивающимся железнодорожным путям подвозили и увозили во все концы доверху переполненные вагоны всяким зерном и мукою. Ходко и бойко шла торговля, и покупатель был сходный.

В Рождественский сочельник укокошили Белую Феклу. И словно камень свалился с сердца.

Старые люди обмылись на Крещение в прорубях студеною крещенскою водою, в домах омелили углы и двери крестиками.

И всё пошло по маслу.

Подоспела весна, ранняя и теплая. Зазеленели на Пасху сады и взошла озимь, сильная и крепкая..

На Красную горку заиграли свадьбы.

Кое-кто даже Белую Феклу добром вспомянул:

— Ништо, жить бы да жить старухе, зря загубили душу!

Начались постройки новых домов: с торжественным водосвятием закладывались крепкие фундаменты, и со дня на день, громоздясь, всё выше уносились леса об-бок тесовых крестов, осенявших будущий кров.

На отдание Пасхи немало нашумел архиерейский пожар: из загоревшейся архиерейской бани вынесли обгорелый труп игуменьи Богодуховского монастыря, а преосвященный долго не мог выходить на богослужение по случаю ожогов.

Подмигивали и подсмеивались.

Было и уныние.

— Чёрт крест украл, крест — чёртов, — шамкал сторож при железнодорожных мастерских Семен.

А солдатик-столовер поддакивал:

— Занял беспятый храм и престол Божий. Сквернит шишига дароносицу, плюет в чашу. И люди причащаются не кровью Христовой, а слюною Дьявола, и едят не тело Христово, а пакости Дьявола.

— Пропащая наша жизнь, вот что! — заключали слушатели.

После теплого цветистого мая наступила летняя жара.

Стала засуха, и ни один дождик не напоил жаждущих иссыхающих полей, запыленных лугов и зачервившихся садов.

2

В красный Купальский полдень ударил на Соборной колокольне торопящий набат: в городе вспыхнул пожар.

С разных концов загорелись целые улицы, битком набитые рабочим людом и всякою беднотою.

Маленькие деревянные домики и несуразно громоздкие неуклюжие ночлежные дома занялись, как сложенная в кучу труха.

Выбивалось пламя и пропадало в гигантских веретенах пыли. Пыльные веретена неслись по городу и вертелись. И словно чья-то рука пряла удушливую огнистосерую пряжу в раскаленном без единого облачка небе.

Врасплох застигнутые метались люди с отнявшимся языком и дико по-звериному выли.

И когда засвистел в урочный час фабричный свисток, каким чужим он был среди свиста огня и одиноких, как свист, резких криков о пощаде, о милосердии, чтобы детей спасти, чтобы добро уберечь...

Выносили иконы, верили: иконы заступятся и оградят от беды.

А пламя, крадучись и зудя, пробиралось в потайные уголки и, взлетая, обнимало всё новые, еще целые жилища.

Пыльные веретена, синие в вечернем свете, неслись по городу и вертелись. И словно синий огненный бурав сверлил тяжелый воздух.

Вздувающееся зарево, вздрагивая, разлилось над городом, над торчащими черными трубами пожарищ.

Горели железнодорожные мастерские и нефть.

С какою-то яростью, с каким-то ужасом, будто травленые, выскакивали горящие паровозы из своих железных стойл. И по всем путям свистели они отрывисто сухим свистом. И что-то вздыхало и шипело жутко и зловеще под их раскаленными колесами.

Рассыпчато и переливно фонтанами шумели горящие элеваторы. Кто-то, бесясь и хохоча во всю мочь, пересыпал закровянившиеся янтари зерен.

*

В чарую Купальскую полночь снова забил на Соборной колокольне торопящий набат: задымились в тесных переулках веселые притоны.

Огонь входил беспощадным гостем, огонь ревниво впивался в стены и тонким языком лизал потолок.

Обнаженные тела, — кто как попало, и изрезанные стеклом и в ожогах, падали с верхних этажей на мостовую.

Распаленные зрачки давившейся толпы ширились и лопались от пьянящего жара, и скрипящий безумный хохот мешался с мольбою и воплем.

Монах в темной одежде с неподвижным каменным лицом стоял в пекле пожара. Один он был бесстрастен, как полднем, так и теперь, и был страшен своим покоем. Кипящий в глубине его глаз огонь пронизывал огонь.

Тысяча рук хватались за его полы, за черные воскрылия клобука, тысяча рук ползли к его ногам:

— Ты, наш спаситель, сохрани нас!

— Ты, наш спаситель, спаси нас!

— Ты, наш спаситель, помилуй нас!

И в третий раз ударил на Соборной колокольне страшный торопящий набат, когда, лениво отдуваясь кроваво-золотистыми лучами, солнце озарило землю: с двух противоположных концов города повалил грозный густой дым.

Горел острог.

Горела больница.

Какой был праздник для мстящего огня, вольного, разрушающего живые гробы — проклятый острог!

Выломали арестанты железные двери, задавили решеткою тюремную стражу и, избитые, подстреленные, поползли в город.

А в душных больничных палатах в желто-зеленом свете, среди пляшущих оранжевых солнц, поднялись пилящие стоны, и залился хохот безумных.

Огонь, как белка, визжал и прыгал.

И вот перекинул свои горящие сети через больничную стену на бойню.

Содрогнулся город под допотопным воем, — выли звери в человечьей тоске.

А от острога вспыхнуло кладбище.

Вскрывал огонь тяжелым пылающим ломом глухие могилы.

И, казалось, мертвые, подымаясь из гробов, росли в черные столпы черного смрадного дыма.

Монах в темной одежде, с плотно сжатыми губами, скрестив руки, стоял среди озверелых толп и тоскующих зверей.

Вокруг его головы взвивались искры, как стаи золотых птиц.

Набат, не переставая, бил.

И люди бежали ободранные, обожженные, отчаянные.

Горели казенные лавки.

Сколько голодных бросилось на даровую водку! И огненная водка ела сердце. И в синем нестерпимом пламени корчились несчастные.

Набат, не переставая, бил.

От ужаса с ума сходили. Матери теряли детей.

Дети таскали пудовые ноши. Никто не смел остаться под уцелевшим кровом. Бросали дома, выбирались на улицу. Искали поджигателей. Казалось, уж нападали на след... Какие-то женщины в темных одеждах шныряли в подворотнях домов. Разорвали старика сторожа Семена, неосторожно закурившего трубку. Солдатику-столоверу оторвали руку. Кого-то в огонь бросили. Еще кому-то оторвали руку. Еще кого-то разорвали.

— Кто же? Где искать? Где поджигатель? — спрашивали монаха.

— Ты, наш спаситель, сохрани нас!

— Ты, наш спаситель, спаси нас!

— Ты, наш спаситель, помилуй нас!

А на заборах черными буквами стояла надпись:

«Завтра не будет пожара».

3

Алая частая сеть дымно нависла над городом.

За алою сетью плыло кроваво-горящее ядро солнца, распространяя заразу, смрад и гарь.

Начиналось третье утро, — третий и последний день.

В ночь сгорел собор с мощами. Рухнула колокольня.

И горластый язык набата больше не звонил и не звал.

Уж нечему было гореть.

Догорал город.

Бродили отуманенные толпы. Всех, кто попадался под руку и на кого зуб имели, давили головнями.

И пьяные от ужаса, отчаяния и крови к ночи покинули город.

*

За городом на свалке, прижимаясь друг к другу, хоронились в последнюю ночь те, кто цел остался.

И монах в темной одежде стоял посреди уцелевших.

Но голосом никто не звал, не молил монаха, только глаза, сотни глаз устремлялись к его скрытому под рясою сердцу, прося помиловать.

И вот в первый раз дрогнуло недвижное каменное лицо монаха.

Монах снял с груди сосуд и, замочив кропильницу, окропил молящие глаза.

И в миг, как один сухой костер, загорелось всполье.

Огненная туча взорвала небо, рассекла ночь, и полетели искры с неба на землю и с земли на небо.

*

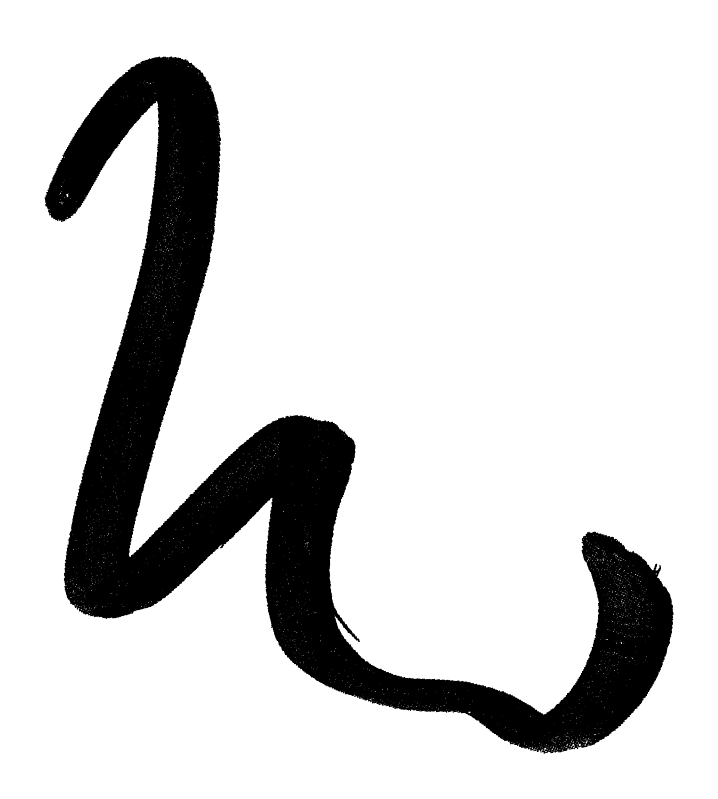
Была глубокая тьма далеко над сожженным городом. И лишь звезды глядели на землю, — на монаха в темных лохмотьях.

Он один стоял посреди пепла сожженного, проклятого, родного города, и его оскорбленное сердце горело пуще всяких пожаров и жестче всяких огней.

1903—1912
1922

СТРАННИЦА

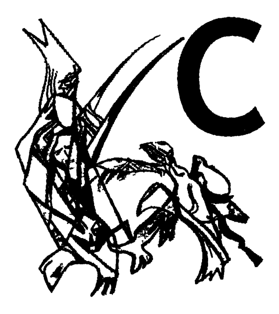
Повесть





Часть первая
ЮДОЛЬ ПЛАЧЕВНАЯ

1



Создан человек Богом не для земли, а для неба... Путь один — дороги разные.

Желанной пришла я в мир или с проклятием, я не знаю, но когда я увидела свет, моя мать навсегда закрыла глаза, в тот же год умер отец. Взятая на воспитание родной теткой, я и ее никогда не видала. А когда я начала понимать, слышу, моя тетка давно померла, а дядя женился на другой.

— И эта, — говорят, — тебе не тетка!

Чувства мои были остры, робкая, поняла я, что я несчастна.

Я ее матерью называла, а боялась взглянуть на нее. И ничем не могла угодить ей, и постоянно она дяде на меня наговаривала невинно. А он, как зверь, набрасывался на меня.

Мне было девять лет. От родных я не слыхала ни одного человеческого слова, ни одного взгляда. Жизнь моя проходила на кухне, меня заставляли все делать, там и обедала. Но мне кусок не шел в горло. Слезы и плач беспрестанный:

— Откуда взята я?

Простые люди жалели меня, уговаривали потерпеть. И, глядя на меня, сами плакали. Но чем могли они мне помочь?

Когда случалось, в дом приезжали гости, меня с кухни брали в парадные ком-

наты, меня умывали и наряжали, и нарядную, чистую, выводили к гостям. В те часы я забывалась, я отдыхала от этого постоянного ненавистного взгляда, и вдруг, вспоминая, что все это так и скоро пройдет и опять меня прогонят на кухню, я терялась от страха. Разъезжались гости и начиналось: на мне вымещали за мой тихий час — придирались к каждому слову и били, били плетью, чем попало, потом запирали в холодное место. И чего только ни выдумывали на меня, чем только ни изводили! Все терпела. И, затаив в себе горечь, как потерянная, спрашивала:

— Откуда взята я?

Пусть сам Бог знает, что тогда я чувствовала.

И однажды после жестокой расправы, когда я очнулась от побоев, я поняла и надорванным, униженным сердцем моим сказала себе, что одного мне ждать и одного желаю — смерти.

2

Мне было двенадцать лет.

Или сила Божья не оставляла меня? Это она и внушила мне бежать из дому без оглядки. Тихонько пробралась я из кухни за ворота, а там на дорогу и ушла. Я бросилась в лес, — людей боялась.

Солнце зашло, стала заря изгасать, и канул последний страх. Кого мне бояться! Благодарила я Бога, что темно, и меня не найдут, легла под орешенью и крепко заснула.

Заполночь вдруг просыпаюсь. Я проснулась от шума: надо мной буря, вихорь колеблет деревья, крик и свист. Боясь шевельнуться, пролежала я до рассвета. И когда стало видно, я поднялась.

За долгую ночь я вся измерзла, дрожь меня била, и душа унывала: снова вспомнила дом и страшно мне стало искать дороги.

Без дороги я шла, забрела в самую чащу.

Усталость и голод одолевали меня. Я рвала листья и ими питалась. Мучила жажда, клей вязал зубы, а попадались болота: вода была желта, кисла и солона. Но другого где найти? — и я пила болотную воду.

Так началось мое скитание, так ходила я по лесу лето до холодов.

Случалось слышать голоса, но людей я не видела.

Я боялась людей, и нашла у зверей дружбу. Сижу я раз под деревом и плачу неутешно, — в первые-то дни как было трудно! — и вдруг шум и треск по лесу. Подымаю глаза — звери. Волки меня окружили. Смотрю на них, читаю молитву, думаю, погибну — съедят. Тот лапой, как человек, притрагивается ко мне, другой, сидя, хвостом машет, третий зубы выскаливает. И показалось мне тогда, что и конца не будет. И вот они стали и пошли прочь — они ничего мне не сделали.

С тех пор я часто встречалась со зверями. Или сердце у них жалостливее и чувство желаннее? Я зверей не боялась.

Босая, в драном платье бродила я по лесу. Никто меня не трогал, и голодом я не томилась, как дома. Или Бог питал меня? Я находила сладкую траву и листья. Болотная вода меня изнуряла, но другой где было взять? И я считала себя счастливой.

Твердую надежду положила я на Бога. Я поручила себя Матери Божьей: как ей угодно, пусть так и будет.

И вот однажды молюсь я под деревом, — холода уж пошли, трудно стало без крова, — стою и молюсь, и вижу такая, как я, моя сверстница, — взяла меня за руку.

— Пойдем, — говорит, — Нюта, больше тебе тут не быть.

Запыхавшись, быстро, как мое быстрое сердце, за руку шли мы. И вышли на дорогу, — я этой дороги никогда не видала. Тут моя спутница куда-то исчезла.

Смотрю, нет нигде. Покликала, — нету! И куда она делась, — не пойму, не придумаю.

Вечерело. Я одна шла по дороге. И привела меня дорога на поле, а там люди. Оторопела я, да пересилила страх, и подошла.

Верно, странный был вид у меня — я боюсь, а они меня испугались! Я попросила воды напиться, а они ровно и не понимают меня: испугались! Перекрестилась я.

Ну, они и напоили меня, перестали бояться.

А когда пришло время идти им с поля домой, они меня не покинули.

Господи! Я словно из мертвых воскресла! Так истосковалось сердце мое.

С поля привели меня в дом, тут меня и приютили.

3

Новая моя жизнь началась у чужих. Добрые люди оказались мои покровители — старик да старуха Рубцовы. Участливо они приняли меня, наряжали и смотрели за мной. Я была привязчива и скоро полюбила их. Уж думала, вновь родилась я, и все повторяла — как я счастлива!

Счастливая, я и представить себе не могла, где я. Мне казалось, я зашла на край света и родные меня никогда не отыщут: на краю света стоял дом Рубцовых, в доме жили старик со старухой да я с ними — и какая счастливая!

И с какою злою горечью пришлось убедиться, что я ошиблась.

В дом к старикам наезжали замужние дочери с мужьями и сын женатый, а жили они в том самом городе — ведь близко-то как! — где стоял полк моего дяди. Понемногу все они у меня выпытали и дали знать в полк к дяде.

И вот как-то в будний день совсем неожиданно приехали гости. Я заглянула в окно и в глазах почернело: все знакомые мне, я их встречала там еще, в доме родных, когда из кухни наряженную приводили меня в парадные комнаты, — все из дядиного полку офицеры. И уж я не помню, что со мной было.

Знаю, много со мной было хлопот. Как родные, ухаживали за мной старики, жалели, все уговаривали, успокаивали: они никогда не выдадут меня дяде. Поверила и будто бы легче стало, — на время я успокоилась.

На Пасху приехал ротмистр, его я тоже видала у нас в доме. Должно быть, старики его предупредили: он особенно был со мною ласков, сам первый подошел ко мне, стал успокаивать, просил, чтобы я ему верила, не боялась.

Я и ему поверила. И не боялась. Я только об одном просила, чтобы ничего не говорил дяде.

Дядя все знал. И кто это ему рассказывал? Ротмистр? Ротмистр часто наезжал к нам и был со мной особенно ласков. Дядя все знал. Я слышала, что мое бегство очень его огорчало, он даже плакал. Не знаю только, с чего? Не обо мне же? Был он хитрый человек и, пожалуй, не я, не моя судьба, а мое наследство занимало его.

И вот узнаю, что заболел дядя. Ротмистр сообщил о его болезни и передал мне письмо, и на этот раз много рассказывал о нем. Дядя просил меня вернуться.

Ну, а как я могла вернуться!

И я решила, все ему сама напишу.

Я просила его не трогать мою душу, и пускай пользуется всем моим наследством, мне ничего не надо, только бы навсегда оставил меня, и не называл меня родной, просто забыл бы имя мое, и давала слово ничего дурного не говорить о нем, просила простить и сама его прощала.

Ротмистр повез мое письмо. А я от тревоги едва на ногах держалась. Я еще больше стала бояться попасться в руки. И не могла уйти от мысли, что это будет, как сам он сюда приедет. Ведь он всякую минуту мог приехать и силой заставить меня вернуться.

4

Отчаянно проходили дни. Тревога и слезы. Заслышу колокольчик, так и замрет сердце. И один Бог знает, до чего бы дошло. Всеми силами я старалась скрыть от глаз тревогу мою, но это не всегда удавалось!

Гостила в доме у стариков моих помещица одна — вдова Лихарева, не знаю, родственница их или знакомая, не разбиралась я тогда, не до того было. Только заметила я, что Александра Петровна как-то все смотрит на меня, и особенно, когда останусь наедине с ней. И скоро поняла я, что она все понимает.

Как-то Александра Петровна тихо сказала, лаская меня:

— Нюта, поедем ко мне!

Господи! Я подняла глаза, слов не было. Я готова была, куда угодно.

— Но чтобы никто не знал об этом, Нюта!

И она велела приготовить для меня экипаж — она его отправит со мной домой, а сама, переночевав, в другом поедет! — назначила, куда еще с вечера ехать дожидаться и подкупила горничную провести меня ночью тихонько через сад в назначенное место.

Вечером совсем случайно съехались гости. Меня все выдавало, только кому догадаться? И было так, как бывает в канун. Я чувствовала, что всем нравлюсь. И особенно мои старики — они были так ласковы со мной и отчего-то грустны. Чуяли? И минутами мне так не хотелось расставаться, так бы, кажется, до смерти и прожила в их доме: за два-то года я привязалась, и они меня полюбили. И только одно выводило меня из моей

нерешительности и очень важное: старики мои сами боялись дядю, я это чувствовала.

Когда разъехались гости, я простилась и пошла в свою комнату. Как всегда, я разделась и легла, ну, как всегда, и скоро заснула.

И вот словно толкнул меня кто: в мою комнату вошла Александра Петровна, и тихонько поцеловала меня.

— Вставай, Нюта, тебя ждут! — и сейчас же вышла из комнаты.

Я заспешила, принялась одеваться. И вдруг горечь закипела на сердце, и я горько заплакала: расставаться не хочется! Но вспомнив, что я совсем беззащитна, оправилась.

Ведь я ничего не знала, и куда меня повезут, я не знала.

Горничная повела меня садом, — там, за сажалкой, нас поджидал экипаж.

Уже заря занялась. Ну, прощайте! И какие-то горькие думы, заревые утренние, обожгли мое сердце несмышленое и перепуганное. Дорога меня баюкала, убаюкала — по-детски помирилась я и спала, как убитая.

Когда я проснулась, мы въезжали во двор усадьбы. Я была не одна, со мной ехала Саша, горничная Александры Петровны. Очень радушно приняли нас в доме, мы и обедали, и чай пили. Барышни-хозяйки ухаживали за мной и все мне делали. После чаю, вижу, лошадей закладывают. Мешкать нечего. Надавали нам пирогов в дорогу, яблок, много всего, за ворота проводили — и с Богом!

Саша веселая, все-то смешила меня, и я, глядя на нее, рассмеялась: ведь я была в безопасности, чего же не смеяться!

К вечеру остановились мы у священника. Батюшка знал о нас и встретил как знакомых. Тут нам пришлось долго ждать. И на меня опять напал страх: что со мной будет? Тихонько я стала молиться. Как там, в лесу, я молилась, — поручала себя Матери Божьей: пусть будет воля ее надо мной.

Лишь поздним вечером приехала Александра Петровна. Ну, как родную мать я встретила ее, и она беспрестанно целовала меня.

Перебыв ночь, с рассветом мы тронулись в путь. И не заметили, как день прошел. Веселой дорогой к вечеру приехали к Лихаревым. У ворот встретил нас сын Александры Петровны.

— Я тебе, Ваня, невесту привезла! — сказала Александра Петровна сыну.

А у меня дух захватило: как увидела я красный офицерский воротник, и почему-то решила, что опять в западню попала. И, должно быть, сильно испугалась. Не помню, что было, а когда я пришла в себя, оказывается, уж за доктором послали. Я рассказала все по правде. Надо мной смеялись, — Иван Александрович служил в другом полку и мало чего знал о моем дяде.

Так началась моя жизнь опять у чужих в новом доме. Сама я ничего о себе не рассказывала. Но Александра Петровна и без меня знала. Необыкновенной внимательностью окружила меня. А когда я свыклась, Александра Петровна стала уговаривать меня выйти замуж за ее сына. А я слышать ничего не хотела. Конечно, поживи я у них подольше, со временем, возможно, и вышла бы замуж.

Три месяца прошло моей новой жизни. В главном своем я была совсем спокойна — никакие страхи больше не тревожили меня, и только это сватовство смутило.

Случай переменил мою жизнь.

К Лихаревым приехала богатая их родственница, Рыкова. С первого же дня очень я ей понравилась, и она меня просто не отпускала от себя. И меня приманивала к ней ее ласковость. Или так: у родных меня крепко ударило, и вот на всякое тихое слово я шла теперь к чужим открыто и доверчиво.

Александра Петровна скоро заметила, как доверчиво смотрю я на эту ее родственницу, на Татьяну Карповну, и стала просить ее уговорить меня выйти замуж, да и сам Иван Александрович, я слышала, просил ее повлиять на меня. Татьяна Карповна дала им слово, но с тем, чтобы меня отпустили к ней.

Они согласились.

И вот опять — опять мне дорога.

Не жалуюсь, мне было хорошо у Лихаревых, но что-то втайне меня отзывало из их дома, и я легко приняла весть об отъезде.

А когда прощались, как мы все плакали: и я, и Александра Петровна, и Иван Александрович.

5

У новой покровительницы моей не было детей. В день нашего приезда Татьяна Карповна рассказала мужу, как встретила меня у Лихаревых и полюбила с первого взгляда.

— Пусть будет нашей дочерью!

И вправду, я жила в богатом их рыковском доме, как родная дочь.

От навязчивых страхов моих я почти освободилась да так бы и забыла про старое, и вот опять все всколыхнулось.

Как когда-то у Рубцовых, неожиданно подъехали к дому гости — все военные. Я случайно увидела из окна и все вспомнила, все те свои дни, в родном доме, где меня мучили. К счастью, я была одна в комнате, и когда позвали меня, я уже оправилась. И все-таки выйти к гостям я не могла: мне страшно было подумать, что обо мне станет известно моему дяде и опять начнется. Я так и сказала.

Ответ мой немало удивил Татьяну Карповну. Она передала гостям, назвала мое имя, и оказалось, что многие из них, бывая у нас, знали меня совсем ребенком, и очень любопытствовали посмотреть на меня. Татьяна Карповна тайно им показала меня, и они рассказали ей, кто я такая.

Евгений Германович, муж Татьяны Карповны, очень был растроган моей долей, и вскоре, как я после узнала, познакомился с моим дядей и достал от него мои документы.

Меня же он успокоил: он никому не позволит меня тронуть.

Я поверила. Я поняла тогда, какое значение даже для моего дяди имели мои богатые покровители.

Гости часто наезжали к нам и особенно часто офицеры из полка моего дяди, и приезд их уж мало волновал меня: для меня стало ясно, что нахожусь под крепкой защитой. О дяде не было речи. Потом вдруг перестали бывать: их полк перевели в другой город. И стало в доме совсем уж тихо. А потом слышу, дядя мой помер.

Когда я узнала о его смерти, я пришла, и сама не знаю, в исступление. Горела вся. Как благодарила я Бога, что нет у меня родства на земле и никто больше никогда уж не тронет меня. Верила, покинутую, меня сам Бог принял, я верила, беззащитной, Он послал мне ангела-хранителя на всю мою жизнь. И в слезах

безудержных — благодарных и горьких — поручала я себя Матери Божьей, клялась ей без ее воли не располагать собой — и что бы ни случилось, воля ее. И неустанно благодарила, что услышал Бог молитву: просила, и вот стало — я свободна, я одна во всем мире.

Но уж и тогда, чувствуя, только смутно, бессчастье свое и мечтая о какой-то жизни, не похожей на ту, что видела близко, о какой-то праздничной страде жизни, вся открытая к страстям, молилась:

— Господи, дай претерпеть, Господи, все претерплю!

6

Мне исполнилось шестнадцать лет.

Забыли ли покровители мои о слове — уговорить меня выйти замуж за Лихарева, либо у Лихаревых за этот мой рыковский год случилось что, сама я никогда не заговаривала, и от Рыковых все меньше слышала о них, а потом и совсем перестали упоминать.

У Рыковых меня любили, — спокойно, хорошо мне было на этом новом месте, только очень скучно одной.

И чтобы как-нибудь развлечься, стала я заводить знакомства с соседями.

Как-то гостила я у Щупаков, соседей Рыковых. Семья большая — много подруг. С подругами не скучно, и не заметила, как прошло время, и уж пора было мне домой уезжать, а страсть не хотелось: дома одной скучно, да и еще что-то, сама не знаю. Вот все и думаю, как бы так задержаться, не ехать, — Богу молюсь, чтобы случилось какое препятствие: задержаться.

А там, вот грех какой, и случилось — случился большой пожар: все село выгорело, дом сгорел, и только уцелела церковь.

Куда же мне было возвращаться?

Я и осталась у Щупаков, и время пошло еще веселее. Постоянно гости, вечера, — весело. Я знала, что многим я нравлюсь, и мне было приятно, что я нравлюсь, и за мной ухаживали. Особенно их дядя, Виктор Михайлович, уж не молодой, я видела, он во мне души не чает. В шутку, так, я дала ему слово. А по правде-то ни за кого не собиралась, за него и подавно — ведь он мне в деды годится! Конечно, в шутку: пусть будет, — вот смешно-то! — я его невеста, он мой жених. Много потешилась. А вышло-то совсем не так, совсем не до шуток.

Пока-то я развлекалась, да пока что, а у старших тайно от меня свое делалось, сделано было мне приданое, заново отделан дом. И к концу лета все было готово к свадьбе, оставалось одно — объявить нас женихом и невестой. Вот тебе и шутки!

И, наконец, назначен был вечер у Виктора Михайловича — жениха-то моего. Все наше семейство: и старые Щупаки, и молодые, подруги мои, — принялись за сборы. Я отказалась. Я сообразила, — еще бы! — но уж было поздно. И невозможно. Как! мне — не ехать? Да ведь для меня же и эти сборы, и этот торжественный вечер, нет, невозможно.

Гостей собралось, как на Пасху. И чего только не было наготовлено для торжества! Но это меня не занимало. Одна была мысль, что я сделала и совсем не подумала, не подумавши, сделала. Я все винила себя, и не знала как выпутаться. А на меня смотрели — каждый смотрел, как на невесту. И если про это громко не говорилось пока, все равно, что говорилось. И было мне: сквозь землю провалиться — одно спасение.

И на следующий день торжество продолжалось. И опять я — невеста, я — все. Мне показывали всякие хозяйственные вещи — ловили мой взгляд. Я хорошо понимала, что все это для меня собрано и без меня ничего не было бы. Мне показывали комнаты, и в заключение повели в нашу будущую спальню. Я больше не могла, я попросилась домой.

С каким тяжелым чувством вырвалась я на свободу, какие темные думы задавили мои свободные мысли. Во всем я себя винила.

Сказать прямо, что не хочу и не пойду замуж, на это я не решалась. Я не хотела выходить замуж, вся душа моя была против, а что-то такое останавливало меня решить так бесповоротно. А жениха моего Виктора Михайловича я просто стала бояться: тот мой прежний страх перед дядей проснулся во мне, и было так, словно дядя мой — их дядя Виктор Михайлович, жених мой — поднялся из гроба.

И вот я вспомнила... Я написала две записки — два жеребья: «идти» и «не-идти». Заворачивая записки, говорила к образу Божьей Матери:

— Тебе поручаю судьбу мою, скажи! Что скажешь, то и исполню.

С вечера положила я записки за икону. А наутро, помолившись, вынула. И сказано было:

— Не ходи.

Так и вышло: «не идти».

Словно с сердца камень — стало мне ясно и было уверенно, не должна я идти. Только за одним стало: как отказаться? Тут осенило меня: отпрошусь на богомолье в пустынь! И сказала, что хочу поговеть.

Поверили. Ведь это так похоже: я готовилась к новой жизни — решала свою судьбу! И меня отпустили.

Всем домом провожали меня Щупаки, и он тут был, их дядя, Виктор Михайлович, жених мой. С горьким чувством я прощалась: никто из них ничего мне дурного не сделал, а я с ними так — не так сделала.

— Через неделю лошадей пришлите! — обернулась я в последний раз, а в сердце говорила: — прощайте, никогда не вернусь!

7

В Глинской пустыни я остановилась в гостинице.

Нашлись знакомые монахи, — я видала их у Щупаков, приезжали на праздник со святом, — они меня и устроили. Лошадей я отпустила, сказала, что приехала поговеть.

Много было приезжих, попадались и дальние: всех привлекала Глинская пустынь, хотелось повидать и получить совет от строителя пустыни о. Филарета, — о праведной жизни старца шла молва по всей России.

И на другой день я его увидела. Не думала, старец сам зашел ко мне. И я рассказала ему всю мою странную жизнь до последнего дня и о сватовстве моем, все без утайки.

— Я так уверена, — сказала я, — не угодно это Матери Божьей.

Старец ласково смотрел на меня.

— Я решила идти в монастырь.

И увидела, как переменился старец, и не могла понять, отчего такая скорбь на лице его. Уж подумала: «Не наговорила ли я чего лишнего, или я говорила не так?»

Вдруг старец поднялся.

— Путь твой благой, но прискорбен, — пусть Бог управляет тобой, положись на него!

И когда я осталась одна, в вечерних сумерках невечерний свет осенил меня. Хотелось плакать мне не от страха, не от горечи, не от обиды, как плакала я, а от какой-то горькой радости, переполнившей мне сердце.

В монастыре звонили ко всенощной.

И вот без стуку, или не слышала, вошли ко мне в мою комнату три сверстницы. Присели ко мне и знакомое что-то рассказывали о бессчастной судьбе своей.

— Мы решили идти в монастырь!

— Возьмите и меня с собой! — обрадовалась я.

— Пойдем, ты нам будешь сестра.

В монастыре звонили ко всенощной.

И после всенощной четверо нас неразлучно — мы перебрались в одну комнату, — всю ночь друг с другом, друг другу за ночь все поверили. И до зари загадывали, как будем странствовать вместе, в монастырь поступим, какой подвиг возьмем на себя.

Отстояли раннюю обедню, а после молебна — в путь.

8

«Путь твой благой, но прискорбен!»

Я это на всю жизнь запомнила до последних дней.

Невесело начался путь. С первого дня разболелась: ноги у меня отекли, — не могу идти. Чего только ни делали сестры, — ничего не помогает. И пришлось нам расстаться: они дальше пошли, а меня приняла попадья вдовая. Так и расстались.

С неделю пролежала я у попадьи и вылежалась, — дело пошло на поправку. Добрая женщина эта попадья не захотела с меня брать, и я решила еще остаться у нее, думаю, как-нибудь отблагодарю ее трудами. Я умела шить и дочерям ее сшила, кому что понадобилось. И все остались довольны.

И одна вышла я в путь.

«Путь твой благой, но прискорбен» — вспоминались слова старца.

Вышла я на большую дорогу, посматриваю: боялась, как бы назад не вернуться. Так и шла. И вижу, впереди странники — и все женщины. Обрадовалась я, догнала.

— Куда Бог ведет?

— В Киев, на богомолье.

— И мне туда!

Обрадовалась я и с ними пошла. «Вот, — думаю, — Бог-то послал!»

И сначала все ничего, потом замечаю: смотрят они на меня — нехорошо. Недоброе что-то. Попробовала отстать, да они-то уж не хотят оставить меня: присяду отдохнуть, остановятся, ждут — ни на шаг без меня. Вот переглянулись друг с другом и вперед меня пропустили. Нет, все неспроста.

На мое счастье, едут порожнем почтовые. Я к ямщику.

— Ради Бога, — кричу ямщику, — спаси меня, возьми с собой!

Остановился ямщик.

— Заплачу, — говорю ему, — подвези!

Ямщик меня взял, только куда же везти?

— Да вези, — говорю, — к священнику.

— К какому?

— Куда ближе, мне все равно.

А ближе было к той, к моей попадье вдовой.

И опять я на старое место попала.

А на следующий день узнаю: этих странниц-то, спутниц моих, в город привели связанных. Говорили, что товарку свою зарезали — заметили их, когда уже мертвую в лес волокли закапывать, тут и захватили.

Очень я встревожилась. Этот случай с зарезанной не выходил из памяти. И ни за что бы, кажется, одна не вышла из дому. Прошел день, другой. Добрые люди успокаивали меня. Раздумалась и опять решила: пойду, что Бог даст! И пошла.

«Путь твой благой, но прискорбен» — вспоминались слова старца.

И одна все шла. Бог миловал, не видала обиды. Встречали меня приветливо, кормили и поили меня. И было мне вольно, и мир весь со мною был.

Так я шла с неделю, Бога благодарила.

Иду и не нарадуюсь — как хорошо в Божьем мире! — а уж вечер, пора и о ночлеге подумать. А возвращаются, вижу, с поля работники. Поравнялись.

— Куда идешь?

— К святым местам, — говорю.

— Иди к нам, переночуешь.

Поблагодарила я. Думаю: «Добрые люди — и не прошусь, а сами, зовут!» И пошла с ними.

И привели они меня в дом: хороший дом, — богатые, видно. Сели ужинать и меня накормили.

«Вот, — думаю, — отдохну-то, добрые люди!»

Уж дремлется, а хозяева все сидят, из-за стола не выходят. И вижу, в горницу народ набирается, и набралась полна горница. Вдруг поднялась хозяйка, притушила свет, — чуть огонек.

— Идите, — говорит, — девки, в клеть, возьмите и странницу!

Слава Богу, наконец-то! Едва различаю, так меня сон морит.

Каморка тесная, темная. Постели уж постланы. Скоро все улеглись. Не раздеваясь, повалилась и я. А сон и прошел. Не могу уснуть.

Я лежу бессонная и не знаю, с чего-то мне страшно — все жду чего-то. И до рассвета не сомкнула глаз. И только что светать стало, вошла в каморку старуха, разбудила соседок. Я тоже схватилась.

— Еще рано, спи, — не пускает.

— Нет, я пойду, — говорю, — мне пора!

И только те за дверь, входит мужик. Тут я совсем оробела.

— Мне пора, — говорю, — пустите меня!

— В подклеть! — сказал мужик старухе и вышел.

Старуха дверь за ним притворила. Что было наложено вдоль стены, все поснимала.

Стою и не знаю, чего ждать? Вижу, в стене плетеная дверка. И как увидела я эту дверку, взяла меня дрожь.

А старуха обернулась, да за руки — и потащила.

Ничего я не помню, только когда я очнулась, такая тоска. Долго я плакала, ничего сообразить не могла. Потом раздумалась.

«Верно, я заслужила такое!» — и приняла свою участь.

Голодом меня не морили. Какие-то женщины давали мне хлеба. В полутьме я едва различала. Молча они входили, ну, хотя бы слово, все молча.

И зачем меня в подклети держали, не понимаю.

«Верно, я заслужила такое!» — повторяла я, тем и жила.

Я молилась. Божию Матерь просила: пусть будет воля ее надо мной! Я была ко всему готова.

Как-то ночью опять такая тоска, места не нахожу. Нет, больше нет моих сил! Стала я шарить и отыскала лазейку. И вылезла из моей темницы. Очутилась на дворе. Звездная ночь. Никого. Только стоит среди двора какой-то мальчик, и как свет от него звездный, и тут же запряженная повозка.

— Садись! — и сам вспрыгнул проворно.

Я скорее в повозку. И лошадь помчалась. Ехали лесом, полем и лесом. Мальчик ни слова со мной не промолвил, не обернулся. На рассвете остановил лошадь.

— Слезай! — сказал и сам спрыгнул.

Я едва на ногах держалась.

Смотрю на дорогу: куда мне теперь? И странно, ни повозки, ни мальчика. Спросить-то не у кого.

И вижу, — Господи! — сестры мои благословенные, с которыми я рассталась в первый мой день, они шли по дороге. Бросилась я к ним — все беды забыла. И они ко мне, — или и их путь — беда?

И в то утро, в эту встречу, мы поклялись друг другу больше никогда не расставаться: будем вместе всегда и вместе умрем!

До холодов мы ходили вместе. Побывали и в монастырях, и в пустынях. Мы присматривались к монастырской жизни. Испытывали свои силы. Мы укрепляли друг друга, терпеливо перенося и труд, и горечь.

Завернула зима, и мы разделились: я и сестра Арианда, мы пошли в Киев, другие же сестры к угодникам — на север.

9

Под Киевом благословил нас Бог определиться в монастырь.

Полгода мы прожили на общем послушании, — все, что нам прикажут, все делали. Потом поставили нас на правый клирос. И у меня, и у сестры Арианды был голос, и тяготы мы не чувствовали, напротив.

Мы вместе дали обет постричься и готовились вместе. Неразлучно. Да не по-нашему вышло, не привел Бог. Разлучились: на другой год померла Арианда — сестра моя благословенная.

Я оставалась клирошанкой, и к празднику меня сделали канонархом. И это меня не обрадовало и не утешило. Без сестры моей тоскливо проходили дни, — я с ней сдружилась и полюбила ее, как сестру.

Трудный выпал мне год.

Прежде, бывало, когда жива была Арианда, ко мне все были добры и послушницы, и монахини, и вдруг все переменилось. Бог знает, чего только ни наговаривали на меня молодые — или из зависти? — и в чем только ни подозревали старые. Больше терпела я от монахинь. Был ли с их стороны умысел — испытать терпение послушницы — или уж так бывает всегда по слабости человеческой изводить подначального, не могу сказать. Конечно, я должна была все терпеть — я готовилась к постригу! Я должна была на все укоры и упреки и совсем напрасные отвечать кротким молчанием, а я оправдывалась, и дело доходило до криков, и меня уж поедом ели. И в отчаянии впадала я в уныние, мое сердце ожесточалось, и молитвы мои, такие ясные и покорные, горько вышептывались жалобой.

А тут и новая беда. Испугалась — стало мне казаться, что по летам моим рано, — мне шел восемнадцатый год, — рано мне еще с миром расставаться, и не следует ли и еще послужить Богу без пострига?

Скажу по правде, тайная мысль о замужестве останавливала меня.

И эта мысль приводила меня в ужас — ведь я дала обет постричься!

Я знала, что я многим нравлюсь, видела, как на меня заглядываются, когда выхожу на амвон канонаршить. И мне было приятно, что я нравлюсь, а находились и такие, что и мне самой нравились.

Ожесточение и горькая молитва, тайные грешные мечты и такой укор, на свет не смотрела б.

Я теряла последнюю уверенность.

И сны по ночам мне стали сниться странные.

Я расскажу один сон, особенно поразивший меня в ту страдную пору моей жизни, а приснился на праздник Преображенья.

Стою я будто на нашем монастырском дворе и слышу в воздухе над моей головой разговоры, но кто говорит, не видно. Называют меня по имени, говорили, что меня громом убьет. А шла

большая гроза, и такая страшная. Стала я каяться, прошу пощадить меня. Молонья сверкнула. Заплакала я: не миновать уж. И слышу:

«Ты не увидишь того, кто говорит с тобой».

И был этот голос внезапный, как молния.

Содрогаясь, я плакала.

И вот небо стало очищаться, тучи разошлись, просветлело.

Иду по двору к дому. У дверей мальчик загородил мне дорогу, тот самый, что спас меня когда-то, в руках у него два серебряных подсвечника, свечи зажжены.

— Ты хочешь знать, — сказал он, — какая у тебя смерть будет, ты Бога просила! — и, подавая мне свечи, отворил дверь.

И только я переступила порог, ударил гром, и правая рука моя загорелась от боли, а свечи погасли.

— Меня гром убил! — закричала я, изнывая во тьме.

И опять я на нашем монастырском дворе. Свет не похожий — не солнечный, не вечерний, ни день, ни ночь, и в свете Спаситель, а у Его ног семь дубовых кадей полны пшеницы.

Я протянула руки мои —

И Он благословил меня:

«Иди в мир!».

Так и слышу, и тоскою на сердце лежит:

«Иди в мир!».

10

Мне назначили новое послушание: мне велено было по домам ходить для отправления служб — читать по покойникам псалтырь, ухаживать и утешать. Судьба привела меня в богатый купеческий дом к Каблуковым. И там сам хозяин Каблуков, человек уж пожилой, с год как овдовевший, сделал мне предложение. Почему-то это меня страшно оскорбило, я резко отказала, и, в тот же день, не дожидаясь своего срока, ушла назад в монастырь.

С возмущением рассказала я матери Агнии — старой монахине, у которой находилась под началом. И ждала, что наставница моя заступится за меня. Но, к удивлению моему, мать Агния не только не выразила никакого сочувствия, а мною же осталась недовольна. А когда разнеслось по монастырю о моем поступке, старые манатейные монахини открыто порицали ме-

ня, ставя в вину мне и мое самовольство — самовольно я оставила дело, ушла от Каблуковых, устав нарушила послушания! — и мой ответ Каблукову! как могла я себе позволить резко, неподобающе, говорить со старшим и уважаемым человеком?

Не без ведома игуменьи, тоже не одобрявшей мой поступок, меня снова назначили к Каблуковым. Умерла у них тетка, и вот для отправления сорокоуста меня и назначили. И на этот раз не одну, а с наставницей моей матерью Агнией.

Мать Агния оказалась приятельницей старухи Каблуковой, матери хозяина, и я видела, как старухи все шушукались да следили за мной. После уж я узнала, что Настасья Федоровна была в заговоре с Агнией, и Агния для нее старалась. Сам же хозяин Иван Антипович по-прежнему не сводил с меня глаз, я это чувствовала и видела, но никаких предложений, ничего такого, будто ничего и не было.

Окончив службы, мы вернулись в монастырь. Еще дорогой Агния заводила со мной разговоры, и не трудно было догадаться, к чему клонила. В монастыре же, в келье, Агния откровенно принялась уговаривать меня выйти замуж за старика Каблукова. И на все мои возражения, ничего не слушая, приводила свои неоспоримые доказательства, — Каблуковы славились на всю округу, Каблуковы были первые вкладчики в монастыре! — и в конце концов выходило как-то так, что замужество мое будет угодно Богу.

Если бы Каблуков был мне по сердцу! Нет, меня все возмущало, и эту старую своднюю, наставницу мою... да просто я и не знаю, что бы с ней я тогда сделала! Я крепилась, я хотела взять кротостью, так полагалось мне: ведь я готовилась к постригу! Но когда за Агнией напустились на меня все наши монахини, я больше не выдержала.

— Грех вам, — крикнула я, — выгнать меня хотите! А не хочу, не хочу! Уйду я от вас!

Монахини примолкли, и, перебирая четки свои, искоса посматривали на меня, и от глаз их злых и укорных, и молчания невыносимо становилось. Нет, больше оставаться в монастыре невозможно было. И я решила тайно: уйду. И стала собираться, будто на богомолье.

Но видно, Божьего не избегнешь.

Или неугодна я была Богу?

Как в угаре жила я эти дни. Слышала, каким голосом голос звучал мой. Это сердце мое в голос выговаривало свою жалобу, желания мои несказанные голосом сердца сказывались к Богу.

На Покров за всенощной вдруг словно темная волна прошла вот тут через меня, затрясло меня всю, и не дождавшись величания, я ушла из церкви. Ночью жар сковал мне голову, и я не могла пересилить себя, не могла остановить мыслей — они, как огненный клубок, завертывались и развертывались. А наутро без памяти я лежала в горячке.

11

Первое, что меня поразило, когда я очнулась, вижу, не в монастыре я — не в келье моей тесной и белой, а у Каблуковых в их богатом доме, и у кровати моей старуха-мать сидит, Настасья Федоровна.

А было это так: узнав о моей болезни, сам Каблуков упросил игуменью, и больную, без памяти, меня перевезли, будто в больницу, в их дом.

Мне оказывали самое трогательное внимание. Настасья Федоровна не отходила от меня, и сам Каблуков постоянно наведывался. Часто наезжал доктор. Как за родной, ухаживали.

Когда же стало мне легче, стала я поправляться, и доктор позволил мне выходить, я тотчас же собралась в монастырь. Но об этом и слышать не хотели. И принуждена была остаться: я решила отблагодарить их чем-нибудь за их хлопоты и участие, — как за родной ведь ухаживали. И совсем поправившись, помогала я Настасье Федоровне по хозяйству, исполняла всякие ее поручения.

Так и прожила я у Каблуковых с полгода.

И за все это время про старое ни разу и не вспомнили, и мне казалось, что улеглось все. Я ошиблась: сначала намеками, потом уж открыто стала меня упрашивать старуха выйти замуж за ее сына, за старика, и сам старик снова заговорил со мной о женитьбе.

Я им была очень благодарна и, может быть, недостаточно отблагодарила их за их участие, но решиться на такое я никак не могла. Иван Антипович — человек хороший, я это видела, и за полгода убедилась, но любви-то у меня к нему не было.

Кротко, уж совсем по-другому, выслушивала я все его признания.

Но надо и мне было, наконец, ответить.

— Обождите, — сказала я, — поеду в монастырь, посоветуюсь, тогда и скажу.

Такой ответ мой взбудоражил весь дом, словно в простых словах моих все было — все решение мое. Ждать не заставили, и в тот же день я поехала в монастырь.

А как в монастыре мне обрадовались, и не думала. И все я забыла, все огорчения, — как в родной дом воротилась. Лошадей я отправила назад к Каблуковым, велела сказать, что остаюсь говеть, и просила за мной приехать на первый день Пасхи.

В монастыре я сказала, что думаю год еще прожить у Каблуковых в благодарность за их участие — как за родной ведь ходили! — а потом навсегда уж вернусь в мою тесную белую келью. На службе я стала с самыми последними в притворе. Это заметили и стали уговаривать меня взойти на клирос.

— Полгода уж будет, как Матери Божьей не служишь.

И от этих слов, как громом, меня ударило.

Я упала перед образом Божьей Матери и плачем бессильным, плачем отчаянным заплакала.

— Благослови Ты меня, Матерь пречистая! Вот я вся тут. Как тебе угодно! Не отступлю от тебя.

И приняв от игуменьи благословение, оделась в монашеское платье и опять стала на клирос на старом своем месте. Мне велено было начать последнюю седмицу — страстную.

12

Пасха в тот год была ранняя.

Почерневшее мартовское небо над белым снегом показалось мне в те дни оградой — мне мир был тесен.

Без срока в служении прожила я страстные дни. В Великую субботу приобщалась. Последний мой час близился.

И как там, в лесу, клялась я Божьей Матери, одной моей заступнице, — в ее волю, под ее покров отдавала себя.

И вот в Великую субботу после обедни, когда в церкви, кроме меня, никого не было, я сделала два жеребья — две записки, на одной написала — «в монастыре быть», на другой — «замуж

идти», свернула записки и положила за чудотворный образ Божьей Матери.

— Матерь Божья, благослови!

Едва дождалась заутрени. Все горело во мне: сердце горело, душа горела, дух изнывал. Как в огне прошла и заутреня.

— Христос воскрес! — слезы горели, и был мой голос на весь мир: — Христос воскрес!

А когда кончили христосование, перед обедней я подошла к чудотворному образу Божьей Матери, тихонько протянула руку, незаметно взяла свой жеребий.

И мне вышло: «идти».

Снова завернула я записку, смешала, не поверила.

«Матерь Божия, ты меня выгоняешь?»

И еще раз вынула.

В глазах у меня потемнело: то же и опять — «замуж идти».

«Стало быть, идти!»

— Иду, воля твоя! — поцеловала я образ Матери Божией и пошла на клирос, руки дрожали.

Кончилась обедня, вернулась я в мою келью. И только что к столу присела, слышу, зовут: лошадей прислали от Каблуковых, ехать! Ну, что же, надо ехать, — и сейчас же к игуменье.

— Благословите, за мной прислали! — я сказала так твердо, словно была вне воли и выше всякой власти.

Игуменья посмотрела на меня, но, должно быть, вид у меня был необычайный, и поспешно поднялась с кресла.

— Христос благословит и Матерь Божия! — перекрестила она меня и, подавая просфору, шутя: — может, замуж пойдешь?

Я ни слова не ответила, поцеловала ей руку.

И вернулась в келью. И как-то мне все безразлично. Матерь Божия, спаси меня! Тут вошла Агния, вижу, все знает. Попрощались. И не оглянулась я, поехала, чтобы никогда не вернуться.

И всю-то дорогу меня колотила ледяная дрожь.

У ворот встречает старик Каблуков. Не разговлялись, меня ждали. И прямо сели за стол.

— Христос воскрес!

А я, как мертвая...

— Христос воскрес!

Не могу, не могу я ответить.

Сидим, разговляемся. Тут мать-старуха Настасья Федоровна напоминает обещание.

— Ну, что, решилась?

И я сказала, — конечно! — и слово ему дала.

И сейчас же благословили — мать благословила Казанской.

— Христос воскрес!

— Воистину, — говорю... «воистину», — Господи! Господи!— а на сердце-то смерть.

Две недели шли сборы к свадьбе. И все я держалась и только в последний день не могла осилить тоски моей, вдруг расплакалась — и не могла удержать слез, плакала бессильным плачем, отчаянным. Видела, что огорчаю, я знала, что не надо этого, и не могла остановиться.

Старик, видя слезы мои, долго не решался подойти ко мне, около тихонько ходил: видно, боялся потревожить. И помню, под вечер уж, ласково так подошел:

— Чего вы все плачете?

Резко я ответила:

— Я вас любить не буду.

— Неужто нет? — и отошел, и стоял, сгорбившись, я видела, совсем, совсем старый, глаза закрыл, — «неужто нет?»

А когда обернулся, я уж не плакала.

13

Долго в народе молва ходила: богатый купец, старик Каблуков женился на молоденькой монашке! Конечно, в глаза никто не скажет, боялись, а так — много злословили. Ну, Бог с ними!

Бог благословил, пошли у нас дети. За пять лет — пятеро, все мальчики, только последняя — девочка.

После рождения дочери жизнь наша изменилась. И произошло это совсем неожиданно.

По старой монастырской привычке ночью я встала на молитву и вот однажды во время молитвы я почувствовала, как душа моя словно оторвалась от тела. И я увидела в окне свет необыкновенный и в свете Божию Матерь. Страх овладел мною, я бежать хотела от страха, да только что выскочила из спальни, а Божия Матерь идет навстречу и мимо меня, не замечая, в мою спальню. А в дверях соседней комнаты архангел с обнаженным

мечом. Божия Матерь стала посреди спальни лицом к образам, — в руках золотая труба: она поднесла трубу к губам, дунула и полетели из трубы цветы и огни и цветы, как звезды. Стала я на колени у порога:

— Царица небесная, ты пришла не для одной меня, помилуй, пощади род человеческий! — и в землю ей поклонилась.

А когда поднялась я, ее уже не было. Со страхом заглянула я в соседнюю комнату — и архангела не было.

И вот с этой ночи жизнь наша изменилась.

Мы продолжали жить вместе в одном доме, муж занимал одну половину, я — другую. По утрам мы сходились в столовой. Жизнь наша была для детей. Нам хотелось, чтобы вышли из них совестливые люди. На их воспитание мы ничего не жалели. Подготовив сперва дома, отдали в училище: старших — в корпус, младших — в гимназию.

Мы не тяготились ни детьми, ни друг другом. Время проходило в заботах. И двадцать два года прожили мы вместе. Я к нему, как к родному отцу, а он — ровно дитя я ему, так и называл. Ведь он был вдовец, и от первой жены у него не было детей, и я первая заменила ему ребенка.

А какая для него была радость, когда родился наш первый сын! От радости он плакал, благодарил Бога и просил у Бога, дал бы Бог дождаться увидеть сына взрослым.

И дождался: старший наш сын женился, и дочь замуж вышла.

И умирал старик счастливый, спокойно.

Завещал он перед смертью детям жить по-Божьи, по совести и быть справедливыми.

Смерть его у всякого останется в памяти. Редко человеку пошлет Бог так окончить дни, — все сам себе приготовил, пособоровался, приобщился, и не лежал, а все бродил, со всеми прощался, словно готовился в дальнюю дорогу.

И ушел — как это все странно на белом свете!

14

Я завела для себя в доме строгий монастырский устав. Я отказалась от мяса, никогда не пила вина, и молочное, и яйца не ела, и лишь зелень да коренья были едой мне. Трудно, но я отучилась и от хлеба. И только в праздник от-

щипну, бывало, просфоры кусочек да глоток святой воды, вот и все.

Я часто думала о смерти. Особенно же в ночную пору, когда оставалась одна с моей растерзанной тайной думой.

И вот однажды, помолившись на сон грядущий, я легла. Обыкновенно перед тем, как ложиться, я поправляла лампады, а тут забыла. Уж в постели я спохватилась: лампады слишком жарко горели, — и хотела покликать старуху-няню нашу Ульяну, и странно, все вижу и слышу, а сказать не могу.

Хочу позвонить, — рука не подымается. Смотрю — ничего не понимаю. Попробовала подняться и тоже напрасно: не шевельнуть ногой — омлели и холодеют ноги, и руки омлели и холодеют, и где-то внутри заныло, — все онемевает.

А лампады жарко горят, вижу.

Я видела жарко горящие лампады и не могла ничего поделать.

На спине лежу, руки крестом.

«Верно, смерть!» — подумала я и мысленно прошу Бога о моем согрешении, простить душу мою измученную.

И какая горечь, что одна я, — одна умираю, и никого! — и детей не могу позвать. И с горечью представляю себе, как наутро найдут меня — тело мое захолонутое.

«Господи! — отчаяние охватило меня, — Господи, не хочу, спаси!»

И вдруг словно ударил меня кто по лбу, но без боли, и глаза мои под лоб закатились.

Больше уж ничего не видела, я лежала как плаха и только чувствовала, — захолонула совсем, остановилась кровь — и сердце не бьется.

«Господи, воля Твоя!»

Много народа понабралось в мою спальню. Кто-то всхлипывает жалко. И вот тащут меня с кровати, — тяжело, видно.

— Обмывайте получше, голову-то мочите! — говорят женщины.

И мне так хочется подняться, и я все пробую ухватиться за что-нибудь и бессильно томлюсь!

«Ведь это же обморок! — говорю себе, — конечно, обморок. А думают, умерла! А вот приду я в себя, я вам тогда покажу!» — и я все пробую ухватиться за что-нибудь, и бессильно томлюсь.

Начинают одевать меня.

Кто-то уверяет, будто не велела я на смерть чепчика с лентами надевать. А другие говорят, какое платье я назначила себе, какую рубашку и платок.

И все неправда: никогда ничего я себе не назначала, никакого чепчика, ни рубашки.

И досадно мне, и обидно, и ничего я не могу поделать.

Не знаю, во что нарядили, чувствую, одетую понесли. Не знаю, где положили, чувствую, что лежу.

«Теперь уж похоронят, живую похоронят!» — и смертельная тоска заливает мне сердце.

Кто-то заплакал. Жалобно как плачет! Пришли, трогают, — снимают с меня мерку на гроб. А так бы вот ногой и пхнула всех, всех! А ничего не могу.

Зачитали псалтырь:

«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых»...

Кто-то сказал:

— Свечи не горят. Зажигайте!

И чувствую, как свечи зажгли, свечи горят.

Все понимаю, чувствую, и только глазами не вижу. И какое отчаяние, и страх, и тоска смертельная! Кажется мне, что так годы прошли.

— Все готово. Батюшка приехал.

И чувствую, гроб несут.

— Поближе ставьте! — говорит кто-то.

О чем-то заспорили. Шумно, не разобрать. И очень душно — свечи горят.

Началась панихида. Слышу знакомое пение. Свечи и ладон. Всем слухом слушаю, — каждое слово так ясно. А когда протянул дьякон «вечную память», как громом оглушило меня.

Знаю, в гроб меня положили. Знаю, выносят. Слышала спор: что-то не так гроб повернули! А когда несли по улице, желтый свет, такой желтый, плыл в глазах, а людей я не видела, только желтый свет. И мне так хотелось подняться и сесть.

Принесли меня в церковь, поставили гроб и началась обедня.

Господи, а как небрежно служили, я едва поспевала за службой.

Уж идет погребение. И я с болью ловлю всякое слово, всякое слово мне ясно до боли. А когда ударили в колокол, меня опять оглушило.

Знаю, евангелие кончили, а там на воле перезвон погребальный. Священник прочитал отпускную молитву, поклонился и пошел в алтарь. На минуту все затихло. И стали прощаться. Но мне уж никого, ничего мне не жалко. И когда подняли заколоченный гроб мой, было мне так, будто я домой шла.

И вот поставили гроб у могилы, повязали веревками, — ну, и прощай! — опустят в могилу. Я заглянула в могилу, а на дне там, — жаба, вот такая сидит: жаба.

— Не моя! — закричала я во весь голос, — не моя могила!

И глаза мои прозрели.

Часть вторая
С ТОГО СВЕТА

1
Горькая чаша

Вижу помраченный мир от явившихся полков темной неисчетной силы. Они брали власть над землей. И запасов орудий мученских было у них без числа: крюки, колеса, лапы, плети, доски, топоры. Духом они разжигали железные печи.

Какая горечь, какая горесть!

Врагу дал Бог прельщать человека и позволил мучить.

У главного чаша в руках. Царем и Богом себя называет. Воины подводят к нему народ. И из чаши он напоевает несчастных. Другой держит доску: красками намалевана голова обезьянья. И те, несчастные, целуют ее, как пречистый образ.

Тем, кто отпил из чаши, полагают печать на лоб и ведут во дворцы: там музыканты играют и нарядные танцуют гости, там пьют и едят, и веселятся. И какая разгулка, какое довольство! А уж тех антиевых печатей им никогда не сбросить.

Но есть и такие, не хотят и не даются они темной силе, не пьют из горестной чаши, не кланяются голове обезьяньей. И за то терпят злую муку. Для каждого есть своя мера мучения:

сколько заслужил человек за прошлую жизнь свою Божьего гнева, — измучив его, оставляют, и больше мучить не смеют.

Претерпевый муку врага, спасется.

Обступил меня темный полк. Уж я и так и сяк увертывалась от них, но они подстерегли меня. Как мухи летают за мной. И вот схватили и тащут.

Вижу, рад — оскалил пасть: сам подошел, сам наклонил ко мне чашу, и насильно толкнул ее к моим устам.

И прикосновение чаши учинило мне горькость в устах и гортани, подобно скотской желчи,

— Я не приобщалась тайн ваших! — крикнула я.

И, отступив, плюнула в чашу.

И тогда воины взяли меня.

Растянули меня на измазанной липким дегтем коже. И как дождь завыли надо мной плети.

Били, не чувствовала, только глазам моим было ужасно. И долго терпела я, и больше не стало сил:

— Господи, защити меня!

И тогда бросили плети и повели меня на другое мучение.

Посадили меня в железную печь. Дверцу замазали. По стенке полезла я на самый верх и под трубой затаилась на жару. Не больно, но было мне томно, голова кружилась. Слышу:

— Печь прохолонула!

И начинают отбивать печь: верно, думали про меня, давно задохнулась. Отбивают печь. А я потихоньку спускаться.

Печь открыли, я вышла — невредимая.

У! как злы они!

Врагу не дал Бог права насильно распоряжаться душой.

— Что же, — говорят, — с ней делать?

А я поднялась на воздух и летела. И большими темными птицами летели за мной их злые полки.

У берега широкой реки спустилась я.

Тут нагнали меня и вмиг из птиц переменились в воинов.

Какая сила! Зачем? И столько хлопот из-за одной грешной души! Всю мою жизнь меня гонят? Но я положила жить для Бога и терпеливо ждала.

Слышу, держат совет: я должна отречься от Бога.

— Видишь мост, мы тебя переведем на тот берег. Не будешь мучиться больше. Там тебе будет совсем хорошо.

А мост широкий-преширокий и крепкий, а поодаль вровень с мостом проложены тонкие жердинки.

Но я должна отречься от Бога!

— А давайте, — говорю, — вы по мосту, я — по жердинке, но с Богом, и кто скорее перейдет?

И! как заравгали.

И заиграла музыка.

Начальники о чем-то шептались, показывали то на меня, то в поле — поле было покрыто их темными войсками. Ко мне приставили стражу: я должна была выйти не раньше, пока вся их сила ни ступит на мост.

И вострубили трубы по-трубному.

Кричат с моста:

— Пускай!

И я пошла. И жердь заколебалась подо мной.

Они старались, они хотели опрокинуть — то подымут жердь, то опустят, — вот-вот ко дну.

— Господи, помоги! — и я крест на себя положила, — Господи, прости меня!

И вмиг, как птица, быстрее птицы, перелетела на другой берег. А вражья сила не перешла и половины.

Я с берега смотрела. — Там начал мост делиться на куски. И я от радости кричала, я закричала с берега всей темной силе:

— Силен Бог мой, Ему поклонитесь, поклонитесь Ему. Он простит и вас!

2
Черные жилища

Мост был разрушен, а перевоз занят солдатами: солдат перевозили в город. И так их было много, из города уж никого не брали на тот берег.

И я решила скорее назад ехать к тем моим знакомым, где я только что останавливалась: все равно, на тот берег не перебраться, — не пропустят, а в городе разместят по домам солдат и переночевать негде будет. Взяла я извозчика, заторопила ехать скорей. Извозчик попался хороший и живо меня довез.

И уж как я обрадовалась, что будет мне кров.

Но и как была принижена, когда вошла в знакомый дом, он был полон народу, — это была западня. И не одна я была такая, и все мы понимали, что не уйти нам, и нет спасения.

Среди темных я заметила и знакомых моих, хозяев дома, с которыми всего час какой так дружно расссталась. Они меня видели, но делали вид, что не знают. И я слышала, как бессовестно они наускивали на меня и наговаривали.

А я не хотела сдаваться. И одна была мысль — уйти! Я тихонько пробралась к двери. Минута была подходящая, — вводили какую-то несчастную женщину, — и я юркнула из комнаты. Я прошла незаметно весь коридор до сеней. Но тут и схватили меня.

И я узнала их — это были враги моей души.

— Иди за нами! — накинулись злые.

И я не могла не идти.

* *
*

Огромное здание — театр. Битком набито.

Вереницами вверх и вниз идут и идут. — Одни шли так, не глядя, куда было указано, другие озирались, и шаг их был нетвердый.

Я увидела нашу соседку.

— Как ты сюда попала?

— Это тайность, — сказала она и пошла прочь, не обернулась.

Сначала я стояла у входа на высоком месте, и мне все было видно.

А что там только не творилось!

Там были и души тех, кто еще живет на земле, а страстями своими еще на земле получил свой загробный предел, и терзания их были те же, что будут и после смерти.

Нераскаянный, неоттрудившийся, умирая, продолжает делать все то, что и в жизни, по своим страстям. Разница та, что по смерти нет уж воли остановиться, а демоны страстей понукают и грозят:

— Ты наш! ты наш!

Театр был разделен на отделения, и в каждом отделении было несколько комнат; комнаты были всякие — и большие, и тесные, и просто чуланы. Окон нигде не было, горели фонари и лампы.

В веренице, подвигаясь от входа, я шла за народом. В одни отделения я входила свободно, в другие меня не пускали.

— Она этого не знает и пусть не видит! — кричали оттуда.

Смрад и дым душили меня.

Я слышала плач ужасный:

— Горе нам! горе!

И другие говорили.

— Поздно. Не вернутся. Погибли!

И был крик, вопь и бой.

Какие-то в серп согнутые человечки шныряли туда и сюда. Они не прикасались ко мне, но я чувствовала, они как бы в сетях держат меня.

— Поймаем! — шептались они, — попалась! поймаем!

Я от них в сторону и прямо к двери. Толкнула дверь и очутилась на воле.

А мой извозчик — тот, что привез меня с перевоза, ждал у ворот. Вот уж обрадовалась-то!

— Вези, — говорю, и, не дожидаясь ответа, сажусь.

А он только вожжей передернул, — Слава Тебе Господи, поехали! И все шибче и шибче, — в глазах замелькало. Начинаю кричать, а извозчик, словно оглох, знай, нахлестывает. И вдруг поняла я, вижу, на облучке присоседился, за кушак держится такой в серп согнутый, проклятый шептун.

«Ну, — думаю, — теперь уж пропала!».

* *
*

Ярмарки, — лари и лавки... Я слезла с извозчика, а уж тех шептунов туча и все на одно лицо, в серп согнуты. Повели меня по лавкам, и чтобы я непременно чего-нибудь себе купила.

— Покупай, все можно.

— Денег нет, — говорю.

— Не беспокойся, сколько хочешь, достанем.

— В долгу не хочу быть.

— Да бери, бери! — и суют бумажки, так и цепляются.

— Не надо мне! — прикрикнула я.

Отстали. Или куда шмыгнули в лавку? Господи, вот напасть! Хожу так, смотрю. За толпой далеко ушла. И опять, вижу, ковыляет, проклятый: один огромный тащит кусок материи.

— Ну, зачем ты это?

— Я деньги заплатил! — и сам едва дышит: уж больно много зацапал, не по силам.

— Ну, ладно, — говорю, — отнеси на извозчика.

И как только потащился он с своей тяжестью, я — бежать. Бежала, бежала, все шибче и шибче, ног уже не слышу и взлетела на воздух. Пролетела весь город над ларями и лавками мимо собора, мимо водокачки, ну, довольно, — спустилась за заставой у завода.

Теперь уж никто не пристанет!

Оглянулась, а по полю погоней народ, ой, сила какая! — на меня указывают, конечно, за мной. Я скорее в заводский корпус, затворила дверь плотно.

Все машины, а по стене и вверху ходят колеса. Что мне делать? Я на самый верх к колесам и с колесом завертелась.

Я видела, как ворвались в корпус и разбрелись по углам: ищут! А я захлестнулась, да через ремень и выше — на самые верхние колеса. И очутилась в тесной душной каморке.

И лежит на койке. — Сразу-то я не разглядела, мне только очень жалко его, больной вижу, тяжело дышит. Подхожу я поближе, наклонилась.

— Не надо ли, — говорю, — чего? Не поставить ли вам горчичник?

А он головой мотает. — Да как сдернет с себя одеяло.

Какой ужас! — Я его узнала. Это тот, это он, у которого видела я в руках чашу.

3
Умран-Королевич

В старинном городе я с моей любимой сестрой Ариандой. Все так чудесно и узкие улицы, и раскрашенные дома, но из всех диковин один дом приковал нас.

— И кто может жить в таком дворце? — рассуждали мы, — и хоть бы глазком заглянуть!

Долго мы не решались, а отойти не могли, и, наконец, уж осмелились и тихонько вошли во двор. На дворе ни души. Мы смелее. Поднялись на крыльцо. Так и попали во дворец.

А там чего только нет. Из комнаты в комнату переходили мы, и все бы, кажется, смотрел, уходить не хотелось. И хоть бы кто-нибудь отозвался на наши шаги! Никого. Ни живой души. И мы решили: дворец брошен, хозяев нет. И ну кричать и бегать, как дети. И вдруг нам навстречу из комнаты женщина, в руках большое блюдо, а на блюде маленький хлебец — розаночек.

— Зачем вы пришли сюда?

— Нам очень дом понравился. Хотелось узнать, кто тут живет?

— А вам это очень нужно? Ну, идите за мной! — и пошла.

И мы за ней.

И водила она нас по комнатам, из комнаты в комнату, подвела к огромадной двери, вынула ключ, глубоко вставила ключ, повернула.

Со стуком и треском откатилась половина двери.

— Смотрите на потолок!

Это был высокий зал с разными стеклышками, а на потолке в кругах царские портреты.

И вижу я, глаза на портрете поворачиваются, как живые. Я дернула сестру. А она и сама тоже почувствовала. И мы отступили к двери.

— Бежим поскорее отсюда! — шепнула я ей.

* * *

Мы ходили по дворцу, ничего уж нас не занимало, только бы уйти поскорее! И опять та женщина, от которой мы убежали, вышла к нам навстречу, опять с большим блюдом в руках, а на блюде по-прежнему лежал маленький хлебец — розаночек.

— Что вы тут все ходите? Скоро царь приедет! — она отворила шкап и полезла в него, потом закрыла за собой дверь.

Попробовали и мы туркнуться в шкап, да заперто. Постучали, — не отвечает.

Из комнаты в комнату. — Мы метались, стучали. Или заперты двери, или попадаем в тупик. Наконец-то очутились в коридоре, а из коридора дверь на волю.

И видим, подымается на крыльцо царь и с ним его слуги.

Куда нам деваться?

Я скорей за дверь, затаилась.

«Пройдут, — думаю, — тогда и выйду, все равно, одна выйду!»

Я стояла одна за дверью.

И вот распахнулась дверь, и вошел царь.

Я его видела близко. И вдруг глаза наши встретились. Он улыбнулся и, наклонив голову, пошел дальше. С ним шел юродивый Тимоша, и юродивый тоже видел меня.

— Ну, вы, шевелитесь живей, сендюконы! — кричал юродивый.

И когда затихли шаги в коридоре, я свободно вздохнула. Слава Богу, на волю! У наружных дверей стояли часовые, охраняли вход. Нет, никак не выйти! И тоже за дверью долго не простоишь.

«Господи, что же мне делать!»

* *
*

Я стою у шкапа, где пропала та женщина с розаночком. Тут же и моя сестра Арианда.

— Где же ты пропадала?

— Я стояла за дверью.

— И я тоже.

— Я видела царя. А что они говорили!

— Что же они говорили?

— Они тебя знают. Ты очень понравилась королевичу, и он послал за тобой тебя привести.

— Меня?

— Да.

Я стала жаловаться и досадовать.

«И зачем мы сюда зашли? И куда мне деваться»?

— Господи, что же мне делать!

* *
*

За руку шли мы с сестрой Ариандой по широкому коридору, заглядывали в каждую комнату, где бы нам схорониться. Прошли много дверей.

— Сестра, это за мной!

Я толкнула первую дверь.

И мы юркнули, как мыши.

— Нас тут не найдут! — шепотом говорили мы друг другу, а сердце колотилось.

Я села в угол на диване у ломберного столика, а сестра Арианда рядом в кресло. И все прислушивалась: по коридору стучали, хлопали дверями.

— А как только утихнет, мы выйдем! — шепотом говорили мы друг другу.

И когда мы так утешили друг друга и мечтали о воле, белый облачный шар спустился с потолка.

И я не помню, что было.

А когда я очнулась, я увидела сестру Арианду. Она, наклонившись надо мной, держала меня за руку.

— Где мы? — спросила я.

Она ничего не ответила. Но по лицу ее я увидала. — И увидала: подле меня на диване сидел королевич.

— Расскажи ему, кто я такая! — я сказала сестре Арианде.

— Я знаю тебя, я твой жених! — королевич взял меня за руку и вдруг переменился: спина согнулась в серп, глаза налились кровью и оскалились два страшных клыка, а из ноздрей пыхнуло смрадное пламя.

И руки у меня оледенели.

— Сестра Арианда! сестра Арианда!

4
За оградой

В саду по бокам дорожек стояли серебряные ставники с толстыми позолоченными свечами, а вокруг цветы. В белом дне тихо светились свечи. Я в саду была не одна, молча следовал за мной древний белый старец. Оба мы прислушивались к пению, чуть доносившемуся откуда-то из-за садовой ограды.

* *
*

Убранство комнат меня удивило, я никогда не видала таких комнат, и вместе с тем хорошо понимаю, что это мой собственный дом. Я очень рада гостям, я усадила их за стол и с сожалением напомнила им о их умерших детях.

— Позвольте, — говорят они, — да наши дети живы-здоровы, вы перепутали!

Я пробовала возражать, но вижу, не хотят признаваться, а может, и вправду считают живыми тех, кто давным-давно — мертв.

— Малаша! — покликала я нашу Малашу: хотела ее с самоваром поторопить.

И вдруг явился — я ничего подобного не представляла! — такой до потолка.

— Что надо? — спросил он.

— Мне надо Малашу.

— Я сам подам самовар, — и пропал.

И не прошло и минуты, опять появился не с самоваром, а с огромным подносом, а на подносе виноград и белый, и синий, и черный.

Я взяла веточку синего, смотрю на великана.

«Верно, — думаю, — это из царского дворца человек!» — и вспоминаю, что у меня есть финики, и опять кличу Малашу.

А вместо Малаши появляется такой же другой, нет, еще больше.

— Что надо?

— Да кто вы такие, — говорю, — я вас не звала и не знаю!

— Я ваш слуга Кормилюк, а это мой брат тоже Кормилюк, мы двоешки.

«И откуда, — думаю, — у меня такие слуги-двоешки?»

А Кормилюки что-то все перешептываются.

И мне не по себе как-то, и я стала из-за стола.

А в соседней комнате какие-то незнакомые расселись, и вся мебель передвинута.

«Кто это, — думаю, — зачем они тут?» Но ничего не говорю, иду дальше, только досадую: «Кажется, я тут хозяйка, без спроса влезть в дом!». И все меня возмущает.

Великаны тащут огромный стол.

— Куда вы?

— В детскую.

— В какую детскую?

— Для твоих детей.

Тут я вспомнила о моих детях и никак не могу припомнить, куда они девались.

Великаны тащили стол, я за ними. Заглянула в комнату: четыре кровати.

— А где же пятая?

— В другом отделении.

И опять спохватилась:

— Да где же дети-то?

— В путешествии! — великаны поставили стол: не войти, не выйти.

— Да зачем же вы стол тут поставили? Стол — в столовую!

* *
*

В церкви ставники, как там в саду, серебряные, и толстые позолоченные свечи. Церковь без окон и свет свечей яркий. Ни души, я одна. Постояла я и пошла назад. И, должно быть, попала не в ту дверь: в какую комнату не войду, все незнакомо мне. Так и плутала. И мне казалось, долго я так плутала. Наконец-то я вышла в коридор: стеклянная дверь. И я попала во двор.

Громадные ворота. Ворота заперты: продолговатый в виде бочонка замок на петлях, как толстое колесо.

«Такой, — думаю, — замок одному не поднять!»

И слышу голоса, только очень далеко, и что-то такое знакомое поют.

Поискала калитку. Нету. Вскарабкалась на ограду. Господи! Там сад — по бокам дорожек ставники стоят серебряные и толстые позолоченные свечи горят. А небо не такое и земля не такая.

«Куда же это я попала? Ведь у меня есть дом и где-то в доме есть свое место, и служат мне Кормилюки великаны. Пойду я назад в дом, даст Бог, отыщу свое место!

Отворила я стеклянную дверь, думала, в тот самый коридор попаду, а оказалось не то, — не туда попала!

Лестница из скользкого камня и ясного, как зеркало. Так спускаться невозможно, я присела и пролзком. И так до последней ступеньки ползком. Поднялась и пошла по коридору.

* *
*

Под парчовым золотым балдахином кровать и вместо одеяла парча с кистями. В углу перед иконами на столике, покрытом парчой, раскрытый антиминс. На антиминсе золотая чаша.

Я стала на колени, поцеловала антиминс и приложилась к иконам.

В комнате не было окон, а было светло, как солнечным днем. Стены были сделаны из гладкого камня, я притронулась. Хотелось посмотреть и на кровать, и тихонько взяла я за край полога, но там никого не было. И тут у кровати я заметила небольшую потайную дверь. Приотворила я дверь, и попала в узкий-преузкий коридор.

И я пошла по коридору прямо на зеленую просвечивающуюся занавеску.

Отдернула я занавеску, но за ней была дверь из такого необыкновенно чистого и тонкого стекла. Дверь была заперта, но все видно.

Посреди комнаты на белом лежала женщина под белым покрывалом, и другая женщина сидела в кресле.

Та, что лежала, заметив меня, испугалась.

— Кто это? Кто?

— Это наша! Странница, — сказала та, что сидела в кресле, — пустите ее!

Я не слышала ответа, я видела, как сидевшая в кресле, стала и пошла к двери, а та села в ее кресло.

И я вошла в комнату.

И та, что сидела в кресле, поднялась ко мне.

— Ей рано! — закричала она, — зачем пришла? Выпусти ее! Она там нужна, ей еще много хлопот!

Я упала на колени и стала целовать ноги ее.

Нежно обняла она мою голову.

— Я твоя мать, — сказала она, — скоро придешь сюда. Теперь иди с миром!

И опять я попала во двор. Высокая ограда без ворот. За оградой знакомые голоса, только никак не заглянуть туда.

— Что ты ищешь? — услышала я голос.

Оглянулась, — никого не вижу. А чувствую, стоит за спиной.

— Кто ты?

И все хочу я увидеть его, кто стоит за спиной, но он увертывается: обернусь в одну сторону, он сейчас на другую переходит.

— Ты бы шла в церковь!

— Я уж была, — говорю, — да службы нет.

— Да служат-то здесь.

«А и вправду, — подумала я, — попасть бы мне в церковь, кончится служба, я с народом и уйду!»

— А где служат?

— Я тебя проведу.

— Ради Бога, скажи мне, кто ты?

Молча он подал мне руку: лица не вижу, а рука, как моя. Молча повел меня в дом и через коридор в ту комнату без окон с солнечным светом.

Я стала на колени, поцеловала антиминс и приложилась к иконам.

— Теперь пойдем к службе! — сказал вожатый.

И опять коридором.

Остановились среди огромного зала.

И тут я увидела тень — крылатую тень.

— Будет ранняя служба, — сказал он.

Он держал меня за руку, и была рука его, как моя.

И вдруг стена против нас стала скатываться, как занавес.

* *
*

Церковь полна молящихся. У всех в руках раскрытые книги. Свет от паникадил. И в кругах над головой огоньки. Белые одежды, и другие, как алый мак.

— Ты видала такое?

— Нет, никогда. Где же дети и старцы?

— Тут все: и дети, и старцы,

— Я их не вижу.

— Ни старцев, ни младенцев — здесь все равны трудом перед Богом.

И стена, как завеса опустилась.

Я долго ждала: не откроется ли? И он молчал. За руку стояли мы, — и была рука его, как моя.

— Отчего ты меня туда не повел?

— Ты не входила еще в те врата. Помнишь, там небо другое и земля другая?

— А когда кончится служба?

— Там нет ни конца, ни начала! — и он опустил мою руку.

Я одна стояла в огромном зале. Ноги мои дрожали от утомления, и не хватало воздуху.

«Неужто я померла?» — подумалось мне, и с каким-то горьким чувством я пошла из залы.

И так дошла до сеней. А там лестница вверх. Вижу, спускается Малаша.

Обрадовалась я.

— Как мне отсюда выйти?

— А тебе куда надо? — смотрит Малаша и не узнает меня.

— Мне на базар.

— Зачем на базар?

— Хлеба купить. Выведи меня!

— Иди прямо! — строго сказала Малаша.

И я увидела дверь. И очутилась в саду.

5
Арбузные семечки

В окно я увидела, подъехало много экипажей — и все незнакомые. Смотрю и понять не могу, откуда столько и что им от меня надо: все незнакомые.

Я скорее в людскую, думаю, спрошу прислугу. А навстречу мне не Малаша, а какая-то Настя, а за нею еще и еще, все чужие. Ничего не понимаю. Прошла в спальню, притворила за собой дверь, стала у двери, прислушиваюсь. Разговор обо мне и недобрый.

«Недобрые люди, — думаю, — надо куда-нибудь схорониться?»

И выхожу.

«Ведь мне только бы дойти до коридора, а там ход знаю!»

И вижу, у всех дверей часовые.

И тут же вертится эта чужая Настя, а с ней ее товарки.

Я к ним, — то к одной, то к другой:

— Пожалуйста! — прошу, — выведите меня из моего дому! Я вас поблагодарю.

А в ответ они шепчут:

— А что дашь нам? Что дашь!

— Денег дам.

— Ладно, денег дашь!

И сейчас же повели меня в какую-то комнату, — я не помню такой комнаты у нас в доме.

— Отсюда есть ход на волю. Давай же денег, — говорят, — мы тебя выпроводим.

Достаю кошелек из сумочки. Вытряхаю на стол, чтобы видели. А вместо денег сыплются арбузные семечки.

— Это все были деньги, — оправдываюсь, — поверьте же мне. Я не знаю, как это вышло.

А они в один голос захохотали.

И под хохот где-то близко заиграла музыка.

* *
*

Я стою в столовой. Полна комната народу. Все стоят.

И я узнала их — это враги души моей.

«Что бы со мной ни было, — решаю про себя, — не буду им повиноваться! Боже, укрепи мои силы!»

Никто на меня не смотрит, но я понимаю, одна мысль у них обо мне.

Пошептались. И ласково.

— Поедем, — говорят, — с нами!

А я будто не понимаю.

— Присаживайтесь, — говорю, — я сейчас самовар велю поставить.

А они, как те Настины товарки, захохотали.

И слышу, музыка играет.

Под руки вывели меня из дому. И весь их народ за ними.

У подъезда карета.

— В карету не сяду, — говорю, — в коляске могу.

Думаю себе: из коляски-то мне уйти будет легче!

Откуда-то взялась коляска. Ничего не поделаешь, придется садиться. Уселись. Поехали. Глаз не сводят, никак не уйти.

По дороге развалины. Прошу остановиться.

— Мне надо, — говорю.

Остановились. Вылезла я.

— Постойте тут, я сейчас.

И пошла.

«Господи, помоги!»

И слышу шум. — Или хватились?

«А я не вернусь! не вернусь!»

Ищут. — И! как сумасшедшие, бегают.

Вижу их. Да им-то меня не видать. Завыли, у! как злые собаки. И ветер поднялся, сам крышечник-ветер, и пыль. Закружило, завеяло.

Я летала над развалинами, кружилась с ветром и пылью.

И вот увидели меня, а глаза у них злые укальницы. Я — выше и полетела к лесу. Бегом пустились за мной. Я залетела в лес. И они за мной. Плутают, падают: встанет проклятый и опять бежать.

— Постой, — кричат, — мы тебе что-то скажем, постой! — и воют, и воют.

Вылетела я из лесу да к реке, перелетела реку, и спустилась в поле.

Пастухи пасут стадо.

— Откуда вы, пастухи?

— Мы тутошние, — и сами так смотрят, — не тебя ли господа наши ищут?

Я как услышала — милосердый Боже! — да назад.

— Постой! постой! — кричат пастухи, — мы тебе что-то скажем!

А я бегу, что лечу. Пробежала поле. Какая-то постройка, — я туда. Оглянулась — бегут, уж напали на след.

Я вскочила в хлев. Притворила дверь. Лежали доски, я досками закрыла дверь. И скорчилась в уголку, не дышу.

И вдруг упали доски — ломится дверь.

Я читаю молитву в уме. Притихли. Или ушли? Нет, не уйдут.

— Обложить огнем, пускай ее! — слышу.

И вот упала дверь, и они схватили меня. И помчали, как вихорь.

* *
*

Я в чистом поле нагая стою у столба.

Понимаю, для меня поставили столб. Тащут лестницу. Я взойду на этот смертный столб.

И вдруг очутилась я на столбе.

Я нагая стою на столбе. Кто раздел меня, не знаю, не помню. Я нагая стою на столбе. И вижу среди темных сил главный их — я узнала его, — на крылатом коне и крылатый, семечки арбузные ест.

Вдруг раздался залп и меня словно ветром шатнуло.

Дым, огонь — и смрад ест глаза.

И опять, как ветром шатнуло, и опять.

Я стою на столбе, а от столба, как лестница, до самой земли снаряды лежат. И по свинцовой лестнице я сошла со столба.

* *
*

С гиком и хлестом вели меня по полю. Или решили покончить? Господи, где же милосердие? И плевали, и били меня.

Я не знаю, куда меня привели. Огромадная печь, — саженные дрова кладут. И вижу своих знакомых и соседей: они трудились у печи, — и какие изнуренные! — как лошади у машины.

— Как же так, — говорю, — вы им повинуетесь? А они только смотрят жалобно, не смеют сказать.

По бокам печи колеса с железными крючками, а посреди катучая площадка, на площадке кресло.

Серу, деготь, сало и еще что-то белое таскали нечистые к горящей печи. И все упрекали меня, что совсем разорила их.

— Да позвольте, я вас ни о чем не просила!

А они мне про семечки.

— Сулила дать денег, а чего дала? Мы не свиньи какие!

И все злее и злее.

И уж сами с собой бормочут.

Вдруг кто то крикнул:

— Готово!

И я увидела, как кресло побелело от жара.

Читаю молитву в уме. Двое юлят и пихают, по-птичьи подсвистывают.

Я вскочила на площадку, — и села в раскаленное кресло. Площадка двинулась к печи и меня жаром, словно водой, окатило. А в глазах закружилось, и полетели огни.

Я не помню, не знаю, что было, только слышу, кричат, — не пойму. И тогда поднялась я с кресла и ступила на площадку — площадка чуть теплая.

* *
*

Вывели меня на свет Божий. Никто уж не бил меня, а все с ласкою.

Впереди одни на конях ехали, другие на свиньях: дорогу показывали. Вижу, к речке ведут — потопить хотят.

И как лисицы:

— Дай, мы на тебя сапожки наденем! — а сами сапожки эти клещами держат: так от них жаром и пышет.

Надела я сапоги, — и ноги мои словно провалились куда-то.

— Иди тихонько, вон через мостик! — сущие лисы.

И я увидела мост через реку — не мост, поняла я, один призрак.

Я ступила на этот мост и упала в воду.

Тут кто с чем: кто с крючком, кто с бревном, кто с лопатой, да лопатой по голове меня. —

И нет больше сил: вот потону.

«Господи, сохрани меня!»

И слышу, кричит с берега:

— Брось! Довольно. Пригодится еще!

И захохотали мучители. А за хохотом музыка.

И я вышла на берег.

6
На постоялом дворе

В лесу на постоялом дворе остановилась я лошадей покормить. Пора было дальше ехать и я велела лошадей закладывать. А вижу, и кучер, и все люди едва на ногах стоят, — пьяным-пьяно. И куда уж там с лошадьми управиться! Долго возились и все попусту. Уж вечерело, а хмель не проходил.

Остановиться на ночь в лесу я боялась: никого я не знала — ни двора, ни хозяина.

«Ведь только бы выехать из лесу, а там уж как-нибудь...» — думала я и решила так: сама вперед пешком пойду, а экипаж меня нагонит.

И говорю кучеру:

— Пожалуйста, Трофим, поторопитесь! Я пойду, а вы меня догоните.

* *
*

Шла я полем. Оглянусь: не едут ли? Нет, не вижу никого. А уж солнце зашло. Жутко мне было в поле одной. И вижу, в стороне каменная ограда. Бросила я дорогу, иду прямо к ограде. Там ворота. Вошла в ворота и попала на широкий двор.

Хожу по двору, рассматриваю: словно бы монастырь какой!

Да и вправду, монастырь. Вижу, монахиня. Подошла она ко мне и, не спрося ни о чем, повела в дом.

Кельи просторные, теплые.

В одной келье показала мне монахиня на кровать.

— Тут тебе отдых! — а сама к двери.

Кровать хорошая, изголовье высокое, одно плохо — окно над самой головой.

— Я тут могу простудиться, — говорю, — да и боюсь одна, я пойду с тобой.

Уговаривает монахиня. Да я-то боюсь одна в такой келье.

— Ну, ладно, — согласилась монахиня, — пойдем уж!

* *
*

На пороге игуменья.

— Ты со мной на одной кровати ложись, — сказала мне игуменья.

Я отговариваюсь.

— Недостойна, — говорю, — грешная я.

— Тогда одна ложись, а я пойду.

И оставила меня игуменья, а куда пошла она, не знаю.

Я сейчас же легла и заснула.

Вдруг слышу, в ногах у меня сопит. — Поднимаюсь, — игуменья! — игуменья в ногах у меня свернулась калачиком. И мне так стало совестно, — куда там спать! Я тихонько из кельи вышла на маленький двор.

Хожу я по двору, рассматриваю хозяйство. Подхожу к какой-то пристройке, вроде сторожки, а игуменья стоит в окне, наказывает кому-то. Увидела меня, кивает.

Хочу объяснить ей, почему я вышла из комнаты.

— Потому и вышла, — перебивает меня игуменья, — тебе ехать надо.

— Мне не на чем ехать, мой экипаж в лесу остался.

— Для тебя есть коляска.

И я увидела коляску.

И не заметила, как села, и не помню, как выехала.

* *
*

Ехала я по каким-то дорогам — места неизвестные — ехала без остановок. И вдруг повернула к горе, к такой высокой, отвесной.

Узкая дорога. С одной стороны фонари горят, освещают путь, с другой темь. И ветер ужасный.

И вижу, два человека впереди идут, и оттого так медленно едем мы.

— Посторонитесь, — кричу, — мы опоздаем!

А они будто нс слышат. И не идут уж, — ползут.

Обернулась я, а сзади тоже какие-то. Я к ним:

— Отгоните их, — говорю, — фонари погаснут, пропадем!

А они, хоть бы что.

Так ехала я под ветром. Ветер рвал на мне платье. Фонари под ветром замирали.

Остановились, наконец, у ворот.

И что же оказалось: те, которых я отгоняла, показывали нам дорогу. И мне стало так же совестно, как там в келье, когда я проснулась и увидела спящую игуменью у себя в ногах.

Провожатые в сторонке о чем-то толковали друг с другом.

— По языку ее судить не будут, — услышала я, — будет ей суд по сердцу.

* *
*

Я стою одна у ворот. Ворота заперты. Стучу, — не отзываются. Что мне делать? И я пошла, куда глаза глядят. И вышла в поле. Там вдали народ. Я туда, и попала в болото. Хочу выбраться, — что ступлю, то завязну. По пояс зашла. И уж нагая — все с меня снято — нагая в болоте карабкаюсь. И чем дальше, тем хуже. Загрязла по горло.

Какой-то мальчик:

— Постой! Ты не по своей дороге пошла.

— Выведи! — прошу.

И он взял меня за руку.

— Этого ни один человек не минует. Вот твоя дорога!

Тина была чаще, а идти стало легче.

— Иди так до того человека, видишь, на коленях стоит, потом поверни направо и так все иди, — сказал мальчик и скрылся.

И уж одна шла я, и все шла до того человека: он в болоте по шею стоял на коленях.

— Ты за что? — спросила я.

— Будет суд мне по сердцу, — и жалобно посмотрел на меня.

И мне стало так совестно перед ним, что вот иду я, а он остается мучиться!

Болото кончилось. Виднелся дворец.

— «Как же так, — подумала я, — голая-то я пойду?».

И почувствовала я, опять на ногах сапоги и шуба на плечах.

* *
*

Нагая, запахиваясь в шубу, я шла по дороге. Дворец уж близко. И мне неловко, и я все запахиваюсь шубой. Поднялась я на крыльцо, иду осторожно: испугать боюсь. Приотворила дверь. А там две девушки у окна сидят.

— Мы тебя, сестрица, давно ожидаем.

— На той стороне за болотом осталось белье, пошлите, пожалуйста! Мне очень совестно.

А они друг с дружкой:

— Я поведу ее в баню.

— Нет, я. Я встретила, я пойду с ней.

— Да у меня, — говорю им, — нечего надеть после бани.

— Не беспокойся, все прислано.

— Кем прислано?

Обе они пошли вперед, я за ними. И дорогой увидела я, ни сапог на мне, ни шубы, нагая иду. И мне стыдно, как там ночью в келье и там у ворот, и там, на болоте перед несчастным.

Вымыли меня в бане, нарядили и чистую, нарядную провели в просторную комнату. А там за самоваром гости, все женщины, и все в белом. Чай пьют.

«Почему же, — думаю, — меня не угостят?»

А та, которая разливала чай, хозяйка, посмотрела на меня, улыбнулась.

— Но ведь чай этот не для тебя заварен, — сказала она, — подожди немного, для тебя еще только прислана чашка.

И я увидела белую фарфоровую чашку с голубыми цветочками, она стояла на круглом столике, закрытая салфеткой.

Я поднялась к столику и вижу, кучер Трофим.

— Барыня, лошади готовы.

— Да где же это вы были?

— Да там — на постоялом дворе.

7
Монахи

Лежу в своей комнате ночью и слышу, входят, шепчутся. Приподымаюсь — от лампад мне все видно — и вижу, монахи, пять монахов в мантиях. Монахи подошли к образам, покадили.

Покадили монахи и пошли по комнате шарить. Отыскали ключи. И опять к образам. Нараспев зачитали.

Я смотрю одним глазом, нарочно храплю.

Два монаха подходят к кровати: один в клобуке, другой без клобука, — оба в мантиях.

— Чего лежишь, вставай!

А там начинают полунощницу.

Поднялась я с кровати. Стала с ними перед киотом. Сунули монахи мне в руку зажженную свечку. Что-то читали и пели. И вдруг поняла я, что меня постригают. И все, как следует, читали и пели. Кончили службу. Поздравляют:

— Послушница! — поздравляют.

— Как же так, — говорю, — послушница? Вы же меня в монахини постригали!

А они гурьбой к большому комоду.

Выдвинули верхний ящик, тащут меня:

— Смотри.

А там, в углу ящика узлы туго набитые, а в другом куски хлеба, посреди же, не знаю что, высокое, красным покрыто.

— Видела?

— Вижу, — говорю.

— Это твоему дому.

Захлопнули ящик и за средний, — средний выдвинули.

А там серебро — полон ящик. И свет, как от слез.

— Твоя доля. Будь справедлива.

И этот задвинули, за последний взялись.

А там голова человечья, белым покрыта.

— Видела?

— Вижу, — говорю, сама не смею спросить.

Монах запустил руку под голову, вынул белую бутылку.

И ящик захлопнули.

Вышли они на середку комнаты, один в клобуке, другой без клобука, оба в мантиях. У одного белая бутылка в руках, у другого красная. И тот, у которого красная, стал из бутылки песок сыпать по полу, а другой из белой бутылки чем-то маслянистым полил песок.

Окружили меня, показывают на пол:

— Целуй!

А я думаю: как же мне так, вымараюсь? И хочу обманом.

«Нагнусь, — думаю, — и сделаю вид, что целую».

Стала я на колени.

Маслянистое разлито было по красному.

И нагнулась я к полу. Ниже, еще ниже — осталось вот сколечко!

А их пятеро, как набросятся, и десять рук мне на голову, да в песок, носом в красный песок меня, как кошку.

И лежу я придавленная, лежу лбом в песок, и глаза мне ест. Слышу, стали в круг, и кругом пошли, захрустело по полу —

Во саду ли, в огороде девица гуляла...

И хрустят, топают, уж бегом бегут, — свистят мантии.

Во саду ли, в огороде девица гуляла...

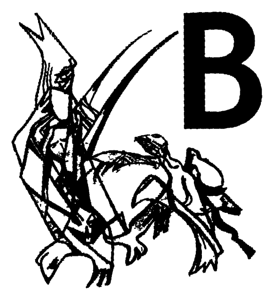
И вдруг вижу, глубокое небо и в небе крылатый — крест в руках его, а за ним белый гроб несут, а за гробом двое — крылья вверх и крылья, распростертые с Востока и на Запад.

ЗОЛОТОЕ ПОДОРОЖИЕ

Электрумовые пластинки *



* Электрум — сплав золота и серебра. На таких пластинках-венчиках начертаны были загробные письмена, полагаемые в могилы умерших. Пользуюсь осколками пластинок 4—3 в. до Р. Х. <*Примеч. автора.*>



В гроб мой возьму тебя, золотое мое подорожие.

В теми ночи и дня сохраню ледяное на холодном лбу моем.

Будешь ты тоске и скорби моей надеждою.

Утолишь ты жажду мою и жар из источника ключевой воды.

Измаян, измучен, как исколот, хожу.

* * *

С горечью и омерзением вся душа моя отвращается от дней и ночей, судьбой мне положенных на горькой земле.

Или изверился человек в дух свой, или недоростком родился ты, слепой и приплюснутый?

Все раздвоено: и лицо и дух.
Страх за сегодняшний день.
Забвение будущего.
Презрение к прошлому.

Вижу души бессильные, трусливые. Постылое время тянется. И никаким панцирем не оборонишься: пуля и нож — хозяева. Чего ты знаешь, чего ты смыслишь? А рожа сияет: все знаю, все смыслю. Стыдно перед зверем, птицей, перед травой и камнем, неловко говорить: человек я! Опозорены все большие слова. Остается хрюкать и тонко и толсто — это вернее.

Вижу измученного тебя и изголодавшегося. Затеял довольную сытую жизнь сотворить на земле, хочешь, бессчастный, счастья на горькой земле! И первое дело твое — невысоко стоял ты на лестнице — еще ниже ступенью спустился и оценил человека презренною мерой.

Быть золотарем, трястись на бочке: в одной руке вожжи, в другой — кусок хлеба, — и больше ничего не надо!

И не надо!
Господи как сузился мир Твой!
Как приплюснуты висят небеса без звезд!
Страх за сегодняшний день.
Забвение будущего.
Презрение к прошлому.

Только ты и мог, несчастный мой брат, благословить крутящийся самум над родною несчастной равниной, бесплодный и иссушающий.

Нет в нем семян жизни: не от силы возник он, — от страха, от бессилия, от иссушенности пустынной, голодной души. Нет в нем и огня попаляющего, всеочистительного, а лишь смрадная пыль верблюжьего помета, да след человечьего тления.

И в этом вихре за что-то судьбой назначено терпеть мне.

На твоей Голгофе — не одна, есть разные Голгофы! — на твоем кресте только истребляют.

* *
*

На кручу по кремнистой тропе взбираюсь —

Глазам моим больно и колет — слишком всматривался я в лица людей, слишком долго испытывал людей.

Голос увял мой от сдавленных жалоб и зажатых проклятий.

Сердце мое обожжено.

На кручу по кремнистой тропе взбираюсь —

Тучи несутся под ветром по холодному небу. И, как пеленутый дым, лица ползут.

Ухожу все дальше — не вижу, не слышу.

Ступаю по шлакам острым — не чую — приближаюсь к самому краю.

Вот я на самой вершине и под моей стопой закованный клокочет огонь.

Духу легче, душа высыхает и прояснился мой разум.

Звезды горят.

* *
*

П. Б.

— Вождь мой! Я душа человечья, укажи мне источник. Я жажду!

Металлическим звуком — щелканье стали о камень — зазвенел путеводный голос.

> — Ты найдешь налево от дома Аида источник, близ же него белый стоит кипарис. К источнику этому даже близко не подходи. А вот и другой, он возле болот Мнемосины. С шумом течет ледяная вода, окруженная стражами. Ты им скажи: «Я дитя земли и звездных небес, род мой оттуда, как вам это известно. Жажду и гибну. Дайте напиться воды ключевой из болот Мнемосины!». Стражи дадут тебе пить из источника света, и станешь тогда ты царствовать с мудрыми вместе.

И моя душа ступила в светлый круг.

> — К вам я пришла от чистых рожденная чистая духом, к вам, о Царица подземных, Аид, Дионис, добрый советчик, ко всем вам, бессмертные боги. Сбросивши тело земное, поистине я из вашего рода благословенных богов. И лишь в одеянии плоти меня победила судьба и земные бессмертные боги. Все же ушла я из тела, из бесконечного скорбного круга, легкой стопой я помчалась за вечно желанным венком.

И в ответ душе я слышу возглас подземных бессмертных.

> — Радуйся, будь благословенна, скорбная, отстрадавшая душа. Отныне отбыла ты срок наказания. Из смертного мятущегося человека стала ты сама богом. Ты томишься от жажды, как козленок, упавший в молоко.

— Радуйся ныне.
— Радость твоя беспредельна.

О СУДЬБЕ ОГНЕННОЙ

Предание от Гераклита Эфесского



Есть суд всего, что дышит, живет и растет
суд огнем.
Огонь
последний судия — все судит и все разрешает.
А молния — кормчий.
Последнее испытание
через огонь.
Огнем
очищается персть.
А молния — кормчий.

*

Пожжет огонь все пожигаемое.
В огненном вихре проба для золота и гибель пищи земной.
И вместо созданного останется одно созидаемое —
персть и смена для роста.
Все, что дышит, живет и растет, станет дымом.
И ты своими ноздрями почуешь:
противоборствующее — соединяет,
а разнообразие — преображает в гармонию,
гармония возникает из борьбы.

*

Молния — кормчий.
Огонь очистительный.
А справа идет его брат
война —
царь и отец всего,
властитель над богами и людьми,
творя новое право и новую жизнь,
указует судьбу рабов и свободных.

*

Вечная распря —
война
движет весь мир,
распределяет долю.
И все возникает из распри и судьбы.

*

Все совершается в круге судьбы.
Всякий свет побеждаем,
свет же последнего суда неизбежен.
И куда убежишь от осиянности?
Сама судьба полагает предел совершения:
безмерно взлетевший низко падает.
И каждому — по его потребе духовной.
Ослы солому предпочтут золоту.

*

Все совершается в круге судьбы.
Люди, звери и камни родятся, растут, чтобы погибнуть,
и погибают, чтобы родиться.
Всякий гад бичом Бога пасется.

*

И сила судьбою становится правом.
В начале была сила,
по судьбе сила стала правом.
Право правит вселенной, силой давя на человека.
Разорение права — пожар.
И его ты залей скорей, чем пожар!

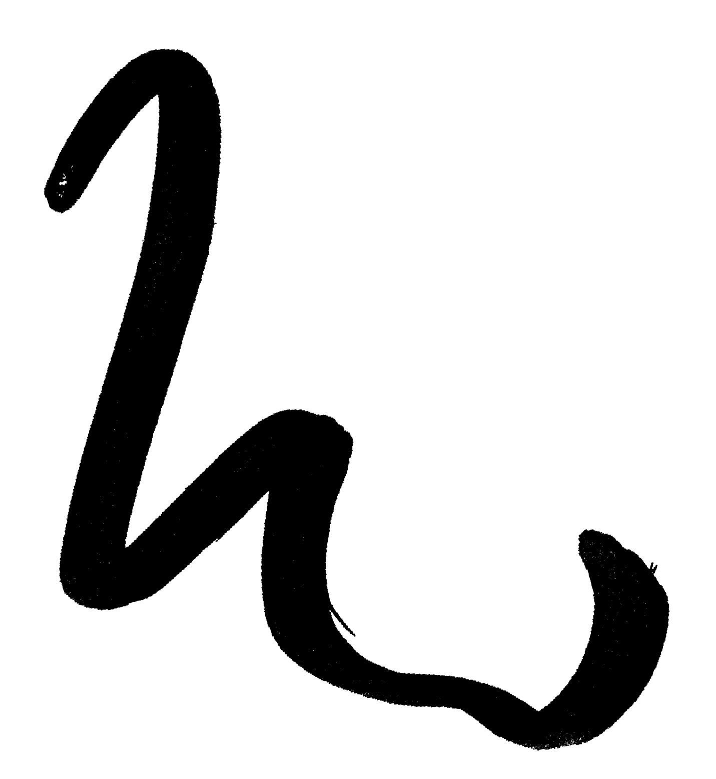
*

В начале была сила,
по судьбе сила стала правом.
И что бы сталось без права?
Хаос, распадение, пыль.
Да станет народ за право, как за родные стены!

*

О судьба! О, всемогущая! О, великое единство пути!
вверх и вниз,
спасения и гибели!
Кто тебя минует, кто тебя избежит?
Не слабые духом, слепленные из грязи,
свиньи в золоте,
куры, купающиеся в пыли и золе.
О, судьба! О, всемогущая!
Кто тебя минует, кто тебя избежит?

ЭЛЕКТРОН



Есть суд всего, что дышит, живет и растет
суд огнем.

Огонь
последний судия — все судит и все разрешает.
А молния — кормчий.

Последнее испытание
через огонь.

Огнем
очищается персть.
А молния — кормчий.

Пожжет огонь все пожигаемое.
В огненном вихре проба для золота
и гибель пищи земной.
И вместо созданного останется
одно созидаемое —
персть и семена для роста.

Все, что дышит, живет и растет,
станет дымом.
И ты своими ноздрями почуешь:
противоборствующее — соединяет,
а разнообразие преображает в гармонию,
гармония возникает из борьбы.

Молния — кормчий.
Огонь очистительный.

А справа идет его брат
война —
царь и отец всего,
властитель над богами и людьми,
творя новое право и новую жизнь,
указует судьбу рабов и свободных.

Вечная распря —
война
движет весь мир,
распределяет долю.
И все возникает из распри и судьбы.

Все совершается в круге судьбы.
Всякий свет побеждаем,
свет же последнего суда неизбежен.
И куда убежишь от осиянности?

Сама судьба полагает предел совершения:
безмерно взлетевший, низко падет.
И каждому — по его потребе духовной:
ослы солому предпочтут золоту.

Все совершается в круге судьбы.
Люди, звери и камни родятся, растут,
чтобы погибнуть,
и погибают, чтобы родиться.
Всякий гад бичом Бога пасется.

И сила судьбою становится правом.
В начале была сила,
по судьбе сила стала правом.
Право правит вселенной,
силой давя на человека.

Разорение права — пожар.
И его ты залей скорей, чем пожар!

В начале была сила,
по судьбе сила стала правом.
И что бы сталось без права?
Хаос, распадение, пыль.
Да станет народ за право,
как за родные стены!

О, судьба! О, всемогущая!
О, великое единство пути!
вверх и вниз,
спасения и гибели!
Кто тебя минует, кто тебя избежит?
Не слабые духом, слепленные из грязи,
свиньи в золоте,
куры, купающиеся в пыли и золе.

О, судьба! О, всемогущая!
Кто тебя минует, кто тебя избежит?

На кручу по кремнистой тропе
взбираюсь —
Глазам моим больно и колет: слишком
всматривался я в лица людей, слишком
долго испытывал.

Голос увял мой от сдавленных жалоб и зажатых
проклятий.
Сердце мое обожжено.

На кручу по кремнистой тропе
взбираюсь —
Тучи несутся под ветром по холодному
небу. И как пеленутый дым, лица плывут.

Ухожу все дальше — не вижу, не слышу.
Ступаю по шлакам острым — не чую —
приближаюсь к краю.

Вот я на самой вершине и под моей
стопой закованный клокочет огонь.
Духу легче — душа высыхает — и
прояснился мой разум.
Звезды горят.

«Вождь мой! Я душа человечья, укажи мне источник.
Я жажду!»

Металлическим звуком — щелканье стали
о камень — зазвенел путеводный голос.

«Ты найдешь налево от дома Аида
источник, близ же него белый стоит кипарис.
К источнику этому даже близко
не подходи.

А вот и другой, он возле болот Мнемосины.
С шумом течет ледяная вода, окруженная
стражами. Ты им скажи:

— Я дитя земли и звездных небес, род
мой оттуда, как вам это известно. Жажду
и гибну. Дайте напиться воды ключевой
из болот Мнемосины!

Стражи дадут тебе пить из источника
света, и станешь тогда ты царствовать с
мудрыми вместе».

И моя душа ступила в светлый круг.

«К вам я пришла от чистых рожденная, чистая духом, к вам, о, Царица подземных, Аид, Дионис, добрый советчик, ко всем вам, бессмертные боги.

Сбросивши тело земное, поистине я из вашего рода благословенных богов. И лишь в одеянии плоти меня победила судьба и земные бессмертные боги.

Все же ушла я из тела, из бесконечного скорбного круга, легкой стопой я помчалась за вечно желанным венком».

И в ответ душе я слышу возглас подземных бессмертных.

«Радуйся, будь благословенна скорбная отстрадавшая душа. Отныне отбыла ты срок наказания. Из смертного метущегося человека стала ты сама богом. Ты томишься от жажды, как козленок, упавший в молоко.

Радуйся ныне!
Радость твоя беспредельна».

ШУМЫ ГОРОДА



Посвящаю
С. П. Ремизовой-Довгелло

ГОЛОДНАЯ ПЕСНЯ



Если что еще и бодрит дух мой, это скорбь.

И эта скорбь связывает меня с миром. Скорбь же дает мне право быть.

Мои гости — беда и несчастье. И глаза мои — к слезам, как мои уши — к стону. А сердце дышит болью.

И я знаю, торжествующий и довольный никогда не постучит в мою дверь. Я знаю, ко мне придет только с бедою.

И сам я возвращаюсь с воли всегда потрясенный, с затаенной болью от встреч.

*

Вот говорят, Петербург гнилой и туманный, нет, в Петербурге бывают дни ослепительные.

И в такие дни, когда все так ярко и ясно, моей душе особенно больно.

В Прощеный день по обедне шел я по Старому Невскому.

Было так вот ярко — заморозки, резкий ветер, режущее солнце. Путь мне был долгий. На другой конец шел я. Мысли — с ними не расстаюсь я в моей неволе — думы мои о делах человеческих, о бедной жизни нашей, о судьбе проклятой и человеке, не родившемся еще человеком, вольные, свертывались они в жгут и резче ветра, больнее режущего солнца неслись в моей душе.

Глаза мои были напряжены до слез и от солнца, и от всматривания — не было

лица, тень от которого не падала бы на меня, всех я видел и различал каждого. И слышал много звуков, и из всех звуков в шуме один звук вонзился в меня —

— тла-да-да-да-да —

Я шел по солнечной стороне — кто это? откуда звенит? — перешел на другую.

— тла-да-да-да-да —

— сверлило в ушах.

На углу Полтавской в тени стоял китаец: судорожно подергивались его ноги, колотили в промерзшую землю. Голова его была обнажена — череп, обтянутый кожей, а впалые глаза закрыты — слепой китаец. Слепой, съежился весь, рука вцепилась в рваную шапку —

— тла-да-да-да-да —

Это китаец звал, о помощи просил, слепой и замерзший.

И звук его зова — не гортанная переливная старая речь Китая — один звон голодный — голодная песня из тени наперекор резкому ветру звенела по режущему солнцу —

— тла-да-да-да-да —

И когда я подал милостыню, стало мне перед ним так стыдно — да лучше б никогда мне не видеть и ничего не слышать! — почуял я в нем брата, которому, как и себе, ничем не мог помочь.

Толпа плыла широким потоком навстречу, ощеривались толстые рожи, лоснились щеки, напитанные кониной, мешочным жирным блином и сметием всяким, сдобренным приторным американским вазелином.

И один резче ветра звон голодный — голодная песня —

— тла-да-да-да-да —

*

— Брат мой голодный из поднебесной страны, пережившей много веков, неизвестных и самой старой Европе, здесь никому ты не нужен.

— Брат мой замерзший, ты понимаешь, что такое слово? Тебя научили с колыбели чтить слово и книгу. Слово здесь, как ты голодный, не нужно.

— Брат мой терпеливый, последнее у нас окно вот-вот захлопнут. Да и Бог с ним, пускай его захлопнут: разве оно нужно? Кому?

— тла-да-да-да-да —

Свиная толпа с пятаками, самодовольная, широко плыла навстречу —

— — —

— — —

— —

— Понимаешь ли ты, самодовольная и торжествующая, хоть что-нибудь в моей жизни и в моей воле, можешь ли ты вызвать под своим тупым черепом хоть отдаленные мысли, хоть намек о моем труде, который тебе так же нужен, как нужен голодный китаец, как нужно слово, книга и наше последнее окно? Знаешь ли ты хоть что-нибудь о той боли, какая жжет меня, и о той тревоге и муке, в которой проходит моя жизнь и наяву и во сне? Снились ли тебе сны мои, и играло ли сердце твое от радости, заливавшей душу мою, от той радости, от которой светится весь мир, дышат камни, оживают игрушки, глядят, разговаривают звезды, и разрывалось ли сердце твое от тоски и скорби, которая обугливала всякий блеск и свет? Нет, ты дрыхнешь и тебе ничего не снится, нет, ты не страждешь, ты только орешь от голода и визжишь от похоти. И нет звезд над тобой. Как же ты, нищая духом, смеешь посягать на мою волю и распоряжаться моим трудом, который есть одна живая боль? И еще скажу тебе, понимаешь ли ты, что я последний нищий, щелкаю голодным языком, и тело мое измождено, душа измучена, кожа с нее содрана — ты не понимаешь? — понимаешь ли ты, что под видом благодеяния всему народу, ты запускаешь лапу не в карман мой, который пуст, а лезешь к моей шее, к кресту моему, который тяжелее золота и горячее огня —

— тла-да-да-да-да —

— Брат мой голодный, вот ты в тени стоишь, слепой, замерзший, а я иду — еще могу идти! — и никому не нужный иду наперекор резкому ветру против режущего солнца —

— тла-да-да-да-да —

1918 г.

ИСКРЫ





яжко на разоренной земле.

Родина моя!

Душа изболела.

Если бы были такие могилы, куда бы клали живых, — я бы лег.

Душа не острупелая, душа не задохнувшаяся в мертвых тисках, еще живая ищет чудес.

И в этом последнее спасение ее. Хочет воплотить не бывшее, но всем сердцем желаемое и всем духом требуемое.

Посмотрите, как бьется живая, как плясица-птица живая в руках, и смотрится в ночь, не мелькнет ли?..

Но нет света.

Ниоткуда не светит.

Неразумная, есть свет, и этот свет вечно горит изнутри, из тебя же самой!

Ты жаждешь, хочешь приблизить срок, твори же из мысли своей.

И вот восстал и бродит по Руси призрак великого чаяния истинной веры, истинной свободы.

Если б поджечь цельным огнем, какие б запылали костры!

Не костры, искры бессильные, как потухающие угольки, сыплются по снегу на ледяной череп измученной земли и сверкают.

Там —

Как ложные звезды.

Я протянул руки.

И пали искры и обожгли мне ладони.

I. Рука Крестителева

Соседка Анна Ивановна хорошая женщина, а муж ее — солдат.

Частенько заходит к нам Анна Ивановна, и особенно по утрам.

И всегда с новостями: о таком в газетах не пишут.

Как-то до Николы еще растапливаю я печку, — дымит она у нас, не дай Бог! — сам на угольки дую, сержусь на печку, что такая нерастопка.

Тут Анна Ивановна входит:

— Слышали, что во дворце-то?

— Еще что? — сержуся на печку.

— Руку разрубили.

— Какую руку?

— Предтечи, Крестителеву.

— Что вы говорите?

— Тесаком Крестителеву. Во дворце.

Крестителеву! А и в самом деле, рука-то Предтечи в Зимнем дворце у нас, в дворцовой церкви Нерукотвореннаго Спаса: в Зимний дворец привезли ее мальтийские рыцари в дар императору Павлу. А шесть веков назад видели ее земляки наши паломники в Цареграде. А в Царьград попала она из Антиохии. А в Антиохию принес ее евангелист Лука из Самарии. Вот какой долгий путь до Невы-реки.

А какие бывали гонения!

Но и в самые жесточайшие, когда велел Юлиан тело сжечь Крестителево, руку, крестившую Христа, пощадил, не велел трогать. Так и сохранилась. Сколько веков! Рыцари уберегли.

— Нет, — говорю, — больше на белом свете рыцарей. Вот беда!

— Вынули из раки и тесаком разрубили по суставам! — все еще ужасалась Анна Ивановна.

А какие чудеса бывали!

Обложил Змей Антиохию, и такой ужасный, — от страха помирали. И всякий день пожирал Змей по непорочной деве. Сколько горя! А был в Антиохии один купец крепкой веры, очень любил свою дочь и так не хотелось ему отдать ее Змею. Настал черед. Что делать? Пошел купец в башню, — в башне хранилась рука Крестителева, — пошел просить Крестителя, — все отказались, нет управы на Змея, некому помочь! Помолился он Крестителю и как стал прикладываться, тайно сустав из мизинца и выкусил. И уж ночью смело повел к Змею дочь. Не боится Змея: сохранит Креститель! А Змей уж пасть разинул, вот поглотит. Тут купец косточку ему, что выкусил-то, да прямо в пасть. А из Змея дух вон.

— Разрубили по суставам, и всякому досталось по косточке, — продолжала Анна Ивановна, — Фирсова солдата помните? Водопроводчик. Взял Фирсов косточку, да себе в карман и сунул. А она карман-то и проела, насквозь прожгла и ушла!

Анна Ивановна покачала головой, и в глазах ее засветилось кротко:

— Видно, в недостойных руках была!

II. Святой ковчежец

Вы знаете Сверчкова? — веселый человек. Со смеху уморит, как начнет турусы свои. И легко с ним: никакой притворенной скотины не чуешь, — осматриваться нечего.

В делах деловых человек незаметный, — маленький чиновник, и, конечно, никто его на руках не носил и не понесет, разве на Смоленское. Впрочем, был один грех: нынче во время майских въездов, возвращаясь из Озерков, вознесен был на руки и на руках высоко над головами проплыл по воздуху от вагона через вокзал до автомобиля, — спутали с кем-то из эмигрантов, возвращавшихся с тем же поездом из-за границы. Правда, вид у него заграничный, и бородка зайцева.

*

Идет Сверчков по Старому Невскому.

Зима нынче выдалась теплая, и драповое его пальтишко к самой поре.

Идет он, насвистывает, — веселый человек. Не на службу, так идет.

Навстречу солдат — столкнулись глазами.

Солдат приостановился.

— Не хотите ли купить, товарищ, хорошая вещь, — наклонился, шепчет: — из дворца!

Да из кармана и вынул.

Всматривается Сверчков: маленький ящичек серебряный. Раскрыл, — а там что-то такое крошечное, вроде пылинки и под слюдой.

«Что бы это такое, думаю, — рассказывал потом Сверчков, — понять не могу: пылинка! И знаете, сердце у меня заболело: да ведь это, думаю, мощи!»

Сверчков давным-давно ни в какую церковь не ходил, а этой весной, нацепив красный бантик, в великую пятницу, как на масленице, в карты дулся.

И вдруг сердце заболело: мощи!

А солдат сообразил, глядит нагло:

— Меньше ста не возьму.

«А у меня всего сто и есть, больше нет, последнее, все. Да, думаю, мощи! Бог знает, в чьи руки попадут! Вынул я кошелек и все отдал, а ковчежец сюда спрятал, держу крепко».

— А это не купите ли?

Солдат еще что-то вынул, да Сверчков уж ничего не видит : все равно, последнее ведь отдал.

— Сколько?

— Двести!

— Не надо!

Мелькнул и исчез солдат, будто и не бывало.

III. Белое сердце

Ждал я трамвая.

Никак не могу войти: висят, толкаются. Трамваев десять пропустил, и все неудача.

Вижу, старуха стоит, как и я, ждет. Древняя бабушка. Посмотришь на такое лицо, и кажется, век оно таким было, — век была бабушка бабушкой: морщинки маленькие, беззубая и очень добрая. Я посмотрел попристальнее: терпеливо стоит, и видят ли что усталые глаза? Да, увидели.

— Не оставь меня, — сказала бабушка, — вместе поедем на трамвае. Никак не могу попасть.

— Хорошо, — говорю, — поедемте, только долго нам стоять тут: толкаться не хочу, висеть...

— Сохрани Бог! — перебила меня бабушка.

Да, бабушка видела, что не одна она.

С нами барышня стояла, и по всему было видно, что она с нами. Но барышня больше не могла выдержать, и когда подошел еще трамвай, вдруг переменилась — и куда девалась вся ее кротость! — стала сама трамвайной, и вижу — повисла.

А наше дело было отчаянное, хоть пешком иди.

— Пойдемте, бабушка.

— Не дойти.

А и вправду, не дойти старухе: стояли мы на углу 9-й линии, а бабушке путь в Новую деревню.

Победил я отчаяние мое, решил еще ждать, а бабушка, видно, давно победила и ничуть не отчаивалась, терпеливая.

И дождались: впихнулись, и не на прицепной, а на передний.

Трамвай полон, сесть и не думай. Все солдаты. Я-то ничего, хоть висеть и не могу, а стоять мне ничего, а вот старуха-то как: совсем-то согнулась и ноги не слушают, — как былинку, ее при всяком толчке так и кидает.

— Хоть бы бабушке кто место уступил! — говорю седокам.

Я в трамваях не раз так говаривал и проку не очень ждал. Но тут повезло: поднялись два матроса.

— Найдутся добрые люди, садитесь!

И уселась бабушка, — нашлись добрые люди!

И до чего, скажу вам, хорошо человеку, когда он так вот, как эти матросы. Я посмотрел на них и почувствовал, что и стоя им сию минуту хорошо, как бабушке.

А бабушка, как отсиделась немного, так и заговорила.

И не так она громко говорила, а каждое слово ее было внятно, — в голосе ее было очень много такого, от чего вот и матросам, уступившим бабушке место, хорошо было: самые жестокие слова шли у нее от белого сердца.

Бабушка о себе рассказывала, как и откуда она в Петербург появилась, и о жизни своей тяжкой и кругом одинокой. И во время рассказа своего, спохватываясь, подымала она глаза ко мне:

— Так не оставь же меня, — вместе выйдем!

— Вместе, вместе, бабушка! — повторял я.

И те два матроса, покачиваясь от толчков, без слов повторяли за мной:

— Вместе, вместе!

Тяжко ей на белом свете, она так и сказала, — тяжко. Не здешняя. Родина ее теперь, как на краю света, под Ковно. Много раз ее выгоняли: всё говорили, что немцы идут. Да всё обходилось благополучно: соберется бабушка выселяться, сложит добро, а пройдет день, другой, и всё по-прежнему, и никуда не надо.

— А как уж обидели меня, так я и ушла.

— А кто же вас, немцы?

— Нет, — бабушка что-то вспомнила горькое, вижу, а сказала еще добрее, — свои робята.

Седоки-солдаты переглянулись.

И голос ее еще стал внятнее.

И присмирели чего-то, весь вагон, никто не выходит. Или всем один был путь?

— Домик у меня был. Думала, так там и помру. Совсем я одна на белом свете. Была дочка, шестнадцати лет померла. А другая дочка вышла замуж, годок пожила и померла. Было три сына, тут на заводе работали в Петербурге. Как помер мой старик, четыре дня не хоронила, ждала, вот приедут. И не приехали. Видно, телеграмму не получили. А потом, как война началась, всех сыновей на войну взяли. И сколько я писала и спрашивала, — ничего о них не знают. Как камень в воду.

— А, может, в плену они?

— Нет, пропали.

И опять что-то горькое вспомнила, а заговорила еще добрее.

— А как пришли робята, да как запалили мой домик, так и полыхнуло. А я плачу: «Ой, не жгите, прошу, оставьте!» «Ты с немцами жить хочешь, ты — немка, мы тебя в огонь бросим!» А я думаю: пускай бросают, мне и так тяжко, а всех угодников Божьих жгли. Стою так, думаю, а они рассуждают, — один говорит: «Бросим ее в огонь!» А другой: «Не нужно!» А как дом сгорел, я и пошла. Три месяца пешком шла.

Бабушка чего-то задумалась.

Вспомнила ли она дом свой, — там, на краю света, одни головни под снегом лежат!

Или о своих сыновьях задумалась, — тут где-то на заводе работали и теперь там, — там под снегом лежат!

А я подумал, глядя на сгорбившуюся затихнувшую старуху, — весь вагон глядел на нее.

«Бабушка, ты своим сердцем с потерей и утратой горькой, белым сердцем приняла всю свою судьбу горючую, — а и вправду, разве скажешь так, как сказала ты о разорителях своих: с в о и р о б я т а! — и вот одна ты на белом свете с своим белым сердцем, и тяжка твоя жизнь, твои последние дни, и кто утешит тебя? Кто нас утешит? Бабушка, это я за всех говорю, всем, всем, всем. И кому легко, кому счастливо, кто может быть счастлив на твоем пожарище белом, на белой могиле твоего погубленного мира? Какой зверь или какая оскаленная косматая душа или душа придушенная, как трухлявый червивый гриб, или сердце, как оглоданная сухая кость? Нет, вот все мы тут, и если умом кто не понял чего, сердцем-то все почувствовали, каждый из нас, всю твою тяжесть свинцовую, весь крест наш».

— Ты не беспокойся, — сказала вдруг бабушка, — одна женщина в Москве сон видела. Приснилась ей Царица Небесная и сказала: «Держава Российская в моей руке, иди и ищи икону такую, как я перед тобой стою». Та женщина и пошла по всей Москве, по всем домам ходить, — нету нигде. А наконец, в селе Коломенском, под Москвою, пошла она в такую церковь, еще при царе Иване Грозном строилась. Много там икон, — как мертвых хоронят, оставляют иконы в церкви, — внизу лежали. Перебирала она их, перебирала и вдруг крикнула: «она самая!» И теперь эту икону по Москве возят, молебны служат, списывают. И я видела: вверху, как радуга, и Саваоф, а потом облака,

а потом Царица Небесная в порфире и короне, в одной руке — скипетр, в другой — земля.

Тут пришла пора выходить бабушке.

Я довел ее до остановки, усадил в другой трамвай. Простились. И пошел я в нашу темень петербургскую, понес сквозь темь белое — тихий свет веры уверенной.

1917 г.

ЗВЕЗДЫ



Знаете, на Васильевском есть такой дом серый, тесный, изъеденный жильем, а во дворе направо и налево хлопающие, визгливые двери и полутемные скользкие лестницы — идешь и прилипаешь.

И всякий день по такой лестнице Вера в училище ходит, разнося на ногах лестничную склизь и погань.

И не знаю, зачем эта липкая погань, спертое тесное жилье, когда так широко ходят по чистому небу чистые звезды, и по нашей же земле суровой прозрачные текут ручьи —

зачем эти нечистые, серые от паутины редкие лестничные окна, просаленные железные перила — —

Знаю, и золоченые перила и мраморные ступени не отведут от обреченной души тернистого ее пути: вся изобьется, изноет и у самых прозрачных источников и даже там на звездном чистейшем просторе,

но я никогда не мог примириться и с этой нашей гложущей болью липких лестниц и железных перил, за которые хватается рука, когда от отчаяния подкашиваются ноги.

И также знаю, будь мои слова огнем — огнее огня, мои слова не прожгут сурового человеческого сердца,

но я ничего не могу поделать с моим сердцем, которое захлебывается от этой гложущей боли.

Мы по той же лестнице жили, где Вера и ее мать Ольга Ивановна.

И как, бывало, встречу, просто пропал бы куда, просто сквозь землю провалился бы — помочь-то ведь я ничем не мог!

И там, на верхотуре нашей, куда и вода не подымалась и только ветер ходит, суровою ночью, когда выйдут звезды, звездам шепчу под проволочный гуд через рамы:

Звезды, прекрасные мои звезды!

А должно быть, и там, под нами, в такой же тесноте холодной, уложив Веру, Ольга Ивановна, изверившаяся во всякие обещания, и в ужасе, что за ночью наступит опять утро — новый день, требовательный и неумолимый, поправляя занавеску у окна, от которого несет такой холод, то же самое шепчет под проволочный гуд к звездам.

Но ей еще нестерпимей.

Отойдет, присядет к столику, а похолодевшая рука ее тянется: там, в самом углу, к стене, за коробочками есть пузырек точно с кофеем, нет, это не кофий, это такое лекарство, такое черное, как кофий, от которого навек заснешь.

Ольга Ивановна не одна, с ней Вера. Если бы была она одна, ну как-нибудь и из последних до последнего дотерпела бы и потом вот как лошади падают —

ей и сена тычут, да что уж сено — Благодарю тебя, Господи, наконец-то! — трамвай идет, а она мордой как раз на рельсы, галдят, понукают, оттаскивают, — как дохлая, только вздрагивает, кто-то сапогом в живот ткнул, а уж ей все равно: сейчас — конец!

Да, если бы Ольга Ивановна одна была!

И Вере лучше будет —

А то нет никому до нее дела: говорят, не сирота, не беспризорная, мать у нее есть. А что мать, если совсем из сил выбилась!

Да, Вере лучше будет. А так, и себя и ее измучает. А без матери не оставят.

Или так надо, и иначе нельзя на белом свете? У всякого свое — свои заботы. И надо так, чтобы очень уж в глаза бросилось, и только тогда — и разве Вере теперь хорошо? А когда матери не будет? Хуже не будет, лучше будет: без матери ведь!

Срок небольшой — Вере тринадцать — а кажется, всю-то жизнь прожили вместе, и вдруг: она — там, а Вера — тут, и ни-

когда не подойдет, и никогда уж, никогда не позвать, и не взглянет.

А надо решиться.

И не от малодушия это она. Она все готова — ведь раньше-то как! — целыми ночами, не покладая рук, сидела. Но что же делать, если сил больше нет.

Надо решиться и уж бесповоротно.

И Вере будет лучше, конечно.

Я давно замечал, встречая на лестнице Ольгу Ивановну, что уж больно задумалась и идет другой раз и глаз не подымет, а поздороваешься, так и вздрогнет вся.

Или так ее мысль сбила, забитую нуждой горькой и обессиленную вконец?

Одна-единственная мысль сбила теперь все ее мысли, а когда заполнит — как ржа всю душу проест — тогда все и решится.

И непременно.

Бесповоротно.

У нас тоже беда — все мы тут одинаковые под одной звездой — надо мне было кипятку для грелки. Вот я к Ольге Ивановне и туркнулся.

«Может, — думаю, — какие щепки уцелели, разожгу печурку!»

Твердо знаю, да и все тут у нас по лестнице это знают, если что есть у нее, не откажет — сколько раз приходилось, из последних выручала.

Человек-то, скажу вам, жив еще, и душа жива, живая, и, пожалуй, живее еще среди погани и беды кромешной.

Постучался — не откликается.

А знаю, дома; и дверь не заперта.

Заглянул я в кухню.

— Ольга Ивановна! — покликал.

Нету.

Ну, я в комнаты.

А Ольга Ивановна стоит у столика — раз пожар у нас случился, и, помню, схватил я что-то очень тяжелое тащить, а тут зеркало висело, в зеркале я и увидел себя, так вот лицо свое помню озеленелое — вот такая озеленелая стоит, и вижу, пузырек с чем-то черным в руке, отпила и еще — —

Тут вот точно что и вспомнилось мне, я ее за руку — и вырвал у нее пузырек.

Смотрим друг на друга — самые враги последние.

И вдруг она и говорит, да как сквозь сон, едва слова выговаривая:

— Это я, — говорит, — для Веры: Вере лучше будет.

А сама так и валится.

Бросился я к соседям. Няньку позвал старуху, еще сестру — сестры тоже по одной лестнице с нами. И долго мы над нею бились — в сон ее ударило — размаивали.

Не хотелось нам, чтобы Вера узнала, а то, пожалуй, еще испугается.

Ну, как будто все и ничего стало — отходили! — только ослабела очень.

А тут и Вера из училища вернулась.

Видит, мать лежит на кровати.

— Что, мама, худо тебе?

Поняла она что-то — или сердца-то уж не обманешь?

Мать открыла глаза.

— Нездоровится, — говорит, и заплакала.

И Вера вдруг заплакала.

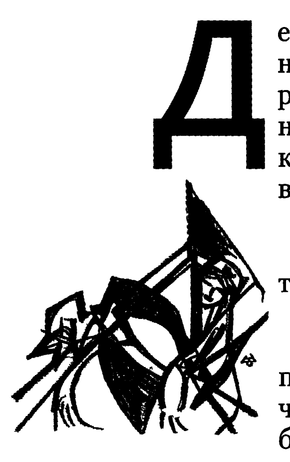
Или все поняла она и потому так заплакала, или от беды, уложившей мать, беду всю почуяла и вот заплакала — чужому человеку, глядя, не стерпеть.

— Звезды, прекрасные мои звезды.

1918 г.

ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ

«Вошли мы в щель четвертую» —



День кончился — сутолока и бестолковщина; день — наполненный голодными порываниями и самыми хитрыми изобретениями добыть какую-нибудь снедь, день — кружащийся между службой, стоянием в очередях, ожиданием и жалким обедом.

А когда-то я не думал о насыщении!

Странно подумать, что это было когда-то.

И странно думать, что я еще жив.

Вся боль моя канула и вот, как пар, поднялась к ушам и глазам моим, и все, что я вижу, и все, что слышу, проникнуто болью.

Улица, встречные — люди, звери, машины — больно бьют меня по сердцу. И я не могу отвести глаз, они же не видят меня.

Ночь Петербургская. Ни огонька. Весь наш мешок успокоился.

А за стеной шуршит, кашляет — это сосед мой бессонник.

Только вдвоем мы и не спим: он — потому что душа у него ночная, душа его дышит ночью, я — моей работы никогда не окончить, и уж рука коченеет, а я сижу, и погаснет тоненькая свечка, я буду также сидеть, — тут и мои книги — мало их осталось — Гоголь, Достоевский.

«Поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа.

Это — огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его».

— Николай Васильевич! Какие огни? Или не слышите? — один пепел остался, — пепел, зола, годная только, чтобы вынести ее на совке да посыпать тротуары, а потом растопчет чья-то чужая американская калоша.

Сосед умолк, а под утро, знаю, опять начнется — этот кашель сверлящий.

Все замолкло — мертвый мешок, великое молчание свободы.

Как часто теперь я больше не чувствую свое тело, я как бы отделяюсь — великое молчание свободы! — и нет никаких желаний.

У меня было много друзей, и все куда-то пропали.

Остался один, не забывает, зайдет, присядет к столу: одно ухо длинное, острое, а глаз, как три глаза, говорит же он со мной половинкой своей обыкновенной с ухом и глазом обыкновенным, говорит о пайках, категориях, литерах, а другой половинкой ужасной так ужасно смотрит.

Нет, сосед не успокоился, бессонник, опять закашлял.

— Федор Михайлович! Что я сегодня видел! Видел я издыхающую собаку: она сидела под забором как-то по-человечьи и в окровавленных губах жевала щепку.

1918 г.



РОЖДЕСТВО



Из всех домов в Петербурге Комарова дом это единственный — Комаровка.

От Невского два шага, а зайдешь с Миргородской да глянешь, так думается, не в Петербурге ходишь, а в Костромской Буй попал.

Направо дохлая лошадь валяется, наполовину съеденная собакой, а из уцелевшего забора вывороченная доска так и торчит. А налево вы не ходите, там такие кучи грязи намерзли, что уж наверняка лоб разобьешь.

Просто, как стали, поддайтесь немного правее, тут вам прямо дом Комарова и будет: желтенький стоит, как новорожденный цыпленок, облупленный, окна подвального этажа сплошь залеплены грязью — ребятишки врагам своим мазали! — а вверху над домом шпиль торчит, а на шпиле серебряное яблоко.

И у всякого еще в памяти, когда и окна, и ступеньки, да и самый тротуар блестели, что яблоко; тоже и парадная дверь, это теперь она открыта настежь: входи, милости просим, всякому шурыжнику рады.

На крошечной табуретке перед дверями сидел швейцар Тимофей Иванович Мокеев и, как бывало, кто сунется, всякого опросит, и не очень-то:

— Куда — зачем — к кому?

Если ответ точен и подозрительного ничего не внушает, учтиво отворит двери:

— Пожалуйте.

А мальчишки, так те обходили швейцара через дорогу: на-озорничаешь, не обрадуешься, не спустит.

Все побаивались Тимофея Ивановича.

И даже архивариус, который теперь под самим Щеголевым в Сенате сидит, чудак из пятнадцатаго номера, в своей бессменной лисичьей шубе, выходя, бывало, на крылечко и забывая, зачем собственно вышел, не забывал приподнять свою халдейскую шапку — каракулевый колпак.

— Здравствуйте, Тимофей Иванович! — здоровался архивариус, точно жуя маковник медовый.

— Как здоровье, Иван Александрович? — отзывался Тимофей Иванович и, обнажив голову, размахивал дверь.

А пройдет дьякон — и духовному лицу уважение.

А кухарке:

— Ступай с заднего крыльца.

Боялись Тимофея Ивановича — взыск, чин, порядок! — но и все уважали — кроме собственной жены Агафьи Петровны, иоанитки.

*

Придет такой час, переполнится больная душа, выйдет Агафья Петровна на улицу и запоет.

И поет, ничего не замечая, не слушая, поет жалостные духовные песни о тщете и суете мирской всея земли.

А потом обернется к крылечку, где точно прирос к скамеечке Тимофей Иванович, поблескивая золотым своим картузом позументным, станет против и начнет его вычитывать: много говорит и нехорошо, поминает Лизу племянницу и огородникову жену Татьяну, младенцем в глаза тычет, будто у огородничихи Татьяны Колька две капли Тимофей Иванович, только что суконных штанов не носит.

— Перестань, Агафья, чего срамишься? — тихонько этак и рассудительно уговаривает Тимофей Иванович, — тебе срам, не мне. Меня все знают.

И Агафья как будто уступает, но это только так — затишье.

— А кому колясочку снес? — вдруг прорвет, и она закричит и уж так кричит, будто не одно, три горла, и одно крикливей другого, — кому деньги носишь?

И точно, был грех: из-за полоумной Агафьи скучал Тимофей Иванович и всякое воскресенье после обедни заходил к огородничихе чай пить. И огородничиха Татьяна всякое воскресенье поджидала кума. Величаво сидели они, как два идола, друг против друга, пили с блюдцев чай, пыхтя и отдуваясь. А за ситцевой занавеской пищал Колька. Напившись чаю, возвращался Тимофей Иванович к своей постоянной обязанности недремного сидения у Комаровской двери.

А насчет Лизы племянницы это совсем неправда: все, как со всеми. Пробежит она мимо, мотая белокурой косой, строго опросит:

— Куда, зачем?

На ходу Лиза ответит, и больше ничего.

*

Весной Агафья Петровна в наитии своем безумном, перепев все песни и осрамив мужа, обозвав всех в доме — всю Комаровку — самым непотребным словом, уехала на богомолье.

А Тимофей Иванович в одиночестве сторожевом, от солнечного ли тепла или от брюквенной каши, вдруг ощутил прилив жизненных сил и его маленькие крысиные глазки забегали беспокойно, ощупывая каждое встречное.

Портниха Перова из восемнадцатого номера, сверкая, как сама весна, ярко-красными сапожками, не сдержавшись, фыркнула:

— Какой нахальный мужчина!

С каждым солнечным днем все игривей становилось на сердце, а на душе необъятней, но ни одного слова, и руками, — как скован, молча Тимофей Иванович только смотрел — —

И не Перова, не ее подруга Надя, попала на угольки племянница Лиза.

В октябре тихая вернулась Агафья.

И хотя в Петербурге было еще очень тревожно после недавнего наскока, никакая тревога не завладела ее душою.

Не тревога, ужас —

С ужасом заметила Агафья перемену.

А на все расспросы Лиза начала плести такие небылицы — о брюквенной каше, от которой будто бы полнеют, и супах со-

ветских, от которых будто бы отекают, так запутала, так закрутила, что несчастная и сна лишилась.

И вот в бессонные-то ночи точно озарило измученную душу и в горестном ее сердце вестным словом прозвучало откровение:

«От Лизы родится Спаситель!»

И с этой ночи не узнать стало Агафьи.

Дни, недели — прошел Михайлов день, прошло заговенье — все заботы, все думы — Лиза, —и никого больше: ни мужа, ни огородничихи Татьяны, ни ненавистных комаровских жильцов — одна Лиза.

Озабоченная, с благоговением глядя на племянницу, целыми днями возилась с нею Агафья, охраняя и опекая избранную среди избранных.

И когда в сочельник за толстым слоем ватошных оттепельных облаков зажглась звезда и в боковой комнатенке раздался писк новорожденного, Агафья склонилась перед младенцем, как волхвы, как пастухи, как вол и конь, и из ее вспугнутых глаз полились слезы, что опять — на земле опять родился Спаситель мира.

— Слава тебе, даровал нам великую милость!

И, качая младенца, запела.

И эта песня? и эти напевы? откуда брались такие чистые звуки? Обрадованное ли сердце выговаривало, душа ли измученная славословила, что опять на земле родился Спаситель мира.

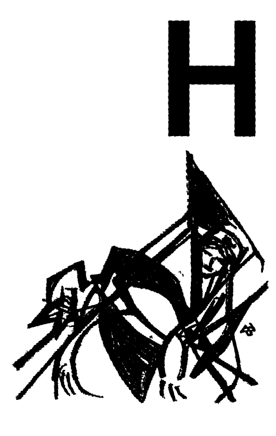
Бывший дьякон, спец-мощевик, спускавшийся с лестницы, прислушался.

— А и славно поет твоя баба! — баснул дьякон по старинке.

— Простите, отец дьякон, полоумная! — и на лице Тимофея Ивановича застыло презрение.

1919 г.

НАХОДКА



Наступают теплые дни —

и весь Петербург звенит.

Цепляющийся зубильный звон, назойливый и точащий — железа о камень — звук стройки. И не найти уголка, нет такого дома — идешь по Невскому, и на Васильевском, и на Песках, и где-нибудь у Покрова — звенит.

Вечером в раскрытое окно каменный дых и пар домов и застоялая копоть труб, как глухая стена, и один — дышит один этот звук, точа — звенит.

Наступают теплые дни —
вот и белый май,
белая ночь,
цвет двух алых зорь — —

Много лет, как заглох, не звенит.

И дети не играют в любимую игру — уцелевшие кое-где леса начатых построек растащены: печурошная железная саранча прожорливая за зиму подобрала все деревянные дома и доски.

Маленькие — те еще в песке строят свои волшебные песошные города.

Дым фабришных труб — не́видаль, как стройка.

Рассеялись петербургские желтые туманы.

Вечер свеж и прозрачен — какие звезды! — и улишная тишина пустынна.

*

Находка — собака звонкая: ошейник на ней не простой, с бубенчиком.

И в вечерний освежительный час с высоты шестиэтажной видеть ее никак не увидишь, а слышно: звенит.

И поутру́, когда колодезные жильцы спускаются во второй двор с чистым ведром в прачешную за водой, с поганым к помойке, и сквозь ведёрный звон звенит.

Только днем не звенит.

Илья Иванович Яичкин, хозяин Находки, заведующий, и днем ему дома не сидка: дело его хлебное — в лавке.

А Находка при нем неразлучно.

Заглянешь в Управу к Девятке — сидит Девятка с Попкиным, дела решают, — наро́ды, телефон, содо́м, — и вдруг через всякий звон звенит.

А это и значит, что где-то тут в какой из комнат Яичкин за хлебным нарядом.

То же и в лавке, стоишь в хвосте — молчим или точит зубильная жаль — и вот под стук ножа и гирь зазвенит, и все очень понимают, что это сам Яичкин Илья Иванович.

Так и в Совдепе, ищешь ли комнату — за билетиком в очередь за дровами стать, или перегоняешься из комнаты в комнату за подписями и печатью, или просто тупорылой скотиной ждешь на авось, и опять зазвенит: Яичкин и здесь.

В 8-ь запирают ворота — была и такая крутая пора — и уж не ты и к тебе никому, и телефон, пылясь, мертво молчит, раскроешь окно — там, глядишь, Галушин, председатель, примостился у окна — вечер теплый! — газеты: какой-нибудь 13-ый год, — а против в окне уполномоченный Кузин ведомость составляет: списки жильцов —

— прошел я Россию, сколько тюрем, острогов, не миновал секретной самой тесной, как мышеловка, сидел и в башнях — за какими ключами, затворами! — но такой каторжной тишины и гробового спокойствия не запомню.

И вдруг звук, как шарик, рассыплется — мелкие шарики

> каждый шарик в орешек — стук орешек! —
> орешек в горошину — лоп горошина! —
> горох на крупинки — сей, лей, вей ! —

все завьется, заструнится — звенит —

Мне-то не видно, но вижу, как Галушин и Кузин кивают: Илья Иванович Яичкин возвращается с работы — ему по его хлебному делу, как днем, так и ночью, ход не заказан.

*

Жаловался Яичкин на арифметику: мудра́ — не тверд.

Взялся за него Кузин, и одолел ее Яичкин, да так, что ни на какую стать.

С этого все и пошло.

И «вагоновожатый» — Елена Ивановна, у которой матросы живут, жилистая и рассудительная, именно на арифметику все и доказывала и от арифметики выводила всю Находкину бедовую историю.

А историю эту собачью все знали — от Управы и до лавки, и от лавки до Совдепа, и от Совдепа до Участкового бюро, и от бюро до комендатуры, и от комендатуры до клуба, а от клуба по улице вдоль —

И даже Женя Кузин, который

— маленечко по нотам поет —

и носит при себе, как трудовую книжку, пастуший билет: пастушить ребятишек — выдал я ему еще по весне с обезьяньей печатью! — и Женя может ее рассказать и со всеми подробностями и чудесами.

*

Илья Иванович уехал в командировку.

И узнали это не потому, чтобы Яичкин ходил и объявлял по всем по семидесяти пяти квартирам снизу и доверху, а потому, что звон бубенчика замолк.

В последний вечер звякнул — —

Я долго не спал — читать не видно, так сидел, —

в белой ночи по бледному небу расцветали зеленью белые звезды — камушки изумрудные, и, не игля, лились лепестками.

Долго трудился Илья Иванович над чемоданом, укладывался, потом — я ничего тогда не мог понять — разрезал хлеб, целую форму, взвесил каждый кусок и стал раскладывать по полу рядком, а потом, держа за ошейник Находку, тыкал ее носом в каждый кусок и что-то приговаривал, уча, и так раз десять на каждом куске.

Находка становилась на задние лапки, служила, смотрела — —

Илья Иванович собрал крошки, запер шкап, присел к столу, подумал — вдруг встал и, в чем-то убеждая Находку, строго погрозил.

Тут вот в последний раз и звякнул бубенчик.

*

Дом наш — колодез, мешок каменный, и из всех домов, мешков таких же, самый есть тихий.

И ничего-то у нас не случается.

Как-то однажды около полночи, когда все семьдесят пять квартир на сон ладились, распахнулось окно над Кузиным и барышня Рыбакова сдавленно ухнула:

«Душат!»

Решили, пожар: и всякий, в чем застало, опрометью к прачешной воды набрать, чтобы тушить.

Конечно, вода никогда не мешает, но дело тут не в пожаре и вода ни при чем.

Давно подмечал старик Рыбаков, что хлеб пропадает, а жила у них прислуга, вот он и вышел перед сном на кухню и что-то тут случилось —

или эти белые зазеленевшие звезды?

стал он, видно, шарить Пашу, хлеб искал. А рыбаковская Паша, всякий знает, одна на шестой этаж бревно стащит, Паша-то старика и ущемила, дочь испугалась и всполыхнула:

«Душат!»

Что еще?

Вронская, бывшая актриса, всякий вечер обходила по одной лестнице квартиры вверх и вниз и у всех допытывала, не пользуется ли кто уборной?

Начинались долгие споры — неизвестно отчего Вронскую заливало — в споре до слез доходило: Вронская старалась доказать, что именно пользуются, и так настаивала и так убеждала, что можно было подумать, есть и в таком текучем предмете признаки такие, по которым сразу отличишь жильца от жильца.

Больше, кажется, ничего.

И вот — завыла собака.

Как ночь, так вой.

Не поверили, всякий сказал, косясь:

— Это там, не у нас.

А что ночь, то вой заливней.

И поверили:

— Не к добру: у нас.

Где, что, почему?

В доме собак нет, Находка?

Пятый день, как Яичкин уехал, а Находка при нем — неотлучна. А кроме того, никто и никогда не слышал, чтобы выла Находка, да она и не лаяла, она только звенела, а может, и залаяла б где на солнышке, но в каменном-то мешке за такой оградой — —

Затаились, только уши одни.

И каждое окно, как ухо.

— Это у Яичкина! — первым догадался Кузин и, высунувшись, крикнул председателю.

Галушин, не замедля, откликнулся, точно и ждал того:

— Конечно, у Яичкина.

— У Яичкина! — отстенилось в колодце.

Тут уши опали.

И окна сразу закрылись.

Белые, белее ночи, заметались за окнами.

— К Яичкину забрались воры: чистят.

По лестнице воздушно в белой ночи: впереди председатель, за председателем уполномоченный, за уполномоченным два члена, за членами сотрудники, — и все были по-ночному налегке и только форменные кантовые фуражки бывших ведомств с серебряными подковками и лепестками значили, что не лунатики, а домовое начальство и в полном составе.

Я слышал звонкий голос Кузина, немилосердный стук.

И на минуту все замолкло — саплая надсадка — и, как конец, на весь колодез треск.

У Яичкина в покинутой квартире замелькал огонек и тотчас, как огонек, зазвенел бубенчик.

Ни воров, ничего —

одна-единственная Находка.

Полно́чи только и было разговору.
— Уехать и запереть собаку!
— И как она еще не сдохла.
— Человеку вытерпеть трудно, а собаке и подавно: завоешь!
— Ей камушек показали, так она как кубарик —
— Залаяла, ей Богу, сам слышал.
— Не предупредить, вот чудак.
— И сколько этого г .... ща, весь пол!
— Да чего ей жрать-то было?
— Нашла себе чего: чай, заведующий!
— Да ведь все на запоре, не такой.
И под все суды-ряды и пересуды одиноко одинокий звенел бубенчик.

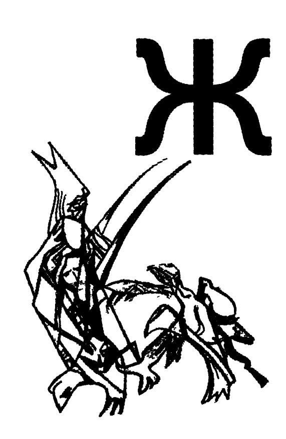
*

На другой день вернулся Яичкин.
Яичкин вернулся раньше срока.
Не хотел верить: ведь он же оставил Находке ровно десять фунтов хлеба, десять равных кусков хлеба ровно по фунту на день.
— Да столько и гражданское население не получает! — оправдывался Яичкин.
А после всяких споров, когда весь колодез затих, я видел, как выговаривал он Находке, укоряя ее, должно быть, что все десять фунтов сожрала зараз, а не по фунту, как полагалось, потом, спохватившись, бросился собирать с пола все собачье, наклал до верху скороходскую коробку из-под штиблет и поставил на весы.
Весы показали 20-ть!
И уж чего ни делал — и тряс и дул — стрелка оставалась неколебимо: 20! — 20 фунтов.
— Откуда?
Яичкин отказывался что-нибудь понять:
— 10 — — 20.
Это было сверх всякого учёта и не поддавалось никакой регистрации.
Находка стояла на задних лапках, служила, смотрела —

1921 г.



ПАНЕЛЬНАЯ СВОРЬ



Жил я всегда на самом на верху: видишь с голубятной высоты своей двор и что там, на дворе, громоздь и скрыть дворов петербургских, но чаще — высота такая поднебесная, что ничего уж не видно, никакого двора — ничего-то вниз, а только — прямо в лицо — косматые дымящие трубы да небо да звезды —

Звезды — —

и звезда с звездою говорит.

Я только теперь это до боли понял, когда больше не вижу ни неба, ни звезд.

А случается подняться к соседу — и всего-то этажом выше — и все по-другому, и сам я как-то переменяюсь и без крыльев несешься —

«Мучной лабаз — Варгунин — торговый дом стиль — мебель заграничных фабрик» — все это мимо — выше —

и звезда с звездою говорит.

Я больше не вижу ни неба, ни звезд, как давно уж не присяду к столу в ясный час утра, когда мысли как огоньки, а душа горяча.

Выгнанный на улицу, с утра на ногах, с мешком в руке я куда-то иду весь пылающий, с сердцем, как огонь, иду — —

И так всякий день.

На работу? — не-ет! какая это работа, нет! а только затем, чтобы как-нибудь пе-

ребыть день и иметь хоть один-единственный свободный час, присесть к столу, но уж погасшим, с тупым проклятием этой судьбе или хуже, с покорством одолеваемого усталью человека —

еще человека,

у которого пробивается струнящийся свинячий хвост.

Но она же, жестокая судьба моя, которая выгнала меня на улицу и вконец обескровила и изморозила до кости, и как-то случаем загромоздила домами небо и звезды, она же открыла передо мной окно на улицу.

Я вижу, как по Невскому бегут, как мушки — это беспощадный день ожесточенного от голода и гнета Петербурга с одной упорной навязчивой мыслью схватить, перешагнув всякое «нельзя», какую-нибудь съедобную дрянь, чтобы как-нибудь перебыть день, — и, разрезая мушиный бег, со свистом одинокие несутся автомобили — столько не сгорит керосина или бензина, сколько ненависти и проклятия в этой подхлестываемой бедой шарахающейся, отчаянной, преступной нищете, а тут прямо под моим окном выползает ничем неистребимая панельная сворь, грохочут наглые грузовики в кожаных лоснящихся куртках и не спеша уверенно подъезжают нагруженные мешками подводы, их ломовые рожи, осыпанные мукой, подергивают возжами.

*

Случилось то, чего так боялась Нюшка, слушая сказки старухи Мыслевны, даже думать боялась, что и с ней такое может случиться, как в сказках, когда Баба-Яга гонялась и настигала и ловила, чтобы на косточках поваляться.

И все это случилось в ранний час утра, когда я с тупым покорством судьбе немилостивой и такой щедрой — ну, разве это не щедрость! — выходил на улицу весь горящий, с открытыми глазами и рвущимся переполненным сердцем.

В один миг я все увидел — а это и длилось один миг — и, сразу попав в теснейший круг, различил все до мелочей мельчайших.

Нюшка в зеленой исстиранной кофте с таким же вылинявшим бархатным вишневым воротником, в черном переднике поверх белёсой юбки, повязанная голубым платком с торчащими за спиной заяшными ушами, босая, стиснув крепко в ручон-

ках коробку, завернутую в белую бумагу, металась по мостовой от панели до панели с криком из последнего крика, ни за что не поддаваясь милиционеру в защитной куртке, который с необыкновенным добродушием, смешно ощериваясь — смешно ведь, такая крохотная чудная девчонка! — гонялся за ней и никак не мог изловить.

А Нюшка ничего не видела: ни этой улыбки, ни смешно растопыренных, ловящих, как в игру играя, рук, — Нюшка, ведь она верила еще в сказки и в игры верила — в кошки-мышки! — металась, как металось в мольбе о пощаде ее маленькое, всжигнутое прямо по живому сердце, металась от Яги или от разбойников, или от кошки и на крик кричала —

этот крик ужасный детский, которого нельзя человеку слышать безнаказно, и если нет никаких возмездий и сама вековая мудрость о карающем роке вздор, я говорю: этот крик — это бешеный яд собачий, который взбесит и самое крепкое человечье мясо — слышите! — завтра ж загрызет от смертельной тоски землю.

— Оставь ее! оставь! — слышались голоса остановившихся прохожих, которые, за кругом сто́я, следили за всей этой сказочной и такой правдашной игрой.

И на лицах не было никакого удовольствия, что вот случилось-таки то, что случается только в тех страшных сказках, которые любила эта несчастная девчонка, и что очень смешно, что большой взрослый человек не может поймать такую маленькую, как мышка, девчонку с голубыми заяшными ушами.

И не поймал бы, будь у Нюшки ворота — ведь это игра в кошки-мышки! — но еще двое в черном пересекли от Невского дорогу —

— попалась!

и с той же самой улыбкой и совсем не злою поймали девчонку.

— Дяденька! дяденька, отпусти! зазвенело всем звоном и далеко туда — за Фонтанку — за Неву, и туда — за дома, колокольни и трубы.

Я пересек всю эту гоньбу и, выйдя из круга, пошел своею дорогой, не помню, за какой-то добычей, и прохожие тронулись по своим делам — за какой-то добычей.

Но я никак не мог забыть и не могу забыть и не забуду до смерти, я сохраню с любимою музыкой и этот детский крик, от него никуда не уйти и никаким благовестным колоколом не заглушишь.

*

Вечером в тот день, присев к столу, я случайно заглянул в окно: среди панельной своры стояла Нюшка, в руках коробка в белой бумаге, и что-то очень такое, как сказку, рассказывала она другим Нюшкам постарше.

А я-то думал — —

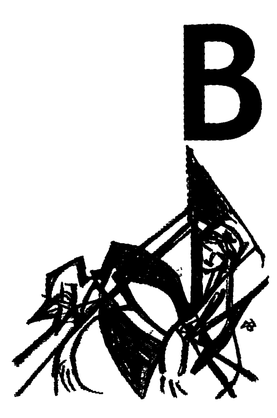
Вот тебе и на всю жизнь!

Или есть еще что-то, что сильнее всяких страхов?

Или как и мне, как тем прохожим, и ей надо как-нибудь перебыть жестокий неизбежный день?

1920 г.

СВЕТ СЛОВА



Все живое, от звезды и до речного голыша, а также и всякое создание — всякое дело рук человеческих, лап и лапочек — гнезда, города, дома, игрушки, машины светятся своим светом,

также и мысли и помыслы человека светятся светом, светится своим светом и слово.

Сказать о человеке хорошее куда приятнее, чем лаяться.

Да что приятнее, — больше! найти хорошее в человеке — великое счастье.

И счастье это от света.

А свет от человеческого в человеке,

а человеческое в человеке — это желанность души человеческой, та крепь, какою разрозненный избедовавшийся мир держится —

уста к устам
и сердце к сердцу.

Среди последнего зверства, в котором человек с человеком взапуски бегает, в бессердечии, грызне и своры, в этой тьме кромешной вдруг взблеснет она теплою искрой и озарит — идешь по Невскому в свинцовый холодный вечер, и вот где-нибудь за Казанским собором расколется небо и такая разольется полоса заревая — а ведь ее-то зарь ярче и самой северной зари.

Я видел ее, чувствовал.

Я видел ее даже и в таком, зверем что в человеке зовется и от чего сами-то звери открещиваются, поговори-ка по-человечески, порасспросите-ка волков, лисиц и у всяких зайцев.

Много я видел добра от человека и в самую великую распрю на повороте жизни человеческой за все эти решающие годы.

И за эти же в десятки, а может, в сотни годов годы я, побиральщик, околачивающий пороги, терпеливо и, скажу, не без страха, ожидающий очереди в приемных, я — писатель прошений, как часто, загнанный, в последнем унижении, оробелый, с приглушенным голосом, или в остервенении своем отчаянном просто пропащий, проходя по улицам и чуя свою покинутость и беззащитность, открытый для всего, с каким жарчайшим желанием думал я — —

о волках, лисицах и всяких зайцах, братьях и сестрах безгласных.

И вот как-то иду я так по Литейному —

Что-то с утра, как вышел на улицу, все-то мне не ладилось: там просил, отказали, а в другом месте просто обманули, а еще в третьем мало отказа и обмана, а еще и, повинив во всем, выругали, и пришлось покорно и безответно принять, не знаю уж, от зависимости ли боязливой, кабы хуже чего не сделать, отвечая-то, или — и такое бывает, очаянное! — как в пропасть летишь и за тобой камни — так пусть же летят, все приму! — и летишь.

Так вот шел я по Литейному, сердцем к зверям, и что-то со зверями уж разговаривал, с волками, лисицами и всякими зайцами, и вдруг точно за рукав кто дернул, замедлил я и слышу — —

А догоняли меня две женщины, так — простые.

И одна рассказывает другой о каком-то человеке, — о своем знакомом, — ясно слышу необыкновенно, точно это мне в ухо кто шепчет, — о каком-то человеке, у которого ничего-то нет, ну совсем, такая последняя бедность: такая, что и поделиться-то ему нечем, и говорит он, этот человек:

«Ну, — говорит, — коли нет ничего, хоть ласковым словом поделиться».

— Ласковым словом надо делиться! — и это, как в полдень, когда где на Площади застигнет, ударит пушка, — ласковым словом надо делиться.

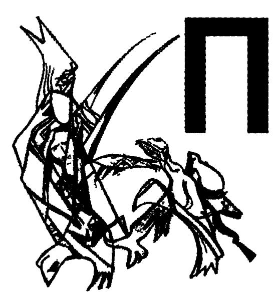
И вдруг я точно проснулся —
Вижу небо, синее такое, не наше — и вся душа потянулась — не робкая, не забитая,
многорукая,
многокрылая —
И я как вырос.
И одно чувство наполнило мое, как мир огромное, сердце.
И сказалось пробудившим меня от моей падали словом.

У меня тоже нет ничего и мне нечем делиться — я уличный, побиральщик! — но у меня есть, — и оно больше всяких богатств и запасов, — у меня есть слово, и этим словом я хочу поделиться, сказать всему разрозненному избедовавшему миру — человеку, потерянному от отчаяния беспросветно, человеку, с завистью мечтающему о зверях, человеку, падающему от непосильного труда в жесточайшей борьбе — быть на земле человеком —

уста к устам
и сердце к сердцу.

1921 г.

ЗАБОРЫ



После скотской зимы пришла весна —

Она наперекор безнадежности и отчаянию вдруг пришла такая нежданная, обрадованная и такая громкая — не запомнят! — с шумом и звоном ломающихся тяжелых, как чугун, льдов и изникающих хрупких льдинок, пришла внезапная — северная, с иссине-черным вороновым небом, обещающим теплые дни, и с теплыми сверкающими днями, сулящими звездные песенные ночи.

Я видел, проходя по улицам, как самое закорузлое, загнанное на зимовье в тараканьи щели — за суровую-то нашу зиму все тараканье, все тараканы покинули насиженное свое жилье, уступив его человеку, который ведь все вынесет, все вытерпит, как и все сожрет! — я видел, как закорузье — это съежившееся, забитое, защеленное и оскотевшее принимало человеческий образ, видел улыбку переставшего улыбаться соседа, слышал добрый его оклик — смотрел и не верил, слышал и не признавал.

Неизгладимую сохраню я память о единственной весне чудесной.

Но не только от чудес превращений и песни, прогремевшей тогда весенним громом — о разорванных оковах, воле, мечте и томящей любви — и не потому, что сам я, зиму живя, как скот, как зверь самый пещерный, вдруг, уж издыхая,

ощутил весеннее тепло и мое затихающее сердце забилось со всей землею — с сердцем лесов, полей и гор — зверя, рыб и птиц —

чувство необычайное, острейшее пронзило все существо мое.

И это чувство раскололо дни.

Я что-то понял и человека благословил с его дерзающей мечтой.

*

Шел я на Васильевском по Большому Проспекту, нес тяжесть — гниль мороженую мокрую себе в корм: капусту или еще какую помойную погань — драгоценность большую.

День несолнечный пасмурьем успокаивал слепые глаза мои, на душе теплилось кротко.

Не глядя, шел я привычно.

И вдруг визг отдираемых досок точно ударил меня — доламывали последний забор.

И я сразу все увидел, весь Большой Проспект, и так далеко — до самого моря.

И не узнал —

Я не узнал привычную дорогу.

Широкая открылась моим глазам воля.

Это заборы, которые теснили улицу, — не было больше заборов: садами шла моя дорога.

Это мечта моя расцвела в явь садами.

Я помню, точно ощеренные, с прогнившими досками заборы — — забор и под забором упавшего человека, когда все двери перед тобой захлопнулись, а калитки и ворота под замком заперты крепко;

и эти проклятые стены, отгораживающие человека от человека — самодовольные свиные хари, выглядывающие из-за заборов на твою беду и отчаяние;

проклятия твоего бессильного сердца;

и тупая покорность.

Я видел дальше — за море — за моря —

И в сердце моем вскипали слова: они были резче пил и тяжче молота — могли бы согнуть и железные прутья, разломать и чугунные ограды железного человеческого сердца.

И больше не чувствуя тяжести, шел я легко садами.
Так прошел бы всю землю — все земли от моря до моря.
И другие слова подымались от сердца
благословенные,
благословляющие мечту человека.

1920 г.

СЕМИДНЕВЕЦ

Я расскажу несколько рассказов, собранных мною у ворот и в подворотне «Семеновского скита» на Васильевском острове, когда, стоя на ночном дежурстве, мы коротали тревожные часы серебряного мая и золотого сентября 19-го года — поры опасной для Петербурга. Семеновский скит многокелейный, скитников много и всякие, и рассказы их разноладны.

ДВА СТАРЦА

В одном удаленном от большого города монастыре, известном строгостью жизни населявших его монахов, жили два замечательных инока — Пахомий и Пафнутий.



Связанные давнишней дружбой, ревновали они друг перед другом в подвигах благочестия и постничества. И если труды их были одинаковы или превосходили друг друга, слабости их казались как будто различны.

Когда собирался монастырский хор и юные монашонки выстраивались на клиросе и от пения и свечей щеки их розовели, Пафнутий, не сводя глаз с клироса, умилялся до слез, Пахомий же не мог не улыбаться при виде девочек подростков, наезжавших в монастырь со старшими родственниками на богомолье.

Совместными усилиями, каясь друг перед другом, побеждали старцы греховные свои помыслы и на время утишался греховный огонь. Но как раз в самую чистую минуту после покаяния возникало между ними пререкание.

— Кто прекраснее: монашонок кудрявый или подросток с своей косой нежной?

Пахомий стоял именно на косе, Пафнутий наоборот все видел в кудряшках.

И эта словесная пря доводила гневливых старцев до исступления, они выкрикивали друг другу неведомо что, опускаясь духом в самую преисподнюю, и вдруг очнувшись, в горе снова били поклоны и опять каялись.

А бывало и так, что крик сквернословный иноков, не стеснявшихся в распалении своем ни местом, ни временем, мог только окончиться потасовкой, и мудрый игумен Сафроний, внушая кротость, заключал старцев в пример братии в место узкое и темное, доколь не смирялись и не каялись.

Так проходила их жизнь и можно было подумать, что так и пойдет в жестоком борении, а рано иль поздно достигнут они бесстрастия и безмятежно почиют, достойные царствия небесного.

*

За ранней утреней, когда Пахомий и Пафнутий, примиренные после при, неистовой брани и высидки с покаянием, стали на свои места рядышком и, положив начал, начали немую молитву, зарясь всяк на свое, вдруг как один оба они вытаращились, ровно ужаленные: мимо амвона проходил, как березка стройный, монашонок и до того нежен был цвет лица его, ну, девичий.

— Отрок, — шепнул Пафнутий.

— Отроковица, — по лошадиному перекосился Пахомий.

И что-то до того гневное, вражда какая-то не на жизнь, а на смерть поднялась в душе у обоих старцев друг против друга.

Строптивость обуяла.

Забыли немую молитву, не слыша ни пения, ни возгласов, с остервенением искали они глазами поразившаго их монашонка, а он стоял тут за клиросом, загороженный большим подсвечником, невидим для старцев.

И с того дня, казалось, самой дружбе старцев наступил конец.

Встречаясь, они набрасывались друг на друга с кулаками, не крича уж, а шипя, всяк про свое.

— Отрок! — кривился Пафнутий.

— Отроковица! — дыбился Пахомий.

И оба, таясь друг от друга, выслеживали монашонка.

А скоро стало известно, что монашонка зовут Павлом, а отдала его в монастырь родная его тетка игумену Сафронию на попечение.

Пафнутий торжествовал.

— Отрок.

— Отроковица! — гаркал Пахомий и вопреки всякой очевидности доказывал, что хоть и называют монашонка Павлом, а на самом деле имя его женское — Павла.

*

Монашонок за службой стоял на виду у старцев у кануна, наблюдая за свечами.

Какая-то трясущаяся старушонка задумала поставить свечку и долго не могла приноровиться укрепить ее в гнездышко.

Монашонок, глядя на старуху, рассмеялся.

И когда он рассмеялся и в желобке над спелой его губкой появилась водица, у старцев дрогнули поджилки.

— Отрок.

— Отроковица.

И оба одно себе молили, чтобы еще и еще раз улыбнулся монашонок.

Игумен же Сафроний, он все замечал, и этот смех над старухой не остался для него скрытым, игумен после службы подозвал монашонка.

— Тебя за смех твой неуместный будет началить схимник Патермуфий, а дорогу к нему покажет отец Геннадий.

Перепуганный Павел поклонился игумену в ноги.

— Иди же, — строго сказал игумен и занялся разговором с другими.

И когда, по указанию отца Геннадия, Павел отправился к келье схимника, старцы, которым известен был всякий шаг монашонка, еще загодя забрались к схимнику и там притаились в кустах за молодыми липами против кельи.

Павел упал на колени перед окном Патермуфия и громко каясь в грехе своем, сокрушался и плакал. И трижды земно просил он простить его, но из глубины кельи не было ответа.

Павел стоял на коленях и четыре невидимых глаза пронзали его из-за кустов. И если бы стоял он день и другой, эти четыре ненасытных глаза так и не отпустили б его.

Наконец, послышался голос:

— Завтрашний день в полночь ты в одеянии стыда своего, непокровенный, придешь в церковь Иакова Христопраса и там покаешься перед алтарем, проведя в молчании ночь, а наутро вернешься сюда.

Старцы обалдели.

Сердце их было полно — выше меры. Теперь они докажут друг другу. И не сдержав своего чувства, заургали оба, ну, звери. И не дожидаясь, когда уйдет Павел, выскочили из-за лип и пустились назад в монастырь. И там, забившись в тесную свою келью, сигали и скакали или, просто сказать, безобразничали.

Сердце их было полно — выше меры!

Пафнутий дал такого шлепка по костяшкам Пахомию, тот так и перевернулся, перевернулся и укусил Пафнутия за волосатое ухо.

И все это не по злобе, а от игры разыгравшегося сердца.

Ждать завтрашней полночи, казалось, не было силы!

Ночь прошла без сна, и когда явились старцы на утреню, лица на них не было. Трясло их и дергало. Не удерживая нетерпеливаго чувства, они щелкали языком, выщелкивая всяк свое:

— Отрок.

— Отроковица.

В полночь все решится, и кто прав, докажет полночь.

*

Как долго в тот день шла утреня, как тянулась обедня — если бы можно было на колокольне подвести часы или подогнать солнце! — медленно двигались стрелки и солнце точно задремало на своей небесной колокольне.

Отказавшись от трапезы — не до еды было! — сейчас же после вечерни старцы шмыгнули в алтарь и там влипли в колонны, да так и остались никому не заметны.

И когда все затихло, вышли они из-за своей засады и за работу: проковыряли две дырки в северных вратах и две дырки в южных вратах, а в царских откромсали порядочные два куска, чтобы виднее было и не ошибиться.

Павел же, когда стемнело, испросил у ключаря ключи и ближе к полночи пошел в Иаковову церковь, как велел ему Патермуфий.

И вот скрипнула дверь и со свечей появился Павел в пустой церкви. Одежду он сбросил на паперти и непокровенный твердо шел к царским вратам.

— Отрок.

— Отроковица.

Так выстукивало сердце.

Старцы прильнули к своим щелкам — Павел поднимался на амвон — и в раз пискнув, оба упали без чувств.

Не забыть Павлу этой ночи, — какие страхи мерещились ему в пустой церкви! — едва до утра дожил.

А наутро, когда пришли служить заутреню и выпустили Павла, в алтаре у царских врат нашли двух старцев, уж бездыханных, Пахомия и Пафнутия: на лице их был восторг, а в незакрытых глазах умиление, и от их бренных останков исходило как бы некое благоухание.

1919 г.

ЗМЕЯ

Это было в те далекие времена, когда земля наполовину лежала пуста, а пустыри были покрыты лесом и кустарником. По узким глухим тропинкам проходили одинокие путники, стараясь держаться течения рек, и так брели от города до города и от села до села.

Однажды в воскресное утро шел по такой тропинке бледный изнуренный странник, весь перевязанный широким полотенцем. На повороте реки лицо его изобразило ужасное отчаяние, и он со стоном припал к воде.

Шедший навстречу путник поспешил к нему на помощь, помог ему подняться и усадил на камень.

Странник рассказал ему про свое горе.

Многие сотни верст прошел он по земле, а несет он в себе большую змею: когда-то в детстве во сне заползла ему змея в горло и с тех пор питается его пищей, и жажда его неутолима.

— И не знаю я, — сказал странник, — как мне от змеи освободиться. Ищу я человека, который бы помог мне или такого мудрого лекаря, который бы заклял змею.

Выслушал добрый человек, посетовал на злую судьбу, но указать ничего не мог и пошел своей дорогой.

А странник, отдохнув, продолжал путь.

Подымаясь в гору, он ничего не замечал и не чувствовал зноя; только жажда не покидала его да напряженное внимание: успокоился ли его мучитель?

Змея пожирала его пищу, оставляя ему чуть-чуть, чтобы только поддержать ему жизнь, а с пищей пожирала и память: постоянное прислушивание к движению мучителя отвлекало все его силы, и прошлое, что было в детстве, не вспоминал он и даже родной город незабвенный Нюренберг ни разу не вспомнился за все его тяжкое странствие.

*

Странник, достигнув косогора, увидел женщину. Она, поровнявшись, пристально посмотрела на него.

— Иди направо! — сказала она.

— Почему направо?

— Я говорю это всем, потому что там живет затворник — целитель и чудотворец.

Странник низко поклонился — какое счастье, он и не спрашивал, а ему указали, он нашел человека и будет свободен! — и пошел направо.

И достиг кельи.

— Это келья затворника?

— Его, — ответил какой-то монах, может, сторож.

— Можно видеть?

Но затворника не оказалось: прошедшей ночью повезли его по приказу короля в столицу.

— А когда вернется?

Но монах только махнул рукою:

— Никогда.

Странник упал духом — какое несчастье, наконец, был случай увидеть человека, стать, наконец, свободным, и все пропало!

В отчаянии стоял он у пустой кельи, не зная, что и делать.

*

Уж день погас и веял вечер, а странник все стоял в своей горькой думе. С луной его оставили силы, он отошел от кельи и прилег в малинник.

И сладкий дурманящий запах опьянил его.

«Не все ли равно, — думал он, — видел меня целитель или не видел, и если я поверил, что он чудотворец, он исцелит меня!»

И засыпая, мечтал он, как очнется свободный, начнет новую жизнь и какая это будет жизнь — все живое до последней травинки войдет в его душу, не пропустит он и часа, ни минуты, он возьмет все от жизни, а за то и отдаст все, все свои силы, чтобы легко было всему живому до последней травинки. Только бы быть свободным!

И приснилось ему, будто пьет он холодную воду — вода льется ему прямо в рот, и пьет он, как всегда, ненасытно.

А утолив жажду, он очнулся и, как очнулся, с трепетом заметил — луна, все видно — изо рта выползает змея: пасть ее раскрыта.

Или это сладкий запах, пьяня, тянул ее?

И змея выползла.

И в первый раз легко поднялся он.

Нет больше змеи, — свободен!

И вдруг почувствовал такую ужасающую пустоту, и уныние нашло на него — ведь вся его жизнь змея, все его мысли о змее, а все его слова — жалоба, и вот нет змеи, и как же ему, с чего начать?

— О! о! о! змея, змея! — простирал он руки к луне.

Все было видно: на темных кустах чернела малина, и как пуста была эта первая его свободная ночь.

И за эту ночь все решилось.

Он никуда не пошел — да и куда идти? — он навсегда остался в брошенной келье.

А та женщина, как и раньше, говорила одно и то же всем встречным:

— Идите направо, там живет затворник целитель и чудотворец.

И путники, стражда, заходили в келью, а покидая келью, уносили мир истерзанной душе.

1919 г.

ПАННА МАРИЯ

В нашем краю бедные села, маленькие города и болота.

Изредка между деревьев мелькнут кресты костела и кучей серые халупы затеснят по краю болота.

Жидкий унылый звон в воскресенье жалобой томит душу.

В белых платках, как белые птицы, русые девушки и женщины как бы плывут, туманясь, по протоптанным тропинкам к нашему старому костелу темному и низкому, вросшему в землю.

Как хорошо на земле, где цветут яркие цветы и полно дышит солнце, но ничем незаменна и эта щемящая тоска болот и туманов и унылого воскресного звона.

Когда кончилась служба и ксендз пошел в исповедальню, пани Ядвига упала перед ним на колени, жалуясь на несчастную судьбу: опять у нее беда с коровой, и только что ребят накормит, а на масло и не хватает.

— Стыдись, — остановил ее ксендз, — ты докучаешь Богу жалобами о своих пустяках. Бери пример с панны Марии: она ослепла при рождении и, будучи прекрасной, как ангел, поет в костеле или играет на органе и хвалит всегда Иисуса, Его Пресвятую Матерь. От нее не услышишь горького слова, только благодарит Создателя и славословит.

И пани Ядвига по дороге домой зашла к несчастной, для которой, по словам ксендза, само несчастье было источником великого счастья благодарить и славословить.

Высокая бледная девушка неслышно проходила по палисаднику, и большие голубые глаза ее были необыкновенно спокойны, и никак уж нельзя было сказать, что они не видят, и только легкие движения пальцев показывали, что она слепая.

И ей, как ксендзу, рассказала пани Ядвига о своем горе.

И в ответ совсем просто, как только могут очень измученные люди и в муке своей примиренные, почти без всяких слов одним прикосновением утешила панна Мария несчастную, да еще и денег дала ей.

Получив подачку, довольная Ядвига разговорилась: ей хотелось сказать что-нибудь очень веселое, чтобы развлечь панну. И она рассказала о каком-то молодом пане, который приехал из Варшавы к соседям русским.

— Очень часто по вечерам прогуливается мимо вашего палисадника, а через неделю уедет в Варшаву.

И долго еще болтала, преувеличенно расхваливая красоту и обхождение пана.

Мария сначала слушала равнодушно, как обыкновенную деревенскую новость, и вдруг в душе ее поднялась досада, что ничего она не видит, слепая, но сейчас же спохватилась и стала читать молитву, благословляя волю, решившую ее слепую судьбу.

Ядвига очень довольная скрылась, и все пошло по старому.

Вечером панна Мария вышла в садик, она всегда коротала вечер одна с цветами, и ей бывало горько, но эта горечь была привычной благословенной, расцветающей, как ее садик, мечтами. А на этот раз, и сама не знает, какое-то особенное чувство охватило ее: она чего-то все прислушивалась, точно ждала кого.

Но ни души не было и шагов не слыхать по дороге.

А когда пришло время возвращаться в комнаты, и сама не знает, отчего это такою грустью наполнилось ее сердце.

На следующий день то же и то же чувство, но еще сильнее, и еще глубже грусть.

И вдруг совсем неожиданно она прямо себе сказала, что ждет его, того пана, о котором рассказывала Ядвига, и ей грустно, потому что его нет.

И только в третий вечер, когда взволнованная ждала она в своем садике, звон шпор по дороге поразил ее слух и голос прозвучал так близко знакомый и опушил ей сердце.

Конечно, это был он, тот пан.

И с ним еще какие-то, и голоса их, как совьи крики.

*

Панна Мария считала часы, минуты, когда настанет вечер, выйдет она в садик и сядет ждать: опять звон шпор и голос — только бы еще раз услышать этот голос!

А проходили дни, сменялись вечерами, — какие тяжкие часы, какие беглые минуты! — и никого.

Так незаметно наступил седьмой — последний день.

Она твердо помнит слова Ядвиги, что через неделю он уедет.

И неужто она больше не услышит его голос?

А если и услышит, неужто никогда-то не увидит?

— Иисусе, дай хоть раз увидеть!

И в тоске горючей она упала перед Распятием на скрещенные руки и просила.

— Иисусе!

И зарыдала — так, когда весь мир до боли жалко и чувствуешь какую-то вину перед всеми, так зарыдал бы, — и никогда так еще спокойные глаза ее не трепетали, они как крылья трепетали.

— Иисусе!

Голова ее горела, сердце ныло.

— Иисусе! раз! увидеть!

*

Без всякой надежды вышла панна Мария в свой садик, села на скамейку туда — к дороге.

Шелестело в траве и что-то за домом пискливо стонало — птица ли, ветер, нет, ветер, ветер нагонял тучи, собирал дождик.

И сердце, как стало.

Ничего не слышно, только шелест, только ветер.

И вот ее чуткое ухо издалека различило шаги.

Да, она не ошиблась. И скоро звон шпор зазвенел по дороге, сейчас услышит и голос.

Маленький облезлый с выжатым, как выжатый лимон, лицом проходил по дороге мозглявый поручик и с ним еще кто-то.

А она смотрела — и только видела его.

Она никого никогда не видала и больше никого ей не надо видеть.

И озарило ее сердце, хотела крикнуть — и мертвая она упала на скамейку.

1919 г.

ДОБРЫЙ ПРИСТАВНИК

1

На одном из убогих чердаков людного Ермеевского дома на Васильевском острове жил студент Медицинской Академии Лапин.

Наука давалась ему с трудом, а еще труднее было добывать кусок хлеба. Но он был смел, прилежен и настойчив.

Сашенька, шляпница из мелких мастериц, та же беднота, что и сам он, разделяла его труд и помогала, в чем могла. В тяжелой нужде и заботах, он даже при трепетном свете лампы как-то не замечал, красива она или нет, а после полунощной работы прямо валился спать.

В свои именины Лапин собрал у себя товарищей, и до глубокой ночи, когда Сашенька давно уж преспокойно спала за ситцевой занавеской, распивали пиво и водку.

На чердак доносились порывы ветра с моря, но шум голосов заглушал.

Разговор зашел: кто храбрее?

И решено было, чтобы каждый совершил необыкновенный поступок.

Первым выступил студент Прокопов.

— Давайте сделаем так... Неделю назад, как вам известно, умер наш профессор, знаменитый хирург Петров; всю свою жизнь провел он нелюдимо и слыл колдуном. Похоронен он, как вам известно, на Смоленском — мы позовем этого нелюдима к себе в гости!

Одобрительный смех товарищей, как ветер, захлестнул слова.

— А чтобы он не упрямился, — горячей продолжал Прокопов, — мы снимем временный крест с его могилы. И пусть тот, кто вызовется это сделать, в знак храбрости принесет этот крест сюда.

И опять смех, и еще громче, взорвал чердак.

Не хватало только смельчака.

— Я согласен, — сказал Лапин, — я пойду и позову его, но креста я не возьму: это будет обида для покойника.

— А какое же доказательство твоего приглашения? — закричали товарищи.

— А пусть кто-нибудь со мной пойдет, вот и будет свидетель.

— Хорошо, — поднялся высокий чернобородый Смыгин, самый хмурый и самый сильный, — я пойду.

И под смех товарищей, пошатываясь, оба вышли из комнаты.

И когда спустились с лестницы и очутились на дворе, ветер едва не сшиб их с ног. Но это их нисколько не остановило: решимость оказалась хмельнее и пива и водки.

Через липкую грязь и канавы добрались они до кладбища.

Луна, тая в быстром облачном лёте, издалека мерцала. Порывом с шибающим ветром пылил мелкий дождь.

Это был час, когда по северному морю пробегает летучий голландец.

После немалых поисков, наконец, нашли они свежую могилу профессора, белый его березовый крест. Лапин снял шапку.

— Достопочтенный ученый, — сказал он, обращаясь к могиле, — вся ваша жизнь была посвящена облегчению горя вашего ближнего. Вы спасли тысячу жизней от смерти, болезней, несчастья. Теперь, когда вы получили справедливое успокоение от трудов, я прошу вас разделить компанию ваших бывших учеников: я полагаю, что у вас имеется свободное время за гробовой доской.

Лапин хотел было надеть фуражку, но ветер вырвал ее из рук, поднял вверх над крестом и унес.

И в ту же минуту Смыгин схватился обеими руками за крест и с силой рванул его из земли.

— Не смей! — крикнул Лапин.

Но было уже поздно: рыхлая земля легко поддалась.

И когда они опять вернулись к себе на чердак и Смыгин показал белый профессорский крест, удовольствию товарищей не было конца.

Только Лапин, сразу осевший, бормотал:

— Извини, мы обидели тебя.

Попойка подходила к концу: допивалось и разливалось последнее. И скоро все повалились спать.

Лег и Лапин.

Но заснуть не мог. Он точно погружался в какую-то плывучую пропасть и с ужасом перевертывался на другой бок, а его начинало немилосердно качать, и все под ним качалось без всякой опоры.

И он поднялся.

А выйдя из комнаты, сейчас же забыл, зачем шел, спустился по лестнице во двор и очутился на улице.

Тут он заметил, что погода переменилась: полная луна светила ясно, и было совсем тихо. Сами ноги понесли его на кладбище. Без труда нашел он знакомую могилу и бессильный упал.

— Извини, мы тебя обидели! — бормотал он, тычась в разрытую липкую землю.

И как-бы в ответ вдруг блеснули перед ним золотые очки, лысина, рыжеватая борода.

— Ты меня, Лапин, не обидел, — отчетливо и ясно сказал профессор, — я помню тебя и знаю, как ты прилежен. Но ты бездарен: твой ум и твое сердце никуда не годятся.

Больше ничего не видел Лапин и уж ничего не слышал.

А когда он проснулся, оказалось, что спал на полу у самой двери и очень неудобно.

Следы вчерашней попойки и как попало распластавшиеся товарищи, все это показалось ему крайне отвратительным, и он поспешил выйти.

Проходя по двору, Лапин с удивлением заметил, что картуз его висит на гвоздике около дворницкой.

Да, он не ошибся, это был его картуз.

И он взял его, постоял и, ничего не понимая, тихонько вернулся.

А должно быть, долго стоял на дворе: в комнате он не нашел уж своих товарищей, и белого профессорского креста не было.

А может, все это только пьяный угар?

И в действительности ничего не было: ну, выпивать выпивали, вот и бутылки, но крест и профессор...

Успокоенный на пьяном угаре, Лапин прибрал комнату и, как всегда, уселся за работу.

Так и пошла жизнь своим чередом.

А дня через три всякая именинная память вытеснилась из головы, и все позабылось.

2

Со всем напряжением внимания своего, как самый старательный ученик, сидел Лапин за грудою книг.

Ветер шумел за окном, и за занавеской похрапывала Сашенька.

С трудом разбирая ученое сочинение, Лапин вслед за боем полночи услышал, как кто-то сзади сказал:

— Ты бездарен: твой ум и твое сердце никуда не годятся. Но я переменю твое сердце и ум, потому что ты был добр к людям.

Лапин вздрогнул и невольно повернулся на стуле: перед ним стоял покойный профессор: золотые очки, лысина и рыжеватая борода поблескивали, как в тумане; он был в белом халате, а в руке светился скальпель. Повелительно указал он на кушетку.

Лапин, замирая от страха, покорно встал со стула и лег.

А профессор поднял над ним скальпель и одним взмахом разрезал ему в виде греческой тау грудь и живот, затем вырезал сердце и селезенку, взял со стола с какого-то блюда замену — вложил новое сердце, новую селезенку и, зашив, наложил бинт.

— Лежи до утра!

От ужаса Лапин, задержав дыхание, закрыл глаза.

А поутру, проснувшись на кушетке, он увидел, что тужурка его расстегнута, рубашка разорвана и видны на ней капельки крови, на груди же тонкий кровавый рубец в виде шнурка — тау.

Сейчас же разбудил он Сашеньку и показал ей на свою разрезанную грудь.

А Сашенька, хоть и внимательно смотрела, но ничего понять не могла и, если что думала, то лишь о крайней их бедности, когда нечем и белья починить.

В тот же вечер заметил Лапин, что работа дается ему чрезвычайно легко. И ученая книга, из которой в прежнее время он осиливал за целый вечер дай Бог с десяток страниц, далась ему вся в один присест.

Теперь у него оказался досуг и не было того утомления, с которым, не помня себя, он обыкновенно ложился спать. И как-то взглянув на Сашеньку, он в первый раз поражен был ее безобразием — все было у нее до того мелко и незначительно, и эти молочно-серые глазки, расплывчатый нос, просто запомнить нечего.

«Господи, — подумал он в первый раз, — и за что я ее полюбил?»

Горю его не было конца.

И только услужливость и уступчивость безропотной Сашеньки, ее заботливость нянечья смирили его с жестокой судьбой.

Занятия шли успешно. И когда начались экзамены, они ничем не напомнили ему его прежней страды. А курсовое сочинение, признанное блестящим, написалось шутя.

Лапин чувствовал себя совсем другим человеком — с большими познаниями, уравновешенным и не без воображения.

Лучше всех сдавал он экзамены.

3

После последнего экзамена Лапин вернулся домой поздно.

Бережно сложив книги, он присел на кушетку и вдруг увидел: за столом склонившись сидит профессор.

Профессор с ласковой улыбкой, лукаво подмигивая, протянул руку:

— Что, Лапин, доволен?

— Я о таком успехе даже и не мечтал, но, достопочтенный профессор, — не без развязности обратился Лапин, — нельзя ли как прикрасить мою Сашеньку?

— С твоим умом и способностями, — усмехнулся профессор, — красота — пустяки!

И не успел Лапин опомниться, как профессор шагнул за занавеску и уверенным движением скальпеля отсек Сашеньке голову на́прочь: и, бросив через плечо, взял со столика с тарелки другую голову и приставил к туловищу.

— Эта будет хороша, мозги без перемены.

Лапин как онемел, он не мог произнести и самого простого слова, чтобы поблагодарить профессора.

Проснувшись поутру, Сашенька хотела было по привычке схватиться за жиденькую косичку, болтавшуюся у нее на плече, и вдруг рука ее наткнулась на пышную жаровскую прическу. Не веря себе, она подняла обе руки, чтобы распустить волосы, и не белесые, золотисто-русые пряди зазмеились по ее плечам. В ужасе она вскрикнула.

На крик вскочил Лапин и, увидев на туловище Сашеньки голову античной богини из Эрмитажа, все припомнил из вчерашнего и мысленно с благодарностью помянул профессора.

Новая голова говорила языком Сашеньки, и все было удивительно хорошо прилажено; только на шее краснел как бы тонкий шнурок.

И когда Сашенька сошла вниз, чтобы идти на рынок, охам и ахам ермеевских жильцов не было конца.

А на другой день ребятишки со всего двора кричали ей вслед:

— Переменная башка!

Если бы кто-нибудь из них был позорче, он то же крикнул бы и Лапину, но перемена Лапина не была доступна и самому проницательному глазу.

Сашенька от насмешек плакала, и пришлось переехать на другую квартиру.

4

На 7-ой линии в доме Макарова, где поселился Лапин с Сашенькой, за неделю до их переезда случилось страшное дело: у самого хозяина Макарова зверски была убита дочь — ворвавшиеся разбойники, покончив с горничной, отрезали голову у Нюты и унесли голову с собой.

Старик Макаров, убитый горем, был крайне возмушен: Нюта носила в своих чудесных косах жемчужную шпильку, и эту шпильку можно было просто вырвать из прически, не отрубая головы, а теперь и похоронить нельзя с честью — как же в самом деле безголовой отдать последнее целование?

Околодочный Эраст Аполинариевич советовал старику войти в соглашение с теткой убитой горничной, отрезать голову у Мариши и положить в гроб к Анне Васильевне.

Старик было поддался, но старуха Макарова не хотела и слышать.

— Не хочу, — говорила она, — горничную целовать Маришку.

Так и похоронили.

И вот вскоре после похорон, вышел как-то старик Макаров на улицу и обомлел: у собственного его дома стояла его покойница дочь Нюта об руку со студентом.

Сомненья не могло быть — это была живая Нюта! — и старик к большому удивлению Лапина и Сашеньки гаркнул на всю улицу: караул!

А через минуту все пошли в участок, где уж перед самим приставом старик, показывая на Лапина, с негодованием объявил:

— Вот украл у моей покойной дочери голову и приставил этой девице!

Пристав, зная старика за человека солидного, заметил осторожно:

— Василий Алексеевич, зачем им чужая головка? У барышни есть своя. Не расстраивайтесь, дело это невозможное.

А когда заговорила Сашенька и старик убедился, что Нютина голова говорит совсем другим голосом, пришлось отступиться.

Так и разошлись.

Всю ночь провел старик в слезах и, когда забылся, вдруг увидел, как живую, Нюту.

«Папаша, — сказала Нюта, – голову мне отрезал хулиган Яшка, а покойный знаменитый профессор хирург Петров взял мою голову и приставил барышне, которую ты видел в участке. Я не вся ушла из мира. Часть моей души связана с этой барышней, и ты должен любить ее, как дочь, и не мыслить против нее ничего худого. Я буду защищать ее, как себя».

От страха старик едва нашел дверь: ему хотелось сейчас же рассказать старухе. А уж старуха сама шла к нему и не дала говорить: она сама только что видела во сне Нюту и слово в слово повторила его сон.

— Воля Нюты нерушима! — решили старики.

По домовой книге старик отыскал Лапина, удочерил Сашеньку. И Лапины поженились.

И стали жить без всякой нужды на всем готовом, как у собственных своих родителей.

Старики в Сашеньке души не чаяли.

Подходило время окончательных экзаменов.

Все шло как нельзя лучше. Лапин считался в Академии одним из первых студентов. Профессора им гордились.

После получения аттестата, Лапин, готовясь ко сну, замечтался о будущем. Мечты его были так горячи, что он совсем не заметил, как явился профессор и только знакомый голос вывел его к жизни.

— Я много могу сделать для тебя, но не все, — сказал профессор, — судьба неодолима. Ты не достигнешь славы в науке, но рядовым ученым будешь. Выше не стремись! Еще увидимся, и уж в последний раз.

5

Ровно и спокойно протекали дни профессора Лапина.

В одном из далеких университетов жил он, пользуясь всеобщим уважением и почетом. У него была своя клиника, где читал он лекции и принимал больных.

На судьбу он никогда не жаловался.

А прошлое отодвинулось так далеко, что, если и вспоминалось, то легко и радостно, как чудесный сон.

Лапин считал себя счастливым человеком.

В один осенний дождливый вечер, когда при лампе так хорошо за столом над книгой, Лапин, перелистывая только что полученный журнал с самыми последними новостями, прислушивался к своим спокойным мыслям, переговаривающим спокойно одно и то же, как в трубе ветер.

И вот, как тихий час, в кабинет тихо растворилась дверь и кто-то вошел. Лапин, не выпуская из рук книги, насторожился, ожидая, когда неизвестный выйдет из тени.

И вдруг почувствовал, как чего-то сердце забилось.

— Профессор Петров, — прозвучало отчетливо и ясно, а в полосе света блеснули золотые очки, лысина, рыжеватая борода.

— Профессор Лапин, — рекомендуясь, поднялся Лапин и минуту напряженно смотрел на гостя, и вдруг точно сжало его что, дышать нечем, и он, невольно разинув рот, ртом стал ловить воздух.

— В последний путь, — отчетливо и ясно сказал знакомый голос, — судьба неодолима. Ты получил все, что дано человеку: ты насладился счастьем и покоем. Пойдем, не бойся! И там ты будешь продолжать —

Лапин поддался к гостю: спросить ли о чем хотел или уж согласился?

— Ты будешь продолжать ту же самую жизнь.

И коса коснула, и, задохнувшись, Лапин ткнулся лицом в стол — все кончилось.

1919 г.

ЛИС ПРЕПОДОБНЫЙ

1

Тихонов монастырь, имя которого дорого всякому страннику, стоял в низкой лощине, стесненный со всех сторон лесами, и белые стены его и башни едва виднелись из-за деревьев. По косому узкому мостику из трех бревен без поруч-

ни брели в монастырь богомольцы. В сыром дымящемся воздухе жидко раздавались удары монастырского колокола.

Пройдя через мост, прежде всего попадали под низкие своды ворот, а затем выходили на заросший репейником двор, где на лобном месте стояла маленькая каменная церковь.

Кельи братии и службы скрывались за купами берез.

Богомольцы подходили кучками.

Благообразный монашек не старый, не молодой, безвозрастный, встречал их под сводами и каждого опрашивал.

К этому монашку-привратнику и обратился весь закутанный худощавый остроносый монах.

— А! к о. игумену! — обрадовался монашек, — сейчас! — и повел его за собой.

Длинными переходами между берез прошли они двор и, миновав церковь, вышли к маленькому каменному дому. Грязная дверь, из которой пахнуло постным жильем, отворилась туго, и в полутьме стали они подыматься по шаткой лестнице, которая и привела их в узкую и тесную прихожую с тощеньким протертым ковриком.

Пришелец снял с себя лишние тряпки и оказался обыкновенным монахом средних лет. Но бесцветное лицо его с длинным, тонким носом и странно уходящим назад подбородком, и эти реденькие рыжеватые бакенбарды и длинные жиденькие волоса сразу вызывали образ не то птицы, не то лисы.

С любопытством косясь на монаха, монашек ввел его в приемную.

Привычно, по уставу, совершив поклонение, вынул монах из-за пазухи пачку грязных бумаг и, протягивая игумену, каким-то лепечущим голосом, впрочем вполне подходящим к необыкновенному виду его, не то птичьему, не то лисьему, стал проситься оставить его в монастыре.

— Хорошо, — сказал игумен, — поживи, там увидим.

Монах униженно кланялся.

— Дай ему, — обратился игумен к монашку, — ту келью, где о. Иегудиил жил раньше! Да как звать-то тебя?

— Лисий, преподобный отец, – наречен на Афоне.

— Лисий? — и, должно быть, только теперь разобрав это не то птичье, не то лисье, игумен, косясь, как тот монашек, растянул не безразлично: — ну, ладно!

2

Беленькая низкая комната, полукруглое косящетое окно, лавка для спанья, стол, табуретка и на полу половичок.

Лисию понравилось. И так как он любил большой порядок, он прежде всего вымел, вычистил келью и укрепил все раз навсегда.

И в церкви он быстро освоился со всеми особенностями устава, и без труда обжился с братией.

Сначала на него косились, казалось чудным это лисье его, не то птичье, но потом привыкали.

Только старцы смотрели на него недоверчиво: слишком большая ласковость и установность его отталкивали таких столпов, как о. Мардарий и Силуян. А пустынник с пчельника, о. Варакий, отрастивший себе двухвершковые ногти, прямо заявлял, что Лисий даже не человек, а зародился из лягушечьей тли и считать его за человека грешно.

Молчальники же, Гермоген и Амфилохий, бесстрастно повторяли одно только слово:

— Не судите!

Да и правда, Лисий был монах, как монах, а кроме того, и выносливый и способный, и если в нем было что-то лисье, так что ж тут такого, против природы не пойдешь, при том же и совсем безвредно.

А когда наступили голодные месяцы, время ропота братии, кроме избранных, Лисий голодал прекрасно, не ссорясь и не ноя.

Лисий жевал какую-то осоку, а эту самую осоку, как оказалось, едят лисы.

И когда монашонок Панька рассказал об этой лисьей осоке келарю Дидиму, того точно озарило.

— Братцы, — воскликнул Дидим, — а мы и не доглядели, да ведь он же лисьей породы, ей Богу!

И с тех пор прошел шепот, что Лисий — Лис, а коли монах, преподобный.

— Лис преподобный! — припечатал тот же Дидим.

И сам Лисий не отрекся.

Раз кто-то крикнул:

— Эй, Лис преподобный!

Лисий обернулся и, сложив руки на груди, отвесил поклон.

Так и пошло.

3

Всю жизнь проведя в странствиях, много Лисий знал чего и чудесного и полезного, мог и порассказать и посоветовать.

И при этом такая незлобивость.

Лисий пошел в ход и совсем расположил к себе братию.

Но старцы восстали: лисья осока еще больше укрепила в них недоверие, а то, что Лисий охотно отзывался на Лиса, вызвало только негодование и еще больше подозрение.

— Тонкая шельма, — говорил о. келарь, мирволивший старцам, — надо испытать, и посмотрим, каков будет Лис?

Два раза в месяц призывали из соседнего посада баб мыть полы в монастырь. И в такие дни бес особенно зорко надзирал над братией. И хотя средства, указанные Ниловым уставом о жительстве скитском против блудных помыслов, применялись со всей строгостью, падение бывало неминуемое: не один, так другой — уж кого-нибудь да подшибал бес.

Начинали брань обыкновенно псалмами, за псалмами следовала молитва мученице Фомаиде, но нападение врага не прекращалось и, как последнее, простирали на небо очи и руки.

По поднятым рукам братии богомольцы и замечали, что церковь закрыта: моют полы.

Всем трудно приходилось, но всех труднее тому, кто должен был наблюдать, как моют.

И на такое послушание о. келарь благословил Лисия.

Бабы пришли на подбор: все молодые, крепкие и рослые. В высокоподоткнутых юбках, в белых рубахах, разгоревшиеся, немало внесли они и смуты, и стыда, и позора.

Лисий, скромно потупив лисьи глаза, деловито распоряжался. И самый подозрительный глаз не мог бы уследить в нем и самого малого дрожания естества.

Зашедший случайно игумен подивился распорядительности и порядку и поощрительно его похвалил.

Теперь Лисий приобрел и самого о. игумена, и уж никто не смел пикнуть.

— Не вывезло! — пенял келарь и назло назначал Лисия и в следующие разы на это трудное дело.

Одно скажу, Лисий был непроницаем и неуловим.

4

Прошел год, и Лисий был уж во всех хозяйственных делах самым нужным монахом, за всякой безделицей к нему обращались и не напрасно: своим уменьем, знанием и сообразительностью он наладил образцовый порядок и подобающую чистоту.

А через год-другой батюшку Лиса знала всякая богомолка.

И все-таки старцы недоверия своего не утишили, старцы его только терпели.

Лисий старался, выискивал всякие средства на поддержание обители и совершенно бескорыстно.

Однажды он обратился к игумену благословить его на сбор.

— Ведомы мне, — сказал он, принюхиваясь по своему, — многие места в здешней стране и на юге, могу порадеть для обители.

И, деловито перечислив нужды монастыря, указал на неотложность ремонта и церковнаго поновления.

Ремонт и поновление попали в самое сердце.

И через несколько дней с торбочкой и складнем показался Лисий из-под сводчатых ворот и, весело тряся жиденькими волосами, ступил на мостик.

— Помяните мое слово, — говорил Дидим, келарь, — не видать нам его, как своих ушей.

Старцы воспрянули: их глаз и чутье не обманешь.

— Не судите! — повторяли бесстрастно молчальники.

А игумен — так дня не проходило, чтобы не помянуть Лисия — и беспокоился за него и ждал с нетерпением.

И вот вопреки кривотолкам и уверению келаря, что Лисий непременно надует, Лисий раньше предполагаемого срока появился под сводами ворот.

Был Лисий чуден, но теперь это был сущий лис: волосы, запущенные за остроконечные уши, скулы, как два кулака, ввалившиеся черненькие глазки и нос, обнюхивающий воздух.

— О Лис, ты ли! — обомлел монашек-привратник.

Крутя носом, тяжелой грузной походкой вошел Лисий в келарню.

Сбежались монахи: всем хотелось посмотреть на своего Лиса, все ему были очень рады.

А когда Лисий начал вынимать из карманов свертки в тряпках и деньги, и золото посыпалось на стол, Мемнон чтец возгласил громогласно:

— Премудрость! — и трижды облобызал Лисия.

Тут пришел и игумен.

Благословясь, Лисий скромно сказал, указывая на добычу:

— Не столько, сколько ожидал: неурожай!

— Иди, отдохни! — умилился игумен, — лица на тебе нет.

А и вправду, лица на нем не было.

Лисий пошел в свою келью, прилег и уж не подняться: его колотило немилосердно и, закрывая глаза, шептал он бессвязно:

— Укусить — укушу — ушко...

А Дидим келарь, дознавшись, только подмигивал, повторяя таинственное:

«Укусить — ушко».

Старцы же бессловесные козили бородами: бред Лисия подтверждал их недоверие — порода нечеловеческая явствовала.

5

Хождение ли со сбором или болезнь, после которой поднялся Лисий, — кости да кожа, — резко изменили его образ жизни: хозяйство больше его не занимало и, если еще и продолжал он наведываться на огороды и цениться с наезжавшими купцами, то исключительно послушания ради, чтобы не огорчать игумена.

Целые службы проводил Лисий с воздыханием на коленях, а слезы безудержно лились из глаз. И на чугунной плите, где обычно он молился, находили после лужу: так накапывали слезы.

— Не подобает дерзостно возноситься! — говорил ему старец Мардарий.

— Не паришь ты, отче! — учил старец Силуян.

А Лисий так же, как тогда на Лиса, сложив руки на груди, отвешивал поклоны.

Молитвой слезной не замыкался его подвиг, он почти ничего не ел и, на увещания игумена «не изнурять себя безмерно», отвечал кротко:

— Не хочется, о. игумен.

Силы его угасали заметно.

И однажды он не встал с лавки.

И на вопрос игумена:

— Что болит?

Прошептал еле слышно:

— Бок.

После долгих хлопот и то насилу-то достали доктора: до монастыря добраться — подвиг. Доктор нашел, что Лисий плох и что его нужно резать.

— Лиса колоть будут! — озорничая, ворвался избалованный монашонок Панька в трапезницу, — ты, что ли?

— Это дело скорняка! — отозвался повар Мелетий, монах сурьезный.

— Воля Божья, лечиться не буду! — внятно прошептал Лисий на решительный приговор доктора и больше не сказал ни слова.

6

Три дня молча помирал Лисий. И за эти три дня в монастыре поднялось все вверх дном.

Хлебник Митрофан объявил, что видел у умирающего хвост.

— Некое как бы дрожание хвоста и мановенное.

И нашлись, что поверили.

— Есть.

Другие же не верили и говорили:

— Нет.

И разделилась вся братия на хвостовых и бесхвостных.

Началось-то как будто понарошку, а кончилось позаправду: и хвостовые и бесхвостые стали укорять друг друга в самых тяжких прегрешениях и не глаз-на-глаз, а норовя при богомольцах.

И был большой соблазн.

Лисий молча считал минуты жизни, а кругом галдело: с хвостом он или бесхвостовый? Трудные были его минуты, а его ни на мгновенье не оставляли в покое, его тормошили: усомнив-

шиеся и не только из братии, но и из богомольцев, входили в келью и под всякими предлогами искали у него хвост.

И когда последняя минута наступила и уж без всякого стеснения покойник был тщательно осмотрен, хвоста, как и надо было думать, никакого не оказалось постороннего. Дело этим не кончилось; поднялся другой спор: что Лисий святой или грешный?

По крайней мере сутки галдели; и чего уж греха таить? и разодрались и окровянились, и в конце концов Лисья святость перетянула: сам игумен был на ее стороне.

В благоговейном молчании совершалось погребение.

Многие плакали.

Накрытый воздухом лежал в гробу Лисий, и из-под воздуха выделялось носатое застывшее нечеловеческое лицо.

Полная бледная женщина в белом платке стояла сиротливо за гробом и с нею две девочки, закутанные в серые вязаные платки, в рукавичках, востроносенькая и рыженькая – лисята.

1919 г.

ИЗОШЕЛ

1

Кто хоть раз сиживал за каменными стенами губернского острога, знает Ивана Парфеныча Голубкова. Знают его и судейские и все прокуроры и сам тюремный инспектор Волков, который курит сигары из яшмового мундштука — дар Османа-паши.

Без пяти годов полсотни лет стукнуло на Аграфену Ивану Парфенычу, а так дашь ему не больше тридцати — румяный, кудрявый и вся борода в мелких колечках. Жаль, ростом не вышел, зато в ширь пошел.

С десяти он в тюремной канцелярии, узкой и длинной, за своим столом, обложенный бумагами.

Шуршит, вертит, записывает.

— Эх, вы, голубчики, острожные мотыльки!

А помощники начальника кругом похаживают, искоса на него поглядывают, как в самой сказке красношапошной, ждут:

разобрав бумаги, даст Иван Парфеныч каждому подходящее, каждому втолкует, что и как делать и с какою бумагою.

Народ ведь все легкий, разброщивый, и чем бы в дело вникать, всяк норовит как бы в кинематограф пройти или переметнуться в картишки.

Без Ивана Парфеныча все дело пропало бы, Иван Парфеныч — известно!

— Я, — говорит, — со времени военной службы двадцать два года за этим столом сижу, пол протоптал.

И всем рад услужить.

И нет у него злобы русской, ненависти застарелой.

Деловитость и чадолюбие выше всего ценил Иван Парфеныч и нелицемерно гордился своим потомством.

Кругленькая в отца, старшая Люмушка против него за тем же столом. Строго ее учит отец канцелярскому делу. Закраснелась пушистая щечка, растрепалась коса: опустив ресницы, щелкает она костяшками, и пишет, — шелестит листок за листком.

— По-божески! — говорит Иван Парфеныч в оправдание своей строгости.

Словоохотлив Иван Парфеныч, любит порассказать о житейском и прошлом своем, и какая тюрьма была раньше — исконное место дел его и действий.

— Вместо канцелярии, — говорит Иван Парфеныч и всегда с каким-то необыкновенным удовольствием и весьма отчетливо, — тут вот стоял деревянный сарай с такими большущими окнами, а сидел я не на этом месте, а вон там, где Марк Николаевич сидит. (Марк Николаевич это писец, двумя пальцами пишет, только их у него два и осталось). А через три года построили каменную тюрьму, а еще через полгода я женился. Жена моя в горничных у исправника была. Говорю я ей: «Александра Петровна, нужно закон исполнить!» А она мне: «Это, говорит, голь с нищетой повенчается! У тебя даже и тюфяка нет, чтобы спать лечь!» «Даст Бог, Петровна, наживем!» – говорю. И точно, с самого того дня, как повенчались, все хорошо пошло. Надежда на Бога беспроигрышная. Я пошел в первый же день сюда на службу, а она с корзинкой на руке на фабрику. Так и начались дни.

В канцелярию вбежал рыжий, как таракан, начальник.

Помощники засуетились.

Трепет прошел по столам.

И один Голубков сидит, как был: все равно, без него не обойдутся.

И только, когда начальник подошел к нему, он поднялся и сразу, точно, не суетясь, стал объяснять самую суть дела и до того толково, самый бестолковый сообразит.

Так жил Иван Парфеныч, делая дела и не тужа.

И ведь дожил бы до честной кончины и под плач трех дочерей своих — Люмушки, Раечки и Валечки под высокий бы крест лег на Подосеновском кладбище, да кто-ж ее знает судьбу-то конечную, и все вышло совсем не так и не то, что гадалось и думалось.

2

В один осенний дождливый день, когда в канцелярии из всех служащих сидел только Иван Парфеныч, заканчивая какие-то спешные дела — Иван Парфеныч частенько задерживался на час и даже больше — в приемной по-привычному брякнули ружья и затопали шаги.

Не обернулся Иван Парфеныч: знакомое дело — арестантов приводят пять раз на дню, это его не касается.

Да не случилось на время дежурнаго, один помощник начальника Густав Густавович, хромой.

Хрипло пискнул Густав Густавович.

Ну, значит, надо помочь.

И сумерки да и от дождя совсем затемнило, взял Иван Парфеныч лампочку, поставил на столик у перегородки, еще взял листок бумаги.

— Ближе подойди! — окрикнул арестанта.

И тоненький луч от лампы осветил бледное лицо, глаза, черную бороду.

Иван Парфеныч замотал головой: и веря и не веря глазам.

— Миша, ты? — спросил он, пристально глядя на арестанта.

— Тише! — — я Иван Исходящий.

— Что вы тут говорите? — пискнул Густав Густавович.

— Ничего-с, это мне померещилось, — ответил повсегдашнему Иван Парфеныч, и только листок задрожал в его руке.

Густав Густавович подошел к перегородке.

— Как звать? — пропищал хромой.

— Иван Исходящий, — повторил, насмехаясь, арестант, — был входящий, теперь исходящий, широкой земли гражданин, звания не хочу говорить! — и нетерпеливо подернулся весь, — надоели вы все.

— Аристов, возьми его в подвал, — пищал Густав Густавович, — в подвал, там вымоется в бане. Опрыскай одежу и во 2-ой.

Стукнули шаги и все пропало.

«Мишатка, братенок! Ведь я его на руках носил! И что это сталось, Боже мой!».

Хочет Иван Парфеныч дела закончить, а этот Мишатка — Иван Исходящий, которого повел Аристов сначала в подвал, потом во 2-ой корпус, этот брат исходящий путает ему все дело: и простое привычное не поддается, небывалым обертывается, головоломным.

Всю ночь не спал Иван Парфеныч. И только что заведет глаза, через него как стрела: так он и подпрыгнет, а брат будто стоит перед ним.

«Тише! — — я Иван Исходящий».

А ведь он никак не думал, что с братом такое выйдет, думал, что как в Сибирь уехал, устроился хорошо, и все благополучно. И понимает, и никак не может свыкнуться, что случилась беда и эта беда не без причины. Самой причины он не допускает.

Изметавшись, встал поутру, хотел помолиться, как привык с детства молиться, да рука не подымается лоб перекрестить, хотел заварить чаю, чайник разлил, разлил и выругался очень нехорошо, чего никогда не бывало.

С камнем на сердце пошел в канцелярию.

3

Какая была ясность голубковского духа!

Какое спокойствие голубковской души!

и оттого, верно, и речь его такая, только его, Голубкова, — и поймешь и увидишь, а если укор, не обидишься.

И все через него, через эту ясность и спокойствие, как-то хорошим показывалось, и навязшее, как новое, и приевшееся нескушным, а люди — да тот же Густав Густавович со всем изнутренним своим хромоножием, с писком придирчивым, милейшим Густавом Густавовичем.

И вот оборвалось — жизнь оборвалась, жизнь оборвалась — началось житие.

А вы знаете, что такое житие? — да ведь это труд самой жизни, тягота дней, каждого дня — вот что такое житие, не жизнь!

И как часто вспоминался теперь Голубкову судебный кандидат Фирсов, спорщик и такой острый до боли и глазами, и улыбкой, и беспощадным словом, этот Фирсов говаривал со своей такой улыбкой:

«Жизнь как хватит поперек через всю спину слева направо, забудете тогда славословие петь, за детей своих и братьев еще покаетесь!»

И вот оно пришло: хватило поперек — —

Брат, которого он когда-то на руках носил, сидел тут за стеной во 2-м корпусе, и то, что брат сидел за решеткой, а сам он ходил на свободе, с этим он никак не мог свыкнуться, а также не может он принять и то, что все это так и должно было случиться, да и как ему принять, раз самой причины — из-за чего попал брат в тюрьму — он не допускает.

Вот оно, какое дело — бесконечное!

В одно из свиданий брат сказал:

— Запеки, Иван, пилку в хлеб: мне бежать надо.

Если бы кто-нибудь сказал про такое, Иван Парфеныч просто рассмеялся бы, принимая за самую смешную шутку: Иван Парфеныч и то дело, которое он так отлично делал, это дело с ним нераздельное, — в деле же во всяком есть закон и этот закон нельзя нарушить, или — —

И дело, которым гордился Иван Парфеныч, пошло насмарку.

Иван Парфеныч разрезал булку с обеих сторон, в середку положил пилку и, передавая хлеб брату, сам нарошно отломил кусок с того конца, где ничего не было.

— Помилуйте, чай, свой-то человек надежный! — заметил помощник Сементкович, искренно не понимая, как это Иван Парфеныч и точно не знает, что скорее начальника заподозришь, прокурора заподозришь, но его — Ивана Парфеныча — —

Темною ветренною ночью Иван Исходящий бежал, надписав на стене углем:

иван изошел

4

По-прежнему с утра и до позднего вечера сидел Иван Парфеныч в канцелярии за своим столом над послушными ему бумагами.

Никому, конечно, и в голову не пришло, чтобы он что-нибудь подобное — пилку там арестанту передать в хлебе или еще что. Скоро и вообще-то об этом забылось — мало ли бегает арестантов и с пилками и без пилок!

Но сам-то Иван Парфеныч ничего не забыл.

И еще никак ему не забыть о этом брате своем исшедшем:

иван изошел

Иван Парфеныч затосковал.

И не то, что он нарушил дело свое, смошенничал, нет, не это ему стало, нет, он уж, если хотите, понял, что иначе не мог поступить. И о брате тоже, не то его замучило, что брату выпала доля такая, нет, не о брате, а о себе, что его-то собственная доля, что это такое?

Работа валилась из рук.

И ничему уж не рад.

Уныние напало — муть в голове, тоска на сердце и нету света нигде, тускло.

Отойти в сторонку, чтобы не видно, сжаться так воть — —

И нет никакой надежды.

И конца нет.

Летом в первый раз за всю свою службу взял он отпуск, ходил на богомолье. Говорил со старцем, — добился-таки праведника на земле грешной!

Старец сказал:

— Дух уныния, соединяясь с духом скорби и через него подкрепляемый, дух лютый и тяжкий. Но надо помнить, что часто из любви поражает Бог своим духовным жезлом человека, чтобы преуспевал человек в добродетели. И в конце концов непременно произойдет изменение и все просветлеет опять и станет неколебимей. И еще надо помнить, — сказал старец, — что без Божьего попущения враг ничего не может нам сделать, и если печалит дух наш, то лишь столько, сколько попускается ему от Бога. И ничем человек так не может доказать своей любви к Богу, как благодушным перенесением печальных обстоятельств,

и это возводит его к высшему совершенству. Иначе неблагодарность, хуление, сомнение, страх и отчаяние наполнят и в конец измают душу. Сколько силы есть, надо молиться, — сказал старец, — а к молитве приложить чтение и рукоделие.

Иван Парфеныч никогда ничего не читал, но дело делал.

— Я работаю, — возразил он, — да все из рук валится.

— Понуждай себя, — сказал старец, — а когда останешься без дела, переноси мысли свои на какой-нибудь предмет божественный или простой человеческий сердечный. Главное же терпение и упование. Ведь враг и наводит на нас уныние, чтобы лишить душу упования на Бога, но Бог-то никогда не допустит, чтобы душу, уповающую на него, одолели напасти.

И когда говорил старец, становилось легко и казалось, что все так и будет: он победит уныние свое и пойдет жизнь по старому полной чашей, нет, еще полнее, дочерей замуж выдаст, внучат дождется — — А когда вернулся в свою тюрьму и взялся за канцелярское свое дело, сразу же в первый же день ясно увидел, что не может.

И с каждым днем это все яснее ему.

А главное, конца-то не видно.

В полдень, когда в канцелярии никого не было, и даже Люмушка вышла, Иван Парфеныч, по-всегдашнему задерживающийся, один был среди бумаг тюремных.

В руках он держал какое-то дело, которое нужно было ему положить на стол, и он этого никак не мог сделать: и не то, чтобы забыл, а просто пошевельнуться не мог.

И в таком оцепенении своем безнадежном увидел крюк от лампы, знакомый, испокон века торчавший в потолке. И какое-то чувство смутное, но сильное, как от случайной находки, в которой может быть цель всей жизни, толкнуло его и сразу он вышел из оцепенения своего.

Дело положил он на стол, куда следует, потом пододвинул стол, поставил на стол стул, сам залез на стул, зацепил за стул сахарную бечевку и как-то само уж собой вспетлил бечевку — и так же вошла петля как-то уж само собой на шею —

Что-ж еще?

— Ну — — прощай!

И оттолкнул ногами стул.

И там, над бумагами, где никогда не светила лампа, точно в насмешку, в самый ясный осенний полдень, закачался вместо лампы, как темная лампа, спокойный и ясный Голубков.

1919 г.

КРЕСТИКИ

Жизнь моя померкла. Один я остался на свете. И никому не нужен. Да и мне никого не надо. Влачу дни в постылом труде, чтобы зачем-то еще тянуть на земле.

А ей-Богу спокойно бы помер.

Главное, что не вижу никакого просвета — такая впереди равнина и конца ей нет.

Не рвусь никуда, как раньше. Да и некуда. И знаю, от своей судьбы не уйдешь.

Мерно колышется воз. Между оглоблей тощая ребрастая кляча, наклонив голову, тянет его из последних ... Где надежды? А ведь я родился не оглодком. Где идеал? И не сухарем рос я. Где строительство жизни? Верил в какую-то справедливую жизнь, на создание которой и я положу мой камень... И вот слышу свист кнута да понуканье:

— Но-но, ты! Кляча!

А в последней моей надсадке, как в насмешку, мне видятся кони и тут где-то близко посвистывает московский ямщик:

— Эй, вы, голуби!

А какие кони? Кони — кляча. И какой ямщик? Первый, кто захочет, у кого есть хлыст.

Вечером, вернувшись со службы в свою пустую неуютную комнату к своему письменному столу — стол, это единственное, что осталось у меня прошлого! – я остаюсь один и сам себе хозяин.

А какая мне радость: мне незачем быть хозяином. А одиночество меня не пугает: я всегда один, везде.

Как пусты будни, но еще пустее праздник!

Праздники я несу, как самое жестокое проклятие: просто деваться некуда.

И опять скажу, будет и у меня праздник, — настоящий, и будет он тогда, когда меня не будет.

Не страшна смерть, а просто неизвестна. — Вероятно, ничего и нет, а так провалишься в пустую дверь — и конец.

*

У меня, как и у всех, была мать, отец, близкие и любимые люди и всем-то пришел конец. И один я, только один на земле и есть.

Никого и ничего не осталось.

Нет, пожалуй, не ничего. Осталось! Семь крестиков в коробке на столе остались, да большое распятие на стене над постелью.

Крестики — это прошлое, мое прошлое.

Крест – будущее, мое будущее.

Когда улягусь я в последний раз на своей узкой койке, в моих скрещенных холодных руках будет этот черного дерева крест в медной оправе с медным рельефным распятым Христом.

Так и понесут...

А помню хорошо, как появился этот крест.

Было такое светлое, громкое весеннее утро. Больше я не слышу таких звуков и от солнца прячусь — или глаза мои ослабели или всякая яркость, как и всякая резкость, чересчур требовательна, а где уж ответить! В глухой городок, где мы тогда жили, пришел венгерец-коробейник. Не обошел и наш дом. С грохотом опустил он на пол прихожей свой тяжелый короб перед отцом и матерью — мать держала меня за руку.

Раскрылся короб и полились материи, картины, книги, листки, шелк, золотые вышивки, ну, все, что приносят венгерцы. Наконец, на самом дне очутился и этот черный с медью крест, его и купила мать.

И как часто потом поминала она этот крест.

— Куплен тяжелою мукой всей моей жизни, — поминала она, — и принес мне злую судьбу.

После ее смерти крест достался мне и связал ее судьбу с моей.

А вот крестики ... крестики, это другое дело.

Каждая женщина, — кого я любил и меня кто любил, — оставляла на память крест. Крест надевался на меня с благословением и со слезами. А я его снимал с шеи, клал в стол в коробку и забывал. Я уж другую любил и другая дарила крест. Ее сменяла третья, четвертая...

В минуты уныния и тоски нестерпимой усаживаюсь я за свой старый письменный стол и из правого ящика вынимаю розовую выцветшую коробку с надписью тиснеными буквами — рябиновая пастила Абрикосова — и крест за крестом, крестики тельные раскладываю по столу.

Тут все: и укор и умиление и такая боль, — только после сна, когда вдруг приснится чего никак не вернешь, так душа болит.

*

Серебряный большой крест со сплошными лучами, как ромб, на серебряной цепочке ...

Помню пустую длинную с низким потолком комнату на Большой Гончарной в Таганке. На столе около сдвинутых к стене книг водка, пиво и закуска самая простая — огурцы и селедка. За столом хозяин, мой приятель, Александр Иванович, лет на двадцать меня старше, неповоротливый и великий как слон. Я ему не для водки, которую он пьет один понятливо и сладко со чмоком и горько до слез, я ему для разговора.

Живая, но заблудшая душа его, запутанная словами, я теперь понимаю, рвалась из всех сил на волю, а чего-то не было, и он еще запутывался — до петли.

И вот я с ним разговариваю, и кажется ему, через мой разговор выкарабкивается он на свет Божий.

Познакомился я с ним в Тургеневской читальне, и над книгой у нас завязалась дружба.

Все торговые дела ведет его мать и сестра, а он так — непутевый: днем он заходит в лавку посидеть, чаю попить, а вечера — в читальне. Мне с ним по дороге и дорогой у нас всегда разговор, но главное там — в его пустой длинной комнате на Гончарной.

И о чем только мы с ним не говорили: и о Боге, и о вере и о социализме, и так о прочитанных книжках, и так о событиях из жизни.

И когда мое слово приходилось ему особенно по душе, он ладонью вытирал себе губы и с умилением целовал меня. И это случалось всего чаще в большом подпитии, когда глаза его наливались слезами.

В разговорах мы просиживали до рассвета. Приятель начинал клевать носом и я уходил домой — жил я по соседству в Каменщиках, в двух шагах от Терехина.

Как-то на наших беседах появился приятель Терехина — здоровый малый, крепкий, кудреватый и очень хорошо одетый. Сам Александр Иванович ходил рвано и мято, а этот его приятель в перстнях на толстых пальцах. Его называл Терехин Сеней — Семен Петрович Краснопеев. По душе он был прямой противоположностью Александра Ивановича, никакой не мечтатель, а человек самой аршинной жизни, из молодых, крепко державший отцовское дело.

В разговорах он мало принимал участия, а если задавал вопросы, то всегда такие, которые сводили все наши полеты на самую рыночную таганскую толкучку. Пил он не меньше Александра Ивановича, но головы не терял и только в подпитии совсем уж не подавал голоса, и слышал ли что, трудно сказать.

И не знаю я отчего, но вдруг во время моего разговора он подымался и, бережно обтерев себе платком крепкие свои усы, целовал меня, как Терехин.

А Терехин в такие минуты смотрел на приятеля с особенным одобрением, в котором было и удовольствие и поощрение. После я догадался: Александр Иванович задумал развивать приятеля и в этом поцелуе его видел явный успех от своих стараний, — коли поцеловал, значит, проняло, а проняло, будет толк.

С появлением Краснопеева произошло изменение в пустой терехинской комнате: у окна появился столик, накрытый скатерью. И в первый раз я увидел сестру Терехина Елизавету Ивановну: сильная в брата и совсем не похожая, никакой путаницы, под стать Краснопееву.

Елизавета Ивановна обыкновенно подымалась наверх с подносом, на котором было полно всяких гостинцев: и орехи и яблоки и сушеный виноград и шептола и пастила. Поднос она ставила на столик, а сама присаживалась к нам к столу, залитому водкой и пивом, и не отказывалась от рюмочки, которую выпивала по-бабьи в несколько приемов, морщась, как какое лекарство горчайшее. Ни со мной, ни с своим братом она не разговаривала, а всегда и только с Краснопеевым, и наш разговор философский перебивался всякими расспросами и соображениями самой рыночной таганской толкучки.

За чаем для меня спускался вниз Александр Иванович, но однажды с Елизаветой Ивановной появилась у нас ее дочь Ли-

да, тоненькая гимназисточка, вся голубая — такой первоцвет у меня остался от нее неизгладимо в памяти — и уж Лида стала приносить мне чаю.

Лиде было пятнадцать лет и мне пятнадцать.

Я очень любил книги и мне приятно было разговаривать о них и я нисколько не тяготился полунощными беседами с моим несуразным приятелем. Но скажу по правде, с тех пор, как появилась в пустой комнате Лида и голубой ее цвет мелькнул в клубах серого табачного дыма, я стал чаще заходить к Терехину. И говорил я горячей и смелее.

Лида никаких книг не читала и разговоры наши были для нее темны, но она сидела с нами, как слушала.

И все дольше и дольше с каждым разом оставалась она с нами за нашими разговорами. И, бывало, время спать ложиться, а мать не гонит ее, и сама уйдет, а ей хоть бы слово.

И до рассвета голубой свет ее светил, не гас, в табачном сером дыме.

Сначала мне непонятно было, почему это так, такая вольность, но скоро из пьяных намеков приятеля я понял, что Лиду метят в невесты Краснопееву.

Боже мой, что я тогда почувствовал, какая боль вонзилась в меня и обида, точно я был кем-то жестоко обманут. Я винил всех и ужасался. А ведь было все так просто, и чем, в самом деле, плох был Сеня Краснопеев или чего преступного было в желании матери пристроить дочь за дельного человека?

Я по-прежнему бывал у Терехина, но что-то в самой глубине моей было оскорблено, а эта боль моя только и могла выразиться в страстности моих слов, от которых Александр Иванович, ничего не подозревая, просто пьянел, как от самого крепкого вина, и лез целовать меня и целовал с таким умилением, точно губы мои были святыней.

Я следил за Лидой, мне хотелось узнать, что она чувствует и известно ли ей, или она ничего не знает о замыслах матери, и откуда ей такая воля сидеть с нами до рассвета в пьяном табачном чаду.

Лида смотрела на своего жениха теми же самыми глазами, как и на путанного своего дядюшку, в этом не было никакого сомнения. Но это меня нисколько не успокоило. Другая мысль ошеломила меня: ведь все равно, думал я, когда мать начнет от-

крытое сватовство, со стороны Лиды, а я это твердо знал, не встретится никакого отпора — из какой-то своей глуби голубой она на все согласится.

И уж винить мне некого было, но и поправлять нечего было: перед стеной остается одно, если тебе мешает стена, просто удариться и проломить себе лоб.

Все это я очень хорошо понимал, но примириться никак не мог.

И все, что я ни делал, выходило с каким-то ожесточением, — душа у меня горела.

Я до сих пор помню это чувство свое горящее, помню и ясный вечер, напоенный грустью зари осенней, Рождество Богородицы.

На наших вечерах разговорных я никогда не пил и сколько ни угощал меня Александр Иванович, я всегда отказывался. А в этот вечер я не отказался и почувствовал себя совсем свободным и смелым.

Уж было заполночь. Разговор вошел в вихревой круг – слова не договаривались, мысли перебивались. Табачная и винная гарь перехватывала горло. И только голубой свет, как голубой огонек, неизменно мелькал.

И, кажется, никогда и не ушел бы и остался в прокуренной комнате, пока жив, не померк голубой этот свет, а с ним боль и отчаяние и свобода моя.

И когда наступила минута и Лида вышла, я пошел за ней. Я догнал ее в коридоре.

— Лида!

Быстро она обернулась.

И оба стали. И без слов поняли.

И она прижалась ко мне, как птичка.

— Лида! — и сердце мое забилось часто, как билось и ее сердце.

Вдруг она насторожилась и показалось мне, будто заворочался кто-то за дверью.

Но это только показалось.

И я поцеловал ее тонким поцелуем первым.

А она посмотрела, точно издалека откуда, и проскользнула в ту дверь...

Наверх я больше не вернулся.

Сердце мое горело — то горело, то стыло, как лед.

И с тех пор всякий раз я улучал минуту и в коридоре на том же самом месте мы встречались — жалкий полусвет висячей лампочки светил нам.

Не было никаких поцелуев, молча мы глядели друг на друга, точно боялись слова, потом она чуть касалась моей руки и быстро пропадала за той дверью.

Я не помню, я ничего не помнил, дни неслись, все голубело, а то, что я слышал, рассекало мою душу: не намеками, а откровенно говорили о свадьбе.

Краснопеев не пропускал наших вечеров. С Елизаветой Ивановной уходили они на ее половину, и наверх возвращался один, когда Александр Иванович оканчивал свою горькую.

— Лида, неужто это правда? — я, наконец, спросил ее.

— Да, правда, — ответила она едва слышно, но твердо и безусловно.

Что же мне было сказать?

А она быстро сняла с себя крест и, так же быстро приподнявшись, надела его на меня и, не давая мне говорить, обняла мою шею своей тоненькой ручкой.

*

Золотой обыкновенный крестик на тоненькой золотой цепочке ...

Первая и единственная моя весна в деревне. После города, где прошло мое детство, все мне было и удивительно и первое время враждебно. Я не умел ходить по земле, я по нескольку раз проходил по одной и той же дороге, а все мне казалось внове. И если бы пустить меня одного, я заблудился бы около самого дома у старых лип, стеной окружавших дом.

Собак я боялся до смерти — неизгладимое воспоминание школьных лет: несчастные маленькие собачонки, которые изо дня в день сзади нападали на меня, когда ближайшим путем через длинный проходной двор возвращался я из училища. Не меньше страшны были и коровы — и самая молочная белянка представлялась мне свирепым быком, который шел на меня, чтобы бодать. Я боялся лошадей, свиней, пчел, ос, жуков, муравьев, я только не боялся кур.

И наперекор всем страхам моим и беспомощности жил я, весь зачарованный зеленой землей весенней.

На прогулках неизменным спутником моим была Наташа.

Сначала она смеялась надо мной, над моей растерянностью и неуклюжестью, с какой я, сжившись лишь с каменной улицей города, ступал по земле некаменной, подымала на смех вопросы мои — моя полная невинность в хозяйстве только и могла вызывать смех — нарошно подводила меня и под собак, и под коров, потешаясь моей ненаходчивостью, но восторг, с каким встречал я каждый цветок, умиление мое, с каким прислушивался я к птичьему лепету, покорили ее. И она уж оберегала меня, предупреждая все мои страхи.

Весенние зеленые листочки, до которых страшно дотронуться, так они чисты и нежны, лунные майские ночи с туманными зелеными полосами по аллеям и черным живым воздушным провалом — зеленый волшебный свет не покидал меня.

И этот свет был в ней, и она всегда со мной.

Я как-то совсем не замечал, что и часа не мог быть без нее. И казалось мне, так будет всегда.

А когда на прогулках мы шли по полю или в лесу, мы шли тесно, плечо к плечу, и шаги наши сливались и были мы, как одно.

И с какой невыразимой горечью, едва удерживая слезы, забившись в вагоне, ночью я прижимал золотой крестик, который она подала мне украдкой, когда мы прощались и, держа мою руку, что-то хотела сказать, но губы вздрогнули и зеленый свет ослепил меня.

*

Серебряный крест на толстой серебряной цепочке ...

Московская осень с дождем унылым и липкой грязью — любимая пора, когда под тоскливый вой ветра думается остро и горяча мечта.

. . . .

По билетику я нашел себе комнату на Коровьем валу.

Я забрался в такую даль, чтобы остаться одному: мне надоели все эти вечеринки и опостылели разговоры и песни. До университета мне было не близко, но путь на Моховую, через Замоскворечье, меня не пугал: шлепать чуть свет под мелким

моросящим дождем или возвращаться в глубокие сумерки, когда зажигают фонари, да это такая острота, как и сидеть над книгой, прислушиваясь к ворчливому ветру.

Мадам Аннет — Анна Ивановна Самойлова — моя хозяйка, женщина закатывающейся молодости, рослая не по-женски, какая-то поляница, рыжая, со свиным обликом, неуловимо отпечатленным на всем лице от лба до подбородка, первое время за что-то невзлюбившая меня, встречала грубо, делая мне кстати и некстати самые оскорбительные замечания.

Я не обращал никакого внимания — я был полон моими занятиями, книгами, которые трепетно, как самый хрупкий фарфор, приносил я из университетской библиотеки в свою тесную комнатенку.

Какие несчастные обездоленные люди, для которых мои драгоценности — все эти ученые и волшебные книги — поистине драгоценнее золота и самоцветных камней, были только обрезанной бумагой, годной для заверток и цыгарок!

Я тогда думал, что книжник, любитель книжный не может быть злым. Мне представлялось, что если бы люди полюбили книгу, как я любил, прекратились бы на земле и ссоры, и раздоры, и на земле, как в небесах, расцвел бы райский мир.

Моя комнатенка — загон мой с окном в забор — была самая тесная, какую когда-либо отделяли в домах для жилья. Бог знает, кому и для чего она предназначалась, но в ней была лампа и книги, и этого с меня было довольно, даже больше, я считал себя счастливее самого богатого богача, у которого не одна, а десяток комнат и каждая во сто раз больше моего загона, но ни в одной нет моих драгоценностей — моих книг.

В книгу я был влюблен, как в живое, светящееся своим светом, в котором волнилась и лазурная глубь Лиды и лунная зелень Наташи.

Смех соседок моих, мастериц и учениц-подростков, меня ничуть не трогал, мне было все равно, и только, когда я находил в книгах какую-нибудь удивительную мысль или такое слово, которое повторялось само собой, мне хотелось войти в их рабочую комнату и рассказать о моем счастье. Но я никогда не решался заглянуть к ним, и только встречаясь в коридоре, иногда не мог удержаться и, хотя не говорил о книгах, лицо мое сияло, я говорил что-нибудь самое обыкновенное и таким голосом, от

которого и в коридоре, а потом и за стеною смех подымался пуще и заразительнее.

Конечно, для них была смешна моя тогдашняя опьяненность и совсем непонятна, и всякое слово мое казалось им балаганным, но смех их был добрый и смотрели они на меня с улыбкой.

Занятия мои шли взахлёб, и я не нарадовался Коровьему валу, моему загону, куда могла толкнуть меня только сама судьба.

А случилось такое, о чем мне и стыдно и досадно вспоминать. Все занятия мои перевернулись, и я просто вычеркиваю наступившую зиму из моей тогдашней жизни.

Или я должен был так позорно унизиться, чтобы потом уж гордо стать? Я и стал, и все-таки, скажу, с этой зимы, с пропадом моим зимним, на всю жизнь что-то хряснуло во мне.

Анна Ивановна — мадам Аннет — не пропускавшая случая грубить мне, вдруг изменилась.

Никогда я не знал, да и теперь не могу понять, что могло умягчить ее зверское сердце, больше того, так безгранично расположить ко мне.

Или молодость моя, книжная моя влюбленность — силой я никогда не отличался и при банях служить не гож — я только с книгой, только в мыслях скатывал горы.

А должно быть, что так: разгоряченность моего духа, моя пламенность, покорила ее зверское существо.

Как-то вечером, когда я сидел за книгой, в комнату мою вошла Анна Ивановна и со всем шумом, свойственным только ей, а рыжие распущенные волосы ее наполнили весь мой загон.

Одета она была необыкновенно: какая-то тончайшая в кружевах распашонка, на руках тяжелые браслеты, паутинные туфельки.

Смотрела она нагло и самодовольно.

— Ну, что, Сергей Александрович, хорошо? — в первый раз назвала она меня по имени, а не просто Маркеловым, как всегда.

— Очень хорошо, — ответил я, не зная, что и сказать, — какие кружева!

И, должно быть, ответ мой доставил ей величайшее удовольствие — с самодовольным хохотом она шумно вышла.

Я сейчас же открыл форточку: приторный запах не то помады, не то пудры помадной насытил весь загон мой.

Но от ее рыжих волос я никак не мог избавиться, — они прилипли и к книгам и к моей тужурке и к моей постели.

Да и от нее самой я уж не мог освободиться.

С этого вечера она стала моим постоянным гостем. Она придиралась ко всяким пустякам, чтобы только войти ко мне, сесть к моему тесному столу и начать разговоры.

И я отбывал вроде как повинность, когда она разговором своим отрывала меня от книг. Я старался утешить себя, что иначе невозможно, что она хозяйка и имеет все права, и хуже было бы, если бы донимала она грубостями и грозила выгнать.

И что же вы думаете, я не только утешил себя, нет, я понемногу совсем привык и даже стал ждать ее — ведь непременно придет, непременно сядет вот тут и заведет разговор.

Но этого ей было мало, я стал замечать, что уж очень что-то близко придвигает она ко мне свой стул — ведь еще чуть-чуть и очутится она у меня на коленях.

Да так и вышло.

Я растерялся: мне было и тяжело, и неловко и, еще скажу, отвращение почувствовал я, но ничем не выразил и не высвободился.

А она была довольна не меньше, чем тогда от моего ответа, когда я похвалил ее маскарадную кружевную распашонку.

Я был так наивен, я вообразил, что этим все и кончится: ну, села, думал я, ну еще сядет когда, и больше ничего, а уйдет и я опять за книги.

Между тем заботливость ее обо мне с каждым днем увеличивалась и однажды она затеяла сама сшить мне новый костюм — ходил я очень отрепанно, и моя студенческая тужурка была в самых разношерстных заплатах, как в медалях.

И вот тут-то на одной из примерок я и сорвался.

Я был переведен в большую светлую комнату. У меня была такая обстановка, о которой я никогда и не мечтал. Меня откармливали дичью и пирогами. Бог знает, в кого судьба меня обратила. Я перестал ходить в университет. Я занимался лениво и равнодушно, и книга лежала по неделям раскрытой все на той же странице. Большую часть времени я ничего не делал, я только спал и ел.

Новая комната моя была далеко от мастерской, и до меня не доходил ни разговор, ни смех, но иногда среди ночи вдруг мне

слышалось — это был смех, но это был совсем другой смех, смеялись надо мной и нехорошо.

Но как было и не смеяться!

Бог знает, в кого я был обращен.

В коридоре я редко показывался, редко встречал мастериц, но когда случалось столкнуться, мимо меня проходили осторожно, а смотрели заискивающе и даже боязливо, и я опускал глаза.

Откормленный и обленившийся, я проклинал мой корм и мою лень и всем существом моим возненавидел хозяйку, начало и исток моего свинства и лени, но опутанный заботливостью, я не видел себе никакого выхода.

Часами я выслушивал глупейшие ее рассуждения и базарную болтовню: она все выкладывала передо мной — все мелочи своей хозяйской жизни.

Обыкновенно я отмалчивался, впрочем, от меня и не требовалось никаких слов, но иногда я изменял себе и, не сдерживаясь, говорил последние грубости, оскорбляя и мстя за свою собственную низость и свинство.

Я видел, с какими покорными глазами она слушает меня и еще больше горячился, подбирая самые обидные слова.

А все кончалось очень глупо: я криком моим не только не поправлял ничего, а еще глубже загрузал, я сам заколачивал последние щели на волю.

Наговорив грубостей, я вдруг спохватывался или, обезоруженный покорностью и молчаливыми ее слезами, начинал заглаживать все свои резкости и все сводилось на нет. Нет, больше, я так переводил все разговоры и смягчал до такой мягкости, что свиное лицо ее расплывалось от удовольствия.

Я не знаю, к чему бы привела меня зима со всеми удобствами моей тогдашней жизни, а вернее в один прекрасный день с отчаяния, не видя никакого выхода, я выбросился бы на мостовую, и только счастливый случай вывел меня из моей безвыходной неволи.

Мое отсутствие в университете не прошло незамеченным. И один из моих товарищей, большой тоже книжник, но за книгами не потерявший житейского соображения, отыскал меня и, должно быть, и по моей комнате и по лицу моему все понял и без всяких разговоров объявил мне, что я должен ехать с ка-

кой-то ученой экспедицией и отказываться мне никак невозможно.

Я сразу ожил — я готов был хоть на край света.

И в тот же вечер я сказал моей хозяйке, что уезжаю.

Сначала она ничего не поняла, она подумала, что это я так в сердцах, но я не кричал, я говорил совсем так, как после криков моих, когда я заметал и смягчал все мои резкости, и это ее совсем спутало. А когда, наконец, она поняла, на нее просто напал столбняк.

Ночь она не спала, я слышал, ее комната была рядом с моей, и поднялась она спозаранку: что-то все перебирала и в сундуке и в комоде.

Собственных вещей у меня никаких не было, несколько любимых книг и узелок с бельем, вот и все. И все это я быстро собрал, чтобы не мешкая, до обеда покинуть Коровий вал.

Я точно не знал, куда я пойду, и правда ли об экспедиции или только выдумка, я мало раздумывал, я хотел одного — на волю.

От еды я отказался, я только выпил чаю и томился, когда настанет, наконец, минута, и я переступлю порог, чтобы никогда не возвращаться.

Постаревшая за ночь, не причесанная, вышла ко мне Анна Ивановна.

— Уезжаете, Сергей Александрович? — спросила она как-то уж очень равнодушно.

— Да, — ответил я робко и посмотрел на часы, точно у меня был условлен час, — без трех минут двенадцать.

Я готов был провалиться на месте, и мне казалось, что до двенадцати, а в двенадцать я выйду, пройдет вечность.

Сердце у меня колотилось.

— Ну, Бог с вами! — сказала она хрипло.

А я стоял с узелком, не зная, что и ответить.

И она подошла поближе — она у дверей, как вошла, так и стояла — она сняла с себя крест, надела на меня теплый с зацепившимся рыжим волосом на цепочке, и повалилась без чувств.

*

Крест длинный на филигранной цепочке золотой с двумя камнями кровавых альмандинов ...

Я не помню ни часа, ни минуты, когда бы я тихо подумал. Растерзанный ходил я, сопровождая ее по ночным театрам и ресторанам.

Я не знаю, какая кровавая сила ударила меня по глазам и в кровавых кругах завертелся весь мир.

Лживая, бездушная, обвораживающая змеей, клянясь, она сама никогда не знала, куда — к кому ее потянет через минуту, кому она будет так же клясться, как мне сию минуту.

Взять камень, ударить ее по глазам — таких правдивых глаз на одну минуту и всегда лживых даже при пробуждении я ни у кого не видел.

Ей и сны снились — ложь.

Но в этом не ее вина и воля ее ни при чем, такой пришла она в мир, такой зародилась со дня таинственного своего румянца.

Я готов был выть среди улицы, готов был биться о камни, только бы сорвать с себя обруч тоски моей, когда обманутый в тысячный раз я возвращался к себе с одной мыслью — разорвать с ней навсегда. Но первая встреча — и все зароки летели к черту и опять я, не веря, верил, и проклиная, любил.

За какую вину и что я такого сделал? Прикованный к душе, для которой ложь была родиной, я нес самое унизительное ярмо, какое только может придумать женщина, одаренная змеиной тайной.

Лживая и подлая, она и крест свой украшенный повесила мне на шею в одну из самых искренних — самых лживых минут своих, когда в руке у меня дрожал камень, чтобы ударить ее по глазам.

А имя ее ...

*

Темный крест, не знаю, из какого металла, на черном шнурке ...

И опять весна и опять, как из могилы восставший, я гляжу на мир. И прошлое мое, и позорное и благословенное, вспоминаю, как сон.

Я не ропщу и не жалею.

Сам заслужил — сам и пронес.

Я все принимаю и даже то, что завтра — Господи, неужто это совершится! — завтра она умрет.

Моя душа полна гордости и взлета, потому что я знаю, что на грешной, бесстыдной и вероломной земле есть еще люди, которые идут умирать за веру, честь и мечту.

А ведь недавно я думал — вот к чему привели меня мои и позорные и благословенные дни! — и был уверен, что на нашей земле одна сволочь.

А теперь побежденный говорю гордо:

— Нет, живая душа жива!

В тюрьме в канун казни она отдала мне свой темный крест, гордая, как в первый раз, когда я ее встретил.

А имя ее — Мария.

*

Золотой крест со створкой для мощей ...

Еще золотой с вытравленными цветами ...

Серебряный с синими камушками ...

Где вы уста, которые меня целовали?

Где вы, нежные руки, обнимавшие мою шею?

Сморщенные, держите ли вы клюку или успокоились навеки?

Встретимся ли мы когда и узнаем ли друг друга? Или пройдем мимо, как теперь прохожу я, никого не замечая?

И если суждена встреча, пощадите мое сердце — мое сердце от любви истекало кровью!

1917

ЖИЗНЬ НЕСМЕРТЕЛЬНАЯ

I

У каждаго человека своя судьба. И всякому вот эта самая судьба и велит надеть рясу или форменный сюртук, хочешь или не хочешь. А не покорится который, погибнуть ему и стоять у голодаевского кабака с ручкой.

Так уж положено и все так идут.

Все-то, все, да не Иона Петрович.

Иона Петрович Боголепов человек особенный и судьба его особенная, он не в счет.

Был Иона достопримечательностью нашего города.

А город, вы знаете, какой у нас? Целый день по улице никто и не пройдет. Изредка барбос полкановский пробежит — и окошки отворят посмотреть на него. И только вечером, часов в девять, чиновники направляются кто в клуб, кто в трактир. Да поутру в ранний час кухарки бегут на базар.

Летом жара да духота, не приведи Господи. Выйдешь на улицу, так тебя и ошалоумит: глаза вылезут, пот градом, пыль столбом, терпеть невозможно. А если в полуденный час заглянешь в окошко к столяру Бабухину, сидит столяр у окошка, ворот расстегнут, на голове мокрая тряпка и сам икает. Господи Боже, сил нет!

Так никто и не выходит, один выходит Иона.

Ему все ничего. Во всякое время и по всяким делам, во всяком направлении, куда угодно. Такой уж бойкий он да юркой, настойчивый, — бесхвостый.

Невелика птичка, с лица черен и даже черномаз, бородка клочьями, на лбу волосы прилипли, водкой на семь шагов разит. А пальто со следовательского плеча широко и рукава длинны. Карманы набиты каменным да бронзовым веком — в разговоре вынимает то одну, то другую вещь и на ладонь себе: гляди и поучайся! А из боковых карманов торчат книжки, рукописи, столбцы, — у него все есть.

Покровитель его, председатель архивной комиссии Сахновский, говаривал:

— Никогда у тебя, Иона, ни гроша нет, а знающий человек может тебя ограбить тысячи на три. Столько в тебе достопримечательности.

А доморощенный историк наш Миловзоров после перепою лепетал жалостно:

— Иошечка, ангел, спуль какую рукопись, опохмелимся!

Велики были клады Ионины, но проворство рук его изумительно. Он мог на глазах владельца изять документ или даже небольшую книгу. И почетный попечитель, губернатор Корноуховский, не успел ахнуть, как в его присутствии, у него на глазах, в казенном архиве Иона стащил автограф Благословенного Императора. Выразив Ионе благодарность за его деятельность, губернатор, обратившись к старшему архивариусу, сказал недвумысленно:

— Он человек полезный, но все-таки лучше его сюда не пускайте.

Знакомство мое с Ионой началось на толкучке у навеса старика Ларионыча. При первом же нашем разговоре поразил меня Иона Петрович свойствами не человеческими, а исключительно принадлежащими единому всемогущему Господу Богу.

Во-первых, вездесущием: по его рассказам нередко выходило как-то так, что одновременно был он и в Нижнем, и в Ярославле, и в нашем богоспасаемом городе.

Во-вторых, всезнанием: какую бы вещь ему ни показывали, хотя бы самую новую, хотя бы винт от паровика, Иона не терялся и принимая вид, человеку не подобный, толковал без всякого:

— Этот винт от такой-то части, сделан в таком-то году.

— Вот так кум, исполать! — ввертывал спиток Ионин Миловзоров, — ты все знаешь.

Знал Иона действительно все, даже и то, чего совершенно никто не знал.

Так, живя около церкви Стефана Сурожского, объявил он в газетах, что на огороде его дома, как раз против окна его спальни, находится место, где великого князя Василия II-го Васильевича задавил медведь.

— Да, на этом самом месте медведь п о д а в и л великого князя! — частенько повторял Иона, подымая палец кверху.

Бог его знает, на этом или где еще, по крайней мере, летописи в одном сходятся, что жил великий князь Василий II не в нашем городе, а в Костроме, где и принял лютую смерть от медведя.

Но и такая справка нисколько не смущала Иону: он уверял, что великий князь приезжал нарошно охотиться к нам.

— Знал, шельма, куда заехать, — подмигивал куму историк Миловзоров, — лучше здешней рябиновки не найдешь.

Все знал Иона и не только о прошлом и самом деберьном, а и грядущее не было от него скрыто.

В людях шла молва, будто свиток — столбец такой — отыскал Иона длины непомерной, обвился весь, как плащаницей, и носит на себе, двадцать лет читает, дочитать не может, а написано в том свитке, как нашему русскому царству быть.

— И всей подлунной.

Ну, ручаться не могу, не видал, впрочем, раз засидевшись в Пассаже, трактир у нас такой громкий, был я свидетелем, как Иона, нагрузившись, хвастал каким-то столбцом необыкновенным, и при этом похлопывал и поглаживал себя.

II

Жизнь Ионы, хотя и необыкновенного человека, началась обыкновенным человеческим рождением в белом церковном доме, выходившем на огороды.

Окно было раскрыто, и крик протопопицы был слышен далеко, даже на бульваре. И опытные старожилы, вставая со скамеек и оглядываясь назад, говорили:

— Никак протопопица опять родит? Никак это седьмой будет?

— Пятый, — возражал осведомленный в делах семейных.

— Верно, пятый, — соглашались догадчики, — надо быть, мальчик.

— Бесхвостый будет, — отозвался шедший мимо пономарь Друшлак.

Первые дни Иона был здоровый и тихий мальчик. Ничем он не беспокоил, только очень прожорлив. И эта прожорливость с ростом развилась в нем до невозможности, и воровство сделалось его непременным делом. А чтобы не вводить в изъян родителя, стал он воровать у других.

Бит бывал нередко и жестоко. Но с летами исхитрился и достиг в этом деле замечательного проворства рук.

Мне помнится, он первый и произнес слово, теперь законнейшее, а тогда, как пугало: экспроприация. Раньше я что-то ни от кого не слыхивал.

Вообще же всякое хищение Иона отрицал.

— Воруют только от сытости, — говорил Иона, — и таких так мало, что, пожалуй, и не найдешь. А с голоду да взять то, что никому не нужно, это не воровство. А если кто привяжется: отдай назад! — ну, черт с тобой, бери, мне не жалко, только докажи, твое ли? А не умеешь доказать, пиши пропало. Этак, брат, всякий к чужой вещи примажется. А ведь я ее открыл, она — res nullius.

— Res nullius! — смачно выговаривал Иона.

Придя в возраст, поступил он, стараниями скорбного протопопа, в семинарию.

А в семинарии достиг Иона совершенства и успеха не столько в науках, которыми мало занимался, сколько в делах грабежных или, по принятому, в операциях финансовых, ухитряясь перепродавать вещи на глазах у собственника. Оборотливость и ловкость его были так неуловимы, что однажды какому-то маменькину сынку продал он собственный его ременный кушак и получил деньги сполна.

А тот долго удивлялся, что есть на свете две вещи настолько похожие, что даже тут царапинка и та повторяется, ну все как две капли воды.

Потом, разумеется, обман открылся, но Иона успел уже пропить полученные деньги. И объяснил, что дураков даже в алтаре бьют.

— Если бы у тебя ум в голове был, так ты бы сундук лучше запирал, да чаще сам в него поглядывал. Голова бы не свалилась.

Наука давалась Ионе легко, и памятлив и горазд. Но за неудобоносимость и бесповедение он был исключен, не достигнув пятого класса, с отметкой:

«Не годится даже в псаломщики».

Представив отцу этот свой успешный аттестат, Иона беззастенчиво уверял протопопа, что, правда, не годится в псаломщики —

— Потому что гожусь в архиереи.

Скорбно тряс бородой протопоп.

А и в самом деле, по такому уму и извороту бесхвостому, чем не архиерей?

— Кормить я тебя, мерзавец, даром не буду, — сказал, наконец, протопоп, — да и опозоришь ты мою седую голову. Завтра иду к предводителю Фантикову, он тебе даст место — хоть нужники чистить.

И через три дня определилось будущее направление будущей нашей достопримечательности: Иона вступил под тесные своды Дворянского благородного собрания.

За лестницей помещалась канцелярия.

Сам предводитель привел его туда, сопровождаемый протопопом.

— Служи, учись, через месяц получишь жалованье, — сказал предводитель и, обращаясь к делопроизводителю, прибавил: — а ты, Митряй, гляди за ним в оба: парень-то больно остер.

— Слушаюсь, батюшка ваше превосходительство, не извольте беспокоиться.

— Филофей Мироныч, — взмолился протопоп, — будьте отцом родным, бейте его в мою голову. Може, что и выйдет.

— Не беспокойтесь, батюшка, отшлифуем-с, — отвечал старик, заматорелый в делах наученных, вошь канцелярская.

Так началась Ионина служба — корень его всеизвестности.

III

Первые же недели Иониной службы ознаменовались таким беззастенчивым шантажом и взяточничеством, что слава престарелого и опытного Мироныча померкла безвозвратно и навсегда.

И Иона не только не полетел с места, напротив, так укрепился, словно бы век служил, и все от него пошло и без него ничего не могло быть.

С первых же дней служебных он обнаружил прямо сверхъестественную деловитость и быстроту в исполнении.

Скажет, бывало, предводитель:

— Дай-ка мне, братец, того, — и погребет рукою в воздухе.

А и не прошла минута, Иона подаст нужное дело.

Все это, конечно, и другим в науку и делу польза, и одного только можно было опасаться, что при таком направлении дел предводитель утратит дар слова, столь необходимый ему для застольного спича раз в три года.

Рядом со сводчатой канцелярией в кирпичной палатке помещался Дворянский архив. А правее в пустых комнатах для депутатов были сложены старые книги, рукописи и старинные вещи, занимавшие три комнаты.

А возникли эти вещи и в таком количестве невместимом, по обстоятельствам, никем не предвиденным и угрожающим.

Был в нашем городе губернатор Гудзевич. В один из отпусков он встретился на курорте с знаменитым в России археологом Рязановским. И в разговоре, когда с легкостью своей покровительственной высказался он об археологии, повторяя затасканный отзыв людей непытливых и успокоенных в своем невежестве, знаменитый старец швырнул ему:

«Не одни, дескать, чудаки занимаются археологией, но и весьма высокопоставленные особы!» — и назвал несколько громких и титулованных имен.

Губернатор не поверить не мог, но и не придал особого веса, а вскоре и совсем забыл. Вернулся домой, а тут ждет его бумага от министра — срочный запрос: какие имеются древности в его губернии, какого качества и какого времени?

Струхнул губернатор, вспомнил курортные разговоры — знаменитую ископаемость в лисичьей шубе, да поздно. Что говорить: ни он, ни чиновники ничего о древностях не знают! Поехал с поклоном к архиерею.

Слава Богу, что архиерей попался любитель старинщик, — выручил.

И сейчас же ответ в Петербург дали, да еще и с указанием, что и музей устраивается.

Полиция навезла всякого старья: брали и то, что нужно, и такое, что печку топить. А свалили все в Дворянском доме.

Да тем дело и кончилось, как полагается, т. е. кончилось до поры до времени, пока не явился Иона.

Рыща в Дворянском доме, как в собственном, во всех делах голова и верховод, однажды, разглядывая древности и перебирая казенную рухлядь, нет ли тут чего ценного, решил Иона восприять нетрудное и приятное бремя археологии.

А к тому же и господа дворяне стали себе требовать самые древние родословия. А выводить родословия, да еще древние, без археологии дело совсем немыслимое.

И навострился же тут Ионушка.

И, бывало, в Пассаже, сидя в угловой излюбленной комнате, как, бывало, расхвастается Иона.

— Уж так просил меня Перебрюхов родословную ему составить, — хвастал Иона, — вот я его и вывел от Руслана и Людмилы прямехонько, как ниточку. И все на основании документов. А документы все подлинные — сам писал.

Звенят серебряные рубли, стучат стаканы, льется пиво, гремит машина.

— Я, — говорит Иона, — за деньги могу кого хочешь от кого хочешь произвести. Я могу кого угодно с кем угодно совокупить. Королеву Матильду с Фридрихом II!

За пивом под машину развертывались перед глазами Ионы самые невообразимые сочетания, — воображение его, разогретое пивом и музыкой, выводило породы человеческие, ни на что не похожие.

Неисчерпаемы творения Божии и все, что было во власти ума человеческого, Иона исхитрился осуществлять к гордости знатных или выскочивших в знать, и само собой за большую халтуру.

Потом уж с годами, когда творческое воображение его иссякнет, да и прибыли от этого воображения не будет, пиво и машина — трактир любимый — настроят Иону на другой лад: не видами породы человеческой, измышленными умом его и закрепленными подлинно с приложением печатей и подписями, будет он хвастать всесветными связями своими с сильными мира, а особенно знакомством с царем.

IV

За нетрудной и приятной наукой и в погоне за деньгами прошла молодость Ионы.

Женился он рано ради приданого: взял домишко и три тысячи денег, о чем сам же во всеуслышание объявлял в Пассаже, подробно описывая в последней отвратительной обнаженности мелочи семейные.

Семейная жизнь возбудила в нем при постоянном пьянстве ничем не охлаждаемую страсть. Все женщины ему нравились, кроме его законной жены. Лез и ластился он со свойственной только ему наглостью. Бесхвостый, бегал он за генеральшами, за горничными, за портнихами, но особенно заманивали его татарки: скромная стыдливость гаремных узниц распаляла его любострастие.

И однажды он купил у одного бедного татарина жену. Конечно, и тут без оборота не обошлось. Продержав при себе месяц открыто собственной наложницей, он с большим барышом перепродал ее в публичный дом, чего татарин совсем не ожидал.

Звезда Ионы высоко стояла, и татарин не посмел пикнуть.

С богатой купчихой Маркеловой Иона состоял в выгодной связи довольно долго, пока не промотал всего ее состояния.

— Довольно, будет, потешился! — сказал Иона обычную заключительную приговорку свою и перестал даже кланяться с обнищавшей возлюбленной.

Для своей переменчивой страсти он был готов на все, но и для денег — для звенящих рублей серебряных — не очень стеснялся. А рубли ему нужны были не только для легкости жизни, а еще и на рассвечение жизни. И этот свет прожигающий давал ему разгул.

В пьяном виде Иона изливал свою всемогущую душу, рассказывая похождения свои, как бывалые, так и небывалые. В пьяном виде за рассказами вскакивал он, бил себя в грудь, и плакал и кричал истошным голосом.

Это страсть кричала в нем истошно, ничем не охлаждаемая, сила кричала гороскатная, пущенная по мелочам, корень силы его, прущей и выбивающей из-под нахлобука.

Эй, Русь матушка, придавленная!

Разгул и попойка, рассвечая Ионину жизнь — открывая душе просторы, а телу размах, сулили недоброе и в самую звезду его.

Большое впечатление, очень невыгодное для дальнейшей судьбы служебной, произвело приключение его нетрезвое на областном археологическом съезде.

В первый день съезда после открытия Иона должен был читать свой удивительный доклад о куричьих богах. Очередь его была первая, потому что и находка его была первая — необычайная: в самом деле, кто это слышал про богов и не греческих, не римских и не наших незнаемых, а куричьих!

После речи архиерея и губернатора, когда наступило время куричьему докладу, хватились, а Ионы нет, пропал. Туда-сюда, вся полиция поставлена была на ноги, и немало бились, пока отыскали. А когда отыскали, был он так мокр, что никак его нельзя было вести, сам же он упорно порывался идти, но обязательно, чтобы на четвереньках, как бог некий куричий.

Три ведра холодной воды произвели свое действие, и не на четвереньках, а по-человечески, ровно б человеком Ионой, появился Иона перед многочисленным почтенным собранием.

Обведя присутствующих бессмысленным взглядом, Иона развернул тетрадь, и тишина наступила действительно самая

подобающая, — нетерпение послушать завладело всем собранием от первого до последнего.

— Ваши Превосходительства и Милостивые Государи!

Черненькие глазки тускло засветились на пьяном солонинном лице, Иона захлопнул тетрадь и, обсосав себе губы, обложил всю публику таким большим туром честнейшей матери — всего сущего прародительницы, что на минуту словно бы темное облако застлало белый свет.

Отчетливо и крепко произнеся убийственные слова, он, как сноп, повалился на пол и безмятежно заснул — так его, бесхвостого, при общем переполохе и выволокли из зала.

Да, доброго мало чего сулило Ионе забыдущее горькое пойло — сладкая водка, окрыляющая ум его и душу.

Кто знал больше Ионы нецензурных песен, охальных частушек и похабных сказок? Он был неистощим, живописуя до полной наглядности и осязаемости вещи и деяния неуловимые, и каким кряжистым словом.

— То, что французы называют галантно, — приговаривал Иона, совсем забывая, что французы на своем языке не знают анекдотов о русских пономарях и будочниках.

Сам он никогда не записывал, да и немыслимо было, какая уж тут запись в пару под гром машины, а из нас, приятелей его, никто не удосужился.

Эй, матушка Русь, пропащая!

V

Вечер. Легкий сумрак, густея, оползает на землю.

Со всех сторон — с соборной, с монастырской, с речной и горной чиновники из присутствий, учителя, постарше и помладше, и всякого рода юность спешит на Козью улицу к единственным Колоннам — цветнику притонному, неотразимому на вкус неискушенного гимназиста и невзыскательного писца.

Раскрытые настежь двери, ярко освещенные окна, музыка, топ и звонкие женские голоса смутят и повлекут к себе и самого рассамого всосавшегося в нашу скуку расчетливого черта.

И если Пассаж — место похвальбы всемогуществом, всесветностью и неистощимой похабщины, Колонны — ученая кафедра. Но и в трактире и в Колоннах один заключительный

голос — плач, там под машину, тут под скрипку с роялью, и истошный крик.

В левом красном угловом зале, за круглым столом, залитым пивом, сидел Иона с судебным кандидатом, лысеющим и отекшим совсем не по чину.

Кандидат давно охмелел и мутными остановившимися глазами вел, несчастный, из последних неравную борьбу с наскакивающей пьяной дремой.

Иона, грузно облокотившись на стол, горел в пьяном раже — черные волосы его прилипли ко лбу, глаза сверкали желтыми огоньками, по мокрой бороде текла слюна.

Весна — и у нас есть весна! — зацветала белая белой черемухой, а из соседнего зала — и зачем это такая музыка душу мутила?

— Николай Митрич, а Николай Митрич, слышишь ты?

Но кандидат отозвался единственным еще сохранившимся в его запасе звуком, не то присвистом, не то мыком, не поймешь.

— Слышишь, не одни меня только любили Казимировны да Брониславы б...., настоящая барышня любила, Александра Павловна Леднева! Слышишь?

Кандидат свистнул, как в форточку ветер, и блаженно затих.

— Познакомились мы с ней в лавке у Мыльникова Павла Васильевича, этот, знаешь, еще за полтинник мне тысячный крест продал: уверил дурака, что медный! Познакомились совсем случайно. Стали встречаться: то на бульваре, то на набережной, то на лестницах, так вот ясно я вижу — в коричневом платьице, в черном фартуке, быстрые глазки, а засмеется, острые зубки показывает. Очень мне это нравилось, и я все, бывало, смешу. А потом сурьезней разговоры пошли. Увидала, что знаю я столько — вся губерния не знает, спрашивает о том, о сем, все ей рассказываю. Слушает внимательно. Грустная стала. Русую косу теребит. Задумываться стала. Да вдруг и говорит: «Вы бы, Иона Петрович, поменьше пили, нездорово это». «Ну, – говорю, – кому вред, а мне все в пользу». Ничего тогда не ответила. А потом просит о жене рассказать, про детей. Раз от разу все ласковей да участливей. И совсем не смеется. Както пришла в канцелярию, села против, сама ни слова. Я и говорю ей, чтобы сказать что-нибудь: «Я, мол, уехать хочу по сбору древностей для комиссии». «Надолго ли?» – испугалась. «Да

месяца, – говорю, на три, на четыре». И вижу, бледная вся. А потом поднялась и прямо ко мне. «Знаете, – и голос ее дрогнул, – Онечка, знаете, милый, люблю я тебя!» И упала мне на шею. Я, понимаешь ли, Митрич, я, ей Богу, в первый раз в жизни растерялся.

— Когда бить начали, нехорошо! — не открывая глаз, раздельно по человечески отозвался кандидат.

— Это ты про что? — Иона замотал головой и еще крепче загруз над столом. — Прильнула ко мне ее нежная шейка, и как увидал я белую душку, все замутилось, облапил я ее и в архив. А она как барашек. Вдруг на дороге Кудимыч, вахтер. Мерзавец! Плюнул я: «К черту!» А он усы рыжие расправил.

— Нехорошо — нехорошо, — не то сопел, не то не одобрял приятель, но как-то уж очень равнодушно.

— Повадилась девчонка каждый Божий день. Вместо гимназии так с сумочкой и ходит. А класс последний — выпускной. Признаться, и меня закрутило. Положит она ручки свои на голову мне и все волосы приглаживает. В глаза смотрит ласково: «Онечка!» Я ее — Шуренька. И навернись в девку бес: «Брось, говорит, все, и жену и детей, уедем вместе, начнем новую жизнь! Ты, говорит, великий, ты молод, я для тебя все сделать готова, жизнь положу!» А посуди сам, с чем это сообразно? Перво-наперво, у меня дом, я писец, нигде не кончил, ученость моя при мне останется, в другом месте я дурак дураком, да еще и напиток в придачу. А Палагея, да она меня за тридевять земель отыщет! Нет, заладила свое, ну, ничем ты не оторвешь. Бабы эти, как привяжутся, конец. Я как-то с прохмеля ей: «Убирайся, говорю, к черту, будет!» А она поглядела: «Кончено?» — да так, знаешь, глядит, «разлюбил?» «Да нешто, – говорю, – я любил? Это благородные какие любят, а нам только б до мяса довалиться. Сама, девка, полезла, не взыщи!» Встала: «Прощайте!» говорит, да совсем, совсем другим голосом, у меня даже хмель прошел. И ушла. Остался один я, а голос ее так в ушах и звенит: так — так и бросился б вслед.

— Прощай-прощай-прощай! — кандидат открыл мутные глаза и сделал такое носом: вот расчихнется на весь зал.

– Однако, выпил я две рюмки водки, — продолжал Иона, — тем и кончил. Все забылось. А через месяц, слышу, выходит за-

муж. Студент Игнатов — красивый малый, рослый — вот какого подцепила! Вскоре и сам ко мне пожаловал, подает от нее записку: требует она, чтобы я письма вернул. Ну, мне что, я не баба, да и письма-то не велика ценность, не автографы какие, можно и отдать! Отдал я ему. Он учтивый такой, а руку прячет, не дает. «Александра Павловна, говорит, все мне рассказала, подлец вы!» – говорит, повернулся да и вышел. А скажи на милость, чем я подлец? Нешто я против ее воли?

— Я подлец? Не подлец! — и звонкая затрещина раскроила щемящую музыку: в соседнем зале, кто-то кого-то жестоко поучая, поднял возню и звяк.

Иона даже не шевельнулся — все это в порядке — память его зашла в самую жестокую деберь.

— А как был я в Нижнем, слыхивал, что хорошо живут, согласно. И место у него хорошее. А раз ее самое видел. Я после перепою у Бруселя вышел прогуляться. Иду по Печорке, а она навстречу — барыня такая стала! — мальчика-сына за руку ведет. Я-то в нее глазами впился, а она скользнула так — Или не узнала? И пошел я своей сторонкой да как гряну по всей по Печорке: «Не шуми, мати ...» А городовой: «Помалкивай, – говорит, – пьяница, сукин сын!» Точно цепочка оборвалась.

Иона вдавился весь и вдруг вскочил и, бия себя в грудь, стал вопить, так что из соседних зал поналезли, одни робко, другие нагло, чтобы свидетельствовать Ионино злострастие.

— Человек для себя самого первая головешка, — вопил Иона истошно, — ты, Иона, ты и есть и будешь центр и пуп, всемогущий, вездесущий, всенаполняющий! Для кого корова телится? Для меня, чтобы я говядину ел. Для кого солнце светит? Для меня, чтобы меня, пьяницу, сукинова сына, греть!

— Иона бесхвостый! — подхватывали с хохотом, — голован! говядину греть!

Хохот подымался резче, чем вопь.

В раскрытые окна наша весна — и у нас есть весна! — с горькой черемухой доносила подзаборную свалку.

И весенние белесые звезды, как бельма, плыли мутно по белеющей северной ночи.

Русь белокрылая, куда ты летишь, исплакана, измученная и тоскою сердце рвешь?

Алтайские яркие звезды алмазами летели перед глазами Ионы, возносившегося до крайних небес, и оплевывающегося, как последняя мразь, под дикий хохот русский, ничем непробойный.

VI

Всеизвестность Ионы пошла не с Ледневой гимназистки — под пьяную руку все чаще и чаще вспоминал он о ней, и гордясь, и как уколотый на всю жизнь, — дело музейное, о котором трубил он на всех перекрестках, возвело его в живую достопримечательность.

Устройство местного музея — вершина славы и расцвет его деятельности. Тут обнаружил он необычайную ловкость. И в самый краткий срок накопил приданое для двух дочерей, а Палагее сделал бархатный салоп.

Но в общем, в конце-то концов, дело оказалось пропащее.

Управлять музеем Иона не попал.

По проискам ли людей завистливых или от оборотливости излишней, о которой шла молва со всех сторон — и с соборной, и с монастырской, и с речной, и с горной, да и сам Иона хвастал и в Пассаже и в Колоннах, только нежданно-негаданно прислали из Петербурга для разбора и окончательного устройства музея двух ученых археологов: плешатого маленького и долговязого мохнатого. Оба полуслепые, чудные, не меньше Ионы, и не обдуешь, оба — и Молгачев, и Агапов — и язвительны, и осторожны, и скопидомы.

Истратить на пиво гривен восемь, купить книгу за пятачок, а какую рукопись за полтинник, это они мастера. А чтобы какой-нибудь профит бедному человеку сделать, это ни-ни.

Шельмы стакнулись еще до приезда, все вместе, согласно, рука об руку. И нет того, чтобы по-православному, по-русскому, зубы друг в друга. Плешатый из Петербурга жену привез, заставил библиотеку разбирать. И все за дешевку: то, что у нас за пятьсот пошло бы, они за двести берут, а делают вдвое скорее.

Губернатор заискивает, льстит, в гости к ним ходит, место им казенное дал на время. И они со всеми перезнакомились, у предводителя сидят — житья нет!

Миловзоров историк для Архивной коммиссии каменное яблоко купил.

— Древность, — говорит, — XVII-ый век.

А плешатый рассмеялся.

— Сколько дали?

— Полтинник.

— Дорого. За двугривенный можно купить в посудной лавке, — и ухмыляется, — маху дали, Сергей Леонтьевич!

А в тот же день долговязый пошел к местному старьевщику, к Гранилову, — давно Гранилов дорожился старинной рукописью! — и доказал старьевщику, что рукопись поддельная, и купил ее, тысячную, за трешницу.

Сошлись вечером приятели в музее, хохочут, радуются:

— Самаго наипервейшего мошенника объегорили!

А Гранилов, как дознался, и перед всем честным народом объявил:

— Они-де с собой туман носят, напускают.

И заживо служили панихиду в монастыре: поминали раба Божия Ивана и раба Божия Александра, чтоб им пусто было, — не пронимает.

Да, нашла гроза нежданно-негаданно и не только на мошенников, но и на самого Иону.

Между прочим, говорят они Ионе:

– Нечего мудровать! А вот вам список, вы по этому списку по записям примет вещи подыскивайте и дороже указанной цены не давайте. За покупку процент получите: чем дешевле, тем больше — обратно-пропорционально.

Екнуло сердце у Ионы — кончилось приволье.

На какую теперь хитрость ему пуститься?

— Или нищих объегоривать или воровать? — ляпнул Иона.

А те ему:

—Ничего, Иона Петрович, изворачивайтесь.

А губернатор вторит:

— Ты, Иона, в карман не залезай, чтобы нам от тебя сраму не набраться.

Но и тут Иона извернулся — всем потрафил.

— Конечно, барышишки маленькие, а все-таки ничего, жить еще можно.

Как в дни молодости своей всемогущей, стал он у мировых судей дела брать, кляузничал, — ничего. И опять же адвокаты

насели — не те времена! Плюнул Иона: лучше не связываться, народ тоже зацепистый.

А тем временем кончились покупки в музее.

Плешатый Молгачев уехал с женой назад в Петербург. А долговязый Агапов во владение музея вступил.

Жалованье долговязому определили не ахти какое, а Ионе-то оно было бы совсем хорошо.

Да Ионы-то это не касается.

Вскоре долговязый женился на богачке Позвонковой, взял, говорят, сто тысяч, дом купил, обстроил его, губернатора принимает.

А Иона не при чем.

Высоко взлетел и пал. И уж не подобраться: годы не те, сила ушла.

И никаких звезд, одни алтайские — алмазы — сквозь горький чад и дикий публичный хохот.

— Травинкой стелюсь, — лепетал Иона, — травиночкой.

VII

По старой памяти, но уже травинкой, зашел Иона в свой родной музей, зашел с заднего крыльца по обычаю.

Было летнее утро, обещавшее зной.

У Ионы кружилась голова: три стакана водки вместо чаю пропустил в себя натощак, без чего не мог он показаться на волю.

Под окнами к крыльцу сложены были большие корзинки, в этих корзинах перетаскивали вещи из Дворянского дома.

Манит корзинка — то-то хорошо полежать, растянуться!

Иона завалился в корзинку — хорошо! — сбросил картуз и замлел.

А с крыльца Кудимыч сходит, вахтер.

— Я тебя насмешника провенчаю! — обрадовался случаю вахтер: не забыть старику обстриженного уса, дело рук Ионы.

Накрыл Кудимыч Иону другой корзиной, в кухню сбегал, веревки принес, связал ручки, перекрестил корзину, сволок к сараю и по старости лет, а более от жары несносной, все позабыл.

Что было, не помнит и Иона, а проснулся — холодно: роса, весь мокрый. Провел он по слюнявым губам — пересохло в гор-

ле — подняться хотел, головой ткнулся в корзину. Что за чудеса? — пощупал внизу рукой: тоже корзина.

«Батюшки-светы, да никак в могиле?»

И руки затряслись.

Хотел перекреститься — рука ударилась в плетенку.

«Господи, прости мои согрешения! — и тоска залила его душу, — умираю от голода и жажды!»

Но изворотливый ум вспыхнул, все бесхвостье его завиляло, ища выхода.

«Говорят, нужно руку себе покусать, не сон ли?»

И укусил себя за палец.

— Ой, больно, — нет, он не согласен!

«Значит, смерть заживо».

И ясно представилось ему, как обкусает он себе руки от жажды, перевернется вниз лицом и умрет: покойники, заживо погребенные, всегда так перекувыркивались.

— С IX-го века! — всхлипнул Иона и начал стонать.

Душу надорвал бы этот стон замогильный, если бы нашлась у сарая хоть одна живая душа.

— За что мне, Господи? — терзался Иона, — за царские врата? — и вспомнил, как в погоне за древностями, желая урвать процент обратно-пропорциональный, стащил он в городищенской церкви старинные резные царские врата, — или за то, что в пятницу согрешил? За кощунства ли Дублянских сказок? Никола Милостивый, милостивый, помилуешь? За Прово горе, должно быть? — и в горьком забытьи, наперекор воле, начал твердить, как встарь:

> Пров Фомич был парень видный
> В среднем возрасте солидный,
> Остроумен и речист,
> Только на руку нечист.

Нет, нет, неужто за такое и такая мука? — и вдруг Лизу вспомнил из Колонн: за гордость обвинил однажды эту Лизу, будто кошелек у него украла, и бандырь выпорол Лизу, – за Лизу? Не Лиза, сам я крал, все тащил, и где можно и где нельзя, — каялся Иона, — древности крал! Древности, — и спохватился, — но ведь всякий из них новости крадет. Неужто за такое, за всеобщее? И почему же тогда не всем такая участь? И почему люди живут и умирают по-человечьи, и только он ...

Он не брезговал интрижкой,
Ни с модисткой, ни с портнишкой,
И не мало светских дам
Привлекал к своим усам.

Твердил Иона наперекор воли стих похабный и не мог остановиться.

Проплыла Леднева, смотрела на него и не так, как в Нижнем на Печорке, а как там, в канцелярии, или там, на лестнице, без слов смотрела и глаза ее светились любовью.

А что, если бы он тогда ее послушал, бросил бы пить, уехал бы с нею?

И вспомнил он ее голос, — Господи, всю бы отдал жизнь! — голос ее так внятно.

«За нее виноват — за себя, за себя — за нее и терплю, всю судьбу погубил!»

И пуще всякой боли укусной засверлило на сердце.

И из боли вдруг он услышал легкие шаги и кто-то фыркнул в самую корзинку.

«Никак собака? — замер Иона, — Господи, хоть бы залаяла!»

Насторожился и сам, крутя носом по-собачьи, понял чутьем бесхвостым:

«Да это предводительский Нептун».

— Милый, дай весточку! — захлебнулся Иона.

Пес зацарапал лапой о корзину.

— Милый! — шептал Иона, — Нептунушка!

Ему слышно было, как Нептун шуршит по траве, машет хвостом.

— Узнал, голубчик, отец родной! Залай, вызволи! — и хочет Иона громко покликать, а голос, как во сне, пропал.

Пес фыркнул и отошел.

Могильную бесконечную ночь провел Иона в корзине.

Со скрещенными руками, отекая, в забытьи, лежал он, как тезоименитый Иона во чреве китове. И ничего не замечая, ни своего стона, ни боли, и ни о чем не думая, распадался.

Вся изворотливость ума его потухла.

И только на другой день Иона освобожден был, аки изблеван.

На другой день, в полдень, девки из Дворянского дома вздумали идти к предводительскому колодцу и не по улице, где их поджидали кавалеры, а кратчайшим путем через репейник.

Проходя мимо забора, они услышали слабые стоны.

С криком:

— Черт! Домовой! — пустились бежать назад.

Тогда Кудимыч вахтер вдруг вспомнил о Ионе, встал из-за стола и, дожевывая, бросился к сараю, к корзине, — и освободил.

Иона, испачканный весь, упал в ноги вахтеру:

— Солнцу воссиявшу пришедши на запад!

И был, как безумен.

Стакан водки подкрепил его силы.

С картузом в руках вышел Иона из калитки на волю.

Пекло и жарило, как в первый день. Шатаясь, шел Иона под палящим солнцем. И случайные прохожие далеко обходили его.

VIII

Иона не знал ни времени, ни места, — Петербург он мог перевести в Москву, Москву в Нижний, Нижний в Кострому, воскресенье обратить во вторник, полдень в полночь, быть и там и тут, везде, — всемогущество его было безгранично, и, кажется, в одном только был он и слаб и человечен — в температуре: хотел он или не хотел, а наступала зима, потому что морозило, хотел он или не хотел, а приходила весна, потому что таяло, хотел он или не хотел, а возникал циклон, а за циклоном шел антициклон.

И разве он хотел, и вот затряслась голова, и вдруг нападала сонливость, и он валился где ни попало, и не спал, а в мутной дреме безучастно следил за какой-нибудь перелетающей мухой и ни о чем не думал.

И без его воли изворотливый ум его погасал.

И так же не потому, чтобы хотел он, нет, он как раз другого хотел, все дела и последние потихоньку ушли от него.

Уж старшие дети стали содержать старика, — ведь он больше не мог самостоятельно добывать себе пропитание.

А тут наступило и последнее горе: женился старший сын и уехал с женой свою жизнь строить по-своему.

— Нашел время шашку точить, когда отец еще жив. Подождал бы малость: скоро подохну, — злобствовал старик и, грозя кому-то, шипел, — всю жизнь проклятая дыра поперек дороги стоит!

А за первой бедой идет другая беда.

Вышел грех со старшей дочерью девушкой, — вымазали дегтем ворота и стены. Плачут младшие дочки подростки, пилит Палагея.

— Хоть бы уж подохнуть! — одного просит Иона.

А и это не в его власти: час придет, когда придет — проси или не проси, а побежишь — настигнет, а скроешься — найдет.

Иона, припоминая случай с корзиной, теперь пенял девкам, что через их дырью дурь был он избавлен от смерти и на муку ввергнут в проклятую жизнь.

Жизнь его вдруг стала проклятая.

Не пивши, трясучий, поплелся Иона к купцу Черногубову.

Когда-то, в допотопные времена легкой жизни, непроклятой, делая дела головокружительные, вывел он купцову родословную от Каина, сына Сатанаилова, через Ивана Осипова — Ваньку Каина, прямой линией к деду Ивану Черногубову, и лавочнику и родне всей Черногубовой стоило немалого выкупа, чтобы избежать огласки и скрыть семя свое проклятое во веки веков. А теперь Иона, ползая на коленях, Христа ради, выпрашивал у купца сорок копеек.

— В последний раз! — сказал Черногубов, — больше не дам, и не проси.

С двумя двугривенными каиновыми закатился Иона в кабак. И там все спустил: и пальто свое широкое следовательское, и пиджак длиннющий долговязого, Агаповский, и жилетку Миловзорову. В одних штанах кандидатских под вечер, трясясь и тычась, вернулся он домой.

Раскрыл окно, посмотрел на огород, на то место, где великого князя Василия II Васильевича подавил медведь, — ко всенощной ударили: завтра Спасов день, пчела именинница! Робко прилег на диван. Что-то неловко, — кашлянул.

Младшая Лиза вошла. Открыл глаза. Стоит Лиза, смотрит.

— Папочка, кровь ...

— А ну ее к черту!

Иона повернулся к просаленной спинке, — ему все равно: кровь или ничего, жизнь или смерть, один конец.

Ночью случился припадок — дышать нечем. Воздуху бы заглотнуть ему побольше, дышать не хватает. Раскрыли все окна. Да ночь-то теплая, не Спасова.

— Ну, все равно, все к чертовой матери пойдем! — задыхался Иона.

А за окном шелестит. Траву косят? Нет. Что же это? Шелковое платье по травке-муравке завивается.

Сверкая золотом, как на Рублевской иконе, выгнув гордо лебединую шею —

«Что это, Господи?»

Вьются слухи, как у ангелов —

Иона привскочил:

— Шуренька!

А она сбоку так взглянула на него — нет, не узнает! — и пошла. И он вдогонку. Вбежала на лестницу. И он за ней.

— Шуренька, — кричит, — Шуренька!

Лестница темная, скользкая. На самый верх взлетели. Дальше нет хода.

— Шуренька! — хочет схватить ее за руку, ну, как тогда.

А рука не двигается.

И вдруг перед ним пролет — темный, сырой — темная дыра.

И все смешалось.

Откуда вышел, туда и ушел.

1917 г.

МАЛЬВИНА

Нынче по весне после долгих хлопот, ненужных хождений, обманных надежд и ожиданий, поступил наконец Семенцов на место и не как-нибудь, а прямо заведующим в Отдел.

А там уборка, погрузка, заваленные столы, дела — еле протискаешься.

И длинной птичьей стаей скользят и снуют хрупкие тоненькие барышни, изгибаясь под тяжестью связок и ящиков.

Всю свою жизнь Семенцов, а ему на Преображенье стукнет пятьдесят, все свои чиновные годы пропил, проел и проспал о-бок теплого пухлого бока Анны Петровны, жены своей. И всегда вольно или невольно уклонялся от встреч с этими канальскими девицами, заполнявшими последние годы все де-

партаменты, а теперь наводнившими отделы, управы, комиссариаты. Жизнь, которую словом никак не выразить, ну, выражающуюся в какой-то стрекозьей неутомимости и легкости, — юность, молодость, — жизнь изживучая смущала его робкое оцепенелое сердце.

Так, в делах, по службе он всегда стремился увильнуть от близких встреч и даже разговаривал издали, супясь и притворяясь больным и стариком, котóрого не может тронуть никакая розовая улыбка. Но зато в редкие минуты у себя дома в Комаровке, когда Петровна уходила по каким-нибудь хозяйственным делам, не Петровна, женщина безымянная, или с тысячью знакомых милых имен, превращенная голодным воображением в какую-то небожительницу, в воздушное и бесплотное существо, дразнила его очарованием своего несуществующего таланта, ума и красоты. И также любая встречная по дороге, в трамвае превращалась в Беатрису, Лауру, Фиаметту.

Жалкий, оцепенев, он не дерзал заговорить и только любовался.

Грехов за ним не водилось, он верен оставался своей ворчливой Петровне — своей няньке, кормящей его и всякое утро заботливо снаряжающей на службу; с рыцарским почтением он относился к девушкам и дамам.

Правда, в беседе с приятелями он любил хвастнуть несуществующими грехами, при этом становился красненький и веселенький: он рассказывал о каких-то эстонках, которые будто бы вешаются ему на шею или к которым сам он тайком от Петровны ходит на любовное свидание, — но ведь это же одно воображение и никакой грех.

При прежних службах его он всегда был подчиненным и барышни никак к нему не относились, но теперь, когда он начальник, дело другое.

Невольная близость женщины юной и свежей — этого вечно-благоуханного яблока дьявольского соблазна, подействовала на него с первых же минут новой его службы ошеломляюще.

Дальше и дальше скользят вереницы — полуоткрытые руки, голые шейки, белые блузки, разные прически и оттенки волос.

Ни лиц, ни глаз он не видит, десятки крутых выгнутых шеек плывут перед ним — мерещится выя, золотистые кольчики волос, гривка.

Но берегись! — прямо на него между пачками дел наступала стройная высокая барышня, охватив белыми руками в браслетах тяжелый ящик.

Уступая дорогу, Семенцов запнулся за кипы и полетел.

Барышня с грохотом уронила ящик и поддержала его под локоть.

От смущения он что-то лепетал совсем несвязное и улыбался: ведь падая, он очутился в самой тесной близости с белой замшевой туфелькой и чулком-паутинкой такого восхитительного цвета, какого никогда не видывал — да он ни туфельки, ни паутинки такой на живом, на ноге, наконец, и ногу-то так близко никогда не видывал.

Сердце его усиленно билось, он вдруг почувствовал, точно лет ему двадцать и на голове у него не плешь, а шапка кудрей.

Сразу установилась какая-то близость, легкая игривость сменила суховатую вежливость, наконец, с непринужденным видом барышня сообщила, что ее зовут Мальвиной.

— Мальвина Федоровна! — повторял Семенцов, то и дело обращаясь к барышне просто ни за чем.

Обалделый вернулся Семенцов домой в Комаровку. Ничего не соображая, он еле дотащился до постели. И на вопрос жены: что с ним? — ответил сухими губами:

— Устал.

В разгоряченном мозгу его мелькало что-то несознаваемое, но приятно-острое и пряное.

И не помнит он, как наступила ночь и как заснул.

А под утро после красочных переливов приснился ему сон, события которого происходили в той самой комнатенке, где спал он под теплым голубым одеялом, подтыканный заботливой рукой Петровны и пригретый мягким ее боком.

Из серых сумерок выделилось обрамленное кудрями лицо Мальвины и гибкая шея ее в алом коралловом ожерелье.

Беленькая блузка сливалась с серым туманом.

Лицо Мальвины вдруг пододвинулось к самым губам его и так близко, что по робости своей он осторожно отодвинулся.

Но Мальвина, как бы притягиваемая им, подвинулась еще и вдруг глаза ее вспыхнули таким ослепительным блеском, что от внезапности похолодело у него на сердце.

А из темноты протянулась рука, и нога в белоснежной замшевой туфельке и паутинном чулке поднялась и опустилась на подоконник.

Семенцов оцепенел.

И хотел вскрикнуть и не мог.

Мальвина смотрела на него настойчиво и неотступно.

Но что она требовала от него, он не мог понять, да и что он мог сделать, оцепенелый?

И вот, подтолкнутый какой-то внешней силой, он приподнялся на постели и, сделав в воздухе полукруг, перевернулся, так что лицо Мальвины очутилось внизу.

И он почувствовал, как вся кровь прилила к его сердцу и сердце задрожало, как листок, и уж сам он потянулся к ее лицу, но в тот же миг, подтолкнутый той же внешней силой, он медленно и плавно поднялся к самому потолку и глаза его явственно различили щели в штукатурке и паутину.

Мальвина, не уступая, поплыла за ним и дыхание ее обожгло его, но перевернуться к ней он не мог.

«Мальвина, — шептал он, — я искал тебя всю мою жизнь, я только и думал о тебе, Мальвина!»

И вдруг белые руки сзади обняли его и он поплыл — он проплыл над кроватью, над туалетным столиком, над одеждой, завешанной старой заплатанной простыней, и очутился над подоконником.

Тихо распахнулось окно.

Еще миг и он выскользнет на волю, там перевернется.

«Мальвина, — шептал он, — я нашел тебя, Мальвина! Как прекрасно в Божьем мире, Мальвина!»

Утренник дыхнул и все порвалось.

Ни Мальвины, ничего, и только нос Петровны, напоминавший куриную архиерейскую часть, посвистывал прямо ему в лицо.

Утро было сырое, шел дождик.

Напившись противного овсяного какао, Семенцов сиротливо сидел в трамвае незаметный и съежившийся — на свет глаза не глядели бы! И вдруг на повороте вспомнил весь свой сон, и на сердце так заиграло, словно было ему лет двадцать, а под шляпой на голой голове шапка кудрей.

И каким завидным, единственным в мире представился ему Отдел, заваленный делами, где вот сейчас встретит он уж на яву свою Мальвину.

1918 г.

КРЕСТОВАЯ БАРЫШНЯ

Только любовь неизменна.

И это истинная правда, что это так. И думаю я, в последние минуты земли нашей, при последнем ее издыхании, одна не замрет и не замерзнет любовь.

Надежда Дмитриевна мало чего еще понимала в жестоком веке нашем и любовь она не могла оценить, но уж думать думала, и в тайниках дум своих представляла любовь, и, пожалуй, верно — в самой сути ее неизменной.

И верила, что так и есть.

И всегда будет.

Глаза у нее небесные.

Вы спросите их:

«Что вы видите?»

И они ответят:

«Видим мы Божий мир — цветы цветут, звезды сияют, милые сердцу проходят по земле люди».

«А дурные? И все это злое, злоба человеческая, измена — вы испугались?»

Поутру, как идти на службу, свернет Надежда Дмитриевна с Симбирской и к Происхождению Честных Древ зайдет, поставит свечку Божьей Матери и молится — так молятся цветы и звезды.

А неказистая служба у Надежды Дмитриевны — в Крестах.

Придет в канцелярию, повесит на колок кофточку да шляпку и за дело: возьмет одну большую книгу, возьмет другую и замелькают Иваны, Петры да Сидоры — арестантов она записывает.

И бегает перо — сжаты белые пальчики — пишет без конца.

А какая у нее рука!

Подойдет помощник начальника, прапорщик Эдингард, забудет, что и сказать хотел, а другой помощник плешак Звездкин так тот только губой чмокает, тычась по углам.

А Надежда Дмитриевна знай пишет, да из стакана холодный чай отхлебывает. Она не понимает, чего это стоит Эдингард и смотрит, и о Звездкине она не понимает, чего топчется да чмокает: и Эдингард и Звездкин не больше трогают ее сердце, чем эти казенные большие книги.

Целый день за книгами и в этом вся служба.

А бывают тяжелые дни — очередные дежурства. И тогда сидит она до семи за перегородкой и записывает ответы новых арестантов, которых опрашивает дежурный помощник.

И потому, что это очень трудно — ведь надо не пропустить ни одного слова и все должно быть точно! — и потому еще, что слова-то эти и обыкновенные, да ведь тот, кто произносит их, в неволю идет, такие дни тяжелы.

И всегда измученная с неспокойным сердцем пугливо возвращается Надежда Дмитриевна домой.

Чует сердце, что в мире неладно, и боится сказать, и жалко ей —

Если бы было и каждому из нас хоть немного жалко друг друга, не было бы никаких безжалостных Крестов!

*

Был серый дождливый день, когда смеркается рано и сумерки несут тоску.

Дежурным был помощник Головтеев.

На его дежурстве всегда бывало очень трудно; и бестолков — и спрашивает, и отвечает совсем не то — и как мга какая, безразличный.

А тут еще и арестантов навели тьму тьмущую.

И вот среди первых опросов о фамилии из потемок услышала Надежда Дмитриевна голос:

— Граф д' Оран-д'орен.

И это такой был голос, — стукнуло маленькое сердечко: или почуяло? или что вспомнило? — прямо ей в душу.

А когда у загородки стал высокий молодой арестант, она поняла, что это он.

И заиграло на сердце.

Это он, о ком она мечтала, ее рыцарь, туманный всадник, мчавшийся по розовому полю в ее тайных девичьих розовых снах.

Как быстро он отвечал на вопросы и как воздушно прошел, когда старшой Юматов грубо окликнул:

— Ну, пойдем!

И в дреме перед сном в ту ночь вдруг всплыли перед ней знакомые глаза и голос повторял:

«Граф д' Оран-д'орен».

А сердце, окропленное любвиявленскою водой, забилось вперебой: д 'оран-д 'орен.

*

Вы спросите глаза ее, в них орган гремит.

«Отчего вы певучи так?»

И они ответят:

«Есть в Божьем мире любовь и любовью запета земля, оттого и поем».

А случилось так: три томительных дня, и Надежда Дмитриевна нашла у себя на столе большую чайную розу, а еще через день они встретились.

И то, что смутно выговаривало сердце, сказалось ясно и закрепилось навсегда.

Выбранный арестантами старостой, граф д'Оран-д'орен явился в канцелярию: на нем была офицерская тужурка и белый Георгий. И никак нельзя было подумать, что он арестант. Скорее плешивый Звездкин, либо крикливый Эдингард — арестанты. Эдингард ходил неряшливо, Звездкин, хоть и чисто, но потрепано и старомодно, а на нем все было ново и необыкновенно, как на картинке.

И говорил он ни на кого не похоже. И кажется, такому ни в чем не откажешь. И даже Головтеев на его вопросы отвечал куда мягче, чем всегда.

С Надеждой Дмитриевной он сказал в эту первую встречу всего несколько пустяшных слов, но в каждом слове было столько скрыто, и самого главного, и это говорил его взгляд.

Прошла неделя. Как незаметно пролетела неделя — краткие, решающие встречи! — и опять цветы на столе, две лилии.

Низко нагнулась Надежда Дмитриевна над толстой книгой, а не видит ни имен, ни цифр, и не глядя, видит только его и слышит только его — его шепот.

Они уедут вместе — забудут весь мир — с первой встречи полюбил он ее — и всегда будет с нею —

— Навек.

И горячие его губы обожгли ее щеку.

И в ответ запылала щека. Еще ниже наклонилась Надежда Дмитриевна над толстой книгой, а сердце стучит, и кажется, из соседней комнаты Звездкин слышит, как ее сердце стучит.

Две лилии она унесла с собой и весь вечер просидела над ними.

Какие белые — белые, она сохранит навек.

«Навек, — стучит сердце, — навек».

И большего счастья не надо ни на земле, ни на небе.

А в тот вечер на собрании во втором корпусе после всяких тюремных пререканий вошел в круг арестантов д'Оран д'орен и сказал так же негромко, как и там в канцелярии Надежде Дмитриевне, почти шепотом:

— Через неделю освободится тридцать человек, мечи жребий. Кто сумеет уйти, того счастье.

И каждое слово его отозвалось на все Кресты.

*

С каким нетерпением ждала Надежда Дмитриевна утра, когда вновь увидит его и опять он ей скажет, как ее любит, и как они вместе уедут и не расстанутся друг с другом век.

Неизменные — слова любви, вы горячее всех слов на земле, и самые тихие, вы громче и ярче самых громких призывов и кличливей всех кличей. И в предсмертном бреду на издыхающей земле, знаю, только вы не замрете. И тот, кто вас слышал однажды, не забудет до смерти.

Дежурным был Звездкин.

Маленький, лысенький, чмокая, поглядывал он из-под очков на Надежду Дмитриевну: так была она вся овеяна и тянула любовью своей, как огоньком. Тычась по углам, Звездкин кружил около стола ее, заговаривал.

А она сидела над толстою книгой, не видя и не слыша, — ожидая его.

Стуча сапогами, в канцелярию вошел Юматов.

— Г-н помощник, разрешите свидание: жена к графу Дардарену пришла. Давать им, как прикажете?

— Что-ж, можно. Зови сюда, — ответил Звездкин.

И шурш шелка наполнил всю канцелярию.

Согнувшаяся над книгой Надежда Дмитриевна собрала все свои силы и, не приподнимая головы, заглянула.

Боже мой, какая красавица стояла за перегородкой!

И слезы так и брызнули на книгу, размазывая чернила, а маленькое сердце забилось робко под каблуком этой нарядной красивой дамы.

*

Раздавленная вышла Надежда Дмитриевна на волю. А как еще сегодня поутру шла она легко! Нет, пешком ей никак не дойти.

В трамвае было очень тесно.

Какая-то дама беспомощно металась со множеством всяких маленьких свертков, которые валились у нее из рук. Надежда Дмитриевна сейчас же стала ей помогать, а тут и место освободилось, помогла сесть. Дама успокоилась, но когда хватилась платить за билет, кошелька не оказалось, и подняла крик на весь вагон, указывая на Надежду Дмитриевну.

Надежда Дмитриевна не хотела верить.

— Обыскать надо! — сказал кто-то.

А дама, схватив ее за руку, кричала в иступлении:

— Умоляю, отдайте кошелек!

— Что вы говорите? И разве можно —

И, теперь поверив, она вывернула себе карманы, и слезы побежали по проторенным дорожкам.

Кошелька не было, все убедились.

Проехав свою остановку, Надежда Дмитриевна вышла.

За ней вышла и дама.

— Верю, — со слезами сказала ей дама, — и не могу. Мне не денег жалко, серебряный кошелек, это память.

И Надежде Дмитриевне ничего не оставалось, как зайти куда-нибудь во двор, и пусть там ее всю обыщет и убедится.

Так и сделала.

И во дворе всю ее ошарила дама, а кошелька не было.

— Но я не могу жить без него, это такая память! — повторяла дама, еще и еще шаря по груди и рукам.

В отчаянии обе вышли на улицу.

И вдруг Надежда Дмитриевна все поняла и точно в первый раз посмотрела на мир, где цветы цветут и сияют звезды.

И каким жестоким показался ей мир цветной и звездный.

И в этом жестоком мире жила она.

«Одна, — вздрагивали пересохшие ее губы, — одна — одна».

И надорванное сердце не проклинало.

Только зябло.

Беззащитно.

*

Вы спросите глаза, отчего есть такие, в них крест горит?

И они только горько заплачут.

С неделю не показывалась Надежда Дмитриевна в канцелярии. Все одна в комнатенке своей, как больной зверок на пеньке — так и дни прошли. И вот опять, повесила на колок кофточку да шляпку и за книгу.

И не слышно.

В канцелярии были оба помощника, и Эдингард, и Звездкин.

Оба шутили, и на все их шутки она подымала глаза и только смотрела.

Перемену приписали болезни и замолчали.

Тычась по углам, Звездкин вынул из шкапа какую-то бумагу и, несколько раз повернув ее около самого носа, вдруг сказал, неизвестно кому:

— А какая бестия этот Дардарен: и сам ушел и тридцать арестантов увел, каналья!

1917 г.

ОДУШЕВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ДВЕРНАЯ РУЧКА



Есть в больших городах вещи, к которым я отношусь с суеверным почтением, — например, дверная ручка.

Когда мне приходится входить в богатый многолюдный дом и у зеркальной двери дотронуться до ореховой ручки в медной обойме, я невольно вздрагиваю.

В этом доме в третьем этаже живет профессор, безвозвратно проваливший меня на экзамене. Не живут ли тут и мои кредиторы? Или мой смертельный враг? Впрочем, врагов у меня нет, — слишком ничтожное место занимаю я в жизни. Но недоброжелатель?

По-моему, каждую ручку наружной двери по истечении двадцати лет, хотя бы обломок, нужно сдавать в музей на хранение.

Подумать только, сколько народу касалось ну хоть вот этой ручки — задумчивых, размашистых, решительных и робких рук!

Маленькая девочка тянула ее обеими ручонками.

С отчаянием брался за нее подросток, возвращаясь с двойкой из училища.

С затуманенными глазами, ничего не видя, держалась за нее убитая неудавшейся судьбой девушка.

С тихим отчаянием медленно поворачивал ее чиновник, лишившийся места.

Сколько припомнилось разбитых надежд и любви — какой обманутой! какой горючей!

Вещи живут, внушают — вы слышите? вы чуете? — и только ослы да заводные чучелы проходят мимо равнодушно.

1918 г.

ТРАМВАЙ

Как только наступает весна, все бегут из столицы. Зачем? Разве небо не то же? А солнце в деревне другое светит? Или не то, что жжет пыльный, горячий асфальт?

Воздух ...

Но зато ни в какой деревне я не слышу трамвая.

Как гордо и смело, как сказочный рыцарь на турнир, несется вперед победоносный трамвай, звеня и щелкая! А вожатый, напоминая капитана корабля, как спокойно и уверенно держится за ручку мотора!

Уверенно ясно к намеченной цели летит трамвай.

И в этом гордом движении притягательность его неизъяснима, сколько старания прилепиться к нему, повиснуть, схватиться за медные ручки!

А сколько счастья стоять на передней площадке и смотреть, как у тебя под ногами с мешками и корзинами мечется толпа и прохожие, беспомощные и жалкие, подняв носы, глядят.

Чувствуешь себя выше.

И всякий, кто, ступив с тротуара, взберется на площадку трамвая, уже окреп духом: он смел и уверен, — он мчится вперед.

Но это еще не все.

Вы вступаете в вагон, — там новые люди и новая жизнь.

А какие встречи, разговоры!

Вот дождик захлестал по стеклам, а вы спокойно внутри, — вы презираете и дождь.

Да, воздух ...

Деревенский воздух и жир сливок и масло, но и какое изнурение от погодных забот и потерь!

А тут — смотрите! — какая лента женских лиц, начиная со стрельчатоокой смуглянки и нашей северной золотоотливной косы и кончая уродом.

Трамвай остановился.

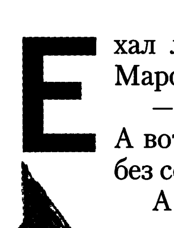
И если входил я одиноким, не одиноким выхожу я.

Нет, никогда ни зимой, ни летом я не покину города: одним своим трамваем наполняет он силою мой дух, а быстрый трамвайный его бег придает мне смелость, а мгновенная улыбка случайных встреч радует мое безрадостное сердце.

Сдавленные камнями перспективы или безграничность полей с грустью и тихой мечтой. Нет, это не мое, только тут на камнях я живу со всем ожесточением и остротою, а там — только томлюсь.

1918 г.

СОЛОЗОБОЧКА



Ехал ложкарь по деревне, воз ложек вез. Марфуха, баба кипень, кричит ложкарю:

— Ложек твоих нам и даром не надо! А вот кабы ты такие ложки возил, чтобы без соли сами солили!

А ложкарь и сам нарок.

— Есть, — говорит, — такая у меня ложечка-солозобочка: без соли в самый раз насолит. Только надо слово знать.

— Какое такое слово?

— А кто ложку купит, тому и сказ.

— Продай!

— Что-ж, купи!

— Дорого-ль?

— Целковый.

Помялась баба: целковый!

— Зато соли покупать не надо.

— Ладно.

Увела Марфуха ложкаря в избу, усадила за стол — ложку пробовать, а сама к печке, налила щей.

— Ну-ка, ложечкой посоли — какое такое слово?

Ложкарь вынул ложку — ай-да ложка, с рыбкой ! — да во щи:

> шуни да буни,
> да солоно буди!

Сам мешает, сам приговаривает:

— Да солоно буди!

Марфуха хлебнула: а и вправду — без соли, а в самый раз!

А того не в примет, что ложкарь из рукава соли в миску ссыпнул.

— В самый раз.

Звякнул целковый, уехал ложкарь, воз ложек повез — без одной.

То-то муженёк похвалит, не дождется Марфуха.

*

Вернулся Тихон из леса. Марфуха с наскока:

— Скажи мне, хозяин, спасибо!

— Что такое?

— А за то такое: соли нам покупать больше не надо.

— Как так?

— А так, очень просто: ложку я такую купила, без соли солит, рубль дала, целковый.

Да живо к печке, ухватила горшок со щами, на стол, да за ложку.

Ай-да ложка, не простая — с рыбкой!

шуни да буни,
да солоно буди!

Сама мешает, сама приговаривает:

— Да солоно буди!

И размешала.

— Нака-сь, отведай!

— Ну, и горазда! — не верится что-то: невозможное дело.

— Небось, не расплюешь.

Тихон хлебнул, и ни слова, — не глядя, положил свою ложку.

— Али не солоно ?

Марфуха не прочь и еще помешать. А он из рук у нее эту ложку как хватит, да ложкой.

шуни да буни,
да солоно буди!

Сам приговаривает:

— Да солоно буди!

Солоно пришлось бабе: зряшному слову не верь!

1919 г.

С КВАСКОМ

Чем не плох Копыл — и хозяйство и дом! — а ладу в семье нет и нет: лупил Петр Анисью, не дай Бог.

А за то и лупил, что уж баба-то больно словата: на слово беспременно два слова жди, а чтобы смолчать, — никак.

Ну, не выдержит Петр да в кулаки.

Не успеет у Анисьи синяк слинять, новый готов — Петров-то кулак во! — вся-то баба синющая.

Не житье было, каторга.

*

Проходил тем селом странник, зашел к Копылам — Петра-то дома не было — Анисья и ну жаловаться.

— А ты бы, умница, и смолчала! — присоветовал странник.

— Как бы не так! Придет окаянный из лесу, зарычит, зверь зверем: и обед давай, и онучи неси, и лошади сена дай! Да что я — десять рук у меня? — не разорваться-ж!

А потом, как сердце-то выговорила, и говорит:

— Ты, божий человек, все знаешь: не знаешь ли вот заговора, как бы усмирить его, чтобы не очень-то дрался. На квасок не пошепчешь ли аль на воду?

Странник подумал чего-то, посмотрел на Анисью.

— Знаю, — говорит, — пошепчу, пожалуй, тебе на квасок.

— И ему испить дать?

— Ничего не давай! Как приедет да начнет браниться, возьми этого квасу в рот и держи во рту, не глотай, не выплевывай! Как рукой снимет, — перестанет драться.

Нацедила Анисья квасу ковш, пошептал над ковшом странник, попрощался и пошел своей дорогой.

*

Осталась Анисья одна, уж не знает, куда и ковш девать, квасок сберечь — не простой, нашептанный, глоткотык.

«Вот приедет муж, живо она ему глотку заткнет, перестанет драться!»

А Петр уж едет — зверь-зверем.

Переступил порог.

— Подавай обед, — рычит, — поворачивайся!

Анисья так бы ему и ляпнула — эка, поворачивайся! — да успела кваску хлебнуть, как странник учил, а уж с кваском: квасок — молчок!

А он, знай, орет.

«Чего орешь? — так бы и крикнулось, — щи не упрели!»

А молчит, молча вынула щи из печки, поставила на стол.

Ест Петр, сам лютей-люти, зверней-зверя, не может сдержаться, так жену и кроет: еще бы — не щи, помои!

— Ходишь день-деньской на работе, а вернешься домой и поесть по-людски не дашь, ленища!

«Ленища!» — она-б в другой раз сказала словцо, не осталась-б в долгу, а молчит, держит квасок во рту, помнит: не глотни, не выплюни!

Ворчал, ворчал Петр, наелся, наворчался, полез на полати и там утих.

*

На другой день то-ж.

И всякий день то же: Петр кричит, а Анисья молчок: хлебнет кваску — хочешь-не-хочешь, помалкивай!

«Что за причина? Словно-б жену подменили! — да лежа на полатях, переворчавшись, и раздумался Петр: — чего де я на нее лаюсь?»

И дал зарок.

Вот вернулся домой с работы, Анисья уж ждет: сейчас пойдет крик — закричит всю избу! — Что за причина? поздоровался, сел за стол да тихий такой!

И квасу не надо.

Все равно отсказывать нечего.

И зажили тихо: ни крику, ни бою — в лад.

И пошла молва, что хорош Копыл — и хозяйство и дом! — а все оттого, что хозяйка его — не простая, с кваском, зверя уймет.

И пошло с тех пор: что вода на огонь, что узда на коня, то на крикливаго квас, только помни — не глотни и не плюнь!

1919 г.

ЕФИМ ПЛОТНИК

Жил-был один беднющий плотник, но и в беде и нужде большое сердце имел к несчастным — бедакам-горемыкам: что выработает, все раздаст.

«Нате, дескать, а я уж как-нибудь!»

Так и жил Ефим плотник, добрый человек.

Вот святые да угодники — им наше все видно: оттрудили какой труд, через это! — раздумались угодники: — надо же помочь человеку! — и решили идти к Господу Богу просить за плотника.

— Дай, — говорят, — Господи, плотнику Ефиму богатство!

Много могут знать святые, а всего не дано и святому: просят Бога за человека, а не знают, что еще будет.

— Дай да дай богатство! — просят.

А Ефим сидит на бревне: тук-да-тук — ан, хвать, из бревна-то деньги — да так и посыпались. Не будь дурак, топор за пояс и прибирать: нагреб золота, в хват не утащишь.

И что с такой уймой, куда ее?

Да что там! — сейчас же в Москву, товаров разных накупил и стал торговать, не плотник уж Ефим — купец Ефим Петров.

Ну и дом себе смахал: у нас, в Питере, какие дворцы, а такого не сыщешь.

*

Вот святые да угодники о Ефиме-то и вспомнили.

— Пойдемте, — говорят, — посмотрим, как плотничек-то живет: милостыней-то, поди, всех обогатил!

И пошли.

И прямо к дому.

И не знай, узнали Ефимов дом.

А Ефим-то как в беде жил да в бедности, по беде своей помнил о других, а как богат стал, только и дума пошла, что о себе — о богатстве своем: и добро уберечь да еще и богаче стать.

И пройти в дом к нему и не думай!

Так ни по чем не пустят.

А уж голь какую, бедноту — и не просись, за версту не подпустят!

Угодники-то прошли все-таки: Божья сила тоже.

А который Ефиму прислугал главный — мордач — загородил вход.

– Вам, — говорит, — чего?

— Пусти, — просят, — переночевать, люди мы странные, издалека!

— Не велено, — говорит, — велено взашей таких гнать, — а потом посмотрел-посмотрел, — ну, ладно, так и быть.

— Да уж мы как-нибудь, только бы ночь

Мордач их во двор, водил-водил и в хлев — к свиньям.

— Ложитесь!

И ушел.

Только и видели.

*

Чуть свет — какой там сон! — как поднялись угодники со свинячьего-то ложа, испачканы, измазаны, сердце-то сдержать невмочь.

— Господи, — взмолились, — отыми от Ефима богатство!

Бог-то и послушал.

И чем был Ефим, тем и стал.

Все прахом пошло, вся казна, и добро и дом.

И опять пошел в плотники.

И в беде-то и нужде маясь, милостив опять стал и до того добр к людям: коли нет чем делиться, делился ласковым словом, — да так и прожил свой век не в обиду, на мир.

1919 г.

НАХОДКА

Жил-был дед и было у деда двое внучат. Дед пас скот, внучата в школу бегали.

Пристали ребятишки, просят деда:

— Дедушка родимый, сходи за нас в школу, мы за тебя пасти будем.

А был дед до внучат жалостлив и согласился: забрал сумку да книжки и в школу.

А внучата скот в лес погнали — то-то забава!

Кончилось в школе ученье, стали расходиться по домам, поплелся и дед —

— за книжкой-то сидеть, не скот пасти!

Идет дед дорогой, споткнулся, глядь — мешок.

Посмотрел в мешок, думал, так чего, а там — деньги.

Вот так находка!

«То-то, — думает, — ребятишкам теперь гостинцу накупит, будет праздник!»

С находкой и вернулся домой.

А там и внучата вернулись из леса, изморились —

— скот пасти, не книжку читать!

Дед им ни слова, и никому.

А прошел день, стали по селу искать:

Не нашел ли кто мешка с деньгами?

«Ну, — думает дед, — пропали гостинцы!»

А ничего не поделаешь: и жалко да нельзя, и заявил.

— Я нашел.

— Как? когда? где?

— Да вот, когда в школу-то ходил...

— Эх, дедушка, — не дали старику и слова кончить, — давно это было, коли ты еще в школе-то учился! Владей находкой, то не наша потеря.

Так мешок у деда и остался — находка.

Гостинцев-то ребятишкам — то-то праздник!

1919 г.

КОРЯВКА

Повесть

Посвящаю
С. П. Ремизовой-Довгелло

Автограф

— — что самого удивительного в Петербурге, это вовсе не туманы и не звезды, а ветер.
Туманы проходят, звезды белеют, а ветер — —
Как подымется ветер, да как подует — так вот-вот и свеет — и тебя со всей рухлядью, дом, улицу, всё до твердынь петербургских — от Петропавловской крепости и до Невской лавры.
В Москве есть царь-пушка. А слыхано ль, чтоб на Москве ни с того, ни с сего палили из пушек?

А в Петербурге и в самый неурочный час — поздним вечером, даже ночью.
Как подымется ветер, да как подует, тут из пушки и бахнут —
Но ветер перекричит, переухает всякую пушку
и! — гу—уу—ля—ет!

— — — !

В такую гулянную ветрову ночь в Михайлов день возвращались мы с Павлом Елисеевичем Щеголевым домой с обезьяньих именин от князя обезьяньего и уставщика обезьянского Михаила Михайловича Исаева.

Павел Елисеевич говорил по-персидски.
И вот на Французской набережной, как сейчас вижу, Петр Иванович Галузин пробирается по бельэтажному карнизу и совсем налегке: в смокинге и без шляпы.
Ничего не соображаю: почему, как и на такой высоте опасной очутился Петр Иванович?
Спрашиваю Павла Елисеевича.
Павел Елисеевич говорит по-персидски.
и! — гу—уу—ля—ет!

— — — !

И вдруг увидел: в закрутившейся ветровой воронке Петр Иванович и опять, как там на карнизе, в смокинге и без шляпы.

И слышу сквозь войвопль и каргаррявь ветра явственно голос
Петра Ивановича:
— ка—а—ряв—ка — —

— — — !

Все это может подтвердить и сам Павел Елисеевич.
Ночь ему эта вот как памятна:
в ту самую минуту, как один из ветров, сорвав Петра Ивановича с карниза, швырнул его куда выше Петропавловского шпиля, другой ветер уцепился за Павла Елисеевича, но не осилев — еще бы! — рванул из его рук портфель и, разбрасывая рукописи, понесся вслед за улетавшим Петром Ивановичем.
А портфель, если на глаз прикинуть, не совру, пудов десять так — богатство немалое!
Все подробности о покойном Петре Ивановиче, как и почему очутился он на такой высоте опасной и погиб ни за что, мне рассказал друг его приятель Корявка. Но кто его знает, этот Корявка! — что врёт, что правду.

17 V 1922. Charlottenburg.

Павел Елисеевич Щеголев, историк, один из архивных глав в России, старейший князь обезьяний обезьяньей великой и вольной палаты, живет в Петербурге, сторожит Россию. Евгений Александрович Гутнов, для которого я и пишу эту завитушку, чтобы украсить книгу — корявкину повесть, кавалер обезьяньего знака первой степени с абзатцом обезьяньей великой и вольной палаты — за доброе книгопечатание возведен на Пасху 1922 года в Шарлоттенбурге в Аффенрате.

б. канцелярист
cancellarius Алексей Ремизов
обезьянья великая и вольная палата.

КОРЯВКА

Всякому человеку надо, чтобы кто-нибудь им восхищался. Переберите вы всех ваших родных и знакомых, осмотрите их жизнь повнимательнее — и уж непременно заметите, что у каждого кто-нибудь да найдется, такой приятель, которого он держится, а держится потому, что тот приятель в восхищении по пятам за ним ходит.

Вот почему.

И всякие другие объяснения — ложны.

И объяснять такую связанность человеческую перевоплощением, как это вздумал один верующий в перевоплощение знаток, небезызвестный Петр Прокопов, значит — не больше, не меньше, как пальцем попасть в небо.

Ну, посудите сами, ну, я, скажем, друживший с Корявкой, — Корявка от нас через дом, я будто бы в прошлом воплощении был Баба-Яга, а мой Корявка для меня — лакомым чем-то, в роде петушка, и я его, петушка, Корявку лакомую, съел и на косточках его валялся, и вот будто бы по тому-то по самому Корявка за мною и ходит, а я его не только что не гоню, хоть он мне и совсем ни на что, напротив — я его еще и приваживаю.

Нет, связанность моя с Корявкой не потому, а как раз по-моему, по этому — по причине страсти восхитительной.

Последний актер, третьестепенный писатель, завалящий художник — вся эта ослá бритве и соль земли, всякий развле-

кающий публику, и будь ты оборыш и подонок, а и для тебя в той же самой публике кто-нибудь да найдется, хоть один кто на тебя вот так посмотрит, как на меня когда-то смотрел Корявка. Да и всякий и не актер, и не писатель, и не художник, а человек, просто человек живущий — не ломающийся, а глазеющий, не болтающий, а впитывающий болтовню и вздор и нередко сам сообразно поступающий, не мажущий мазью, а приглядывающийся к ней, словом — огромное большинство, вовсе не мнящих себя ослой бритве и солью земли, — ваш покорный слуга, ваш сосед, первый встречный, все равно кто, все равно, а не мог бы и дня прожить или, пожалуй, и мог бы, но как! — как тускло, как безрадостно! — не будь при нем хоть кого-нибудь, кто бы изредка, по большим праздникам что ли, по двунадесятым, а повосхищался им, не будь приятеля, ну, хоть не так смотрящего, как на меня Корявка, а почти... почти что так.

И Петр Иванович — вовсе никакой художник, Петр Иванович Галузин, муж кроток и молчалив, при всей своей замкнутости и тихих и нетихих секретных привычках, не буяв и не величав, а имел-таки себе поклонника, и таким восхищающимся петушком лакомым был подлец Корявка, променявший меня не за ломаный грош.

И Петр Иванович был вполне доволен.

А Павочка...

Павочка и представить себе не могла, что бы такое было, если бы не восхищались ею!

Стоило только на час какой оставить ее одну — и такая вдруг нападала тоска на нее тоскущая, ей-Богу, будто уж в мире на сырой земле ей и места-то не оказывалось, и такой несчастной, такой покинутой становилась она, ей-Богу, смотреть жалко! И уж для нее, будь ты хоть Лихом-одноглазым, будь самим бесом Зефеусом, да чем угодно, а только повосхищайся — и будешь хорош.

И будет все хорошо.

Павочка такая...

Ну, как назвать? — она и не из крупных, малюпуська, курносенькая, знамечко тут на шейке и пустой-препустой лобик, — девчонка.

Я лучшего ей названия не мог придумать: девчонка. Только заметьте, совсем это не в каком-нибудь смысле — девчонка!

В животном мире среди кошек, милых наших мурок, попадаются ну такие кощенки, — вот подходящее, вы представляете?

И, где хотите, ее можете встретить и в трамваях, и на гулянье, и на лекциях, и на вечерах, и в театре — она непременно в каком-нибудь таком платьице необычайном, вся розовенькая, на каблучках и такой препустой-пустой лобик, а вокруг нее франты с лошадиными лицами — зародится же, прости Господи, народ такой, с лошадиными! — а то старичок, старикашка тоже семенит... думаешь, что так, а окажется — му-уж, — вот и поди!

Да, где хотите, с кем хотите, где угодно вы ее можете встретить, она вам в глаза первая бросится.

— Экая, — скажете, — девчонка! — и рот до ушей пойдет.

Тоже и там бывают, я встречал и не ночью, а среди бела дня... на Суворовском у нас.

Как-то в будний день иду и вижу, идет, — зимой было, — ничего, все, как следует, по-зимнему: ротонда на ней — коза ангорская такая пушистая белая... да не идет, это мы с вами идем, а она — экая! — она знай себе по морозцу-то приплясывает.

— Экая шельма девчонка! — не удержался, сказал кто-то, и не очень тихо, а весело, за всех.

— Злая она?

— Нет.

— Добрая?

— Ну, как когда.

— Какая же?

— А думаю я так и скажу вам словом Корявки, сколь разумею от безумия моего и ума забвенного. Случись важное какое мировое открытие, ну, нашли бы верное средство, предупреждающее нечаянности — несчастия с людьми, там где-нибудь на Пулковской обсерватории по звездам вычислили бы, и все до точности, и само собой до точности дознались бы, при каких таких житейских условиях средство это действовать будет, нечаянности предупреждать, и, скажем, так, что по условиям этим потребуется пост всемирный — должны будут люди в известные сроки и одновременно налагать на себя пост, или еще что внешнее потребуется, например, какой-нибудь танец глупейший — просто ломаться и кривляться, как дети, и опять же в определенный час, и чтобы все без исключения, как один,

и стало-быть, как видите, все дело, суть всех условий сведется к некоторому непременному и неукоснительному исполнению какого-то там обязательного для всех постановления. И думаю я, что, в виду важности открытия, любой и самый крысиный из самого крысьего подполья лишил бы себя удовольствия чаю попить с баранками (баранки, конечно, бублики, с маком; что с маком, что без мака, цена одна, мак даром!) да и самый поперечный наложил бы на себя пост всемирный, подчинился бы этому всеобщему обязательному для всех постановлению во имя такого громадного или, как говорят нынче, золотя дутые всякие пустяки, такого колоссального всеобщего блага (не забывайте, нечаянности несчастные будут устранены!), но вы не дождетесь и будьте уверены, что вот такая... девчонка такая это обязательное ваше постановление обязательно нарушит, и просто так и совсем не со зла нарушит и совсем не от своей отделенности веселой, не говорю уж от крысиности — никакой крысиной подпольности, ни личной поперечности в ней и помину нет: она вся открытая, и в этом смысле чиста, как чисто разжженное серебро, нет, нарушит так, просто так себе. И ты ей хоть лобик ее пустой прошиби, что возьмешь? — толку не добьешься. Она только горько заплачет... Впрочем на такую и рука не подымется: ведь будь на ее месте какой с лошадиным лицом, в таком роде что-нибудь, тогда, можешь, вгорячах, в злости, из ревности к общему благу и за свою шкуру, да и от досады просто, и не удержишься, не совладаешь с собой да по виску его и кокнешь, но Павочку — не-ет, я не могу, да и вы не можете, конечно!

Петр Иванович, такой молчаливый — муж смирен и кроток! — потупляющийся при встречах, так что и глаз-то его путно никто не видел, какие они, а вот оказывается, лунатические, вот какие!

Петр Иванович с некоторых пор, а вы, конечно, догадываетесь с каких, эти загадочные лунатические свои глаза перестроил на восхищающиеся.

И в то же самое время от Павочки только и слышно стало, что о Петре Ивановиче.

— Петр Иванович — Петр Иванович — Петр Иванович!

Петр Иванович исполнял все, чего только ни пожелает Павочка: он доставал ей всякие билеты на всевозможные развле-

чения, ну, куда только она хотела, он делал все, лишь бы угодить Павочке.

И это у всех на глазах и в живой памяти. И началось без году неделя. И началось при обстоятельствах весьма странных.

У Ерыгиных только и говорили, что о таинственных шагах.

Из ночи в ночь слышались шаги в коридоре:

кто-то с большой осторожностью проходил по ковру в коридоре от гардеропа к окну и обратно.

Кто ходил и зачем в такой полуночный час и жуткий? — терялись в догадках.

А в сущности-то говоря, некому и незачем ходить было.

И вот кто-то ходил, кому-то надобилось, и Бог знает, для чего в такой жуткий полуночный час.

Слышал шаги Миша, слышала Веточка, слышала сама Миропия Алексеевна.

— Воры?

— Какие же воры! Все было цело-целехонько, и хоть бы шпилька с пола пропала.

— Прислуга?

— И опять нет, — ну, зачем прислуге таскаться в такой час и в таком непоказанном месте? — прислуге ночью не до гулянок! И притом всех спрашивали, и даже не один раз, и никто, конечно, не знает, и не ходил, и не слыхал, — спят крепко.

— Может, у вас в коридоре такое место? — пытались сочувствующие деликатно разрешить ерыгинское недоумение и уж сразу покончить со всякой таинственностью.

— Ничего подобного! — даже обижалась Миропия Алексеевна.

Ее хоть и больше всех беспокоили эти шаги, нарушавшие долголетний мир ее ладной дачи, но такое чересчур житейское объяснение ведь не оставляло ровно ничего от всей таинственности, как-никак, а события знаменательного.

Петр Иванович, гостивший на даче у Ерыгиных, ничего не слышал, никаких таинственных, ни нетаинственных шагов, не слышала и Павочка, двоюродная сестра Ерыгиных, тоже гостившая в Павловске.

Но и Петр Иванович и Павочка так же мало были к шагам причастны, как и сама Миропия Алексеевна.

— Кто же?

— Кто ходил ночью по коридору?

— Это ты, Миша? — решилась-таки из последнего своего отчаяния бедная Миропия Алексеевна спросить сына.

Может, Миша подтрунивает над нею и над всеми?

Миша непременно бы обиделся, будь с его стороны и вправду хоть что-нибудь нечисто, но тут и по правде все было начистоту: он и не думал ходить по ночам пугать дом, он себе сам ломал голову не меньше самой Миропии Алексеевны, и не меньше Миропии Алексеевны ему самому хотелось дознаться, разрешить наконец эту ничем необъяснимую таинственность.

А ведь быть того не может, чтобы не было виноватого!

— Да позвольте, — нашлась Веточка, — Веточка за зиму начиталась всяких книжек о всяких таинственностях, и ответ у нее был готов, — да все это очень просто: это астральное тело ходит!

— Астральное?

— Конечно, астральное, а больше некому.

Веточка была права.

И все с Веточкой согласились, и на некоторое время о шагах как будто и забылось.

Но это не так: чем ближе подходил вечер, а за вечером белая ночь, тем вспоминались шаги больше, и уж никакой и самый из всех самый правдоподобный ответ не мог успокоить.

И пусть ходило астральное тело, но чье?

Кому оно принадлежало?

Кто ходил?

— Чьи же шаги? — спрашивала Миропия Алексеевна и от своего вопроса впадала в еще большее беспокойство.

И какими невозвратно-счастливыми, какими невозможно-приятными представлялись ей все те прошлые дни — начало Павловского лета, и она, избеспокоившись, уж решалась просто сняться с насиженного летнего своего гнездышка и по-осеннему вернуться в Петербург на свою зимнюю Французскую набережную, — она не могла больше слышать из ночи в ночь

повторяющихся, ничем необъяснимых, полуночных шагов. А Миша свое думал. «Вот подкараулю, — думал Миша, — внезапно настигну, хвать — и поймаю с поличным!»

С тем Миша и ложился, с этой хватальной мыслью, и когда подходил час астральных шагов, эта хватальная ночная мысль не покидала его, но он не вставал, а с замиравшим сердцем прислушивался, потом, овладев собой, закуривал папироску и курил, пока не затихало.

Услышал наконец шаги и Петр Иванович. Услышала наконец шаги и Павочка. Павочке было очень страшно, но любопытство в ней загорелось сильнее страха.

А Петр Иванович сперва проверил: слышит он или так ему кажется?

И для этого, хоть и белая ночь, зажег свечку. И оказалось, точно слышит: кто-то ходил по коридору, — слышит, слух его не обманывал. Конечно, никакое астральное, а самое настоящее осязаемое тело о двух человеческих ногах, и не мертвое.

Таинственные явления допускал Петр Иванович исключительно и только в крещенские вечера, а кроме того, держался того убеждения, что вообще мертвое тело ходить и говорить не может.

*

После завтрака, когда Петр Иванович по обыкновению вышел прогуляться в парк, а Ерыгины остались одни, и сама собой и Миропию Алексеевну, и Мишу, и Веточку, и Павочку — всех занимал единственный теперь вопрос о шагах.

— А я знаю, — сказала Павочка, — кто ходит!

В другое бы время никто на Павочку и не обратил внимания, но тут ловили всякую разгадку, и все, как один, отозвались:

— Ну, кто же?

— Да Петр Иванович! — улыбалась Павочка алым ротиком.

— Что за вздор! Петр Иванович...

— Да ведь он же лунатик!

— Лунатик?

— Конечно, — улыбалась Павочка, — и глаза у него лунатические.

А перед обедом к Миропии Алексеевне заходила экономка Оня, женщина хоть и под пятьдесят, а с большой игрою.

И шепталась с Миропией Алексеевной не о пьющем поваре, а о проклятых полуночных шагах — их уж все нынче слышат, вся прислуга и даже сам пьющий Семен-повар.

И думает она на барина, что чужой это барин, никому другому.

— Очень они молчаливы, — шептала Оня, — и говорят тихо!

И за обедом все особенное обратили внимание на Петра Ивановича, на его глаза особенно.

И хотя глаза Петра Ивановича, если уж по правде сказать, ничем особенным и не выдавались — ни выпуклостью своей, ни ресницами — сомнения ни у кого не было, что глаза лунатические.

А вместе с глазами поставлено ему был на вид и молчаливость его и его необыкновенно тихий голос.

Конечно, Петр Иванович — лунатик, и, конечно, это он ходит ночью, — тут и говорить нечего, и спору нет.

И уж как последнее и самое веское доказательство, принято было во внимание и то обстоятельство, что ведь только один Петр Иванович шагов не слышал, когда весь дом, все слышали, и даже пьющий Семен-повар, а потому не слышал, ну, потому, что сам и ходил.

И, надо сказать правду, тут Петр Иванович сам в грех ввел: и почему ни словом не обмолвиться хотя бы о своих ночных проверках? И когда заходила речь о догадках, небось, сидел, словно воды в рот набрал! А раз так — пеняй на себя.

*

С этих пор отношение к Петру Ивановичу естественно изменилось.

При нем держались как-то навытяжку, неестественно, стали к нему необыкновенно внимательны, а посматривали очень не без тревоги.

Лунатик ведь не только может ходить по коридору в непоказанные часы, лунатик может и не по коридору, а и по всяким местам прохаживаться опасным, — по карнизам; но это еще с полбеды, главное же то, что лунатик может такую штуку выкинуть самую неожиданную, какое угодно преступление и самое зверское совершить может в своем лунатическом виде, и совсем безнаказанно.

Что говорить, положение Ерыгиных, пригласивших к себе на дачу погостить такого странного страшного гостя, было не из завидных.

— А разве раньше-то за Петром Ивановичем никто-таки ничего такого не замечал?

— Никто ничего, даже и думать-то не думали.

— Как же так?

— Да так, видно, случая не было.

Больше всех упрекала себя Миропия Алексеевна за свою оплошность — она и пригласила Петра Ивановича, и она же первая всем и каждому его расхваливала, его скромную молчаливость и особенный, действующий благоприятно на нервы, успокаивающий его голос!

И встревоженные глаза ее выдавали.

Не отличавшийся особо выдающимся чутьем и проникновением, Петр Иванович понять хоть и ничего не понял, однако забеспокоился.

И еще больше забеспокоился, когда заметил, что с некоторых пор при его появлении как-то загадочно примолкали и уж очень усиленно справлялись о здоровье, и притом у всех было в глазах что-то и участливое, а вместе и тревожное.

И все это в конце концов приписал Петр Иванович угнетающим ночным шагам, о которых, само собой, продолжал из деликатности отмалчиваться.

«Конечно, перед ним, как гостем, Ерыгиным было неловко, вот они и старались как-нибудь да загладить эту свою неловкость!»

Так соображал Петр Иванович.

Но соображение это мало в чем примирило его.

Он беспокоился, он, как и все в доме, ночь спал плохо, он все прислушивался, его, как и всех, шаги изводили, и, как всех, заполняла одна хватальная мысль:

подкараулить виновника, если таковой действительно имел образ человеческий, т. е., пару ног, пару рук обязательно, и венец — голову, да подкараулив, и поймать.

*

А в то же самое время Ерыгины и с ними Павочка положили свое твердое и неизменное решение, уж во что бы то ни стало, а подкараулить... Петра Ивановича.

И в дом вошло что-то заговорщицкое, подозрительное, наступило какое-то осадное положение:

что-то очень уж все молчаливы стали, рано стали расходиться по своим комнатам и затихать как-то особенно, подозрительно, и хоть спать и ложились, но и бесчувственный почувствовал бы, что никто и не собирался спать.

Если бы только знал Петр Иванович, что все дело в нем, что подозревают его, да уж не то, что подозревают, а уверены в хождении его ночном, — да он вопреки всей своей молчаливости и замиравшему, действующему благоприятно на нервы, успокаивающему голосу, нашел бы в себе и вопиющий глас и разговорность щечилы.

Но откуда ему что́ знать?

И, улегшись в постель и на минуту замечтав о тихом летнем сне, он вдруг поднялся и притаился у двери.

И в то же самое время соседи его, тоже бесполезно провалявшись в кроватях с отчаянной мыслью о сне приятном, поднялись к своим дверям на караул —

И вот около полночи послышались шаги...

И не одно сердце упало от нетерпения.

Петр Иванович, по собственному его наблюдению, раньше других услышал шаги: он услышал их еще издалека от окна, широкие медвежьи.

И тотчас выскочил в коридор —

И никакое астральное, никакое тело мертвое — здоровенный парнюга, новый ерыгинский садовник Григорий пробирался по коридору к комнате экономки Они, вот кто!

И быть бы бычку на веревочке, уж готов был Петр Иванович сцапать Григория и вдруг, как вкопанный, стал:

прямо против него в таком же ночном, как и он, виде, стояла у своей двери Павочка, раскрыв свой алый ротик.

*

Никаких таинственных историй Петр Иванович за собой не знал, если не считать единственного случая, оставшегося памятным ему и через много лет.

Однажды вечером — это было в Чернигове летом — Петр Иванович попал на ярмарку и, переходя от одной палатки к другой и рассматривая всякие ярмарочные диковинки, дошел до цыган.

У палаток чадили костры, видно было, уж готовились на ночлег. И он пожалел, что поздно: песен ему не послушать и на цыган не поглазеть.

И вдруг увидел перед собой цыганку, — она перед ним точно из-под земли выросла:

— Дай твою руку!

И так это неожиданно, что Петр Иванович готов был не одну, а обе руки отдать в темную цыганскую руку.

Что-то приговаривая, чего и не поймешь никак, цыганка потянула его руку к себе — к груди, увешанной золотом, и выше, к подбородку.

А лицо ее — лицо ее чем-то жуткое, словно выточенное — и ничем не возьмешь и ничем не покоришь, как восковой, мертвый лоб, а глаза ее непреклонные, она глядела в упор, не на руку — она его и руку взяла, чтобы только мучить в своей руке, довести до губ и отпустить.

Измученный, стоял он...

Или так всю жизнь и стоять бы ему, или уж вырваться, затеряться в подвыпившей ярмарочной толпе?

— Позолоти ручку! Позолоти ручку! — настойчиво повторяла она и безусловно.

И отпускала его руку, и опять подводила к губам, чуть-чуть касалась губами.

И никуда он не убежал, а полез в карман за кошельком.

И когда звякнуло серебро, — цыганята, цыганки, и молодые и старые, почуя добычу, повыскакали из палаток и, галдя и гакая, навалились на него и чьи-то крепкие руки и теплые обняли его сзади.

— Хочешь, я тебе на двенадцать жил пропляшу? Хочешь? — дула в ухо цыганка.

Но он не видел ее, он только ту видел, свою, неподступную и непокоримую, свою Машу.

Вот единственный случай таинственный: цыганка Маша.

И теперь, когда в доме всякие шаги утихли, а от тех изводящих и следа не осталось, Петр Иванович, засыпая, почему-то

вспомнил этот таинственный свой случай, свою цыганку Машу, ее непреклонные глаза и она такая одна, ни на кого не похожая, Маша слилась в его воображении с Павочкой, розовенькой и курносенькой, с милым знамечком и алым ротиком, — и Бог знает, о чем замечталось Петру Ивановичу.

Ему хотелось, чтобы и опять услышать полуночные шаги и опять встретить Павочку, как стояла она в коридоре у своей двери с раскрытым алым ротиком!

И только под утро, совсем размечтавшись, заснул сладко Петр Иванович, а снилась ему канитель и чепуха всякая —

снился экзамен по математике: вынимает он из кучки билеты, а билеты будто все листы ветчинные.

Не ветчинные листы — билеты, свое снилось Павочке и такое леньливое:

ей снился мохнатый бок, серый, светящийся — спрячется и покажется, а ни головы, ни передка, ни задних ног, один этот бок, серый, светящийся — спрячется и покажется.

И проснулась Павочка, день уж стал, а ей хотелось и еще поваляться, потянуться, помечтать о чем-то.

И она вспомнила о Петре Ивановиче.

Вот интересно!

Вот и ей пришлось увидеть: лунатик настоящий, может прохаживаться по всяким опасным местам, — по карнизам, и вовсе не страшно!

Вот будет интересно!

И она скоренько поднялась.

*

А еще с утра, когда все спали, Миропия Алексеевна творила суд и расправу.

Повинилась экономка Оня: она и сама не знает, что у нее в голове.

И садовник повинился Григорий: погубила его Анисья Семеновна!

Так все было выведено на чистую воду, — Миропия Алексеевна осталась очень довольна и всем простила.

И хотя теперь все было ясно, и о таинственности не могло быть и речи, а стало-быть, и подозрения всякие о лунатическом хождении Петра Ивановича сами собой пали, — убедить Павочку, что это так, а не этак, было невозможно.

И для Павочки навсегда остался лунатик —
Петр Иванович — лунатик!

Павловская дача к концу лета осиротела.

Ерыгины уехали в Карлсбад и с ними Павочка, а Петр Иванович в Петербург переехал к себе на Пушкинскую.

Петр Иванович служил в комиссии по реформе обмундирования, — место благополучное, служба спокойная.

В подчинении сидели у него всякие писцы, а начальником над ним был совет из генералов, генералы собирались не очень часто, командой не докучали.

Летом бывало и совсем тихо:

летом, как известно, отдыхать полагается, сил на зиму набираться — дело не убежит!

Летом разъезжались генералы кто на дачу, кто в имение, кто на воды лечиться, и один оставался Петр Иванович.

В будний день после занятий Петр Иванович обедал, потом, отдохнув, шел гулять и, нагулявшись, заходил куда-нибудь в кофейню и там в кофейне просиживал до глубокого вечера.

В воскресенье и в праздник он ходил по гостям: знакомых домов ему хватало на месяц.

Петра Ивановича вообще любили и за его тихость и за его действующий благоприятно на нервы успокаивающий голос:

когда он говорил, он словно умирал — чего-ж успокоительней! — кто-кто, а помирающий ни взволновать, ни раздражить не может, это живой — смутьян, пила и досада!

И внешность у Петра Ивановича внушала доверие: это не какой-нибудь бритый, не поймешь, кто, — носил Петр Иванович бороду, а борода — кому-ж не знать! —

— Борода есть священное украшение мужчины.

В известные сроки Петр Иванович отдавался своим нетихим секретным привычкам: вечером из кофейной шел он не прямо по Невскому на свою Пушкинскую, а обходной дорогой — по Садовой, потом выходил на Вознесенский...

И Бог знает почему вспоминалась ему всякий раз Маша-цыганка.

И уж на следующий день после гульной ночи бывал он необыкновенно в добром духе, и от этой доброты что ли, его наполнявшей, или еще от чего, он тихонечко напевал.

Не тихие секретные привычки были теперь от него далеки: он даже и представить себе не мог, как бы это так вышел он на Вознесенский. И Маша ему не вспоминалась. Одна единственная была в его мыслях Павочка —

Павочка не выходила из головы —

И он повторял ее имя:

— Павочка, любилочка моя!

Подымался он, как пьяный, хотя пить и ничего не пил, курить — курил, был грех, и курил больше, чем всегда, но не от курева же пьянел? — от чувств, от любви.

— Павочка, любилочка моя!

Ляжет, возьмет книгу на сон грядущий, — прежде, бывало, с книжкой как засыпал он дружно, и чем интереснее была книга, тем дружнее сон нагоняла, а вот и книга не помогает, да и не до книги ему, и лежит ночь без сна с открытыми глазами.

— Павочка, любилочка моя!

И это чувство знойным голосом Маши его томило.

Чего он хотел?

Да чтобы осень скорее, чтобы зима пришла и снег, — будет он часто бывать у Ерыгиных, снова увидит Павочку, он только и хочет видеть Павочку.

Чувство его было так полно, до самых краев.

И при всей своей молчаливости Петр Иванович рвался кому-нибудь открыться, ну хоть намеком намекнуть, хоть полусловом сказать, имя повторить любимое — Павочки.

А таким другом сердечным и попался ему Корявка.

*

Корявка служил в сенатском архиве и был там единственным чиновником.

И службы у него собственно никакой не было: архивных дел не спрашивали.

И только с учреждением комиссии один из начальников Петра Ивановича, старичок-генерал, любитель отечественной истории, стал требовать старые дела. Правда, деятельность эта длилась не очень долго — надоело ли старику, или время не по-

зволяло, но еще весной поручил генерал всю подготовку дел Петру Ивановичу.

С единственным Петром Ивановичем Корявка и входил в деловое общение: для него и дела заготовлял, от него же и обратно их принимал в архив и, скажу уж, частенько неприкосновенные.

Службу свою Корявка считал безнадежной: повышения он себе не мог ждать — повышать и некуда было, да и прибавки ему никакой не полагалось — оклад раз навсегда утвержден.

И, сидя за пустым столом, в одиночку, без всякого дела и безнадежно, Корявка предавался мудрованию.

И, конечно, лучшего собеседника Петр Иванович и не мог найти.

*

Была та же изводящая скука, без которой немыслимо себе представить прославленного курорта — Карловых Вар.

Миропия Алексеевна, проходившая курс карлсбадского лечения, целый день занята была всякими источниками, ваннами и лежанием с грязевым мешком, но Павочка, которой волей-неволей пришлось подчиниться общему режиму и даже ни свет, ни заря подыматься, первое время очень приуныла.

И ее нисколько не занимали чудесные рассказы о чудодейственных источниках — пьющие целебную воду будто бы теряли в весе чуть ли не по пуду ежедневно! — и не менее чудесная повесть о Петре, как Петр, будучи в Карлсбаде, высиживал в огненной шпруделевой ванне ни много, ни мало круглые сутки, тем и лечился; ее не удивлял и старый еврей — карлсбадское чудо — вот уже пятнадцать лет выпивавший этого шпруделя по шестьдесят стаканов в сутки и без всякого стеснения; она скучала от пуповской музыки, симфонических концертов и гранатных магазинов.

Все, кроме нее, дрожали над своими кружками, и в этих кружках было все.

Но, для Павочки, хоть и в последнюю неделю, а нашлось развлечение; появились родственники и знакомые, и притом такие, как и Павочка, приехавшие не совсем для лечения, и уж восхищающихся оказалось столько, сколько и не мечталось.

А ведь для Павочки в этом была своя кружка, и большого развлечения ей не понадобилось.

А что же Петр Иванович, так-таки она его и забыла?

Ну, зачем забывать? — ничуть. Все-таки поклонники ее были самыми обыкновенными поклонниками, а Петр Иванович — лунатик, она этого не могла забыть, она его не забыла.

Но и не вспоминала.

*

Когда Павочка была гимназисткой, она водила за собой целую стаю...

И кто только в нее не влюблялся!

Да и невозможно было пройти равнодушно — одно ее личико в таком нежном, тонком пушку, а вздернутый носик такой задорный, и знамечко тут на шейке, и коса до колен, и такая она вся румяная, летом от солнца, зимой от мороза, и такая радостная своей юной радостью и оттого, что хвост за нею влюбленный, и она во всех влюблена, и при том на все надо так выхитриться, чтобы не заметила ни классная дама, ни начальница.

Но это не все, — помните, как Павочка умела ходить?

Она как-то особенно, по своему переставляла ноги, думала: очень изящно, — возможно, и было изящно, только совсем это из другого.

Когда ей пришла в голову мысль ходить так особенно, так по-своему переступая, случилось на первых порах несчастье — она поскользнулась перед окнами своей симпатии-гимназиста и упала в лужу; еще слава Богу, что отделалась слезами, а могло бы кончиться чем и похуже.

Теперь-то, будьте покойны, не поскользнется, а иначе и ходить не может, как только так, так переступая по-своему. И от этой рискованной ее походки поклонников у нее еще прибыло.

Каждый гимназист обязан был дать ей свой серебряный герб, и с какой радостью показывала она полную шкатулку, и, кажется, не было герба, который не считал бы своим счастьем попасть в Павочкину шкатулку!

Подруги Павочку любили. Павочка и веселая, Павочка и певунья, Павочка и проказница — и рассмешит и чем угодно представится!

Всякий день перед уроками собираются гимназистки в большую залу на молитву, Павочка — с камертоном, она дает тон и управляет хором:

она ударит камертоном себе по пальцу, поднесет к уху, пропоет тихонько: доля-фа! — и начинают «Отче наш»; и опять ударит камертоном себя по руке, поднесет к уху и уж пропоет тихонько: рэ-си-соль! — и хор поет «Преблагий Господи!»

Павочка управляет и в то же время строит самые такие рожи и подсмеивается, смешит хор — ей-то ничего, она спиной стоит к начальнице, это хор у всех на глазах! — и она, знай, смешит, и тогда смешит, когда и управлять не надо — в конце молитвы.

Затем, обернувшись к иконе, истово крестится и кланяется низко, а за то и считает ее начальница благочестивой.

И всякое воскресенье по тому же благочестию своему Павочка ходила в гимназическую церковь — ей было весело переглядываться и перемигиваться с гимназистами.

А как приятно видеть столько, столько восхищенных глаз!

Павочка любила кружить и кружила.

Но трагических происшествий от этих кружений никаких не бывало: под поезд никто не ложился.

С Павочкой бывало весело, с Павочкой не соскучишься, а надоест — уходи, твое место пустовать не будет.

И тебя не вспомнят...

*

Если бы только знал Петр Иванович! Но куда ему что знать, — он был полон самых радужных надежд.

С Корявкой, теперь неразлучным, он строил счастливые планы, как женится, конечно, на Павочке, и как наступит у них райская семейная жизнь.

Он присмотрел квартиру, и не по газетному объявлению и не через контору, а по своему глазу и на свой вкус вместе с Корявкой, присмотрел очень подходящую в новом достраивающемся доме на Каменностровском: тут им будет и к островам поближе и к Ботаническому саду, а мостов ни он, ни Павочка не боятся, это Корявка боится.

Ну, ничего, Корявка перебоится, — и все обойдется. Притом же Корявка не всякий день, а лишь по праздникам будет приходить к ним на Каменностровский обедать.

Присмотрел и обстановку — было бы благоразумней загодя теперь же все и купить, а то осенью и цены подымутся, осенью всякому нужно, и цена кусается, да так и хотел сделать, но Корявка отсоветовал:

будто бы где-то на углу Симеоновской и лучшую и дешевле можно будет купить впоследствии.

Этот Корявка!

Выбрал обручальные кольца и заказал себе перстень: будет фамильным — на трое колот, на четверо строган и золотом наливан, — вот какой!

А Корявке посулил часы с кукушкой — заветная мечта Корявки!

Всякий день, возвращаясь со службы, заходил Петр Иванович на Французскую набережную справиться, нет ли каких вестей?

В свою очередь, и Корявка ежедневно справлялся.

Вести были самые благоприятные: скоро!

Частенько Петр Иванович писал Павочке письма. Но ответа не получал.

Или не доходили его письма?

Безответность начинала смущать.

Но утешил Корявка.

Корявка все знает и не такой, чтобы сказать нитунис.

Во-первых, что сановники, что дамы, и не обязаны отвечать, — это правило вывел Корявка из опыта великих людей и, должно быть, из собственного...

О сановниках я не знаю, что же касается дам — клевета. Ибо нет на свете такого Корявки, который не получил бы оть дамы и не один, а дюжину самых сердечных ответов.

Ну, ладно, а, во-вторых, какие же могли быть от Павочки ответы, когда все было ясно!

*

Если бы только знал Петр Иванович...

Павочка его даже и не вспоминает!

У нее столько теперь, столько всяких новых поклонников, о ком она хоть одну минуту подумать соберется — они с нею,

близко, их она видит, а ведь Петр Иванович, Бог знает где, так от нее далеко. А так на расстоянии она не привыкла и не может, — у нее такая уж душа близкая.

Конечно, она его никогда от себя не отгонит, в этом он может быть покоен.

Она не отгонит, если бы даже вдруг оказалось, что он и не лунатик: она никого от себя не отгоняет, и самому Корявке нашлось бы при ней место, и будь Корявка посмелее и решись, да она и о Корявке хоть и на одну минутку, а подумала б так.

Замуж, конечно, ни за Корявку, ни за Петра Ивановича Павочка не пойдет.

За Петра Ивановича замуж?!

Да и Миропия Алексеевна едва ли найдет подходящим, Миропия Алексеевна уж давно про себя решила, за кого ей Павочку выдать. И тут она не ошибается. Миропия Алексеевна племянницу свою, как родную дочь, любит, у Павочки отец умер, а мать ее в Орле с сыном, Павочка все у тетки, Павочка для Миропии Алексеевны, как своя.

«Павочка выйдет замуж, она будет блестящим украшением семейного очага!»

*

А ведь для Петра Ивановича... сами понимаете, как он ее любил! — эта любовь его к Павочке, по слову Корявки, как железо к магниту.

Вот он, в первый раз полюбивший, — и эта любовь не та... у цыганских палаток к Маше, — тут его словно связало, — больше! — срастило с нею, с существом ее, и он неразделен с нею, как неразделен еще не родившийся ребенок с матерью, и никакой оскорд, никакая секира не отсечет его, разве смерть?

Или и смерть тут не может, и с концом ничего не кончится?

— Алексей Тимофеевич, ты понимаешь?

Еще бы!

Не понять Корявке!

Корявка по его собственным тайным думам о себе был наполнен премудрости, — как злата и бисеру изнасыпан, и разумом смыслен! — Корявка мог становиться на всякую точку зрения и сочувствовать всяким чувствам, и самым противоположным.

— Вот вы и женитесь, Петр Иванович.

— У меня, Алексей Тимофеевич, такое чувство, будто всякий день Вербное воскресенье... Всякое утро я встаю с этим вербным чувством. А вот закрою глаза — и будто я где-то в саду: осень — последние цветы... георгины.

— Женитесь, Петр Иванович, деточки у вас пойдут.

Корявка, пряменький, маленький смотрел с восхищением.

— Назову я старшего Александром, а второго Святославом, а третьего...

— Маленькие толстенькие такие.

— А третья будет у меня дочка — Павочка. Я, Алексей Тимофеевич, верую в Бога. Бог меня любит! Вот я и не думал о таком счастье, а Бог и послал.

— Все от Бога, Петр Иванович.

— Старший, Александр, будет у меня богатырского сложения, вот какой!

— Александр Великий! — Корявка тянул себя за свою козью бородку, — и я, как Сенека, Петр Иванович, буду ему служить!

— То есть... как Гераклит.

— Сенека, Петр Иванович, — какой Гераклит! — всегда был Сенека, великий учитель. При святом князе Владимире — Нестор Летописец, при Петре Великом — Арап Петра Великого, при Александре Македонском Сенека находился.

— Будет он у меня министром, с докладом будет ездить к государю, а я так около с палочкой. Скажет он:

папа!

— Маленькие такие, толстенькие... Я деточек очень люблю, Петр Иванович.

— Со временем и тебя, Алексей Тимофеевич...

— Нет, Петр Иванович, скажу вам, как перед Богом, я жениться не думаю. Я так как-нибудь уж. Вы, Петр Иванович, человек сложный, вам все можно.

Корявка не хочет жениться! Удивительное дело!

И как так можно не хотеть жениться, когда вот он, Петр Иванович, только и думает об этом, только этого и ждет, только и видит себя...

— Нет, Алексей Тимофеевич, ты — ненормальный человек, тебя надо лечить, вот что!

Корявка хихикал.

Корявка все понимает.

Корявка соглашался.

Корявка понимал, что от любви дурного ничего не может выйти, и совет Петра Ивановича благой, и он готов идти к доктору лечиться.

Петр Иванович обалдевал.

Корявка поддавался.

Корявке тоже помечтать хотелось — служба ведь назначена ему была безнадежная, а жизнь, как служба.

И оба они дурачились.

— Ты меня, Алексей Тимофеевич, называй не Петр Иванович, а Балда Балдович, а я тебя Сенекой.

Пряменький, маленький Корявка важничал:

— Балда Балдович !

— Сенека!

И уж не Петр Иванович Галузин, — Балда Балдович, и не Корявка, а Сенека плутали по Петербургу.

И не поймешь со стороны, чего это их разбирает, — ну, один от любви, а другому что?

Странные вы, да ведь и Корявке, хоть он и все понимал, ему тоже хотелось любви.

*

И вот, из любви вышедшие на свет, зашатались по Петербургу Балда Балдович и Сенека. Любовь все сотворит, чего сердце захочет.

И однажды Корявка затащил Петра Ивановича на Лиговку к каким-то своим знакомым Грудинкиным и там Петр Иванович, не Петр Иванович, Балда Балдович, себе неверя, вдруг заговорил громко и лихо танцевал и был глагольлив, что вергаса, а Корявка, не Корявка, Сенека, к ужасу своему и против всякой воли, пел песни, и выходило ничего.

По утрам за чаем, читая газету, Петр Иванович бесполезно добивался, а понять все-таки никак не мог, как это возможно, чтобы кто-то кого-то убил или кто-то решился на самоубийство. И было ему непонятно, что люди ссорились и бранились, он больше не находил в себе другого чувства, кроме одного, — кроме любви.

И когда в архивной комнатенке он жаловался Корявке, что ничего не понимает и потерял нить событиям жизни, Корявка,

и сам понемножку терявший всякие нити, говорил восхищенно, с восхищением глядя на обалдевшего друга:

— Петр Иванович, — говорил с восхищением Корявка, — да ведь вы... несекомая пуповина мироздания! Петр Иванович! Я для вас такое сделаю, — во всех газетах напишут.

Всякому человеку надо, чтобы кто-нибудь им восхищался.

И эта страсть восхитительная есть в каждом.

А есть и другая... Есть такие, которым надо, и не могут они не восхищаться: восхищение — это их жизнь, это главное, без чего и жить не стоит.

Посмотрите в театрах, в собраниях, в аудиториях, сколько увидите этих восхищенных глаз, по призванию восхищенных, а все эти мироносицы с своим горящим неусталым огоньком, как часто оскорбленные и униженные, но преданные до гроба своему идолу.

Будь Корявка женщиной, записали бы его в мироносицы.

Я уже поминал о его непонятном за мной хождении и даже нехорошо обмолвился: подлец, — сказал я, — Корявка! — и это с сердца, поймите, ведь у меня с ним свои счеты, и я полагаю, что надувательство его, ей-Богу, такого стоит.

Но скажу правду, случись мне под клятвой свидетельствовать об Алексее Тимофеевиче, я бы дурного сказать ничего не нашел :

Алексей Тимофеевич, пока восхищение наполняло его сердце, бывал предан и верен, и можно было в чем угодно на него положиться, не выдаст... друг верный.

*

Корявка — человек недобычный, и служба его безнадежна.

И во всем в нем что-то безнадежное: вот и пряменький он, а сюртук — ворот сзади вечно углом торчит безнадежно. А с безнадежностью что-то и жалкое тут вот в этом углу, где сходятся глазные лучи и нос и губы.

Когда под вечер стоишь на людном перекрестке где-нибудь у Литейного на Невском и ждешь трамвая, Корявка переходит улицу, — и хоть пряменький и все на нем прилично и аккуратно, но и до жалости ветхо... зимняя эта шапка его барашковая — колом, я помню, еще когда говорил он мне, что двадцать

лет носить! — Корявка домой пробирается на свою Рождественскую, там у него и комната, — квартиру держать Корявке не по средствам. И мне всегда как-то жалко и как-то стыдно, что вот у тебя и галстук, как галстук, и ни в одной полоске добела не вытерт, и ты как-никак, а в лучших условиях, ну, хоть вечером самовар у тебя поет, и лампадка там тихо светится, ты в своем углу, а он — в полупроходной комнатенке, и вечные за стеною гости и разговоры и песни.

Я знаю, жалостью моей ничего не поправишь и никому от нее не станет легче, я знаю, я знаю — и не могу помириться, и мне всегда как-то стыдно... и так мне понятно, как это можно добровольно ото всего отказаться и добровольно себе приют найти на свалке, а последний приют — под забором.

Сюртук у Корявки не какой-нибудь, а на шелковой подкладке, подкладка — бахрома, Корявка подрезал и подшивал ее и выходило ничего: сюртук, как новенький; правда, поменьше бы глянца, но за то и времени ему, чуть что не ровесник шапке.

А скажу вам, хорошо приодеться, даже пофрантить Корявка куда был не прочь, и, рассматривая в «Ниве» картинки, подолгу останавливался на тех, где было много туалетов. И тут над картинками приходили ему всякие нарядные мечты: то в шикарного адвоката, то в английского лорда превращался Корявка.

И первое его восхищение Петром Ивановичем пошло именно от жилетки: жилетка Петра Ивановича показалась ему тогда ни с чем не сравнимой и, тонко надушенная лесной фиалкой, закружила голову.

По субботам Корявка ходил в баню.

И это был самый праздничный вечер — суббота.

В этот вечер и к его сердцу приливала страсть восхитительная: ему тоже хотелось, чтобы кто-нибудь посмотрел на него, — на него, на чистенького, так, как сам он умел смотреть. И нередко, за неимением двойника своего, сам он из ничего и выдумывал себе этот взгляд восхитительный.

Есть в жизни каждого русского человека один день такой в году — именины, когда полагается и даже против воли твоей, чтобы тобой повосхищались.

И с каким особенным чувством ждал Корявка своих именин.

Но это ли не безнадежная жизнь! — как на грех, и всегда-то поджидала его неудача.

Еще с детства, с тех еще незабываемых верных дней пошло так, что именины не в именины: слякоть, дождик, — какие же это именины!

Корявку погода очень обижала.

А потом, когда уж и незабываемое забылось, и не трогала никакая слякоть, все-то до последней грязиночки приберет, бывало, в своей комнате, накупит сластей всяких, наготовить поднос — не подымешь, а никто и не пожалует. И просидит так один весь вечер, по часточкам, не спеша, один сам все апельсины сесть. А то и придет какой Грудинкин, наскандальничает, и тоже нехорошо.

Именины — единственный день в году, это не будни, и именинник совсем особый от других, сам по себе.

И это должно быть всякому видно.

Но Корявка, покоряясь судьбе, сам ничего такого не выделывал, никакого безобразия для отлики именинного дня: он не напивался, как норовит другой на свои именины хоть напиться, или как этот Грудинкин, письмоводитель, этот такое придумал, ну, вместо того, чтобы там, где следует — пройти в нужное место — в день своего ангела никуда не выходил, а все это в комнатах жилых делал, нарочно.

Нет, Корявка единственно что позволял себе в свои именины, так это поспать подольше и явиться на службу с запозданием и так постараться пройти, чтобы обратить на себя внимание: пускай все догадаются, какой-такой день у него, и поздравят!

Увы, к огорчению именинника, догадываться — то догадывались, да только с большим запозданием!

После обеда Корявка ложился отдохнуть и долго рассматривал картинки и за картинками нарядно мечтал.

Нынче все мечты и думы Корявки были о Петре Ивановиче.

*

Ни с чем несообразная, выдуманная женитьба Петра Ивановича на Павочке — все летние их планы и предположения потерпели полную неудачу.

И дело приняло совсем другой оборот.

Ерыгины вернулись в Петербург на Воздвиженье.

Петр Иванович не замедлил, зачастил на Французскую набережную.

Но после каждого своего свидания с Павочкой возвращался к себе на Пушкинскую, повеся нос.

Павочка встречала его всегда радушно, — еще бы, и лунатик, и никто так не смотрел на нее, так восторженно, как Петр Иванович!

Когда же пробовал Петр Иванович заговаривать с нею о самом своем заветном, — о той тихой райской семейной жизни на Каменноостровском в новом, теперь уже отделанном доме, Павочка или ровно ничего не понимала, или представлялась, что не понимает:

она удивленно смотрела на него, раскрыв свой алый ротик, или отделывалась пустяками, или просто смеялась.

И в этом смехе, в болтовне и взгляде Петр Иванович чувствовал что-то оскорбительное — ведь так далеко ушел он с Корявкой в мечтах, а и тени подобия не было.

Но откуда он взял, что Павочка выйдет за него замуж?

Ниоткуда...

Только оскорбительно и больно ему было от ее взгляда, болтовни и смеха.

Товарищи Миши постоянно толклись у Ерыгиных.

И оскорбительно и больно было видеть Петру Ивановичу, что Павочка держалась с ними так же, как с ним, относилась к нему так же, как и к ним.

Но ведь так и всегда было.

Не замечал — —

Не замечал?

— Нет, все замечал, да мечты-то тогда не были так далеки!

И все-таки, как ни оскорбительно и как ни больно это, а выносимо.

*

С некоторых пор Петр Иванович совсем пришел в уныние:

с некоторых пор в разговорах неизменно стал поминаться какой-то доктор, и при этом какие-то таинственные перемигивания с Веточкой.

Кто же этот таинственный доктор? Уж не жених ли?

Сколько Петр Иванович ни расспрашивал и всякими намеками наводил, лишь бы дознаться правды, а добиться ничего не мог.

Павочка по пятницам ездила к доктору на прием, но никакого доктора, кроме старичка Александра Львовича, Петр Иванович у Ерыгиных не встречал.

И где живет этот доктор, жених?

Петр Иванович открылся во всем Корявке.

И Корявка взялся устроить дело: Корявка проследить квартиру доктора, пойдет к доктору на прием и убедится собственными глазами, так это или не так.

Об этом деле своем секретном Корявка и думал, перелистывая нарядные картинки.

Угодить Петру Ивановичу, помочь другу было для него выше и самой нарядной именинной мечты:

он уж согласен навсегда остаться Корявкой, тем самым пряменьким и жалким Корявкой, каким мы его все знаем, лишь бы Петр Иванович снова по-летнему ожил.

А куда ожить!

*

Петр Иванович, и совсем незаметно, все ближе подходил к самой настоящей правде. И эта правда убивала его, — он уж чувствовал свою ненужность.

Он вдруг почувствовал всем существом своим, что никому не нужен,

А потому не нужен, что ей не нужен.

А раньше?

Раньше не то... раньше он был нужен...

Как, разве она изменилась к нему?

Нисколько.

В чем же дело?

А вот в мечте его, в мечтах его — ведь мечты его были так далеки! — а на самом-то деле ничего такого не было, и все оставалось неизменно.

Петр Иванович теперь и сам понимал, что Павочка к нему нисколько не изменилась, что отношение ее к нему такое же,

какое было там, на даче, и что нужен он ей ничуть не больше и не меньше.

А чувствовал еще большую свою ненужность.

Он уж дня не мог прожить, чтобы не увидеть Павочки, а всякое свидание оставляло в его сердце одну боль.

Павочка танцевала, ей было приятно, и он хотел бы радоваться с нею, но она танцевала с другими, и ему было больно.

И когда в разговорах Павочка кого-нибудь хвалила, ему было больно.

Ему было больно от всякого ее взгляда, от всякого ее слова, от всякого ее движения, если ее взгляд, ее слова, ее движение относились не к нему, а к другим.

И чем дальше, тем больней, и чем дальше, тем неутолимей боль.

И он неизменно уносил эту боль. И лишь в редкие дни, когда у Ерыгиных никого не было, и Павочка занималась только с ним, он на время забывался, но и тут что-нибудь мешало: или перемигивания с Веточкой о докторе, или Павочка начнет вспоминать каких-нибудь своих поклонников, да мало ли что — мелочи, о которых часто не легко додуматься и при самом подозрительном желании.

Петр Иванович никогда не ходил по ресторанам, — теперь при всяком удобном случае тащил с собой Корявку. Пить он хоть и не пил, но кабацкая обстановка действовала, он выбирал рестораны с музыкой и всякие самарканды.

— Знаешь, Алексей Тимофеевич, хотел бы Машу встретить. И так просто посидеть с нею, поплакать. Жизнь моя загублена!

— Что вы, Петр Иванович, надо душой переболеть, надо горести принять — и тогда желание получите. Это всегда так. А почему так, и почему надо — неисповедимо.

— Да у меня свету нету, — понимаешь? И не виноват я перед нею.

— Жизнь, Петр Иванович, жестокая, а иго ее нелегкое. И если уж решать по-человеческому — и ключа не найти, — Корявка тянул себя за свою козью бородку, — а может, и совсем не жестокая, и не так это мы, Петр Иванович. Небесных слов не знаем, и все не так выходит.

— И она не виновата.

— Неисповедимо, Петр Иванович.

*

Корявка мог смыслить всякое дело и дать смыслен ответ, но и мудрования Корявкины не успокаивали Петра Ивановича.

Не успокоило его и открытие о таинственном докторе.

Доктор, к которому по пятницам ездила Павочка, действительно, по отзыву Корявки, оказался каким-то необыкновенным:

и красив, и ловок, да и брови без перерыва, словно углем намазаны, — это ли не красота? — и сам поспешный на все и живой необычайно, — лечит по косметической части, сбавляет вес и выводит усики, приемная ломится от дам, но жениться, как кажется, не собирается, притом же он семейный.

Эту тайну раскрыл Корявка.

— Семья в Москве.

Чего же еще? Дело ясное — выводит усики! И беспокоиться за Павочку тут совсем не годится: с усиками Павочка или без усиков — все Павочка!

Да за это и не беспокоился Петр Иванович, а только ему и покоя-то нигде не было.

Видно, боль прошла глубоко, и вот в душе столкнулся он с настоящею правдой.

Он не только не думал, как летом, как еще недавно, о женитьбе, куда там думать! — как теперь далек он был от своей мечты, и понял вдруг, что все-то он мечтал, — и одне мечты!

И это понял он сейчас, когда Корявка, довольный своими розысками, выкладывал с мельчайшими подробностями самые неожиданные свои заключения и обнадеживал Петра Ивановича в счастливой судьбе.

Не того хотел Петр Иванович.

Правда победила его мечту. Он принял эту правду.

И ему хотелось раз и навсегда высказаться, вывернуть перед ней всю свою душу.

«Он один — он это знает! — он один, который ее так любит, как никто не будет так любить, любит без всякой надежды, любит всем существом и готов для нее ее не видеть, не встречаться, он только ждать будет, чтобы увидеть... будет самый тихий, тише воды, и самый смирный, ниже травы, вечно покорный ее раб!»

*

После морозов наступила оттепель.

А за оттепелью дохнул ветер.

Где-то там зародившись меж Исландией и Англией на океане, через море, через скалы прилетел ветер.

Ветер, вихрясь, летал по улицам и, шалуя, набрасывался из переулков на прохожих, и шалый, несметный и жестокий вот разгулялся!

Ветер гулял по Петербургу.

И творилось Бог знает что.

К ночи собрал ветер всю свою силу — к ночи завихорил ветер в гульбе —

Или это ангел, водящий облаки, дух-ветер пустил с небесных улиц всю ветрову силу?

ветер! ветрило —

Ветер несметный, мало ему улиц, — дай, дай простору!

И рвет железо с крыш и труб, рвет швырком.

Ветер грозил, свистел.

Свист его — свист змеи, в сердце огонь, — клятвами не заклясть, искупа не дать, — и нет поруки.

Ему мало, ему тесно — дай, дай простору!

Не чужой, знает, при Петре, ой, как гулял — было в Санктпитирбурхе посвободней, а теперь в Петербурге ему тесно...

ветер! ветрило —

Ветер врывался в дома, свистел в окнах, свистом наполнял весь дом.

Или высвистывал, выманивал на волю погулять с ним по воле?

Ничего не страшно, и, сколько хочешь, пали из пушек, не угоняться!

Ему не страшно!

Ветер свистел, выговаривал, — речи его странны, нам незнаемы, — выговаривал, стучал железом, звонил в колокола.

Собирал ли колокольным звоном свою силу в свальный бой, или нас погулять выкликал — — в ночи на воле? Звонил в колокола, тушил фонари, дергал за телеграфный столб.

В его сердце горел огонь — о! гонь — —

ветер! ветрило —

Ветер, встав головой до звезд, зазвездный, ветер пустился от Знаменья через Аничков мост —

А кони его, — голуби, а в гривах перегудают звонцы, и белым огнем по пути жигал — и! — и — и!

ветер ! ветрило, — поми ! — и — луй !

На Неве вода подымалась.

Есть, по Корявке, три естества у воды: первое — мы по ней плаваем, второе — мы ею моемся, третье — мы ее пьем; а есть и четвертое — нас она топит.

На Неве вода подымалась.

И до каких краев дойдет, никто не знал, да и сама Нева не знала.

Уж ограда чернела близко.

К ограде вода подымалась —

*

На Французской набережной из окон от Ерыгиных все было видно.

Не тревога, вольница стояла в доме.

Миропия Алексеевна накануне уехала в Москву, оставалась одна молодежь. Были гости.

И ветер, как свой, выкликал из залы. Или это, вольный, в залу пустить просился...

Петр Иванович, решившийся в последний раз все высказать Павочке и клятву положивший на свою душу до смерти не видеться, не мог найти и минуты побыть с нею наедине.

И была по-прежнему боль от ее слов, от ее смеха, от ее взгляда, от ее движений.

И боль подымалась в его сердце, как вода на Неве.

И вот дошла, должно быть, до той самой гранитной ограды — и секнуло сердце.

Петр Иванович вдруг переменился и, тихий, пошел ходить по залу странно, словно танцуя.

Было весело и шумно.

До Петра Ивановича никому не было дела. Но Павочка его заметила —

Как странно, словно танцуя, ходил он по залу!

— Петр Иванович — лунатик, — сказала Павочка, — Петр Иванович что угодно может сделать. Петр Иванович, — позвала она, — подойдите, я вам что скажу!

Петр Иванович покорно подошел. Петр Иванович — лунатик, Павочка — луна!

— Петр Иванович сейчас такое сделает, этого никто не может!

Павочка кричала и прыгала от удовольствия.

— А что такое, что он сделает?

— А вот увидим.

Павочка тянула его к балкону. Надо растворить балкон и посмотреть, что там делается.

У! Как засвистит ветер —

ветер! ветрило —

Кто-то погасил электричество.

И на минуту в зале пробежал холодок.

И на минуту подумалось:

«может, ничего и не надо затевать, вернется Миропия Алексеевна, узнает, рассердится, или Веточка простудится!»

В темноте не растворялись двери: двери были замазаны крепко.

Зажгли электричество. И двери наконец поддались.

И с треском распахнулась дверь.

Ветер из всей своей силы дохнул в залу —

ветер! ветрило —

Не было сил устоять на воле.

Ветер гнал в комнаты.

И одной минуты нельзя было пробыть на балконе.

— Петр Иванович! — кричала Павочка и указывала ему на балкон.

И ее голос казался Ивану Александровичу сильнее и крепче самого ветра.

ветер! ветрило —

Петр Иванович покорно шел к балкону —

Петр Иванович лунатик, Павочка — луна!

Неопасливо шел, так и всюду пойдет, куда ему скажут, — куда ему она скажет.

Если бы только знал Корявка: Корявка превратился бы в Сенеку и остерег, отговорил бы своего друга, но Корявка, пригревшись под своей лысой енсткой, под свист ветра похрапывал мирно.

Петр Иванович — лунатик, Павочка — луна!

Петр Иванович все может, вот он может пройти по карнизу, и под любым ветром пройти по карнизу ему ничего не станет.

И двери за ним затворились.

На балконе в ветре он остался один.

ветер! ветрило —

*

Павочка бросилась к окну.

И через минуту ей в окне показалось лицо:

Петр Иванович шел по карнизу и вот дошел до окна и стал —

Из черной ветренной ночи глядело лицо.

В зале примолкло —

Лишь ветер струйкой бежал через балконную щель и свистел.

А в окне все стояло лицо.

И, как углем, обведены были ночью глаза.

«Он один — он это знает! — он один, который ее так любит, как никто не будет так любить, любит без всякой надежды, любит всем существом, и готов для нее ее не видеть, не встречаться, он только ждать будет, чтобы увидеть... и будет самый тихий, тише воды, и самый смирный, ниже травы, вечно покорный ее раб!»

Павочка закрылась рукой.

И в окне —

ветер! ветрило —

Там, за рамой, больше нет никого, а глядит одна вьюжная ночь.

*

Бедный Петр Иванович, конечно, где тут удержаться под таким ветром на таком узеньком карнизе!

Бедный Корявка, как-то проснется, как-то узнает, на кого будет восхищаться, где теперь его Балда Балдович — Петр Иванович Галузин?

Снились Корявке черти, по набережной будто скачут черти, как палочки черные, скачут черти, а вместо головы пол-шапки, и чертовка с чертями ходит, маленькая, немолодая, и сам главный Зефеус, бес белый, глаза белые...

— Мы тебя, Корявка, любить будем! — говорят черти.

— Полно, отпустите!

— Нет, не отпустим, не можем. Мы тебя любить будем!

— Петр Иванович!

И в последний раз ветер, взвинтив над Петербургом, улетел с своей силой в места непроходные:

там, на Печоре, вкруг Железных ворот, погулять ему.

*

С вихрем не нашим над нашей землей летел Петр Иванович, не Петр Иванович Галузин, душа человечья.

Третьи уж сутки, как сорвался с карниза, и летел и летел... не вверх, не вниз, не налево, не направо, а так, как летает душа человечья.

И видел Петр Иванович, — душа человечья, — без перерыву и Россию, все концы ее видел, и в то же время свою Пушкинскую квартиру с малиновой наклейкой на парадной двери о сдаче, и в то же время у стола над зеркальцем Корявку — Корявка трудился над и своей бороденкой, маленькими ножничками подстригал ее чисто, как бритвой: завтра в баню, завтра суббота! — и в то же время старичка генерала над архивным делом — это дело Петр Иванович с неделю как взял от Корявки для генерала. И видел то, чего никогда не видел, только хотелось увидеть — подъезжали министры с докладом и как все было не так, как он думал! — и себя увидел — да где же это он, Господи?

Венчик на лбу с тремя крестами: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!

И Павочку увидел, она у окна стояла, раскрыв свой алый ротик... близко, а не коснешься.

И смотрит и не видит.

И не сказать и не окликнуть.

И он в тосках заметался.

Откуда ему свет засветит, или откуда ему заря воссияет?

А мимо по стезям и дорогам другие проходили, претерпевшие в жизни —

В скорбях.

В бедах.

В теснотах.

В ранах.

В темницах.

В нестроениях.

В трудах.

В бдениях.

В очищениях.

В разуме.

В долготерпении.

В благости.

В Духе Святе.

В любви нелицемерной.

В словах истины.

В силе Божией —

По стезям и дорогам к Звезде Пресветлой.

И маленькие девочки в синих платьицах, сплетаясь ручками, друг за дружкой гуськом шли навстречу от Звезды Пресветлой.

Откуда ему свет засветит, или откуда ему заря воссияет?

Петр Иванович с болью рванулся от окна — оторваться не может.

Он ей завечен?

Завечен, — на весь век.

И смерть не отсекла?

Смерть никогда не отсекает.

Он рванулся и понял —

Он понял, что так все и нужно, и то, что было, и то, что есть, и то, что будет —

И тарабаниться нечего.
И повис...
Там, где мучатся души в тоске.

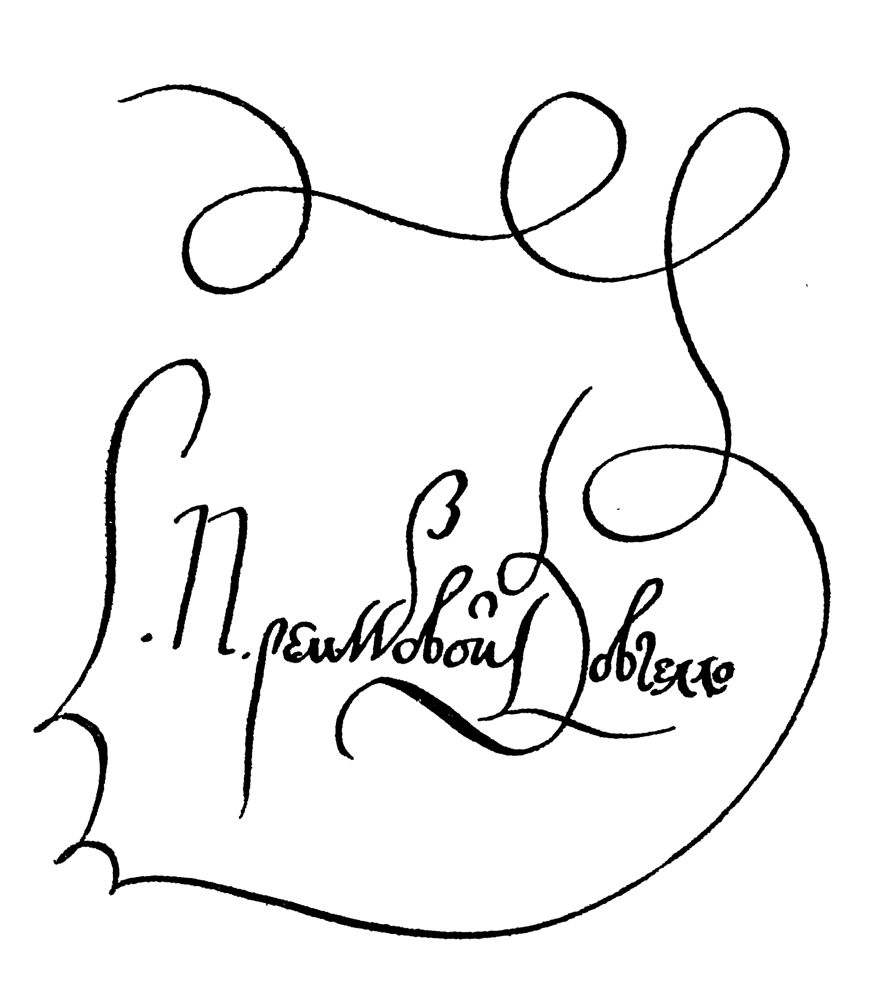
«Он один — он это знает! — он один, который ее так любит, как никто не будет так любить, любит без всякой надежды, любит всем существом и готов для нее ее не видеть, не встречаться, он только ждать будет, чтобы увидеть... и будет самый тихий, тише воды, и самый смирный, ниже травы, вечно покорный ее раб!»

1914–1922

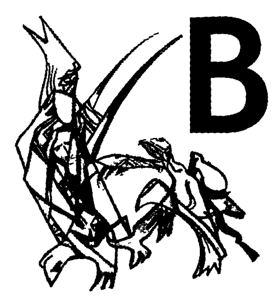
ПО КАРНИЗАМ

Повесть





КАРНИЗЫ



В детстве я не читал книг. И, когда мои сверстники зачитывались Майн-Ридом, Купером, Жюль Верном, я не прочитал ни строчки. Потом — в тринадцать лет у меня все изменилось и я не мог понять, что было раньше; я жил какой-то своей жизнью.

«Книгу читают от тяжелой жизни!» — так бы теперь сказал, но тогда не говорил, но чувство такое было.

«А почему Майн-Рид, Купер — — ?» — «Да жизнь бедная и надо же заполнить, и вот читают!» — так сказал бы теперь. Стало быть, книга — или «чтобы забыться» или «заполнить». А мне ничего этого не нужно. Жизнь у меня была богатая, все минуты разобраны, дела всякие — теперь я не понимаю, зачем и для чего все это мне надобилось?

Из трех моих братьев — двое лунатики. Наши комнаты в мезонине, и в окнах на лето деревянные решетки, только руку просунуть. В лунные ночи лунатики вылезали из окна и ходили по карнизу. (Для них потом и решетки выдумали!) Самое жуткое: встреча двух с протянутыми руками. Им-то ничего (им и так и в воздухе — их луна поддерживает!), но со стороны смотреть очень жутко. А я и не лунатик, и не во сне, и не в луну, я искал головокружительных карнизов.

«Не лазьте на курятник, крыша сгнила, провалишься ногой!» — слышу, а сам жду

случая и, когда никого нет, обязательно на курятник. Тоже и с лестницами: была одна лестница — на случай пожара! — у фабричного корпуса. Третий этаж — для меня тогда очень высоко! Лестница деревянная, когда-то выкрашенная в белую краску, сквозь вылезы видно. Если бы и не говорили, сразу видно, лестница трухлявая, и не выдержит не только сапога, птица не садилась. И я по ней лазил и с каким-то упоением: вот рухнет, и я сорвусь! Тоже когда катались на лодке, я всегда норовил так сесть, чтобы лодка опрокинулась. Или — на глубоком месте — перегнусь нарочно, чтобы цветок сорвать. «По железнодорожным путям ходить строго воспрещается» — ясно. Я подбирал себе товарищей, и мы ходили там, где это написано: и выбираем скрещения, где паровозы маневрируют, чтобы паром шибало, и не знать, куда сунуться. Тоже когда мчатся пожарные, и дорога свертывается на тротуар — опять же стаей мы переходим улицу. «Что будет, если задавит, или сорвусь, или опрокинется лодка, или попаду под колеса, или будет что, если — — ?» Так сказалось бы теперь это чувство, тот необыкновенный трепет, какой охватывал меня в опаснейших местах, на лестнице, между паровозами, перед пожарными и на глубоких местах — «по карнизам».

Непохожая жизнь моя шла по карнизам — путям обыкновенным для лунатика, и головокружительная для «нормального» человека, каким я был и есть вопреки свидетельству докторов и доброжелателей.

Самое гибельное для лунатика окрик: проснется, и уж не сдобровать! Так и со мной, нелунатиком, случилось на моих карнизах: меня окрикнули, и я как проснулся, меня окрикнула — (мысль?) — «для чего и зачем?» — и я проснулся. Но как это страшно — проснуться, стоя с протянутыми руками на карнизе!

Однажды летом в воскресенье, вскоре после экзаменов, сговорился я с одним одноклассником: Помялов знаете? — а соединяли нас ошибки — я делал одни ошибки, а он как-раз противоположные — «Pomialowische Fehler» и «Remisowische Fehler», а кроме того обоим нам переэкзаменовка по русскому. Собрался я к нему в гости. А жил он за мостом через Москва-реку, сейчас же после Люблина: кирпичнын завод Помялова и Пойманова. Ранним утром приехал я из Москвы в Люблино и пошел

по путям. Через мост ходить воспрещается, но никого ведь не было, и я пошел.

Раньше, когда случалось переходить такие мосты, я видел доску, по которой ступал, но щелей между досками что-то не помню, и никогда, само собой, ни в какую щель не заглядывал — — совсем неожиданно, а отошел я порядочно, навстречу мне поезд. Я не понимаю (ведь я не лунатик!), и как это не кувыркнулся я в воду, так меня обдало и садануло, но это мне отчетливо, что когда отстучали колеса, а колес было бесконечно! и я остался один на мосту, я увидел под ногами щели и в щелях между досками воду — и не могу не смотреть вниз, не могу оторваться и едва передвигаю ноги.

Я как проснулся.

И вот, что получилось! Каждое утро я ходил в училище через соседний двор, на дворе было много собак, и никогда меня собаки не трогали, а теперь проходу нет: целой сворой, маленькие такие, а очень кусаются, и как завидят, и на меня. Я не отбивался, не бегал, с упавшим сердцем я едва передвигал ноги, как там на мосту после встречи, и с ужасом, что завтра случится тоже. Переходя улицу, теперь я стал озираться, я шарахался под окрик извозчиков, а лестниц — с которых падают! — я не замечал, нет, я боялся даже глядеть на них.

Я — «перешел мост» и попал совсем на другую землю!

* *
*

Неподалеку от нас жил старик немец, учитель гимнастики. Гимнастики он никого не учил, а собирал бабочек. Днем и вечером можно было его встретить с сачком и коробкой: он ходил вдоль заборов, высматривал, не сидит ли где, приклеилась бабочка? (Кругом сады: Хлудовский, Найденовых, Ворониных). А вернется домой и распределяет — накалывает по коробкам в гнездышки: коробок — стена! Коробки из-под сигар. Эфир и сигары — пропитана вся комната. Он собирал московских бабочек — и все, всяких видов, бабочки у него были в коллекции, одной не было: и мечта его была найти этого махаона! Но где в Москве махаоны?! И если уж искать, так поезжай куда в Серпухов или в Подольск. Старик никуда не выезжал. После вечернего обхода, когда он зажжет лампу и, подвязав себе над

глазами зеленый абажур, садится к столу: травя эфиром, накалывает бабочек на булавки по коробкам или выпиливает и клеит — в комнате пробуждается особенная жизнь, глазатая стрекозьим глазом, а цепкая рогатым жуком — оленем.

Редкий вечер я не бегал к старику. Я знал всех московских бабочек, и с какой-то болью (раньше я никогда такого не испытывал) я стал мечтать вместе с ним о махаоне: непременно найти в Москве махаона. Нагнувшись над какой-нибудь пепельной бабочкой, старик из-под зеленого абажура медленно рассказывал о махаоне — необыкновенной, неуловимой бабочке: «по желтому синее, и алое у тельца». Особенно, когда ходят тучи — гроза ночью будет! — комната с бабочками превращается в живую, и этот запах — коробки из-под сигар и эфир — дыхание этой жизни и мечта этой жизни «махаон» резки и ярки.

В глубокий вечер темнее, чем всегда — ходили тучи — я вернулся от старика, у нас — к воротам пришла какая-то женщина: дворник позвал — «сидит на лавке и молчит». Мы все сейчас же бросились за ворота посмотреть: сидит, видим, и как глухая, а не глухая, это чувствуется, просто отвечать не хочет, и смотрит, а словно и не видит. Приставали с вопросами, да зря все, а уж ночь, что с ней делать? Дворник был рассудительный: нельзя так бросить на ночь, может, и помешанная, из больницы ушла, мало ли, грех, и в часть заберут.

«А то и на булавку!» — я это хорошо запомнил, дворник сказал со смехом, теперь-то я понимаю, но тогда только запомнилось: «на булавку».

А может, послышалось: мое увлечение бабочками!

Пошла она в дворницкую. Дворницкая большая. Сбегали мы домой, принесли чаю, сахару, хлеба. Поставили самовар. Сели с ней к столу, чаем угощаем, хлебом — а она, как села, смотрит, не видит, а то как очнется, и жалобно скользнет — ищет глазами, и опять застыла. Один дворник за воротами, другой на полатях на овчинном тулупе разлегся спать до смены. Стали расходиться. Только я остался. Глаза слипаются, а не ухожу, жду чего-то, караулю. Лампа над столом кухонная обыкновенная, но до чего ярко — ярче «молоньи», и самовар ясней пожарной каски — я не выдержал и заснул. И вдруг кольнуло, вздрогнул, просыпаюсь —

> и не вижу ни самовара, ни лампы, только на том же месте против сидит: она расстегнула пуговицу на вороте — хотела ли снять с себя коричневую кофточку? — и вдруг вся загорелась: по желтому голубая синь и алые струйки к краю — из света она смотрела, я видел, или меня увидела? да меня увидела! — и горя странно, желтое и голубое и алое осыпалось, и каждая искра льется. Я хотел спросить, кто? и зачем она пришла к нам? Но она головой так сделала — не скажет! — и только смотрела и горько и жалостливо — —

А когда поутру я проснулся, в дворницкой никого не было.

И я словно перешел и еще какой-то мост и вот попал на еще какую-то землю — в мою затаенность с этих пор вошло новое чувство. Никогда не брав книги, я с этих пор не расставался с книгой, но уже как взрослый, минуя Майн-Рида, Купера, Жюль Верна. А отрываясь от книги — меня разбирало выдумывать всякие небылицы! — я ходил, ничего не замечая, в своем мире, и уж чего только ни вытворял, городя, и в смех и в страх.

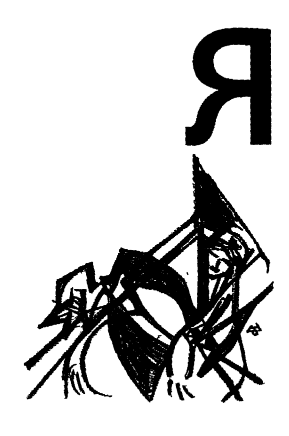
А что странно: ни старика, ни его бабочек я больше не видел. Помню, на другой же день я туркнулся к нему, хотел рассказать — но к старику не пустили: болен. Еще зашел, и опять нельзя. А потом — неделя — другая — и уж в квартире нет ни старика, ни бабочек, а живет «злой» парикмахер, Павел Александрович Воробьев: этот Павел Александровичи (как-то я попросил остричь меня «под-польку», а он отделал «под-гребенку», злой!), он обяснил, что к старику приехал какой-то его родственник (должно быть, schwager!) и увез старика в Берлин.

И все-таки я увидел старика: мне попался «Щелкунчик» с картинами; перелистываю — *Дроссельмейер!*— вглядываюсь, да это он, конечно! с ним я проводил вечера, мечтая о махаоне!

И огненный «махаонный» наряд той странной, забредшей к нам женщины, я много лет спустя — тут в Париже на avenue Mozart — тоже увидел, и было тоже чувство — по карнизу шел я над пропастью через какой-то мост. Вечером читал я вслух «Die Elixire des Teufels», а ночью приснилось: вижу Э. Т. А. Гофман — и я прошу его: «передайте мне из рассказов что-нибудь?» — и вижу, он согласен — и вот — все на нем загорелось — странно — по желтому синим, и алое к краям, и желтое и синее и алое тлело, и каждая искра льется.

ESPRIT

О нем само́м



Я его нашел в кухне в ящике под плитой — в углях. Лежит в уголку — тоненький, две руки, три ноги, как полагается; и около сосновая шишка. Шишка трухлявая, я ее сжег в камине. А его на серебро — на стенку: тоненький, две руки, три ноги, как полагается. И замечаю: ночью в комнате что-то скучно, посмотрю на стенку — тоненький, две руки, три ноги; что-то ему не весело. И мне не весело. Или о шишке? «О шишке скучаешь?» Я попробовал заговорить — не отвечает, дуется. Так и весна подошла. И углей больше не надобно. Вычистил я камин, пошел на кухню, пошарил в ящике под плитой: не завалилась ли еще шишка? Нет, вот перышко-пушинка, а ничего больше. Зацвел под окном каштан (Потому и наша улица Villa Flore, что каштан!).

Вечерами, когда в доме горит электричество и со всех этажей изо всех окон свет, каштан стоит, как Рождество — густая высокая ель в белоснежных огнях —

Коляда-Коляда
русальная
вербная
лелия!

От окна не оторвешься.

А ему все скучно! «Шишку, — говорю, — тебе достану!» И вижу: повеселел —

руками плывет. И наказал я знакомым: «Достаньте мне шишку!» И вот с Океана, из Бретани, вместе с тремя клешнями: одна большая, другая поменьше, третья совсем маленькая — с ноготок! и пупырчатой веткой морской травы пришла ко мне и обещанная шишка. Я ему ее к серебру и подвесил: кедровая шишка крепкая, ядреная — на всю зиму хватит. «Вот тебе!» И все успокоилось. Как до петуха — на нашем дворе курятник: живет петух! — и как запоет петух, одинаково: мир и тишина — он успокоился.

Его называют «esprit», а по-русски лесным русским именем — «корябала».

Зашел ко мне ученый спирит, увидал на стенке:

— Откуда, — говорит, — это? это же с фотографии от доктора Ришэ — материализованный дух!

А я говорю:

— Да это и есть дух — «эспри», по-русски корябала.

О мышке

Жила у нас мышка на кухне. Много из-за нее было докуки. А не трогал: жалко. Ведь и есть-то у нас ей нечего — чудачка! Что с обеда останется, в шкап запру. Только выбросы. Я ее норку отыскал: под плитой в самом углу за угольным ящиком, в котором я нашел «эспри». Туда она в норку и бумагу таскала и всякие оглодки и завалящие корочки. Выйдешь вечерком на кухню чайник на плиту поставить, а она — шшик! — и только хвостик, как усик—чик! Одна была опаска: увидит мышка, что корм несытный, переберется к книгам — пропадут мои книги! И хоть нет-нет да о мышке помянешь — «опаска» — а трогать жалко. Да так и привык: живет себе мышка на кухне. Через стену —

— un petit piège pour une petite souris —
«ловушка для мышки!»
— une tapette à souris pour attraper —
«колотушка, — чтобы нашу мышку поймать!»
— une souricière —
«мышеловка!»
— un attrappe-souris —
«поставушка!»

— je vais la piger cette souris —
«эту, говорит, мышь я пымаю!»
— à la bonne heure! c'est bien —
«что ж, в добрый час!»

И самое страшное:

— mort aux rats —
«смерть крысам! — такой яд страшный».

Часто это слышу через стенку — за стеной разговор о нашей мышке.

И догадываюсь: мышка живет у нас, а питается от соседей. Ну, и пускай себе.

*

Случилось, поехала С. П. к Морю-Океану за морскими камушками и раковинами к одной доброй бретонской волшебнице Флёри (Fleury). И наказала мне: «непременно чтобы всякий день обедать, и ночью долго бы не сидел, а как петушок запоет, ложился бы спать» И вот в первый же вечер, как остался я один, сижу за работой — а работа моя: перебирать слова, как камушки, и нанизывать слова-раковинки — строчить, «преодолевая матерьял», со всем ощущением острым упора от бумаги, пера и чернил! — в поздний час обернулся я от стола к зеркалу — у зеркала на камине часы с боем — часы посмотреть. И вижу — совсем от меня недалеко, как раз в полосе света, сидит на ковре мышка и лапочкой себе за ухом гладит: внимательно так — старается. Думаю: «Вот умница, хотела обратить внимание!»

Я ей страшно обрадовался: остался я один, мышка поняла и явилась — караулить! — Поздоровался я. — Но ни разговоры мои, ни движение — как обернулся-то часы посмотреть да вглядывался-то — не спугнули мышку. Мышка так и осталась на ковре сидеть: тонейшие свои губы поджала, уши навострила до искорки, хвостиком бегает. И на другой день и на третий: как вечер — мышка со мной, сидит, караулит. И стал я мышку беречь.

Как-то под вечер загнал ко мне дождик музыканта Шварца. И не столько дождик, а скорее общая наша страсть: много вечеров пропадали мы вместе на балете и для меня начало лета было пронизано — вымузычено Стравинским, а глаза закрашены

Пикассо, и музыкант не ходил уж, а акробатировал червем-землемером под «Голубой поезд» (Le train bleu). Об этом и разговор. И еще: о четвертьтоновой музыке.

Ну, мышка при музыканте сидеть постеснялась. Вижу бегает — беспокоится — и на камин к часам, и в угол к радиатору, и за полку к книгам.

— Что это, не то свет мигает, не то мышь?

— Откуда, — говорю, — мышь? У нас мышей нет. Это у вас в глазах.

А на следующий день тоже вечером: Мухин и Мирский. Разговор о стиле. Говорил Мухин.

Мирский, по обыкновению, сидел, как лев, в угрюмой мóлчи.

И вдруг оскалил зубы:

— У вас мыши — ?

Но и тут я не выдал мышку: хорошо знаю, это она — и час такой, как раз ее пора сторожбы.

— Ну вот, — говорю, — откуда тут мышам быть! Это — свет мигает!

Так всякий вечер — целую неделю меня сторожила мышка.

И вот получилось письмо с Моря-Океана: завтра С. П. будет дома. Письмо я получил днем, а вечером мышка пропала — мышка ушла и не показывается: поняла! — ушла в свою норку: отслужила!

А какая умница эта мышка! Она и стерегла меня, пока я был один, она выкраивала в пространстве узоры, как я мои буквы на бумаге. Она была моим стражем и живою тенью моих мыслей.

Die heilige Maus

Недалеко от Мюнхена на берегу озера Аммер, на «святой горе» Андекс стоит монастырь — Kloster Andex. Много я за берлинскую первую мою заграничную зиму искал указаний в календаре (Marianischer Kalender) о «святой Германии»: мне хотелось и здесь, в Германии, найти эти тропки, ио которым бредут страждущие и неутешные, не чающие себе утешения от людей, отчаявшиеся в нашем грешном мире, бредут за чудом — к святому, освященному верою в веках. И как я обрадовался, когда и не думал, а попал как раз в самое священное место «святой Германии».

Жили мы в Брайтбурне на Аммерзее по соседству с монастырем и пошли пешком. Идем лесом, и попала мне — лежит на дороге сухая ветка, ну, точь-в-точь крылатая ящерица. А это был добрый знак: «слово Andex из Eidechse, a die Eidechse значит ящерица, веретеница!» Поднял я ветку, и полезли мы на святую гору. Потихоньку да полегоньку довела нас дорога — «веретеница» до самых стен. Монастырь старинный — есть и святой источник, есть и мощи и школа в честь нашего Николы (St. Nikolausanstal) и знаменитая пивоварня (Kloster-Brauerei).

Повел монах ризницу показывать. А в ризнице какой только памяти нет: и гвозди страстные, шип из тернового венца, риза Николы Угодника. Богомольцы ходят за монахом, слушают, удивляются — прикладываются. И вот гляжу — и глазам не верю: das Bild des heiligen Mauschen — изображение святой мыши.

Монах оживился и стал рассказывать о мышке: почему мышке честь такая — попала в «святые».

А было вот как: стали «неверные», не то шведы, не то венгры, разорять монастырь, и спрятали монахи сокровища в церкви под пол, и среди сокровищ был ковчег (Monstranz) со Святыми Дарами (Hostie), а Дары были чудесные — по молитве в вразумление неверующих за обедней хлеб претворен был видимо и осязаемо в Тело. Прошла сотня лет, и, когда все умирилось, и разрушенный монастырь отстроили, о сокровищах шло по преданию, а где спрятаны, никто не помнит. И много об этом монахи думали и ничего не придумали.

«Раз во время обедни, — рассказывал монах, — видят, вышла мышка от алтаря: в лапочках лоскуток бумаги в трубочку свернут. Ну, мышку не тронули, а грамотку отобрали. Да как взглянут, что там такое написано? — а там о сокровищах. Сейчас же подняли пол, как раз то место, где мышка сидела, и все нашли: и Монстранц и чудесные Гостии».

Ein Maus zeigt durch den Zettel an,
Wo man das Heiligtum findeti kann.

Слушали богомольцы о мышке — какая умница!

Монах дальше пошел — и вижу я, и к мышке прикладываются: усатая такая сидит нарисована, хвостик стрункой. И я приложился — die heilige Maus!

Gespenst

Этого я нигде не находил, этот сам пришел —

Днем в субботу был писатель Шольц — помню, что приехал из Ридерау (Ридерау это тоже на Аммерзее, где и Андекс), вечером Кайзер и Осипов. А наутро — весна! — в окно воскресный звон со Старого Моабита, а из Тиргартена наво́й распускающихся деревьев и с зеленым весенним веем густой звон в Гедэхтнискирхе, и не знаешь: ли ты в Москве, ли ты в Берлине. Звонок: телефон! Подошел я и вижу: лежит около маленького игрушечного телефона на телефонной книжке, я бы и не сказал, что за чучела такая: чернющий — ухо-глаз — и все хвосты... мягкий!

Это Эля и Ельза, как увидели —

«Ah! — воскликнули враз — das ist ein Gespenst! (Так это ж гешпенст).

«Гешпенст!» — ну, конечно, им виднее: глаза у них ясные, еще не забиты вещами, ведь и весен-то их жизни всего-то по десяти.

Но ни Рудольф Шольц — толстовского склада, ни Рудольф Кайзер — философ, редактор «Die neue Rundschau», ни Осипов, не сомневаюсь, никто из них подкинуть его мне не мог. Да, этот сам пришел — гешпенст!

Гешпенст (призрак, привидение) — это как брат «эспри!»

Только тогда я ничего не знал об эспри: жили мы в Берлине на Лессингштрассе, и я назывался тогда на немецкий лад — Ремерсдорф (Remersdorf). Так фрау Карус, приходящая к нам поутру убирать комнаты, назвала меня Ремерсдорф, а за ней и ребятишки: и сапожника дочка, и все ее братья, и хозяйские дети из угольной лавки, где брикеты покупаем, и девочка портье и все их товарищи, и приятели, и знакомые, с которыми они «водятся» — от Тиргартена до Старого Моабита и туда — в Шарлотенбурге вокруг Кирхштрассе, где раньше мы жили. Станут под окном — наша квартира над «дрогери» (аптекарским магазином) в первом этаже, окна открыты, вся моя волшебная комната вот, как вы! — станут стаей и выкликают: «Herr Remersdorf — Herr Remersdorf» и до тех пор кличут, пока не выглянешь, как самый гешпенст. А об эспри я уж тут узнал на Villa Flore, когда из Ремерсдорфа, нечаянно-негаданно превратился в Ремоза. Я думаю совсем правильно и вполне наглядно соотношение:

$$\frac{\text{Remersdorf}}{\text{Alexsis Remoz}} = \frac{\text{Gespenst}}{\text{Esprit}}$$

В окно с воли вечером при электричестве моя комната — волшебное царство. Паук — паук прямо над моим столом пустил во все углы нить, и по нитям тянутся к нему жертвы — маленькие игрушечные звери: львы, носороги, волки, зебры, лошади, коровы, козы, козлы, олени, свиньи, лисицы, лягушки, зайцы, петухи, сухие цветы, листья, сучки, корешки, звезды, и племянник унтергрундика (мэтровского), который помогает старому унтергрундику проверять ночью в мэтро винтики, черный, как гешпенст, и весь запутан в хвостах-проволоке, а глаз как фонарик, и вот сам гешпенст, — эти жервы пауковы, и с ними племянник унтергрундика и гешпенст тянут к себе ребятишек.

И, когда, после долгих выкликаний, я позову на минутку, и ко мне шумно ворвется стая, сколько ручонок тянется к жертвенным нитям.

«Pferdschen! Pferdschen!» (Лошадку! Лошадку!).

И всякий раз я говорю:

«Zu Weihnachten». (На Рождество).

И фрау Карус, я не раз слышал, объясняла, что если всякий вечер начать снимать лошадок, то пауку ничего не останется, но что на Рождество — это дело другое: это будет «das Geschenk» (подарок).

С воли видно и часть живой волшебной стены — стена против моего стола — видите там:

— остов елки через — самое видное! — хвост Бабы-Яги, и с ней летит еловая шишка, а за шишкой ветренник;
— Миша-медведь с палкой на лыжах скачет по чистому полю из леса-в-лес, никого не боится;
— крылатая ящерица — яшмовый глаз (это та самая, что по дороге в Андекс нашли): лежит в сухих листьях;
— в красном колпаке цверг — тролль-садовник, потому у него в руках лейка:
— куры и курицы клюют — хвостиками потряхивают;
— унтергрундик (мэтровский);
— серый пыльник, который пыль подымает на улице, на ногах автомобильные шины;

— лесовик, замшелый дед;
— летучая черная кошка;
— колокольчик-звончик;
— чёртик-бултыжник в красном с вилкой;
— чёртик-торопыжник черный;
— тоненькая обезьянка пробирается с оглядкой;
— серебряная Звезда-Коляда летит, как хвост, выше Бабы-Яги;
— четыре Михеля — четыре пряника;
— пятый посередке, белым сахаром расписан «Michel», как в Париже на пряничной ярмарке свинки-хрюшки;
— петушок из домика выскакивает: прокукуречит и спрячется;
— обезьянья вельможа в короне — «велобезвелкин»;
— а под вельможей идет обезьян (на ниточке);
— прыгун-хампельман лягушатый;
— Заяц — Schneehase — белый, как снежок;
— чернец-сучок голубятник;
— два ломанных Михеля — очень страшные;
— мышка и мышкина лодка;
— обезьянье знамя;
— белая собака Шумка, «которую волки сели»;
— «встреча сабаков»;
— птичка-перепелка и желтая птичка;
— свистульки: длинная дудочка, птичья дудочка, трещетка из Шварцвальда, два пищика птичьи, Лондонская Святополк-Мирская труба;
— фарфоровая баварская трубка,
— и занозистый фетюх.

— —

Ребятишки стаей стоят под окном — зачарованы; прохожие — засматривают.

Но из всех детей больше всех и нежнее льнут к игрушкам Эля и Ельза.

Еще в первый год нашей берлинской жизни, когда у меня только что начали появляться, как когда-то в России, и полезли на стену всякие... гешпенсты, еще на Кирхштрассе, Эля и Ельза с первого взгляда приняли их, как свое, и меня с ними.

Помню, пришел из контрольной «тройки» жилотдела — мы, как иностранцы, «ауслендеры», имели право на две комнаты от хозяйки — посмотрел и сразу меня определил: «der Naturforscher» (естествоиспытатель). А Эля поздоровалась и со мной и с Фейермэнхеном (тоже цверг — карлик), а когда прощалась, и Коловертышу потрепала бороду, вроде как простилась. В следующий раз привела Элю. А Эля поздоровалась с Фейермэнхеном «носами»: нос к носу.

Эля — дочь прачки, Эльза — не знаю.

Эля — белая, таких не бывает, ковыль-трава, и Ельза кажется черной, когда, затаращив глаза, смотрят обе голова-к-голове на моих диковин.

Эля бойкая, она и по-французски знает: «la vache» (корова); Ельза говорит тихонько, и глаза у нее жалобные; Эля мне объяснила, что Ельза очень бедная, часто хворает, и у нее нет ни одной игрушки, — это когда Петера в Шарлоттенбургский Шлосс «погулять» тащили (Петер — кот, их общий любимец) и было так весело и Эля «разошлась», а Ельза —

Вышел я папирос купить и вижу, идут гурьбой ребятишки, тащут чего-то и кричат; приостановятся и опять — крик на всю улицу. Догнал я: «Что такое?» Кричат: «Peterl Peter!» И показывают: вижу, закутан в тряпки кот с ленточкой. «Куда?» «Nach dem Schloss, spazieren!» (в Шлосс погулять). И опять закричали, пошел за ними.

Удивительное дело, и взрослые, и особенно дети, я и тут в Париже заметил, часто меня останавливают: «который час?» А горе мое: счет для меня, ну никак не могу, всегда в цифрах путаюсь, — и вот как нарочно... Я тогда еще часы с собой носил. Вынешь часы, посмотришь и скажешь с большой расстановкой. Бог знает, что другой раз напутаешь.

Через кота — как пошел я тогда в Шлосс с гурьбой, и вот эти часы — так я со всеми и перезнакомился. Много у меня было маленьких приятелей в Шарлоттенбурге. И они никогда надо мной не смеялись и уж больше не кричали вслед «ауслендер!»

*
* *

Как переехали мы на Лессингштрассе, долго не было у нас телефона, а к телефону у нас русская привычка, и все чего-то

словно не хватает, скучно, и вот одна добрая волшебница Куку подарила нам крохотный игрушечный телефон. И когда настоящий поставили, и игрушечный около стоять остался.

Придет за бельем Эля или белье принесет, и с ней всегда Ельза, поздороваются с Фейерменхеном и с Коловертышем, быстро поделят «die Kuchen» (пирожное всегда берегу для них), осмотрят паука и все нити пауковые со зверями-жертвами, поглазеют на волшебную стену с Бабой-Ягой, и за игрушечный телефон — и долго друг с другом разговаривают: очень он им понравился.

Как-то поутру убирала фрау Карус комнату и чего-то, вижу, смотрит — ищет, а потом бросила искать.

— Где телефон?

— А там, — говорю, — у телефона! — понимаю о каком.

— Нету!

— Посмотрите хорошенько, может, за телефонной книжкой?

— Нету! — Но куда же он мог деваться?

— Кто-то унес.

Но кто же мог взять? Накануне был инженер Шапошников — приехал из Парижа, но ему не для чего телефон: Париж — город бестелефонный! Заходил писатель Буров, к телефону прицеливался, это я заметил, но зачем ему отбирать у меня телефон, ведь он же пришел, чтобы выручить меня из беды; завтра срок — платить за квартиру! Был еще адвокат Шустов, походя что-то в руках вертел, может, Шустов в карман как нечаянно, нет, Шустов не позарится на такое, ему, уж если — подавай беспроволочный! Спички пропали! Но это философ Быков — эти курильщики постоянно! Я не сказал фрау Карус о Быкове, я сказал совсем другое:

— Спички не телефон, а телефон некому взять. Наверно, где-нибудь тут завалился. Я сам поищу.

А фрау Карус как осенило:

— Да это у вас девчонки унесли! Я допытаюсь.

Фрау Карус очень была взволнована и, продолжая уборку, не могла успокоиться.

Если с этих пор начнут телефоны таскать, — останавливалась она со щеткой и губы у нее дрожали, — а когда им будет по двадцать лет, да они весь дом унесут!

* *
*

Фрау Карус хозяйственная, рассудительная — «богобойная (так из «богобоязненного» — «богобойной» определяла себя одна старая петербургская немка).

Фрау Карус никак не может помириться, что в революцию Кайзер бросил Германию, но главное, простить не может, что Кайзер опять женился.Родом она с Мазурских озер, а в Берлине — век свой вечный. Не забывает она о родных болотах и не может простить, что в войну столько потопили русских. И вспоминая, грозит — так станет со щеткой и губы задрожат. Любит большие траурные демонстрации: участвовала и когда убитого турецкого посла хоронили, и когда привезли из Швейцарии в Берлин советского полпреда Воровского. И не в пример другим верит в духов — цвергов, нежно смотрит на Фейермэнхена, а другой раз и за нос потреплет. Правда, к Коловертышу равнодушна, ну, обижаться нельзя! Фейермэнхен — это из самого сердца Германии, которая открыла миру «Рождество» — ведь нигде на всем свете нет такой рождественской ночи die Weihnachten, как нет нигде такой красной Пасхи — только в России! Фейермэнхен — настоящий немецкий (заботится о тепле и свете!), а Коловертыш (служка ведьмы!) — из Муромского леса. И вот уже тридцать лет, лето в лето, в ночь на Ивана Купала с вечера отправляется фрау Карус за город в Тойбиц и там, в полночь пляшет в хороводе вкруг костра ведьмин танец (der Hexentanz).

> Обыкновенно, — как я заметил за свои годы на старой земле, не русской, — что-то тут ни в духов, ни в цвергов, ни в разетеров, ни в кэлписов не очень-то верят.
> Поехали мы в Обераммергау на «Страсти» (die Passionsspiele), а комнат свободных нет и остановились в Унтераммергау в избе, где ночлежников пускают. Наутро ждем поезда, сижу с хозяйкой на лавочке, а глазами — в гору.
> Спрашиваю: «А как, горные духи вас не беспокоят?»
> Она улыбнулась.
> «Цверги?» — говорю.
> И опять улыбнулась — или вспомнила чего-то?
> «Нет, — говорит, — больше нет духов и цвергов больше нет. А есть тут один русский-пленный: он смирный».

А вот тоже в Карлсбаде, лето нынче дождливое — с утра дождик, ну, хоть бы немного просветлело.
Я как-то и говорю фрейлен Мари, — убирала она комнату у нас:
«Хоть бы вы на гору прошли, спросили бы у волшебника: когда же будет ясно?»
А она: «Нет нигде больше волшебников!»
«Конечно, думаю, если духов нет, ни цвергов, незачем быть и волшебникам».
«А знаете ли, — говорю, — вон теперь ученые-то наблюдают в трубы ту красную звезду Марс с ваших Богемских гор, где нет, говорите, больше волшебников, а рассказывал мне один тамошний житель — «марсианин», один всего и есть такой на всем земном шаре в Москве живет — писатель Виктор Шкловский, что на этой красной звезде такое было ожесточение из-за глотка воды, а жажда, сами понимаете, и начали там придумывать, как воды достать, воду беречь, и так изощрились в науке, такие построили машины, и вот самый скромный инженер, ну вот как наш сосед, превратился вдруг в волшебника, опять появились духи, цверги, т. е. их снова увидели — они никуда и не девались! — ну, электрические, опутанные проволокой, цверги».
Фрейлен Мари слушала и удивлялась: вот с Марса приехала в Карлсбад какая! Если американка подарила ей зеленый свитер, то марсианка уж наверно подарит целое платье!
А я думал свое:
«И, может, все это вполне законно, — думал я, — и на известной ступени человеческого духа вполне гигиенично для самого же духа отойти от суеверий: поверий и предрассудков — от всего того, что называется суевериями, которые ослабляют человеческую волю, связывают человека, держат в постоянном страхе — — да, иногда надо развязать руки, чтобы все пропало — и духи и цверги, и оставить человека на своей воле со своей головой, и тем возбудить энергию, — толкнуть к самодеятельности арифметикой — четырьмя правилами до цепного правила, — арифметикой, которая приведет к математике — к высшей

математике, а вихрь бесконечно-малых переплеснет туда — — и тогда снова они покажутся: и духи и цверги, — но ты не запуганный, не загнанный, нет, на голове петушиная корона, в правой руке треххвостка, в левой венок, а ноги, как змеи — — и не даром же среди самого математического в мире народа в Париже институт Ришэ, где фотографируют духов —

Нет, Мазурские озера не Богемские горы, или потому что ближе к колдовской Литве — всякое лето в Купальскую ночь фрау Карус со всем чувством и верою в очистительный огонь скакала в хороводе вкруг костра.

*
* *

Вечером неожиданно явилась фрау Карус.

Она дозналась: телефон взяла Ельза!

— А скажите, отец Эли спрашивает: он нашел у нее гешпенста; на Пасху принесла она и показывала, и уверяла, что ей подарил Ремерсдорф. А теперь отец усумнился; он сказал ей: «не тронешься с места, пока не признаешься!»

Фрау Карус произнесла эти слова с тем же чувством, как со щеткой, грозя кому-то, при воспоминании о родных мазурских болотах, где потоплено столько русских.

Я посмотрел к Пауку, где, вспоминаю, висел на нитке гешпенст — —

гешпенста не было.

Нет, гешпенста Эле я не давал.

Звонок: игрушечный мастер Смирнов.

Игрушки! — весь стол завалил он пестрыми вятскими свистульками.

Зажгли электричество. И я занялся коньками и козлами. Необыкновенно чудесно: север — Россия — по серебру и снегу ярко горят разноцветные, как огни северной ночи, мхи.

Фрау Карус ушла: она как-то незаметно ушла, я не успел и сообразить.

«Может, лучше было бы сказать: гешпенста я подарил! А когда Эля придет, обяснить ей, что если бы она попросила, я бы ей, конечно, дал этого гешпенста. А теперь — — «не тро-

нешься с места, пока не признаешься!» А тут и фрау Карус: «гешпенста Ремерсдорф не давал!»

Эта мысль промелькнула у меня и канула в пестрых вятских свистульках и рассказах Смирнова о Несторыче, колдуне-деде.

Несторыч

«Несторыч — старик за восемьдесят, прямой длинный, и борода у него длинная, белая с зеленью, и всегда он в длинной по колено холщовой рубахе, мочалным жгутиком подпоясан, только в церковь на службу поясок с молитвой; зимой — заячья шапка охотничья, летом в шляпе, шляпа — гречником, и когда старик у пчелиных колод ходит, пчелы садятся на его гречник; сапоги смазаны дегтем, а штаны надел, как свататься пошел. Дом его вон на горе, там и сад и пчелы. А под горой речка — в речке пескари: в пост — уха.

Пятьдесят лет Несторыч дьячком служит и в воскресенье на обедню поверх холщовой рубахи широкая, как полотенце, красная лента: золотая медаль «за усердие». Старуха его «Ба». Так ее старик величает, так и за глаза люди. Сухая, точно сохлая ель, а молчалива, что омут. Ну, а если что поперек, — «уйду!» да и по лысине тряпнет. «Ай да Ба!» скажет старик да только и всего: век ведь вечный вместе, и без старухи ему сама печь — не печь, и теплá — не тепло.

В воскресенье вернется Несторыч домой после службы, войдет в дом, первым делом старуху поздравит с праздником. «Ну, Ба, собирай обедать!» Тут вот старуха и покажет; а какие ватрушки ко щам, а какие щи, а гречневая каша с сахаром да с постным маслом, и на-загладку печеные яблоки, и квас. Старик сам и пашет, и в церкви, и в саду, и с пчелами, и рыбу наловит, а дом — старуха, ее царство: «Ба!» В левом углу под иконами старинное красного дерева кресло — и вся-то спинка у кресла и по бокам густо мочалками увешано: купят баранок, никому, сейчас сам развяжет и к креслу для порядку и на случай. В длинной холщовой рубахе, с золотой на красной ленте медалью, сядет Несторыч в красный угол на свое мочальное красного дерева кресло, посмотрит — сама сурь сквозь,

зря чего не сболтнешь, так тебя глазом и срежет — суровый. «Обещаниями, брат, не насыщаюсь!» скажет, а голос скрипучий, сам снег под полозьями, и смотрит — мороз! — на всю жизнь не забудешь: закаешься кормить доверчивых людей пустыми добрыми словами.
«Гнусная это привычка, — скрипит старик, — хуже всякого пьянства, пьяница пьет — себе во вред, ну, а эта гнусь — обещалы — себе всегда слава, а тебе — шиш!»
За суровый взгляд и прямое слово, побаивались Несторыча — боялись, но уважали.
На сотню верст и дальше — до самой Калуги верили ему: село проезжее, много по делам ездят и туда и сюда — и в Калугу и из Калуги, и, что хочешь, у него оставь, все цело будет, как у себя. И оставляли, да какое! — надежные руки.
Учил Несторыч грамоте ребятишек — по-своему, нараспев: «аз-ба-ба», «веди-аз-ва», «глагол-аз-га». Ну, а как школы пооткрывали, учительствовать бросил и все с пчелами да в церкви на службе. Тут-то вот и пошла слава: «колдун!»
Да и впрямь колдун: нешто простому такое возможно! — кровь заговаривал и от укуса змеи слово знал, а если с зубом который — положит на больной зуб бумажку с молитвой, и боль отпустит.
Но главное-то, как пошла эта слава и укрепилась, и стали все слушаться Несторыча и боялись, как колдуна — — залезли в сад ребятишки, отрясли грушу! хватился старик — начисто. Кто-чей? А дознаться нехитро, все — соседи, да и мать ребятишек идет.
«Это твои дети?»
«Мои».
«Давай их мне сюда!»
Пошла — «будете теперь воровать!» — вскликнула.
Прибежали к старику босые — три мальчишки да три девчонки. Ревут! «Нашли под деревом!»
«А та лягай ваши боки! — сказал старик, — вы у меня груши воровать, стой!»
И стали, и уж боятся реветь.
А старик пошел в дом, достал суровую нитку. Да всех ребятишек к крыльцу привязал.

«Кто оборвет — а оборвать ничего не стоит — только плохо будет!»
И часа три держал на нитке — три часа, как вкопанные, не пошевельнулись.
И не только что воровать, а и думать боялись при одной мысли о Несторыче. Да это не ребятишки — ребятишкам чего, им как с гуся вода! — а взрослые, большие.
«Если, — говорили, — такое с ребятишками сотворил, чего ж нам-то ждать: с нами он и не так еще сделает!». Вот тут-то уж и пошла молва и не только — чего там Калуга! — а до самой Москвы: «колдун».

* *
*

Я проводил Смирнова до Клопштокштрассе, на углу зашли в вайнштубе, посидели, выпили по стаканчику таррогоны — Несторыча помянули. И я вернулся домой и сейчас же лег.

Завтра надо было пораньше встать и идти на Александерплац в Полицейпрезидиум за «желтым билетом» (Personalausweis) — каждые три месяца мы должны возобновлять этот вид на жительство — и для меня это всегда ужасно. Бывали такие счастливцы, устраивали себе «навсегда», «бессрочно», «впредь до», но мне этого не удавалось, и каждые три месяца я с трепетом ждал получения «желтого билета» никогда не уверенный, напротив, всегда готовый и не только к отказу, а к выставке... был и такой случай.

Не знаю, от таррогоны или от безнадежного волнения перед Полицейпрезидиумом, я сразу заснул.

И вдруг точно толкнуло меня, я что-то сквозь сон вспомнил — я вспомнил телефон, Элю, Эльзу, фрау Карус, гешпенста — —

Я поднялся, зажег электричество да к Пауку и от Паука глазами по нитям — — и увидел: совсем в «скоморошьем углу» у Лондонской Святополк-Мирской трубы — гешпенст:

гешпенст висит на нитке!

И я ясно вспомнил, как на Пасху я влез на стул и маленькими ножницами отрезал племянника унтергрундика и дал Эле.

Но «племянник», хоть и тоже хвостатый и черный, но совсем не «гешпенст!» Какого же такого гешпенста нашел отец Эли в ее игрушечном комоде, где ленточки, елочные звезды и всякие сахарные ангелы? — и какого гешпенста Эля показывала, будто «подарил ей Ремерсдорф на Пасху?» — Я дал Эле «племянника!» — А может, отец Эли принял «племянника» за «гешпенста» — ведь, черный, хвостатый, а глаз, как фонарик! — да и сама Эля — — А фрау Карус пришла и сказала: «Ремерсдорф гешпенста не давал!»

Я еще раз взглянул к Пауку, к жертвенным нитям — гешпенст висел на нитке, а «племянника» не было —

> конечно, я «племянника» тогда отрезал и подарил Эле, а Эля его выдала за «гешпенста!»

И опять я погасил электричество.

Но не заснул уж.

Что же это я наделал? Оклеветал! «Не тронешься с места, пока не сознаешься!» а ведь я подарил! «Нет Ремерсдорф не давал!» Стало быть, украла. Эля «украла» гешпенста, ну «племянника» все равно, которого я ей подарил. Ведь это когда со взрослым так поступят, оклевещут — но мы ко всему привыкли, конечно, неприятно, но ведь от человека всего можно ждать, и самого последнего — клеветы, самой пос... а ведь Эле — ей только всего десять весен жизни, и с этих пор такая на душу черная тень — клевета. Да еще как: она же меня не просила, я сам влез на стул, маленькими ножницами отрезал «племянника!» и дал ей, я видел, как он ей понравился, она его, как котенка, как Петера, тетешкая, понесла на руках домой. И вот, оказывается, я не давал! «Ремерсдорф не давал!» Ну — — стало быть, украла. Да как же тогда... человек-то... и уж игрушечным, а настоящим гешпенстом, самым ужасным приведением, как только во сне ужасным, станет перед ней. Или — если другой раз и дадут тебе что-нибудь, то надо расписку брать, как белье принимаешь, расписку, что это подарок, а то — всегда можно ждать! — скажут: не давал, т. е. украла. Нет, нет, лучше от людей совсем уйти, спрятаться куда-нибудь. «Не давал!» как же так — —?»

И вот, как я это все себе представил, так не только заснуть, а не могу места себе найти, не улечься никак.

Зажег спичку, посмотрел на часы: два часа.

Два часа! Фрау Карус ушла в восемь, — стало быть, шесть часов человек во тьме этого первого жгучего, черного чувства — клеветы.

Но что мне было делать?

Я вдруг себя спросил:

«Как бы поступал поэт Б?»

Или потому что он, литовец, самый угрюмый и самый молчаливый — —

«Он сейчас же, несмотря на ночь, пошел бы на Кирхштрассе, где живет Эля...»

Я остановился.

«Но как же попасть в квартиру? Берлин не Москва и не Петербург. Ну, в Москве или в Петербурге в любой час ночи можно было позвонить к швейцару, и швейцар отопрет, ну, дать ему на чай, позвонить в квартиру, разбудить отца — что ж поделаешь! — и все ему рассказать, разъяснить о гешпенсте, что "племянник" не "гешпенст" и что я дал Эле "племянника", а "гешпенста" не давал, и если Эля не спит, а она наверно не заснула — на душе-то темь: ведь впервой! — успокоить ее. Но в Берлине швейцаров нет, а к портье не достучишься — испытанное дело, кто только не нарывался, забыв ключ от квартиры! — а если свистеть под окнами, и тоже зря, вот если бы было условлено, открыли бы и в три и в четыре, а так — зачем? — я бы не открыл: ну что ж, что свистит кто-то, это к соседям наверно! — так подумал бы, и всякий так подумает. И стало быть, никто ничего не мог бы сделать, остается ждать —.»

Я не знаю, как дождался утра.

Ни на минуту я не заснул всю ночь. Успокоившись на Б., что и он был бессилен что-нибудь сделать, будь он на моем месте, я, чувствуя право не вставать, ерзая на кровати, начинал все сначала с Пасхи, когда я подарил «племянника», которого, я теперь не сомневался, Эля и ее отец сочли за «гешпенста».

* *
*

В Полицейпрезидиум я пришел первым. Никаких хвостов. И я без всякой задержки и ожидания получил «желтый билет». Но это меня нисколько не обрадовало — а обыкновенно в такие минуты я чувствовал себя независимым и полноправным: еще

три месяца я мог жить спокойно, из Берлина не выставят, и всегда в случае чего, я покажу этот желтый билет!

Из полиции мне надо было в наш тиргартеновский ревир зарегистрироваться. Я ехал по городской железной дороге, и мне стало странно, что все, как всегда: в вагонах ели бутерброды, в которых не было нисколечко масла, а между ломтиками серого хлеба что еще маслянисто-серое — для меня невозможное! — смалец (жир); и, как всегда, быстро несся поезд, и на кратких остановках одни проталкивались из вагона, другие лезли в вагон. Острое ночное стерлось; меня уже другое мучило: как я встречусь с фрау Карус, как я ей скажу — —? И я испугался. И нарочно делал все медленно, чтобы отдалить эту встречу, а выходило очень быстро. Совсем незаметно я доехал до нашей станции, очень быстро дошел до ревира.

И в ревире без всяких проволочек, ловко вытянули из клеточки розовую и зеленую карточку, проверили и опять назад в клеточку: «es ist erledigt» (готово) — спокойно живи еще три месяца! — на три месяца право жительства. Как бы я был счастлив — —

Медленно я пошел домой.

Если бы у меня был контракт, я зашел бы в Дрогери к хозяину и заплатил бы за квартиру: деньги у меня были, еще позавчера, как я уж говорил, заходил писатель Буров и выручил. Эх, в другое-то время вот и еще была бы счастливая минута — третья: полиция, ревир, хозяин. Еще на один месяц жизни! И мне всегда так хочется еще жить, это я особенно чувствую, когда приходит срок платить за квартиру и ждешь «чуда». А ведь все может случиться и в один прекрасный день, чего же закрывать глаза, «чуда» не произойдет и тогда... Но тогда у меня были деньги, я их и в полицию с собой таскал, не было только контракта. Какая досада, контракт забыл!

И я еще медленнее поднялся к своей двери. У двери вынул часы: «посмотрю-ка!» — — а сзади фрау Карус, я это почувствовал и обернулся:

> да, это была действительно фрау Карус: вид необыкновенно торжественный — в руках телефон, и такой ведь крохотный игрушечный, меньше самой маленькой спичечной коробки-лилипута, а важный, как сам Шарлоттенбургский Шлосс!

— Фрау Карус! — и я, совсем раздавленный, не находил слов.

— Созналась! Эля созналась! — таинственно и торжественно обявила фрау Карус.

Мы вошли вместе в квартиру, и прямо в мою комнату.

— Фрау Карус, — начал я, путаясь, — гешпенст — —

— Созналась! Я прихожу к отцу. А уж она созналась: «когда Ремерсдорф вышел из комнаты, я влезла на стул и маленькими ножничками отрезала гешпенста!» Завтра обе к вам явятся просить извинения, принесут гешпенста.

— Фрау Карус, я ей подарил!

Фрау Карус недовольно покачала головой:

— Если с этих пор начнут... то в двадцать-то лет...

— Фрау Карус — —

Я уж не знал, что и сказать, я видел — нет, все равно, не поверит: она думает, что я хочу выгораживать; а, по ее мнению, этого никак не следует делать — «потому что, если с десяти лет начнут таскать гешпенстов, то в двадцать лет унесут дом!»

Я взял ножницы, влез на стул и стал срезать от Паука, что попадалось — лошадей, коров, оленей, лисиц, лягушек, звезды. Я набрал две коробки.

— Фрау Карус, снесите! Это — для Эли, а это — Ельзе. И вот туфельки! — я вспомнил, что они нравились Эле, и я отрезал волшебные красненькие туфельки, и еще отрезал обезьянку пушистую теплую, на ниточке дергается, — обезьянка для Ельзы, туфельки — Эле.

— Ah! — и фрау Карус как расцвела вся, — wunderschön! (чудесно) — а глаза ее сделались необыкновенно добрыми — чудесно! — добро посмотрела она на меня.

И у меня сердце запрыгало — от какой-то вдруг свободы — точно этим взглядом сняла она с меня то черное — ту цепь — ту ночь.

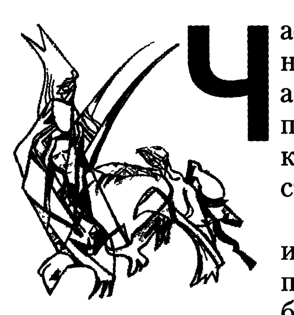
— Фрау Карус, а ведь гешпенст-то, вы перепутали, «племянник» не «гешпенст», и я ошибся, я вам сейчас покажу: у Лондонской Святополк-Мирской трубы, вон — — там на ниточке висит, я его ночью видел!

Фрау Карус прищурилась: плохо она видит.

И вижу — не видно его! — у Лондонской Святополк-Мирской трубы нет гешпенста — гешпенст пропал.

LA MATIÈRE

Часы



Часы черные, карманные — необыкновенные: обыкновенные — всегда круглые, а эти квадратные и, если хочешь, можно поставить на столе — внизу надавить крышку, крышка отойдет, и вроде подставки.

Я когда-то служил в часовом магазине, и в последний день моей службы хозяин подарил мне эти часы. Этот день для меня был значительным днем: после многих лет ссылки я в первый раз был свободен: я мог ехать, куда мне угодно, кроме Москвы и Петербурга, я мог взять себе в полиции бессрочную паспортную книжку. Какое это счастье: раз и навсегда — бессрочно! — и не таскаться по участкам со всяким «временным», т. е. требующим возобновления, или еще хуже с «проходным» свидетельством. С необыкновенными часами-подарком в тот-же день я уехал из Вологды, последнего места моей ссылки.

Все, что я написал до сих пор, все прошло под тончайшее внимание этих часов. Может быть, да и наверное, все написанное мною совсем неважно и бесследно — совсем неизобразительно, а ведь в этом все дело письма! — но для меня всякий раз, когда я писал, казалось важным, и мне хотелось еще жить на белом свете, чтобы начатое непременно кончить.

Как бежали тогда часы! И другой раз, спохватившись, я готов был сломать стрелки — остановить время.

Но бывало и другое: часы как стояли. Это в жизни, где я всегда, как посторонний, в минуту ожиданий, когда я всегда, как в чужом доме. (Я давно хорошо понял разницу между собой и теми, кто в жизни «хозяин»). И я покорно окаменевал вместе с часами: времени не было, все — равно, на волю судьбы!

Два пожара они видели — я успел их схватить со стола и перед огнем пронес сквозь дым. Три революции — все со мной, никогда не расставался. И в болезни — градусник по ним ставил. Случалось, засыпал на них в тягчайшие смертельные минуты. А в самое трудное время в России сколько мне было хлопот со стеклом: стекло разбил! И стекол-то нет, а что есть — «на учете», но я добился и до стеклышка. Часы поправил.

Только последнее время, с год уже перестал их носить с собой: тяжело — в левом кармане ведь! и свое сердце, как птичье, а тут еще и другое — упорное. Тяжело стало, и не брал. А на столе всегда при мне: внимательно всегда, но и строго. И вот в десятых числах августа — я потерял часы.

Предисловие

Приснился мне о. Далмат: стал во весь свой рост колокольный, в фиолетовой скуфье с посохом. В Праге — в келье о. Далмата, сижу за столом, покрытым бумагой, и сам я закрыт бумагой, но я все вижу и сквозь. О. Далмат стоит к окну у желтого шкапа и декламирует из московского сборника конструктивистов «Мена всех». И тут же ниже плеча его, весь как вареный (это от страннического ветру!) о. Кулик свое «Господи помилуй!» — воздыхает. И вдруг все растаяло — уплыл стол, покрытый бумагой, пропал о. Далмат с посохом и «Меной всех», и о. Кулик с «Господи помилуй». Осталось окно, и в углу у окна желтый шкап, на шкапу зеленый кувшин. А из шкапа — дверцы плотно закрыты — из стенок, расщепляя, как прорезаясь, вылезло боком: тоненький, две руки, три ноги, как полагается. Только все куда больше, чем в действительности, несравненно больше, того эспри, что на стенке у меня на серебре висит с кедровой шишкой, и ярче и грознее, волшебнее, как через прожектор.

Пятая нога

Я потерял часы, с этого все и началось. Нет, еще раньше! В Праге лопнули водопроводные трубы — никогда такого не бывало, и вот как раз в день моего приезда. Город остался без воды. Три дня безводья. Бегать на реку неохота, отсиживались на минеральной. И как на грех: жара — пить хочется. Помню хорошо, вечером, как приехал, вынул я часы, протер стеклышко, почистил крышку, поставил на столе — и вдруг подумал: «в последний раз!» И вот пропали. Или выронил? Помню, положил в пальто, пальто нес на руке. А во сне вижу: лежат на мостовой расплющенные и без стрелок — серый стальной комочек. С пропажей я примирился: двадцать лет служили, ну, что ж — пришел черед. Даже как-то легко стало — без часов! — без времени.

И началась моя жизнь вне времени.

Всю ночь скреблась мышь остервенело, со звоном — у радиатора.

Не может быть, чтобы это моя, та самая мышка «die heilige Maus!» — очень уж остервенело. А может, и она — ей мешали стены, а она хотела непременно войти и потому остервенела. И когда я думал о моей мышке, мне слышался колокольчик — все звонит и звонит — чисто — серебряный. Вспомнил я и двух деревянных африканских мышек с длинными гибкими хвостиками: мышки остались в Париже сторожить книги. Колокольчик перерывался скребом, а скреб незаметно переходил в колокольчик —

> я сел в теплый зеленый парник и стал подниматься, как в лифте, но поднимался не только вверх — зеленый теплый парник летел, как косит коса, а между тем я поднялся очень высоко. Разложены книги. Входит В. В. Розанов. Я лежу вроде книги: слева от меня белая Paul Valéry «Variété», справа оранжевая — Louis Aragon «Une vague de Rêves», и еще — на обложке турецкие дамы, одна вверх ногами. Ко мне подходит Розанов, головой качает: «Эка угораздило!» Ночь. Окно открыто. Окно гораздо больше — во всю стену н загибается в бок, так что часть стены стеклянная. Я лежу к окну. Слышу за окном шорох. И беспокойно. Заглянул я — а там лошадь. Что делать? Лошадь!

Лошадь уже и морду в окно — — Я в соседнюю комнату: надо позвать консьержку, что-нибудь сделать! И сам назад. А лошадь в комнате. Какой-то тореадор, черный, черная борода, тореадор выхватил из-за пояса разрезательный нож — Я бросился на него — — — и попал в церковь. Церковь низкая. И совсем под потолком вереница, как к кассе на вокзале: ждут исповеди. Я потолкался и вышел. Иду по холмам — зелено все — тихо — иду так — — Я сделал какое-то магическое действие над карлсбадским кофейником и стена, перед которой стоял кофейник, разорвалась как паутина, и я стал погружаться: на столе мне поставили геометрический прибор, я укрепя его — это проволочный треугольник, а от него спускается до полу проволочное в виде полотенца — и еще тарелку поставили полную с железками; из них я выбираю квадратные, кружочки и закорючки. И вдруг все бросились на кухню вниз:
«Обедать не да-ду-ду-ду-т!»

— — — стучал ко мне в номер, только-что с поезда профессор, историк Черенков: он оказался моим соседом — № 228, не видались мы с России, вот уж три года, и он вполне разумно счел долгом сейчас же дать знать о себе.

Профессора я пустил и стал одеваться.

Я жаловался на мышей, которые не давали мне спать, и сбил его с толку: ему, конечно, хотелось рассказать совсем о другом, ведь столько было, чего вспомнить, и о чем спросить, а пришлось поддерживать мышиный разговор.

Профессор, и сам, увлекшись мышами, сообщил мне, что по его долголетним наблюдениям:

— Крысы ходят на четырех ногах, пятой помогают.

— Пятая нога?

— Отчего ж, и пятая: первая, вторая, третья, четвертая, — профессор, растопырив руки, присел, — но это совсем не то, что пятый палец, это — мускул.

— Никогда не думал.

По плану

Черенков — ножки тоненькие, как у комарика; (профессор обувь носил детскую, и чулки на нем детские,

велосипедные!) и идет он — летит, как невесомое, и нет на него ни тяжести, ни устали.

И я за ним —

У профессора выработан план, и по этому плану (ничего общего с путеводителем!) мы шли.

Профессору хотелось отыскать следы «Дьяволовой Библии», чем и обясняется появление его прямо из Стокгольма на Виноградах в Праге:

> «Библия Дьявола» XII века, хранится в Королевской библиотеке в Стокгольме, а написана она в Чехии: монах Поблажецкого монастыря, приговоренный к смерти, переписал с помощью дьявола всю Библию за одну ночь и в благодарность изобразил его на отдельном листе, и всех, помогавших ему, темных духов.

— Один бес рылом дул — листы просушивал, рассказывал профессор, — другой перо макал, третий линовал, четвертый буквы выравнивал, пятый нажимал палец, шестой рукой водил, седьмой освещал — — да мало ли работы при переписке, да еще какой: готический устав с заглавными буквами — на золоте красками.

Я следовал за профессором, совсем не посвященный ни в какие «следы», и не представлял себе, почему мы идем так, а не этак; я просто пользовался случаем посмотреть город и поучиться от мудрых словес ученого.

А вообще-то мое намерение, почему я и очутился прямо из Парижа на Виноградах в Праге: если удастся, все зависело от денег, которых у меня не было! поездить по всей стране — посмотреть Моравию, Словакию, а главное Подкарпатскую Русь, где живы волшебные сказки, и говорят по-русски.

От «Дьяволовой Библии»; в чем состояла работа бесов? разговор зашел о Щеголеве, русском ученом, говорящем изумительно по-русски: такой ли он веселый и певун разбойничьих песен, или с годами изменился —

— Читал я в каком-то журнале — —

Но тут профессор встретил другого профессора: это был очень большой, на огромных слоньих ногах, и очень мрачный; он тоже чего-то искал — может, тех же следов. И они разговорились. Я краем уха слышал: да, конечно, о этой Библии! И вот я очутился один.

Один я стоял на площади перед Ратушей.

Пробили Часы — я видел, как на башне раскрылась дверка — и, один за другим, прошли двенадцать апостолов и в другую дверку скрылись, Смерть взмахнула косой, прокукурекал Петух.

И я тихонько пошел.

«La Source»

По входу я понял, что дом старинный: на двери львиная пасть с кольцом.

О. Далмат дернул за кольцо — дверь раскрылась, и мы очутились под аркой. И сразу же повеяло тишиной. Мы поднимались по лестнице, и в окно я увидел дворик: статуя Мадонны, цветы, источник.

— Благодать у вас! — не вытерпел, сказал я вслух и подумал: «тут, около этого источника, так легко собраться с мыслями, так хорошо и спокойно можно думать и без всякой суеты работать».

— А вот из нашего коридора еще лучше!

И, когда мы поднялись еще выше, и я заглянул в окно, — да это был действительно райский уголок — «La Source» и мне так захотелось побыть тут, и я с благодарностью помянул судьбу, что по своему «плану» привела меня в собор св. Вита, и там я встретил о. Далмата.

О. Далмат раскрыл дверь в свою келью и повелительно крикнул: —

— Вставай!

Я приостановился.

Я слышал, как шуркнуло что-то, — — и тогда вошел.

У кровати стоял необыкновенно прозрачный, трудно даже себе представить, чтобы живой человек мог так просвечивать, а между тем ясно было, что он спал по-человечески, и вот его взбудили.

— Алоиз При (A l o y s e P r i s t)! — представил о. Далмат.

— Алоиз При, позвольте? — мне что-то вспомнилось и я почему-то спросил, — ваш брат в Париже?

— Нет, это однофамилец, — ответил он, и очень тихо, и очень мягко, — нас постоянно путают.

Тут я увидел еще монаха, напомнившего мне нашего самого обыкновенного странника между Соловками и Киево-Печерской Лаврой; монах, прищурившись, вздохнул в сторонку:

— Господи помилуй!

— О. Кулик, — представил о. Далмат и чего-то буркнул старику.

О. Кулик, и еще раз воздохнув «Господи помилуй», вышел.

Алоиз При засуетился (впрочем, и суетливость выражалась у него крайне бесшумно, он, как резинка, мог и так и сяк — и ничего!): он полез в комод, вынул стаканы, налил воды в чайник, поджег спиртовку.

А тут и о. Кулик опять — вот с каким пакетом: там и рогульки с маком, и кругленькие хлебцы с тмином, и всякие завитушки — Прага хлебом на весь мир!

Сели чай пить.

Хозяйничал Алоиз При: все у него выходило и ловко и легко — самый полный стакан не расплескивался, а допитый он брал так незаметно, словно и рукой не касался, а сами стаканы перелетали к нему.

О. Кулик нет-нет да и воздыхал «Господи помилуй!» — что означало, а это я скоро заметил, или то, что он недоволен, сердится, или хочется ему вставить в разговор слово, а нельзя: о. Далмат строгий, нет-нет да и одернет — «прекрати!»

Разговор зашел о чудесных явлениях.

О. Далмат рассказал случай из революции, а рассказывал ему о. Нубий. проживший в России самые грозные годы:

> какая-то «антоновская» банда «атамана Григорьева» напала на какое-то местечко, и атаман велел тащить пулемет на церковь Божьей Матери, и вот когда потащили, сверху как шибанет: пулемет вниз, а тащившие красноармейцы ослепли.

— И до сих пор сидит один из ослепших у колокольни и рассказывает, как его ослепило. Но не жалуется, а благодарит, что, вот ослепленный, он прозрел — видит свой грех и кается.

Я попробовал возразить: мне казалось, что такое ослепление никак не вяжется с образом величайшего милосердия — ведь церковь-то в честь Божьей Матери!

— По-моему скорее так было, — сказал я, — втащили пулемет, а когда стали стрелять, посыпались не пули, а полетели

звезды. И тот, кто увидел летящие звезды, прозрел сердцем и покаялся.

— Да, но звезды-то и могли ослепить...

— А как же потоп? — перебил о. Кулик, — и Содом и Гоморра? В назидание не только ослепить, а и потопить можно, и земля провалится и дождь огненный — —

— Прекрати! — одернул о. Далмат.

— Господи помилуй! — о. Кулик так это хорошо воздохнул — выговорил и покорно, и кротко, и горько.

И уж потом, слушая рассказы о других чудесных случаях, от которых чувствовалась в воздухе и гарь и паль, я вместо того чтобы возражать и спорить, тихонько выговаривал по о. Кулику его чудесное покорно и кротко —

«Господи помилуй!»

А когда пришла моя очередь, я рассказал о своей мышке — «die heilige Maus» — все по порядку:

о «эспри» —
и как семь вечеров стерегла меня мышка,
и как мышка музыканта Шварца постеснялась,
и о Мухине и Мирском, у которых в глазах «свет мигает»,
и как мы ходили в монастырь на святую гору
Андекс, где хранится память о мышке,
а за одно и про Берлинского «гешпенста».

На «гешпенсте» и кончили чай пить.

Алоиз При также легко и ловко — воздушно — перемыл посуду, убрал посуду в комод и простился: жил он в том же коридоре через келью.

Так и ночь прошла.

Тишина была — или мне так казалось после мышиных ночей и странствований с профессором Черенковым «по плану» за следами «Дьяволовой Библии» — ночь легко и колыбельно зыблила, как журь источника во дворике у статуи Мадонны — в райском уголку дома.

Следы

С утра о. Далмат уехал по делам. А мы остались вдвоем с о. Куликом.

Конечно, о. Кулик сердился на меня, сердился и на о. Далмата, к которому постоянно забредали в келью непутевые или сбившиеся с пути, или такие, как я, по какому-то «плану».

После обеда зашел Алоиз При за книгой.

Ящик, на котором я спал, набит был книгами. Книги все больше экономические: и по-русски и по-немецки и по-французски. Какой-то заблудный, так мне объяснил о. Кулик (он не сказал, что вроде меня, но подумал), оставил этот ящик у о. Далмата, а сам пропал.

— Вот уж с год стоит, вместо кровати употребляем для... Господи помилуй!

Алоиз При легко и ловко, как и все, что бы он ни делал, раскрыл ящик, вынул книгу и с книгой ушел к себе. И о. Кулик вышел в соседнюю комнату и занялся своим делом.

*

*   *

В келье было просторно и очень бедно.

По глухой стене кровать, и вот этот «экономический» сундук к окну; а как раз против сундука по другой стене в углу же у другого окна желтый шкап — со шкапа в глаза лезет большой зеленый кувшин из-под пива — рядом со шкапом дверь в соседнюю маленькую комнату, потом комод с посудой, а по стене против окон умывальник; посередке стол, покрытый бумагой — вот и все.

В окна заглядывают деревья — зелеными глазами, глазатые! — и никак не догадаешься, что где-то там улица: не доносит и самого малого уличного звука — ни каменного дзяба, ни железного зуда.

В сумерки в келью зашла сторожиха с девочкой, положила на стол письмо о. Далмату. Мне показалось, она чего-то боится! не то я ее напугал, не то о. Кулик, который при ее шагах воздохнул громче и тяжче — «Господи помилуй!» А может, это мне все показалось? И какая тишина в доме! — еще тише стало, когда зашло солнце.

Алоиз При больше не показывался, без него и чай пили.

Я попробовал о. Кулика расспросить об Алоизе При — больно уж необыкновенный! — откуда он, и почему живет в этом монастырском доме, и чем занимается? Но определенного ни-

чего не узнал — какие-то одни догадки с «должно быть» и «возможно»:

> «Должно быть, он готовится в священники!» «Возможно, что он получит назначение!»

И только одно наверно, что Алоиз При занимается вычислением размера Ноева ковчега: «какой величины мог быть ковчег?»

— И для этого читает книги по экономическим вопросам из экономического сундука.

— А как по-вашему: какой был ковчег?

— На это есть указание в Библии: мера — в ангельских футах, а ангельский фут —, — о. Кулик протянул руку и отсек себе по локоть: — аршина два с половиной!

— А если на современное?

— На какое на современное?

— А например, сравнить ковчег с каким-нибудь самым большим пароходом, ну, как «Paris»: ходит между Францией и Америкой.

— Да, — подумав, сказал о. Кулик, — пожалуй, как два раза пароход «Paris».

— Два раза... что вы! Одних зверей сколько! а насекомых — —?

— Насекомых, не считается — — Господи помилуй!

*
* *

Легли мы рано: я на «экономический» сундук, о. Кулик на кровать.

Мне не спалось. И я, было, опять затеял о ковчеге: мне хотелось для порядку разместить всех насекомых. О. Кулик сначала отобрал «муху, клопа и таракана», — потом прибавил «вошь», но от «муравья» отказался и и уж совсем по другому — благорастворенно — воздохнув «Господи помилуй», затих.

— — —

И вдруг я понял, как мне все надоело: надоела эта тишина и мои «эспри» и «гешпенсты» со всякими чудесами. Мне захотелось назад в Париж — чего-то просто трехмерного. Я представил себе конец сентября — ясные дни, запах устриц и свежесть

астр, красные и желтые листья, виноград, а кое-где продают каштаны, в витринах свежие обложки только что вышедших книг, один дом доламывают, другие заканчивают с флагом у самой трубы — посмотреть, запрокидывай голову! — ранние сумерки, вечер, придет Мухин с Мирским, принесут устриц — — я засяду за какую-нибудь книгу, очень ясную и строгую, где не будет никаких хвостов, ни Черенковской «пятой ноги», я займусь французской грамматикой, чтобы уметь разложить каждую фразу и опять сложить, и не как сам я хочу, а как надо — по правилам, и еще словарь — буду учить слова, чтобы прежде всего заговорили улицы — вскрылись названия улиц, а то повторяешь просто как звук:

> Place Pigal — а вот и не знаю: pigal?
> pi-gal — —

— — —

Я сразу почувствовал, что что-то нарушил — какие-то явные меры дневного пространства, как раз ту простоту и ясность, о которой только что мечтал —

> я приоткрыл дверь и очутился в комнате: у окна сидит писатель Леонид Леонов и чистит на себе ботинки.
> «Я тоже, — говорю, — не получил этот № «Prager Presse!»
> А он, не отвечая, продолжал чистить с остервенением — ботинки на нем черные с одной пуговицей, как дамские туфли. И я понял: он чистит ботинки, чтобы восстановить содержание неполученной газеты. И мне его очень стало жалко: стоит ли из-за газеты? И я вспомнил, давно это снилось, еще и не слыхал никто о Леонове: мне приснился один совсем молодой талантливый писатель, погибший в ссылке в Сольвычегодске, он сказал мне, что вот опять воплотился, и что ему теперь фамилия — Леонов!
> И, вспомнив этот сон, я погладил Леонова по голове — —

И проснулся.

Я проснулся с живым ощущением чего-то шершавого — нечеловеческого. Точно такое — чувстно — припоминаю — когда однажды я увидел во сне Э. Т. А. Гоффмана: на возвышении, не касаясь пола, стоял он, весь кипящий, как от огней, и особенно, когда мне захотелось чего-нибудь узнать от него, и началось его

проникновение — огненный распад на мельчайшие светящиеся частицы. И, как тогда, после леденящего страха, так и теперь, я опять заснул, но уж не так глубоко — —

> Зал на вокзале — таможня. Уголок в сад выходит. Мне это видно — это там, за прилавками. А. М. Горький рассматривает икону «Никола Чудотворец».
> «Чудесная икона, — говорит он, — такая у меня была».
> А я себе думаю:
> «Эх, не узнал! да ведь эту самую икону Горький у нас и оставил да и позабыл».
> Тут какая-то старуха с котомкой за плечами, бабка с палкой:
> «Когда же мы поедем?» — говорит.
> А в зал несут чемоданы. И так заставили, так завалили, вот бы уж ехать, а никак не пробраться. Но я полез — — и очутился на лестнице в гостинице Беранек в Праге. В черной визитке, соломенная шляпа — астроном Мишурин, но такой весь просвечивающийся, как Алоиз При.
> «Мне надо к библиотекарю, Тукалевскому — сказал он, — чек получить».
> Я не задерживаю: я вспоминаю, что библиотекарь обещал мне чек выхлопотать на поезку в Подкарпатскую Русь, и этот чек Мишур должен получить.
> «Очень вас прошу, сделайте милость, получите, пожалуйста!»

Тут я перелетел через пространства, но, чувствую: поверхностно.

> Темно. Очень тихо. Комната дачная с балконом. Легкая садовая мебель. Пьянино. Стеклянная дверь на балкон — и там сад. Много цветов. Входит наша старая петербургская знакомая. Очень она обрадовалась. Поздоровались.
> «Я по-прежнему служу у пищевиков!» — и садится к окну.
> Я покосился: вижу, спит. И чувствую, плечом к моему плечу. Пробую отстраниться — невозможно: приросла! Приросла плечем к плечу. «Эх, думаю, и уйти теперь невозможно, вот беда!»
> А в саду тихо — цветы. И вижу, входит: очень живые глаза — черные огоньки — только и видно что эти глаза-

огоньки. Он взял с дивана сорочку — бело-серая сорочка, как белок, чуть с зеленью (не подсинена, а подзелена!) слюдяная — растопырил.
И я понял, что на лестнице у Беранека совсем это был не Мишурин, а это — это он — эспри! — в волшебной слюдяной сорочке. «Да не все ли равно, — подумал, — кому чек получить!»

И вышел, как выплыл, из сна, но не проснулся. А сквозь сон почувствовал шорох —

точно кто влез в окно, спрыгнул с подоконника и пошел —

И ясно почувствовал — я проснулся — кто-то наклоняется надо мной и смотрит.

Я воров не боюсь, да и неинтересен: чек-то, ведь, от Мишурина я еще не получил! А тот, я чувствую, еще ниже нагнулся, совсем к лицу —

у меня так вся кожа и собиралась на лице, я крепко зажмурился.

И вот слышу опять шорох — отошел, стало быть! — и опять у окна.

И я открыл глаза.

— — —

В комнате совсем темно. Если бы посмотреть часы! — да часов-то нет. Вот, когда я вспомнил мои необыкновенные часы, и пожалел.

О. Кулик спал.

И я крепко зажмурился: я боялся чего-то, что мне непременно покажется, если я раскрою глаза. И, закутавшись с головою в одеяло, я лежал, безнадежно дожидаясь рассвета. И в безнадежности забылся.

Слышу, музыка, Концерт. Я в раздевальню — там по стене шкапы — ящики, и в ящиках туго набито лежит под нумерками (нумерки зеленые) всякая одежда: тут и шубы, и дамские накидки, и непромокаемые плащи, тут-же шляпы, зонтики, тросточки.
Я прицепил себе к ноге первый попавшийся номерок и довольно легко впихнулся в ящик между каракулевым саком и мужским пальто на шелковой подкладке.

> И иду через стройку — раскопали землю, кладут фундамент — перепрыгиваю через рельсы. Это я домой иду и, знаю, во второй уж раз. А заблудился. Навстречу Андрей Белый.
> «Ну теперь, думаю, как-нибудь дойдем вместе!»
> И идем с ним в «Пушкинский дом». Пустыри — все разрушено — и только маленький деревянный дом.
> Поднимаюсь на лифте. И все зеленеет и зеленеет. И из зелени выходит черный поп. Я сразу узнал: о. Кулик.
> И подает он мне письмо: конверт — русские марки очень много, одна к другой, склеены. Распечатал я письмо и вижу: Мадам Шикорэ — — нет, выше и еще тоньше! И хочет она загнать меня к той вон полоске, где земля кончается.
> И я уж совсем близко — уж ручеек по камням бежит — —

И открыл глаза —

совсем светло!

О. Кулик поднялся:
— Господи помилуй!
И вот первое, что мне бросилось в глаза — это следы:

> следы начинались от окна к желтому шкапу и от шкапа к моему «экономическому» сундуку, а от сундука мимо стола, мимо кровати к умывальнику.

След одноногий — одна кривая ступня — а перед умывальником две — две кривые ступни.

Я показал о. Кулику на следы:

— Не кувшин ли это за водой ходил?

И я рассказал, все, что было ночью, как кто-то спрыгнул не то с подоконника, не то со шкапа, подходил ко мне, наклонялся надо мной, потом ушел.

О. Кулик долго рассматривал следы. Надел очки, осторожно потер рукой пол, еще послюнявил — еще потер. А след не пропадал. А я намочил тряпку и стал тереть — следы не исчезали.

Это было так, как по выкрашенному полу пройтись босиком — такой отпечаток.

— Господи помилуй! — только и мог ответить о. Кулик и на мою догадку и на кривые следы.

Пришла сторожиха.

> Сторожиха ходила всякое утро убирать келью, а если случалось к вечеру зачем-нибудь надобится, она приходит не одна, а с девочкой, а поздно вечером никогда не приходит, хотя бы и надо было: поздно вечером о. Кулик сам ходил в лавку, если случалось.

О. Кулик молча показал ей на следы.

И сторожиха еще раз вымыла пол.

И когда она мыла, следы пропадали, а когда подсыхало — следы обнаруживались:

> кривые ноги — по одной ноге через всю келью, а около умывальника — — две.

Interpenetratio

Я взялся за «экономический» сундук. Рассматривал книги. Много знакомых имен, напоминавших мне мою далекую старину, университет. Учебники политической экономии и финансового права: Чупров, Яроцкий, Ходский, Исаев, Янжул, Иванюков, Lorens, Wagner, а от книг А. А. Богданова одна обложка, — должно быть, книгу Алоиз При взял. На самом дне «Marianischer Kalender» за многие годы. А из не экономических: «Житие протопопа Аввакума» и Вяч. Шишков, «Спектакль в селе Огрызове».

Книги я уложил в сундук, оставил Аввакума и Шишкова.

Думал, до обеда почитаю, но вернулся из церкви о. Кулик. Опять мы занялись следами: опять я пробовал тереть. Но все было попусту: следы, как были, так и остались.

После обеда о. Кулик лег отдохнуть.

А я тихонько вышел по «следам» в коридор — к окну.

И до чего было хорошо — какой мир! — тихое журчанье источника у статуи Мадонны.

— —

Из своей кельи мимо меня прошел Алоиз При. Мы поздоровались. Рука у него вялая. И мне его жалко стало — мне всех стало жалко.

«Он, должно быть, болен, — подумал я, — а больных особенно жалко. В чем они виноваты? А если и виноваты, мне-то никакого нет дела. Я только вижу, как они мучаются».

И вспомнилось об «ослеплении» — тот рассказ, как пулемет на церковь тащили. И во мне еще крепче поднялось против:

«Нет, это неправда. Это невозможно. Разве болью исправляют? Ведь, это же человеческое: тюрьма и всякие казни — это самооборона человека от человека, это черствое человеческое “государственное” сердце — — ”оградительные вехи” и средство власти и общественной жизни!»

На минуту мне показалось, что и источник остановился — я слышал, как хлопнула дверь и прогудел автомобиль — и вот опять я услышал: да, это был вечный голос, над и сквозь жизнь, нечеловеческий, — и оттого такой мир и тишина.

Уходить не хотелось.

*
*   *

В сумерки я вернулся в келью.

Взял рассказы Шишкова — приоткрыл дверку в Россию, и вместе с б. «сибирским атаманом» пошел смотреть, как люди живут.

> За эти не-русские мои годы я научился читать книги, как читатель, для которого, за редким исключением, совершенно не важно, как написано, а только что — о чем речь. И всякую русскую книгу из России я, помимо воли моей придирчивой и глаза ремесленника, читаю так: очень для меня любопытно, и все хочется знать.

Не раз в мое чтение врезалось «Господи Помилуй»:

> о. Кулик проснулся и хочет чай пить!

Отложил я Шишкова и, как тогда Алоиз При, сам стал хозяйничать.

И за чаем я рассказал о. Кулику из прочитанного о русском житье-бытье. Я старался говорить новыми, иностранными словами, как они по-русски у простого русского человека выговариваются.

Рассказы пробудили в нем воспоминания о России, о страннической жизни — от Соловков до Киево-Печерской Лавры:

> о. Кулик переменил восемьдесят монастырей, нигде не ужился, пока не встретил о. Далмата, и с ним теперь неразлучен.

О. Кулик говорил на всех языках: по-гречески, по-латыни и по-турецки. Он пешком прошел не только Россию — от Соловков до Киево-Печерской Лавры, он побывал и на Афоне, и в Иерусалиме, и в «святой Германии», и в «святой Франции», он прошел по тем камушкам-тропкам, по каким идут отчаявшиеся в нашем грешном мире, чающие мира и чуда для своего неумиренного, неумиряющогося сердца, он был и на святой горе Андекс, видел — прикладывался к моей святой мышке — «die heilige Maus!»

— Пойдемте завтра в монастырь к обедне, — сказзал о. Кулик, расчувствовавшись, — там Грегорианское пение.

*
* *

Перед сном мы опять осмотрели следы — еще раз я потер: следы не только не пропадали, следы выступили при электричестве еще ярче.

Погасили свет, улеглись.

А не спалось: все чего-то точно спохватишься —

> в самом деле, кто же это прошлую ночь влез в окно? Кто подходил ко мне? и от меня к умывальнику? и чья это кривая нога?

Я не вытерпел:

— О. Кулик, — окликнул я тихонечко, — я вам «обезьяний знак» дам для ношения.

На это послышалось обычное:

— Господи помилуй!

— О. Кулик... первой степени с куричьей задней ногой.

И опять — но уж по другому:

— Господи помилуй!

— Я профессору Черенкову дал первой степени с комариными ножками.

— Да как же это я у вас буду в обезьянах состоять, неловко! — отозвался о. Кулик и точно чему-то обрадовался, — в обезьянах, Господи помилуй!

— Вы думаете, духовное звание исключает принадлежность?

— Свяжешься! Еще и в ковчег не допустят.

— Но ведь это ж только название: «обезьяний!» А главное, никаких обязанностей, а права безграничные и ничего не при-

знается: ни пространства, ни времени, и образ действия любой, против нормального мышления!

— Я боюсь, — растерянно сказал о. Кулик.

— Да чего бояться-то?

Но я прекрасно понимал, что и о. Кулик, как и я, тоже о «следах» думает.

— Вы посмотрите —

— Господи помилуй!

— Вы посмотрите, какие лица со знаком ходят и не стесняются, напротив, носят всегда при себе в боковом кармане...

— Господи помилуй!

— Этот знак есть символ воли и независимости: долой «нормальное мышление» и больше никаких! А если надоест или покажется тяжко — ничего-то не признавать тоже ведь — —!

— Я согласен.

— Поздрав-ляю!!

— А о. Далмат что скажет? — спохватился о. Кулик.

— Так и о. Далмату выдадим знак — со свистульками и виноградами! И будете вы председателем контрольной тройки по проверке знаков.

— Буду — —

И, убаюканный, о. Кулик затих.

А я долго еще все прислушивался. Потом на меня напало то, что бывает со мной, когда я много пишу. Мне пришла на память «программа» из рассказа Шишкова, и я стал ее мысленно вертеть — как на бумаге, выписывая буквы только в воздухе, букву за буквой.

> «— — сочинил коллективно автор Павел Терентьевич Мохов, красный пулеметчик, потому что в трагедии произойдет стрельба холостыми зарядами, то прошу в передних рядах, так и в самых задних рядах никаких паник не подымать — — начало в шесть часов по старому стилю, а по новому стилю, на три часа вперед; прошу на пол не харкать, во время действия посторонних разговоров прошу не позволять, с почтением автор Мохов — —»

На «авторе Мохове» захлестнуло: больше бумаги нет — белого воздуха нет! — негде писать! — я и туда и сюда, нет! — и заснул —

Русская пасха. А церковь католическая: алтарь открытый. Я догадался: это монастырь — Эталь, где монахи говорят на всех языках, это в Германии около Обераммергау. Ждут полночи. От алтаря до самых дверей выстроилась процессия с серебряными хоругвями. А между хоругвями видно просто шесты — шесть вымазаны особенным составом: если ими притронуться к фрескам, на стене расцветут цветы. И вот совсем к полночи, шесты отделились от хоругвей и поплыли к стенам — я с нетерпением следил, что будет — и увидел: стены окутались дымом, густой повалил с огнем, но совсем бесшумно, только очень это страшно. И все бросились вон из церкви. А на воле весна — зелень. И река течет, нет, озеро — Аммерзее. На берегу плотик и к нему дорожка вся в зелени, как там, у источника перед статуей Мадонны. И все туда — к плотику. И я пошел — под заключительный трензель из «Свадебки» Стравинского. Театральный зал — Theatre des Champs-Elysees — занавес Пикассо — идет перестройка: на сцене делают в полу окнища, чтобы совсем незаметно можно было проваливаться. Из окнища вылез Борис Пильняк— на нем костюм одного из знаков зодиака из «Mercure» Пикассо, в руках кусок шелковой волосатой плетенки.
«Это хорошо, — говорит он, — для грелки, прямо из-под земли Франца Иосифа, 77′ 31″ северной широты!» — и провалился в окнище. Узкая комната, как одноглазая камера. Наша комната. Одно окно. Одна стена глухая; из другой дверь к соседям. Темно, хотя окно большое, и пусто.
«Вот, — говорю, — ничего-то у нас нет и спиртовки нет».
А С. П. молча показывает на шею — и я понимаю: она хочет сказать: «Только крест на шее».
— — — выползает — — я его сейчас же узнал по глазам: черненькие огоньки, только очень квелый и такой бледный, ни кровинки. И прямо к двери — которая в стене к соседям — тихонько приотворил дверь, просунул пакет и чего-то пищит. А мне досадно, понимаете: «Можно, — говорю, — если вам что-нибудь надо передать соседям, просто пройти к ним через их же дверь, зачем же отсюда?» И с досады я крепко схватился за ручку двери, чтобы уж навсегда закрыть. И слышу, как там за дверью зашуршало — вчерашний ночной шорох — —

И проснулся.

Слышу вчерашний ночной шорох — шаги —

И я весь так и сжался. Я ждал: вот опять подойдет ко мне, наклонится и будет упорно и пристально смотреть — —

А раздался такой неистовый бой и такой стук: что-то трахалось и кувыркалось тут вот где-то — — по всей комнате. Ничего не думая и ожидая всего, чего хотите, я раскрыл глаза.

Была глубокая ночь. И оттого ли, что я раскрыл глаза, на минуту все затихло. Я хотел покликать о. Кулика — но и еще с большей силой стукануло:

> что-то грохнулось на пол, сцепилось и — вроде как по мордам лупят, такой хляст.

И я понял:

«Это в желтом шкапу: кто-то залез в шкап и там громыхает. Мыши? — Да нет, куда мышам! — неужели крысы? — Нет, и не крысы, это что-то другое, это как человек — »

И вдруг резкий звяк стекла — мне показалось, посуда об пол.

И больше ни звука.

И, жив ли лежит о. Кулик, не поймешь.

Келья — как замерла.

И не от страха — может быть, о. Кулик затаился от страха! — а у меня было другое: мне было трепетно, точно меня всего измочалило и бросило вот —

Лежу и жду:

> провалится потолок или рухнет стена — — ?

И мне припоминается, такое же вот чувство я испытал нынче зимой, когда захворал гриппом. Жили мы на Chardon Lagache — там теперь турки живут — очень холодные комнаты и без ванны. Пошел в Пасси к адвокату Шустову попросить ванну. Добрый человек: и ванну он мне сделал, и крепким чаем напоил. С час просидел я после ванны и пошел домой. И погода-то стояла не туман, к весне близко, и только ветрено. Вернулся я домой, растопил камин — а уж чувствую, трясет, — прилег. И вижу: очень раскалилась решетка в камине, так вскоробилась вся, вот-вот распадется на куски. Я вскочил да скорее за совок, зачерпнул в угольном ведре, и полный совок — и вижу, не

уголь, а пиленый сахар — пиленого сахару, такого белого, полный совок и бросил в огонь. И чувствую, трепетно стало. На столе лампа — подставка большая бутылка «Pommery» с синим бумажным абажуром, и знаю, что лампа, а вижу — вытянулась рожа, уставилась на меня белками, и, может, не говорить, да мне-то тогда сказалось, что сказала мне рожа: «здравствуй!». И я тихонько опять улегся, и было такое же трепетное чувство, не страх это, лежу и жду:

провалится потолок или рухнет стена — — ?

*
* *

Поутру я сразу заметил, что следов нет — следы исчезли.

Заметил и о. Кулик и первый раз после ночи воздохнул от всего сердца:

— Господи помилуй!

Следы исчезли. И в келье все было на месте, точно ничего и не было ночью. Или это все мне снилось? И о. Кулику снился тот же сон — о. Кулик продрожал всю ночь! Заглянули в комод — и в комоде все цело: стаканы, блюдечки, чайник, тарелки.

Что же такое громыхало ночью — ведь казалось-то, и от стульев остались одни щепы!

О. Кулик подставил стул к шкапу, полез посмотреть, нет ли там чего? —

на шкапу зеленый кувшин из-под пива — кувшин цел: как стоял, так и стоит.

— Ручки нет! — обрадовался о. Кулик и осторожно приподнял кувшин за горлышко.

Действительно, ручки нет — ручка отбита.

Помню, вчера я брал кувшин, когда следы вытирал, и опять поставил его на место — ручка была. Стало быть, это ночью.

Но где-же отбитая ручка? — на шкапу ее нет.

— Куда-нибудь завалилась.

О. Кулик слез со стола. Стали искать: куда завалилась? По всем углам шарили, и под кроватью, и за комодом, и за умывальником, и за шкапом, отодвигали «экономический» сундук —

ручки нигде нет!

Посмотреть бы в шкапу, — хоть это и странно и невероятно, чтобы ручка в шкап попала! Да шкап-то заперт, а ключ у о. Далмата, с собой увез.

— Попробовать другим ключом! — предложил я.

О. Кулик вынул такую вот связку. И началась работа с ключами — ни один ключ не подходит. Бросили ключи, взялись ножичком ковырять. Сломали ножичек.

— Если гвоздем?

И уж пошел о. Кулик гвоздь искать, но тут постучал Алоиз При.

Мы ему очень обрадовались и все рассказали, как ночью громыхало, и как у кувшина не оказалось ручки — «мы сами не разбивали!» — нигде не можем найти ручку, а в шкап посмотреть — заперто.

И опять чудеса: Алоиз При всю ночь сидел за книгой, но никакого грохота не слышал, — «очень было тихо, как вымерло!» А шкап он открыл без всякого гвоздя — пальцем: засунул в скважину палец — дверца и отворилась.

В шкапу никакой посуды не было.

Только небольшая бутылка из-под зубровки — о. Далмат держал зубровку на случай простуды, но кто-то из наброжих гостей выпил, и осталась одна травка, «которую зубр ест», — и вот эта бутылка оказалась разбитой:

верхушки не было, как срезано.

А возле разбитой бутылки лежала отбитая ручка от кувшина.

— Вот она, посмотрите!

Действительно, зеленая ручка — она самая.

— Как же ее туда угораздило?

— И где верхушка от бутылки?

В шкапу стояла только часть бутылки, и торчала зубровая травка, «которую зубр ест», и сколько мы ни смотрели — ни одного стеклышка.

А как стали примерять к кувшину ручку — в кувшине что-то брякнуло. Опрокинули кувшин, а он полон стеклышек:

стеклышки в кувшине от бутылки!

— Как же это так стеклышки в кувшин попали!

— Да очень просто: из шкапа! — сказал Алоиз При, — так же как ручка от кувшина попала в шкап. Интерпенетрация! Закон проницаемости. Что ж тут такого?

И на это уж мы оба вздохнули враз:

— Господи помилуй!

*
* *

И до обеда и после обеда — о. Кулик забыл лечь отдохнуть, как забыли мы про обедню в монастыре с Грегорианским пением — только и разговору было, что о разбитой бутылке, попавшей на шкап в кувшине, да о ручке от кувшина, попавшей в шкап к бутылке. Никакая интерпенетрация нам ничего не разъясняла.

> И пусть абсолютной непроницаемости нет, т. е. ни одно тело не наполняет целиком пространства, а между молекулами остаются промежутки, которые могут быть заполнены другим веществом, и, стало быть, прохождение через стенку шкапа осколков бутылки в одном направлении и ручки в обратном вполне согласуется с понятием об интермолекулярных пространствах — —

Но как же все это происходило: ведь ни я, ни о. Кулик руками не помогали, а только слышали стук и грёк и Бог знает что.

— А не кикимора ли тут лапу свою совала? — пробовал догадаться о. Кулик, — помню, в Тотьме в монастыре завелась в келье кикимора: бывало, как ночь, примется ходить взад и вперед, стучит ногами— а никого не видно. А потом стала греметь посудой, звонить чашками, бить горшки и плошки — и опять никого не видно. Так келью и бросили.

К чаю вернулся о. Далмат.

Следовало бы сначала с дороги-то напоить его чаем, но мы не утерпели и, перебивая друг друга, напустились на него с рассказами: рассказали о ночи, как громыхало, о разбитой бутылке и кувшине без ручки, о следах накануне, и как после ночи следы пропали.

— Да надо бы следы перекрестить, они и так бы пропали! — пенял о. Далмат.

Но что поделать: действительно, перекрестить забыли. И оба мы, как тогда на интерпенетрацию, в один голос, только в разные стороны протянули:

— Господи помилуй!

На столе под Шишковым лежало «Житие протопопа Аввакума»: я, как вчера отложил, так и не притронулся.

— Да вот, — о. Далмат взял «Житие» и укоризненно посмотрел на нас.

Бесовская игра

> «А когда еще я был попом, с первых времен, как к подвигу касатися стал, бес меня пуживал сице. Изнемогла у меня жена гораздо и приехал к ней отец духовной; аз же из двора пошел по книгу в церковь нощи глубоко, по чему исповедать ее. И егда на паперть пришел, столик до тово стоял, а егда аз пришел, бесовским действом скачет столик на месте своем. И я, не устрашаясь, помолясь перед образом, осенив рукой столик, и пришед, поставил ево, — и перестал играть. И егда в трапезу вошел, тут иная бесовская игра: мертвец на лавке в трапезе во гробу стоял, и бесовским действом верхняя раскрылася доска, и саван шевелитца стал, устрашая меня. Аз же, Богу помолясь, осенил рукою мертвеца и бысть по прежнему все. Егда же в алтарь вошел, ано ризы и стихари летают с места на место, устрашая меня. Аз же, помоляся и, поцеловав престол, рукою ризы благословил, и пощупал, приступая: а оне по старому висят. Потом, книгу взяв, из церкви пошел. Таково-то ухищрение бесовское к нам!»

Без бесов

Профессор Черенков отыскивая «по плану» следы «Дьяволовой Библии», наткнулся на наш старинный монастырский дом:

> «след» привел его как раз ко львовой пасти, и он попал к о. Далмату.

Он вошел в ту минуту, когда мы с о. Куликом, обратясь в разные стороны, воздыхали по-одинаковому — «Господи поми-

луй!», а о. Далмат назидательно читал над нами из «Жития Аввакума».

Профессор сговорился с о. Далматом о свидании — чтобы подробно поговорить о «Дьяволовой Библии» и Поблажецком монахе, а меня забрал с собой в отель Беранек.

Так я и не знаю, продолжалась ли «бесовская игра» и в следующую ночь, или о. Далмата и бесы боятся. Для меня началась другая жизнь — без бесов с профессором Черенковым.

*
* *

День начинался: выходили с профессором на поиски с «планом». —

Профессор был уверен, что на след он напал, и что теперь надо походить «вокруг да около», чтобы укрепиться. А, когда он узнал о «следах» в келье о. Далмата, и о той ночи с бутылкой, он просто обалдел:

> конечно, «план» его совершенно верен, дорога правильная — он доберется до Поблажецкого монаха и узнает всю историю с «Дьяволовой Библией!»

Ходя по следам — «вокруг да около» — попутно мы смотрели книги, подымались наверх в «Prager Presse», заходили в русский книжный магазин, испытывали хозяина:

> признает ли он только Эвклидову геометрию или и нечто другое?

А все это профессору надо было для «вокруг да около».

Хозяин, не отвечая прямо на геометрический вопрос, повертывал в другую сторону — — в свою педагогическую, — о детском журнале. Профессор был очень доволен: профессор, как кладоискатель, во всех подозревал конкурентов.

А вечером мы сидели в винарне.

Обошли все: были и в юго-славянской и в моравской и в словацкой.

Профессор знал все славянские языки, и во всех винарнях чувствовал себя, как дома. Исключение было только в «Бомбоньерке» — очень уж дорого! — пили кофе, профессор подпевал под танцы вместе с незанятыми барышнями, а это всегда для

меня ужасно тоскливо — как заживо погребенное! Но зато в «Пауке» —

В «Пауке» — этнограф Богатырев: Богатырев только что вернулся из Подкарпатской Руси, двести волшебных сказок!

«Паук» — кабак ночной. Богатырев в Подкарпатской Руси не новичок — прошел там огонь и воду. И за рассказами о басаркунах под свист джаза проскочила ночь.

> Я вспомнил наш попутный разговор с профессором о «недоразвитом мозге».
>
> «Недоразвитой мозг», — думал я, — он видит, он зрячий, но какой беспомощный! и надо дисциплину — узду для его развития и укрепления, надо Эвклидову геометрию; а «развитой мозг», втиснутый в эвклидово железо, слепой, не видит. А вот, когда станет тесно и все аксиомы разорвутся, как цепи, ты и не хочешь, а увидишь и басаркунов, и полудниц, и полдневного, и кикимор, и эспри, и гешпенста, и всяких цвергов — «бесов», но уж не так, не с пустыми руками — —»

Хождения «по плану» и вечерние и ночные винарни подобрали профессорские кроны. А тут еще и дождик: с утра дождик, а чуть прояснится, ветер, и к вечеру опять припустит и с ветром.

Поутру профессор питался одним яйцом, вечером ел «шумку» (ветчину), на сон грядущий пили малагу. От сырости у профессора разнесло скуло, нарядился он в свою дореволюционную крылатку.

А со «следами» какая-то путаница вышла: не раз был он у о. Далмата и хоть бы раз застал дома! — о. Далмат то в церкви, то уехал.

Жалко мне стало профессора. Я уж и не знал, чем его развлечь. И я рассказывал ему чудесные «гоголевские» сказки — что упомнил из рассказанного Богатыревым в «Пауке».

А профессор сидел, нахохлившись, подобрав в крылатку свои комариные ножки, с такой вот скулой — куриное яйцо!

«Я жду»

Однажды вечером, когда мы сидели с профессором Черенковым в отеле Беранек и пили на сон грядущий малагу, я, пересказав все подкарпатские сказки, и, поминая сло-

ва Рабле, что «смех полезен для щитовидной железы», рассказывал всякую смешную быль и смехотворные небылицы из берлинской жизни русских философов, в «каварне» появился другой профессор на слоньих ногах, необыкновенно мрачный.

— Простите! — сказал он мне с тем выражением, с каким только он один мог, ну-как бритвой: «простите!»

А Черенкова отозвал.

Я видел, как он вынул из кармана карту, разложил ее на двух сдвинутых столиках — и оба согнулись.

Я видел, как они водили пальцами по карте — — шушукались — конечно, все о «следах!» конечно! Потом суровый профессор сложил карту, спросил пива.

А наутро за яйцом профессор Черенков объявил мне, что едет в Подебрады повидать одного нужного человека, а кстати, и полечиться.

Поздно вечером, проводив профессора на масариковский вокзал, я потихоньку пошел — в Беранек одному возвращаться мне совсем не рука! — я пошел к о. Далмату, а больше и некуда!

Очень тоскливо. Дождик. И какой-то ветер.

И в вое ветра мне все слышалось, как там в «Бомбоньерке» под танцы подпевали — «заживопогребенный» вой и с воем накатывала на меня черная волна — я это тут заметил, раньше не было: вдруг наплывет! это знак моей безвыходности и, страшно сказать, моего пропада.

Под вой ветра, дождик и в черноте этой отчаянной волны я добрался до монастырского дома. Отворил калитку со львовой пастью. И стал подыматься по лестнице.

И во дворики. — я заглянул — дождик и также липь и грюмь, как там на воле, как улицы, дома, камни.

На площадке в смури чуть не столкнулся:

Алоиз При!

А как он обрадовался: да, ведь уж третья неделя и, как я тогда после ночной «интерпенетрации» ушел с профессором, а с ним даже не попрощался.

— Не с кем поговорить, — жалостно сказал он, — скучно. А главное, не успел закончить. Из Курса А. А. Богданова осталось семь страниц. Не успел. Вы понимаете. Это ужасно досадно. Всего семь страниц!

Он был очень что-то расстроен. И показалось мне — еще квелее, а рука, когда я с ним здоровался, совсем без костей, один хрящик.

— Погода дурная — я-то это люблю, но вам — все дождик, и этот ветер — вам бы надо на солнышко. Я проводил профессора Черенкова в Подебрады. Я сейчас к о. Далмату, а потом к вам — или вы —

— Я жду.

У дверей о. Далмата мы расстались.

О. Далмат был дома: дверь чуть-чуть приоткрыта, виден свет.

Я постучал — — и вошел.

— С кем это вы там разговаривали? — о. Далмат поднялся навстречу.

— С Алоизом При.

— С кем?

— С Алоизом При.

— Господи помилуй! — вздохнул о. Кулик из-за двери.

— Да позвольте! — о. Далмат смотрел на меня, как на привидение, — Алоиза При мы сегодня похоронили.

— Господи помилуй!

— — —

— Да нет же, я его только что видел, я разговаривал: он жаловался: семь страниц — А. А. Богданов —

О. Далмат решительно раскрыл желтый шкап, где по-прежнему стояла разбитая бутылка из-под зубровки, вынул подсвечник со свечей, зажег свечу.

— Пойдемте, посмотрим. Что за ерунда: Алоиз При —

И, не закрывая кельи, мы вышли в коридор.

В коридоре никого не было. И тихо. Окно закрыто, не слыхать и источника во дворике. Очень тихо. Мы прошли по всему коридору до лестницы. И от лестницы обратно. И прямо к келье Алоиза При.

Дверь была раскрыта. Приостановились в дверях. В комнате пусто, вся мебель вынесена, и только столик и табуретка. Полы сырые, только что вымыты.

— Ну, вот, никого и нет!

О. Далмат взялся за ручку, чтобы плотно притворить дверь, но в эту минуту точно кулаком вышибло из его рук подсвечник —

свеча погасла.

Не очень-то, скажу, приятно — а, может, это ветер? — ощупью добрались мы до кельи.

О. Далмат зажег другую свечку и втроем — о. Далмат, я и о. Кулик, вышли в коридор.

— — —

Все также. И тихо. У дверей кельи Алоиза При, где мы думали найти подсвечник, никакого подсвечника не оказалось, — мы нашли его на противоположном конце коридора. А свечки нет.

Еще раз обошли коридор: нет нигде —

свечка пропала!

Так свечка и пропала.

— — —

О. Далмат окрестил дверь, все углы, меня и о. Кулика.

О. Кулик было обиделся и соловьем завоздыхал — «Господи помилуй!» —

в самом деле, что же это он — тоже вроде нечистой силы что ли? Или вещь, как какой холодный угол?

Но скоро и о. Кулик успокоился.

Так и легли: я на «экономический» сундук, о. Далмат на кровать, о. Кулик в соседней маленькой комнате, — как тогда в первую мою ночь в монастырском доме.

И ничего — никакой жути.

— — для регистрации надо было пройти через доктора и получить свидетельство. И этого все добиваются. Иду и я, а впереди Алоиз При. Он очень быстро пробрался в приемную — еще бы на хряще и все такое, как устрица! А я медленно: и лезть высоко, и лестница винтовая и когда я, наконец, поднялся, Алоиз При сделал мне знак — и я догадываюсь: ждать мне не нужно, и я мог спокойно идти. И пошел — да попал не на ту лестницу. И стал спускаться. И только, когда я очутился на земле, я понял: я посмотрел вверх — Боже ты мой, лестница без перил и совсем отвесная! И слышу голос в рупор — так на Gare d'Orsay объявляют об отправлении поездов — таким вот голосом кто-то рассказывает, как я с такой высоты спускался: как легко и прямо и необыкновенно быстро. И тут я увидел: на самой верхушке лестницы вспыхнул зеленый огонек — в бледно-зеленой рамке яркой зеленью — 13.

«Что это значит: 13? часов? или дней? или просто день?» А мне представляют даму — я узнал, это одна из «незанятых» из «Бомбоньерки»! — и вся-то она составная: и ноги приставные, и руки, и голова. Я поздоровался — и оторвал ей руку. «Что же это значит?» И поехал: сижу очень низко, ногами задеваю за землю. Да это бревно на одном колесе! — догадался, — на бревне сижу, колесо впереди. «Как же это мы движемся?» «Да это же железнодорожное!» — смеются. И я очутился в подвале.
И все идут и идут. Но это не собрание, а бал. Танцуют. И так тесно — как склещились. И замечаю: из танцующих выделился Мухин, — в зубах у него вроде цветка крылышки летучей мыши — он очень сочувственно ко мне.
«Понимаете, — говорю — не хочу я принимать участия и зачем ко мне пристают!»
И сам осторожно отхожу. И ушел — за танцами и не заметили. Ушел, слава Богу! А в церковь не пропускают. Только в трапезную. Трапезная очень низкая со сводами. Посреди площадка, на площадке поставлена «кобыла» — и все перепрыгивают. Мухин нацелился и, надо сказать, перемахнул чисто, а я не расчитал и ткнулся носом в землю. И тут-то я заметил, что прыгают еще и всякие звери с нами — змеи, мышата, индиата, все мелочь, и есть совсем маленькие — головастики и два лягушонка в зеленых колпачках, — и, перепрыгнув, все убегают в пещеру. А на пещере горит свечка — —

— Свечка пропала! — услышал я голос о. Далмата и сразу проснулся.

О. Далмат стоит в дверях с подсвечником:

как только рассвело, он поднялся и пошел в коридор искать свечку, пересмотрел все углы и на площадке, и вот вернулся:

— Свечка пропала!

*
* *

Рано пришла сторожиха убирать келью.

О. Далмат рассказал ей о свечке:

подсвечник нашелся, а свечки нет!

— Я побоялась предупредить вас, простите! — сторожиха говорила шопотом, — вечером я одна боюсь и входить сюда, беру с собой девочку: такое творится. Простите.

— — —

О. Далмат и о. Кулик пошли в церковь.

Сторожиха прибрала келью, и я остался один.

Сегодня такое чудесное утро — такой полный влажный ветер и тепло.

«Главное, — думал я, — ничего не надо бояться. И это должно быть первым правилом воспитания. А с детства все так — какая-то робь, все чего-то стесняешься, нет, надо внушить с детства ходить прямо — ничего не бояться».

Чтобы скоротать время, я вынул свой бумажник, весь вывернул — может, завалилось! — нет, ничего не было, только carte d'identité, да конверт с автографом Л. Н. Толстого.

> На прошении в Крапивенскую земскую управу Пелагеи Новиковой о выдаче пособия — муж ее призван на военную службу в Японскую войну — Л. Н. Толстой подписался за неграмотную Новикову и надписал конверт.
> Тонкие вытянутые буквы, как нарезано.

Робко вошла сторожиха, положила на стол письма о. Далмату и на цыпочках вышла.

— — —

Я думал о Л. Н. Толстом —

> Толстого я никогда не видел, не пришлось. Однажды в Москве был я в «Скоморохе» (народный театр) на представлении «Власти тьмы», а потом читаю в газетах, что в этот же вечер в этом театре был и Толстой, стоял на галерке —и я ведь тоже стоял на галерке, а вот и не заметил! В граммофон слышал голос Толстого: говорил он из «Круга чтения» о каком-то мудреце, как этого мудреца ругали и шпыняли, а мудрец, нисколько не осердясь, ответил: «хорошо еще не все обо мне знаете, а то бы и не такое сказали!» Об этом я часто вспоминал в жизни и слышу этот голос не изпуста, а от передуманного и взволнованного сердца.
> А как-то иду я по Невскому вечером — еще в те времена дореволюционные — в час разъезда, а со мной, и навстречу густо шел народ, и было много экипажей и автомоби-

> лей, перейти на ту сторону трудно. На углу Невского и Лиговки слышу, женщина что-то выкрикивает, и листки в руках; забыл, одно помню, начинается: «Льва Толстого отлучили — —», и дальше в рифму что-то очень не лестное. «Иоаннитка!» подумал я. И еще ближе заглянул ей в лицо. А она, как сорока, этот стишок все выкрикивает. А лицо открытое, в черном, и глаза — только очень уж заостренные одной неотступной мыслью. Меня она наверно не заметила, ей ни до кого. «Ну, а если бы, подумал я, прочитать ей сказку о "Трех старцах", такую осветленную верой в чудо и светящуюся чудотворным светом человеческого сердца?» — «Что-ж, сказка и есть сказка!» — ответит она и опять на Невский, и на углу Лиговки станет и будет часами выкрикивать все то же, крепко держа листки — —

«Нет, — думал я, — свечка пропала — тут чего-то не знаешь и не можешь объяснить, а потому и теряешься — вещи живут своей жизнью! — но страшного тут ничего нет. И скажу так: это «бесовское» я не понимаю, но мне чем-то оно понятнее — — подумайте, какую радость, свет и теплоту может дать человек человеку, и посмотрите, что делается на белом свете: в каком несчастье и отчаянии живут люди, или в какой одури беспросветной, где олживлено каждое слово! нет, бесовское мне чем-то понятнее — —»

— — —

Вернулся из церкви о. Кулик.

Стали мы с ним обед готовить. Я попробовал заговорить об Алоизе При.

— Книжек начитался, — сказал о. Кулик, — вот бесы над ним и мудруют. Это, как преподобный Никита-затворник, тоже бесы.

И о. Кулик стал рассказывать из Киево-Печерского Патерика житие Никиты-затворника:

> как к нему в его затвор явился бес в образе ангела, и вначале, как полагается, когда Никита молился, подпевал ему. И уверился в нем Никита, как в ангеле, а когда уверился, тут уж бес за свое и взялся: стал уговаривать не молиться, а читать книги и через книги беседовать с Богом, а через беседы с Богом давать полезные наставления людям —

— Никита послушал беса, бросил молиться, засел за книги и скоро получил дар прозрения и учительства: предсказания его сбывались и слова его были всегда на пользу. И также обнаружилось, что знает он наизусть все книги Ветхого Завета, а книги Нового Завета не хочет ни читать, ни слушать, ни разговаривать по ним. Отцы-то печерские поняли, что причина тут в бесе и, собравшись к нему в пещеру, беса от него отогнали, а его самого вывели из затвора в общежитие. И какой ведь был книжник, а едва научили его грамоте, вот что бес-то делает!

О. Кулик и еще чего-нибудь рассказал бы о бесах, но пришлось прекратить: вернулся о. Далмат. О. Далмат сразу же взялся за письма —

не ножом, ручкой распечатывал он письма, и выходило быстро, но неряшливо.

Один конверт был траурный и без марки. Он вынул траурный листок, повертел и передал мне: Я прочитал:

«Я жду».

И больше ничего в письме не было, только одно это слово —

«жду»

— Безобразие! Хулиганье! И кому это понадобилось? — о. Далмат сказал взволнованно и, положив листок в конверт, сунул в ящик.

За последнее время о. Далмат получал не раз всякие подметные письма с угрозами и руганью — на всех не угодишь!

О. Кулик сбегал за сторожихой. Пришла сторожиха, но она только и могла ответить, что какой-то просил передать в руки —

— Очень смирный.

— — —

После обеда о. Далмат прилег.

И вдруг вскочил, точно что вспомнил и прямо к моему «экономическому» сундуку.

Я следил за ним —

В сундуке он недолго шарил. Вытащил, вижу, Курс А. А. Богданова без переплета, вынул из книги какие-то листочки. Да к столу, к ящику — вынул траурный конверт. И опять, как тог-

да, молча подал мне: и исписанный листок из Богданова и траурное письмо.

Но я, не глядя, понял.

— — —

— Это его почерк, — сказал о. Далмат грустно, — обещал я отслужить панихиду, и вот все откладывал.

На другой день о. Далмат после обедни служил панихиду.

И из церкви пришел он в хорошем расположении, бодрый, как человек, исполнивший свое обещание. И не один пришел он, а с ним и профессор Черенков.

> Профессор Черенков, повидавшись в Подебрадах с нужным человеком, вернулся в Прагу и прямо в Собор, чтобы уж непременно застать о. Далмата: несомненно следы «Дьяволовой Библии» были у него в руках.

О. Далмат еще по дороге начал рассказывать необыкновенный случай со сгинувшей свечей, и почему он панихиду служил по Алоизе При, и как все странно бывает, и не в каких-нибудь там делах мировых, а в самой обыкновенной, далекой от всяких планетных катастроф, незаметной жизни.

Профессор, не скрывая своего удовольствия, подобострастно вытягивал шею.

— А вот и письмо! — о. Далмат выдвинул ящик, вынул траурный конверт и положил перед профессором, — посмотрите!

Профессор взял конверт в руки и стал его внимательно осматривать, потом растерянно посмотрел вокруг по столу.

— Позвольте разрезальный ножичек: распечатать.

— Распечатать? — о. Далмат сказал это также, как мне тогда, когда на его вопрос: «с кем вы там разговариваете?» я ответил: «с Алоизом При».

> Конверт оказался запечатан — и никакого следа от вчерашней шероховатости, где прошлась вместо ножа ручка, все, как срослось, — как новенький! Профессор взрезал конверт ножом — осторожно вынул траурный листок — развернул.

А на листке, как и вчера, тем же почерком, одно:

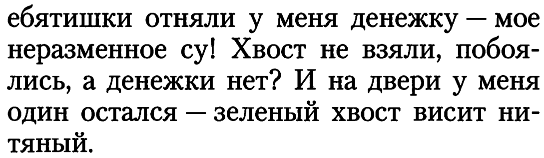
«Я жду».

НАША СУДЬБА

1

Щипцы

Денежка



Ребятишки отняли у меня денежку — мое неразменное су! Хвост не взяли, побоялись, а денежки нет? И на двери у меня один остался — зеленый хвост висит нитяный.



Про это я сказал консьержке, переводя слово в слово — консьержка с газетами, прищурилась, проверяя: хвост на месте, но денежки действительно нет!

— Не может быть, наши дети этого не сделают, это с улицы.

— Нет, нет, ребятишки отняли мою денежку. Про денежку повторял я, и когда вышел на почту.

В нашем тупике на тротуаре играли соседние дети — на одном колесике бегали: два мальчика. Я давно заметил: не дружно они на меня смотрят, а теперь ясно видел — на их лицах злорадство.

Чужим шел я по улице.

С Mozart повернул на Poussin, где почта. Плыли тучи — теплый ветер гнал тучи — и все-таки: осень. Вспомнил я рябину — —

«Да, это очень плохо, когда дети так смотрят!»

И с почты я не прямо домой (не хотелось встречаться!), а обходом.

Есть улица у нас — Docteur Blanche — я хожу на эту улицу, как тайком: пустынно, по весне в садах птицы поют, летом тихо. И есть там тополь, как на станции Круты.

Я ему и сказал про денежку — «денежку у меня отняли!»

И слышу:

шелестит — слушает — слышит.

В тот же вечер я подвесил к хвосту обыкновенное *су* — пять сантимов с дырочкой. И весь следующий день это *су* висело, а к вечеру, когда принесли вечернюю почту, и эта денежка исчезла — опять один хвост!

И сколько я ни вешал — все пропадает.

Подвесил сушеный цветок — цветок оборвали.

— — —

Молча и упорно, изо дня в день, всякое утро я подвешиваю цветы, потом попробовал нацепить колючий орех, потом морскую пупырчатую траву — все зря. И уж, я что теперь: чтобы и хвост не исчез, я его крепко прикнопил — и тут и тут и там.

Я никак не мог понять: кому и какая от этого радость, ну, взяли денежку, ну, раз, другой — цветок, а ведь это каждый день — —! И вот понял: если отнять «неразменное» и все отнимется — цветы и травы.

Что ж висит хвост — но какой это хвост? настоящий хвост это то, что болтается, а тут — кнопка на кнопке.

Петух и кукушка

Почему ночью у нас такая тишина? Беспокойно в доме? Я это вдруг заметил. Не помню, чтобы раньше было. И что такое могло случиться? Ночи теплые — самое лето. (А теплота и затаенное беспокойство — это такое несовместимое!) Конечно, все разъехались: кто на океан, кто в горы, кто так — в деревню; дом опустел — и жалюзы на окнах. Но мое окно открыто на всю ночь — и такая отчаянная тишина!

Утром принесли посылку из Мадрида. Открываю ящик и глазам не верю. Часы! Часы с кукушкой, с испанской кукушкой.

Я выбрал на стене место — повесил часы, пустил маятник и дождался:

вместе с боем выскочила из домика кукушка и закуковала.

И что странно: испанская! – а ведь кукует, ну совсем как наша, как где-нибудь под Звенигородом, в пасмурный теплый день.

И когда наступила ночь, я сел заниматься – и просидел до рассвета, ничего не заметил, никакого беспокойства, никакого отчаяния; я заметил, что когда вот-вот как будто наступало – – но тут кукушка выскочит из домика, закукует, и все рассеется.

К вечеру пришла консьержка, квитанцию принесла: платить за квартиру. Ну, заплатил. Пересчитала она деньги. (Я убежден, она думает, что у меня деньги в банке!) Получила свое (а иначе как же?) и хотела было уходить, но тут подошел час кукушке: кукушка расспахнула дверцы – –

И вот крепко, держа в руке деньги, на кукушкин голос консьержка как очнулась, и деньги – (эти – да «кровь бедных»! – эти ночи, и это – чего стоит добиться заработанных денег! и заботы, от которых тут сжимает? –) эти деньги размягчили.

– А у нас какое несчастье!

– – –

– Нашего петуха зарезали.

– Так петуха нет больше?

И я вспомнил о петухе, и как с год уж по петуху ночами я замечал часы: прокричит «первый» петух – еще могу посидеть, а после третьего – пора спать.

– И как нехорошо все вышло! Что бы предупредить, нет! Один жилец в нашем доме, это он – ничего не говоря, пожаловался в полицию на петуха: «по ночам петух ему спать не дает!» И вот пришли и, ничего не говоря, петуха зарезали.

– Так вот оно отчего!

Я все понял: вот отчего по ночам беспокойная тишина – как будто чего-то нет, чего-то ждешь! – петуха зарезали!

– – – да, я его уж несколько ночей не слышу.

– И запретили держать.

– Ваша кукушка! А я думаю себе: где это кукушка – на весь дом кукует! С ней ничего нельзя, не пожалуешься! Это хорошо, что в доме кукушка.

По-разному кукует кукушка:

то горько – или петуха жалко? или уверенно – ведь, она теперь за петуха!

И мне петуха жалко –

И все живое и животных

«— — вчера прочитал в газетах: в Брюсселе в прихожей Судебной палаты какой-то подал письмо на имя “Monsieur le Ministre”, просит, чтобы немедленно был проведен закон: “запретить мучить животных!” Подал, сел в кресло и застрелился. Значит — — еще есть на свете хорошие люди!»

— — —

« — — нет, вы что ни говорите, добрых куда больше, чем злых! Доброта — это такое, без чего жить невозможно, и мы не замечаем; а злое — это очень больно, а боль помнится долго; и вот остается: злых больше!»

Да, это правда, только добром и жив человек, и животных не надо мучить! Петуха несчастного зарезали — потому что пел по ночам и пением не давал спать, будил петух-будимир! Я о петухе помню, но еще никак не могу забыть: на паперти у St. Sulpice всякое воскресенье, как зазвонят к вечерне, мать стоит с двумя детьми, просит — — а там внутри, в самой церкви, вечерня, не простая, а как наша «пасхальная», открыто, торжественно, мне все слышится пасхальное, вот услышу: «да воскреснет Бог!»

И еще: сидел я в русском книжном магазине — что может быть печальнее зрелища «русский книжный магазин за границей!» — все книжники там остались в России, а если кого сюда и занесло «случаем», тому книгу никак не купить, а большинство — и вообще-то, и там, в России живя, книг никогда не покупали! — потому так и печально и одиноко в русском книжном магазине.

Я рассматривал книги из России: «новинки!» и мне вспомнилась Вологда — мое житье по провинциям — там вот тоже с книгой бывало «с запозданием». Я один сидел, больше никого.

И только какая-то старая женщина: она пришла — не за книгой.

Заглянул я от книги: одета прилично, очень худая, высокая, лицо гордое и чего-то жалкое. Разговаривает с хозяйкой книжного магазина: пришла просить —

«посодействовать на счет приискания уроков!»

— Нельзя ли объявление вывесить!

По разговору я сразу узнал: не русская —

не русская, англичанка, а как русская: двадцати лет в Россию приехала на место гувернанткой, а теперь ей 78! вся жизнь прошла в России. А попала в Париж вместе с теми московскими, у которых служила: были они когда-то богатыми, а теперь кое-как живут и не могут ее держать. А у нее никого нет ни в России, ни в Англии, и сейчас она у знакомых «пока что» ютится на диване.

Она согласна быть воспитательницей —

— за стол и комнату —

— — —

— или за стол —

— — —

— или за небольшую плату —

— в прошлом году 10 франков за час получала, в этом году согласна за 7 франков в час —

— — —

— безвыходность!

Книги я не купил.

Я вспомнил — читал в газете — что где-то против русской церкви есть русский магазин, где вы найдете все русское, даже московские калачи:

«Хорошо с калачом чаю попить — вспомнить Россию!»

А и в самом деле — — так книгу я и не купил.

Да, хороших людей много на свете и животных — — не надо мучить — «безвыходность» — —

И я никак не могу забыть.

Крокмитэн

Теперь я доподлинно дознался, что во Франции никакой Буробы нет, а есть Крокмитэн (le croque-mitaine): как у нас Буроба, ходит этот Крокмитэн с мешком за плечами, топает по лестнице и, «которые дети спать не ложатся или по ночам рыбку ловят, в мешок собирает!»

Работы ему никакой — спать ложатся вовремя, спят крепко и приучены ночью проситься! — и он у всех на глазах тут у нас, на углу Mozart и Poussin устрицами теперь на воле торгует: надо же как-нибудь прожить положенный срок!

Раздумывая о превратности судьбы человеческой и нечеловеческой, — в самом деле, Крокмитэн около устриц! — хорошо

еще, когда сухо, а вот как пошли дожди, ему непривычно (это с человека семь шкур дери, все нипочем!), зябко ему и он все в «бистро» бегает погреться! — так вот раздумывая о судьбе Крокмитэна — мне его очень жалко! — вышел я, как всегда поутру, папирос на день купить и хлеба.

И только что спустился я на этаж ниже, а из дверей — это как раз под нами — дама — прямо на меня:

«я ли это живу над нею?»

— Очень беспокойно! А вчера вечером раздавались такие шаги, как солдат ходит — из Марокко.

— Это не у нас, — сказал я, — вчера я лег рано, часов в 12-ть, и никого у нас не было, заходил один ученый, но он легок, до полу ногами не достает, его как и не было, и еще музыкант, но музыкант двадцать лет прожил в Германии, и хозяйки так его пришпорили, что он, и надо и не надо, на пяточках ходит, а говорит шепотом, и нужное не услышишь.

— Нет, нет, это у вас! Когда ваша кукушка (мои дети хорошо знают вашу кукушку!), когда кукушка прокуковала полночь, раздались шаги, как солдат ходит — из Марокко. Очень беспокойно.

— Не может быть, у нас вообще тихо, а обыкновенно я ночью занимаюсь.

— А мы ночью спим! — перебила дама.

— Я понимаю, но это не я...

Тут вступилась консьержка: она около лифта чего-то чистила и, слыша сердитый разговор, поднялась на нашу площадку, — консьержка подтвердила, что стук это не у нас, что я, она сама видела, вечером надеваю туфли, чтобы не топать, а что, действительно, этой ночью раздавались шаги —

— Грубые, тяжелые, как солдат ходит — из Марокко.

— Нет, — настаивала дама, — это у них! Когда закуковала кукушка — —

Я подбирал слова, чтобы как-то оправдаться, но все у меня путалось, и вместо французского выходило по-немецки. И вдруг я вспомнил детей этой дамы, — всегда в зеленом, как лягушатки, и которые всегда на меня смотрят и ласково и любопытно: они, конечно, думают, что я и есть та самая кукушка! — и вспомнив о детях, я понял и нашел слово:

— Позвольте, — сказал я, — это крокмитэн!
— Крокмитэн! — дама улыбнулась, — крокмитэн!
Но это на одно мгновенье — и улыбка пропала, а глаза стали опять (смотрят и не видят) и опять, только что-то очень уж быстро, едва разбираю:
— — — мой муж — ночью спят, а не занимаются —
И также быстро пошла.
И я за ней.

она — на базар,
я — за папиросами.

И какая стена — я чувствовал — непробиваемая! — отделяла ее спину от моего лица. И я ощутил в самом закрутье моих слов, и чувств, и мыслей бессилье и ничтожество всяких слов и чувств человека к человеку!

Хвост оторвали

Чего там говорить! — оторвали! И осталась одна кнопка с мясом.

2
Без хвоста

Полтарифа

Нынче осенью, знаете, хвост у меня оторвали! Я еще подумал: теперь конец, шабаш толкучке! — безхвостье мое всех запутает — «великий затвор?» — будут подыматься этажом выше (русские) и еще выше (там французы) и еще (опять французы), будут звонить в чужие квартиры, а мимо моей проскочат (ведь, всем памятно: висел на двери зеленый хвост!), меня больше не найдут.
«Раз хвоста нет, стало быть, не я!»
Я ошибся. Как с хвостом, так и без хвоста (по кнопке что-ли? — кнопка, действительно, как хвост сдирали, так с мясом и лепится!) дорога одна без недоразумений. И сегодня звонок, а такой час, когда не ждешь, около двух. Почтальону поздно — обед: кто обедает, кто салфеткой губы вытирает — кого ж бы это?

Так и знал! А повелось, как сюда — на Mozart переехали, третий уж год: в неурочный час звонок и неуверенно (или очень) входит незнакомый:

— — ?

«Я самый и есть!» — говорю.

И в мою комнату, — «пожалуйте».

Усаживаю гостя перед столом спиной к «Russie» (карта) под гоэмон, волшебную морскую траву с океана и одеревенелых богемских гномов, а прямо в глаза ему — на веревке болтается: вокруг морской звезды золотая рыбка, «красный октябрь» (печенье), лягушка-квакушка и крабья клешня. («Ей-Богу, не туда попал, ну все равно!») И начинается.

«Полтарифа», — говорит он, вынимая замуслеванные бумажки.

Разобрать невозможно, да я и не пробую: это о каком-то уплаченном полтарифе на поездку в Бельфор или в Марсель.

«Не хватает всего 10-ти франков!»

Или:

«Нет ли каких подержанных штанов?»

Первое время — я еще ничего не знал! спрашивал: от кого, кто ко мне направил? И всегда назывались лица, фамилию которых знаю, но не знаком, или такие — я очень хорошо знаю, что про меня не слыхали. Первое время — не сразу все узнаешь, а сообразительности нет! я имел неосторожность спрашивать гостя о себе: знает ли он, к кому попал, чем я занимаюсь? И ответ был всегда неуверенный:

«Доктор...»

Теперь я ничего не спрашиваю: «ни откуда, ни к кому?» Выслушав знакомые «полтарифа», молча показываю на коробку из-под зубного порошка «Биоксин»: там у меня перегорожено — кучкой золото (французское) и куча — серебро.

«Сделайте милость!»

И жду, что скажет гость из жизни.

— — — о «болезни», об «опасной операции», о «ночи-ночах, проведенных на улице», о «только-бы-как-нибудь собрать деньги и уехать», «только-бы-как-нибудь устроиться» и, конечно, о доме — о России — о Москве — «по переулочкам пройти» — — —

— А где же вы до болезни? вы служили? — спросил я моего несчастного гостя: очень уж показался он мне квелый и расстроенный.

— При слоне, — сказал он, — в цирке: слона убирали, чистил, мыл. Слоны тихие! этакая огромадина, а хвост ерундовый — десять-пятнадцать франков вырабатывал.

В С. С. С. Р.

« — — Федор Назарыч, вот удивитесь — только у нас это совсем обыкновенное дело! — вашей матери особенно будет удивительно. Но, по крайней мере, теперь, уж будет вам ясно о здешнем. Сужу по письмам, вы совсем не то себе представляете: вот меня не раз просили о деньгах, а когда я отвечал, что никак не могу, что и существую-то я только чудом, не верят, чувствую, и больше ни строчки, как отрезало. Федор Назарыч, передайте вашей матери: помните, Николай Павлович? сын Павла Павловича, нашего хозяина! нынешним летом определился он на должность швейцара: на «Декоративной выставке» при парфюмерии — 600 франков в месяц. А старушка-губернаторша, квартира-то, где еще потом матросы вселились, в умывальник-то... ну, той плохо; собачонку у здешних господ прогуливает! Встречаю как-то поутру, узнала меня (хоть в той-то жизни мы и не были знакомы!): «В няньки бы куда определиться!» — и смотрит, и так смотрит на меня, знаете, словно я могу что-то сделать. А что я могу сделать, Федор Назарыч, посудите сами — — если вы кому расскажете, может, живет в доме какой писатель, не поверит: за «сорок тысяч знаков» — 20 рублей! — сорок тысяч букв мне написать? сколько это нужно?! — — впрочем, и книг не издают, да и не читают. Советовали попробовать по поварскому делу... но опять-таки испытание — и не выдержишь! — забракуют. (А какой, кажется, стаж во всех отраслях прошли мы за наши-то годы тогда в России! или на все есть своя пора?) А помните, над хозяйской квартирой самая большая — Л., помните, ведь это чуть разве Терещенок победнее: этот устроился — в сторожах под Парижем на даче, там ему и комната дается, ну, такая, как вашему отцу дворницкая, когда вы маленький были. А недавно встречаю я человека, старый такой из б. военных, раньше-то такой раздражительный, все сердился, все жаловался, да и понятно, не знаешь, ведь, куда

и приткнуться: стены высокие, а все, как одна площадь — «Конкорд» — сунься-ка! очень бедовал, а тут вижу, как просветлел весь. «Слава Тебе, Господи, — говорит, — устроился!» И смотрит добрыми глазами (а ведь это такая редкость!) — устроился! «Прежде, бывало, и интриги всякие, ссоримся, не знаешь, что и сказать, везде дипломатия, политика, всякий тебя норовит подсидеть, ножку подставить, да и сам не плошай. А теперь знаю свое место, и никто не позавидует!» Старик устроился в автомобильном гараже ночным сторожем. «Часа два дают поспать ночью: чулан, там старые шины сложены, в чулане — доверяют!» А вы представляете, что такое в гараже ночью, в чулане, где сложены шины — сырость-то и этот воздух? «Доверяют» — это тоже большая редкость! А и в самом деле, должно быть, лучшее место, «свое место» в жизни, когда никто не позавидует. Но есть ли, Федор Назарыч, на земле такое место, такая должность, такой чулан — — »

Царевна-лягушка

Вечером сидел я над книгой и очень ушел в книгу, сам с собой разговариваю. И на стук вскрикнул, как уколотый. (Всегда так!) Темно. Не вижу — нет, и не письмо, а посыльный! пакет — взял я белую коробку: «платить?» «Заплачено». Дал я на чай. Коробку положил на камин к зеркалу. И опять за книгу, забыл и про коробку.

Сели чай пить, я и говорю:

— Коробку принесли.

— Какую коробку?

— Посыльный, и ничего не надо платить.

Да с камина ее, а как развернули — а там, ну, с роду я не видел такого! — тонейшее зеленое платье и большой зеленый камень, где застежка, удивительное платье!

— Нет ли какой записки?

И весь вечер проговорили о платье: кто б это мог прислать такое богатое платье?

— 1.000 франков, я думаю, стоит!

— 1.000! за 1.000 такого не купишь. Изумительное платье — и до чего легкое! — и все как светится и этот зеленый камень!

И стали перебирать знакомых: кто мог это сделать — послать такое платье? — любимый цвет и мерка подходит.

— Ксения Леонидовна?

— — —

— Петр Петрович?

— — —

Такого платья ни у кого нет! — Куда только в нем выйти? — На вечер писателей? — Вспомоществование неловко будет просить: всякому в глаза бросится. — Ведь вот никуда и не выйдешь. Для меня это тысяча, а опытный глаз и в пять оценит, а уж пойдет — десять тысяч!

— Ну, дома нарядиться. Придет кто-нибудь вечером... Познерам покажем: вот удивятся! А я буду рассказывать про царевну-лягушку, как я написал записку: «пришлите мне зеленое платье!» — разорвал ее на мелкие части и в полночь выбросил в окошко, а на другой день вечером стук, отворяю: клешня или жук и подает мне белую коробку; а как развернули — —

— Есть же на свете люди, — говорю, — я всегда верил и верю, и сейчас это так ясно, и вы ничем меня не разубедите! настоящие люди, которые могут тебе сделать что-то и безо всего.

И я заснул под эту мысль: «на свете есть настоящие люди!» — и чудно: приснилась мне царевна-лягушка —

> зеленая, настоящая, и на брюшке зеленый ясный, камень болтается, и лапкой своей зеленой мне показывает на коробку из-под сардинок, а я очень все беспокоюсь: говорят, первые два автомобиля разбиты, а я чувствую, что и третий разбит! я в нем только что ехал; но чувство мое, будто сию минуту еду, и уж стенка к стенке сходиться стала, очень жутко и пусто!

Тут я проснулся.

Утро — (почему и хорошо поутру отделывать написанное за ночь: ясный глаз!) — решение:

«Платья не ворошить, а так и оставить в коробке: подождем, что будет».

Вышел я за утренними покупками и возвращаюсь из «S. P. O.» — на нашей улице это турецкий магазин, турка там сидит настоящий в зеленых штанах, с четками, своему турецкому Богу молится, а вокруг гостинцы разложены: рахат-лукум, розовое варенье (из Персии), фисташки, «русская пастила» (рябиновая) и йогурт. С горшочком йогурта подымаюсь к себе — — а у наших дверей консьержка с тряпкой, и какая-то дама.

Я как увидел — и у меня в глазах, как во сне, стенка за стенку.

— Не оставлял ли у вас вчера посыльный платья? Тут уж я разглядел: дама нарядная —

— Как же, — говорю, — оставлял.

— Он ошибся. Этажами ошибся.

Отпер я дверь. Вместе вошли. И сейчас же в другую комнату — да коробки-то не могу найти — нашел! — в одной руке горшочек с иогуртом, в другой эта коробка.

— Пожалуйте, — говорю, — вот.

Вот — —

И кнопку содрали

Содрали! Под «всеобщую перепись» — — одна теперь дырка, где кнопка сидела, ищите!!!

3

С дыркой

Маляры

Больше всего люблю клеить и красить. Оттого ли, что прадед мой — суздальский красильный мастер или тут не Суздаль, не прадед, а таким зародился я на свет: мой стих и страсть — весь мир склеил бы, и выкрашу землю в самые яркие краски!

Ранней весной пришли маляры красить окна. Я им очень обрадовался: запах свежей краски и кисточки! Сказали: «на полчаса». А и день красят, и другой. И это только основа: риполин — «три господина в соломенных шляпах друг другу спины красят, а первый столб» (реклама в мэтро). Окна раскрыты — холодно, дверь настежь — дует; каждую минуту — мазнет и выйдет — ходи, затворяй. Пол наследили — не ототрешь. Брожу по комнатам, не найти уголка присесть и заниматься, нет скрыти (я не могу заниматься ни на людях, ни на воздухе!), везде красят, и голоса.

Как я люблю краску, этот яркий оранжевый риполин! Но когда же это кончится, конца краю не видно. «На полчаса»? Мазнет и выйдет! Заниматься я не могу — третий день. Да и невозможно: поют! И в комнатах, и слышу — на лестнице (там красят белым). И какой же это маляр не поет? Ему это привыч-

но и необходимо, он без этого работать не может. И никто не жалуется: пускай себе поет, лишь бы дело делал, скорей кончал: от краски не продохнешь. А мне не краска, я под его пение не могу работать. Ишь орет, несчастный, на лестнице: его дело, и он, и никакого дела ни до кого! Все соседи на службе, им и горя мало, они не замечают. Третий день. Измаяли, измучили. Я надел пальто (знобит чего-то), простудился, должно быть. Кажется, кончают. — — Наконец-то! — — Да, я один, и только любимый запах краски! И двери закрыты, и окна закрыты. Ушли!

Прибрал я комнаты. Пятна на полу «костикой» намазал, затопил камин. Пойду, а вернусь, сяду заниматься.

Тихонько приотворил дверь: не выпачкаться б.

И что же вы думаете: около звонка по стенке, где когда-то висел хвост, а как оборвали, кнопка сидела, вижу — все свежее, дотронуться, пальцы прилипают! — а дырку-то не закрасили, дырка осталась, ну как кнопке всадиться, эта. А я-то все жаловался!

И теперь по дырке я узнаю свою дверь. Задумаюсь, вбегу этажом выше и к стенке — пощурюсь: если гладко, стало быть, свою пробежал, и сейчас же назад; и опять к стене: дырка есть! — и уверенно берусь за ключ.

«Советская власть»

Поутру в руках «pain fendu» на франк (наш «ситный» напоминает!) медленно подымаюсь к себе: к дождю нога чего-то (это моя невральгия всегда вот к дождю!), не ходко. А впереди меня еще медленнее, топочется. Немудрено, и догнал. Как раз на площадке около нашей двери (дырка есть, стало быть, наша!). Заглянул я в лицо: русская, сразу узнал, так пожилая женщина, одета в коричневое старомодное, из России, поди, вывезено, или кто тут отдал, русский же. И она остановилась. Теперь ясно вижу: я вижу — вкруг глаз, как выжжено, и понимаю, какой труд эти жги вокруг глаз! А смотрит, точно виновата в чем. (Нет, это не от вины, нет, это от нужды это!), заговорила по-французски. Задохнулась. (Да, тяжело подыматься!).

— Это третий этаж?

— По-ихнему второй, — говорю по-русски — по нашему третий.

А она, держась за перилы — — (кроме виноватости вижу еще и боль, может, тоже невральгия?).

— Да вы бы, — говорю, — на лифте: лифт действует.

А она так смотрит и не глазами, а эти жги вокруг ее глаз безглазно глядят.

— Неловко беспокоить — — советская власть приучила!

— Да ведь это машина, какая же — и беспокоить некого.

А она сняла с перил руки идти.

— Так на третий еще выше?

— Один этаж.

— Большое спасибо. И пошла — едва-едва.

А я взялся за ключ — я уж дошел.

«Советская власть!» что же это такое? — — «не беспокоить?» или сознание какой-то вины, когда со всем миришься? или запуганность («не беспокоить!») и покорность — а какая кротость и незлобивость — судьбе!»

Без свечки

В Вербную за всенощной. На «великом выходе» все зажгли свечки, как полагается. И я свою зажег. И вижу, у соседа нет свечки, одна в руке голая веточка — «верба». И я, глядя, не без сожаления подумал: «верно, не знает, что надо с вербой и свечку (много теперь таких, не бывавших в церкви, в церковь ходят!) или, думаю, забыл купить, а к свечному ящику протолкаться немыслимо, уж больно много народу!» И погоревал за него: у всех свечи, а он с веточкой, и веточка-то и тоньше всех, так прутик, и обшмырганная, точно с полу поднял, А лицо усталое. И будь свет, свет окрасил бы.

Держу свою вербу, свеча горит ярко. Я счастлив. А нет-нет да и посмотрю: «без свечки!» И мне неловко, попробовал я свою пополам, да ничего не выходит: фитиль руками не разорвешь, а ножика нет. Вот несчастье-то!

Запели «величание» — — и вижу и мне как-то в сердце больно, не плохо, а хорошо больно (это когда человек подымается, такое чувство): у соседа-то, вижу, тоненькая его веточка голая освещена, ну как огонек внутри горит, да так светло, как светляк, изнутри ярко — — и моя мне показалась такой тусклой и темной (сухая!), такой бессветлой-бессветной.

И уж мне стыдно: зачем я не отдал ему моей свечки, и не пополам, а всю? А теперь ему не нужно.

И я виновато глядел на него, на его освещенное огоньком лицо (теперь мне ясно: беда! — беду! — беды принял этот человек, и видно, очень бедный), на его губы беззвучно, но видимо повторявшая за певчими величальный стих: «величаем тя — — осанна в вышних!»

А я молчал — не смею.

Золотая цепочка

Кто не знает дорогу на бульвар Распай угол Rue de Rennes. — «Креди Мюнисипаль де Пари» — ломбард! Входишь во двор, всегда народ!

В Великую Субботу поднялся я с утра: надо загодя, до 12-ти успеть. Есть у нас одна единственная вещь — золотая цепочка. И золотая память: это первый мой гонорар (за «Пруд»), купил у Фаберже в Петербурге — 80 рублей. И до сих пор она с нами. Только на руках у нас она редко: в казенном футляре больше лежит в ломбарде. Подвернулся случай, выкупил, а день-другой прожили, и опять несешь. В России в ломбардах давали за нее 40 рублей, здесь, в Париже, сначала 100 франков («русское золото!»), а теперь вот до 215 — и доценилась.

Оценщик проверил мое «ресеписе» (расписка на правожительство вроде бессрочного паспорта), дал металлический номер и выкрикнул:

— 215.

А как выкрикнули мой номер опять, я показал мой документ и конверт — мне адресовано (от художника Пуни, храню на такой случай), все, кажется, как следует, а кассир денег не выдает, говорит, моей подписи нет. (На «карт д-идантитэ» я подписался, а как обменяли, на «ресеписе» забыл). Не может выдать.

— Идите в префектуру и там засвидетельствуйте!

Идти в префектуру! а ведь это значит целый день ухлопать, да кроме того суббота и 1 мая. Нет, это никак невозможно. И я не могу без денег: завтра Пасха.

— Завтра у нас Пасха, — говорю, — никак невозможно, надо купить кое-чего, и красок надо, яйца красить.

— Нет, нет и нет! — сердитый такой и так смотрит: может, думает, я украл? — нет и никогда!

Тут оценщик подошел: он ведь мой документ смотрел и номерок выдал, стало быть, он не нашел ничего, чтобы «никогда».

— Идите, — говорит, — в контроль и объясните.

Я в контроль (дверей мне не надо показывать, не впервой!). В контроле справились по книгам — а ведь цепочка только что название моя, а в книгах она, как своя, ломбардная: выдадут, в руках подержишь, и опять ложись в казенный футляр. Контролер и пишет бумагу, и по бумаге выходит, что мне следует выдать. Я подписался и назад к кассиру. И контролер за мной с бумагой.

И сцепились они, кассир с контролером: один — выдать, другой — никогда. И такой крик, чуть бумагу не разорвали. Кассир крупный, контролер маленький. Да за контролера оценщики: бросили прием, высунулись сюда и ничего не говорят, животами помогают.

Кассир, отхлопнув в который раз «никогда», из клетки вышел и, вижу, направился прямо в уборную. А контролер бумагу на стол и в контроль.

Тут я барышням — барышни, что записывают — говорю:

— Никак невозможно: завтра Пасха. Не могу ж я идти в префектуру заверять подпись. Я не успею. Надо яйца красить.

И, конечно, все за меня, голосом ничего не говорят, глазами соглашаются.

А порядочно-таки кассир пропадал, точно он там завтракать расселся, нет и нет. Ну, кончил наконец! — идет, слава Богу! — идет, разминается, и в свою клетку.

А я, как будто ничего и не было (ведь когда так надо, откуда упрь!) сую ему в клетку номерок. И взял. На меня не смотрит. И вижу, вынул деньги, считает:

— 100 — 100 — 10 — 5 = 215.

— — —

Вот, говорят, один народ хороший, другой мошенник, третий — — нет, я сколько раз это вижу, дело не в народе, а всякие бывают люди, а «народы» одинаковы.

— 215! спасибо, пойду яйца красить!

Посылка

Сколько было всяких тревог и треволнений с посылкой: посылка собиралась в Россию. Конечно, все поношенное, но не рвань, носить можно. Да так и надо, так и просили: за поношенное не берут пошлины или очень мало. Я сделал надпись и так

вывел буквы, слепой разберет. И послали. И ждем письма: как-то пришлось, в пору ли, и все ли дошло благополучно, и кто чего себе выбрал. И получилось письмо: «посылка пришла, хлопочем о снятии пошлины». Ну, еще бы, какая же пошлина, это не парфюмерия и не модные кофточки, не зеленое платье с зеленым камнем «царевны-лягушки» от Мадам Ксаны, это совсем незаметно, но все теплое, к зиме самый раз.

И опять ждем. И уж стало забываться. Сколько недель: конечно, получили! А о получении известить успеется. И я совсем забыл о посылке. И если бы не росписка — «13 марта — 12 франков — URSS» — и следа никакого не осталось бы. А сегодня возвращаюсь я домой, ловит меня консьержка.

— Посылка, — говорит, — был почтальон, я платила.

— Какая посылка?

И вспомнил, и хочется, чтобы это была какая-другая посылка, гоню мысль об «обратно»: «не приняли, и вот вернулась!»

— Обратно принесли! — и она сказала, сколько платила, мне показалось: 52 сантима.

— Так я вам сейчас заплачу! — и я повторил, 52 сантима.

— Франка! — поправила консьержка, — 52 франка.

Я уж вынул из кармана мелочь, держу в горсти.

— Я сейчас — — я вам там заплачу. (Очень меня это ошарашило!).

Она подала посылку — (грязнущая — сколько таможен прошла! и знакомый запах почтово-телеграфных отделений — Россия!) — и вот накладная, в ней все расписано, а в итоге: 52 франка!

— А завтра если, почтальон говорит, еще дороже будет.

Клад

Когда нет денег и достать негде, а непременно надо достать, чтобы расплатиться — консьержке наприм., кому хочешь, а консьержке нельзя не заплатить! — повторяется старая история: ищешь денег вокруг себя, не завалилось ли?

Ищу, а не знаю, где еще может быть, кажется, все уголки и в столе и по карманам, и в коробках шарю и выворачиваю, — а ничего. И там, где и не нужно, где ждать нечего, и туда заглянешь. Да попусту. Ведь сколько раз заваленное искал!

Квартира у нас меблированная. И есть «меблированная» подушка. Стал я постель оправлять, взялся за эту подушку взбить и чувствую, ухватил чего-то твердое, пощупал — что б это могло быть? — — футляр?

— Футляр, — говорю, — в меблированной подушке: драгоценные камни или бриллианты!!!

Да с подушкой в кухню. Взял ножницы, подпарываю осторожно, кабы перья не выпустить, а разлетятся, не соберешь. Нелегко это: на машине строчено. Футляр придерживаю, боюсь упустить: юркнет в перья, лови потом.

«— — и какие это могут быть драгоценности? Бриллианты, конечно. А сколько денег! На все хватит: и консьержке надо и долг Кирееву и... Должно быть, кто до нас жил в этой квартире, запрятал в подушку. Это японцы. И забыли. А может, до японцев еще кто. Чудаки! Впрочем, это бывает: сунешь и забудешь».

И распорол я пальца на два ухватить. Загребаю палцем, а футляр-то, как я и думал, в перья и юркнул. Ловлю, не могу подцепить. Упустил! И пришлось еще подпороть — полезли перья. Досада! Ну, да вычищусь. Запустил всю пятерню — готово, вот он!

— — —

— Футляр, — говорю — никакой не футляр, а во — — ! — и показываю чурку.

И досада: только подушку разворотил.

Пока что заколол английской булавкой. Пособрал с полу перья. Почистился.

«— — и кому пришла в голову такая дикая мысль: чурку! самую обыкновенную чурку в подушку прятать?

— Для весу? — Ну, а соблазн-то какой: футляр! Может, не я первый нажегся. И японцы ковыряли. Да назад сунули».

Чурка! — чуть выдолбленная сбоку, вроде лица что-то — да, плоское лицо, такое бывает — и перышко прилипло.

Стал я надпись на чурке надписывать: «такого-то числа, когда не было денег, а надо было, нашел в меблированной подушке, приняв за футляр с бриллиантами».

— — —

— Да это чур! — — — чур и есть! Никто его и не прятал. И ни для какого весу. Это он в перьях дом себе сделал, чтобы потеплее и помягче.

Я очень обрадовался.

Ведь, понимаете, «чура» найти — это всем кладам клад, это «оберег» дому, это к счастью — и денег достанем и с долгами расплатимся! — «чур» караульщик межей, земли («черезчур», т. е. слишком, вот откуда это русское слово! а «зачураться» значит оградиться, по-современному, застраховаться от беды и несчастья!) — вот счастье найти «чура»!

Взял я его за «лапки» и бережно на стену к «эспри»: перо на нем, ну вылитая бородка, и кудластится.

Финотдел

Почтальон принес необычное заказное письмо — в красной обложке! — он при мне ее и сорвал, была приклеена к конверту. Я думал, денежное — откуда-нибудь из Бельгии или из Голландии. Дал почтальону 50 сантимов, не 25, как всегда. И когда он ушел, я стал разбирать: на конверте написано — *Ремизону* (Remison), но адрес правильный. Осторожно подрезал — а денег что-то не видно, и не из Бельгии и не из Голландии —

> здешний районный финотдел — «опросный лист» — явиться к инспектору и дать объяснения на прилагаемой ведомости.

Идти в новое, неизвестное мне учреждение, мне всегда приятно, Россию напоминает (в России-то за последние годы сколько выхожено!), а обясняться я тоже непрочь: очень полезно для практики языка.

В ведомость я вписал свой доход и пошел на разведки, чтобы точно узнать, где и в какой час прием. И, тычась не в те двери, (дырки-то нет!) в конце концов нашел-таки, что нужно, и до всего дознался: «в субботу до обеда».

Знакомые говорили: «ничего! с вас ничего не потребуют: ваш доход ниже нормы, такое не облагается!» А в субботу, когда я пришел к инспектору, разговор совсем другой, и пришлось мне для практики языка давать такие объяснения, вот уж никак не готовился!

Доход мой, не подлежащий обложению, — в нем инспектор не сомневается («русский писатель», какой же доход!), а вот, не имея дохода, подлежащого обложению, я как-то (в этом вся и загвоздка) ухитряюсь занимать меблированную квартиру в Париже.

— Да это милостыня, — говорю, — живу на милосердие! (И по-русски: «млекопитание»!)

Инспектор на бумажке высчитал: сколько за квартиру плачу, да на еду прибавил. И выводит доход — *американский!*

Я говорю:

— Вы меня с кем-нибудь спутали: я Ремизон...

Нет ни с кем он меня не спутал, а раз меблированная квартира в Париже, значит, налог по квартире, а откуда и как — милостыня или милосердие (млекопитание!») — это не важно.

Вот тебе и необлагаемый!

Может я невнятно выразился?

— — —

И уж дома взял я чистый бюллетень и, что словами было сказано, буквами написал: и почему «меблированная»? — (да ведь, взять чтобы немеблированную, конечно, это намного дешевле, но для этого надо иметь сразу на руках большие деньги, чтобы заплатить за «последний год» по контракту или отступного, да еще в контору и вообще подмазать, а таких денег негде взять, и таких денег никто мне не даст!) — и почему в Париже? — (ну, конечно, под Парижем дешевле, но как надо высоко взлететь, и много ль из здешних своих Анатолей Франсов позволяет себе роскошь жить не в Париже, ведь меня и всех нас ни в какой Clamart не поедут разыскивать, и если я что и урву, не подлежащее обложению, так только тут, сидя под рукой или под носом!) — и о милостыне, которая не есть доход, и не капитал, процентов не приносит, а дело сердца, а человеческое сердце капризно: сегодня — отзовется, а завтра — камень скорей услышит! Все это я написал да еще, для предупреждения штрафа, выписал и свои доходы за текущий год. И заказным.

Да ничего не выйдет! Ну, все равно: кроме книг («орудие производства») «морское дно» — мои игрушки!

Покойник

Я поздно вернулся домой с вокзала. И долго сидел. Все прибираюсь. Я один, и прежде всего надо навести порядок и с завтрашнего утра уж в полном затворе начать работу. И в молчании замечать сны.

Прибираюсь, раскладываю, и странно: время совсем позднее, а на лифте все подымаются, точно катается кто.

«Должно быть, — подумал, — (догадки мои всегда в сторону!) — “день русской культуры”, откуда-нибудь с вечера!»

Да так на «русской культуре» и остановился. А на другой день узнаю: в нашем доме покойник, вчера помер. Вот оно, отчего катались на лифте!

И вспоминаю: еще совсем не старый — я его не раз встречал — моложе своих лет — живой и быстрый. «Помер от сердца». Да, я помню: что-то было в его лице от «сердца». И прохворал немного. Неделю не пролежал. — — И еще я вспомнил: последнее время около дому бегала девочка, играла с теми мальчишками — теперь я это знаю — хвост у меня оторвали! А вот больше нет, не вижу. Это его девочка.

Вечером весь дом затаился. И, должно быть, многие разъехались. Я посмотрел во двор: все жалюзы закрыты и только на самом верху лиловые шторы и сквозь — огонек: это где покойник лежит. И такая тишина.

И часы присмирели: кукушка кукует глуше. Сижу, занимаюсь — тишина мне хорошо — да уж тихо больше, чем нужно. А лягу, потушу свет — и мне кажется, что в доме нас двое: там наверху и я. И больше нет никого. И ждешь, хоть бы свисток какой или ранний трамвай — и куда-то все исчезло, и автомобилей не слышно. А как услышишь, как радуешься: там жизнь! — а то тишина, вот она какая *мертвая* тишина.

Под дверь подсунула консьержка извещение в траурном конверте: такое всем жильцам дома. Извещалось о смерти — извещали родственники. Я совсем отвык в бродячей жизни без дому, точно из другого мира: «родственники!» — дедушка, бабушка, отец, мать, братья, сестры, двоюродные братья, племянники... «семья!» Когда он женился, тоже такой же был перечень. Похороны в субботу. Еще две ночи — —

В субботу я долго не спал, а когда рассветало, чуть заснул и сейчас же проснулся: окно раскрыто, слышно — наверху плачет.

« — — последняя ночь и вот кончается: родился человек, началась жизнь — сколько огорчений и сколько радости! — и пришел срок жизни — конец!»

И эти слезы — которые я слышал, да там наверху он слышал, только никак не отзывался — были, как самый прожигающий огонь, сжигающий все, все дни и огорчений и радости:

«— — почему это так, этот конец? пришел конец, и нельзя вернуть и никак поправить! последние часы остаются — —».

И под плач — — как дождевые капли, сначала беспокойно, потом ровно падал на подоконник прямо над моей головой, убаюкал меня неизбежным, неотвратимым «концом» —

> вижу: вошел я в уборную (это хорошо — к деньгами), хочу запереть за собой, взялся за крючок, хочу его в петлю — да ничего не выходит, ломается. И вижу, не крючок это, а окурок сигары. А в коридоре народ. И я все хочу приладить, чтобы запереться, сую в петлю окурок — ничего не выходит. А вот-вот войдут —

И проснулся: стучат — приколачивают. Где-то наверху. Конечно, там. Или внизу? Должно быть, драпировщик вход обивает трауром.

И под этот упорный стук — это не слезы, не плач — неизбывный стук — «заколачивают!» — я в «неизбывности» опять заснул. И проснулся от лифта — как в первую ночь — катаются. Все наверх. И — вниз.

«Десятый час: скоро вынос!»

Я следил по часам.

И когда затихло — я прислушивался — я все слушал, когда пронесут мимо двери — —

И еще подождал — вынесли! — и тихонько выхожу.

На лестнице валялись листья от венков, и на последней ступеньке одна крупная алая роза — такая алая кровь! — от солнечного утра и черной драпировки еще алее, живая — эта ли непрожитая жизнь? (по нашему счету, не по назначенному сроку!). И запах цветов.

На улице я догнал похороны.

Да, это его девочка и с ней — я узнал — это та самая: зеленое платье с зеленым камнем «царевны лягушки» по ошибке принесли мне и на другой день она за ним приходила, — только теперь она в черном, и густая черная вуаль.

Я купил себе хлеба, и иду домой. А около дома — фургон стоит. Я думал молоко — нет, санитарная:

La Désinfection

В тот же вечер заметно ушла тишина. Раскрыты жалюзы в окнах, кое-где свет. А в воскресенье и смех. А на третий день все, как всегда: у кого-то гости и музыка, и что странно, ведь

как явственно среди ночи автомобили и ранний трамвай, а кукушка громче, чем всегда — «теплое время?»

Проходил мимо колбасной, соблазнился: уж очень ветчина хорошая — «жамбон де Пари!» — розовая и ломтиками, режется легко и мягко, так сами и отваливаются на бумагу. Купил я 125 грам. И иду домой. Это мне на обед. При входе вижу: огромный розовый тюфяк к стене прислонен. Я остановился: тюфяк как-то так выгнулся, ну как живой, и такой розовый, как ветчина. (И я вспомнил: «недожитая жизнь — — »).

«Это его, это он на нем помер — выветривается!».

Конец

Очень просто: подходил на остановке в трамвай сесть, а какой-то шалый автомобиль налетел сзади, сбил с ног — и повалился я на спину, и уж под самым носом стальная перекладина между колес, говорю «конец»! — но тут точно шум крыльев, и крик. Автомобиль остановился. Я выпростал ноги, поднялся, как пульчинелла, и медленно пошел домой: где-то, чувствую, по хвосту ударило и правую руку больно, она, как хвост.

А дома вижу: мой Фейермэнхен — цверг в колпачке — лежит на полу, носом в ковер. Понимаю, это он скликал гномов и цвергов, чтобы помочь мне — — понимаю: тогда, как я брякнулся, это они подостлались, кто хвост, кто что. Спасибо! Я взял его с пола, усадил на место в уголок под «эспри» и «чура». А сам лег.

— — —

«Он знает? — Ты знаешь? Кто это? — ведь и он и его товарищи видят яснее, чем мы. — Не знаешь? — За последние дни такая напряженная жизнь на этом танцующем куске земли — Париж! 14-ое июля! — среди ночи барабан и свист — много вызвано демонов: месть и кровавые. Должно быть, я попал в середку — моя-то жизнь чего? уж она очень незаметна! — да, в середку и шарахнуло («и-в-хвост-и-в-гриву!»). Одна еще минута — и уж без слов конец».

И я вспомнил, в воскресенье в St. Sulpice за вечерней какая-то женщина дала мне образок:

«St. Ange soyez mon guide!»

«Или против назначенного — судьбы — и демоны ничего не могут?»

Те ночи были сокровенны, а эта ночь — —

И вот что скажу: судьба не страшна, а ужасна; это — как безглазый (а по-своему зорче стрелка!) тяжелый камень или пролетит или расплющит. И не знаешь, когда это будет, и что тебя вот в ту следующую минуту ждет — вот уж никакой дырки!

4

Алжирские шишки

Пять бубликов от старого Моисея

Я получил четыре шишки из Алжира — ветка; если ее поставить, выходит птица: шишка — нос, по шишке — крылья и шишка — в хвост. Долго я придумывал, куда мне ткнуть алжирскую птицу, чтобы сидела на своем месте, сама жила и не мешала другим жить — этой всей моей паутинке — «морскому дну»: висячим, сидячим и лежачим игрушкам, перевитым зеленым хрустящим гоэмоном. И, укрепив птицу между серебряными ящиками (ящики из-под люкс-мыла, удобные для книг, и серебряные — оклеены чайным серебром), вдруг я почувствовал, что в комнате все изменилось, и чего-то стало беспокойно.

— А вам бы посылки не принимать — сказал сосед Зальцман, — я вам расскажу, со мной тоже было видение.

Dr. Зальцман спец по квартирам — «бюро по снабжению населения дешевыми квартирами без отступных», и видение его на фоне парижских квартир — это куда мои алжирские шишки. И вместо того, чтобы немедленно ехать смотреть квартиру — упустишь, такой больше не получить! — я усадил его под алжирскую птицу, а сам насторожился слушать.

Зальцман львов боится и, когда попадает в Зоологический сад, старается стоять и любоваться у птичьих клеток, а львы очень интересно, но он их обходит: страшно. А его дед Илья Моисеич ночью один из Тульчина в Тростянец на лошадях ездил и самыми глухими селами, не минуя и Тимановку, про которую шла молва, что в полночь вкруг придорожного креста собираются мертвецы, и нет от них никому пропуску, проезжал и Тимановкой и не раз, и вон у него палец согнут, стеклом по-

ранил: ночью на конюшне двух воров поймал, — ничего не боялся.

Илья Моисеич имел большие дела — поставлял на сахарные заводы свекловицу и уголь, и было у него большое хозяйство. В Тульчине, известном по Пушкину и декабристам, дом Зальцманов. Семья пять человек: старики, сын и две дочери.

«Осенью возили на зиму дрова, весь двор был запружен подводами, — рассказывал Зальцман, — так сидел дедушка и бабушка: дедушка записывал, а другие проверяли, всего было восемь человек. В сумерки во дворе появилась девочка, маленькая — лет пяти, одета по-деревенски в платочке, босиком, и в руках связка: бублики. Спрашивает Илью. Очень все удивились, откуда взяться девчонке, таких в городе нет, и показывают ей на дедушку. И она подбежала: "ты, говорит, Илья?" — — "это тебе: пять бубликов от старого Моисея!" И дедушка вдруг испугался: "откуда, говорит, какого Моисея?" А нянька Авдотья, старая — всех выходила, услышала, кричит дедушке: "не берите!" Тут и все заинтересовались и, кто был на другом конце двора, бегут посмотреть на девчонку: "какие бублики?" А девчонки и нет: юркнула меж подводами и пропала».

«Пять бубликов от старого Моисея» — долго вспоминалось, и много об этом было разговору: ведь никогда никаких бубликов не покупали, и на дом никто не носил, все делалось дома — «домашнее», и никакого старого Моисея не было, который бы задумал Зальцману гостинцев послать: «пять бубликов!» И сама эта девочка: на вид ей лет пять — маленькая, а смотрит — как девяносто, и откуда появилась такая, и знает по имени: Илья; так и спросила: «Илью».

Нянька Авдотья говорила: «к несчастью», за няньку стоял кучер Апатий. А прачка Настасья уверяла, что бублики — к счастью, и надо было взять, тоже и Шифра Львовна, бабушка: эта девочка с бубликами ей за пятнадцать дней во сне снилась — бабушка ее узнала, и бублики те же, что и во сне — один большой, другие поменьше, а пятый самый маленький. А у самого Зальцмана из головы не выходит: ведь если бы знать наверно, что эти бублики означают — что взять, что отказаться? И почему-то, когда девчонка назвала его по имени, ему стало страшно? Нет, он не раскаивался, что не взял. А между тем дела пошли тише — или было бы взять? — с делами не то, не по-

прежнему, и хоть никакого краха, но и похвалиться нечем. Последнее слово: Иосиф Берцис — глубокий старик, часто бывал у Зальцманов, он как раз и эту девчонку видел — а старый Иосль молчит.

Прошло пятнадцать лет. Дочери замуж вышли, сын женился, и дом его напротив; няньке Авдотье опять забота, есть кого няньчить.

«Как-то летом пошел отец в гости и чего-то долго нет, не возвращается. Мать забеспокоилась: скоро полночь. И думает, пройтись: может, по дороге встретит. Пошла к дедушке, чтобы не одной, позвать тетку. Тетка согласилась. И вышли они на крыльцо, спускаются — а ночь светлая, и тишина, слышно, как гнутся ступеньки — и вдруг откуда-то девочка, в руках связка: бублики; спрашивает Илью: «пять бубликов от старого Моисея». Мать ничего не знает, она не здешняя, ее очень только удивило: откуда ночью девочка с бубликами? А тетка вспомнила: та самая девочка! — и упала без чувств. Бросилась мать за девочкой, а девчонка, как шар, покатилась — и нет».

— Ну, что вы на это скажете?

Я смотрел на птицу — на четыре алжирские шишки и думал: счастье они мне или несчастье? И подумал: а разве важно — взять или не взять? уж раз принесли тебе, а никому, в этом все.

— Это знак, — сказал я, — только знак эти бублики, пять бубликов (и про себя: четыре шишки!). Вот почему и старый Иосль молчал: человеку как это знать — судьбу?

Ловить ами

Парижское утро — как всегда, утром консьержка приносит письма, газеты и среди писем непредвиденный или какой-нибудь просроченный налог, и редкий день, что не получишь: «цепь, начатая американским офицером», Я привык и, если в цепи есть угроза, не переписываю — чего уж, и с квартирой гроза, и налог, с меня довольно! — если же сулит только счастье без никаких, я переписываю — ведь и пожелать добра человеку не часто бывает!

В это утро я получил очередную «цепь» — открытку: стихи —

Белая медведь, серая море.
Белая медведь кушать крепко хоче
Ничего не пахнет, хотя нос мокрый...

«— — цепь начата в день стабилизации франка лапландским офицером, следует переписать четыре раза и в двадцать четыре часа пустить по знакомым: и все будет хорошо и в доме благоприятно».

Стихи Сельвинского, а по почерку — Корнетов! только Александр Александрович и мог такое «пустить по знакомым». (Я вас непременно познакомлю: Корнетов — это одна из самых парижских легенд!). И помянув Корнетова, я тщательно переписал стабилизованную медведицу, и первый экземпляр автору цепи на открытке.

Я решил немедленно идти на почту, чтобы успеть в двадцать четыре часа, и уж спокойно в молчании заняться хозяйством — обязанности мои не поварские, мне на кухне — как «кухонный мужик», а справив все к обеду, сесть писать. Но тут произошло нечто невероятное, почему я и попал в комиссариат и жду очереди.

В то утро, когда я с четырьмя медведицами поднялся, чтобы нести их на почту, я увидел в своей комнате и глазам не поверил: *я ничего не увидел!*

Мои рогатые и усатые игрушки, известные по всяким интервью, мои друзья и добрые советчики, в моих бедах рисковавшие жизнью, заслоняя меня своими хвостами от автомобильных колес, все эти гномы, цверги, рыбьи кости, эфиопские пушки, клешни, звезды, лягушки — все мое «морское дно» безжалостно было сорвано с веревок и похищено до последней травки и паутинки.

Один «фейермэнхен» в черном колпачке — такой не дастся! — один сидел на столе, и над ним «эспри» — которого никак не взять! И между ящиками из чайного серебра смотрела всеми четырьмя алжирская птица.

Первое, что я подумал: «сожрала птица». Но когда я очнулся, сообразил и теперь мне очень совестно:

«Ведь надо же и птице что-нибудь есть!».

Вечером я был у Корнетова — у Корнетова всегда народ, и мне сразу же был задан вопрос:

— Каким образом ваши игрушки очутились у N.: вы их ему подарили?

— Я не понимаю, что вы говорите! — я это сказал с искренним удивлением: N. не так давно был у меня, пили чай, я показывал ему все мое «морское дно», и расстались мы приятелями.

— Но ведь это же всем известно, про это напечатано.

Мне подали книгу и указали на страницу — — невероятно! но там действительно находился полный реестр моих игрушек: «висят»!

— Я никому не давал, — я только и мог сказать.

— А N. не так глуп: он ухитрился перепродать ваши игрушки и, говорят, очень выгодно какому-то русскому, фамилия очень русская, но в обиходе едва ли существующая, скорее литературная: что-то вроде Будильникова.

— Будыльников! — поправил кто-то.

— Нет, именно Будильников, литературная.

И одни возмущались и осуждали:

— С французом ничего подобного, — говорили, — ну разве возможно, чтобы кто-нибудь схватил у Кокто его картины да еще перепродал Будильникову, просто не посмеет, а вы русский — русский писатель! с русским церемониться нечего.

А другие не то что оправдывали, таких и не могло быть, а искали смягчающих вину и первое, что злого умысла не было, и что все это сделано «походя» — «под руку подвернулось» и что знакомый мой приятель милейший и добрейший человек.

— Ведь надо же человеку что-нибудь есть! — сказал Корнетов.

И знаете, я успокоился. И мне теперь совестно, почему я не сказал: ну, попалось под руку и Бог с ним, стоит ли? когда-нибудь и сам поймет, что последнее отнять — — мне сколько раз в наших скитаниях по белому свету приходилось начинать жизнь, обойдусь и без игрушек — и в интервью больше не запишут: «в комнате висело»; и ведь все эти гномы и цверги, они сами ко мне пришли, и вот скрылись и разве можно насильно вернуть? а если надо, они все опять появятся, не одни, так другие! начинаю новую жизнь — только книги, и больше ничего.

А как было пусто в комнате без игрушек. За время, как я выходил, сумерки подобрали концы оборванной веревки и теперь при лампе показалось и еще просторней, но и еще пустее.

На столе сидел «фейермэнхен» в черном колпачке и не смотрел на меня: куда-то в сторону он смотрел. Я понимаю: при-

вык к обществу, знал всех, кто, где зацепился и висит, а теперь одному — «эспри» не считается! и слова не с кем сказать, и никак он не понимает, за что? Ему было очень тяжело.

«Вещи страдают!» — вы не понимаете... или вы думаете, что это нарочно? нет, это сущая правда. Вещи иногда больнее чувствуют, чем занятые делами люди, которым ни до чего.

Глядя на сиротливо согнувшегося цверга, я себя почувствовал виноватым — мне было совестно перед ним, что я о себе думал и примирился и успокоился, а про него и забыл; и вот он один и не смотрит на меня — куда-то в сторону он смотрел, а я знаю, так и человек глядит, которого ни за что обидели.

Францис Жамм, автор «Заяшного романа» и «Вещей» — вот кто посочувствовал бы моему «Фейермэнхену»: он знает хорошо этот взгляд, на который без боли нельзя смотреть, он его еще в детстве видел и запомнил: так смотрела лошадь с повозкой, когда хозяин игрушки помер — «вещи страдают!»

И кому он скажет, кому пожалуется — да и кто его поймет тут; ведь он — «цверг» — он говорит только по-немецки...

И меня вдруг осенило: идти и разыскать этого Будильникова или Будыльникова, у которого висят мои игрушки, выпросить у него «временно» хоть рыбьих костей и лягушонка. Я знаю, не для меня, для «фейермэнхена» они придут, не одни, так другие, а пока — —

— Morgen, unbedingt! — говорю — непременно, завтра же!

Как я был наивен, но я решился на все.

В комиссариате я ждал не один. Впереди меня сидела совсем еще молодая парижская «личинка». Жарко и в просыревшем комиссариате — «ветер дует из Сахары!» — а личинка в пальто: или так по-парижски? Что удивительно, это ее туфли: самый придирчивый сапожный мастер, сапожники все скептики, не меньше бы залюбовался на такую работу и матерьял — они как точеные стальные и ничего не весят! На коленях у нее была простыня, то и дело она развертывала ее и завертывала; я заметил какое-то цветное комбинэзон — вид чрезвычайно жалкий: безформенное и свернувшееся — особенно, когда на виду эти блестящие туфли.

Когда появился чиновник, она поднялась и на его вопрос о местожительстве, уж очень скоро проговорила улицу и дом,

и тот, не разобрав, сказал ей, что она не туда — не в свой участок, и обратился ко мне.

Я подошел и приготовился рассказывать свое дело с твердой надеждой найти Будильникова. Но она раздельно и отчетливо носовым сухим звуком, недоступным русскому, выговорила номер дома: 121, — а это как-раз сюда. И мы стояли рядом, как будто и дело было наше одно.

А дело ее самое обыкновенное, и ничего особенного: в воскресенье они вернулись из кино, она разделась, и тут произошла ссора, и он ее выгнал; она только и успела схватить — и она развернула простыню — в понедельник она пошла выручать свое белье, третий день ходит, просит вернуть —

— Но он не выдает.

— На чей счет куплено белье? — спросил чиновник.

— Ами.

— Так ему и принадлежит.

И на это с тем же сухим носовым звуком она распахнула пальто — и я увидел: я *ничего не увидел*! — это как моя комната, где висели вместо игрушек по углам обрывки веревок, так на ней что-то было вроде сорочки.

— — —

Чиновник вышел в другую комнату, чего-то там справлялся. И уж идет с другим. И объясняет, что этот — в ее распоряжение.

Еще раз повторила она адрес и пошла с провожатым — «ловить ами».

«Ловить ами!»— это я так вслед подумал и вдруг понял всю бессмысленность моей надежды и, пропустив вперед ожидавшего за мной, пошел за ними, но не к дому, номер которого носовым сухим звуком сказался так раздельно и отчетливо, а на почту — опустить открытки со стабилизованной медведицей —

Белая медведь, серая море...

Диамант

«Они придут, не одни, так другие!». И нет на свете Мерлина, чтобы запретить им!

Из Варшавы меня извещали, что посланы и скоро прибудут в Париж два карпатские духа: «яносик» с топориком, татрский Рюбецаль, и горная мавка — краковской работы.

«Фейермэнхен» сидел озабоченный: надо принять карпатских гостей! И в его взгляде не было больше укора — ведь опять не один и в сумерки и ночью он найдет себе «культурное общество».

Из газет: надпись на бумаге для мух: «сия бумага употребляется, промачивая ее в тарелке» — это для Корнетова и не в смех, а на веселье: стилистическая непосредственность сказа. А себе — чудо в Калабрии, сообщают из Козенцы: «в общине Бокильера на весеннего Николу носили в процессии деревянную статую чудотворца, и вдруг она начала потеть, и это продолжалось целый день; несколько раз ее вытирали, но влага снова выступала».

День был удачный, только очень жарко — и мне, всегда зябнущему, снявши свои шкурки, тепло.

Самый лучший час для писания — сумерки: утро — контроль, ночь — запись, а писать — сумерки. Теперь они отодвигаются к позднему вечеру. Поздним вечером я сел писать: тема моя — жизнь с ее чудесным.

Вот уже с год завелся у нас в доме обычай: раза два в месяц по субботам над нашей квартирой устраиваются цыганские представления; начало — до восьми, а конец предвидеть невозможно — хорошо в три, а захватит еще час, и то ладно.

Под гитару или под мандолину одна единственная цыганская песня хором, без перерыва. И под ту же музыку танцуют. Сначала слова выговариваются упористо и с наскока, но за полночь чуть держатся, и больше похоже на причитание. Но все одно и то же.

У меня в памяти одна легенда: эта легенда про Николу, как пришли к нему с жалобой на цыган, что и под Николин праздник на скрипках играют, поют и пляшут и никуда не скроешься — «мешают!» И Никола сказал: «цыган не гоните: ни именин, ни свадьбы без них не справишь, а как же человеку — не повеселиться!» И с тех пор, говорится в легенде, цыганское безобразие без управы.

Я это понимаю, сочувствую и терпеливо с год уж слушаю субботние цыганские песни, — одну песню над головою, но иногда бывало, в особенности ночью, — ну, никак не заснешь

и ропщешь, а спохватишься и укоряешь себя: «мешают! — и людям нельзя повеселиться?»

Сижу над чудесным — над головой субботняя цыганская песня, музыка и топот — мне хочется рассказать один случай из жизни про наших соседей: по соседству столярная и обойная мастерская, я знаю хозяев, за годы присмотрелся, сегодня погиб у них сын-пилот при воздушной катастрофе, а как совсем недавно они всю мастерскую чистили, точно праздника ждали, а по вечерам сидит хозяйка у «ателье» и невольно посмотришь: какая в ее глазах тревога — ждет чего-то! — этот случай сегодня мне наглядно показал всю непрерывность и наполненность жизни, и как мне стало ясно, что завтрашний день с его событиями уже существует сегодня, существовал и вчера, весь законченный — готовый и наполненный от утра до вечера, и никакой волей не повернешь! И еще я хотел бы рассказать — это тоже сегодня из жизни — о «конце», который я почувствовал, не как провал в дыру по-толстовски, а как взлет и восхождение по «лестнице», и о «кольце» добрых воздушных духов белых и крылатых, в котором все слова у человека легки, и свет.

Но цыганская песня и ногой такт выстукивают — вытоптывает меня, не могу я никак сосредоточиться. И закрыл окно.

«Зимой, — подумал, — как жалуешься, что холодно, и на дождик, что сыро, а какая это благодать: дождик!»

И не успел я проговорить «дождик», как грянет — и в окно такой забарабанил дождик да с градом.

«Вот, — думаю, — это и есть град с голубиное яйцо, о котором в газетах пишут: выпал где-то на чудесных полях Бокильеро! Но живыми глазами, что-то не слышно, чтобы кто-нибудь его видел»!

И сейчас же к окну, распахнул и высунулся — —

— — —

Поздняя ночь и нехорошо это, а пришлось: спустился я к консьержке, разбудил — и, должно быть, на лице у меня испуг был прямо пожарный, а в голосе огненный страх — она застегивается и робко:

— Где это? — не верит: может, еще снится!

И в чем была — за мной: «ту-шить».

Между тем гроза прекратилась, только песня, одна струна, да притоп.

— Посмотрите, — я показал на окно, — чего ж это: ошиблись местом? Хорошо еще загодя закрыл. И пусть, — говорю, — кто это сделал, сам придет ко мне и собственными руками окно вымоет и подоконник вычистит.

Консьержка пошла спокойно спать — «никакой пожар!». А я один, и сам с собою разговариваю — какая уж легенда и чудеса! — не могу успокоиться.

«С французом ничего подобного, — говорю, — ну разве возможно, чтобы кто-нибудь стал дважды в месяц устраивать этот полунощный цыганский Пигаль, живи под ним Супо, да просто побоится, а знают, русский — русский писатель! с русским церемониться нечего».

Музыка продолжалась, песня причитала, — одно и то же — и все-таки я лег и успокоился: я решил, что завтра, как явится подтирать, я свое скажу!

А как проснулся — рано поднялся и тороплюсь одеться: а то ведь придут! — — и пожалел: «уж как-нибудь, — думаю, — сам обойдусь, неловко человека заставлять такое делать, ведь это вроде как кошку носом тычут!» И приглядываюсь: как бы это осторожно и солнышко тут мне помогает: подсушило. А позвонили — даже испугался. Да, слава Богу, оказалась консьержка — и такое пожарное ведро притащила.

— Я сама, — говорит, — не беспокойтесь.

— Да кто же этим занимается? — говорю.

— Русские, очень хорошие, Будильников.

— Будыльников, — поправляю я, ясно выговаривая неподступное для нее «ы», — Будыльников, да чем же он занимается?

— Marchand des diamants!— и она даже улыбнулась: так светило и освещало это магическое, каменное слово «диамант».

— Диамант — ! — и у меня не было больше слов, а только свист.

Из окна — три каштана и пустырь и между каштанами и пустырем забор — глухая белая стена; раньше около куры ходили, а теперь и кошки не бегают — — и я вижу: на этой стенке под веткою каштана сидит — четыре алжирские шишки — моя алжирская птица: птица улетела!

БИКУ



Серые камни! это, как тень, когда солнце светит — солнечные тени: иду или стал: чувствую, как тихо собираются мысли. У нас на дворе лежал камень: камушком все его называли. Откуда он появился, не помнят. Моя память начинается с этого камня. Сначала я взбираюсь на него — мне он кажется огромным. А как стал подрастать, или камень стал ниже? просто сядешь — как на табуретку. И игры около камня и так чего-нибудь делаешь. А идешь, бывало, расстерзанный, а встретишь камушек — и как-то покойно станет.

Я о нем вспомнил — мое тихое чувство — когда «расстерзанный» очутился среди камней-менгиров и дольменов — священных камней друид. Жертвенники, храмы, памятники. (Памятники ставились не для мертвых, а ради живых!). Около каждого камня, я сразу почувствовал, наполнено живым, напоено жизнью, и это живое — звенящее — не беспокоит, а располагает.

А какие ночи! сколько лунных, особенных по свету: и от океана и от строя камней. В такие ночи я не пойду на берег к дольмену — не из-за кориганов, нет, кориганы — духи, служили друидам, теперь живут около дольменов и менгир, я кориганов не боюсь: «злыми» их представили при очень ярком, прямо на голову солнце;

конечно, у них свое, они могут не соразмерить человеческое, и, конечно, человеку опасно. Нет, еще почему-то — — или, как говорит Бику, «потому что».

*
* *

Наша вечерняя дорога через шоссе дорожкой к дольмену, — дольмен из самородного камня, как стол, на пяти каменных ногах, носом в землю, кругом колючий терн и вереск — а от дольмена берегом по скалам, одно очень страшное место: надо перепрыгивать! и потом вверх на берег — там менгир — камень крепко в землю, торчит, как пест, а от менгира виноградником — на пустой гряде заячья норка: постоим: «не выйдет ли зайчик?» да чего-то не выходит! и всю дорогу до дома Бику оглядывается: «выйдет зайчик!» Я-то его хорошо знаю — Барбазон! — и всегда мешок: там у него на палочках розовые леденцы и в серебряных бумажках шоколад — но Бику никак не удается его увидеть и поблагодарить зайчика за гостинцы; раз видели: пробежал усатый! но это не Барбазон, это просто заяц!

Или идем так: из двора через садик и огород в поле и по ежевичной изгороди полями мимо гнезда волшебной змеи, а прошли змею, идем дубками к старым дубам — там «источник фей».

Мы никогда не одни, всегда с большими: мы всего боимся. А боимся мы — если спросить Бику, почему он боится? — он ответит: «потому что». Мы говорим на одном языке. Ошибки Бику я не замечаю, напротив, я думаю: как это у него легко выходит и особенно трудные носовые звуки. А он думает, что я говорю, как он, а если что непонятно, то это «потому что», а вовсе не оттого, что коверкаю слова и вместо одного говорю, что попадет и, бывает, невпопад.

Два года назад, когда Бику было три года, он думал, что я младше его, называл меня на «ты» и ни на минуту не оставит: то в мячик изволь играть, то переносишь ему сено из угла в угол, в чем игра, не понимаю, только и остается — спрячешься, да все равно, он отыщет, и опять делай, что скажет. А теперь Бику знает, что я старше его, что мне — 12 лет — (12 это последний его счет!), но вообще-то я вроде как он: мы всего боимся. Когда нас снимал фотограф, у Бику от страха дрыгнула нога. «Если бы на ослике, я бы не побоялся!» Но мне кажется, и на ослике то же

было бы. Я вам скажу по секрету: на одну минуту Бику и меня забоялся: это когда мы с ним встретились! — но, передохнув, он, пока что не глядя, стал мне рассказывать о волшебной змее: «которую змею “Каллож” никто не видел, но она ночью выходит: ни проходу, ни прорыску!» Мы боимся автомобилей — по шоссе с ревом они проносятся и с белыми огнями ночью! — еще боимся быков — по правде скажу вам, быки на нас никакого внимания, но мы, завидя рога, обходим и говорим тихонько! — собак, конечно, кроме одной — Бику не боится Каро, а чтобы я не боялся, он его держит; ну, Бику еще змей боится и, когда мы идем полем по ежевичной изгороди, у него всегда с собой маленькие вилы, и ими он тычет по кустам — «змей пугает». Но чего мы не боимся: кориганов! Ни днем, ни вечером кориганов не видно: Бику залезал под камень, «никого нет!» Но каждый раз, когда мы подходим к дольмену, он весь навастривается, настораживается: ждет. И когда большие отходят, я беру его за руки — и мы кружимся, как кориганы.

Как-то после кориганьего танца, догоняя больших, Бику укусил меня за руку. Мне не больно, только очень уж неожиданно и странно: у меня у большого пальца отпечаток маленьких ровных зубов. Я иду, смотрю на эти следы: и почему-то они долго держатся? А Бику — спохватился что ли? — ко мне и за руку — и я чувствую: губами крепко прижался к больному месту. «Да мне не больно!» А он смотрит так — с болью; и отбежит, побегает, и опять ко мне, и за руку тихонько — греет.

*
*   *

Бику бретонец, последнее, что от кельтов! А последнее — или очень грубо, матерьяльно (такое помрет — и, должно быть, как сон без сновидений — навеки), но есть вот как Бику: глаза его глядят с такой грустью — дольмены! эти раскрытые глаза земли, в них та же трехтысячелетняя грусть.

Глаза у Бику теплые, теплее лба и щек, я это всегда чувствую. (Бику называет «слюнить» глаза).

— Глаз! — говорит он по-русски и показывает пальцем, и также легко и ясно: — рот! — щека! — лоб! — ручка!

А тельце у него, возьмешь его близко к себе — и чувствуешь ребрушки.

— Живот! — говорит Бику по-русски, — ножка.

На будущее лето мы пойдем к Шаруа, здешний брадобрей, и он острижет Бику, как остриг меня, держа за нос — вот — так!

— И кориганы, — говорю, — все стриженые.

— И блошиный царь?

— Ну, конечно.

Бику знает про «ворону и лисицу», и ему очень нравится ворона (по-французски «ворон»).

— И ворон?

— И ворон и — — Мерлин.

На будущее лето мы непременно поедем в Карнак, а из Карнака в Броселиандский лес, там спит зачарован Мерлин.

Я научил Бику «строить нос»: мы это делаем вместе и соединяемся маленькими пальцами — какой выходит огромный носище! И еще я научил его показывать мне язычок: высунет язычок — я потрогаю, похвалю: а язычок у него влажный, упругий — «хороший язычок»! — и совсем не щекотно. И еще научил я его «бодаться»; только не легко ему далась «коза» — все не те пальчики вытягивает; ну, а когда наловчился, совсем меня забодал и губы так сделает — очень страшно! Но он и сам любит, чтобы я его бодал.

— «Бодад!» — говорит он по-русски твердо и карабкается ко мне на кровать.

Ну, я ему в животик «козой» вожу — очень это ему нравится: «идет коза рогатая — — »

— «Бодад!»

За столом мы сидим около хозяйки: нас отделяет ее тарелка. Я вижу, как Бику ест — и больше работает пальчиками, вилка так, для вида, и часто ест со шкуркой и косточки. А против Бику сидит бабушка: бабушке сто лет, она маленькая и востренькая (камушек!) в белом бретонском чепчике, она ничего не говорит, только смотрит. И когда разговор заходит о кориганах, о менгирах, о дольменах, о волшебницах, она внимательно слушает и, видно, она знает, она и не такое знает! (Друиды запрещали записывать и не осталось письменной памяти о их знании, вот откуда это молчание — трехтысячелетия!)

За обедом на Бику нападает сон; вздрагивая, начинает он клевать носом, но этого мало: незаметно за разговорами спускается он под стол — я заметил: там около бабушки на скамеечку

под ногами ее, он положит голову, свернется калачиком и прикурнет. А к десерту обязательно выйдет — Бику очень любит персики. А потом меня провожать. Я зажигаю электричество — большой соблазн для Бику: тушить и зажигать! ну, конечно, «бодаемся», а на прощанье я лиловым карандашом рисую ему на ладошках кориганов и бычьи рога. И он идет спать с растаращенными, разрисованными ручонками, так и заснет, не смывая. А ночью ему снятся сны — он не помнит, — но во сне он часто плачет.

*
*　*

На чердаке надо мною живет крыса. Днем она в поле, а на ночь приходит спать на чердак. И что она делает, я не знаю, но такое у меня чувство, точно она там расшвыривает и грызет потолок. Я знаю, стены каменные, потолок крепкий, и все-таки — вот прогрызет и ко мне — и ничего, конечно, не сделает, меня же испугается. Но я не могу заснуть, все прислушиваюсь. Наконец, крыса затихает — зубы что ли переломала? — крыса заснула и я засыпаю,

Крыса спугивает мои сны — мне ничего не снится.

Но бывают ночи — день набегается в поле, устанет, а вернется домой, как и нет ее. И после книг — я читаю о менгирах и дольменах, о белой волшебной омеле, о солнце, о быке —

> ведь эта земля и эти камни — это как Египет — та же память: и там и тут Карнак, и бык, и солнце, и «мудрость» —

но кроме археологии, «бретонских святых», рыцарей круглого стола, короля Артура и Мерлина, и последнего бретонского короля Соломона, у меня на столе за сорок лет «Le magasin pittoresque» — я рассматриваю картинки — начитавшись и насмотревшись, я засыпаю спокойно. И мне снятся сны из другого мира — жуткие по необычности, и явственно и осязательно, но совсем не грозные и без этой черной томящей памяти навязчивых «костяных и кровавых» снов.

Но с некоторых пор — луна? океан? кориганы? — мои сны превратились в борьбу: началось с дольмена: ясно увидел из терна дольмен — тот, где мы с Бику кружимся на закате — и по-

чему-то стало страшно: что-то тянет, и не хочешь, а смотришь — и я никак не могу от него уйти, не могу проснуться — —

> я сижу за столом в моей комнате, крыса на чердаке спит, весь дом, как вымер и океан ушел, такая тишина! — и вдруг погасло электричество; я скорей за дверь (выключатель за дверью), шарю, а не могу найти, а знаю, вот тут — и так рукой по стене — нету, я ниже, еще и еще — — и чувствую, около самого пола (куда спустился!) хочу зажечь, ничего не выходит, а хоть и темь, различаю, — выключатель расколот пополам: надо соединить половинки и тогда зажжется! Но только что я беру половинки соединить, чувствую — схватили меня за руки, держат, а на ноги уселся какой-то, на меня лезет; я не вижу их, но ощущаю: «Бросьте, говорю, чего вы!» И они на мой голос отшвырнулись. Но только что я протяну руку и уж возьмусь за половинки, опять хвать меня за руки, оттаскивают меня — не больно это, только очень мучительно — —
>
> —
>
> зачем-то надо мне на чердак, но этот чердак не здешний, а московский — там, где мой камушек — отворил я на чердак дверь, хочу войти, а на пороге меня как хлестанет — и сзади схватили за руки. Я хочу назад — не пускают. Высвободил я руку, поднял — и тьма стала расходиться, и в глубине чердака у слухового окошка я увидел: сидит старик, похож на Тагора, а глаза — они, как в воде плывя, горят. «Аратим-тих!»— говорю. Почему я сказал это имя «аратим-тих», не знаю и значит ли оно что, не знаю, но я почувствовал, как мне свободно, и, глядя на старика, на его горящие переливающиеся глаза, я тихонько вышел —
>
> —

Новая луна — другие сны. Но тут на меня напали блохи. И «блошиный царь» не помогает и «ля-казак», такой желтый персидский порошок, не действует. Оказывается, весь дом — налет блох.

И когда однажды поутру я искал закатившуюся куда-то резинку, и мне помогали искать хозяева, заглянувший Бику спросил:

— Вы блох ищете?

*
*　*

Рассказы о кориганах, о феях и волшебницах — могли обращать человека в пылинку, а сами превращаться в мышь! — на время отошли и о блохах забыто. Все заполнило «мушиное царство»: я побывал в соседней Вандее, где океан не наш — бретонский — гремящий с оторванным скалистым берегом (часть погибла с Атлантидой), а «настоящее» море — вот где живет золотая рыбка! — и волнистый песчаный берег.

> В Вандее жил один знакомый кельтолог. Он меня встретил на вокзале. Еще дорогой замечаю: почему-то в разговоре употребляет, как сравнение, мух — «это подобно, как бы 1000 мух!» или «это дороже: куда 77 мух!» Я не обратил особенного внимания: бывают такие странные пристрастия и поговорки. Но когда мы пришли в дом, меня поразило странное убранство комнаты: с потолка на веревочках спускались бумажки-квадратики; и что еще страннее: хозяин во время ученого разговора подходит к этим липким бумажкам, сосредоточенно вглядывается (считает?), потом не без волнения что-то записывает. В полдень, прервав разговор, он снова проверил бумажки и облегченно сказал: «75». Надо было купить чаю. Мы пошли в лавку. Но при нашем появлении хозяйка не тронулась ни на звонок, ни на приветствия: впившись глазами в точно такие же бумажки, она что-то считала, а другая — продавщица — около нее, как истукан, с карандашом на готове; выкрикнув «50», хозяйка обратилась к нам. — Ничего не понимаю! — Я стал вслушиваться в разговоры: говорили о самом обыкновенном, и так, что придется, но все слова перевивались одним назойливым: «муха». Оказывается, какая-то волшебница превращала людей в черных мух, и потому было издано постановление: развесить липкие бумажки для привлечения и вести точный подсчет пойманным мухам — и кто больше поймает, тому обещалась большая награда; награда оценивалась в один миллиард черных мух! На другой день в полдень на моих глазах совершилось чудесное превращение: подъехавший отокар с американцами вдруг поднялся на воздух, зажужжал и разлетелся по сыпучему пляжу — —

Бику слушал мои рассказы о «мушином царстве» с таким увлечением — непременно на будущее лето мы решили ехать в Вандею, разыскать волшебницу и выведать у нее тайну: как обращаются люди в мух.

— Но уговор: никому не скажем — или нас самих превратят в мух.

— Это непрактично! — заметил Бику.

*
* *

Последние дни мы ходим прощаться с дольменом и менгиром, и к «источнику фей». И мне вспоминается фея Арма и камень Марка Пен-Рюз —

> но этого Бику не поймет: любовь, отречение во имя любви, подвиг, верность и гибель! —

и я рассказываю ему только о кориганах: как Арма посылает кориганов, когда едет на коне Пен-Рюз, расчищать ему путь, а если упадет, подослаться, чтобы было ему не больно.

После обеда, как всегда, когда я разрисовывал Бику ладошки кориганами и рогами, он тихонечко сказал мне, глядя своими грустными трехтысячелетними глазами:

— Ведь мы приятели?

Я погладил его ребрышки — тихо стучало его сердце (живой камушек) — и я обещался: как только вернусь в Париж, похлопочу у Барбазона и, наверно, зайчик согласится — и я немедленно пришлю: розовую остроконечную шапку с рогатым месяцем и звездами, золотую корону, розовую бороду, серебряный кошелек с неразменным серебром, розовые и зеленые очки — Бику нарядится, пойдет к дольмену и все кориганы выйдут к нему кружиться!

*
* *

Бику знает: ко мне можно только перед сном. А если, бывало, зайдет, а я занимаюсь, я беру «Стоглав» и читаю вслух — и он сейчас же исчезнет: «и непонятно и не мешать». Накануне отъезда Бику пришел не вовремя, я хотел было взяться за «Стоглав», но вижу, он и не думает рассиживаться — а какое вышло

дело: его берут на виноградник полоть траву для кроликов и вот он забежал, просит меня поберечь —

> и положил на стол старенький кошелек и коробочку из-под пудры — свое заветное, никогда не расстается!

Когда Бику вышел, я посмотрел: в коробочке ничего не оказалось — пустая, а в кошельке маленькая фотографическая карточка — такие в медальонах носят — какая-то дама, трудно разобрать, пожелтелая, вылинявшая фотография.

Вечером перед обедом я передал Бику его сокровище. Он сейчас же выбежал из столовой, чтобы спрятать. Я спросил о заветной карточке: чья это? — никто не знает; и откуда взялась? — не знают. А бабушка смотрит — знает — —?

Paris
1924—1928

«Я ДУША ЧЕЛОВЕЧЬЯ...»
(Новая проза Алексея Ремизова: 1918—1929)

I

С самого начала своей литературной деятельности А. М. Ремизов исповедовал субъективизм, выражаемый преимущественно в «автобиографическом» материале. Хорошо известно признание писателя, относящееся к 1912 году: «Автобиографических произведений у меня нет. Все и во всем автобиография: и мертвец Бородин (Собр. соч. т. I. Жертва) — я самый и есть, себя описываю, и кот Котофей Котофеич (Собр. соч. Т. IV. К Морю-Океану) — я самый и есть, себя описываю, и Петька (“Петушок” в Альманахе XVI “Шиповника”) тоже я, себя описываю»[1]. Спустя небольшой промежуток времени способы выражения авторской субъективности претерпели очевидную метаморфозу — от привычных форм использования литературных образов (в терминологии Бахтина, «Я-для-других) до предельной манифестации собственного «Я» (или «Я-для-себя»)[2].

«Перелом», качественное изменение в способе авторского самовыражения, произошел в год революции (1917—1918), оказавший решающее влияние на творческое самосознание Ремизова. В это время возникает корпус текстов, образующий своеобразную «историю самосознающей души». Если Андрей Белый, которому принадлежит эта формулировка, рассматривал историю мировой души с позиций филогенеза, то у Ремизова путь самосознания — онтогенетичен. «Слово о погибели Русской Земли», «Слово к матери-земли», «Заповедное слово Русскому народу», «Вонючая торжествующая обезьяна...» де-

[1] См. публ. А. М. Грачевой: Р*емизов А. М.* <Автобиография 1912 г.> // *Лица*. С. 442.

[2] Подробнее см.: *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 140.

монстрируют максимальную вовлеченность индивидуального «Я» в текущий момент русской и мировой истории. Линейная хроника создания каждого произведения этого «метатекста» свидетельствует о продвижении Ремизова к новой авторской позиции. Тексты-воззвания, тексты-послания к родине, народу и даже ко всему враждебному «торжествующему» отражают стремление писателя *лично* обратиться к urbis et orbis. Ремизов прямо высказал здесь все, что у него накопилось за год революции, вкладывая в содержание этих произведений собственные переживания. Такого рода модель авторской позиции является центробежной: ее интенциональный вектор направлен от «Я» к миру.

Вместе с тем в этот период Ремизовым написаны и другие тексты, которые демонстрируют центростремительную модель авторепрезентации. Это корпус произведений, созданных на основе древнегреческих источников: «О судьбе огненной. Предание от Гераклита Эфесского», «Золотое подорожие. Электрумовые пластинки», книга «Электрон». Авторское «Я» выходит здесь далеко за пределы индивидуального мировосприятия, а последнее само становится объектом и предметом художественного осмысления, главным и единственным героем этих произведений. Непосредственным их предшественником следует считать поэму «Огневица»[1], написанную осенью 1917 года, в преддверии Октябрьского восстания. Здесь впервые художественно описано экзистенциальное, пограничное состояние «между жизнью и смертью». Фиксируя непоправимую катастрофу, писатель нераздельно связывает индивидуальное «Я» с Россией. Именно здесь авторское «Я» вбирает в себя весь окружающий мир, одновременно концентрируясь на самое себя: «— — распростертый крестом, брошен лежал я на великом поле во тьме кромешной, на родной земле. Тело мое было огромадно, грузно, неподвижно; руки мои — как от Москвы до Петербурга. <...>; и ноги мои, как от гремучей Онеги до тихого Дона. Огненная повязка туго — *венчик подорожный* <курсив мой. —

[1] Подробнее о поэме см.: *Обатнина Е.* 1) А. М. Ремизов: личность и творческие практики писателя. М., 2008; 2) Рождение Души Самосознающей: Андрей Белый и А. М. Ремизов // Миры Андрея Белого. Белград; М., 2011. С. 583—593.

Е. О.> — "Святый Боже" — туго крепким обручем повивал мой лоб...»[1]

Несколькими годами позже Ремизов в дарственной надписи на книге «О судьбе огненной. Предание от Гераклита Эфесского» (Пг., 1918) объяснял радикальное изменение своей творческой позиции в сравнении с объективацией собственного мировоззрения, выраженного в поэмах 1917 года, следующим образом: «...слово Гераклита / В марте 1918 г<ода> писалось оно. <...> / Это "слово" после моих "слов" (о погибели рус<ской> земли / русскому народу <«Заповедное слово...» — *Е. О.*>) / — новая ступень. *Глаз на происходящее над происходящим / а не изнутри* <курсив мой. — *Е. О.*>, как те "Слова" мои»[2]. Известная философская традиция, которая берет свое начало в древней Индии, определяет человеческое «Я» не как душу и тело, а как некую первичную целостность, называемую «самостью», которая выступает источником интуитивного (мистического) познания. «Об этой последней глубине, — писал Б. П. Вышеславцев, — трудно что-либо сказать, кроме того, что это — я сам, человек "в себе", самость. Самость есть последняя и высшая седьмая мистическая ступень в существе человека. <...> Самость метафизична и метапсихична, во всех смыслах есть некоторое "мета", последний трансцензус. Только Откровение и мистическая интуиция указывают на эту предельную глубину»[3]. Именно благодаря «самости» (в значении индивидуальности) для Ремизова творчество отождествлялось с бытием и наполняло все его существование. Проявившаяся в революционный год потребность к обзору жизни с высоты бессмертной Души побудила писателя к поиску новых форм выражения такого надмирноговзгляда, когда «глаз на происходящее» выбирает ракурс «над происходящим», то есть позволяет постигнуть целостное значение явлений и событий в широком контексте культуры, истории, вселенной.

Поэма «О судьбе Огненной. Предание от Гераклита Эфесского» стала первым результатом перестройки авторского со-

---

[1] Цит. по: *Взвихренная Русь-РК V.* С. 157.

[2] ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 81.

[3] *Вышеславцев Б. П.* Вечное в русской философии // Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 285.

знания. Полное отрешение от жизни реальной, ограничивающей свободу творческого самосознания, побудило писателя поставить перед собой гносеологические задачи и обратиться к бытию, в масштабе эволюции которого политическая история отдельного государства воспринималась всего лишь преходящим явлением наличествующей цивилизации. Такой ход мыслей оказался созвучным античной натурфилософии досократиков. Логос мудреца-созерцателя открыл для Ремизова путь к обретению целостного сознания, не раздробленного от впечатлений распада реальной жизни. Возможно, значимую роль в обращении к Гераклиту сыграл текст «Фрагментов» древнегреческого мыслителя, выпущенный издательством «Мусагет» в 1910 году (перевод, комментарии и вступительная статья В. Нилендера)[1]. Описывая феномен Гераклита, переводчик писал о том, что философ не отделял собственной личности от объектов познания: «Жизнь Гераклита до конца переливается в его творчество и утверждается только во имя творчества <...>. Субъективное становится объективным. Всеединый объект растворяет и поглощает личность»[2]. Такая же позиция была избрана и Ремизовым, который впервые в художественной форме и в целостном виде воссоздал философию Гераклита как высокую космогоническую трагедию, в которой голос повествователя[3] принадлежит нераздельно как самому философу, так и ему лично. В поэме «О судьбе огненной» революционный переворот описан как эсхатологическая картина, главными действующими лицами которой предстают Огонь, Закон мироздания и Судьба. Сопротивляясь мировосприятию своих товарищей по литературе — так называемых «скифов», убежденных в не-

---

[1] См. указание на этот источник поэмы в заметке М. В. Безродного «Об источниках книги “Электрон”» (Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 155).

[2] *Гераклит Ефесский.* Фрагменты / Пер. В. Нилендера. М., 1910. С. [V].

[3] О категории «авторский голос», тождественной понятию «автобиографический герой», см. статью К. Сёке «Проблема идентификации автобиографического героя или “смерть автора”? Об автобиографичности прозы А. Ремизова» (Алексей Ремизов: Исследования и материалы / Отв. ред. А. М. Грачева и А. д’Амелия. СПб.; Салерно, 2003. С. 13—22. (Europa Orientalis; Vol. 4).

обходимости «искупительного» огня революции, который вместе с гибелью старого мира принесет и «живые семена новой жизни»[1], — писатель через реконструкцию древнего философского Логоса приходит к смирению перед необратимостью исторического процесса. В поэме идея космического пламени представлена как некий «архетип материи», отголоском которого является человеческая Душа, также огненная по своей природе[2].

В мае 1918 года, когда страна бесповоротно утвердилась в новых политических и общественных формах, в печати появилась поэма Ремизова «Золотое подорожие. Электрумовые пластинки». Это произведение является ярким примером выражения особой авторской позиции, экспансивно распространяющей свое «Я» на мир, понимаемый в самом расширительном смысле — от личной жизни до древнегреческой литературной традиции. Вводное пятистишие «Золотого подорожия», отделенное от последующей части астерисками, играет роль интродукции, связывающей мистический смысл, положенный в содержание всей поэмы, с глубоко личными рефлексиями. Уникальность поэмы состоит в особой двойственности «обозрения»: здесь авторский взгляд направляется одновременно извне и изнутри, что подтверждается завершающей строкой пролога, которая указывает на самые обычные, живые, человеческие страдания. На фоне подавляющего большинства ремизовских произведений 1917—1918 годов, характеризующихся относительной однородностью смысловых коннотаций, «Золотое подорожие» являет собой уникальный образец полисемантического текста с многоступенчатой системой художественно-философских кодов.

Во второй части произведения раздвоенность субъекта повествования — между «сверхсознанием», бесстрастно оценивающим земную реальность, и «измаявшимся», «измученным», «исколотым» человеком — показана графически. Надмирный

---

[1] Подробнее см.: *Обатнина Е.* «Крылатый» или «Земляной»? (К истории творческих взаимоотношений А. М. Ремизова и «скифов») // На рубеже двух столетий: Сборник в честь 60-летия А. В. Лаврова. М., 2009. С. 484—495.

[2] См.: *Лосев А. Ф.* История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963. С. 360.

голос самосознания, звучащий как будто сверху вниз, обозначен сдвигом текста влево относительно текста, выражающего голос потерявшего всякую надежду земного человека, который взывает к «приплюснутым» небесам без звезд. Оба голоса вступают в диалог на границе двух строф: когда один из них оглашает свой вердикт: «...и больше ничего не надо!», то другой подхватывает: «И не надо!». Здесь же возникает еще одна самоидентификация «Я» — «душа» («Вся душа моя отвращается...»). Вышедшая за пределы земного бытия, эта эманация «Я» все еще связана с миром, однако она уже может различать и эфемерное — души живых людей («Вижу души...», «Вижу измученного тебя...»).

В целом вторая часть поэмы (ее можно назвать «земной») переполнена чувством окончательного отвращения к жизни: в ней нет даже искры любви («...вся душа моя отвращается от дней и ночей, судьбой мне положенных на горькой земле»). Такому состоянию может сопутствовать только одно естественное желание: отойти, отвернуться от мира. Новый виток сюжетного развития, содержащийся в третьей части поэмы, диктует значительные перемены в нарративном строе. Отрешение от мира показано здесь движением вверх и отдалением — чем выше к облакам, тем призрачнее становятся реалии жизни. Тема восхождения к горнему, ввысь, отчуждение от всего дольнего, оставшегося внизу, подразумевает раскрытие новых кодов, связанных с образом философа-пророка-отшельника. Такие синтагмы, как «На кручу по кремнистой тропе взбираюсь...» и «слишком долго всматривался я в лица людей...», вызывают прямые ассоциации со стилистическими особенностями философско-художественного трактата Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», в котором мотив ухода центрального персонажа от людей в горы является сюжетообразующим: «Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро своей родины и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомлялся этим»[1]. Выражение «слишком долго» также соотносится с Заратустрой, являясь специфической фигурой его речи: «..вы

[1] *Ницше Ф.* Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 6.

проповедуете терпение ко всему земному? Но это земное слишком долго терпит вас, вы, злословцы!»[1]

Ницшеанский код этой части «Золотого подорожия» актуализирует эффект обратной перспективы, высвечивающей философский контекст предыдущего, «земного», повествования. Вопрос, прозвучавший уже в «Заповедном слове Русскому народу» (1918): «и как тут жить и чем тут дышать?», получает в поэме ответ, имплицитно восходящий к притче из Заратустры «О прохождении мимо». Мысль, выраженная здесь, проста: «где нельзя уже любить, там нужно — пройти мимо!»[2] Сопоставление двух текстов позволяет выделить концептуальные смыслы, актуализированные Ремизовым. У Ницше карлик — двойник Заратустры, которого «народ называл “обезьяной Заратустры”»[3] за умение подражать его речам, всячески отговаривает своего Учителя от посещения города, над которым стоит «смрад от умерщвленного духа»[4]. Гневные филиппики, обращенные к прóклятому месту, воистину справедливы, однако Заратустра возмущен, почему, сознавая полный распад всех основ жизни, карлик остался жить в этом городе: «Я презираю твое презрение, и если ты предостерегал меня, — почему же не предостерег ты себя самого?»[5] Моральный смысл притчи заключается не только в праве человека на осуждение презираемого мира, но и в добровольном отказе от него. Заратустра, отгораживаясь от карлика, утверждает, что его сверхчеловеческое презрение движимо любовью, а не ненавистью. Если перенести смысл этой притчи на отношение Ремизова к революционной действительности, то и здесь выход из экзистенциального тупика состоял в том же самом решении: осуждение России, питаемое ненавистью, греховно и даже гибельно. В «Золотом по-

---

[1] Там же. С. 52.

[2] Там же. С. 155.

[3] Там же. С. 153. Ср.: «Тебя называют моей обезьяной, ты, беснующийся шут: но я называю тебя своей хрюкающей свиньей, — хрюканьем портишь ты мне мою хвалу безумству. Что же заставило тебя впервые хрюкать? То, что никто достаточно не льстил тебе: — поэтому и сел ты вблизи этой грязи, чтобы иметь поводы хрюкать — — чтобы иметь многочисленные поводы для мести!» (С. 155).

[4] Там же. С. 153.

[5] Там же.

дорожии» нет слов любви и прощения, приносящих гармонию и очищение душе, но сама идея отрешения от ненависти и презрения ради перерождения души раскрыта в третьей и четвертой частях.

Поэма «Золотое подорожие», вышедшая в печать в Светлое Христово Воскресение 1918 года, вполне отвечала христианской идее победы над смертью. Вместе с тем древнегреческий контекст этого «пасхального» произведения утверждал преемственность религиозных традиций античного дионисийского культа и христианства. Положив в основание этого произведения мифологическую схему нисхождения и восхождения души, Ремизов описал «ад», «чистилище» и «рай», которые его душа пережила в течение одного революционного года. В плане собственно литературном поэма «Золотое подорожие» содержит ряд аллюзий, восходящих к разнообразным мифологическим образам и текстам-источникам. Заголовок, как и подзаголовок («Электрумовые пластинки»), подразумевают субстрат двух разделенных столетиями культурных традиций — русской (православной) и древнегреческой (орфической). Впервые ключевое слово заглавия («подорожие») Ремизов использовал в названии сборника 1913 года, вопреки собственным правилам, не разъяснив тогда в авторских комментариях его значения. Пришедшее к Ремизову, очевидно, через прозу Н. С. Лескова[1], оно является довольно редкой словоформой. «Подорожие» в наибольшей степени приближается к слову «подорожный», которое толкуется В. И. Далем как относящийся «к дороге, пути, перепутью», или «подорожная», то есть «открытый лист на получение почтовых лошадей», «всякий письменный вид для отлучек»[2]. В 1918 году Ремизов сместил «подорожный» смысл

[1] Ср. начало двенадцатой главы повести «Запечатленный ангел»: «Обратное подорожие мы с изографом Севастьяном отбыли скоро, и прибыв к себе на постройку ночью, застали здесь все благополучно» (*Лесков Н. С.* Собр. соч.: В 12 т. Т. 1. М., 1989. С. 440).

[2] В XVI в. «подорожная грамота» означала «документ <...> на право беспрепятственного проезда с использованием казенного транспорта и предоставления других дорожных услуг». Ср. также «подорожный лист» («подорожная память») как «свидетельство, документ для свободного прохода, проезда» (Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1990. Вып. 16. С. 33).

в сторону семантического поля, связанного со смертью и погребальным обрядом. «Дорога» стала денотатом «последнего пути», а «подорожие» приобрело значение таких атрибутов православного заупокойного богослужения (отпевания), как «разрешительная» молитва и «венчик».

В четвертой части «Золотого подорожия» обращение к конкретным орфическим текстам локализует тему мистерии перерождения души. На первый план повествования выдвигается совершенно новое воззрение на загробную жизнь души, обусловленное моментом искупления первородного греха[1]. Уже во второй, «земной», части поэмы звучит эта орфическая тема, заключенная в фразе «все раздвоено: и лицо и дух». Субъектом нарратива заключительной части «Золотого подорожия» вновь оказывается мета-«Я», объявившее свое присутствие в прологе, а в третьей части поэмы пережившее момент просветления. Сверхсознание достигает пределов загробного мира: «— Вождь мой! Я душа человечья, Укажи мне источник». Об этом же свидетельствуют и ремарки, сопутствующие другим действующим голосам мистериального действа: «И моя душа ступила в светлый круг», «Металлическим звуком... Зазвенел путеводный голос», «И в ответ душе я слышу возглас подземных бессмертных».

Следует отметить, что тема переселения души, развернутая в поэме в орфическом ключе, впервые находит отражение в «Огневице». Путешествие души в потустороннее завершается здесь ее возвращением в человеческое тело-темницу: «И лечу вниз головой через глубокую непроглядную тьму, вниз головой на землю. И вот я на земле — — я лежу на земле, обтянутый сырой перепонкой, и не разбитое крыло, прячу за спиной мою переломанную лягушиную лапку»[2]. Мотив заточения души проявляется и в таких маргинальных произведениях Ремизова, как

---

[1] По мнению ряда исследователей, орфические идеи оказали решающее влияние на христианскую религию. См.: *Иванов Вяч.* 1) Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. № 2. С. 59; 2) О Дионисе орфическом // Русская мысль. Кн. XI. Отд. II. С. 97—98; *Пфлейдерер О.* Подготовка христианства в греческой философии. СПб., 1908. С. 5; *Брикнер М.* Страдающий бог в религиях Древнего мира. СПб., 1909. С. 37.

[2] *Взвихренная Русь-РК V.* С. 169.

сновидения. В одном из снов, относящихся к весне 1918 года, Ремизов передает свое душевное состояние в точности так же, как это представляли себе орфики: «Вижу я, в каком-то невольном заточении нахожусь я. Только это не тюрьма. А такая жизнь с большими запретами: очень много нельзя. Вроде осадного положения»[1]. Только достигнув духовного совершенства, «очистившись вполне, греховная душа может найти милость у Диониса — Гадеса и у Коры — Персефоны, она выйдет из круга рождений для того, чтобы соединиться с героями, обращаться около богов и самой стать божеством»[2]. Орфический мотив несовершенной, жаждущей очищения души заявлен как в прологе «Золотого подорожия» («утолишь ты жажду мою и жар из источника ключевой воды»), так и во второй части («иссушенность» «пустынной», «голодной» души).

Третья, «горняя», и четвертая, «орфическая», части некоторое время спустя, вошли в книгу «Электрон» (Пб.: Алконост, 1919). Соединив в общий текст такие разноприродные произведения — «О судьбе огненной» и «Золотое подорожие», Ремизов привел к единому семантическому знаменателю две древнегреческие традиции — гераклитовскую и орфическую. Новая книга получила самостоятельный, трехсоставный сюжет, каждая часть которого наделена собственным кодом — гераклитовским, ницшеанским, орфическим. Первая, «гераклитовская», часть представляет собой поэтическое переложение фрагментов, лаконично раскрывающих основное содержание воззрений мудреца из Эфеса. В этой части энергия «молнии» управляет судом огня и является одновременно выражением неотвратимой силы Судьбы. Философский смысл этой части (характерный как для Гераклита, так и для орфиков) основывается на представлениях, согласно которым каждый «цикл возрождения» неминуемо завершается экпиросом (мировым пожаром), после чего следует апокстаз — обновление мира и душ.

Вторая часть «Электрона», соответствуют третьей части «Золотого подорожия» и начинается строфой: «На кручу по кремнистой тропе взбираюсь...». Это — переход от субъектив-

---

[1] Там же. С. 491.

[2] *Глаголев С.* Греческая религия. Ч. 1: Верования. Сергиев Посад, 1909. С. 243.

ного к объективному, выход из сферы сознания в сферу объективного мира, или, говоря философским языком, трансцензус. Если в первой части «Электрона» повествование безличностно, то во второй — субъектом повествования становится индивидуальное «Я» человека, который подошел к черте, разделяющей жизнь и смерть. В истории становления авторского «Я» для Ремизова книга «Электрон» осуществила переход на совершенно новый уровень самосознания. Еще в «Огневице» Ремизов описывает круг перерождения — отделение души от тела, ее мытарства в воздушном пространстве потустороннего мира, мучительные попытки обрести крылья (стать бессмертной), заканчивающиеся трагическим возвращением к жизни, на землю. Финал «Электрона» предъявляет обновленное мировоззрение, не локализованное на собственном «Я», а преодолевающее узость субъективного. Художественный мир «Электрона» создан сознанием, для которого «все я и без меня никого нет». Это особая творческая практика — обращение субъекта к самому себе, к той глубоко внутренней сфере, где обнаруживается сущностная человеческая ипостась — трансцендентное первоначало, ядро личности, независимое от внешнего мира, руководствующееся своими собственными внутренними императивами.

Катарсическая мистерия последней части «Электрона» раскрывает глубоко личную тему собственного освобождения писателя к жизни из того невыносимого духовного застенка, каким стал для многих мыслящих людей новый политический режим. В контексте личной творческой судьбы совершенно особым смыслом наполнился для Ремизова мотив ключевой воды из болот Мнемосины, которая сообщает душе дар памяти. Память, способная проникать сквозь толщи времен, превосходящая обычные человеческие возможности, на долгие годы становится доминирующим концептом индивидуальной методологии и едва ли не единственным источником творческого вдохновения писателя[1]. Память охватывает все круги реинкарнации души, помогая восстанавливать и вновь проживать со-

[1] Ср.: «Сны, память и переписывание — может быть, три основные темы-аспекта ремизовского творчества, и часто не знаешь, где начинается одно и кончается другое» (*Марков В.* Неизвестный писатель Ремизов // Aleksej Remizov. Approaches to a Protean Writer / Ed. by G. N. Slobin // UCLA Slavic Studies. 16. 1987. P. 17).

бытия чужого бытия с позиций личного переживания. Этот внутренний прожектор восстанавливает связь времен, раскрывает для писателя уникальные возможности отождествлять свое трансцендентальное «Я» с Гераклитом и другими избранными личностями в истории человечества.

«Электрон» стал для Ремизова первым опытом авто-интертекстуальности. Принцип оперирования фрагментами собственных произведений для создания нового текста, который впоследствии окажется едва ли не доминирующим в его творчестве, тогда в 1919 году был вызван внутренней экзистенциальным проблемой писателя — найти единственно верную авторскую позицию, которая, не изменяя установки на субъективность, вместе с тем не приводила бы к ограниченному солипсизму. По прошествии времени только одна поэма из трех текстов 1918—1919 годов — «О судьбе огненной», в редакции 1918 года — не утратила для Ремизова содержательной актуальности и была включена в состав автобиографического романа «Взвихренная Русь». История создания произведений на основе древнегреческих источников, длившаяся с марта 1918 по лето 1919 года, в полной мере отражает поворотный период в творческой и личной биографии писателя, существенно изменивший его мировоззрение и образ художественного мышления.

II

Тема Души напрямую оказалась связана в ремизовском творчестве с поисками новой повествовательной формы. Весьма характерно, что, делая шаги в этом направлении, Ремизов в первый год эмиграции, находясь в Берлине, занялся переработкой собственного произведения, написанного в 1914 году. В рассказе «Несекомая пуповина» (другое название «Павочка») впервые была представлена мистическая картина полета Души над миром, который оказался для нее лишь временным пристанищем. В 1922 году уже в новой редакции рассказ был издан отдельной книгой под названием «Корявка». Произведение, теперь облеченное в форму повести, в творческой биографии писателя открывает «эру» новой прозы.

Основная идея, заключавшаяся в преобразовании обыкновенного в необыкновенное, бессмысленного в сущностное, рас-

крывается в «Корявке» постепенно, в процессе развития сюжета. Поэтому и восторженное «прозрение» героя с забавной фамилией Корявка, что его товарищ, самый обыкновенный надворный советник, является воплощением некой — «несекомой пуповины мироздания», в ходе трагического разрешения, на первой взгляд, обывательской истории оборачивается оригинальной попыткой детерминации онтологического первоначала. Через эту «несекомую», а значит вечную связь с «пупом земли», древний символ которого известен по дельфийскому омфалосу (ὀμφαλός της γής), душа обретает знание о своем назначении.

Жизнь заурядную, с ее обычными человеческими взаимоотношениями, Ремизов представляет как процесс инфернальный, осуществляющийся хотя и по не писанному, но непререкаемому закону Бытия. Его герои как будто действуют, подчиняясь неким внешним силам. Едва ли не главным «актором» этого сюжета, наравне с Судьбой, является немотивированное притяжение между людьми, которое имеет разные обертоны выражения — от дружеской симпатии до любви — и именуется «восхищением». В ходе событий постепенно обнаруживаются «магнитные поля», соединяющие героев: между Корявкой и Галузиным, Галузиным и цыганкой Машей, Галузиным и Павочкой, Павочкой и неким доктором, принимавшим ее каждую пятницу.

В берлинской редакции новая диспозиция героев, продиктованная переименованием текста, обогатилась новыми стилистическими приемами, внесшими ритмическое построение нарратива. Бытовой рассказ (в особенности в финальной части) приобретает звучание древнегреческой трагедии: на авансцену событий выходят Судьба, Стихия, Душа. В таком ракурсе образ Галузина заключает в себе идею Души, бессмертие которой сохраняется чувством любви. Ср.: «С вихрем не нашим над нашей землей летел Петр Иванович, не Петр Иванович Галузин, душа человечья». В свою очередь, Корявка совмещает в себе две роли — «протагониста» — действующего героя, влияющего на ход событий, и «резонера» — выразителя идеи автора, открывающего смысл бытия в обыкновенных явлениях жизни. Существенное преобразование текста 1914 года произошло и на композиционном уровне. Теперь повесть «Корявка»

предварялась интродукцией под названием «Автограф». В книге этот новый текст представлял собой факсимильное воспроизведение каллиграфического письма Ремизова. Все содержание интродукции, наравне с ее оформлением, демонстрировало буквально алхимический процесс диффузии художественного повествования о любви и смерти Петра Ивановича Галузина с реалиями личной жизни писателя. Художественный вымысел дополнился темой Обезьяньей Великой и Вольной Палаты, поскольку объективация знаменитого мифологического конструкта Ремизова совершалась как раз на границе литературного быта и творчества — этих двух сфер бытия писателя. Без каких-либо дополнительных пояснений в «Автографе» были объявлены мифические имена реальных и весьма известных людей, составлявших дружеский круг общения Ремизова. Авторское «Я» здесь является неотъемлемым «действующим лицом» вымышленного сюжета. Принципиальное совмещение планов реальности и вымысла реализуется в эффектном приеме раскрытия кульминации еще не рассказанного сюжета в предисловии. Начиная с конца, Ремизов погружает читателя «в такую гулянную ветрову ночь в Михайлов день», когда, возвращаясь вместе с П. Е. Щеголевым с именин М. М. Исаева, на Французской набережной, он вдруг заметил: «Петр Иванович Галузин пробирается по бельэтажному карнизу и совсем налегке: в смокинге и без шляпы». И охватило странное чувство двоемирия — между реальностью и художественным вымыслом: «Ничего не соображаю: почему, как и на такой высоте опасной очутился Петр Иванович?»

Каллиграфический автограф Ремизова, несомненно, украсил издание повести, однако это новаторство полиграфической печати не исчерпывало всей потенциальной глубины замысла Ремизова. Подсоединение к основному тексту 1914 года «Автографа» способствовало тому, что дистанция между Корявкой, рассказчиком, авторским «Я» и читателем практически сводится к нулю, нивелируя границы между литературой и литературным бытом. «Восхищение» как сила притяжения создает в рассказе корреляции и с самим Ремизовым. Автобиографическая валентность присуща здесь одновременно и герою-рассказчику, и центральному персонажу описываемой истории — Корявке. Корявка вместе с героем-рассказчиком превращаются в двой-

ников автора. Все эти метаморфозы пронизаны ремизовской иронией, обращенной и на себя самого, и на свои литературные отражения. Лексическое значение фамилии этого героя (от слова корявый — нескладный, или корябить — дурно писать), определенно, несет в себе ироническую автохарактеристику Ремизова, который, конечно, не отличался внешней красотой, но при этом снискал славу искусного каллиграфа. Корявка — только с виду неприметный чиновник, но «по его собственным тайным думам о себе был наполнен премудрости, — как злата и бисеру изнасыпан, и разумом смыслен! — Корявка мог становиться на всякую точку зрения и сочувствовать всяким чувствам, и самым противоположным». Так насмешливо Ремизов представил свою писательскую деятельность. В обратной перспективе на собственное творчество, а именно на поэму «О судьбе огненной. Предание от Гераклита Эфесского», особенно курьезно звучат обытовленные «мудрствования» героя о первоначале воды: «Есть, по Корявке, три естества у воды: первое — мы по ней плаваем, второе — мы ею моемся, третье — мы ее пьем; а есть и четвертое — нас она топит».

III

Жизнь А. М. Ремизова в эмиграции была по сути безрадостной. В писательской среде существовало устойчивое мнение, что его творчество может питаться только от «родной почвы». Неслучайно Е. И. Замятин, хорошо знавший обстоятельства отъезда Ремизова за рубеж (до таких сокровенных деталей, как увезенная с собой горсть земли из Таврического сада[1]), описывая состояние современной русской литературы, не разделял писателей, оказавшихся по разные стороны границы: «Из писателей, заброшенных в Россию Берлинскую <...> Ремизов — все еще тянет соки из той коробоч-

[1] Ср. очерк, написанный Ремизовым на смерть петербургского друга Я. П. Гребенщикова, с воспоминаниями о встрече, состоявшейся накануне отъезда писателя и его жены в эмиграцию: «Яков Петрович, при нашем горестном расставании вы принесли и дали нам в нашداстраннический путь “русскую землю” из Таврического сада...» (Последние новости (Париж). 1935. № 5159. 9 мая. С. 3).

ки с русской землей, какую привез с собой в Берлин...»[1] Однако и до России уже начинали доходить слухи об изменениях в творческом кредо Ремизова, так что, предрекая такое обновление, Замятин иронически сопоставил творческую эволюцию писателя с сенсационным методом омоложения организма, разработанным в начале 1920-х гг. австрийским ученым-физиологом Эйгеном Штейнахом, и выразился иносказательно: «...ожидаемые последствия Штейнаховской операции — у него <Ремизова. — *Е. О.*> еще впереди»[2]. Едва ли не единственный из литераторов старой школы наставник пишущей молодежи в Петрограде, писал о возможных и желаемых «силовых линиях» художественной литературы, для которой реализм как художественное направление был уже тесен: «...сегодня, когда точная наука взорвала самую реальность материи — у реализма нет корней, он — удел старых и молодых старцев. В точной науке — анализ все больше сменяется синтезом, задачи микроскопические — задачами Демокрита и Канта, задачами пространства, времени, вселенной. И явно, эти новые маяки стоят перед новой литературой: от быта к бытию, от физики — к философии, от анализа — к синтезу»[3].

Эта идея, очевидно, импонировала Ремизову, однако его личная авторская стратегия предполагала собственный оригинальный модус творческого осмысления действительности. Вслед за «Корявкой», в декабре 1923 года увидела свет его книга «Кукха. Розановы письма» — авангардное по своей природе новое литературное произведение, которое, отчасти можно рассматривать как полемический ответ писателя на «программу»

---

[1] *Замятин Е.* Новая русская проза // Русское искусство. 1923. № 2/3. С. 56—57. Цит. по: *Замятин Е.* Я боюсь. Литературная критика. Публицистика. Воспоминания / Сост. и комм. А. Ю. Галушкина. Подг. текста А. Ю. Галушкина, М. Ю. Любимовой. Вступ. статья В. А. Келдыша. М., 1999. С. 90.

[2] Там же. О подтексте шутки Замятина по поводу «Штейнаховской операции» Ремизова см.: *Обатнина Е.* Замятин pendant Ремизов: игра в шутку и всерьез // New Studies in Modern Russian Literature and Culture: Essays in Honor of Stanley J. Rabinowitz / Ed. by C. Ciepiela and L. Fleishman. In 2 parts. Part I. Stanford, 2014. P. 310—324 (Stanford Slavic Studies. Vol. 45).

[3] *Замятин Е.* Новая русская проза. С. 93.

петроградского коллеги. Он по-прежнему писал о быте и жизни человека страдающего, однако телескопический эффект укрупнения смыслов — от быта к бытию, от физики к философии — происходил как будто сам собой, благодаря особой позиции авторского «Я». В «Кукхе», по сравнению с повестью «Корявка», Ремизов предельно усилил раскрытие авторского «Я», синтезировав жанры автобиографии и мемуарной прозы. В тексте «Кукхи», повествующем о документальных событиях биографии Ремизова, связанных с В. В. Розановым, мы находим подтексты художественных приемов повести «Корявка», в особенности сходный мотив необъяснимого притяжения людей друг к другу, названный Ремизовым «восхищением». Тенденция к отождествлению авторского «Я» с героем в рассказе более всего проявляется в чувстве «восхищения» Корявки его другом Галузиным. Ивариант подобного восторженного отношения находим и в «Кукхе». «Восхищение» личностью В. В. Розанова в поэтической форме здесь описано в главе «Опал». Как Корявка, спонтанно ассоциировал своего друга Галузина с древним символом начала всех начал — «несекомой пуповиной мироздания», так и Ремизов в своей автобиографической книге по вдохновению и восхищению перед философией Розанова, наполненной пафосом беспрерывного рождения, придумал для такого первоначала, как космическая влага, несущего в себе идею зарождения, мифологическое имя — «Кукха». В подражание «фигурным» стихотворениям древней Александрии его панегирик «Кукхе» повторяет форму пирамиды с вершиной, обращенной вниз, и воспевает «самопознающую» оплодотворяющую силу, «проникающую» все живое — от насекомых и парнокопытных до человека. Отчетливый параллелизм двух произведений обнаруживается в прямых совпадениях. Оба текста фиксируют «момент истины», преобразующий окружающую действительность в Бытие: Корявка в повести и Ремизов в своих воспоминаниях спонтанно создают новые мифологемы (символ «кукха» — метафора «несекомая пуповина мироздания»). Неслучайно также использование одного и того же игрового прозвища («Балда Балдович»), которым, оказывается, любил представляться в дружеских беседах не только вымышленный персонаж Петр Иванович Галузин, но и реальнейший из реальных В. В. Розанов. Характерно, что в главе «Опал» есть

и явные авторские отсылки к началу 1910-х гг., т. е. ко времени создания первой редакции повести «Корявка», озаглавленной в 1914 году «Несекомая пуповина»: «...продираюсь через годы — а всего-то 15 лет! 15 лет? — через революцию, где год за сто лет, и через войну — бесконечную!»[1]

Новое развитие в «Кукхе» получила тема двоемирия (реальной жизни человека и вечной жизни Души), которая в повести «Корявка» реализована еще средствами художественного нарратива, как фантастическое видение полета души Галузина над оставленной ею жизнью. В «Кукхе» тема противостоящих миров переведена в план философский и дана в антитетических сопоставлениях: Россия — эмиграция, прошлое — настоящее, жизнь — смерть. Вся книга была выдержана в форме живого, непосредственного обращения автора к В. В. Розанову, в загробный мир. «Разговор» с душой философа, перемежаемый воспоминаниями о встречах, служил подтверждением метафизической связи между мирами — реальным и потусторонним, преодолевающей границы трехмерности. В книге впервые от имени авторского «Я» была выражена выстраданная мысль, ставшая магистральной в произведениях писателя последующих нескольких лет, о тяжелой земной жизни человека, находящегося под гнетом непререкаемой Судьбы и спасающегося только верой в чудесное.

Наступивший 1924 год для Ремизова был связан с работой над новой повестью, завершенной весной 1925 года. В письме к Д. А. Лутохину, одному из героев своего нового произведения, писатель поделился творческими планами, связанными с надеждой на публикацию и, прежде всего, на благоприятное решение главного редактора журнала «Воля России» М. Л. Слонима: «Это повесть *о жизни вещей* и о воплощении (материализации) моего Esprit. От Слонима никакого ответа. (Он думает, что я это в шутку, а это очень сурьёзный рассказ)»[2]. Повесть называлась «La vie» — «Жизнь». Надо признать, что Слоним оказался в сложном положении, поскольку писатель ему пообещал

---

[1] *Ремизов А.* Кукха. Розановы письма / Изд. подг. Е. Р. Обатнина. СПб., 2011. С. 82. (Сер. «Лит. памятники»).

[2] Письма А. М. Ремизова к Д. А. Лутохину (1923—1925) / Публ. и комм. Е. Р. Обатниной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2005—2006 год. СПб, 2009. С. 974.

для журнала две вещи на выбор — главы романа «Взвихренная Русь», уже частично публиковавшегося в эмигрантской печати, начиная с 1922 года, и эту, совсем недавно написанную повесть. На первый взгляд, произведение под названием «Жизнь» заведомо обещало быть масштабным и глубокомысленным. Учитывая, что проза Ремизова по преимуществу создавалась на основе автобиографических сюжетов, трудно было и представить, что произведение под таким названием окажется собранием фантазий писателя с участием представителей его коллекции игрушек и природных артефактов, наделенных свойствами живых существ. Без этих скрытых в реальности «чудесных помощников» человека ни одна сказка не заканчивалась бы благополучно. Ремизов опробовал действие сказочного «закона» в границах реальной жизни и создал новую автобиографическую прозу. Главным героем повести оказалось существо, нареченное по-французски, Esprit — просто Дух.

Слоним остановил свой выбор на романе, посвященном трагическому виражу на историческом пути — русской революции 1917 года и четырем годам мучительного выживания в стране с новым укладом жизни. Он так и написал Ремизову, объясняя свои предпочтения: «Мне кажется, что “Взвихренная Русь” значительное глубокое произведение, и я лично склонился бы именно к этой вещи»[1]. Самое удивительное, что Ремизов не только работал над главами обоих произведений практически одновременно, но даже писал их тексты на разных сторонах листов одной тетради — левая для «Взвихренной Руси», правая — для «La vie»[2]. Так создавалась повесть, которая вскоре получит название «По карнизам» и окажется, в некотором смысле, зеркальным отражением знаменитого романа-эпопеи. Оба произведения, основанные на личных переживаниях писателя, содержат хронологическую канву конкретных периодов его жизни. И повесть, и роман в творческой эволюции Ремизова представляют собой результат художественного переосмысления законов линейного повествования. Это сложные архитектониче-

[1] *Keys R.* New Light on Remizov's First Novel, *Prud* (The Mere): Selected Correspondence of A. M. Remizov, E. A. Liatskii, M. Slonim, F. S. Mansvetov, and The «Plamia» Publishing House // Slavonica. 2004. Vol. 10. № 1. April. P. 73.

[2] РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1.

ские структуры, соединяющие тексты разнообразной жанровой принадлежности. О том, что повесть «По карнизам» и для самого Ремизова стала своего рода новаторским произведением, подтверждается авторской рефлексией — надписью на верхней крышке папки с рукописями глав и рассказов «По карнизам». По всей вероятности, передавая автографы в собственность неизвестному лицу в 1937 году, писатель оставил пояснение — «*Новая форма повествования*»[1].

Специфические особенности «новой формы» проявились, прежде всего, в выражении авторского «Я». Благодаря осознанной писательской стратегии в прозе Ремизова формируется образ рассказчика, максимально приближенный к его собственной личности. Сочинительство перестает быть заповедной территорией творчества как такового, становясь органичным выражением подлинной жизни писателя. В контекст художественного произведения, наряду с сюжетами бытовой жизни с участием широкого круга знакомых и друзей писателя, вливается и его подсознательное — сны и персонажи, возникшие из многослойной мифологической культуры, к которой Ремизов относился как к наивысшей ценности человеческой цивилизации. На первый взгляд, все коллизии новой повести, по сравнению с жесточайшей реальностью эпохи, описанной в романе «Взвихренная Русь», — с теми испытаниями духа и плоти, которые выпали на долю очевидца и хроникера Алексея Ремизова в 1917—1921 годах в России, — кажутся мизерабельными, а в их описании поверхностно прочитывается только ироническое отношение писателя к вынужденным обстоятельствам проживаемой жизни. Тема «чудес» и «волшебства» в сочинении, описывающем эмигрантский быт писателя, возникла, скорее, вопреки, чем благодаря новой жизни за границей. Неслучайно употребление в первоначальном названии повести чужого, французского, языка. «La vie» — это и жизнь измененная, по чужим законам, и жизнь странная, в которой помощь в преодолении трудностей, связанных с нищетой, одиночеством и чувством ненужности в чужой стране, приходит только «чудесным образом». Маленькая армия «волшебных помощников» противостоит в вымышленном писателем мире таким же представи-

[1] РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 3. Л. 1.

телям власти, чиновникам и просто бездушным людям, с которыми сталкивается человек в реальности, живущий в любой стране и при любом строе. В таком подходе к действительности скрыт философский взгляд писателя на человеческое бытие, скорбное по преимуществу. Душа человека на земле проходит мучительные круги испытаний. В этом он следовал древним орфикам, представления которых о путях человеческой души в мире легли в основу поэм «Золотое подорожие» и «Электрон».

Рукопись повести «По карнизам» содержит впоследствии изъятые из окончательного текста отголоски того чувства незащищенности перед внешним миром, которое постоянно сопровождало писателя в эти годы: «...когда приходит срок платить за квартиру, а платить нечем и ждешь чуда. Ведь мы живем “чудесным образом!” От моего “сочинительства”» — пустяки, а что С<ерафима> П<авловна> зарабатывает, этого никак не хватает, стало быть, всякий раз “чудесным образом”, никакой “стипендии” я не получаю, хуже, приятели упорно распускают слух, что получаю, и все спокойны и никому в голову не приходит, что “чудесным образом” и что в один прекрасный день, а ведь все может случиться, чего ж закрывать глаза, чуда не произойдет и тогда — —»[1]. Характерное для прозы Ремизова, двойное тире в этом контексте становится графическим выражением того внутреннего страха перед реальностью парижской эмиграции, с которой писатель принужден смиряться. Однако первый план размышлений писателя содержит не ламентации по поводу жизненных трудностей, а поиски выхода из ограниченных условий данности в свободное пространство независимого бытия души. Безнадежность собственного существования Ремизов описывает метафорически, сравнивая жизненные ощущения с чувством внезапного испуга, какое постигает лунатика, если его окликнуть в тот момент, когда он стоит на узком окон-

[1] РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 17. Ср. авторский инскрипт Серафиме Павловне Ремизовой-Довгелло на авантитуле издания повести в 1929 г.: «В этой книге итог нашей жизни на Av. Mozart, проникнутой надеждой на чудо. <...> В другой форме эта наша Mozart’овская жизнь не могла выразиться. И опять какая-то ирония: все чудесно, все одухотворено, все по своему страждется: и вещи и человек — во сне и в яви» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 124).

ном карнизе. Так же бесстрашно стоял в оконном проеме Петр Иванович Галузин («Корявка»), который оказался на опасном барьере между жизнью и смертью не в силу приписанного ему сомнамбулизма, а по чувству непреодолимой, «завечной» любви. Странный человек с окрыленной Душой среди людей, твердо стоящих ногами на земле.

Для писателя мир бестелесный, наполненный духами — это своего рода убежище от материальной узости и скудости жизни. В одном из писем к жене (от 26 июня 1926 года) Ремизов даже разделил свои представления о реальности на «карнизные» и «некарнизные»: «Очень я ушел в “По карнизам” и все “некарнизные” мысли ушли». В тот же день он рассуждал: «Откуда у меня такое отвращение к “естественным законам” или против “нормального”? Круг, из которого не выскочишь: родился, значит, проходи “естественной дорогой”: пей и ешь и болезни. Против сна я ничего, потому что “снится” — я со своими законами природы не участвую. Через сновидение человек проникает на тот свет — единственная дверь туда»[1]. В повести события разворачиваются на стыке бытовой (реальной) и внутренней, наполненной фантазиями и яркими эмоциями жизни. Такой хрупкий материал как автобиография ментального плана требует практически одновременной фиксации ускользающих из сознания чувств, явлений и событий, рисуемых воображением, которые по своей природе напоминают сны. Рассказы стилистически приближены к народным легендам и быличкам (чудесным случаям в жизни), которые возникли в результате не письменной, а речевой культуры.

В основу нового авторского нарратива положена импровизация разговорной речи. Характерно, что «новизна» такой повествовательной манеры имеет исторические корни и напрямую связана со сказовым стилем протопопа Аввакума, личность и творческую одаренность которого Ремизов относил к важнейшим в собственной системе духовных и культурных ценностей. Повесть по-своему воспроизводит коммуникативную ситуацию интимной дружеской беседы, положенную в основание «Жития протопопа Аввакума, им самим написанного». Первоначальное название первой главы «По карнизам» («Esprit. His-

[1] ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Кн. 13. Л. 68.

toire-salade: сказ-вяканье») напрямую отсылает к знаменитому «вяканью» Аввакума — не высокопарному, а намеренно сниженному стилю повествования, впервые прозвучавшему в «Житии». Несомненно, повесть Ремизова, не только стилистически, но и содержательно, как описание пути через испытания и обретение помощи «чудесным образом», внутренне ориентирована на этот автобиографический шедевр русской литературы XVII века.

Духовный путь, литературный дар и трагическая гибель протопопа Аввакума являлись для Ремизова важными темами творческого познания жизни вообще и литературного труда в частности. В 1924 году Ремизов и С. П. Ремизова-Довгелло помогали филологу Джейн Эллен Харрисон (Jane Ellen Harrison) и переводчице Хоп Мирлиз (Hope Mirrlees) — подготовить к изданию английский перевод «Жития». Книга вышла в том же году в Лондоне с предисловием кн. Д. П. Мирского и посвящением супругам Ремизовым[1]. В 1926 году Ремизов подготовил по изданию Я. Л. Барскова (Памятники истории старообрядчества XVII в. Кн. 1. Вып. 1. Пг., 1916), собственный список «Жития Аввакума» с комментариями, которые были опубликованы в журнале «Версты» (1926. № 1. Разд. II. С. 1–73). В связи с этой работой с большой долей вероятности, можно утверждать, что писателю была известна статья В. В. Виноградова о творческом стиле Аввакума, опубликованная в 1923 году[2]. Примечательны наблюдения филолога, который описывал сочинение Аввакума как произведение, рожденное стихией разговорной речи, построенное не только на сломе традиции книжного лексического нарративного единства, но и на принципиальной жанровой контаминации разноприродных фрагментов повествования.

Интерес Ремизова к «отступничеству» от литературных канонов в первой печатной редакции глав повести «По карнизам»

---

[1] Воспоминания Ремизова над этой работой см.: *Ремизов А. М.* Неизданный «Мерлог» / Публ. А. д'Амелиа // Минувшее: Истор. альманах. Вып. 3. Париж, 1986. С. 236.

[2] См.: *Виноградов В. В.* О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума // Русская речь: Сборники статей / Под ред. Л. В. Щербы. Пг. 1923. [Ч.] I. С. 195–123. (Труды фонетич. Ин-та практич. изучения языков / Под ред. И. Э. Гиллельсона).

проявился даже отчетливее, чем в последней редакции 1929 года. Так, глава «La Matière» в двадцать шестой книге журнала «Современные записки» за 1926 год в своем составе содержала, помимо рассказов, связанных с таинственным Алоизом При, авторские переложения трех сказок подкарпатского фольклора, которые, наряду с описанием реальных сновидений писателя, дополняют мистико-волшебный контекст всего произведения в целом. Преобразованный литературный опыт Аввакума сказывается и в употреблении Ремизовым большого количества диалектизмов, разбросанных по всему тексту повести. Их непривычное для человека городской культуры звучание и размытость лексического значения являются частью авторского замысла — открыть необыкновенное, странное, чудесное, загадочное в самом привычном — в родном языке. Разумеется, события, описанные в повести «По карнизам», не сопоставимы с теми муками религиозного служения, ради которых протопоп Аввакум прошел свой путь и погиб за идею. Однако сама мысль о судьбе, испытывающей человека своей слепой жестокостью, которая пронизывает произведение Ремизова, со всей очевидностью восходит к этому памятнику древнерусской литературы, а через него, проникая сквозь глубинные слои культуры, обращается к Гераклиту. Среди чудесных, забавных или не поддающихся логике событий то и дело возникает отрезвляющая интонация рассказчика, напоминающая, что все эти фантазии — лишь плод его сознания, а на самом деле: «судьба не страшна, а ужасна; это — как безглазый (а по-своему зорче стрелка!) тяжелый камень или пролетит или расплющит. И не знаешь, когда это будет, и что тебя вот в ту следующую минуту ждет...» Этот фрагмент возвращает к финальной патетике поэмы «О судьбе огненной»: «О судьба! О, судьба! О, всемогущая! Кто тебя минует, кто тебя избежит?»

Среди явных и неявных корреляций повести с «Житием» обращает на себя внимание тот факт, что образ жены писателя — Серафимы Павловны — выведен в этом произведении схематически: он присутствует как будто на периферии событий. Однако отношение Ремизова к спутнице жизни, известное всему его окружению, а также и читателям, которые встречали на титулах каждой его книги посвящения жене, не может не вызывать ассоциации с чувствами Аввакума к его Анастасии

Марковне. В контексте испытаний эмигрантской жизни для Ремизова, очевидно, как камертон для подтверждения истинности, подспудно звучал знаменитый диалог о смирении перед судьбой: «...на меня, бедная, пеняет, говоря: “долго ли муки сея, протопоп, будет?”» И я говорю: “Марковна, до самыя до смерти!” Она же вздохни, отвещала: “добро, Петрович, ино еще побредем”»[1]. Имя протопопа Аввакума и даже фрагмент мистического сюжета из его «Жития» обнаруживаются в повести как будто невзначай — из «экономического сундука» о. Долмата. Однако называются или подразумеваются и другие имена хранителей «тайного» знания о «четвертом» измерении, которые являются сигнатурами той системы координат, в которой Ремизов выстроил причудливую и остроумную конструкцию своего нового произведения.

«По карнизам» — это рассказы о реальности мифа, растворенного в проживаемой жизни, в которой нередко встречаются необъяснимые явления. В первой главе появляется загадочный Esprit — с виду просто веточка, отдаленно напоминающая антропоморфное существо с излишком ног: «тоненький, две руки, три ноги, как полагается». Этот Дух, возникающий ниоткуда, материализуется в человеческом обличии в образе таинственного героя Алоиза При во второй главе «La Matière». В заголовок вынесено слово «материя» — философская категория, обозначающая реальность, которая существует независимо от человека. Как в случае с первоначальным французским названием повести «La vie», так и в названии детективной истории, наполненной невероятными событиями о взаимопроникновении материальных предметов («Interpenetratio»), Ремизов, использует иностранные слова, прибегая к приему «остранения» смыслов. В результате явления «материального» мира, с которыми герой-повествователь сталкивается в Праге, оказываются прямыми доказательствами существования потусторонних сил. Древний манускрипт «Дьяволова библия» (если верить легенде о его происхождении) «наглядно» свидетельствует о существовании метафизического мира, поскольку содержит иконографическое изображение Дьявола. Участие трехногого Esprit, в загадочной истории, произошедшей в пражском монастыре,

[1] Цит. по списку Ремизова: Житие Аввакума протопопа, им самим написанное // Версты. 1926. № 1. С. 1—73.

недвусмысленно подтверждается несмываемыми следами таинственного гостя — «кривые ноги — по одной ноге через всю келью, а около умывальника — — две».

Esprit, по замечанию одного из приятелей рассказчика, чрезвычайно похож на изображение духа на фотографиях, полученных Шарлем Рише во время экспериментов по изучению подсознания медиумов. Выдающийся французский ученый был одним из первых представителей позитивной фундаментальной науки, занявшихся изучением паранормальных явлений. Ученого-физиолога интересовала Душа человека как самостоятельная субстанция, живущая независимо от телесной оболочки, поэтому инструментарий его научного опыта включал и метод спиритических сеансов[1]. Характерно, что Рише вошел в науку как специалист по иммунологии, однако уже во второй половине 1880-х годов стал известным исследователем явлений пограничного сознания человека, в особенности сомнамбулизма[2]. В предисловии к повести «По карнизам» Ремизов также обращается к явлению сомнабулизма (лунатизма) для метафорического объяснения собственного мировоззрения.

В подтексте повести «По карнизам» скрываются и другие источники, оказавшие влияние на взгляды ее автора. К ним, в первую очередь, отнесем труды французского философа-интуитивиста Анри Бергсона (1859—1941) — фигуры чрезвычайно актуальной для символистской среды, в которой формировалась творческая личность русского писателя. В 1920-е годы Бергсон продолжал активную творческую деятельность, сохраняя позиции модерниста в области философии и литературы. В 1927 году, когда работа Ремизова над повестью еще была в самом разгаре, он получил Нобелевскую премию по литературе — «в знак признания его ярких и жизнеутверждающих идей, а также за то исключительное мастерство, с которым эти идеи были воплощены». Вслед за философом, выдвинувшим в своей работе «Творческая эволюция» (1907) критику естественнона-

---

[1] См.: *Бутлеров А. М.* «Спиритический» метод в области психофизиологии: Реферат статьи Ш. Рише о мысленном внушении. СПб., 1885.

[2] См., в частности, его работы, переведенные на русский язык: «Сомнамбулизм и демонизм» (СПб., 1885), «К вопросу о сомнамбулизме» (Киев, 1886).

учных методов познания, писатель раскрывает схожий метод гносеологии — через творческое осмысление (по Бергсону — «творческую интуицию»). Воссоздавая хронику собственной жизни в воображаемом мире, неотделимом от бытовой реальности, Ремизов, сближался с Бергсоном в толковании происходящего как «длительности». Этим понятием философ оперировал в своей трактовке категории времени как симультанного результата человеческого сознания, воспринимающего явления мира в их целостности — без разделений на материальное и духовное.

Другой опорой для мировоззренческой позиции писателя могла быть мысль Бергсона о функции мифологического сознания, которое служит человеку защитным механизмом от неотвратимой мысли о конечности жизненного пути. Идея бессмертия Души воплощалась для Ремизова через мир мифов и легенд, представители которой в виде тотемов или игрушек, связанных с определенными мифологическими мотивами, окружали его в повседневной жизни. Он даже сам иногда удивлялся, как, практически сами по себе, герои волшебного мира поселялись в его доме. Например, рассказ «Диамант» начинается с утверждения: «Они придут, не одни, так другие!» — которое просто повторяет мысль, высказанную писателем в реальности. В письме С. П. Ремизовой-Довгелло он сообщал о событиях минувшего дня (29 июля 1928 года): «Письмо (открытка) мне от Кулаковского, что высылает Яносика с то<по>ром — горный дух Карпат, фею гор <...>. Вот они сами идут! Помнишь, деточка, как я, бывало, отдам какого-нибудь, а его опять, гляжу, несут»[1].

Волшебный бестиарий Ремизова населяли и самые прозаические предметы, таинственное назначение которых, доступно только человеку, посвященному в глубины мифологического знания. Рассказ «Клад» как будто построен на иронической подмене мечты о неожиданно обнаруженном богатстве (материальные ценности) — никчемной находкой — деревянной чуркой. Такой «сюрприз», да еще обнаруженный в подушке, любой другой бы выбросил за ненадобностью. Совсем иное, символическое отношение к неожиданным явлениям бытия демонстрирует Ремизов, радуясь, что вместо материального блага он обрел посланника иррационального мира. Естественно было бы

[1] ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Кн. 13. Л. 34.

предположить, что история с «Чуром» является чистым художественным вымыслом. Тем не менее, содержание письма Ремизова к жене от 29 июня 1926 года подтверждает реальность события, связанного с появлением в жизни писателя и его жены защитника (óберега) от бед и стихийных бедствий: «Я понял, кого я тогда в подушке нашел: это “чур”. Самый настоящий “чур”. Он живет на меже в поле, но водится и по домам. Надо его повесить к “Esprit” <...> “Чур” — охранитель, а “Esprit” может и попугать, Чур — никогда»[1].

«Волшебные» сюжеты повести преимущественно имеют автобиографический генезис. Насколько серьезно Ремизов относился к тайному миру чудес и волшебства, можно судить по двум сюжетам. В первой главе рассказ о мелком грызуне, заведшемся в квартире Ремизовых, связан с легендой о «святой» мыши из бенедиктинского монастыря Andechs в Баварии. В письме к П. П. Сувчинскому от 30 июля 1922 года Ремизов упоминает о ней, описывая путешествие по «святым» местам Германии: «...ходили тут на святую гору Andechs (Ящерную), показывали нам ленту из омофора (пожалуй, скоса — Stola) Николы Угодника и образ мышки, которая однажды записку принесла в монастырь, по которой открыли спрятанные сокровища. Ну, до чего чудесная мышка — верующие к ней прикладываются...»[2] Маленький, непрошенный гость воспринимается писателем дружелюбно и с юмором — как одним из тайных «волшебных помощников», появляющихся в трудную минуту. Присутствие мыши было замечено сразу после отъезда С. П. Ремизовой на отдых, а ее исчезновение совпало с днем возвращения хозяйки дома. В письмах к жене писатель несколько раз упоминает о том, как они уживались с хвостатой постоялицей. В одном из них сообщалось: «Мышка перекочевала ко мне: бегает, как тень. И нечего ей есть, так коврик, что под дверью, теребит»[3]. Накануне встречи с Серафимой Павловной Ремизов написал о своей догадке, практически в том же виде перенесенной в текст повести: «А представь себе, мышка, какая умница: это она без тебя меня сторожила. И я ее никому не выдал. Наташа <Н. В. Резникова. — *Е. О.*> спрашивает: “Что это, как будто

[1] ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Кн. 13. Л. 72.

[2] Национальная библиотека Франции: FRBNF 39609744.

[3] ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Кн. 13. Л. 42.

мышь или это у меня в глазах?” “Да, говорю, это у вас в глазах”. А вчера Шклявер со страхом: “Мышь!” “Ну откуда тут мышам быть, это от лампы!”. А сегодня мышка ушла — не показывается: знает, что завтра приедешь. И ушла в норку — отслужила. Ну, подумай, как я ее прогоню, если явится вдруг?»[1] Так, благодаря волшебному миру писателя, проза жизни оборачивалась в забавную сказку о мышке и ее «подопечном».

Другой случай основывается на более неприятном, даже насильственном, столкновении с реальностью, когда Ремизов получил физические травмы от наехавшего на него автомобиля. В рассказе об этом происшествии упоминается достаточно лапидарно. Однако сохранился автограф писателя, который был, очевидно, написан в связи с необходимым расследованием инцидента. Судя по подзаголовку, рукопись первоначально представляла собой объяснительную записку от участника уличного происшествия, по характеру изложения совершенно отвлеченную от контекста повести «По карнизам». Однако заключительная вклейка, появившаяся позднее и содержащая фантазию о невидимых «чудесных помощниках» пострадавшего писателя, восстанавливает эту утраченную связь:

Под авто<мобилем — зчркн.>

Показание безвинно пострадавшего — доктору А. О. Маршаку.

«J’ai eu bien peur l’autre jour. Je vous ai vu sous l’auto
et je vous croyais mort sur le coup!»
(*Трамвайная билетчица № 25*).

«1 Июля в 3 часа дня я ждал трамвая № 25 ехать к St. Sulpice, я стоял на остановке — на углу Rue d’Auteuil и Rue Michel-Ange. Когда трамвай подходил к остановке, автомобили, догонявшие трамвай, замедляя ход, приостанавливались и я, глядя влево, на эти автомобили, пошел с тротуара к трамваю —

(какой-то автомобиль ехал по неуказанному
направлению на остановившиеся автомобили
справа от меня и не сигнализировал,
я не слыхал и его не видел!)

все глядя влево, я подходил к трамваю и совсем неожиданно ударило меня в правое плечо, я оглянулся и увидел огромный

[1] ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Кн. 13. Л. 43.

движущийся вперед автомобиля <так!> и подумал: “как же это автомобиль с этой стороны?” — и в то же мгновенье почувствовал, как много огромных (серых) рук “неодолимых” меня валят и с ощущением “неизбежности”, досадуя, я упал на спину и увидел перед собой, около самого носа, стальную перекладину между колес — “конец!” подумал и слышу со всех сторон крики —

(автомобиль остановился)

Я выпростал ноги и поднялся. Мне сразу же больно было и тут в спине, и правую руку. Я подошел к автомобилю: там господин и дама. Господин сконфуженно: “Excusez-moi...” (и еще что-то). Я ему по-русски: “чего Ты не кричал?” Тут какой-то сует мне бандероль с адресом: «Mr. Julliard, 38 Rue des Perchamps» — он — хозяин автомобиля, и чтобы я шел в аптеку! Подошел ажан. И этот Жуйяр и ему, что хозяин автомобиля он. Я пытался сказать ажану, но у меня пропал голос и слов не было: кроме русских, немецкое “ausgeschlossen” и испанское “Примо де Ривера”! — а кругом крик и, мне показалось, (невероятно!) аплодисменты, как на представлении уличного Петрушки. Трамвай тронулся. Видел, как Жуйяр и с ним другой черный, чего-то кричавший, вскочили в трамвай. Автомобиль — тот господин с дамой — поехал. Я пошел домой».

<вклейка:> (А за мной гномы и цверги, эспри и гешпенсты:
они помогали идти мне, подпирая своими
лапочками и хвостиками. Их никто не видел.
Я слышал, как они перекались друг с другом.
“Почему, — говорил один в колпачке другому,
— хвоста тебе что ли жалко: подсунь ты ему хвост под спину,
и не было бы больно!” “Да я ж под голову лапы подсунул, —
оправдывался колпачку семилапый карлик,
— хвост у меня был занят шляпой” и т. д.)»[1].

В повести заключительный фрагмент-вклейка заменен описанием: «А дома вижу: мой Фейермэнхен — цверг в колпачке — лежит на полу, носом в ковер. Понимаю, это он скликал гномов и цвергов, чтобы помочь мне — — понимаю: тогда, как я брякнулся, это они подостлались, кто хвост, кто что. Спасибо!» Маленькая зарисовка статичной картины заключает в себе символический смысл столкновения двух планов восприятия

[1] РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 13. Л. 13–14.

действительности — мифологического и реалистического, однако именно первый несет в себе функцию защитных свойств от угрозы, всегда поступающей из самой жизни.

В описаниях Ремизова реальность, отягощенная бытовыми трудностями, чаще всего окрашена иронией — горьковатой от серьезности окружающего мира и разворачивающихся событий. Несомненно, эта стилистическая тональность является свойством личности автора. Вместе с тем некоторые проявления авторской психологии и мировоззрения имплицитно восходят к конкретным художественно-философским источникам. В их обнаружении помогает обращение к рукописным редакциям текста «По карнизам». Так, в одном из снов главы «La Matière» находим имя французского писателя-фантаста Гастона Павловски (G. de Pavlovski) и название его знаменитого сатирического романа «La Voyage au pays de la quatrieme dimension» — «Путешествие в четвертом измерении» (1912), переиздание которого состоялась в парижском издательстве E. Fasquelle в 1923 году, то есть незадолго до того, как Ремизов приступил к работе над повестью. В иронической форме автор романа описывает приключения современных ученых, создавших новое научное направление. В лабораториях образованного ими института «Фотофониум» проводятся эксперименты по выявлению скрытых излучений реальности, открывающие возможность увидеть все предшествующие XX веку наслоения культуры — ноосферу и историю человечества[1]. Роман содержит бурлескно-катастрофическую развязку: ученые, стремящиеся при помощи позитивистких методов войти в область ирреального, становятся жертвами разбуженного их научными изысканиями Левиафана. Учитывая этот подтекст, восходящий к роману Павловски, можно более отчетливо раскрыть внутреннюю интенцию автора «По карнизам», который несколько раз, как будто à propos, упоминает о международном Институте Метафизики (Institut Métapsychique international), созданном в Париже в 1919 году при участии Шарля Рише, где при помощи современных технических средств исследовались такие паранормальные явления, как вызванные медиумами духи.

[1] См. также упоминания об этом романе в комментариях книги М. Ямпольского «Демон и лабиринт (Диаграммы, деформации, мимесис)» (М., 1996. С. 283).

Хотя Ремизов и изымает из окончательного текста упоминание о романе «Путешествие в четвертом измерении», сопоставление двух институтов — реально существующего по сей день парижского и фантастического «Фотофониума» — как нельзя лучше обнаруживает скрытую иронию автора повести по отношению к так называемым «объективным» методам исследования метафизических сторон действительности. Однако, кроме иронии, мы с очевидностью можем обнаружить, что в подтекстовых слоях ремизовского повествования значимое место занимает понятие «четвертого измерения», которое утвердилось в математике и философии начиная с 1880 года, когда английский математик Чарльз Горвард Хинтон выдвинул свою теорию познания «высшей» реальности, оставаясь на позитивистских позициях мировоззрения. Именно этому ученому, собственно, и принадлежит научное обоснование невидимого пространства, представленное в книге «Четвертое измерение» (1904), а также наглядное доказательство этого феномена в геометрических конструкциях. Возможно, рисунок Ремизова, оставленный на полях рукописи рассказа «Interpenetratio» с изображением «разбитой бутылки, попавшей на шкап в кувшине», является ироническим аналогом знаменитых пространственных конструкций, получивших название «киберкуб» или «тессеракт» Хинтона. Однако подход ученого к объективации невидимого интенционально отличался от позитивистского. Хинтон писал о мотивах, побудивших его к исследованию, которые кажутся созвучными идее Ремизова в повести «По карнизам»: «По мере развития человека приходит сознание о чем-то большем, чем все формы, в каких оно обнаруживается. Существует готовность отказаться от всего видимого и осязаемого ради тех начал и ценностей, внешностью лишь которых является все видимое и осязаемое. Физическая жизнь цивилизованного человека и простого дикаря практически та же; но цивилизованный человек открыл известную глубину в своем существовании, которая дает ему почувствовать, что то, что кажется “всем” для дикаря, есть лишь просто внешность и придаток к нашему истинному бытию»[1].

[1] *Хинтон Ч.* Четвертое измерение и Эра новой мысли. Пг., [1915]. С. 1.

Научная идея Хинтона о «высшей реальности», опирающаяся на философию Канта и геометрию, оказалась в параллели с развитием эзотерической философии[1]. При детальном рассмотрении глава о таинственном Esprit, в своем человеческом воплощении получившем созвучное имя Алоиз При, обращена к идеям теософа — Е. П. Блаватской. В частности, в ее статье «Трансцендентальная физика» (1881) утверждается постулат: «Ибо четвертое измерение пространства — или, должны сказать мы, четвертое качество материи — должно быть проницаемостью»[2]. В таком ракурсе ремизовский рассказ, озаглавленный латинским словом «Interpenetratio», в начальных редакциях названный «Закон проницаемости»[3], наполняется коннотациями, обращенными в область истории и практики эзотерической философии. Здесь представлены «зримые» доказательства четвертого измерения, в системе координат которого происходят необъяснимые логикой явления. В фундаментальном философском сочинении «Тайная доктрина» (1888), раскрывающем онтологические законы жизни, дана совершенно отличная от позитивистской трактовка материи как системы, наполненной внутренним движением, и доказывается реальность существования «астрального тела» — эфирного аналога человеческой оболочки, присутствующего внутри каждого человека. Ремизовское описание «бестелесного» Алоиза При не что иное, как художественный портрет «астрального тела», а таинственное письмо, отправленное этим внезапно умершим постояльцем монастыря, вносит в текст повести оккультно-мистические ноты.

Есть в названии рассказа «Interpenetratio» еще один семантический вектор, раздвигающий смысловое пространство всего произведения в целом. Дело в том, что «закон проницаемости», по Блаватской, осуществляется, прежде всего, в сфере человеческих чувств и является проявлением «Нормального Ясновидения». В этом словосочетании, объективирующем присущее

---

[1] См., в частности: *Успенский П. Д.* Четвертое измерение. Обзор главнейших теорий и попыток исследования в области неизмеримого. 3-е изд. Пг., 1918.

[2] *Блаватская Е. П.* Скрижали астрального света / Пер. с англ. под ред. К. Леонова. М., 2005. С. 375.

[3] РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 39.

обыкновенному человеческому сознанию свойство, особенно важно слово «нормальный», которое встречается и во вступительном очерке Ремизова к повести «По карнизам». Описывая сферу своих творческих интересов, Ремизов пишет: «Непохожая жизнь моя шла по карнизам — путям обыкновенным для лунатика, и головокружительная для "нормального" человека, каким я был и есть вопреки свидетельству докторов и доброжелателей». Свое психическое здоровье писатель противопоставляет такому отклонению в психоэмоциональном состоянии, как сомнамбулизм, называя людей, страдающих этим заболеванием на старинный лад — лунатиками (от позднелат. *lunaticus* — безумный). Однако под лунатизмом Ремизов понимает выход в четвертое измерение из ограниченного условностями, навязанными представлениями, шаблонными смыслами эмпирического мира, в трансцендентное — мир, откуда появляются человеческие души и куда они, пройдя земной путь, возвращаются.

Для отдельных творческих натур пути в трансцендентное открываются посредством различных отклонений от нормы эмпирического знания. Эта «ненормальность» «очищает сознание» и возвращает его к исходной точке своей пра-памяти. Ученые синтезируют оккультные практики с техническими возможностями современного мира (Рише), выстраивают отвлеченные, гипотетические модели четырехмерного пространства (Хинтон), философы создают теософские учения (Блаватская), спиритуалисты проводят эксперименты с медиумами, вслед за ними поэты прибегают к открытию «другого» видения сути вещей через мистику (Я. Бёме, Вяч. Иванов, Д. Андреев), приступы тяжелых заболеваний (эпилепсия Ф. Достоевского), алкоголизм (Э. По, Э. Т. А. Гофман)[1]. Для самого Ремизова, «прежде всего "нормального"»: «здоровая кровь, крепкое сердце и лег-

---

[1] См. рассуждения Ремизова: «Или природа человека, весь его состав окостенел даже сравнительно со времени Шекспира и Эразма, огрубело восприятие другого мира и только что под носом да на ощупь. Или самостоятельно, на свой страх, будь ты хоть бездонным, а мало чего достигнешь. А для успеха непременно надо лестницу, — "матерьял", как у Новалиса и у Нерваля, какую-то каббалистически-оккультную подпорку. Или эпилепсию Достоевского, алкоголь Эдгара По и Э. Т. Гофмана. Вообще какой-то вывих, "порок ", чтобы треснула кожа и воспламенилась кровь...» (*Ахру-РК VII.* С. 354).

кие для певца»[1] — очищение сознания совершается открытием трансцендентального «Я» — того одинокого, отрешенного от обычной жизни самосознания, которому дано видеть не просто лица других людей (способность бытового сознания) и даже не их образы (возможность художественного сознания), но прозревать саму сущность феноменального мира. Глубоко закономерно, что свою творческую практику Ремизов позднее в книге «Подстриженными глазами» определял словами — «прикидываться» и «превращаться»[2].

В предисловии к повести Ремизов рассказывает о своем пути освобождении сознания от ограниченного условностями эмпирического мира. Для этого нужно перейти с одного берега реальности на другой берег сверх-реальности. В 1924 году о таких «переходах» заговорили и французские сюрреалисты[3]. Осенью во французской печати появился сначала очерк Луи Арагона «Волна грез», а немного позднее «Манифест сюрреализма» Андре Бретона. Одной из продуктивных сфер творчества французские авангардисты считали сновидения. Они даже применяли специальные техники регуляции своего психоэмоционального состояния, благодаря которым происходило погружение в гипнотический транс и осуществлялась «автоматическая» запись видений, продуцированных неконтролируемым сознанием. Надо сказать, что фиксация сновидений, выдвинутая сюрреалистами в начале 1920-х годов как открытие новой сферы творчества, для Ремизова с начала 1900-х годов представляла собой многолетнюю практику. Его личные письма к жене, начиная с 1907 года, изобилуют записями «ночных приключений», многие из которых в скором времени обрели литературную «огранку». Первые циклы снов Ремизова, опубликованные в 1908 году[4], сразу же вызвали немало критических замечаний,

---

[1] Там же.

[2] Ср. : «наконец, <...> заглянул в себя и не без удивления открыл и в самом себе целый ряд превращений» (*Иверень-РК VIII*. С. 190).

[3] В частности, роман Г. де Павловски оказал влияние на творчество художника М. Дюшана. Подробнее см.: *Hendrson L.* Marcel Duchamp and New Geometrics // Hendrson L. Fourth Dimention and Non-Euclidean Geometry in Modern Art. Prinston, 1983. P. 118—122.

[4] Циклы снов, отчасти включенные в книгу «Мартын Задека. Сонник» (1954), см.: *Ахру-РК VII*.

и по поводу самого жанра, и относительно корректности упоминания реальных лиц в фантастическом контексте.

Недовольства литературного мира возобновились в связи с выходом из печати первых глав романа «По карнизам». Так, Н. Кульман счел сновидения, вписанные в контекст повествования, стремлением автора к экстравагантным эффектам, связав эти тексты с игровой, вымышленной поэтикой ремизовской Обезьяньей Великой и Вольной Палаты: «“La Matière” Ремизова написан, очевидно, в духе излюбленного им “обезьяньего ордена”: “права безграничные и ничего не признается: ни пространства, ни времени, и образ действия любой, против нормального мышления”. Как ни талантлив, ни ярок, ни своеобразен Ремизов, а все-таки против этого “обезьяньего” принципа читатель за последнее время начинает восставать, ремизовские “сны” заставляют читателя подозревать, что автор просто его дурачит: ведь таких снов можно с легкостью придумать целые томы»[1]. Писателю даже пришлось выступить в защиту собственного снотворчества. В заметке «Книжникам и фарисеям» он не без иронии реагировал на упреки критики: «Гонение на употребление знакомых мне совершенно непонятно. Вы только подумайте! Д. С. Мережковский с начала революции, (вот уже 10 лет на носу, как Тутанкомоном упражняется, М. А. Алданов на князьях и графах собаку съел, треплет всяких зубовых и в ус не дует, и ничего, пропускают! А мне — нельзя помянуть С. П. Познера! А чем он виноват, что он не “фараон” и не “граф” и никакая придворная птица. Тоже и во снах: фамилии не случайны! М. П. Миронов снится к дождю, Н. А. Тэффи к ясной погоде и т. д.»[2].

Ремизовская новация строилась на убеждении, что сон является такой же данностью, как и реальная жизнь, и поэтому его содержание не может быть изменено или проигнорировано. В одном из «снов», включенных в повесть «По карнизам», которые графически выделены здесь сдвигом вправо, упоминается эссе Луи Арагона «Волна грез». Не беремся утверждать, что Луи Арагон действительно стал героем подсознательного твор-

---

[1] *Кульман Н.* Зачем молодиться? («Современные записки», кн. 27-ая и 28-ая) // Возрождение. 1926. № 499. 14 окт. С. 3.

[2] Ухват. 1926. № 6. С. 11. См. также: *Ремизов А. М.* Неизданный «Мерлог». С. 230.

чества писателя Ремизова, поскольку имеется немало доказательств вариативной замены подлинных имен в разных редакциях одного и того же «сна» на пути от первой записи реального сновидения к его литературной обработке. Упоминание об Арагоне, оказавшееся в контексте сновидения, прочитывается как скрытое авторское указание на параллелизм собственных творческих исканий и французского поэта. Эссе Арагона стало первым в истории сюрреализма опытом теоретического обоснования творческого метода, основанного на иррациональном отношении к реальности. Примечательно, что свой текст Арагон начинает с описания особого состояния сознания, зафиксированного на границе между данным в ощущениях миром и неким антимиром, который поэту как будто роднее и понятнее реального: «Мне случалось неожиданно растеряться: сижу в каком-нибудь уголке, неведомо где, передо мной чашка черного дымящегося кофе, рядом — полированные куски металла, кругом блуждают нежные создания женского пола, а я не понимаю, какая волна безумия занесла меня под это свод и чем же в действительности является этот мост, что называется небесами»[1]. Этой прелюдии в несколько строк, оказалось более чем достаточно, чтобы Ремизов спустя два года создал предъявил собственную философию жизни, предметом рассмотрения которой стал не человек как субъект бытия, а бессмертная душа, проходящая круги превращений.

Примечателен общий для французского писателя-сюрреалиста и Ремизова — писателя русской символистской культуры по преимуществу — мотив моста как перехода из одного мира в другой. Именно так, по образу и подобию перехода через мосты открывающихся «иных» реальностей построена статья Ремизова «Карнизы. Памяти Э. Т. А. Гофмана. (К 150-ой годовщине со дня рождения)», послужившая вступлением для издания повести «По карнизам» в 1929 году. Не претендовавший на исключительность собственного восприятия мира, чуждый поэтическим аффектациям, писатель признавался, что чувство иного, потустороннего возникало для него в местах смертельной опасности для собственной телесной оболочки — «необык-

[1] Цит. по: *Арагон Л.* Волна грез / Пер. О. Кустовой // Поэзия французского сюрреализма: Антология / Сост., предисл. и комм. М. Яснова. СПб., 2004. С. 389.

новенный трепет, какой охватывал меня в опаснейших местах, на лестнице, между паровозами, перед пожарными и на глубоких местах — “по карнизам”». Благодаря этим «головокружительным впечатлениям», по признанию Арагона, и можно понять, что «суть вещей никак не сопряжена с реальностью, что существуют иные связи, недоступные нашему разуму, и они столь же привычны, как случайность, иллюзия, фантастическое, сновидения»[1]. Таким образом основатель нового литературно-художественного направления объяснял суть сюрреализма. В основе повести Ремизова лежала аналогичная мысль, только родилась она не в ходе творческих экспериментов над сознанием, а в результате жизненного опыта, научившего не разделять быт и Бытие.

Е. Обатнина

[1] Там же. С. 391.

КОММЕНТАРИИ

НЕУЕМНЫЙ БУБЕН

Впервые опубликовано: Неуемный бубен. Повесть // Альманах для всех. Кн. 1-я. СПб.: Изд. «Нового журнала для всех», 1910. С. 59—172.

Прижизненные издания: Неуемный бубен // *Шиповник I.* [1910]. С. 12—84; Неуемный бубен // *Сирин I.* [1910]. С. 12—84; Повесть о Иване Семеновиче Стратилатове. Неуемный бубен. Берлин: Русское творчество, MCMXXII. 78 с.

Печатается по: *Шиповник I.*

Автографы и наборные рукописи «Неуемного бубна» (*НБ*) не сохранились. Текст первой публикации не датирован, отличается многочисленными опечатками. По сравнению с первой публикацией текст издания *Шиповник I* более распространен, но без внесения серьезных семантических изменений. Под текстом поставлена дата: «1909 г.». Текст издания *Сирин I* идентичен изданию *Шиповник I* за исключением пунктуационных вариантов, датирован: «1909 г.». В Берлинской редакции *НБ* название изменено на «Повесть о Иване Семеновиче Стратилатове», прежнее название стало подзаголовком; проведена стилистическая правка; внесено посвящение С. П. Ремизовой-Довгелло; дата в конце текста скорректирована: «1909—1922».

История создания *НБ* связана с дружескими контактами Ремизова с Иваном Александровичем Рязановским (1869—1927) — историком-архивистом, юристом, искусствоведом, коллекционером рукописей, редких изданий, предметов народного быта (биографические сведения о И. А. Рязановском см.: *Бочков В. Н.* Щедрость души // Влюбленность: Сб. Ярославль, 1969. С. 121—146). После окончания ярославского Демидовского юридического лицея Рязановский служил в Костромско-Ярославском акцизном управлении, с 1899 г. — в костромском Окружном суде. В 1906 г. он вышел в отставку и переселился в Петербург. В 1909 г. причислен к 1-му департаменту Министерства юстиции в Петербурге. Окончил Историко-архивный институт и сблизился с кругом писателей-модернистов. Ремизов познакомился с ним при посредничестве М. М. Пришвина. С конца 1900-х и до 1920 г. Рязановский снабжал литератора книгами и рукописями из своего собрания, предоставлял необходимую справочно-библиографическую информа-

цию, своими рассказами о русской провинции давал источники новых сюжетов. Писателя и архивиста сблизили общий интерес к средневековым рукописям, а также сходство взглядов на пути обновления языка русской литературы посредством обращения к его формам, сохранившимся в фольклоре, памятниках древнерусской литературы, областных говорах и обсцентной лексике. В мемуарной книге «Подстриженными глазами» Ремизов посвятил Рязановскому главу «Книжник», где, говоря о важности его воззрений для русской культуры Серебряного века в целом, фактически раскрыл значение взглядов архивиста для формирования своей «теории русского лада»: «При всех своих необозримых познаниях в истории и археологии, Рязановский <...> в жизнь не написал ни одной строчки <...>, но устному слову которого обязаны в своем чисто «русском» <...> Чехонин, и Кустодиев <...> Замятин <...> и М. М. Пришвин <...>. Значение изустного слова Рязановского в возрождении “русской” прозы можно сравнить только с “наукой” <...> Вячеслава И. Иванова <...>. Я подразумеваю “русскую прозу” в ее новом, а, в сущности, древнем ладе <...>. Рязановский <...> годами только о русском и рассказывал (повторяю, писать он не мог), расценивая слова на слух, на глаз и носом, и восхищаясь своими русскими книгами от Киево-Печерского патерика до Новикова» (*Иверень-РК VIII*. С. 131—133). О роли Рязановского в петербургской литературной жизни см. также дневниковую запись М. М. Пришвина от 25 марта 1921 г.: «Вспоминал И. Рязановского: “провинциален”, обмозгованное сладострастие; как его всего, весь его сундук мудрости и всего накопленного в Петербурге разобрали литераторы» (*Пришвин М. М.* Дневники. 1920—1922. М., 1995. С. 152).

В 1908 г. Рязановский вернулся в Кострому, где жил в доме, принадлежавшем его жене — Александре Петровне Рязановской (1880—1973), по адресу: ул. Царевская, д. 16 (ныне: пр. Текстильщиков, д. 20, литера А). Он служил секретарем костромского Губернского присутствия. По поручению Костромской ученой архивной комиссии Рязановский организовал Костромской Романовский музей (открыт в 1913 г.), стал его первым директором и передал туда бо́льшую часть своих коллекций (см.: <Биографическая справка И. А. Рязановского> // РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 269. Л. 1). На рубеже 1900—1910-х гг. Рязановский принимал активное участие в попытках Ремизова издать эротическую сказку «Что есть табак» (см.: *Данилова И.* Литературная сказка А. М. Ремизова (1900—1920-е годы) // Helsinki, 2010. С. 186. (Slavica Helsingiensia 39)). В воспоминаниях о нем Ремизов отметил: «Сохраняю мою костромскую память — “рязановскую” в моем “Стратилатове” (“Неуемный бубен”)» (*Иверень-РК VIII*. С. 133).

Источником для создания *НБ* стали устные рассказы Рязановского о его костромских знакомых, оригинальная фигура самого архео-

графа, материалы его книжной коллекции, а также личные впечатления Ремизова от своего первого пребывания в Костроме 25 июня 1909 г. (см.: *Ремизов А. М.* Адреса его и маршруты поездок // РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 3). Подтверждением значительной роли Рязановского в создании *НБ* являются устные мемуарные рассказы А. П. Рязановской, зафиксированные костромским архивистом и краеведом В. Н. Бочковым (ОГКУ ГАКО. Р-1224. Оп. 2. Д. 369 (предв.). Л. 9—10 об.). Записи бесед с нею легли в основу статьи В. Н. Бочкова «Кострома Алексея Ремизова» (см.: *Бочков В. Н.* «Скажи: которая Татьяна?» М., 1990. С. 290—298; далее: *Бочков В. Н.* Кострома Алексея Ремизова). «По воспоминаниям Александры Петровны Рязановской <...> дружеское общение с костромичом, полуночные “беседы” с ним помогли писателю создать в 1909 г. <...> “Неуемный бубен, или Повесть об Иване Семеновиче Стратилатове”» <...> Александра Петровна Рязановская пояснила, что прототипом Стратилатова послужил писец Костромского окружного суда Александр Павлович Полетаев. По ее словам, его внешность воспроизведена в повести почти с фотографической точностью <...>. Полетаев был страстным любителем старины, завсегдатаем костромской толкучки и на этой почве сблизился с Рязановским. В дом на Царевской он всегда приходил с красным узелком, в котором приносил показать или переуступить свою “добычу” — старинную чашку, бисерную вышивку, старопечатную книгу, медный складень... Он очень уважал Ивана Александровича и однажды принес лист с посвященным ему стихотворением. <...> Реальный Полетаев был мелким служащим окружного суда и любителем старины <...> членом местной ученой архивной комиссии. <...> В отличие от Стратилатова благополучно дожил до революции, однако в 1920 году, вернувшись из Петрограда в Кострому, Рязановские в живых его уж не застали» (*Бочков В. Н.* Кострома Алексея Ремизова. С. 292—297). То, что прототипом образа Стратилатова был реальный человек из костромского окружения археографа, подтверждает письмо Рязановского Ремизову 1913 г.: «Иван Семенович Стратилатов был у меня, когда я лежал больной и очень много пустословил: хочу, говорит, прославиться, пора уж издать свои стихотворения изящным альманахом и деньги думает нажить» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 180. Л. 4). Свидетельством «памяти» Ремизова о прототипе Стратилатова может также служить имя одного из героев его книги «Учитель музыки». Этот персонаж — эмигрант, в России проживавший в костромской глубинке, говорил о себе: «А я, хоть со временем и буду Де-Симон, а пока Семен Петрович Полетаев из Кинешемской Гольчихи» (*Учитель музыки-РК IX*. С. 157). Опираясь на воспоминания Рязановской, В. Н. Бочков также указал на то, что прототипом образа Б. С. Зимарева был сам А. И. Рязановский. Ремизов наделил Зимарева профес-

сией, внешностью архивиста, включая свойственную тому хромоту, и любовью к собирательству старины (см.: *Бочков В. Н.* Кострома Алексея Ремизова. С. 298). См. также свидетельство М. М. Пришвина в дневниковой записи 1927 г.:«Мне помнится в начале моих литературных занятий, когда Ремизов брал у Рязановского для своей повести “Неуемный бубен”, и мы поздно ночью шли с ним домой, он сказал что-то вроде этого “Вы говорите о жизни, но ведь там нет ничего, все мы делаем”. Помню, каким ужасом повеяло мне от этих слов на душе и даже злобно к кому-то <...> к самому Ремизову, который брал материал у Рязановского и это считал ни за что» (*Пришвин М. М.* Дневники. 1926—1927. М., 2003. С. 378).

Повесть *НБ* была написана в период со второй половины декабря 1909 г. до конца января 1910 г. В целом текст *НБ* был создан в конце 1909 г. Об этом свидетельствует авторская дата в изданиях *НБ* в *Шиповнике I* и *Сирине I* — «1909», уточненная в берлинском издании: «1909—1922». В январе 1910 г. текст был окончательно доработан. См. сведения о первоначальном варианте названия и времени создания *НБ* в письме Ремизова Вяч. Иванову от начала февраля 1910 г.: «На прошлой неделе я закончил рассказ, о котором говорил Вам в новый год. Сижу, переписываю. Название ему пока — “Неугомонное сердце”. Если подойдет другое — назову именем другим. Я хотел бы прочитать его Вам на той неделе: в четверг, в пятницу, как Вам удобнее. За полтора месяца глаз мой притупился к нему, придется, может быть, либо дополнить, либо переделывать. Может быть, мне лучше всего прочитать в Академии? И в тот же вечер будет выяснено: подходит рассказ к “Аполлону” или посылать его в “Русскую М<ысль>”» (Переписка В. И. Иванова и А. М. Ремизова / Вступ. ст., прим. и подг. писем А. Ремизова — А. М. Грачевой, подг. писем Вяч. Иванова — О. А. Кузнецовой // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. М., 1996. С. 96—97). 11 февраля Ремизов читал *НБ* на заседании возглавляемой Вяч. Ивановым «Академии стиха», проходившем в редакции ж. «Аполлон». См. письмо Ремизова В. Э. Мейерхольду от 9 февраля: «11-го вечером я читаю в Академии (в Аполлоне) рассказ» (РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1. Ед. хр. 2303. Л. 14). На заседании в числе присутствовавших были Вяч. Иванов, А. Блок, Андрей Белый, Н. С. Гумилев, Ф. Сологуб, Ф. Ф. Зелинский, С. А. Ауслендер, Ю. Н. Верховский, А. А. Кондратьев, С. К. Маковский.

Впоследствии историю с чтением повести *НБ* в редакции ж. «Аполлон» Ремизов неоднократно вспоминал в своих произведениях. Она кратко изложена в кн. «Кукха» (1923), см.: *Ахру-РК VII.* С. 92; в кн. «Мышкина дудочка» (1953), см.: *Петербургский буерак-РК X.* С. 35, 471—472; в кн. «Мерлог» (2-я пол. 1950-х гг.), см.: *Ремизов А.* Неизданный «Мерлог». Публ. Антонеллы Д'Амелия // Минувшее: Истор. аль-

манах. Paris, 1987. Вып. 3. С. 227. См. также упоминание той же истории в тексте дарственной передаточной надписи Ремизова Н. В. Кодрянской 1947 г. на берлинском издании *НБ*: «Неуемный бубен был забракован “Аполлоном”. Так и не попал в альманах» (*Волшебный мир Алексея Ремизова.* С. 22). Наиболее подробно история авторского чтения *НБ* в редакции ж. «Аполлон» изложена в кн. «Петербургский буерак» (1954, опубл.: 2003): «Я превратился в Ивана Семеновича Стратилатова, мучителя Агапевны, и в мученицу Агапевну и во всю Костромскую археологию. Повесть писалась по рассказам И. А. Рязановского. Необыкновенное впечатление на Андрея Белого. На него накатило — чертя в воздухе сложную геометрическую конструкцию образ Ивана Семеновича Стратилатова, костромского археолога, рассекая гипотенузой, он вдруг остановился — необыкновенное блаженство разлилось по его лицу: преображенный Стратилатов реял в синих лучах его единственных глаз. / Да ведь это археологический фалл, кротко, но беспрекословно голос Блока. Блок выразился по-гречески. / Андрей Белый, ровно пойманный, заметался <...> “Иван Семенович Стратилатов воплощение археологического фалла”, а он не заметил! И это правда! <...> В Берлине в 1922-м лекция Андрея Белого “О любви” <...>. И вдруг <...> голос из публики: / — А где же фалл? — Кусиков выразился по-русски. / И тут произошло однажды случившееся в Петербурге на вечере в “Аполлоне” <...> и остались одни испуганные глаза — в “Аполлоне” в Блока, в Берлине в Кусикова. А в ушах неуемным бубном по-гречески и по-русски. “Неуемный бубен”, одобренный синедрионом, “Аполлон” не принял: С. К. Маковский, возвращая рукопись, мне объяснил <...>: по размерам не подходит, у них нет места, печатается большая повесть Ауслендера» (*Петербургский буерак-РК X.* С. 194—195). См. также письмо секретаря «Аполлона» Е. А. Зноско-Боровского Ремизову от 15 февраля 1910 г.: «Я посылаю Вам Вашу рукопись согласно Вашему желанию, она понравилась, но так длинна, что до осени едва ли могла бы появиться в “Аполлоне”, — а это, кажется, Вас не устроило бы» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 112).

Неудача с публикацией *НБ* в ж. «Аполлон» была связана с манифестным характером текста. Он знаменовал намеченное писателем новое направление развития постсимволистской модернистской литературы, был одной из первых художественных реализаций ремизовской «теории русского лада». *НБ* не соответствовал эстетическим принципам ведущих критиков журнала, и прежде всего «кларизму» М. Кузмина. Подробнее об истории неудавшейся публикации *НБ* в «Аполлоне» см.: *Грачева А. М.* «Парнас Серебряного века» в судьбе и творчестве А. Ремизова // Некалендарный XX век. Вып. 2. Великий Новгород, 2003. С. 36—42; *Обатнина Е. Р.* Неочевидный смысл очевидных фактов: А. М. Ремизов и журнал «Аполлон» // От Кибирова

до Пушкина: Сб. статей в честь 60-летия Н. А. Богомолова. М., 2011. С. 329—340. Восприятие *НБ* литераторами и критикой отразило их отношение к новой идейно-эстетической платформе Ремизова. Высоко оценил *НБ* М. М. Пришвин. См. его письмо Ремизову от 2 июня 1910 г.: «Прочел два раза “Неуемный бубен”, впечатление осталось какое-то особенное, при чтении не очень завлекает, как-то туговато читается, но, в общем, после чтения, знаете, как выйдешь на улицу из картинной галереи, все вокруг (быт) расположится живописно: это при моей оценке прочитанного имеет большое значение. Вот не понравилась мне только положительно печать с подписью “от оного”, почему — не буду говорить теперь, т<ак> к<ак> тут целое рассуждение и напишу об этом в другой раз» (Письма М. М. Пришвина к А. М. Ремизову / Вступ. ст., подг. текста и прим. Е. Р. Обатниной // Русская литература. 1995. № 3. С. 178). Отзывы рецензентов на первое издание *НБ* были сдержанными и в значительной степени негативными. Наиболее развернутый и по сути отрицательный анализ *НБ* дал М. Кузмин: «А. Ремизов <...> делает новые опыты романа <...> в “Неуемном бубне”. Последнее произведение, может быть, наиболее яркое и едкое из всего, что дал Ремизов. Хочется только верить, что это как бы безжалостное изображение нелепой гадости русской жизни, — есть отражение несколько кривое. Конечно, повести эта кривизна нисколько не вредит, но тип Стратилатова с Агапевной так преувеличенно продолжены, что становятся кошмарно-мифическими и лишают повесть должной убедительности. По форме это скорее всего — хроника, которая может быть прервана когда угодно <...>. Это особенно чувствуется в середине, где перегружение деталями и эпизодами и повторение некоторых излюбленных автором приемов <...> придают повествованию известную вялость. <...> Мы не можем достаточно похвалить изобразительную яркость языка и отсутствие <...> внешней хаотичности» (Аполлон. 1910. № 7. Апрель. С. 43). К. Чуковский, иронически интерпретировавший произведения Ремизова через понятие «страха», отмечал: «Стратилатов самый крепкий у Ремизова человек: с корнями в землю врос, а смотрите, и он, чего только он не боится! <...> Все в мире страшно и все тошнотворно, но есть где-то Царь-Девица <...>, которая придет же когда-нибудь к Стратилатову — “белая лебедь, не раненая!” или никогда не придет?» (Речь. 1910. № 160. 14 (27) июня. С. 3). Н. Валентинов отмечал: «Больше всего места занимает повесть Ремизова, но читать его <...> нет сил. <...> Г-н Ремизов совсем Стратилатов, которого он изображает. Свой портрет рисует. Не хуже его употребляет г-н Ремизов “отборные слова”. <...> Перелистывает словарь Даля, выкапывает оттуда слова <...> творит!» (Киевская мысль. 1910. 6 апр. С. 2). Тот же текст рецензии повторен под псевдонимом «К. З.» в ж. «В мире искусств» (Киев, 1910. № 1/3.

С. 58). Попытки автора опубликовать *НБ* в составе сборника рассказов в издательстве «Мусагет» оказались несостоятельными. См. письмо Ремизова Андрею Белому от 24 мая 1910 г.: «Если я обратился к “Мусагету”, то единственно памятуя Ваши слова после “Неуемного бубна”, что Мусагет мою книгу новую издаст обязательно. <...> Мне хотелось бы знать мотивы отказа действительные <...>. В “Аполлон” меня под благовидным предлогом не принимают» (Андрей Белый и А. М. Ремизов. Переписка / Вступ. ст., публ. и комм. А. В. Лаврова // Александр Блок. Исследования и материалы. СПб., 2011. С. 486). Андрей Белый отвечал в письме от третьей декады мая 1910 г.: «Указывали на то, что “Неуемный бубен” уже напечатан в альманахе “Журнала для всех”, <...> (а у нас принцип печатать в редких случаях литературу, да и то произведения, в первый раз появляющиеся в печати)» (Там же. С. 487).

Рецензенты первого тома Сочинений Ремизова (*Шиповник I*) сочли *НБ* одним из наиболее значимых произведений книги, однако в своем большинстве останавливались на тематике повести, почти не замечая новую стилевую направленность творчества писателя. Противник модернизма А. Бурнакин писал: «Обращаюсь к наилучшему рассказу Ремизова “Неуемный бубен” <...>. Рассказ этот представляет как бы экстракт творчества Ремизова, последнее слово его художественных достижений в языке, образах, идеях. <...> И получился удачный литературный опыт имитации, перепева, занимательная стилистическая комбинация по формуле: Гоголь, Лесков, Достоевский. <...> Стратилатов — всего-навсего — помесь Башмачкина и Прохарчина, комбинация общеизвестных типов, перестройка готового материала <...>. У Ремизова все не свое, все из фундаментальной библиотеки. <...> Ремизов — это Плюшкин отечественной речи <...>. Его сочинения — <...> это свалочный пункт всякой никчемности и ерундистики» (Новое время. 1911. № 12585. 26 марта (8 апр.). С. 4). «Наиболее значительным» произведением в первом томе Собрания сочинений Ремизова назвал *НБ* С. Ауслендер: «Омерзителен этот судейский писец Иван Стратилатов, маниак, воплотивший всю пошлость, всю гадость, на какую только способен человек, покупающий себе в наложницы шестнадцатилетнюю швею <...>. Но не с тупоумно-самодовольным обличением подходит Ремизов к нему, а с той же “страдной болью” выписывает до мельчайших подробностей этот изумительный по мерзости портрет-гротеск. Своеобразны приемы Ремизова. Язык его насыщенный, чуть-чуть тяжеловатый, изумителен. <...> ...некоторую нестройность, разорванность в повестях Ремизова следует считать недостатком, от которого все больше и больше чувствуется освобождение автора» (Речь. 1911. № 2. 3 (6) янв. С. 5). В. Полонский оценил *НБ* как «своеобразный, сильный рассказ» и отметил, что «никто не испугается Стра-

тилатова из “Неуемного бубна”, — от которого разит и Смердяковым, и Передоновым вместе, — и, однако, следишь за его жизнью, — и на мгновенье становится тошно смотреть на Божий мир» (Новая жизнь. 1911. № II. Янв. С. 301). Характеризуя творчество писателя в целом, Б. Садовской писал: «Ремизов, как художник, широк и многозвучен. <...> Поразит нелепицей и безумной чепухой “Снов” и тут же покажет въявь, во всех мелочах и подробностях, с гоголевской настойчивостью, жизнь какого-нибудь Стратилатова, — “Неуемного бубна”. <...> Своеобразие стиля вполне отвечает таланту писателя. <...> С первого слова, узнается этот чисто-насыщенный, прочный, чисто-русский, кондовый стиль» (Современник. 1912. № 6. С. 303, 309).

С. 9. *Неуемный бубен* — авторский эвфемизм, заменяющий табуированное обозначение женолюбца, человека гипер-маскулинного ролевого поведения. Восходит к арготизму: бубенцы, бубенчики — мошонка (*Елистратов В. С.* Словарь русского арго (материалы 1980—1990 гг.). М., 2000. С. 48).

С. 11. *Среди достопримечательностей нашего города после древнего Прокопьевского монастыря с чудотворною иконою Федора Стратилата, высоких ~ стен другого, женского Зачатьевского монастыря...* — В тексте в преобразованном виде отражены образы архитектурных памятников и градостроительных объектов в центре Костромы на левом берегу Волги. Имеются в виду: 1) комплекс находившихся на Соборной площади строений Костромского Кремля (основан в нач. XV в.), от которого ныне сохранился только дом соборного причта (ул. Чайковского, д. 8). В центре Кремля стоял кафедральный собор в честь Успения Божией Матери (XVI—XIX вв., снесен в 1934 г.) с приделом св. Феодора Стратилата (1666 г.). С начала XV в. по 1929 г. в соборе хранилась Феодоровская чудотворная икона Божией матери (XIII в.); 2) Богоявленско-Анастасиин женский монастырь (XVI—XIX вв.), который был закрыт в 1918 г., возобновлен в 1991 г. (ул. Симановского (ранее: Богоявленская), д. 26); 3) бульвар, ведший от Соборной площади к беседке над берегом Волги, который назывался Малым (разг.: Маленьким). См. свидетельство В. Н. Бочкова: «Город этот — Кострома 900-х гг. с чудотворною иконой Федоровской Божьей матери, согласно преданию, в XIII в. принесенной в город великомучеником Федором Стратилатом, с женским Богоявленско-Анастасьинским <так! — *Ред.*> монастырем, заново отстроенным после страшного костромского пожара в 1847 г., с “Маленьким” бульваром, где действительно висели на проводах лампочки, скупо освещавшие по вечерам площадку с летним рестораном и эстрадой, на которой играл оркестр 88-го Пултусского полка» (*Бочков В. Н.* Кострома Алексея Ремизова. С. 294).

С. 11. *... после трактира Бархатова...* — трактир купца С. К. Бархатова находился в пристройке (1910-е гг., арх. Н. И. Горлицын) к зданию торговых Мясных рядов (ул. Рыбные Ряды, корп. 3).

...белою капустою — зайчиком... — Зайчик — пена на капусте (*Толковый словарь В. И. Даля.* Т. I. С. 671).

...после памятника... — памятник Ивану Сусанину (арх. В. И. Демут-Малиновский, пост. в 1851 г., снесен в 1918 г.).

...местной ученой архивной комиссией... — Костромская губернская ученая архивная комиссия была создана в 1885 г. с целью создания местного исторического архива, собрания сведений о губернских древностях, основания местного музея, распространения археологических и исторических сведений.

Глуздырь — умник (*Толковый словарь В. И. Даля.* Т. I. С. 357).

...начал ~ судейскую службу в ~ канцелярии уголовного отделения... — После 1864 г. в России судебный округ охватывал территорию всей или части губернии. Первой инстанцией общих судов являлся окружной суд, который состоял из гражданского и уголовного отделений.

С. 12. *Секретарь* — «губернский секретарь» — гражданский чин XII класса.

Кандидат — имеется в виду кандидат на присвоение чина губернского секретаря, для получения которого надо было прослужить не менее трех лет в более низком чине коллежского регистратора (XIV класс).

...целыши ягоды... — точная цитата из словаря Даля: «Целыши ягоды, непомятые» (*Толковый словарь В. И. Даля.* Т. IV. С. 577).

...крепок, как крепкий хрен... — зд.: *хрен* — мужской половой орган (*Флегон А.* За пределами русских словарей. 3-е изд. London, 1973. С. 364).

Товарищ прокурора — с 1802 до 1917 г. — помощник, заместитель в наименованиях официальных должностей.

...бобриком стричься... — Бобрик — короткая мужская стрижка, при которой спереди оставляются стоячие волосы.

С. 13. *...всучить душеспасительную картинку...* — Имеется в виду лубочная картинка назидательного содержания.

...да первым охотником слыл Стратилатов по городу... — зд.: *охотник* — любитель женского пола.

Ёра-мальчишка — Ёра — беспутный, тунеядный человек, развратный шатун (*Толковый словарь В. И. Даля.* Т. I. С. 520).

Собачья старость — иносказ.: преждевременное старение.

С. 14. *Гекуба* (греч. миф.) — вторая жена царя Приама. По одной из версий мифа, после взятия Трои она превратилась в собаку и окаменела. По другой — тень Гекубы приняла облик одной из черных собак, всюду следующих за Гекатой. Возможно, в тексте также дана скрытая

отсылка к известной крылатой фразе из трагедии У. Шекспира «Гамлет»: «Что он Гекубе? Что ему Гекуба», имеющей иносказательное значение: что общего между двумя разными явлениями, объектами и др.

С. 14. *Голгофа* — холм в Иерусалиме, на котором, согласно евангельской легенде, был распят Иисус Христос.

Утроба — живот.

У тебя не голова ~ у тебя так, брат, головка! — зд. имеется в виду название конусообразного утолщения на конце мужского полового органа.

С. 15. *Казенная палата* — губернское учреждение Министерства финансов Российской империи.

Гарусный — связанный из гаруса — мягкой крученой шерстяной пряжи.

Люстриновый — сшитый из люстрина — тонкой темной ткани с глянцем.

С. 16. *Благовест* — колокольный звон перед началом церковной службы.

...гравюры ~ вовсе не принадлежащей Рембрандту... — голландский живописец Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) также прославился как автор офортов, выполненных с уникальным мастерством.

...кресел, будто бы петровских... — т. е. датируемых временем правления русского императора Петра I (1672—1725).

С. 18. *...из отреченных книг...* — Отреченные книги — древнерусское название книг, содержащих в себе апокрифы — произведения позднеиудейской и раннехристианской литературы, не включенные в библейский канон, а также сочинения гадательные, чародейные и др., входившие в перечни сочинений, чтение которых запрещалось ортодоксальной церковью.

Повесть о Ноевом ковчеге — эротическое произведение. См. его пересказ Ремизовым в повести «Пятая язва»: «Старинное же сказание о Ное, как праведный Ной в ковчеге зверей обуздал <...>.Есть такое сказание о Ное, как праведный Ной, впустив в ковчег зверей, чистых по семи пар, а нечистых по две пары, задумал, обуздания ради и удобства общего, лишить их временно вещей существеннейших. И отъяв у каждого блага вся, сложил с великим бережением в храмину — место скрытое. И сорок дней и сорок ночей, во все время потопа сидели звери по своим клеткам смирно. Когда же потоп кончился и храмина была отверзта, звери бросились за притяжением своим, и всяк разобрал свое. И лишь со слоном вышла великая путаница, слону в огорчение, ослу же на радование и похвалу» (*Плачужная канава-РК IV*. С. 245).

«Первая ночь (письмо к другу)» (вариант названия: «Первая ночь брака») — популярное в рукописных сборниках произведений эроти-

ческой литературы анонимное стихотворение начала 1830-х гг., приписывалось А. С. Пушкину, а также А. И. Подолинскому.

С. 19. *«Азбука»* — анонимное эротическое стихотворение 1830—1840-х гг.

«Воспоминания вдового священника» — анонимный эротический прозаический текст второй половины XIX в.

С. 20. *...добирался Стратилатов до Всехсвятской церкви. Миновав Всехсвятский алтарь,окруженный могильными крестами ~ как раз против окон его гостиной ~ завертывал он на свой двор...* — Всехсвятская церковь построена в 1756—1757 гг. Снесена в начале 1930-х гг. См. свидетельство А. П. Рязановской в записи В. Н. Бочкова: «Место проживания Стратилатова вымышлено. Всехсвятская церковь — и на самом деле “древняя обыденная” — “в сутки выстроена миром по обету после чумы” — стояла в конце одноименной улицы (ныне ул. Дзержинского) против здания мужской гимназии и на краю крутого холма. Из-за особенностей рельефа местности жилья возле нее не было. <...> Сам же Александр Павлович Полетаев и его Агапевна жили, по указанию А. П. Рязановской, на Царевской улице в проулке за церковью царя Константина — данный уголок Костромы и описан в “Неуемном бубне”» (*Бочков В. Н.* Кострома Алексея Ремизова. С. 297). Ср. черновую фиксацию воспоминаний Рязановской Бочковым: «“Неуемный бубен” Александр Павлович Полетаев и Агапевна жили на Царевской ул. в проулочке за ц<ерковью> царя Константина. П<олетаев> ходил с красным узелком, в кот<ором> всегда что-то принесет (бисерную вышивку), написал послание в стихах» (ОГКУ ГАКО. Р-1224. Оп. 2. Д. 369 предвар. Л. 9 об.).

...самовар — в а з о й... — характерная форма самоваров второй половины XIX в., производившихся в Туле и отличавшихся сложностью своего строения и мягкими переходами от одного объема к другому.

Откуда и как пошел Стратилатов... — парафраз названия первой русской летописи XI в.: «Се повѣсти времяньных лѣт, откуда есть пошла русская земля, кто въ Киевѣ нача первѣе княжити, и откуду руская земля стала есть» (Памятники литературы Древней Руси. XI — начало XII века. М., 1978. С. 22).

С. 21. *Крестили его не в купели, а ч е р е з ш а п к у. ~ Надели ее на младенца, так чрез шапку и окрестили. Вот какая история!* — Ср. в романе И. И. Лажечникова вставную новеллу-быличку о встрече мужика с чертом, рассказанную после обряда изгнания бесов из его дочери-кликуши: «Этому было <...> десятка полтора лет, о святки, в часы ночные <...> мужик возится в сугробе с клячонкой <...> хозяйка родила дочку, сама хворая <...> взмолилась, поезжай к батьке, <...> да привези ей и детищу молитву. Вот подъехал Сидорка к попову дому. <...> Вышел священник, <...> впустил его к себе. Спросил у мужичка шап-

ку, прочел в ней молитву новорожденному младенцу и родительнице и, перекрестя, надел на голову мужика со строгим наказом, крепко бы держал ее на голове, а приедучи домой, вытряс бы из нее молитву на тех рабов божьих. <...> Сидорка <...> отъехал <...> чует, на голове шапка свинец свинцом так и давит голову <...> шапка режет ему лоб, словно железный обруч. Вдруг, отколе ни возьмись, навстречу ему сани, вороной жеребец <...> сидит в санях мужичище рыжий, шапка саженная <...> борода по колена огневая <...> Сидорке стоило бы смирнехонько, с молитвой <...> где ему, озорнику? Кричит <...>, ругнул проезжего недобрыми словами. <...> Не стерпел этих позорных слов рыжий мужик <...> Сидорку по рылу, <...> а по шапке его не тронул. Осерчал наш Сидорка <...> схватился за шапку с молитвой и швырком ее в нечистого — глядь, будто огонек взвился к небу, а врага и след прослыл <...> только поднялся по полю такой бесовский хохот <...>. Делать Сидорке было нечего; отыскал насилу шапку свою <...> и поехал домой с недобрыми мыслями: затаю, дескать, хозяйке, что молитву потерял. <...> В избе вой и плач <...>. Снял тут Сидорка шапку, словно добрый человек, потряс ее над умирающей — слышит за печкой кто-то захохотал, родильницу перевернуло <...> замахала руками и испустила душеньку. Он к младенцу с тем же благословением: у девчонки косило рот и живот дуло, пока отец держал над ней шапку. «Будь проклята ты!» — вскричал он <...> худо ему спалось. Видит он <...> Бес с рожками нянчит младенца. <...> И пошел ровнехонько через год в могилу <...>. А девочка? <...> Девочка что-то больно кричала, как стали ее крестить, но потом <...> образов боялась и ладану не любила. А как вошла в возраст <...> стала она кликать на разные голоса. <...> Кажись, теперь нечистому недолго в ней сидеть. <...> А вы помните, други мои, слово дурное и хорошее не мимо идет» (*Лажечников И. И.* Ледяной дом. Минск, 1966. С. 144—147). Ремизов мог узнать о сюжете этой былички из кн. А. В. Амфитеатрова «Дьявол». Ср.: «Любопытное народное поверье рассказал Лажечников в “Ледяном доме”. <...> Злополучный мужик, не подозревая коварного подмена, добросовестно вытряс шапку над женою и сам вселил, таким образом, легион чертей как в жену, так и в новорожденную дочку» (*Амфитеатров А. В.* Дьявол // Амфитеатров А. В. Собр. соч. Т. XVIII. СПб., [1913]. С. 162). В «Неуемном бубне» данный фольклорный сюжет о проклятом и отданном бесам младенце является ключевым для формирования художественной концепции повести.

С. 23. *Ахитофел* — библейский персонаж, мудрец, советник царя Давида.

Паки-течение (церк.-слав.) — наоборот.

Он-сица (церк.-слав.) — тот же.

Непщевание (церк.-слав.) — помыслы.

С. 23. *Гобзование* (церк.-слав.) — изобилие, богатство.

...в фанты играть... — игра, участники которой по очереди выполняют задания, назначаемые по жребию. Что им делать — определяется ведущим с помощью «фантов» — вещей, временно предоставленных ему игроками.

С. 24. *...о преимуществе новых языков перед древними...* — неточная цитата из работы лингвиста Н. В. Крушевского «Очерк науки о языке»: «Изучение слов как они есть, стремление к возможно более строгому применению звуковых законов <...> наконец, преимущество, отдаваемое живым новым языкам перед мертвыми древними, все это вместе, если и не выставлялось Бодуэном де Куртенэ в качестве принципов науки о языке, то тем не менее не переставало быть принципами как в его чтениях, так и в занятиях» (*Крушевский Н. В.* Очерк науки о языке // Изв. и уч. зап. Имп. Казан. ун-та. Казань, 1883. Т. XIX. Январь—апрель. С. 6—7).

С. 25. *Залавок* — длинный ящик с крышкой, используемый вместо лавки.

С. 26. *...все четыре поста соблюдает: и великий пост, и петров, и госпожинки, и филипповки...* — Перечислены четыре многодневных поста церковного года. Великий пост (Четыредесятница) — сорокадневный пост, готовивший христиан к празднованию Пасхи, длится шесть седмиц и еще Страстную седмицу, начинаясь не ранее 2 (15) февраля и оканчиваясь не позднее 24 апреля (7 мая) включительно, в зависимости от даты празднования Пасхи. Петров пост — установлен в память о св. апостолах Петре и Павле, постившихся с целью подготовки себя к проповеди Евангелия; начинается через неделю после дня Св. Троицы, в понедельник после девятого воскресения по Пасхе, оканчивается в день Петра и Павла 29 июня (12 июля). Госпожинки (Успенский пост) — установлен в память Успения Пресвятой Богородицы, соблюдается с 1 (14) по 15 (28) августа. Филипповки (Рождественский пост) — установлен в честь Рождества Христова, соблюдается с 15 (28) ноября по 24 декабря (6 января).

С. 28. *...икона Спасителя — Грозный и Страшный Спас.* — Икона, представляющая собой оплечное изображение Иисуса Христа со скорбным темным ликом и яростными глазами («Спас Ярое Око»). Восходит к иконографическому типу «Спас Вседержитель».

Укладка (устар.) — небольшой сундук, ларец.

...два венских стула... — Венский стул — модель стула из гнутой древесины, созданная в 1830-х гг. на мебельной фабрике Михаэля Тонета в Вене.

С. 29. *...икона Божьей Матери — Всех Скорбящих Радости...* — на иконе Богородицы «Всех Скорбящих Радость» Богоматерь изображена в сиянии мандорлы в окружении людей, обуревае-

мых скорбями и недугами, и ангелов, вершащих благодеяния от ее имени.

С. 29. *Елизавета Петровна* (1709—1761) — российская императрица (с 1741 г.), дочь императора Петра I.

С. 30. *Дышло* — одиночная оглобля между двумя лошадьми, прикрепляемая к передней оси повозки при парной запряжке и служащая для поворота экипажа.

...блины печь, и не ходячие, а жилые блины, как на поминках... — В отличие от обычных блинов из дрожжевого теста поминальные готовятся на постном тесте, без добавления сахара, молока, яиц и масла.

Богородица, Дево, радуйся — начальные слова православной молитвы.

...В шестнадцать лет невинное смиренье... — неточная цитата из поэмы А. С. Пушкина «Гавриилиада» (1821).

Двунадесятые праздники — двенадцать важнейших после Пасхи православных праздников: Рождество Пресвятой Богородицы — 8 (21) сентября; Воздвиженье Креста Господня — 14 (27) сентября; Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября (4 декабря); Рождество Христово — 25 декабря (7 января); Крещение Господне — 6 (19) января; Сретение Господне — 2 (15) февраля; Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 марта (7 апреля); Вход Господень в Иерусалим — воскресенье перед Пасхой (переходящий); Вознесение Господне — 40-й день после Пасхи, всегда в четверг (переходящий); День Святой Троицы — 50-й день после Пасхи, всегда в воскресенье (переходящий); Преображение Господне — 6 (19) августа; Успение Богородицы — 15 (28) августа.

С. 31. *...«Исторический Вестник», «Русская Старина», «Русский Архив», ~ «Вестник Европы», «Русская Мысль».* — «Исторический Вестник» — историко-литературный журнал (СПб., 1880—1917); «Русская Старина» — ежемесячное историческое издание (СПб., 1870—1918); «Русский Архив» — ежемесячный историко-литературный журнал (М., 1863—1917); «Вестник Европы» — журнал истории, политики, литературы (СПб., 1866—1918); «Русская Мысль» — ежемесячный литературно-политический журнал (М., 1880—1918).

Олеография — разновидность многокрасочной литографии, применявшаяся в XIX в. для воспроизведения картин в технике масляной живописи.

...на другой Серафим Саровский с медведем. — На олеографии изображен популярный эпизод из жития св. Серафима Саровского. Огромный медведь постоянно приходил к лесной келии подвижника, который кормил его с рук хлебом.

С. 31. *Танька Мерин какая-нибудь в Денисихе.* — «Денисиха» — в начале XX в. один из самых больших и старейших кабаков г. Костромы, находился на Дебринской ул. (ныне: ул. Кооперации).

«Скитское покаяние» (кон. XV — нач. XVI в.) — памятник русской духовной культуры, чин самоисповедания грехов, предназначенный для монахов-отшельников. После XVII в. популярен в старообрядческой среде.

«Любовь — книжка золотая» — галантная книга Гл. Громова «Любовь Книжка золотая» (СПб., 1778. 228 с.), содержащая аллегорические тексты и поучения: «Сокращенный супружеский календарь», «Новый любовничий и супружеский словарь», «Домашние средства от разных неприятностей в любви и браке», «Карта почтовой дороги по землице любви».

«Похождение Ивана Гостиного сына» — сборник наставительных и занимательных рассказов, повестей и анекдотов И. В. Новикова «Похождение Ивана Гостиного сына и другие повести и сказки» (Ч. I. СПб., 1785. 200 с.; Ч. II. СПб., 1786. 219 с.). В его состав включен рассказ-анекдот «О девушке, вышедшей по принуждению родителей за старого за мужа» (Ч. I. С. 162).

«Пригожая повариха» — роман М. Д. Чулкова «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины» (1770).

...стихотворения Нелединского-Мелецкого, Батюшкова, Подолинского, Кольцова, Некрасова... — имеется в виду эротическая лирика русских поэтов XIX в. *Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий* (1751—1828) — поэт, последователь «легкой поэзии» Э. Парни, автор популярных в свое время любовных песенок. *Константин Николаевич Батюшков* (1787—1855) — поэт, автор эпикурейской любовной лирики. *Андрей Иванович Подолинский* (1806—1886) — поэт, автор стихотворений «Портрет», «Урок», в XIX в. ему приписывалось авторство анонимного стихотворения «Первая ночь брака». *Алексей Васильевич Кольцов* (1809—1842) — поэт, автор любовных песен («Ночка темная...», «Я любила его...» и др.). *Николай Алексеевич Некрасов* (1821—1877/78) — поэт, автор стихотворений «Буря», «Где твое личико смуглое...».

С. 32. *Глухарь* — зд.: большой бубенчик.

Гремок (диал.) — бугорок на дороге.

Господи, воззвах! — начало 140-го псалма (Пс 140: 1), который используется в качестве обязательного псалма на вечерне.

С. 35. *Панское варенье* — варенье из недозрелых ягод крыжовника на сиропе с отваром из вишневых листьев.

Гляжу как безумный на черную шаль ~ печаль. — Романс «Черная шаль» (1823). Музыка А. Н. Верстовского на слова А. С. Пушкина.

С. 36. *Что он ходит за мной, всюду ищет меня ~ так лукаво всегда?* — романс на слова стихотворения А. В. Кольцова «Песня» (1842). Музыка В. Шпачека.

С. 37. *Гунявый* (просторечн.) — плохой, низкопробный.

А тот лисицей. «Я, говорит, — не постесню вас: сам лягу на лавочку, хвостик под лавочку, а портфель под печку». — неточная цитата из русской сказки «Про лисичку со скалочкой» (обработка М. Михайлова): «Да я не потесню вас: сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку».

...картинки, вырезанные из «Нивы»... — «Нива» (СПб., 1870—1918) — иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни. Зд. имеются в виду публиковавшиеся в издании репродукции художественных картин.

...в каком году Тушинский вор короновался ~ перечислить всех бывших на Руси скопцов-митрополитов... — Герой задает изначально неправильные вопросы. Самозванец Лжедмитрий II («Тушинский вор», ?—1610) никогда не короновался. Митрополиты возглавляли Русскую православную церковь со времени ее основания в X в. и до учреждения Московского патриархата (1589). Секта скопцов возникла в России только в XVIII в.

...княгиню Конкратову... — литературная игра Ремизова — отсылка к известной аристократической фамилии русского графского рода Канкриных. Среди представителей рода наиболее известен Егор Францевич (Георг Людвиг Даниил) Канкрин, гр. (1774—1845) — министр финансов России, при котором была осуществлена денежная реформа, установившая систему серебряного монометаллизма.

С. 37—38. *...прически ~ каторжной, выстригая всю левую половину...* — имеется в виду стандартная стрижка каторжника, когда человеку выбривали полголовы.

С. 38. *Владимир I Святославич, св.* (ок. 960—1015) — князь новгородский (970—988), великий князь киевский (с 978). При нем произошло крещение Руси.

...правую ~ всю выбреет, до французской... — «французской» называлась короткая мужская стрижка «à la Titus», ставшая модной со времени Великой французской революции. Коротко остриженные волосы по античному образцу закручивались в кудри по всей голове или завивались и начесывались на лоб. Такую прическу носил Наполеон Бонапарт.

...под какого-нибудь графа Де-ла-Гарта... — Де-Ла-Гард (De La Garde) Огюстен Мари Балтазар Шарль Пелетье, гр. (1780—1834) — эмигрант, камергер, генерал-майор русской армии с 1814, после реставрации Бурбонов вернулся во Францию.

С. 38. *Наполеон I Бонапарт* (Bonaparte, 1769—1821) — полководец и государственный деятель, французский император в 1804—1815 гг.

Деспот — придворный титул Византийской империи, правитель отдельной провинции.

...я твои все пять языков покорю. — Литературная игра Ремизова. Соединение семантики церковнославянского слова «язык» в значении «народ» со значением слова «язык» как исторически сложившейся системы словесного выражения мыслей, а также с устойчивым выражением (обозначением наступавшей на Россию в 1812 г. армии Наполеона): «нашествие двунадесяти языков».

В тюрьму тебя засадить, шельмеца, в подтюрьмок. ~ Потрясешь там своими бубенчиками, жульник. — Развернутое эротическое иносказание, ориентированное на обсцентную лексику и метафоры русской народной сказки «Поп, попадья, поповна и батрак» из кн. А. Н. Афанасьева «Русские заветные сказки» (СПб., 1994. С. 141—144).

Гремучий студень — взрывчатое вещество класса динамитов, представляет собой полупрозрачную желеобразную массу, детонирующую при ударе или трении.

С. 39. *Священный Правительствующий Синод* — высший орган церковно-государственного управления Русской православной церковью в синодальный период (1721—1917).

С. 40. *Косушка* — русская единица измерения объема жидкости, применявшаяся до введения метрической системы мер. Использовалась для измерения вино-водочных напитков. Одна четверть литра.

Регент же помнил всего-навсего одну П т и ч к у, но не пушкинскую... ~ А х, п о п а л а с ь п т и ч к а, с т о й! — цитата из стихотворения «Пойманная птичка» (1864) Л. У. Порецкого. Также упомянуто стихотворение А. С. Пушкина «Птичка» (1823).

С. 41. *...как князя Воротынского Иван Грозный изжарил...* — согласно «Истории о великом князе Московском» князя А. Курбского царь Иван Грозный лично пытал огнем обвиненного в колдовстве московского воеводу князя М. И. Воротынского (ок. 1510—1573).

...вопросом о четвертом лице Св. Троицы и о возможности ее пополнения... — речь идет о возникшей в монофизитской среде ереси тетратеистов (VI—VII вв.), признававших помимо бытия Лиц в Боге еще особую Божественную сущность, в которой эти Лица участвуют и из которой черпают Свое Божество.

...о каком-то съезде двенадцати царей, которые станут искать правды и закона, зарытых в каком-то кургане под Полтавой... — возможно, иносказательное упоминание о 14-м российском Археологическом съезде, проходившем в 1908 г. на Украине, в Чернигове. В первом выпуске «Трудов московского предварительного комитета по устройству четырнадцатого Археологического съезда» (М., 1906) целый раз-

дел был посвящен материалам по археологии Полтавской губернии. В текст также включено иронически переосмысленное упоминание хрестоматийно известного заглавия труда древнеримского историка Гая Светония Транквилла (ок. 70 — после 122) «Жизнь двенадцати цезарей».

С. 41. *...о каком-то курином слове, которое, если знать, так все тебе можно...* — отсылка к идиоме «петушиное слово», обозначающей особый прием, с помощью которого решаются неразрешимые задачи.

...о надвигающейся комете... — речь идет о комете Галлея. Ее очередное появление было обнаружено на подлете 11 сентября 1909 г. на фотопластинке М. Вольфом в Гейдельберге с помощью 72-см телескопа-рефлектора. Комета прошла перигелий 20 апреля 1910 г.

С. 42. *...о том же шишигином хвосте: будто закроет тебя шишига хвостом, и ты пропадешь...* — *Шишига* — нечистый дух, чертовка.

С. 43. *...хлеб ~ ситный...* — т. е. испеченный из муки, просеянной сквозь сито.

...поэта, которому Фет передал свой трепетный факел... — речь идет о поэте К. Р. (вел. князе Константине Константиновиче Романове; 1858—1915). См. послание А. А. Фета «Великому князю Константину Константиновичу на третьем выпуске “Вечерних огней”» (1888): «Трепетный факел с вечерним мерцаньем, / Сна непробудного чуя истому, / Немощен силой, но горд упованием / Вестнику света сдаю молодому» (*Фет А. А.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1959. С. 543).

С. 44. *Начетчик* — в старообрядчестве так называется человек, начитанный в старопечатных книгах, относящихся к богослужению, а также содержащих в себе творения св. отцов.

Шишимора — «русское *кикимора* или *шишимора* — имя сложное, первая его половина <...> *шиш* — домовой, бес, *шишко* — нечистый дух <...>. В Сербии и Черногории *мора* <...> признается за демонического духа <...>. В России также известны *мары* <...>. Мары тождественны с кикиморами, о которых рассказывают, что это младенцы, умершие некрещеными или проклятые их родителями, и потому попавшие под власть нечистой силы» (*Афанасьев А.* Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. Т. 2. М., 1994. С. 101). См. также комм. к с. 520.

С. 45. *Стражник* — в России низший полицейский чин в некоторых видах охраны.

Подрясник — нижнее облачение православного духовенства, длинная одежда с узкими рукавами.

Козловые сапоги — обувь, сделанная из шкуры козла.

Петровский двойной червонец — монета, выпущенная во время правления императора Петра Первого в 1701—1702, 1714 гг. (масса — 6,94 г, золото 986-й пробы). Является нумизматической редкостью.

С. 45. *«Господи, Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми»! — шептал Иван Семенович молитву преподобного Ефрема Сирина...* — неточная цитата из великопостной покаянной молитвы преподобного Ефрема Сирина (IV в.), читаемой, по православному церковному уставу, на богослужении суточного круга, начиная со вторника (по окончании вечерни), среды и пятницы Сырной седмицы, ежедневно с наступлением Великого поста (кроме субботы и воскресенья) до Великой среды Страстной недели.

Складень — двух- или трехстворчатая икона.

С. 46. *...наш русский Никола, простоволосый, с церковкою и мечом в руках, Никола Можайский.* — Образ Николы Можайского — это вариант иконографического типа Св. Николая Зарайского. В иконах этого типа Св. Николай представлен с мечом и храмом в разведенных руках. Прототип этого образа — статуя Св. Николая, стоявшая на городских воротах или городском соборе г. Можайска.

Никола Дуплянский — отсылка к эротической русской народной сказке «Никола Дуплянской» (*Афанасьев А. Н.* Русские заветные сказки. С. 281—284). Ее герой — старик — отомстил обманувшей его жене и ее любовнику с помощью придуманного им святого — Николы Дуплянского.

Гуся ел да попершилось — цитата из эротической русской народной сказки «Чудесная мазь» (Там же. С. 213).

С. 47. *За неграмотную всеподданнейшую Ксению Федорову Пискунову...* — Всеподданнейшая — т. е. представляющаяся лично вышестоящему лицу (монарху) с выражением верноподданнических чувств. В официальных бумагах XVIII — начала XX в. данное определение употреблялось для выражения уничижения обращающегося с прошением. Зд. в значении: покорнейшая.

Столоначальник — в 1811—1917 гг. должностное лицо, возглавлявшее «стол» — низшую структурную часть государственных центральных и местных учреждений. Чиновник VII класса.

Вставай же, поднимайся, пьяная развратная Русь, и принимай в объятия своих врагов!.. — Ироническая парафраза слов известной революционной «Новой песни» П. Л. Лаврова (1875): «Вставай, подымайся рабочий народ! Вставай на врагов, брат голодный...».

Слоновая бумага — бумага высшего качества, желтовато-бежевая — цвета слоновой кости.

С. 47—48. *...затянул ~ разбойничью песню ~ последнюю песню Ваньки Каина ~ Не шуми, мати, зеленая дубравушка ~ У Троицы у Сергия было под Москвою...* — народные песни. Авторство приписывалось легендарному вору и сыщику Ваньке-Каину (Ивану Осипову Каину;

1718 — после 1756). См.: Песни, собранные П. В. Киреевским. М., 1872. Вып. 9. С. 72—74.

С. 48. *...сердце его высосет и тело его иссушит...* — цитата из «Беседы отца с сыном о женской злобе» (XVII в.): «Сердце его высосет, тѣло его изсушит» (Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга первая. М., 1988. С. 491).

С. 49. *Гурливая* — говорливая.

...в салки играть... — игра, в которой все разбегаются. Ведущий должен коснуться ладонью («осалить») одного из игроков, который сам становится ведущим и, в свою очередь, начинает ловить следующего.

...залюбилась она ему, что банный пар... — переработка текста из Словаря Даля: «Банный пар любить в костье, производить чувство неги. Любиться, любить друг друга: более говорится о любви половой» (*Толковый словарь В. И. Даля.* Т. II. С. 282).

Опалил — зд.: облил.

С. 51. *Походка павлиная, разговор лебединый!* — Парафраз фольклорной формулы из былины «Дунай Иванович — сват». Ср.: «А походоцька была штобы повинная, тиха-смирная рець была лебединная» (Свод русского фольклора. Былины: В 25 т. Т. 4: Былины Мезени. СПб., 2004. С. 126).

Крестопоклонная неделя — Третья неделя Великого поста.

С. 52. *Мно-о-гая, мно-о-гая лета!* — торжественное провозглашение за православным богослужением слов «многая лета» является пожеланием долгих лет жизни и благополучия.

Камчатная — сделанная из материи «камка» — шелковой ткани с блестящими белыми узорами на матовом фоне.

С. 54. *Святая неделя* — праздничная неделя, следующая за Пасхой.

С. 55. *Охаверник* — срамник, бесчинник, нахал, озорник, буян (*Толковый словарь В. И. Даля.* Т. II. С. 771).

С. 56. *Случай ~ на Ивана Купала...* — Иван Купала — летний народный праздник языческого происхождения, приуроченный к христианскому празднику Рождества Иоанна Крестителя, отмечается 24 июня (7 июля).

Обыденная — в один день сделанная.

С. 57. *...как вела звезда волхвов: заснут волхвы, и звезда заснет.* — Отсылка к евангельскому сюжету о звезде, которая указала волхвам место рождения Иисуса Христа (Мф 2: 9—11).

А то сказку заведет про козу — которая все есть просит и сколько ее ни корми, все голодна, и о петушке, как петушка лисица горошком заманивала... — использованы сюжеты русских народных сказок «Коза луплена», «Кот, петух и лиса».

С. 58. *помолиться ~ у Иоанна Предтечи...* — Церковь Иоанна Предтечи (1769) находилась в Костроме на углу ул. Мшанской (ныне: Островского) и ул. Молочная гора. Снесена в 1920-е гг.

Села баба на кота, поехала до попа... — цитата из текста народной пестушки.

С. 59. *Кликуша* — женщина, подверженная истерическим припадкам, во время которых издает исступленные крики.

Помяни, Господи, Царя Давида и всю кротость его! — Возглас при чрезвычайном гневе другого, а также от страха (*Михельсон М. И.* Ходячие и меткие слова. 2-е изд. СПб., 1896. С. 333).

С. 60. *Черствые именины* (разг.) — день, следующий за именинами.

С. 61. *Богопустная* (др.-рус.) — насланная Богом. Ср.: «Нападе убо на царя Даріа богопустная язва» (Полное собрание русских летописей. Т. XXII: Русский хронограф. М., 2005. С. 184).

Женский Зачатьевский монастырь ~ В его прошлом ~ немало заслуг ~ он и от врагов спасал ~ за его высокими стенами умирали в заточении узницы ~ при имени которых Стратилатов непременно бы привстал ~ одно время хлыстовство процветало в нем... — Изложение истории Зачатьевского монастыря основано на контаминации фактов из прошлого нескольких обителей Костромы и Москвы. При этом центральным связующим звеном в цепи текстовых ассоциаций является связь монастырских событий с историей г. Костромы. В 1608 г. костромской Богоявленско-Анастасиин монастырь героически оборонялся от войск Лжедмитрия II. В Костроме жил и умер основатель секты хлыстов Данила Филиппов (?—1700). Его ближайшие соратники Иван Тимофеевич Суслов (? — ок. 1716) и Прокопий Данилович Лупкин (?—1732) имели влияние на насельников московского Иоанно-Предтеченского монастыря, в котором сектанты были похоронены. Московский Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь был местом насильственного пострига и заточения ряда особ царского рода, в том числе царевны Софьи Алексеевны Романовой (1657—1704), царицы Евдокии Федоровны Лопухиной (1669—1731), жены царя Петра Алексеевича (с 1721 г. императора Петра I).

С. 62. *Ахитофел* — см. комм. к с. 23.

...объяснялось ничем иным, как о г н е н н ы м и с к у ш е н и е м... — Ср. в Библии: «Возлюбленные! Огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного» (1 Петр 4: 12).

Понтий Пилат — римский префект Иудеи с 26 по 36 г. Согласно христианской традиции, трижды отказывался предать казни Иисуса Христа, приведенного к нему на суд.

...в действительности же по ночам монашки опускали с монастырской стены корзины и подымали в этих корзинах к себе в кельи своих

кавалеров... — вариант бродячего сюжета. Ср. эпизод из средневековой западноевропейской легенды о некроманте Вергилии: «Выбрали день, когда Вергилий должен был прийти к башне, которая стояла в Риме на торговой площади и выше которой во всем городе не было. В назначенный день Вергилий пришел, а дама его уже наверху поджидала. Увидев его, спустила она корзину. Вергилий в нее уселся, а дама стала поднимать его наверх, да на полдороге бросила, а веревку крепко-накрепко завязала, чтобы он не свалился, и говорит: — Повиси-ка тут до завтра. Как раз будет базарный день, вот пусть люди на тебя посмотрят, как ты бесчестно со мной хотел возлечь» (Spargojohn Webster. Virgil the Necromancer: Studies in Virgilian Legends. Camb., Mass. 1934. С. 372—373. Цит. по сб.: Великие некроманты и обыкновенные чародеи. М., 2006. С. 48—49).

С. 63. *Притча во языцех* (церк.-слав.) — фразеологизм: то, о чем все говорят. Цитата из Библии (Втор 28: 37; Иов 17: 6; Пс 43: 15).

Сорокоуст — ежедневное молитвенное поминовение в течение сорока дней на Литургии в Русской православной церкви.

С. 64. *...рядом с низложенным португальским королем...* — португальский король Мануэл II (1889—1932) был низложен 4 октября 1910 г. В стране была провозглашена республика. На момент первой публикации *НБ* он еще царствовал.

Рождество Богородицы — см. комм. к с. 30.

С. 65. *Воздвиженье* — см. комм. к с. 30.

С. 66. *Лакома овца к соли, коза к воле, а ветреная женщина к новой любви.* — Пословица. Цитата из повести М. Д. Чулкова «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины» (Повести разумные и замысловатые: Популярная бытовая повесть XVIII века / Сост., вступ. ст. С. Ю. Баранова. М., 1989. С. 305).

Рундук (устар.) — большой ларь с поднимающейся крышкой.

Шайка — низкое и широкое ведерко с ручками по бокам.

С. 67. *...на Федора Студита...* — день памяти преподобного Федора Студита 11 (24) ноября.

...пособоровавшись... — Соборование (елеосвящение) — христианское таинство, состоящее в помазании тела освященным елеем, дарующее больному оставление грехов, в которых он не успел покаяться.

...будто люди какие-то, на лопаты похожие, набрасываются на него, зацепили веревками под руки и тащат, как собачонку, к речке топить... — отражение христианских апокрифических представлений о наказании блудникам. См. переводной древнерусский апокриф «Хождение Богородицы по мукам» (XII в.): «и рече архистратигъ: “Поди, пресвятая, и покажу ти, гдѣ ся мучитъ множство грѣшникъ”. И видѣ святая рѣку огненую, и видѣние рѣки тоя яко кровь текущи, и пояда всю землю, и посредѣ волны тоя множство грѣшникъ. И ви-

дѣвши богородица прослезися и рече: “Что есть согрѣшение ихъ?” Рече архистратигъ: “То суть блудницы и любодѣи”» (Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. С. 174).

С. 67. *Ералаш* — зд.: бессмыслица.

...Богородицу читать стал... — молитву «Богородице Дево, радуйся».

С. 68. *Духовная* — духовное завещание — в российском законодательстве до 1917 г. официальный документ, содержащий распоряжение какого-либо лица о своем имуществе на случай смерти.

ЗГА
Волшебные рассказы

Впервые опубликовано: *Ремизов Алексей.* Зга. Волшебные рассказы. Прага: Пламя, 1925. 284 с.

Печатается по тексту первой публикации.

Книга «Зга» была издана в пражском издательстве «Пламя», которым руководил проф. Е. А. Ляцкий. А. М. Ремизов посвятил ее своей жене С. П. Ремизовой-Довгелло.

Рассказы, вошедшие в сборник, первоначально печатались в периодических изданиях, затем некоторые из них — в сборниках А. М. Ремизова «Чертов лог и Полунощное солнце» (1908), «Рассказы» (1910), «Подорожие» (1913); все (кроме рассказа «Покровенная») вошли в тома 1, 2, 5 «Сочинений» (1910—1911).

Слово «зга», давшее название сборнику, восходит, по мнению лингвистов, к слову «стега» («стьга»). В разных славянских наречиях оно имело значения: «тропа», «путь», а также обозначало предмет, которым стегали лошадей, коров, гусей и т. д. (хворостина, прут, кнут). Выражение «ни зги не видно» означает полную темноту, в которой ничего невозможно различить даже вблизи. Подробнее об этом см.: *Магнер Г. И.* Этимология фразеологизма *ни зги не видно* // Этимологические исследования. Вып. 8. Екатеринбург, 2003. С. 22—23. Ср. также надпись С. Я. Осипова на с. 7 экземпляра книги, которую подарил ему Ремизов: «“Зга” — слово санскритское, означает “тропка”. Книга волшебных историй о таинственном и волшебном в человеческой жизни» (*Волшебный мир Алексея Ремизова.* С. 24).

Сборник привлек к себе внимание рецензентов. Критик Г. Ловцкий, в частности, писал: «...для Ремизова характерно стремление подойти к жизни там, где ее узел завязан туже всего — до крови, до исступления...»; «...здесь исключительно воссоздаются жуткие настроения, в которых рождаются недоуменные вопросы о загубленной собственной жизни, о погибших чужих жизнях» (Дни. 1925. № 750. 26 апр. С. 8). В. Третьяков так охарактеризовал сборник: «Конечно, эти рас-

сказы не для всех. Не для всех и Ремизов, удивительный, но неоцененный публикой мастер прозы. Читая рассказы, заключенные в этой со вкусом изданной книге и появившиеся в журналах и альманахах еще в мирное время, трудно не поддаться этой исключительной магии слова, когда зачастую по канве сумбурного сюжета раскидываются колоритные узоры и картины. И уже почти не замечаешь сюжета, а отдаешься очарованию прихотливого, всегда неожиданного словесного плетения. Поистине волшебные рассказы. <...> У Ремизова своеобразно сплетается психологичность Достоевского и быт, сочный, верный и в то же время по-ремизовски чудной. Эта чудаковатость, несуразность, таинственная загадочность придает прозе Ремизова колорит острый и яркий, сразу отличаемый с первой же страницы. <...> Когда Ремизов творит, не давая чудно́му исключительной воли, то власть его прозы исключительна. Ему трудно, конечно, держаться в известных границах внутренней и внешней формы: виденья и ритмы и самоцветные, не штампованные слова наплывают и соблазняют» (Сегодня (Рига). 1925. № 129. 13 июня. С. 8).

Жертва

Впервые опубликовано: Весы. 1909. № 1. С. 42—56.

Прижизненные издания: *Шиповник, 1.* С. 167—186, «1908 г.»; *Ремизов А.* Рассказы. СПб.: Прогресс, 1910. С. 25—42; *Зга.* С. 9—33.

В первой публикации рассказа в «Весах» имеется множество лексических и смысловых расхождений с основным текстом, а также отсутствуют некоторые фразы (напр., «Весь пост прошел как-то не по постному» и др.). Наиболее значимые из вариантов: фамилия главного героя не Бородин, а Сухотин; контр-адмирал Ахматов фигурирует как контр-адмирал Палеолог; свадьба старшей дочери Лиды (в основном тексте Лиза) была назначена на Святки, а не на Матрену Зимнюю (подробнее об этом эпизоде см. ниже); Миша погиб, ударившись об лед при катании на коньках; вместо фразы «Лиза умерла» было: «Лида повесилась»; Зина умерла от тифа, а не от дифтерита. Изменения в текст были внесены автором при подготовке публикации в издании *Шиповник 1* (1910).

В автобиографии 1912 г. Ремизов отметил: «...мертвец Бородин (Собр. соч. Т. I. Жертва) — я самый и есть, себя описываю <...>. А мертвец Бородин, известно, чем кончил...» (*Лица.* С. 442).

6 декабря 1908 г. Ремизов сообщал в письме к редактору ж. «Весы» В. Я. Брюсову: «У меня есть рассказ, называется он “Жертва”. Только я вот сейчас не могу его послать Вам. Недели через две или даже с половиной пришлю его для “Весов”» (*ЛН.* Т. 98. Кн. 2. С. 205). 28 декабря 1908 г. он писал ему же: «Посылаю на Ваше имя заказн<ой> бандер<олью> рассказ “Жертва”. Будет ли рассказ по душе Вам? Извести-

те, когда он может появиться в журнале, чтобы я мог дать сведения для газетных хроник» (Там же. С. 206). В газете «Луч света» (1909. № 1. 15 янв. С. 6) под рубрикой «Литературный дневник» было объявлено: «В “Весах” в скором времени будет напечатан рассказ А. Ремизова о мертвеце, возвращенном к жизни силою жертвы». В № 2 этой же газеты (22 янв. С. 6) сообщалось: «Ремизов написал несколько новых рассказов. Один из них “Жертва” будет напечатан в 1 номере “Весов” в текущем году». 5 января 1909 г. А. М. Ремизов писал А. Белому: «В “Весы” послал я рассказ “Жертву”. Читали ли Вы? По душе ли рассказ Валерию Яковлевичу?» (см. об этом: Андрей Белый и А. М. Ремизов. Переписка // Александр Блок. Исследования и материалы. СПб., 2011. С. 477—479; публ. и комм. А. В. Лаврова).

З. Гиппиус, касаясь первой публикации рассказа, писала С. П. Ремизовой-Довгелло 9 февраля 1909 г.: «А. М-чу скажите <...>, что я от него не ожидала столь грубой ошибки (в рассказе в “Весах”, и рассказ-то нехороший). Скажите, что свадеб не бывает “на святках”, не бывает их с 12 ноября до 7 января (после Крещения)» (Переписка А. М. Ремизова и К. И. Чуковского / Вступ. ст. и комм. И. Ф. Даниловой и Е. В. Ивановой // Русская литература. 2007. № 3. С. 150). О «веселом покойнике» Бородине как о своеобразном прототипе героев современной литературы К. И. Чуковский упомянул в статье-фельетоне «Веселое кладбище»: «Рассказ обдуманный и “сделан” прекрасно. Но одно в нем поражает меня: почему из этого покойника вышел у Ремизова такой весельчак? <...> Недаром Фофанов утверждает: *Я был на кладбище веселом.* Он знает, что говорит. И у Ремизова это очень верно подмечено: покойники несомненно самый веселый народ. <...> И что, если Ремизов прав, если смех и смерть иногда и вправду синонимы» (*Чуковский К.* Веселое кладбище // Речь. 1909. № 72. 15 (28) марта. С. 2). По мнению М. Кузмина, рассказ «Жертва» является лучшей вещью в сборнике А. М. Ремизова «Рассказы» (СПб.: Прогресс, 1910), «кажется шагом вперед по сравнению с “Чёртиком”» (Аполлон. 1909. № 3. Декабрь. С. 22, паг. 2-я). Блок в своем отзыве на тот же сборник в статье «Противоречия» (впервые опубл.: Речь. 1910. № 31. 1 (14) февраля) выделил «Жертву», наряду с рассказами «Суд Божий», «Царевна Мымра», «По этапу», как «создание законченное, заключенное в кристаллы форм, которые выдерживают долгое трение времени»; автор «соединяет непокорные образы в одно целое, из снопа непослушных и пестрых слов и красок вяжет единую многоцветную кошницу» (*Блок А. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2010. Т. 8. С. 112). Б. Садовской, высоко оценив рассказ, отметил: «Еще умеет Ремизов наводить на читателя мистический необоримый ужас, от которого дыбом поднимаются волосы и хочется с головой закутаться в одеяло. Таков превосходный рассказ “Жертва”. Жена вымолила

жизнь мужу, обреченному Богом на смерть, ценою жизни своих детей. Спасенный от могилы, живой мертвец на много лет сохранил образ и подобие живого человека. <...> ...добравшись до конца рассказа и сопоставляя смутно, что было с тем, что сбылось, начинаешь чувствовать панический стародавний ужас. <...> В основе “Жертвы” лежит всё та же постоянная мысль Ремизова о беззащитности человека перед тем, от кого никуда и никому не уйти...» (*Садовской Б.* «Настоящий» // Современник. 1912. № 5. С. 306, 307). А. Измайлов привел рассказ в качестве примера сложного, замысловатого повествования, которое нередко оставляет читателя в недоумении: «Вы читаете и не знаете, как, собственно, отнестись к рассказу. Что это — явная выдумка, с каким-то, может быть, сатирическим намеком, или преподносимый всерьез загадочный случай из действительности? <...> Спиноза с Аристотелем не уяснят, что хотел сказать Ремизов этим рассказом» (*Измайлов А.* Пестрые знамена: Литературные портреты безвременья. М., 1913. С. 95–97).

Публикация рассказа в сборнике «Зга» также не осталась незамеченной критиками. В. Третьяков в рецензии на книгу писал: «В его рассказе гибнет чуть ли не вся семья, гибнет так, ни с того ни с сего; читателю дико и, может быть, смешно, но тем не менее настроение жути, странности и необычного остается, а это только и нужно автору» (Сегодня (Рига). 1925. № 129. 13 июня. С. 8).

С. 73. *...предпочитая кушанья сладкие...* — В письме к Ремизову от <10 марта 1909 г.> К. Чуковский спрашивал: «Почему Петр Николаевич любил кушанья сладкие?» Ремизов 11 марта ответил по этому поводу: «...сладкие кушанья — сладкое по вкусу и такому, как дитё, и такому, который одной ногой в могиле; доктора объяснили бы это по<->научному, я же имел перед собой лишь свои наблюдения, — мне известны и такие люди, которым ничего не хочется, хоть и тридцати им нет, а сладенького поесть — падки. Мертвецы в сказках кровь пьют, старика да старуху не съедят, а посытней кем не побрезгуют (у Романова в Белорусском сборнике Вып. 4. Витебск 1891, отдел “Мертвецы”). Моего мертвеца, оставшегося в жизни силою жертвы, физически поддерживает куриная кровь да лакомства (нежное, ведь всё)» (Переписка А. М. Ремизова и К. И. Чуковского. С. 150, 151).

Петра Николаевича не только никто не боялся, но — что уж таить! — веры ему не было. — В письме к Ремизову от <10 марта 1909 г.> К. И. Чуковский, в частности, интересовался: «Почему П-а Н-ча никто не боялся из мужиков?» Ремизов ответил в письме от 11 марта: «Мужики, как и чиновники и соседи — чего им его бояться! — видят только гримасу безносой смерти. Генерал — друг Петр<а> Никол<аевича>, с которым связан был в самых ростках души своей, этот разглядел и ахнул» (Там же. С. 151).

С. 73. *...чем отвратительнее было лицо мертвого, ~ покойника привлекательнее.* — Этот фрагмент К. И. Чуковский взял эпиграфом к статье «Психологические мотивы в творчестве Алексея Ремизова» (*Чуковский К.* Критические рассказы. Кн. первая. СПб.: Шиповник, 1911).

С. 77. *...На Матрену Зимнюю назначена была свадьба старшей дочери Лизы...* — Согласно народному календарю, Матрена Зимняя отмечается 9 ноября по старому стилю, 22 ноября — по новому стилю.

...ограничился кратким и весьма непечатным пожеланием в одно слово... — В письме к Ремизову от <10 марта> К. И. Чуковский спрашивал: «Какое слово сказал Петр Николаевич, благословляя Лиду? — Повелительное наклонение?» Разъяснение этого эпизода, с употреблением нецензурного слова, см. в письме Ремизова к К. И. Чуковскому от 11 марта 1909 г. (Переписка А. М. Ремизова и К. И. Чуковского. С. 151).

...во сне яйца в яме видел... — Согласно некоторым сонникам, приснившаяся яма означает смертельную опасность, несчастье, смерть кого-то из близких. В письме к К. И. Чуковскому от 11 марта 1909 г. Ремизов объяснял: «Яйца в яме видеть во сне — к смерти (по народному поверью), к смертям. Тут еще и двусмысленность: венчают ведь. Батюшка, вроде Аг<г>еева, загригоготал, конечно» (Там же. С. 151). Ремизов имел в виду исследование Е. Р. Романова «Белорусский сборник» (Витебск, 1891. Вып. 4: Сказки космогонические и культурные. С. 124—152 (раздел «Мертвецы»; № 65—84)). И. Ф. Данилова и Е. В. Иванова также отметили соответствия данного фрагмента с эпизодом из повести Ремизова «Что есть табак» (Там же. С. 152; здесь же приводятся данные о священнике К. М. Аггееве).

С. 78. *...дьячок, державший «теплоту»...* — *Теплота* — смесь красного вина с теплой водой, которую дают прихожанину во время причастия; она символизирует живую кровь Христа.

...когда зажглась Богоявленская звезда... — *Богоявление* — другое название праздника Крещения Господня (см. комм. к с. 30).

С. 79. *...к обеду велено было подавать большущий бычачий язык.* — В письме от <10 марта 1909 г.> К. И. Чуковский спрашивал у автора: «Почему к обеду подали бычий язык?» Ремизов ответил: «Бычачий язык к столу подавали по затее П<етра> Н<иколаевича> и как раз, как известию прийти, что дочь Лида повесилась. Удавленника язык что бычачий язык. В первую голову язык в глаза бросается» (Переписка А. М. Ремизова и К. И. Чуковского. С. 151).

С. 81. *...приснился ей сон, будто муж ее в алтарь входит.* — Вход в алтарь, по древнему обычаю, разрешался только священнослужите-

лям. Иногда увиденный во сне пожилыми людьми алтарь являлся предзнаменованием скорой смерти.

...опять сон снится: сломалось обручальное кольцо. — Такой сон, согласно народным поверьям, означал, в частности, либо тяжелую болезнь, либо утрату близкого.

С. 82. *...бросал его стоять на тычке.* — Стоять на тычке (прост.) — стоять на открытом или неудобном, беспокойном месте, у всех на виду.

Чёртик

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1907. № 1. С. 39—52.

Прижизненные издания: *Чёртов лог и Полунощное солнце.* С. 9—48; *Шиповник 1.* С. 109—146, «1906 г.»; *Зга.* С. 35—83.

Рассказ был удостоен первой премии на конкурсе литературных и живописных произведений на тему «Дьявол», объявленном в 1906 г. журналом «Золотое руно». А. Блок, входивший в состав жюри, отметил в записной книжке: «Ремизов расцветает совсем. Большое готовится время. "Чёртик" Ремизова великолепен, особенно если слушать его из его уст (даровитейший чтец). А на жюри Курсинский прочел, как пономарь, — и всё-таки мы премировали» (*Блок А.* Записные книжки. М., 1965. С. 85). В исполнении автора Блок слышал рассказ на вечере у М. Кузмина 19 декабря 1906 г. 21 декабря он писал матери: «...Ремизов читал рассказ, который мы премировали (мне понравился еще больше)...» (Письма Александра Блока к родным. Л., 1927. Т. 1. С. 161). Ср. также запись М. Кузмина в дневнике от 19 декабря: «Ремизов читал своего "Чёрта"» (*Кузмин М.* Дневник 1905—1907 / Предисл., подг. текста и комм. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб., 2000. С. 289). Друг А. М. Ремизова Ф. И. Щеколдин в письме к С. П. Ремизовой-Довгелло от 16 декабря 1910 г. так отозвался о рассказе: «Тараканомора я не понимаю и потому конец мне не нравится; а написано хорошо и это» (*Дворникова Л. Я.* Из истории прототипов книги А. М. Ремизова «Иверень» (Ф. И. Щеколдин) // Алексей Ремизов. Исследования и материалы. СПб., 1994. С. 235). Андрей Белый в рецензии на сб. «Чёртов лог и Полунощное солнце» утверждал: «Стальной вихрь безжалостно охватил Ремизова: точно кто-то злой, искони враждебный, встает над миром души талантливого писателя. "Чёртик" называет его Ремизов в замечательном рассказе того же имени. Не Чёртик, а Чёрт, принявший образ Тараканщика. <...> И растет, и растет образ Тараканщика, словно воплощение стального вихря — шествует он по тундре жизни. <...> Окаянный Тараканщик» (Весы. 1908. № 2. С. 79). В рецензии на первый том сочинений Ремизова С. Ауслендер отнес рассказ, наряду с «Неуемным бубном», к «наиболее значительным». «В "Чёртике", — отмечал он, — девочка-калека,

еще недавно такая веселая и здоровая, слушает жестокие рассказы своего брата Дениски с “страдною болью”. Вот эта-то “страдная боль” чувствуется у Ремизова во всем» (Речь. 1911. № 2. 3 (16) янв. С. 5). В критическом отзыве на сборник «Зга» В. Третьяков отметил: «Часто, как в рассказе “Чёртик”, сюжет как будто совсем незначительный: шалость мальчишки-озорника, зато этот пустяк дает возможность Ремизову развернуть темный и впечатляющий быт» (Сегодня (Рига). 1925. № 129. 13 июня. С. 8).

С. 88. *...вечерами отходники...* — Имеются в виду сезонные работники (в основном крестьяне), приходившие в город на заработки.

С. 89. *...не то бессемянка.* — *Бессемянка* — сорт груш и яблок, у которых почти отсутствуют семена, зерна. Зд., видимо, употреблено в переносном значении.

Давно уж замышляла Аграфена недоброе — приворот сделать. Ждала только Пасхи. — *Приворот* — магическое воздействие на человека при помощи словесных заклинаний (заговоров) и какого-либо приворотного зелья. Приворот на Пасху проводится обычно на свежем воздухе в уединенном месте, при убывающей луне.

С. 90. *...заметила она паску...* — *Паска* — пасхальный хлеб, кулич.

То же проделала и с артосом... — *Артос* — освященный в первый день Пасхи квасной (дрожжевой) хлеб. На артосе изображается крест, на котором виден терновый венец, символизирующий победу Христа над смертью.

Едет она на осляти... — *Ослять* (ст.-слав.)— осел. Согласно библейскому преданию, перед рождением Иисуса Христа Мария добиралась из Назарета в Вифлеем на осле.

С. 92. *Однажды ночью к дому подъехала «черная карета».* — Имеется в виду полицейская карета. Ср. из воспоминаний А. М. Ремизова: «А в пензенской тюрьме, отправляя меня этапом в Усть-Сысольск, забыли отметить “политический”; шел я пешком, “черной кареты” мне не полагалось» (*Кодрянская 1959*. С. 79).

С. 93. *...хищная и злая, что Яга на суковатом помеле...* — *Баба-яга* — в сказках восточных и западных славян — старуха-волшебница, ведьма, повелительница мира мертвых. Одна нога у нее костяная. Она летает по воздуху в железной ступе, заметая свой след помелом.

С. 93—94. *...и за службою пьявила...* — *Пьявить, пиявить* — неустанно требовать чего-либо, язвить, злорадствовать.

С. 94. *...гуммиластиков и снимки.* — *Гумиластик, гуммиластик* — эластичная резина, стирательная резинка. *Снимка* — мягкая стирательная резинка, не оставляющая разводов. Ср. в главе «Магнит» книги «Подстриженными глазами»: «“Снимка” вбирает в рисунке с оттушовки пучковые точки. Я был убежден, что всё дело в ее необыкновенном “чувствительном” запахе» (*Иверень-РК VIII*. С. 167—168).

С. 95. *...не любил Дениска ~ пихтерь ~ фискал... — Пехтерь* (обл.) — корзина, в которую набивают сено. Зд. *пехтеря* — толстый, прожорливый, неуклюжий ребенок. *Фискал* (*разг.*) — ябедник, доносчик.

...амазоны на конях... — Амазоны — воинственные фантастические персонажи с темными лицами, встречающиеся на лубочных картинках. Существует предположение, что к амазонам славяне относили народы сказочных заморских стран, прежде всего Индии. Часто они изображаются с копьями или с луками.

С. 96. *...гашники, нагузники... — Гашник* — пояс, шнур, продеваемый в верхней части брюк, штанов. *Нагузник* — то, что надевается на гузно, то есть заднюю часть туловища.

А какая у бабиньки л е с т о в к а... — Ле́стовка — круглый кожаный ремень, лента для счета молитв и поклонов; разновидность четок у старообрядцев. Происходит от слова «лествица», т. е. лестница. Символизирует лестницу духовного восхождения от земли к небу.

...на лапостках... — Лапостки (ладонки) — четыре треугольника в нижней части лестовки, знаменующие 4-х евангелистов. Треугольная форма лапостков символизирует Пресвятую Троицу. Нередко украшаются вышивкой и бисером.

...каждый бабочек... — Ба́бочки — обычно 100 стеклянных, янтарных или матерчатых пластинок либо шариков, бусинок в лестовке.

С. 97. *...с какою-то с т р а д н о ю болью.* — Страдная зд. в значении «исполненная страданий».

И начинается сказка про дятла... ~ Сказка всем известная... ~ Долгая сказка и жестокая. — Подразумевается 2-й вариант народной русской сказки «Собака и дятел» (Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. Т. 1. М., 1984. С. 80—81).

...куралесы собаки... — Куралес — шалун, сумасброд. *Куралесить* — дурить, вести себя странно, беспечно.

С. 98. *...т а р а к а н о м о р Павел Федоров.* — Прообразом этого героя стал, вероятно, Никифор Матвеевич Щекин, «всей Москве известный тараканомор», о котором Ремизов писал в главе «Поджигатель» в книге «Подстриженными глазами» (*Иверень-РК VIII.* С. 110—112, 116—118).

С. 99. *...собирал колючих с о б а к... — Собака* — народное название колючего лопуха большого, репейника.

Пес сапатый. — Сапатый — больной сапом. *Сап* — заразная болезнь, присущая домашним животным.

С. 102. *...вот какой хлюст! — Хлюст* — пройдоха, нахальный, пронырливый человек.

С. 103. *— Черная книга есть... ~ Она связана страшным проклятьем на девять тысяч лет с тысячью.* — Ср. предание о «черной книге» в изложении И. П. Сахарова: «Рассказы бывалых людей о существо-

вании Черной книги исполнены странных нелепостей. В их заповеданных рассказах мы слышим, что Черная книга хранилась на дне морском, под горячим камнем Алатырем. Какой-то злой чернокнижник, заключенный в медном городе, получил завет от старой ведьмы отыскать книгу. Когда был разрушен медный город, чернокнижник, освободясь из плена, опустился в море и достал Черную книгу. С тех пор эта книга гуляет по белому свету. Было когда-то время, в которое Черную книгу заклали в стены Сухаревой башни. Доселе еще не было ни одного чернокнижника, который бы мог достать Черную книгу из стен Сухаревой башни. Говорят, что она связана страшным проклятием на десять тысяч лет. Говоря о Черной книге, наши поселяне уверяют, что в ней содержатся чертовские наваждения, писанные волшебными знаками» (Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. СПб., 1885. С. 5—6).

С. 103. *...от Змия перешла она Каину, от Каина — Хаму. — Каин* — в библейской мифологии старший сын Адама и Евы. *Хам* — библейский персонаж, один из сыновей Ноя.

...Хам насмеялся над своим отцом Ноем. — Согласно ветхозаветному преданию, Хам насмеялся над своим опьяневшим, нагим отцом Ноем (Быт 9: 22). За грех Хама пришлось расплачиваться его сыну Ханаану.

...построить великую семи-лучей башню... — Имеется в виду библейская Вавилонская башня высотой 90 метров, состоявшая из семи ярусов.

...попала книга в Содом... — Содом — легендарный библейский город, уничтоженный Богом за грехи его жителей.

С. 104. *Досталась книга Новуходоносору-царю. — Навуходоно́сор* — царь Нововавилонского царства (605—562 гг. до н. э.).

...под горючим Алатырем-камнем... — Алатырь-камень (латырь, бел-горюч камень) — в древнерусской литературе и русском фольклоре — священный камень, «всем камням отец», который лежит посреди океана-море или на острове Буяне. На нем стоит мировое древо. Наделен волшебными свойствами. Ср. в статье А. А. Блока «Поэзия заговоров и заклинаний» (1906): «Этот Алатырь, Латырь или Алатр-камень белый, горючий, светлый, синий, серебряный — светится в центре массы заклинаний и обладает чудотворной силой. Лежит он на море Окияне, на острове Буяне, который мифологи считали страною вечного лета. Под камнем лежат три доски, под досками — три тоски» (*Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 65).

...в стены Сухаревой башни. — Сухарева башня — архитектурное сооружение в Москве, построенное в 1692—1695 гг. (арх. М. И. Чоглоков). Разобрана в 1934 г. Современник А. М. Ремизова П. И. Богатырев писал о ней: «Это очень красивое, высокое, оригинальной архитекту-

ры здание построено Петром Великим в честь Сухаревского стрелецкого полка, оставшегося верным ему... во время стрелецкого бунта. Сухаревский же полк получил свое название в честь своего полковника <Леонтия Панкратьевича> Сухарева, искренне преданного Петру. <...> Про эту башню в народе существуют фантастические сказания» (*Богатырев П. И.* Московская старина // Московская старина: Воспоминания москвичей прошлого столетия. М., 1989. С. 115). Сухарева башня и «черная книга», якобы хранившаяся в ней, связывались в народных преданиях с именем сподвижника Петра I генерал-фельдмаршала Якова Вилимовича Брюса (1670—1735), который прослыл у москвичей колдуном-звездочетом и чернокнижником. Существовало поверие, «будто у Брюса была такая книга, которая открывала ему все тайны, и он мог посредством этой книги узнать, что находится на любом месте в земле, мог сказать, у кого что где спрятано... Книгу эту достать нельзя, она никому в руки не дается и находится в таинственной комнате, куда никто не решается войти. Основанием для таких вымыслов служило, конечно, то, что Брюс был образованный человек, занимался астрономией и избрал для этого Сухареву башню» (Там же. С. 116). Известно, что в библиотеке Я. Брюса в Сухаревой башне была загадочная книга, состоявшая из семи деревянных дощечек с вырезанным непонятным текстом. «Черную книгу» в народе называли «Библией чёрта».

С. 104. *..Дивилины, слава Богу, не щепотники... — Щепотник* (устар.) — бранное прозвище, которое раскольники давали православным, крестившимся «щепотью», т. е. троеперстно.

С. 105. *...и бороды сгунявились.* — То есть облезли, вытерлись, запаршивели.

Все сходились в образную. — Образная — комната в доме, в которой находятся семейные иконы и совершаются молебны.

С. 106. *...и ерзал, и перхал, и глаза муслил. — Перхать* — кашлять. *Муслить* (мусолить) — смачивать слюной.

...куда звон у Ивана Великого! — Имеются в виду колокола церкви Ивана Великого на Соборной площади Московского Кремля, построенной в XVI в. На колокольне находятся 34 колокола. В главе «Узлы и закруты» книги «Подстриженными глазами» Ремизов писал: «...красный звон Ивановской колокольни — первый оклик, на который я встрепенулся» (*Иверень-РК VIII.* С. 6). Ср. также в главе «Краски»: «...сам Иван Великий, проникающий и за двойные рамы самых отдаленных, у застав, окрайних московских домов...» (Там же. С. 44).

С. 110. *Калечные мысли проходили в ее голове... — Калечный* — ущербный, уродливый, увечный.

С. 111. *...на то она и масленица не простая, а широкая. — Масленица* — древний языческий праздник, связанный с проводами зимы

и встречей весны, вся неделя перед Великим постом. *Широкая масленица* — четыре последних дня этой недели. Традиционные атрибуты праздника — блины, гулянья, катание на санях, сожжение чучела Масленицы и т. д.

С. 111. *...лампадку полез поправлять у Трех радостей.* — Икона «Трех радостей» — чудотворная православная икона Богородицы. На ней изображены Божья Матерь с Младенцем Христом, Иоанн Креститель и Святой праведный Иосиф Обручник. Название иконы связано с преданием о благочестивой женщине, у которой ее оклеветанный муж был отправлен в ссылку, имение его отобрано, а сын попал во вражеский плен. После усердной молитвы перед иконой она получила три радостных известия: об освобождении мужа и сына и возвращении имения.

С. 112. *...самая злющая из всех дочерей Иродовых.* — Вероятно, подразумеваются дочери иудейского царя Ирода I Великого: Салампсо, Кипра, Олимпиада, Роксана и Саломея.

Вспыхнут костром... — подразумевается самосожжение раскольников.

С. 113. *Достойно есть величати Тя, Богородица...* — Хвалебная песнь Богородице (Тропарь, глас 4), православная молитва.

С. 116. *...ради последнего дня — Прощеного воскресенья. — Прощеное воскресенье* — последний день Масленицы. В этот день все православные просят друг у друга прощения, чтобы с чистым сердцем встретить Пасху.

Чертыханец

Впервые опубликовано: Русская мысль. 1911. № 4. С. 138—160.

Прижизненные издания: *Шиповник 5.* С. 159—191, «1911 г.»; *Зга.* С. 85—126.

В Рукописном Отделе ИРЛИ сохранился оттиск рассказа из ж. «Русская мысль» с дарственной надписью Ремизова: «Павлу Владимировичу Безобразову в Преображение. 6/19 VIII. 1911 г.» (*Волшебный мир Алексея Ремизова.* С. 18).

Критик Г. Ловцкий в рецензии на сборник «Зга» так истолковал привычное выражение Версенева «Чёрт!»: «За сутолокой и развлечениями текущего дня, за его рвущей жестокостью и безучастностью мы проглядываем все те таинственные силы, которыми мы окружены или отпихиваемся от всей этой “нечисти” легким словом...» (Дни (Берлин). 1925. № 750. 26 апр. С. 8).

С. 117. *Чертыханец* — ремизовский неологизм, производное от глагола «чертыхаться», т. е. ругаться, поминая чёрта.

С. 118. *Хорами, разделявшими дом на две половины...* — *Хо́ры* — верхняя галерея, или балкон, обычно на колоннах, внутри зала большого дома.

...попадали в высокую, в два света, залу... — *Зал «в два света»* — помещение с расположенными друг над другом двумя рядами окон.

...стояли ломберные столики... — Имеются в виду обтянутые сукном четырехугольные столы для игры в карты; *ломбер* — старинная карточная игра, изобретенная испанцами.

...случайный золотой... — *Золотой* — золотая монета достоинством в 5 и 10 рублей.

С. 119. *Животными звал покойник Сергей Петрович всех без исключения простых, незнатных людей.* — Ср. в книге «Иверень» о барине Засецком: «Барин Засецкий всех своих “подданных”, а также соседей мелкопоместных называл в глаза не по имени и кличке, а вообще “животное”, и все на “животное” откликались, чувствуя в этом безобидном имени презрение и гадливость» (*Иверень-РК VIII.* С. 274).

...а всем домом — с фамилией. — То есть всей семьей.

С. 120. *...первая во всем коноводчица...* — *Коноводчица* — производное от «коновод» — вожак, верховод, предводитель, зачинщик.

...мечтали в гимназиях всё о той же всегдашней Америке — бежать в Америку. — Ср. в главе «Узлы и закруты» о встрече Ремизова с двенадцатилетним мальчиком: «Путаясь, рассказывал он, как, начитавшись Майн-Рида и Жюль-Верна, он убежал из Приюта искать приключений — Америка! и как его поймали и теперь гонят домой — в Москву» (Там же. С. 13).

...экономии богатые. — *Экономии* — зд. в значении «крупные помещичьи усадьбы».

С. 121. *...искры персидской молнии...* — *Персидская молния* — название одного из видов фейерверка: составляющая его пиротехническая ракета, набрав высоту, распадается на десятки цветных искр.

С. 123. *...Ефимия Авессаломовна...* — Отчество Соломовны, возможно, связано с именем Кесарийского мученика св. Авессалома. По Католическим святцам, память — 2 марта. В Православные святцы имя не включалось.

С. 124. *Вот предводитель Турбеев к последнему пустяковскому слову, а непременно прибавит как говорится...* — Ср. запись в дневнике А. М. Ремизова от 11 ноября 1957 г.: «Кто не знает пошлость выражения “так сказать”. Но “в конечном итоге” еще не слышат — еще не обоняют прели» (*Кодрянская 1959.* С. 328).

С. 126. *Федосья Алексеевна — московская, из старозаветной купеческой семьи.* — Прототипом героини послужила, возможно, мать писателя. Ср. в автобиографии Ремизова 1912 г.: «Моя мать Мария Александровна Ремизова, <...> из знаменитой купеческой семьи Най-

деновых» (*Лица.* С. 437).О «старозаветной русской семье» своей матери Ремизов писал и в автобиографии 1913 г. (Там же. С. 444).

С. 126. *Долгие всенощные, ранние обедни, ~ и отцовский крепкий домашний уклад...* — Ср. в ремизовской автобиографии: «Всенощные, обедни и ранние и поздние, часы великопостные, ночные приезды в наш дом чудотворных икон, ночные и дневные крестные ходы, хождения по часовням и на богомолье по святым местам, заклинание бесов в Симоновском монастыре...» (Там же. С. 439).

...бесноватые в Симоновом монастыре... — Симонов монастырь — Симонов (Успенский) мужской монастырь, основанный в 1370 г. вниз по течению реки Москвы. В 1379 г. перенесен на окраину Москвы. За свою историю не раз подвергался разорению и разрушению. В Симоновом монастыре проводили обряды экзорцизма — «отчитывали бесноватых» с помощью молитв. См. в кн. Ремизова «Подстриженными глазами»: «Два очага в Москве светятся по-разному — не простые огни; два монастыря: Симонов кишел бесами, Ивановский — Божьими людьми (хлысты)» (*Иверень-РК VIII.* С. 459). «Симонов — место встречи “порченых” и “бесноватых”. Их свозили со всех концов России в Москву... <...> Бесовский пожар в Симонове <...> зрелище ошеломляющее» (Там же. С. 118).

...масленичные катанья в Рогожской... — Рогожская слобода (или Рогожская застава) — исторический район старой Москвы, возникший в конце XVI в. на левом берегу реки Яузы, в местности Рогожка, где поначалу селились ямщики; одно из мест проживания московских старообрядцев. Ср. в воспоминаниях П. И. Богатырева «Московская старина»: «Название Рогожская происходит от села Рогожи, что теперь город Богородск, в пятидесяти верстах от Москвы, по Владимирскому тракту»; «А на масленице ездили кататься в Рогожскую, в которой в это время устраивалось действительно грандиозное катанье. Здесь высматривали невест и женихов — и глядишь, на красной горке и под венец» (Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. М., 1989. С. 135—136, 117).

...первомайские зеленые Сокольники... — Сокольники — парк на северо-востоке Москвы. Здесь, видимо, подразумеваются майские гулянья.

...хождение пешком к Троице-Сергию... — Троице-Сергиева лавра — крупнейший православный мужской монастырь, расположенный в подмосковном городе Сергиев Посад. Основан Сергием Радонежским. Место паломничества православных христиан.

...Морозовская старая Москва... — Вероятно, подразумевается знаменитый старообрядческий купеческий род Морозовых (Савва Васильевич, Тимофей Саввич, Савва Тимофеевич). Все они были похоронены на старообрядческом Рогожском кладбище.

С. 128. *...невольно к этим грустным берегам...* — цитата из драматической поэмы Пушкина «Русалка» (1832).

С. 131. *...где-то на Рузовской у казарм...* — Рузовская улица в Петербурге проходит между Загородным проспектом и набережной Обводного канала. В середине XVIII в. была проложена на территории 5-й роты лейб-гвардии Семеновского полка и именовалась 5-й линией. В 1858 г. она получила название Рузовской улицы (по уездному городу Руза Московской губ.).

...у Кокушкина моста... — Имеется в виду мост через Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова) в С.-Петербурге.

С. 133. *...играя в экспроприаторов...* — Вероятно, в «казаки-разбойники», игру, в которой участвовали две группы детей, противостоящих друг другу.

С. 134. *...«щетинку» вынимают у детей-крикс в бане, чтобы не кричали! — Крикса* — плакса, крикун, рёва. Щетинка на спине грудного ребенка — маленькие жесткие волосики, которые вызывают сильный зуд; выводили их в бане.

С. 135. *...с вязигою вместо костей... — Вязига* — струна, проходящая через позвоночник осетровых рыб. Используется для приготовления кулебяк, расстегаев.

С. 137. *...на царском молебне... — Царский молебен* — церковное богослужение после литургии в царские дни, т. е. в дни именин, коронаций и т. д. членов царской фамилии.

...заушить масона. — Заушить — ударить по уху, дать пощечину. *Масон* (*франкмасон*) — член тайного братского сообщества «вольных каменщиков», ставящего целью переустройство мира, противостоящего православию.

...в белом фланелевом бекеше... — Бекеш — сюртук, кафтанчик на меху, полушубок.

...ядовитым насекомым, тысячехвосткой... — Тысячехвостка — разновидность гусеницы, сороконожки.

С. 138. *Святочные — вещие сны.* — Согласно народным поверьям, сны, приснившиеся на святки (от Рождества до Крещения, с 7 по 19 января), с полуночи до восхода солнца, считаются вещими.

С. 139. *...а это нехорошо, когда во сне пол моешь!* — Одно из народных толкований этого сна — предвестие скорой смерти.

С. 140. *В Крещенский сочельник...* — Крещенский сочельник отмечают накануне православного праздника Крещения (Богоявления) Господня, 18 января.

...ставила богоявленские крестики... — 5 (18) января по православному обычаю люди ставили кресты углем или мелом над дверями, окнами, печными отверстиями, чтобы тем самым оградить дом от бесовского влияния. Ср. дневниковую запись А. М. Ремизова от 18 января

1957 г.: «Крещенский сочельник. Будет бесовская ночь. На окнах и дверях мелом ставят крест, а то не ровен час, какой шелудивый бесенок ворвется в дом и заведет игру. Будет до утра беситься. Только утром — на рассвете при первом колоколе к ранней крещенской обедне все бесы ухнут как в трубу и на земле будет праздник. В сегодняшний вечер гадать — самое верное предсказанье — крещенское. На моей памяти немало таких вечеров» (цит. по: *Грачева А. М.* Жанр романа и творчество Алексея Ремизова (1910—1950-е годы). СПб., 2010. С. 409).

С. 142. *...ветром так и садит. — Садить* — зд. в значении: энергично, напористо воздействовать. Ср. в тексте далее: «Так и рвет дверь».

Суд Божий

Впервые опубликовано: Русская мысль. 1908. № 9. С. 1—13.

Прижизненные издания: Рассказы. СПб.: Прогресс, 1910. С. 7—24; *Шиповник 1*. С. 147—166; *Зга*. С. 127—151.

Печатается по тексту сборника «Зга» с исправлением неточности в 4-м абзаце первого раздела: «А было во что:» вместо «А было вот что:» (по всем источникам текста).

К. И. Чуковский так передал основной смысл содержания рассказа: «...пошел монах на свадьбу и вдруг вместо свадьбы — гроб. И это — суд Божий! — неужели он справедлив. <...> Неужели это Бог “смеется над нами” — и всегда вместо дачи дает нам тюрьму; вместо оперы — участок; вместо бала — каторгу; вместо свадьбы — гроб?» (*Чуковский К.* Критические рассказы. Кн. первая. СПб.: Шиповник, 1911. С. 157, 158). Б. Садовской писал о герое рассказа: «Себя самого виновным перед всеми признает <...> отец Иларион, увидавший в исполнении воли Божьей предрешенную Богом злую гибель...» (*Садовской Б.* «Настоящий» // Современник. 1912. № 5. С. 304). По мнению А. В. Рыстенко, в рассказе «Ремизову удаются картины из области тревожных вопросов религиозного характера...» (*Рыстенко А. В.* Заметки о сочинениях Алексея Ремизова. Одесса, 1913. С. 31). В статье А. Измайлова «Старорусские кружева» рассказ фигурирует в качестве иллюстрации его суждения о том, что для Ремизова характерен «мрачный взгляд на жизнь, страшный, почти мистический испуг перед жизнью»: «Всё для него в мире спутано и темно. В “Суде Божьем” монах, пришедший на свадьбу, видит невидимый всем остальным гроб посреди церкви. На глазах этого монаха молодые люди соединяются не на радость и жизнь, а на смерть, и, однако, монах чувствует, что так должно быть, и ничего другого нельзя сделать» (*Измайлов А.* Пестрые знамена. М., 1913. С. 100—101). В. Третьяков в рецензии на сборник «Зга» отметил, что «Суд Божий» — «один из самых сильных и доступных широкой публике рассказов»: «Написан он с силой Лескова, а задуман так захватывающе, что переживания монаха Иллариона, начинающего разуве-

ряться в правоте Божьей правды, принимаешь как личные» (Сегодня (Рига). 1925. № 129. 13 июня. С. 8).

С. 143. *...монах угодный...* — монах, угодивший Богу своей праведной жизнью.

...старец. ~ побывать на духу у старца. — *Старец* — пожилой монах, являющийся духовным наставником других монахов и верующих. *«Побывать на духу»* — пойти исповедоваться у священника.

...словно гофреная. — *Гофреный* (устар.) — то же, что гофрированный, то есть со складками, сгибами на чем-либо (напр., на тканях).

...возлюбил еще с юности пу́стыню... — *Пу́стынь* — небольшой монастырь в пустынной, труднодоступной местности.

...с Вычегды из пу́стыни... — *Вычегда* — река, приток Северной Двины; протекает в Архангельской обл. и Республике Коми (в нач. XX в. — в Вологодской губ.).

С. 144. *...икона Божией Матери, именуемая С к о р б н о ю. ~ чтобы прошел меч.* — В публикации рассказа в ж. «Русская мысль» финал первого раздела существенно отличается от текста последней редакции; ср.: «Составляя часть сложной иконы Деисуса, рассказывают, что во время пожара, случившегося однажды в монастыре, когда другие две части, изображавшие Иисуса и Ивана Крестителя, погорели дотла, она одна уцелела в огне нетронутой; на ней представлена была Божия Матерь, как стояла Она у Распятия. Икона была древняя, лик темен, но из теми явственно виделись и скорбь, и мука душевная — вся горечь и вместе глубокое покорство святого сердца, через которое судимо было, чтобы прошел меч» (С. 2). Трехчастная композиция иконы «Деисус» («малый Деисус») включает, как правило, фигуры Христа на престоле (в центре) и обращенных к нему с молитвой Богоматери и Иоанна Крестителя. «Деисус» («Деисис») в переводе с греческого означает «Моление» или «Прошение». В рассказе, возможно, подразумевается икона, восходящая к византийской традиции так называемого Высоцкого чина, где воспроизведен тип скорбящей Богоматери, оплакивающей смерть Сына.

...глубокое покорство святого сердца, через которое судимо было, чтобы прошел меч. — Ср. в Евангелии предсказание Богородице при рождении Иисуса: «И Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец» (Лк 2: 35).

С. 145. *...вскрылия клобука...* — *Клобук* — головной убор православных монахов, состоящий из цилиндра и прикрепленного к нему покрывала (как правило, черного), заканчивающегося тремя широкими лентами.

...широко полегла зель... — *Зель* — в древнерусском языке означало зелень, молодую озимь, траву.

С. 145. *...преподобный Коряжемский Логгин...* — Логгин (Лонгин), преподобный Коряжемский (ум. в 1540). На берегу реки Коряжемки, притока Вычегды, в 15 верстах от городка Сольвычегодска, с иноком Симоном Сойгонским он построил часовню, затем с окрестной братией во второй половине 1530-х гг. возвел Коряжемскую обитель и стал первым ее игуменом. Эта обитель положила начало Коряжемскому Николаевскому монастырю.

...из Соли Вычегодской. — *Сольвычегодск* — город на берегу реки Вычегда.

С. 146. *...там ложе — земля, а покров — небо.* — Цитата из «Поучения на пострижение в монашеский чин» преподобного Паисия Величковского, касающаяся иноков: «Ложе их — земля, а покров — небо. Всё это — их вольный крест повседневного терпения. Ради того иноки возненавидели житейскую суету...». Ср. также в акафисте святому чудотворцу Прокопию Вятскому: «...довлеет ми покрова неба и ложа земли» (Кондак 9).

...и подонки их. — *Подонки* — зд. в значении «осадки», «остатки, лежащие на дне», возможно, «подспудные мысли».

А как поступил троекуровский старец... ~ и велел вести себя обратно в келью». — Имеется в виду Иларион Троекуровский (Иларион Мефодьевич Фокин; 1755/1765—1853) — старец, затворник. Известно, что он с молодости, поселясь в пещерах, вел подвижническую жизнь, носил тяжелые вериги, чугунный крест на груди. С 1824 г. обосновался в селе Троекурове Лебедянского уезда Тамбовской губ. (ныне — Липецкая обл.) в имении помещика Ивана Ивановича Раевского в отведенной ему келье возле Димитриевской церкви. В последние годы затворнической жизни никуда не выходил, кроме храма. Сведения об этом старце А. М. Ремизов мог почерпнуть в книге: Жизнеописание в Бозе почившего Троекуровского затворника, старца Илариона Мефодиевича Фокина, основателя Богородичного Иларионовского Троекуровского женского монастыря (М., 1888).

С. 147. *В мир звал его Сатана, красотою, полями соблазнял его. <...> Он оставил мир, чтобы спасти его.* — Семантически восходит к евангельским эпизодам искушения Иисуса дьяволом: «Опять берет Его диавол на весьма высокую гору, и показывает Ему все царства мира и славу их, И говорит Ему: всё это дам Тебе, если падши поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи”» (Мф 4: 8—10). Ср. также в первом соборном послании Иоанна Богослова: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (сего)» (1 Ин 2: 15—16).

...поправил наперсный крест... — нательный крест, носимый священниками на груди на цепочке или шнуре; символ победы над злом и смертью.

С. 153. *...подольше остаться в Лавре...* — Имеется в виду Киево-Печерская лавра.

С. 154. *Но ни в пещерах...* — Имеются в виду пещеры лавры, в которых покоятся нетленные мощи угодников Божьих.

...в Кирилловскую... — Кирилловская церковь — церковь Святых Кирилла и Афанасия Александрийских в Киеве, один из древнейших православных храмов древнерусского государства, возведенный в XII в.

С. 155. *...направился к церковному ящику... — Церковный ящик* — ящик для пожертвований, устанавливающийся в православных храмах.

С. 156. *...зачем человек обрекался на страдания? ~ всех этих жалких плодящихся, как моль, ничтожных жизней?* — Критик Г. Ловцкий в рецензии на сборник «Зга» так интерпретировал эти строки в общем контексте книги: «Извечные вопросы мятущейся человеческой души, на которые никакие оптимисты, но и никакие Вольтеры не в состоянии были до сих пор дать удовлетворительный ответ. Теперь зга прорезала мрак, и искры посыпались из глаз и у многих других, но для этого нужно было, чтобы наступило н а ш е “лиссабонское землетрясение”, чтобы волшебная “нечисть“ поползла изо всех щелей нашего собственного жилья» (Дни (Берлин). 1925. № 750. 26 апр. С. 8; разрядка автора).

С. 157. *...Придурай!* — Просторечный аналог обозначения «дурака», «придурка», «идиота».

Занофа

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1907. № 5. С. 41—45.

Прижизненные издания: *Шиповник 1.* С. 187—201, «1907 г.»; Рассказы. СПб.: Прогресс, 1910. С. 63—74; *Зга.* С. 153—169.

С точки зрения М. Кузмина, рассказу присущ «известный романтизм, фальшиво звучащий» (Аполлон. 1909. № 3. Декабрь. С. 22, паг. 2-я).

С. 158. *Хорошо на Батыеве — веселое село.* — Название восходит к селу Батыево Суздальского уезда Владимирской губ., на речке Уловке. В этом селе издавна жили предки Найденовых. В автобиографии (1908) Ремизов отмечал: «...предки по матери Найденовы — владимирские, из села Батыева Суздальского уезда» (*Лица.* С. 437). Дядя Ремизова Н. А. Найденов написал и опубликовал книгу: Село Батыево. Материалы для истории его населения XVII—XIX вв. М., 1889. См. также: *Найденов Н. А.* Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном: В 2 т. М., 1903, 1905 (совр. издание: М., 2007).

С. 158. *...и Спасская церковь построена...* — В Батыево была церковь Воскресения Христова.

С. 159. *...жить будут и живут человеку на страх, Рогатому на угождение, его злой воли дочери.* — Имеется в виду чёрт. В. И. Даль отмечал: «Ведьма всегда злодейка и добра никогда и никому не делает. Она в связи с нечистой силой...» (*Даль В.* О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. Изд. 2-е. СПб.; М., 1880. С. 60).

...Го́мит гом... — Го́мить — шуметь, громко говорить. *Гом* — крик, шум, говор, шумные голоса.

...гремит слава по всему Черноречью... — Парафраза цитаты из «Слова о полку Игореве» (XII в.): «звенитъ слава въ Кыевѣ» (Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. С. 372). Точная скрытая цитата из «Слова» в переложении Н. М. Карамзина (1816): «...гремит слава в Киеве...» (Слово о полку Игореве. Л., 1967. С. 118). Данная цитата включена автором перевода в текст «Истории государства Российского» (*Карамзин Н. М.* История государства Российского: В 12 т. Т. II—III. М., 1991. С. 475—476).

...умела она засекать. — Засекать — заставить внезапно остановиться, замереть.

...да на Пасху у заутрени не стоять... — Согласно народным православным воззрениям, человеку, который проспал пасхальную заутреню, весь год грозили неприятности.

С. 160. *...до Ильинки хватает. — Ильинка* — одна из старейших улиц Москвы на территории Китай-города.

Родилась Занофа в Купальскую ночь... — Ночь на Ивана Купалу — языческий народный праздник у восточных и западных славян, который отмечается в ночь с 23 на 24 июня (с 6 на 7 июля); приурочен ко дню рождения Иоанна Крестителя. Купальские обряды производятся, как правило, ночью. По народным преданиям, в купальскую ночь особенно активна разного рода нечисть — ведьмы, оборотни, колдуны, лешие и т. п. Ведьмы могли причинить много вреда. Сам Ремизов также родился в ночь на Ивана Купалу.

Родилась она в счастливой сорочке... <...> Сорочку Занофину бабка припрятала, а после к себе унесла. — Родиться в сорочке — согласно народным верованиям, означало родиться счастливым. Одно из значений слова «сорочка» — внутренняя перепонка, охватывающая плод в утробе матери, оболочка, в которой рождаются некоторые младенцы. Перепонка порой находится на голове новорожденного. Повивальные бабки иногда забирали «сорочку» для своих детей. «Сорочки» тщательно хранили в качестве талисмана, доброй приметы. Ср. об этом в статье Н. Сумцова «О славянских народных воззрениях на новорожденного ребенка»: «Нередко случается, что ребенок родится в перепонке, в так называемой сорочке. У многих народов сорочка эта

служит несомненным признаком, что новорожденный в жизни будет счастлив. <...> В Германии верование в счастливую сорочку так сильно, что повивальные бабки часто крадут ее для своих детей. Точно такое же верование в счастливое значение детской сорочки распространено по всей России. <...> Повсеместно сорочку тщательно сохраняют, причем иногда зашивают в наиболее ноское платье дитяти, имевшего счастье в ней родиться» (Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1880. Ч. CCXII. № 11. С. 79). О «счастливой сорочке» см. также: *Афанасьев А.* Поэтические воззрения славян на природу. Т. 3. М., 1869. С. 360—361; *Даль В.* О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб., 1880. С. 88. Ремизов писал о своем рождении в книге «Подстриженными глазами»: «И еще было дознано, сейчас же наутро, в блестящий день блистающего цветами Купалы, что родился в “сорочке”. Правда, “бабка” схватила эту “сорочку”, унесла из дому, втай. Моя мать рассказывала с большой досадой, она всё видела и не могла остановить: “сорочка” эта, как веревка с висельника, приносит счастье!» (*Иверень-РК VIII.* С. 19—20).

С. 160. *...и с родимым пятнышком у большого пальца на левой ладони.* — Ср.: «Она <кормилица. — *Ред.*> заметила на моей левой руке на ладони в желобке у большого пальца знак — красное пятнышко, как укол веретеном. <...> А этот знак, такой дар — такая сила счастья — не скрасть и не унести себе “на счастье”, разве что с рукой. <...> Кормилица показала на моей ладони этот знак, и что-то говоря, но слов я не понял, я только чую: она говорила, что этот знак дается не всем, а из всех одному, а означает счастье» (Там же. С. 20).

Заходили в дом странники получить у Занофы с ее левой руки счастье. ~ Никто не жаловался. — Ср.: «И стало обыкновенным: редкий кто-нибудь не зайдет в дом — мы жили на фабрике, много рабочих и жены их с детьми — и кто-нибудь всегда попросит: “Дай ручку на счастье”. Мне всегда было очень приятно хлопать левой рукой по заскорузлым и тяжелым рукам; меня никогда не тяготило одарять моим счастьем» (Там же. С. 21).

С. 161. *...на счастливой руке крестики...* — «Крестики» на ладони, по учениям хиромантов, считаются дурным знаком, плохим предзнаменованием.

...как ножом полыснет... — *Полыснуть* (обл.) — диалектная форма слова «полоснуть».

С. 162. *...вся молонья попадала...* — *Молонья* — молния.

...а возжи за осокорь натянуты. — *Осокóрь* — тополь черный, дерево семейства ивовых.

С. 163. *...знобила сердце...* — *Знобить* (обл.) — холодить, студить.

С. 164. *...не видно ни конской ископоти...* — *Ископоть, ископыть* — комья из-под копыт лошади.

С. 164. *...ни лошадиного сбега... — Сбег* — пара или тройка лошадей в одной упряжи.

...не птицы, а коты крылатые. — Коты с образованиями на спине, похожими на крылья, действительно существуют, встречаются крайне редко; иногда их называют «коты-ангелы».

С. 165. *Поползень* — ребенок-ползунок, младенец, начинающий ползать.

С. 166. *...И карты не сулили добра: удар, неприятность, постель ложились на сердце, а кончалось угощением — пиковою дамой.* — Выпавшие при гадании пиковые карты предвещали неприятности. В частности, пиковый туз означал потерю, удар, испуг, неприятность; пиковая восьмерка вместе с дамой пик означали фальшивое, коварное угощение.

...а мне лук снился, ем будто лук-сеянку. — Лук-сеянка — мелкий лук, который вырастает из семян. Согласно некоторым сонникам, есть лук во сне — означает победу над врагами, по другим сонникам — предвещает открытие тайны, по большей части неприятной, либо означает ссору с кем-либо.

С. 167. *Стояло ли вёдро... — Вёдро* (устар., прост.) — ясная, солнечная погода.

...и маленькие птички — пастушки... — Пастушки (пастушковые птицы) — водные и болотные птицы отряда журавлеобразных: пастушок обыкновенный, лысуха, коростель и др.

С. 168. *...в конце сада у сажалки... — Сажалка* — приспособление для посадки картофеля, овощей, семян, рассады и сеянцев деревьев.

...на перелазе придушена... — Перелаз — место в плетне, где через него можно перелезть; там обычно клались доски по обе стороны плетня.

Покровенная

Впервые опубликовано: Современник. 1912. № 9. С. 3—16.

Прижизненные издания: Подорожие. СПб.: Сирин, 1913. С. 157—181, «1912 г.»; *Зга.* С. 171—193.

В сб. «Подорожие» рассказ разделен на главы («Глава первая», «Глава вторая», «Глава третья»).

В первой публикации в «Современнике» героиню рассказа зовут Пелагея Сергеевна. Прототипом Палагеи (Пелагии) Сергеевны, как и Варвары Огорелышевой в романе «Пруд», послужила мать писателя — Мария Александровна Найденова, не по любви вышедшая замуж за московского купца-галантерейщика Михаила Алексеевича Ремизова. У нее было четверо сыновей-погодков (пятый умер в младенчестве). Когда младшему из них Алексею было полтора года, она ушла от мужа с детьми и поселилась во флигеле на территории владения

братьев Виктора и Николая Найденовых на берегу реки Яузы (тогда по адресу: Басманная часть, 3-й квартал). В дневниковой записи от 15 октября 1956 г. Ремизов отметил, что в рассказе «Покровенная» он выписывал из дневника своей матери (цит. по: *Грачева А. М.* Жанр романа и творчество Алексея Ремизова (1910—1950-е годы). С. 361). Подробнее о жизни М. А. Найденовой см.: *Иверень-РК VIII.* С. 20—23, 137—138; *Грачева А. М.* Жанр романа и творчество Алексея Ремизова (1910—1950-е годы). С. 313—314; *Кодрянская 1959.* С. 67—69, 77—78; *Резникова Н.* Огненная память: Воспоминания об Алексее Ремизове. СПб., 2013. С. 199—200.

Б. Садовской в отклике на сб. «Подорожие» писал: «В рассказе "Покровенная" изображена зряшная, никчемая жизнь женщины, принесшей себя в жертву ложно понятому долгу» (*Садовской Б.* Ремизов о России // Северные записки. 1913. Май–июнь. С. 247).

В РГАЛИ сохранилась дарственная надпись Блоку на 1-й странице рассказа, опубликованного в ж. «Современник» (1912. № 9. С. 3): «Александру Александровичу Блоку 1912 г. 1 ноябр<я> в четверг» (*ЛН.* Т. 92. Кн. 1. С. 105, 128).

С. 169. *...от Ивана Великого.* — См. комм. к с. 106.

...ударят в Успенском... — Успенский собор Московского Кремля — православный храм на Соборной площади (1475—1479).

...звон у Симонова... — Симонов Успенский мужской монастырь в Москве. См. о нем в комм. к с. 126.

...сорок сороков... — Фразеологизм, обозначающий обилие храмов Москвы. В начале XX в. в Москве было 40 «сороков» — церковных объединений, благочиний, в которых насчитывалось не менее 1600 престолов.

...со всех семи холмов... — Семь холмов — легендарное название возвышенностей, на которых была построена Москва (Боровицкий холм, Таганский холм, Ивановская горка и др.).

...под красную Пасху... — Имеется в виду праздник Святой Пасхи, Воскресения Христова.

...колокол у Семена Столпника... — Имеется в виду церковь Симеона Столпника на Поварской ул. (д. 5) в Москве, построенная по указу царя Федора Алексеевича в 1676—1679 гг. на месте более раннего храма, посвященного тому же святому.

...у Сергия в Рогожской... — Речь идет о храме преподобного Сергия Радонежского (Троицы Живоначальной) в Рогожской слободе Москвы (1796—1818), расположенном на Николоямской ул.

...у Мартына Исповедника... — Храм Святого Мартина Исповедника в Москве, построенный в Алексеевской слободе (1791—1801).

С. 169. *...у Воскресения в Гончарах...* — Церковь Воскресения Христова в Гончарах, на Таганке; построена в XVII в., уничтожена в 1930-е гг.

С. 170. *...не на Покров темный...* — Имеется в виду икона Покрова Пресвятой Богородицы, посвященная видéнию Богоматери юродивым Андреем в Константинопольском храме в X в.

...на Хиву в переулок... — Хива — московская улица в Рогожской слободе (ныне — Добровольческая ул. в Таганском районе).

...пять сыновей у Палагеи Сергеевны, все погодки... — Ср. в ретроспективной дневниковой записи Ремизова от 18 июля 1956 г.: «Нас четверо. Было 5, один помер. Все погодки. 1872, [1873], 1875, 1876, 1877 (я последний)» (цит. по: *Грачева А. М.* Жанр романа и творчество Алексея Ремизова (1910—1950-е годы). С. 308).

С. 171. *...лютеранской школы Петра и Павла.* — Имеется в виду Петропавловская женская школа с правами гимназии при евангелическо-лютеранской церкви Св. Петра и Павла в Космо-Дамианском (ныне — Старосадском) переулке. В этой школе училась мать Ремизова М. А. Найденова.

С. 172. *...подслеповатую бисерницу, сеченную в крепостях... — Бисерница* — женщина-рукодельница, вышивающая бисером. Прототипом няни могла быть няня Ремизовых Прасковья Семеновна Мирская, о которой писатель свидетельствовал в главе «Слепец» в книге «Подстриженными глазами»: «...Прасковья Семеновна Мирская, в крепостное время, или "в крепостях", по ее выражению, первая кружевница...» (*Иверень-РК VIII.* С. 58). Ремизов вспоминал о П. С. Мирской, «крепостной барина Засекина»: «...мне запомнилось ее терпеливое: "пороли, девушка, пороли в крепостях"...» (цит. по: *Кодрянская 1959.* С. 39). Образ няньки Прасковьи также воспроизведен в романе Ремизова «Пруд».

...в Купеческом клубе... — Купеческий клуб в Москве с 1839 г. размещался на Большой Дмитровке, а затем (с 1909 г.) — на Малой Дмитровке (д. 6).

...В Благородном собрании... — Благородное собрание в Москве размещалось в здании на углу Большой Дмитровки и Охотного ряда (д. 2). Среди гостей могли быть, в частности, и купцы 1-й гильдии. Балы Благородного собрания традиционно устраивались по вторникам.

...в Петровском-Разумовском... — Ранее — село в окрестностях Москвы, усадьба графов Разумовских. Славилось своим парком и прудами. С 1865 г. здесь располагалась Петровская земледельческая академия. В Петровском-Разумовском бывал сам Ремизов, о чем он упоминает в книге «Подстриженными глазами» (*Иверень-РК VIII.* С. 188—189).

...в Петровском парке... — Парковый комплекс на северо-западе Москвы, популярное место прогулок горожан. В парке были Петровский театр, здание для концертов, беседки и т. д.

С. 172. *...в Богородском... — Богородское* — село, дачная местность под Москвой. В конце XIX в. включено в состав Москвы.

...в Сокольниках... — См. комм. к с. 126.

...В Останкине... — Останкино — район на северо-востоке Москвы. С 1830-х гг. — место массовых гуляний в увеселительном саду, рощах, на Каменских прудах.

...в Леонове... — Леоново — местность на севере Москвы, на левом берегу р. Яузы.

...в Свирлове... — Возможно, речь идет о Свиблове, местности на северо-востоке Москвы.

...на Красную горку. — Красная горка (Антипасха, Фомин день) отмечается в первое воскресенье после Пасхи, в последний день Пасхальной недели. В этот день молодые нередко справляли свадьбы.

С. 173. *...встретилась с новым человеком...* — Видимо, речь идет о «нигилистах» того времени, исповедовавших «новое», позитивистское, мировоззрение.

С. 173—174. *...она захотела быть самостоятельною, трудиться, ~ и стала учить грамоте фабричных ребятишек.* — Возможно, отголосок романа Н. Г. Чернышевского «Что делать? Из рассказов о новых людях», связанный с историей героини произведения — Веры Павловны.

С. 174. *Зимою вернулся в Москву ее двоюродный брат, ~ с женою-цыганкой...* — Подразумеваются двоюродный брат М. А. Найденовой Николай Николаевич Дерягин и его жена Елена Корнилиевна (Корнеевна). См. о них в главе «Музыкант» книги «Подстриженными глазами» (*Иверень-РК VIII.* С. 83).

...познакомилась она с одним художником... — В позднейших автобиографических заметках Ремизов писал об этом периоде жизни матери: «Она сама прошла путь первых русских “нигилистов”, участвовала в Богородском (Богородское под Москвой) кружке» (цит. по: *Грачева А. М.* Жанр романа и творчество Алексея Ремизова (1910—1950-е годы). С. 314). Ср. также: «В этом кружке она встретила художника Н. Всё казалось удачным. Взаимная любовь, те же вкусы, понимание, но в решительную минуту он ей сказал, что не может пожертвовать семьей, у него дети. Ее это поразило, вывернуло душу (ведь не надо забывать убеждений первых нигилистов — свобода!), и она сама решила свою судьбу — вышла замуж “назло”» (*Кодрянская 1959.* С. 68).

С. 175. *А тут есть человек не молодой уж, но богатый, вдовец и с детьми.* — Подразумевается Михаил Алексеевич Ремизов, московский купец, ставший мужем М. А. Найденовой.

С. 174. *...в Стрельну каталась...* — «Стрельна» — знаменитый в Москве ресторан с зимним садом в имении Стрельна.

С. 176. *...подал весть есак... — Ясак* — колокол, который давал звонарям знать о начале и окончании звона.

С. 176. *...и велие... — Велие* — великое, великое множество.

...немчин, годунов, широкий, глухой, карнаухий, переспор, сокол, медведь — московский звон. — Колокола «Медведь» (1571) и «Широкий» (1679) расположены на первом ярусе колокольни Ивана Великого, колокола «Глухой» (1621) и «Немчин» — в среднем ярусе. Колокола «Годунов» («Годуновский», «Славословный»; 1598), «Корноухий» («Воскресенский»; 1683) были на колокольне Троице-Сергиевой лавры; разбиты в начале 1930 г. Одни из немногих сохранившихся в Лавре колоколов — «Переспор» («Вседневный»; 1780) и «Лебедь» («Полиелейный»; 1594) (в рассказе, вероятно, — «Сокол»).

...и сущим во гробех живот даровав! — Из кондаков (песнопений) акафиста Воскресению Христову: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

С. 178. *...в Медведково. — Медведково* — исторический район и село на северо-востоке Москвы. В XVII в. — вотчина князя Д. М. Пожарского.

...в бильбоке, серсо. — Бильбоке — игрушка, состоящая из чашки с длинной ручкой и шарика, к ней привязанного. Подбрасывая, нужно было поймать его в чашку. *Серсо* — игра в обруч, который палочкой подкидывается в воздух и затем ловится на ту же палочку.

...были мы в Кунцове. — Кунцево — местность на западе Москвы.

...ездили к Троице. — Имеется в виду Троице-Сергиева лавра.

С. 179. *...Костяник и тряпичник давно зарятся на ее комоды. — Костяник* — мастер по изготовлению изделий из кости; *тряпичник* — человек, торгующий старой одеждой, скупщик тряпья.

С. 181. *...читает по утрам Московский Листок...* — «Московский листок» (М., 1881—1916) — одна из самых популярных в России в конце XIX — начале XX в. ежедневных газет.

С. 182. *— Христос воскрес, Палагея Сергеевна! ~ — Веревку, — просит она, и слезы давят ее, — веревку!* — Ср. смерть в Пасху героини романа Ремизова «Пруд» Вареньки, имевшей тот же реальный прототип: «...подступили Финогеновы к двери спальни христосоваться с Варенькой. <...> Варенька — в одной сорочке на крюку <...> Варенька висела на крюку мертвая» (*Пруд-РК I.* С. 149).

«Искони бе Слово, ~ и тьма его не объят». — Начало Евангелия от Иоанна (Ин 1: 1—2).

Царевна Мымра

Впервые опубликовано: Русская мысль. 1908. № 12. С. 1—15.

Прижизненные издания: Рассказы. СПб.: Прогресс, 1910. С. 43—62; *Шиповник 1.* С. 85—107, «1908 г.»; *Зга.* С. 195—224.

Д. В. Философов, касаясь «Царевны Мымры», полагал, что «Ремизов очень просто, а потому и глубоко, выражает скорбь современ-

ной души... <...> Это — не отчаяние, не безнадежный пессимизм. Ремизов любит жизнь, верит в нее. Но он хочет смотреть на нее чистым взором ребенка, и каждый раз, когда ребенок обманут, он скорбит. В “Царевне Мымре”, в “Маке” автор взглянул на мир именно глазами ребенка. Здесь столько стыдливой нежности, столько скорби за попранную детскую чистоту, что невольно верится в конечное освобождение от тяжелых снов, от бесовского действа» (*Философов Д. В.* Старое и новое: Сборник статей по вопросам искусства и литературы. М., 1912. С. 28). Е. А. Колтоновская сопоставила рассказ с «Крестовыми сестрами»: «Уже в первых рассказах у Ремизова проглядывали мрачные настроения в духе фатализма, но там это не складывалось в такую законченную, определенную систему. Чувствовалось, что у него, как и у маленького героя Ати, где-то есть свое светлое царство “царевны Мымры”, куда ему страстно хочется улететь, чтобы укрыться от духоты и мрака. В новой повести Ремизов уже резкий отрицатель жизни...» (*Колтоновская Е. А.* Критические этюды. СПб., 1912. С. 32). А. В. Рыстенко коснулся в рассказе темы «детской платонической любви к женщине, возведенной в идеал» и «первого детского горького разочарования» (*Рыстенко А. В.* Заметки о сочинениях Алексея Ремизова. С. 37). Р. В. Иванов-Разумник, размышляя о судьбах детей в произведениях Ремизова, в частности, писал о «Царевне Мымре»: «Растут дети — и растут с ними жестокие, калечные мысли; озлобляется и пачкается детская душа. Жизнь берет свое. Гимназистик Атя, неудачно бежавший в Америку, любит чистою, детскою любовью Клавдию Гурьяновну, свою “царевну”, свою “единственную”; спасаясь однажды от наказания, прячется он под кроватью “царевны” в то время, когда к ней приходит любовник... Жизнь берет свое — и Атя уходит уже не тот — с камнем на сердце и с пустыней в душе; осмеяна, поругана его любовь, жизнь показала ему свое “обезьянье” лицо» (*Иванов-Разумник.* Творчество и критика. 1908—1922. Пб., 1922. С. 69). К. И. Чуковский отмечал: «И ведь не виноват же, например, этот Атя, что, очутившись, наконец, у царевны, он подсмотрел царевну в объятиях любовника — и почувствовал, что пропало всё, что “конец его жизни”, что “пустыня открылась пред ним” — и где теперь ему искать звезду свою, царевну?» (*Чуковский К.* Критические рассказы. Кн. первая. СПб.: Шиповник, 1911. С. 146—147). Д. П. Святополк-Мирский сопоставил рассказ с психологическими особенностями творчества Достоевского: «В ранних его рассказах силен лирический элемент. В них постоянно присутствует гротескное, необычное, с оттенком психологической странности, напоминающей Достоевского. Типичный пример — Принцесса Мымра (1908), один из последних — и лучших — рассказов этой серии, где речь идет о жестоком разочаровании школьника, платонически влюбленного в проститутку. Рассказ пропитан “досто-

евской" атмосферой сильнейшего стыда и унижения» (*Мирский Д. П.* История русской литературы с древнейших времен по 1925 год / Пер. с англ. Р. Зерновой. 2-е изд. Новосибирск, 2006. С. 771—772. Впервые: *Mirsky D.* Contemporary Russian literature. 1881—1925. London, 1926).

С. 184. *Царевна Мымра. — Мымра* — слово коми-пермяцкого происхождения, означающее угрюмого, скучного, мрачного человека, преимущественно женщину. О семантике и возможных истоках названия рассказа, связанных с фольклором, см. в комм. Е. Р. Обатниной (*Оказион-РК III.* С. 655).

...Старый Невский... — Старо-Невский проспект в Петербурге — неофициальное название части Невского проспекта от площади Восстания (бывшая Знаменская) до площади Александра Невского.

...так всё попрячется и вдруг сгинет совсем, словно никогда и ничего не было... — Аллюзия на «грезу» героя романа Достоевского «Подросток» Аркадия Долгорукова; ср.: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым...» (*Достоевский Ф. М.* Собр. соч.: В 15 т. Т. 8. Л., 1990. С. 270). Сходный образ города — в романе Д. С. Мережковского «Петр и Алексей» (*Мережковский Д.* Христос и Антихрист. Т. 4. М., 1990. С. 80—81). Ср. также о Петербурге в рассказе Ремизова «Спасов огонек» (1913): «...Петербург на болоте стоит, всем известно, в Петербурге туманы, почитай, круглый год, и сам Петербург, что туман, — придет час, нежданный и негаданный, и, как сон, всё рассеется, одни болотные кочки останутся...».

С. 185. *Река Коса.* — Вероятно, имеется в виду река в Пермском крае, правый приток Камы.

...медобор частый, крепкий, нерубанный... — Медобор — густой лес.

Сядет Атя в плетушку... — Плетушка — предмет, изготовленный посредством плетения; например, плетеная корзина. Зд., вероятно, плетеный кузов экипажа.

...вотячки в белых, затканных шелками, нарядах... — Вотячки — удмуртки.

И вотские песни дикие... — То есть удмуртские песни.

...говорливая жалейка... — Жалейка — духовой музыкальный инструмент в виде деревянной, тростниковой трубочки с раструбом из рога или бересты; традиционно использовался пастухами.

С. 186. *...миновали заповедные луды... — Луд*, по-вотяцки (по-удмуртски), — поле.

...вещие рощи Кереметя. — Керемет — у вотяков языческий злой дух, олицетворяющий нечистую силу.

...непокорный брат Инмара... — Инмар — в удмуртской мифологии верховное божество, бог-творец, создатель всего доброго, противостоящий Керемету.

С. 187. *Проводили девятую пятницу. — Девятая пятница* — православный праздник св. Параскевы Пятницы на девятой неделе после Пасхи. Ей, в частности, молятся о сохранении домашних животных.

...одним шагом на подволоку. — Подволока — чердак под крышей.

...наготовила крестная к чаю пряжеников. — Пряженики — праздничное печенье или пирожки, изготовленные с постным маслом.

...Не за горами Петровки: подавай пескаря! — Имеется в виду Петровский (Петров) пост. См. о нем в комм. к с. 26. Во время этого поста дозволяется есть рыбу, кроме понедельника, среды и пятницы.

С. 188. *Святый Боже, ~ помилуй нас!* — Молитва («Трисвятое»), которая трижды произносится в начале утреннего богослужения.

...завтра нам в Полом ехать на молебен. — В Удмуртии есть деревня, село и река с таким названием.

...и так, и с подогревцем... — Возможно, речь идет о чае с водкой или спиртом.

С. 189. *На дворе — Казанская.* — Имеется в виду церковный праздник в честь иконы Казанской Божьей Матери. Отмечается 8 (21) июля.

С. 190. *...Атя повстречал Лесуна. ~ одна рука, одна нога, один глаз, а рот и нос, как у Ати. — Лесун* — леший. Тут подразумевается *Палэс-Мурт* — по вотяцким поверьям, «половина человека»; любит пугать людей в глухом лесу.

...посапывал Кузь-Пине... — Кузь-Пинё-Мурт — леший с длинными зубами, который живет в лесу и питается человеческим мясом.

...а из оврага — Искал-Пыдо. — Искал-Пыдо-Мурт — людоед с коровьими ногами в крестьянской одежде.

С. 192. *...как на порфире. — Порфира* — парадное одеяние монархов в виде широкой длинной мантии (плаща).

С. 194. *О, когда б эта ночь ~ Не страдала б душа.* — Из романса Н. Р. Бакалейникова (1881—1957) «Ах, зачем эта ночь...» на слова Н. А. фон Риттера (переработка текста А. М. Давыдова).

С. 195. *...завоевать Индию или Америку...* <...> — *Хочешь в Америку бежать?* — О гимназистах, мечтавших убежать в Америку, см. выше в комм. к с. 120.

С. 196. *Карта оказалась немая...* — Возможно, на иностранном языке.

С. 197. *...Благодарим Тебя, Создателю...* — молитва после учения.

На Николаевский вокзал едем... — До 1924 г. так назывался Московский вокзал в Петербурге.

...взяли билет до Териок... — Териоки — поселок на Карельском перешейке в 50 км от Петербурга. До 1939 г. находился на территории Финляндии. С 1948 г. — город Зеленогорск.

С. 197. *Пели Вставай — подымайся...* — Из революционной «Новой песни» («Рабочая Марсельеза») (1875) на стихи народовольца П. Л. Лаврова, которая была особенно популярна в годы Первой русской революции.

С. 198. *...сыщиками-шерлоками.* — Подразумевается частный детектив Шерлок Холмс — популярный персонаж произведений английского писателя Артура Конан Дойла (Дойля) (1859—1930).

Возле Куоккалы... — Куоккала — поселок на берегу Финского залива, в 40 км от Петербурга. С 1948 г. — Репино.

С. 199. *А Харпик и Ромашка обдергивались... — Обдергиваться* — поправлять на себе одежду.

А при воспитании — к внушению... — то есть к телесному наказанию.

Слоненок

Впервые опубликовано: Перевал. 1907. №. 7. С. 8—17.

Прижизненные издания: *Чёртов лог и Полунощное солнце.* С. 49—71; *Шиповник 1.* С. 203—224, «1905 г.»; *Зга.* С. 225—249.

Печатается по тексту сборника «Зга» с исправлением неточности в 5-й главке: «собирал в горсть» вместо «собирал горсть» (по всем источникам текста).

Рассказ Ремизов пытался напечатать еще в начале 1906 г., о чем свидетельствует его переписка с Андреем Белым. 9 января 1906 г. он писал: «Посылаю Вам забытого “Слоненка”. Покажите его “Весам”. Может быть эту тварь божью примут “скорпионы”. А не примут, к “Грифу” туркнитесь. <...> О “Слоненке” пишу В. Я. Брюсову. Дайте ему почитать. Может быть, и выйдет что» (Александр Блок. Исследования и материалы. СПб., 2011. С. 456, 457; публ. А. В. Лаврова). О письме Ремизова к Брюсову см.: *ЛН.* Т. 98. Кн. 2. С. 194. 10 января Андрей Белый ответил Ремизову: «“Слоненка” еще не получил, как получу, сейчас же отнесу в “Весы”, а если в “Весах” не пойдет, за “Золотое Руно” почти ручаюсь» (Александр Блок. Исследования и материалы. СПб., 2011. С. 458). 14 января Ремизов сообщил А. Белому, что пошлет рассказ заказной бандеролью 15 января (Там же. С. 460). Вскоре Брюсов приехал в Петербург. 22 января Ремизов написал А. Белому о встрече с ним: «Вчера разговаривал с В. Я. Брюсовым о “Слоненке”. <...> Передайте ему “Слоненка” для “Весов”» (Там же). Рукопись Брюсов получил, но судьба рассказа оставалась неизвестной. А. Белый предложил опубликовать его в литературно-философском сборнике «Свободная совесть». В письме от 9 марта Ремизов откликнулся: «Не давайте пока “Слоненка” в “С<вободную> Совесть”. Впрочем, давайте. Мне только очень жалко, если в Весах не напечатают» (Там же. С. 466). 14 марта Ремизов просил Брюсова: «Если “Слоненка” отвергли, при-

шлите его мне» (*ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 198). И уже 20 марта автор извещал А. Белого: «Слоненка мне возвращают из Весов, получил от В<алерия> Я<ковлевича> уведомление. Я Слоненка в Адскую Почту отдам» (Александр Блок. Исследования и материалы. СПб., 2011. С. 468). В петербургском сатирическом журнале «Адская почта», выходившем в мае—июне 1906 г., рассказ также не был опубликован. Следующая попытка публикации в том же году была связана с журналом «Вестник Европы» при посредничестве К. И. Чуковского и Е. А. Ляцкого, заведовавшего литературным отделом. «Слоненок» был отвергнут издателем «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичем (см. об этом: Переписка А. М. Ремизова и К. И. Чуковского // Русская литература. 2007. № 3. С. 143; комм. И. Ф. Даниловой, Е. В. Ивановой).

В первой публикации рассказ содержит не шесть, а семь главок; в сборнике «Чёртов лог и Полунощное солнце» (1908) эти семь частей отмечены не цифрами, а «звездочками». В обеих публикациях — большое количество стилистических, лексических и графических расхождений с текстом сборника «Зга». В первом томе сочинений издания «Шиповника» (1910) «Слоненок» разделен на шесть глав («Глава первая», «Глава вторая» и т. д.), текст его близок к тексту публикуемой последней редакции.

К. И. Чуковский писал о «детской недетской тоске» Павлушки, который мечтает «о каком-то бумажном слоненке, как о символе воли, о символе освобождения из-под власти змеи Скарапеи, которая захватила и кружит бедную детскую душу (“Слоненок”). И эта тоска не выдуманная, не беллетристическая тоска; из нее возникли лучшие вещи Ремизова, — хотя бы тот же самый “Слоненок”, где душевное томление крошечного приготовишки передано с изумительной силой» (*Чуковский К.* Психологические мотивы в творчестве Алексея Ремизова // Чуковский К. Критические рассказы. Кн. первая. СПб.: Шиповник, 1911. С. 145—146). А. В. Рыстенко так охарактеризовал героя рассказа: «...типичный представитель школьников этого возраста. Особенно хорошо нарисована Ремизовым молитва Павлушки в храме, молитва к Божией Матери и о том, чтобы не было у него двоек, и об игрушке-слоненке, и о подковках, которые он увидел на сапогах стоявшего пред ним на коленях бондаря и которых ему “вдруг захотелось”. Живо изображен бред Павлушки, заболевшего корью» (*Рыстенко А. В.* Заметки о сочинениях Алексея Ремизова. С. 36). А. Измайлов отнес героя к разряду «странных, больных, точно помешанных людей»: «А разве не таков Павлушка, в рассказе “Слоненок”, этот моллюск на человеческих ногах, во время великого славословия готовый продать свою душу чёрту, намеренно нюхающий отвратительный запах ассенизационной бочки, чтобы “надышаться мерзостью”» (*Измайлов А.* Пестрые знамена. С. 101).

С. 203. *Павлушка засел на второй год в приготовительном классе.* — По уставу 1871 г., при каждой гимназии и прогимназии должен был быть приготовительный класс, продолжительность курса которого определялась соответственно возрасту и успехам учащихся.

Сидел Павлушка на последней скамейке у шкапчика: ~ ...шкапчик битком набит. — В главе «Магнит» в книге «Подстриженными глазами» Ремизов вспоминал: «В классе на стене за нашей спиной шкапчик. В этот шкапчик прятался после уроков классный журнал и чернила и всё, что отбиралось от учеников постороннее — целое собрание игрушек за много лет» (*Иверень-РК VIII*. С. 169).

...Раз Павлушка слоненка подсмотрел. Серый слоненок, как настоящий, с хоботом и клыками... — Позднее в книге «Подстриженными глазами» (глава «Крот») Ремизов писал, вспоминая раннее детство: «А был у меня слоненок, не как игрушка, <...> всегда со мной на столе, я и слоненка забросил, валялся серый, задрав мягкий хобот» (Там же. С. 150). В той же книге (глава «Магнит») упоминается «лиловый слон» в школьном шкапчике с отобранными игрушками учеников (Там же. С. 169).

С. 204. *Воскресенский — Пугало...* — Ремизов в главе «Магнит» из книги «Подстриженными глазами» писал об одном из своих одноклассников: «Павлушка Воскресенский, сын запойного дьякона от Ильи Пророка...» (Там же. С. 171). Ср. также в главе «Куроляпка»: «Только и было во всем классе нас двое — двоешников: сын запойного ильинского дьякона Воскресенский, по прозвищу “Пугало”, да я...» (Там же. С. 42).

С. 206. *...Маланья — Аксолот... — Аксолот* — водяная ящерица.

Стеклянный козленок из-под духов — Ремизов, касаясь детских лет, вспоминал: «На моем крохотном столе меньше кухонного, неокрашенном, под стеклянным часовым колпаком черный козленок... <...> А козленка я получил от добродушного черного монаха Андроньева монастыря. <...> Монаху этот козлик был “во искушение”, а мне — бессознательно — символом жизни — радости жизни, выпавшей на мою долю на краткий срок — жгуче до боли» (цит. по: *Грачева А. М.* Жанр романа и творчество Алексея Ремизова (1910–1950-е годы). С. 335, 383). Ср. также в главе «Бедный Иорик» в книге «Подстриженными глазами»: «На моем столе <...> караулит хрустальный козленок, под часовым треснутым колпаком стоит...» (*Иверень-РК VIII*. С. 233).

С. 207. *...стоял бондарь в чуйке... — Бондарь* — бочар, ремесленник, изготавливающий бочки, кадки и т. п. *Чуйка* — верхняя мужская одежда из сукна в виде длинного кафтана.

...псаломщик, читавший шестопсалмие... — Шестопсалмие — одна из важных частей утреннего богослужения; состоит из шести псалмов

царя Давида. В этих псалмах выражается надежда на милосердие Божье.

С. 207. *...поставят тут перед амвоном... — Амвон* — возвышение в христианском храме, предназначенное для чтения Священного Писания, произнесения проповедей.

С. 208. *...дал покойнику рукописание... — Рукописание* — написанная молитва, отпускающая грехи, которую священник вкладывает в правую руку покойника.

...несли крышку белую, глазетовую. — Глазет — ткань, похожая на парчу, с шелковой цветной основой и узорами из золота и серебра.

...а изо рта темной струйкой бежала сукровица. — Деталь, восходящая к детской памяти Ремизова о своем прощании с умершим отцом. Ранее это воспоминание воспроизведено в романе «Пруд»: «У покойника пошла из носу сукровица, и это так поразило Колю, что он только это и видел: водянистая кровь струйкой бежала из носу, пропадала в усах и текла по выбритой бороде» (*Пруд-РК I.* С. 45). Ср. также в главе «Убийца» из книги «Подстриженными глазами»: «...из угла рта на подбородок густая текла струйка сукровицы» (*Иверень-РК VIII.* С. 144).

С. 209. *— Слава Тебе, показавшему нам свет! ~ Слава в Вышних Богу. ~ Мимо неслось Великое славословие...* — Имеется в виду начало заключительной части праздничной утрени Великого славословия, одного из древнейших песнопений, прославляющих Бога: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человеках благоволение!» и т. д.

...посадил его к себе на закорки... — то есть на спину или на плечи.

С. 210. *...скелет можно и самому сделать из вороны». ~ чтобы скелет у него на столике стоял...* — В книге «Подстриженными глазами» Ремизов упоминает, наряду с хрустальным козленком, «белый вороний остов — ворону собственной выварки» (Там же. С. 233).

С. 215. *...принес Пугало Павлушке заячью лапку.* — Заячья (кроличья) лапка — своего рода талисман, оберег, амулет на удачу.

С. 218. *Сыт, пьян и нос в табаке!* — Фразеологизм, поговорка, означающая, что человек всем удовлетворен. Выражение «нос в табаке» напоминает о старинном обычае нюхать молотый табак.

...у них есть теперь плоскозубцы, а плоскозубцами всё можно. — Ср. в упомянутой выше главе «Магнит»: «Кривыми гвоздиками и “плоскозубцами” <...> шкапчик был “очень просто” открыт, как потом “шито-крыто” закроется» (Там же. С. 170).

Нацепим слоненку на мордочку красную ленточку! — Аллюзия на события революции 1905 г.

...балльники... — Балльник (устар.) — ведомость, табель с отметками ученика по предметам и поведению.

Галстук

Впервые опубликовано: Речь. 1911. № 98. 10 апреля. С. 3—4.

Прижизненные издания: *Шиповник 5*. С. 195—210, «1911 г.»; *Зга*. С. 251—267.

4 ноября 1910 г. Ремизов писал Брюсову: «Есть у меня один анекдот в голове, называется ГАЛСТУК. Об этом галстуке я и хотел бы написать» (*ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 209). В письме к И. Рязановскому от 6 марта 1911 г. он сообщал: «Написал еще небольшой рассказ “Галстук”, взяли у меня Шиповники. Но потом мне его вернули, говорят, рассказ не сделан» (цит. по: *Оказион-РК III*. С. 657; публ. Е. Р. Обатниной).

Об истории публикации рассказа см.: *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 212—213.

Прототипом героя послужил приятель Ремизова Илья Аронович Тотеш, с которым он познакомился в 1903 г. в Херсоне. Подробнее о нем см. в комм. Е. Р. Обатниной (*Оказион-РК III*. С. 657—658). В одноименной главе «Взвихренной Руси» под прозвищем «Турка» фигурирует Григорий Сильвестрович Киреев (*Взвихренная Русь-РК V*. С. 61—65). См. также: *Ремизов А*. Встречи. Петербургский буерак. Париж: LEV, 1981. С. 199—202.

С. 219. *...видны были лишь огромные блестящие белки.* — Ср. в главе «Турка»: «Турка вращал огромными турецкими белками...» (*Взвихренная Русь-РК V*. С. 63).

С. 220. *И не было, кажется, ни одной барышни на острове, в которую не влюбился бы Турка, ~ которая не вздыхала бы о Турке.* — Ср.: «Турка во всех влюблялся и в Турку влюблялись...» (Там же).

...сфинксов у Николаевского моста... — Имеются в виду древнеегипетские гранитные изваяния фигур с головой человека и туловищем льва на Университетской наб. в Петербурге. *Николаевский мост* — ныне Благовещенский мост через Неву, соединяющий Васильевский остров с центральной частью города.

С. 221. *...на Арсенальную набережную в Кресты.* — *«Кресты»* — неформальное название тюрьмы в Петербурге, расположенной по адресу: Арсенальная наб., д. 7. Наименование возникло от архитектурной формы двух корпусов, имеющих в плане форму равноконечных крестов (1884—1890 гг., арх. А. И. Томишко). В начале XX в. это была одиночная тюрьма, рассчитанная на 1150 заключенных.

...у Думской каланчи... — Имеется в виду башня Городской думы на Невском проспекте.

С. 223. *Из Вилейки.* — *Вилейка* — уездный город в Виленской губ. (ныне — Минской обл. Беларуси).

С. 224. *Меламед — учитель.* — *Меламед* — в еврейской школе преподаватель закона Божьего иудаистской веры.

С. 224. *Из Новой Гвинеи привезли в Петербург людоедов.* — На острове Папуа — Новая Гвинея в юго-западной части Тихого океана каннибализм как ритуальное убийство был не столь уж редким явлением. Примечательно, что о встрече в Петербурге с папуасами-людоедами в мае 1912 г. Ремизов писал в рассказе «Дикие» (впервые опубл.: Русская мысль. 1913. № 10. С. 57—60). См. также: *Оказион-РК III.* С. 622—623 (комм. Е. Р. Обатниной).

С. 225. *По случаю царского дня...* — Возможно, имеется в виду 6 мая, день рождения императора Николая II.

На углу Екатерининского канала... — Екатерининский канал — с 1923 г. канал Грибоедова, соединяющий Мойку и Фонтанку.

С. 227. *Муж ее в хедере... — Хедер* — еврейская начальная школа.

Пожар

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1906. № 4. С. 54—60.

Прижизненные издания: *Чёртов лог и Полунощное солнце.* С. 179—192; *Шиповник 2.* С. 203—212, «1903 г.»; *Зга.* С. 269—279.

3 марта 1906 г. Ремизов сообщал С. П. Ремизовой-Довгелло: «В “Золотом Руне”: Кречетов. “Пожар” пойдет в № 3. За лист 75 руб.» (Europa Orientalis. 1990. № 9. С. 473). Рассказ был напечатан в № 4. Кречетов — псевдоним С. А. Соколова, заведовавшего литературным отделом ж. «Золотое руно».

Текст в сборнике «Чёртов лог и Полунощное солнце» значительно отличается от текста в сборнике «Зга». Помимо многочисленных стилистических расхождений в этом тексте присутствуют другие фрагменты. Ср., к примеру, после первой части: «Она подходит. / Близко. / Она, как туча, клубясь, вырастает над днями. / И гасит. / Из каждого предмета, из каждого лица, в каждый час она глядит на меня и за минуту моей забывчивости казнит долгой нестерпимой мукой. / Я не знаю ее всю. Только чувствую. Я не знаю, откуда она, с какого конца подойдет ко мне. Только чувствую, она везде, вокруг. / Мои губы не дрожат уж от хохота, не могут смеяться. / И сердце не может проклинать, как проклинало. / С тихим ропотом жмется. / Вот придет эта беда, ты сумеешь осилить ее? / Ты проклинало, ты любило. / Ты сумеешь осилить ее? / Никогда — — / И повалишься, как сноп, к ее ногам, и она раздавит, обуглит тебя своею молнией. / Я не знаю, за что уцепиться мне? / Дай мне хоть петлю! / Но, если возможно, пускай она пройдет мимо» (С. 185).

С. 230. *...В ночь на Катеринин день... — Катеринин день* — по народному календарю — 7 декабря (24 ноября), память св. великомученицы Екатерины, покровительницы брака и семьи. Другое название — «Катерина-санница». В этот день по обычаю открывался санный путь,

принято было устраивать катание на санях; девушки гадали на своего суженого.

С. 230. *На Николу... —Николин день* — по православному календарю 6 (19) декабря, Никола Зимний, праздник, установленный в память св. Николая Угодника, Николая Чудотворца.

...показались в дымных облаках три радужных солнца вкруг лютоморозного солнца. — В редких случаях рядом с солнцем можно увидеть ложные светила, вызванные преломлением солнечного света в парящих в воздухе кристалликах льда. Это физическое явление называется «паргелий». В рассказе оно изображается как предвестие грядущей беды.

...Огневица, ишь болезнь-то какая... — Огневица — лихорадка, горячка, сопровождаемая жаром, высокой температурой, иногда бредом.

...о. дьякон намедни на ектенье поминал! — Ектенья — часть богослужения, содержащая обращения, краткие прошения к Богу.

С. 231. *...бор с ними. — Бор* — возможно, один из скандинавских богов-прародителей, отец Одина.

...солдатик один, столовер... — Столовер — вероятно, имеется в виду старовер.

Перво-наперво производная сила, а всё прочее — пристройка. — Простонародное отражение марксистского учения о материальном базисе и идеологической надстройке.

Отречемся от старого мира... — Имеется в виду «Новая песня» («Рабочая Марсельеза») (1875) на слова П. Л. Лаврова. См. выше комм. к с. 197.

С. 232. *...не видели такого дорода... — Дород* — обильный урожай.

В Рождественский сочельник... — 6 января, накануне празднования Рождества Христова, последний день Рождественского поста.

Старые люди обмылись на Крещение ~ омелили углы и двери крестиками. — См. выше комм. к с. 140.

На Красную горку заиграли свадьбы. — См. комм. к с. 172.

...с торжественным водосвятием... — Водосвятие — церковный обряд освящения воды (в храме, домах, колодцах и т. д.).

Занял беспятый храм... — Согласно народным верованиям, чёрт всегда обладает какими-то нечеловеческими признаками, к примеру, лапами животного или птицы, или совсем без пят. Ср. апокриф Ремизова «Отчего нечистый без пят и о сотворении волка. Слово Егория волчьего пастыря Николе Угоднику» (1906). См.: *Лимонарь-РК VI.* С. 23–25.

Сквернит шишига дароносицу... — Шишига — в славянской мифологии маленькое горбатое существо женского пола, водяная чертовка; живет в мелких водоемах. Иногда так называли русалку. Также, согласно древним русским поверьям, бес, злой дух. *Дароносица* — в пра-

вославной церкви переносная дарохранительница, сосуд для ношения Святых Даров; используется при таинстве причастия вне храма.

С. 233. *В красный Купальский полдень...* — См. комм. к с. 56.

С. 236. *...замочив кропильницу...* — *Кропильница* — сосуд со священной водой при входе в католический храм, из которого верующие окропляют себя.

...загорелось вполье. — *Вполье* — край, начало поля; окраина деревни или города, граничащая с полем.

Он один стоял посреди пепла сожженного, проклятого, родного города... — Текст финала в первой публикации свидетельствовал о том, что город поджег монах. Ср.: «Он один стоял посреди пепла им сожженного, проклятого, родного города...» (Золотое руно. 1906. № 4. С. 60).

СТРАННИЦА
Повесть

Впервые опубликовано: Странница. Повесть // Мысль. Вып. I: Революционная мысль. Пг., 1918. С. 23—77.

Прижизненное издание: Бесприютная. Повесть монастырская: Изд. Е. А. Гутнова в Берлине. Берлин, 1922. 120 с.

Рукописные источники: Странница прохожая. Повесть. — Беловой автограф с правкой // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 18. 47 л.

Печатается по тексту первой публикации.

Беловой автограф повести «Странница» (*Странница*) близок к тексту первой публикации, расходясь с ним незначительными лексическими вариантами. Берлинская редакция *Странницы* значительно отличается от текста первой публикации. В издании 1922 г. нет деления текста на части. Проведена существенная стилистическая правка: убраны детали, актуализировавшие текст в контексте ремизовских политических настроений периода 1917—1918 гг. Так, например, исправлено описание изображения на дьявольской доске. В издании 1918 г.: «красками намалевана голова обезьянья» (С. 52). В издании 1922 г.: «красками намалевана голова драконья» (С. 71). Исправление соответствует перемене семантики образа «обезьяны» в системе художественного мышления Ремизова. После 1919 г. образ «обезьяны» утратил отрицательное значение и оказался связан с оппозиционной большевизму позитивной символикой ремизовской Обезьяньей Великой и Вольной палаты периода 1919—1923 гг. (подробнее см.: *Обатнина Е.* Царь Асыка и его подданные. СПб., 2001. С. 95—111; *Грачева А. М.* Из комментария к «Взвихренной Руси» Алексея Ремизова (глава «Обезвелволпал») // A Century's Perspective. Essays on Russian Literature in Honor of Olga Raevsky Hughes and Robert P. Hughes. Stanford Slavic

Studies. Vol. 32. Stanford: Stanford University Press, 2006. P. 368–376). Под текстом берлинской редакции поставлена дата: «1918–1922» и добавлено посвящение С. П. Ремизовой-Довгелло.

История создания *Странницы* еще ждет своего исследования. В настоящее время черновые материалы повести и текст авторских примечаний – точных указаний на источники текста – не выявлены. О наличии таковых свидетельствует дарственная надпись Ремизова жене на берлинском издании *Странницы*: «Бесприютная попала в “Революционную мысль” – чудное дело, а написана она по материалам подлинным. Никто ее не читал. Я не слышал ни одного отзыва. Пусть тебе, деточка, останется на память это единственное напечатанное в революцию до октября. Алексей Ремизов. 8.3.23» (*Волшебный мир Алексея Ремизова*. С. 24). *Странница* – один из наиболее герметических текстов Ремизова. Первая часть повести стилистически и типологически восходит к популярной книге С. И. Снессорёвой «Русская странница Дарьюшка. Рассказ с ее слов» (СПб., 1886; первое изд. опубл. под загл.: Дарьюшка: очерк жизни русской странницы. СПб., 1864). Для создания текста этой части нельзя также исключать наличие какого-то автобиографического письменного источника, восходящего к кругу русского душеполезного чтения XIX в. Текст второй части *Странницы* основан на виртуозном компилировании и переосмыслении сюжетных мотивов и образов, использовании цитат и стилистики литературных источников: Библии; многочисленных древнерусских оригинальных и переводных апокрифических памятников (апокалипсисов, видений, хождений), житий, посланий, а также посвященных их описанию и исследованию трудов медиевистов XIX – начала XX в. Удалось определить, что основным источником Ремизова для изображения загробных видений героини являются тексты апокрифов, опубликованные в издании: Памятники отреченной русской литературы. Собраны и изданы Н. Тихонравовым. Т. I–II. СПб., 1863. Ряд источников («Откровение св. Иоанна Богослова», видение преподобного Григория о мытарствах блаженной Феодоры из «Жития Василия Нового») установлены А. Возняк. Подробнее см.: *Возняк А.* Агиография и актуализация: Эстетические искания А. Ремизова в повести «Бесприютная» // Алексей Ремизов. Исследования и материалы. СПб., 1994. С. 58–66).

Несмотря на то, что первая публикация *Странницы* состоялась в трудное для литературы время (1918 г.), она получила критические отклики. В глубокой по социокультурному и эстетическому анализу рецензии на сборник «Мысль» А. Долинин выделил *Странницу* как наиболее ценную художественную составляющую издания, указал на ее скрытое антитетичное сopoложение ремизовскому «Слову о погибели русской земли» и отметил: «Для Ремизова это произведение

совершенно необычное. <...> Образы чрезвычайно упрощены, тон понижен до того, что в некоторых местах он почти спускается до крайне опасной грани: вот-вот он совершенно перестанет задевать. Тоже и краски: бедные, точно от старости выцветшие — тонкий, тонкий рисунок, с едва уловимыми намеками на его былую чистую живопись <...>. Здесь нечто от агиографии, в соединении с библейской простотою легендарно-религиозных сказок Толстого. “Странница” — тоже одна из “крестовых сестер” <...>. И не различишь: сны ли это его, обычные, принимают более ясные очертания, земная фантастика снижена почти до реального или наоборот: земное мало-помалу теряет свою конкретность <...>. Одно несомненно: как будто намерен отказ в этой странной “Страннице” от интеллигентной осложненности, точно она рассчитана на совершенно иного читателя, с привычкой мыслить и жить совсем в другой сфере образов, чем наша» (Дело народа. 1918. № 25. 21 (8) апреля. С. 4). Л. Добронравов включил анализ основной темы *Странницы* в свое рассмотрение магистральных векторов литературного творчества литератора: «Весь писательский дар и весь труд Алексея Ремизова сосредоточен и заострен на мыслях о судьбе между душевным и духовным. “Создан человек Богом не для земли, а для неба — говорит Ремизов в последней своей повести "Странница" — Путь один — дороги разные”. Вот эти “дороги разные” <...> и есть тема всего писательства Алексея Ремизова» (Современное слово. 1918. № 3559. 22 (9) июня. С. 4). Берлинское издание осталось почти не замеченным критиками. В поверхностной рецензии В. Л. [В. И. Лурье] было подробно пересказано содержание повести и отмечалось: «“Бесприютная” — это история одной девушки, поведением и характером своим совсем не подходящей к трудностям и борьбе земной жизни; вся она была Божья, небесная и точно случайно на землю попала, и печально оттого ее жизнь сложилась <...>. Оттого и была она на земле бесприютной. Как всегда автор чутко и правильно подходит к переживаниям героини, и передает их образно и живо. Читается повесть легко и с большим интересом» (Дни (Берлин). 1922. № 36. 10 дек. С. 17).

С. 239. *Юдоль плачевная* (церк-слав.) — восходит к выражению из Библии «юдоль плача» (Пс 83: 7). В переносном значении — земная жизнь с ее горестями и печалями, «мир горя, забот и сует. “Завеща Бог смиритися всякой горѣ высоцѣй и холмомъ ... и юдолиямъ наполнитися въравень земную” Варух. V. 7» (*Толковый словарь В. И. Даля.* Т. IV. С. 667).

С. 240. *Изгасать* — погаснуть, отгорев.

С. 244. *Сажалка* — пруд для держания живой рыбы.

С. 247. *Страда* — тяжелый труд.

С. 247. *...вся открытая к страстям...* — зд.: готовая к принятию мученического подвига.

С. 249. *Глинская пустынь* — Свято-Рождества Богородицы ставропигиальный мужской монастырь (Глинская пустынь), основан в XIV в. Расположен в селе Сосновка Глуховского района Сумской области (Украина). В XIX — начале XX в. входил в состав Курской епархии (ныне в составе Конотопской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата). Славился своими старцами.

...получить совет от строителя пустыни о. Филарета... — Игумен Филарет (Данилевский; 1777—1841) — настоятель и возобновитель Глинской пустыни. В 1817 г. назначен настоятелем монастыря и находился на этом посту 24 года. С его деятельностью связано написание устава Глинской пустыни и строительная деятельность по восстановлению монастырских строений.

С. 250. *Путь твой благой, но прискорбен...* — Ср.: «Ходившие путем узким, прискорбным, все, взявшие в жизни крест, как ярмо, и с верою Мне последовавшие, приходите...» (Панихида, тропари, глас 5-й).

...невечерний свет... — «Светом Невечерним» именуется Христос: «Яко виде Исаия образно на престоле превознесена Бога, от Ангел дориносима, о, окаянный, — вопияше, — аз: провидех бо воплощаема Бога, Света Невечерня и миром владычествующа» (ирмос 5 канона Сретения Господня).

С. 253. *Клирос* — в церкви место для певчих на возвышении по правую и левую стороны царских врат.

С. 254. *Клирошанка* — монастырская послушница, поющая на клиросе.

Канонарх — монах (монахиня), объявляющий сначала глас, а потом слова канона, которые поются обоими клиросами попеременно.

Послушница — лицо, готовящееся к принятию монашества.

Постриг — обряд принятия монашества, сопровождающийся пострижением волос в знак принадлежности к церкви.

Амвон — возвышение в церкви перед царскими вратами, с которого читаются Евангелие, ектении и проповеди; на котором облачают архиерея.

Канонаршить — исполнять обязанности канонарха.

Праздник Преображения Господня — христианский праздник в память явления Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя учениками (Петром, Иаковом и Иоанном) во время молитвы на горе Фавор. В православной церкви празднуется 6 (19) августа.

С. 255. *...семь дубовых кадей...* — *Кадь* — большая кадка.

...читать по покойникам псалтырь... — имеется в виду православный обычай непрерывного чтения Псалтыри над телом усопшего

(кроме времени совершения при гробе панихиды или заупокойной литии) до его погребения.

С. 255. *Монатейная* (*манотейная*) *монахиня* — монахиня, имеющая право носить *манатью* — монашескую мантию.

С. 256. *Сорокоуст* — ежедневное молитвенное поминовение в течение сорока дней за здравие или за упокой.

С. 257. *Покров* — праздник Покрова Пресвятой Богородицы — один из великих праздников православной церкви. Отмечается 1 (14) октября.

Всенощная — всенощное бдение — православное богослужение, которое совершается накануне воскресных дней и больших церковных праздников. Состоит из великой вечерни с литией и благословением хлебов, утрени и первого часа. Должно продолжаться от захода солнца до рассвета.

Величание (церк.) — песнопение в честь праздника.

С. 258. *Притвор* — западная часть христианского храма, отделенная от средней его части стеной. Во время богослужения там могут находиться не только кающиеся и готовящиеся к принятию крещения (оглашенные), но и лица, не принадлежащие к христианской вере.

Мне велено было начать последнюю седмицу — страстную — Имеется в виду исполнение обязанностей канонарха на богослужениях Страстной седмицы — последней недели перед Пасхой, посвященной воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

Великая суббота — последний день перед Пасхой.

С. 259. *Христосование* — троекратное пасхальное целование с приветственными возгласами: «Христос воскрес! Воистину воскрес!».

Жеребий (устар.) — жребий.

Не разговлялись... — Разговляться — есть скоромную пищу в первый день после поста.

С. 260. *...мать благословила Казанской.* — Имеется в виду обряд благословения жениха и невесты иконой Божией Матери «Казанская».

С. 263. *«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...»* — точная библейская цитата (Пс 1: 1).

«Вечная память» — в православном богослужении последование панихиды по усопшему.

Обедня — христианская церковная служба, совершаемая утром или днем.

С. 264. *Отпускная молитва* — молитва, читаемая священником в завершение исповеди.

Я заглянула в могилу, а на дне там, — жаба ~ закричала я во весь голос, — не моя могила! — Ср. библейский текст: «И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам» (Откр 16: 13).

С. 264. *И глаза мои прозрели.* — Ср. библейский текст: «И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел» (Деян 9: 18).

Горькая чаша — фразеологизм: «выпить горькую чашу до дна» — до конца перенести страдания и испытания. Восходит к библейскому тексту: «Воспряни, воспряни, восстань Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, осушил» (Ис 51: 17).

...помраченный мир от явившихся полков темной неисчетной силы. — Ср. в древнерусском переводном эсхатологическом сочинении «Слово о скончании мира и о антихристе»: Антихрист «послетъ въ горы и въ вертепы и пропасти земныя бѣсовскія полки, во еже взыскати <...> скрывшихся отъ очію его и техъ привести на поклоненіе ему» (*Сахаров В.* Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности и влияние их на народные духовные стихи. Тула, 1879. С. 143).

...запасов орудий мученских ~ без числа: крюки, колеса, лапы, плети, доски, топоры. — Ср. в видении преподобного Григория о мытарствах блаженной Феодоры из «Жития Василия Нового» (2-я пол. X в.): «Ношаше же различныя орудія къ мученію: мечи, стрѣлы, копія, барды, косы, серпы, рожны, пилы, сѣкиры, теслы, оскорды и удицы, и иная нѣкая незнаемая» (*Веселовский А. Н.* Безразличные и обоюдные в Житии Василия Нового и народной эсхатологии // Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха. Вып. 5. Разд. XII. СПб., 1889. С. 123 (Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. Академии Наук; Т. XLVI. № 6).

Врагу дал Бог прельщати человека... — Враг — зд.: дьявол. *Прельщати* — соблазнять.

У главного чаша в руках. Царем и Богом себя называет. ~ И из чаши он напоевает несчастных. — Речь идет о явлении и деяниях Антихриста. Ср.: «Какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: “я Христос”, и многих прельстят» (Мф 24: 3—5). См. также: «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его» (Откр 16: 2); «...и я увидел жену, сидящую на звере багряном ~ и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее» (Откр 17: 3—4).

...красками намалевана голова обезьянья. ~ целуют ее, как пречистый образ. — Ср.: «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр 13: 15). В эсхатологическом видении странницы с помощью приема аллюзии образы цар-

ства Антихриста соотнесены с оценкой современности — с ремизовским восприятием большевистского переворота 1917 г. Ср. текст памфлета Ремизова «Вонючая торжествующая обезьяна» (1918): «Вонючая торжествующая обезьяна, питающаяся падалью, реквизированным сахаром и ананасами, ты <...> самодовольно нахлобучила французский красный колпак, присвоила русское крестное имя, русскую человеческую кличку и, обольстив изголодавшуюся горемычную чернь медовым пряником — посылом мира, хлеба, земли и воли <...> завладела Русью <...> ты <...> объявила изменниками русских людей, для которых твоя обезьянья морда есть обезьянья морда, а не лик Спасителев» (*Взвихренная Русь-РК V.* С. 534). Ср. дневниковую запись Ремизова от 1 января 1918 г.: «Русская литература всегда стояла на стороне угнетенных и по заветам ее никогда не может стать в ряды торжествующей обезьяны» (Там же. С. 488).

С. 264. *...полагают печать на лоб и ведут во дворцы: там музыканты играют и нарядные танцуют гости, там пьют и едят и веселятся.* — Ср. в «Слове о скончании мира и о антихристе»: «Яко царь велій явися всей земли, пріидите вси и видите крѣпость его и силу, сей бо и животъ вамъ подастъ, и вино вамъ даруетъ, и богатство <...> пріидите вси къ нему. И вси тѣсноты ради пищныя к нему пріидутъ, и поклонятся ему, и дастъ имъ знаменія на руцѣ деснѣй и на челе» (*Сахаров В.* Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности и влияние их на народные духовные стихи. С. 142).

А уж тех антиевых печатей им никогда не сбросить. — Антиева печать — печать Антихриста.

С. 265. *Претерпевый муку врага, спасется.* — Неточная цитата из Евангелия. Ср.: «Претерпевший до конца — спасется» (Мф 10: 21; Мк 13: 13).

...сам наклонил ко мне чашу, и насильно толкнул ее к моим устам. И прикосновение чаши учинило мне горькость в устах и гортани... — Ср. образ смерти, дающей умирающей Феодоре какое-то зелье: «Сотвори въ чаши нѣкое раствореніе и ко устомъ моимъ придѣвши, нужею напои мя. Только бѣ горько напоеніе то, яко не могущи стерпѣти, душа моя содрогнуся и изскочи отъ тѣла яко оторжена нуждею» (*Веселовский А. Н.* Безразличные и обоюдные в Житии Василия Нового и народной эсхатологии. С. 123—124).

Растянули меня на измазанной липким дегтем коже. ~ завыли надо мной плети. — Характерный вид истязания св. мученика. Ср. в «Георгиевом мучении»: «повелѣ бити и протягше четырми жилами сырыми» (Памятники отреченной русской литературы / Собраны и изданы Н. Тихонравовым. Т. II. М., 1863. С. 105). В «Никитином мучении»: «И повелѣ царь вести вонъ из града и привязати у столпа, и бити жилами говяжими жилы же намочены оцта и желчи» (Там же. С. 114).

С. 265. *Посадили меня в железную печь. ~ Печь прохолонула ~ я вышла — невредимая.* — вид чуда, неоднократно повторяющийся в житиях-мартириях. Восходит к чуду с тремя иудейскими отроками Седрахом, Мисахом и Авденаго, брошенными в печь огненную за отказ поклониться идолу и спасенными ангелом (Дан 3: 1—33). Ср. в «Ипатиевом мучении»: «Разгневавшесе царь и повѣле одръ железнь принести простреги его и подъ нымъ запалити дрьва борова и горѣти даже до 4 дни съжену пещи въниде царь и <...> въздвиже его здрава» (Памятники отреченной русской литературы / Собраны и изданы Н. Тихонравовым. Т. II. С. 139). Ср. также в «Ирининомь мучении»: «Царь <...> рече <...> къ слугамъ разожжете три волы мѣдяны поляща огнемъ <...>. Вверженѣже бывши блаженѣи (въ) медяный волъ <...> она же моляшеся <...> явися аггелъ глаголя <...> не прикоснетъ бо ся тебѣ пламень ни мука люта <...> угасшиже огню » (Там же. С. 161).

...отбивать печь... — зд.: открывать дверцу.

А я поднялась на воздух и летела. — Ср. фразеологизм: «душа отлетела».

С. 265—266. *У берега широкой реки опустилась я. ~ Видишь мост, мы тебя переведем на тот берег. ~ Там будет тебе совсем хорошо. А мост широкий-преширокий и крепкий, а поодаль вровень с мостом проложены тонкие жердинки.* — См. анализ сказочного мотива «моста» в кн. В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки»: «Герой проходит по жердочке благополучно, а старый царь сваливается в яму. <...> Огромное количество материалов показывает, что этот мотив идет от представления, что царство мертвых отделено от царства живых тонким, иногда волосяным мостом, через который переходят умершие или души умерших. <...> Очень ярок этот образ в парсизме. “На 4-й день после смерти душа при восходе солнца доходит до места суда у моста Тшинват. <...> Праведная душа может радостно перейти. <...> Злые же души <...> спотыкаются на тонком как волос мосту и низвергаются в пропасть”» (*Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. М., 2000. С. 296). Ср. описание моста в аду в средневековом трактате XII в. «Видение Тундала»: «Долина, такая угрюмая и мрачная <...>. Бушующий в ней ветер зверем воет, разнося грохот протекающей в ней серной реки <...>. Через бездну эту перекинут мост, длиною в тысячу шагов, а шириною не более одного вершка» (*Амфитеатров А. В.* Дьявол: Дьявол в быте, легенде и в литературе средних веков // Амфитеатров А. В. Собр. соч. Т. XVIII. СПб., [1913]. С. 281). Ср. также в Библии: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф 7: 13—14).

С. 267. *...враги моей души...* — парафраза библейского текста. Ср.: «Враг преследует душу мою» (Пс 142: 3).

...я стояла у входа на высоком месте, и мне все было видно. А что там только не творилось! — Эпизод видения странницей мук грешников основан на тексте переводного древнерусского апокрифа «Хождение Богородицы по мукам». Ср.: «Благовесты святая богородица вьзыде на гору Елеонсцѣи <...> и рече богородица къ архангелу повѣли да откриетсе адъ и въсе мукы вѣликие» (Памятники отреченной русской литературы / Собраны и изданы Н. Тихонравовым. Т. II. С. 30, 32).

...демоны страстей понукают и грозят: — Ты наш! Ты наш! — См. в древнерусском слове «О преподобнѣмъ Исакии Печерницѣ» из «Киево-Печерского патерика» (XI в.): «Бѣси же кликнуша и рѣша: "Нашь еси, Исакие!"» (Киево-Печерский патерик / Подг. текста Л. А. Ольшевской, пер. Л. А. Дмитриева, комм. Л. А. Дмитриева и Л. А. Ольшевской // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4: XII век. СПб., 1997. С. 283).

С. 268. *Смрад и дым душили меня. Я слышала плач ужасный...* — Ср. в «Хождении Богородицы по мукам»: «и лежаше множество народъ мужие и жени и плачь великъ» (Памятники отреченной русской литературы / Собраны и изданы Н. Тихонравовым. Т. II. С. 32).

Вопь — вопль; крик, как призыв о помощи; выражение отчаяния (*Мжельская О. С., Васильева О. В., Варина С. Н.* Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI—XVII веков. Вып. 2: В—Вопь. СПб., 2006. С. 337).

Какие-то в серп согнутые человечки шныряли туда и сюда. — Имеются в виду бесы.

С. 269. *Умран-Королевич* — Умран (Умрун) — мертвец, персонаж обрядовых святочных игр в покойника. «Генетически связанные с древнеславянскими похоронными обрядами, культом предков, покойницкие игры постепенно превратились в веселое представление, комическое воспроизведение эпизодов похорон. Самого бесстрашного из парней, согласившегося стать "мертвецом" ("умраном"), одевали в саван и на досках вносили в избу, на поседки. Там начиналось "прощание" и "отпевание", сопровождавшиеся пением непристойных песен, шуточных причитаний и молитв. В конце действа "покойник" вскакивал и убегал, пугая присутствующих» (*Некрылова А. Ф., Савушкина Н. И.* Русский фольклорный театр // Народный театр / Сост., вступ. и предисл. к текстам А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. М., 1991. С. 8). Также, согласно поверьям, умран по ночам вставал из могилы, проникал в спальню к женщине и пугал ее.

В старинном городе я с моей любимой сестрой Ариандой. — Сюжет подглавки «Умран-царевич» имеет параллели с сюжетом сказки Ш. Перро «Синяя борода» (1697).

С. 270. *Розаночек* (*розанчик*) — булочка с верхушкой из сходящихся лепестков.

И вижу я, глаза на портрете поворачиваются, как живые. — Ср. в повести Н. В. Гоголя «Портрет»: «Он опять подошел к портрету с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы <...>. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него» (*Гоголь Н. В.* Портрет // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 3: Повести. М.; Л., 1938. С. 88–89).

С. 271. *Сендюконы* (искаж.) — мн. число от слова *синдетикон* — жидкий клей для бумаги и картона, изначально приготовлявшийся из кишок и плавательного пузыря некоторых рыб.

С. 272. *Ломберный столик* — четырехугольный раскладной стол, обтянутый сукном, предназначенный для карточной игры в ломбер.

Я знаю тебя, я твой жених! — королевич взял меня за руку и вдруг переменился: спина согнулась в серп, глаза налились кровью и оскалились два страшных клыка, а из ноздрей пыхнуло смрадное пламя. — Фольклорный сюжет о женихе-покойнике контаминирован с сюжетом об инцесте — кровосмесительной страсти отца-колдуна к Катерине в повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» (1831). Ср.: «Вдруг все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на-сторону, вместо карих, запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрался и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак — старик» (*Гоголь Н. В.* Страшная месть // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 1: Ганс Кюхельгартен. Вечера на хуторе близ Диканьки. М.; Л., 1940. С. 245).

За оградой ~ В саду ~ Я ~ была не одна, молча следовал за мной древний белый старец. Оба мы прислушивались к пению ~ откуда-то из-за садовой ограды — Ср. описание входа в райские пространства и встречи визионера с проводником — Св. Ильей в древнерусском переводном апокрифе «Сказание отца нашего Агапия» (XII в.): «И рече Агапии: “Господи, камо ми велиши ити?” И рече господь: “Идеши по пути сему, по нему же мы приидохомъ къ тебѣ, и шьдъ приидеши къ стенамъ яже суть от землѣ до небесе и обрящещи стьжицю малу и по стьжици тои идеши. И объряшеши окъньце мало въ стѣнѣ. И тълъкнеши въ не, и взидетъ къ тобѣ человѣкъ старъ и поимъ тя въведетъ въ стѣну, ижи ти съкажеть тамо вься”» (Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. С. 158).

Ставник — большой церковный подсвечник.

С. 273. *...а может, и вправду считают живыми тех, кто давным-давно мертв.* — Характеристика рая — отсутствие времени. Ср.: «Ангел <...> поклялся Живущим во веки веков — Тем, кто создал небо

и то, что в нем, землю и то, что на ней, море и то, что в нем, — поклялся, что времени больше не будет!» (Откр 10: 5—6).

С. 273. *...появился ~ с огромным подносом, а на подносе виноград и белый, и синий, и черный.* — Ср. в апокрифе «Сказание отца нашего Агапия»: «Старыи человѣкъ <...> поимъ приведе и иде же стояше одръ ему и тръпеза украшена отъ камения драгааго. И лежаше хлѣбъ на неи бѣлѣи снѣга, видѣхъ бо у одра кладязь бѣлѣи млѣка и слажьи меду. Виногради же стояху различьно имуще грьздовие: ово багъряно, ово чьрьвлено, ово бѣло, и овоща имуща различьны, и цвѣтьци и житие его же не видѣ никъто же» (Памятники литературы Древней Руси. XII век. С. 160).

С. 274. *В церкви ставники, как там в саду ~ Церковь без окон и свет свечей яркий ~ я вышла в коридор: стеклянная дверь ~ И слышу голоса, только очень далеко, и что-то такое знакомое поют.* — Ср. в древнерусском переводном «Сказании о Макарии Римском»: «И идохомъ 40 дней и прииде нань гласъ поющи народа многъ, и бые благоуханіе многа зело и насыхомся мира отъ гласъ поющихъ и благоухания темянного и сонны быхомъ и уснухом. И потомъ встахомъ, то слипахуся уста наша и видѣхомъ церковь велика зело, аки ледену: посреди церкви той олтарь созданъ, посреди его источникъ и бѣ въ немъ вода бѣла, аки млеко и видѣхомъ мужа, окрестъ водъ стояща: пояху аки аньгильскія пѣсни» (Памятники отреченной русской литературы / Собраны и изданы Н. Тихонравовым. Т. II. С. 71).

Громадные ворота. Ворота заперты... — Ср. приведенную А. Н. Веселовским зафиксированную в Новгородской летописи легенду о воротах в рай: «Самовидѣцъ есмь сему, брате: егда Христосъ, идый въ Иерусалимъ на страсть волную, затвори своими руками врата градная, и до сего дня не отворими [суть]» (*Веселовский А. Н.* Эпизоды о рае и аде в послании новгородского архиепископа Василия // Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха. Вып. 5. Разд. XIX. СПб., 1889. С. 91 (Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. Академии Наук. Т. XLVI. № 6)).

Вскарабкалась на ограду. Господи! там сад... — Имеется в виду райский сад — Эдем, находящийся в закрытом для живых Царстве Небесном. Ср. в апокрифе «Сказание отца нашего Агапия»: «Агапии же убудивъ ся от съна <...> прииде в мѣста нѣкая не вѣдома. И обрѣте ту дрѣва различьна, и цвѣты цвьтуща различьны, и овоща различьны, ихъ же не видѣ никъто же николи же. Сѣдяху же пътицѣ на дрѣвѣхъ тѣхъ <...>. Мѣста же си раиская суть» (Памятники литературы Древней Руси. XII век. С. 156, 158).

А небо не такое и земля не такая. — Парафраз евангельского текста: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Откр 21: 1). Характеристика Царства Небесного.

С. 274. *В углу перед иконами на столике, покрытом парчой, раскрытый антиминс. На антиминсе золотая чаша.* — *Антиминс* — четырехугольный плат с частицей мощей, лежащий на алтаре на престоле, принадлежность для совершения литургии, во время которой на него ставятся сосуды для причастия.

С. 275. *В комнате не было окон, а было светло, как солнечным днем.* — Ср. в средневековом Послании новгородского архиепископа Василия «о земном рае»: «А то мѣсто святаго рая находилъ Моиславъ Новгородецъ и сынъ его Іаковъ <...> и свѣтъ бысть в мѣстѣ томъ [самo]сіяненъ, яко не мощи человѣку исповѣдати, и пребыша ту [долго] время на мѣстѣ томъ, а солнца не видѣша ту, но свѣтъ бѣ многочастный, свѣтлуяся паче солнца» (*Веселовский А. Н.* Эпизоды о рае и аде в послании новгородского архиепископа Василия. С. 92).

И все я хочу увидеть его, кто стоит за спиной. — Имеется в виду ангел-хранитель.

С. 276. *И вдруг стена против нас стала скатываться, как занавес.* — Ср.: «И небо скрылось, свившись как свиток» (Откр 6: 14). В Апокалипсисе этот мотив открывает описание начала Второго Пришествия, Страшного суда и распространения после него Царства Небесного на всю Вселенную.

Церковь полна молящихся. ~ Белые одежды, и другие, как алый мак. — Речь идет о праведниках, удостоенных пребывания в Царстве Небесном. Ср.: «Великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло перед престолом и пред Ангцем в белых одеждах <...>. И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды кто, и откуда пришли? <...> И он сказал мне: это те, кто пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его» (Откр 7: 9, 13—15).

Ни старцев, ни младенцев — здесь все равны трудом перед Богом. — Ср.: «“Возставшіе изъ мертвыхъ, продолжается въ житіи Василія, возрастомъ же вси равни бяху мужіе и жены”. <...> Мысль о воскресении всех людей в одном возрасте встречается во многих сказаниях, как-то в Вопросах Иоанна Богослова Господу, в Вопросах Иоанна Богослова Аврааму и в русской редакции откровений Мефодия Патарского» (*Сахаров В.* Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности и влияние их на народные духовные стихи. С. 174). Ср. в «Вопросах Иоанна Богослова Господу на горе Фаворской»: «Различна лица но вси единымъ образомъ въстануть» (Памятники отреченной русской литературы / Собраны и изданы Н. Тихонравовым. Т. II. С. 177).

С. 276. *Отчего ты меня туда не повел? — Ты не входила еще в те врата. Помнишь, там небо другое и земля другая.* — Речь идет о Царстве Небесном. См. также комм. к с. 274.

А когда кончится служба? — Там нет ни конца, ни начала! — Ср.: «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда» (Евр 7: 3).

С. 278. *Достаю кошелек ~ Вытряхаю ~ вместо денег сыплются арбузные семечки.* — Гоголевский мотив исчезающих «дьявольских денег». Ср. в повести «Вечер накануне Ивана Купалы» (1830): «Одни битые черепки лежали вместо червонцев» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 1: Ганс Кюхельгартен. Вечера на хуторе близ Диканьки. С. 150).

С. 279. *Укальница* — в русской мифологии зловещая хищная птица. «Див — птица-укальница, серая как баран, шерсть на ней как войлок, глаза как у кошки, ноги мохнатые, как у зверя, птица она вещая — села на шелом — ожидай беду. Сидит она на сухом дереве и кличет, свищет по-змеиному; кричит она по-звериному; с носа искры падают, из ушей дым валит» (*Барсов Е. В.* «Слово о полку Игореве» как художественный памятник Киевской дружинной Руси. Т. 1. М., 1887. С. 370).

С. 280. *Я нагая стою на столбе. ~ И вижу среди темных сил главный их ~ на крылатом коне...* — Основа сюжетного мотива — эпизод из «Жития Святого Симеона Столпника» (V в.) о явлении дьявола на коне перед стоящим на столбе подвижником.

С. 283. *По языку ее судить не будут...* — Речь идет о наказании за определенный вид греха. См. в апокрифическом «Хождении апостола Павла по мукам» (IV в.): «И придохъ и видихъ другое мѣсто твердо зѣло и обяше яко стина округъ его и мужа и жены съсѣцающа зубы языкы своя и рекохъ кто си суть господи и рече ми си суть скарящеся друг с другомъ въ церкви и словеса божия внемлюще уничижающе божья книгы» (Памятники отреченной русской литературы / Собраны и изданы Н. Тихонравовым. Т. II. С. 51). См. также в «Хождении Богородицы по мукам»: «И увидѣ святая древо железно и вьвшие вѣтвия того имѣяше уды железны и бяше ту висящихъ множьство мужъ и женъ за языкы и видѣвши святая прослъзися и въпроси Михаила кто си суть <...> и рече архистратигъ су суть клеветници съвадници» (Там же. С. 25).

С. 283–284. *...будет ей суд по сердцу. ~ Я ~ попала в болото ~ по пояс зашла ~ Загрязла по горло ~ шла до того человека: он в болоте по шею стоял на коленах ~ Будет суд мне по сердцу...* — Ср. в апокрифическом «Хождении апостола Павла по мукам»: «И видихъ рѣку огнемъ врющю (полѣщу) и много множество мужъ и женъ погруженыи в неи до колѣну. а другия до пупу. другия же до устихъ до власы главныхъ

и въспросихъ и рекохъ, что суть си иже во огненѣ рѣце суть <...> ови в грѣсѣхъ и в любодѣянии не престающе дондеже изумроша» (Там же. С. 49).

С. 285. *Мантия* — зд.: часть монашеского облачения, длинная накидка без рукавов с застежкой на вороте.

Клобук — принадлежность монашеского облачения, высокий цилиндрический головной убор с покрывалом.

Полунощница — одна из служб суточного круга богослужения.

С. 285—286. *Выдвинули верхний ящик ~ средний выдвинули ~ за последний взялись...* — сюжетный мотив трех ящиков имеет сюжетные параллели с легендой «Царевич Евстафий» в сборнике А. Н. Афанасьева «Русские народные легенды» (Новосибирск, 1990. С. 130—131).

С. 286. *Во саду ли, в огороде девица гуляла...* — цитата из текста русской народной песни «Во саду ли, в огороде».

И вдруг вижу, глубокое небо и в небе крылатый — крест в руках его, а за ним белый гроб несут, а за гробом двое — крылья вверх и крылья, распростертые с Востока и на Запад. — Ср. вырезку из неустановленной газеты, вклеенную Ремизовым в дневниковую запись от 25 февраля 1918 г.: «“Небесное знамение” / Москва, 22 февраля. Вчера при заходе солнца в Москве наблюдалось редкое небесное явление: от заходящего солнца поднялся вверх высокий огненный столб, перерезанный посередине поперечной полосой. Колоссальный багровый крест занимал западную часть небесного свода в течение нескольких минут. / Начинаются различные толки о кресте, идущем с запада» (*Взвихренная Русь-РК V.* С. 490). *Двое — крылья вверх и крылья, распростертые...* — имеются в виду херувимы (см.: «облик их был как у человека <...> и у каждого из них четыре крыла» — Иез 1: 5—6).

ЗОЛОТОЕ ПОДОРОЖИЕ
Электрумовые пластинки

Впервые: Наш век. 1918. № 89. 4 мая (21 апр.). С. 4.

Прижизненные публикации фрагментов текста: **1.** Окончание поэмы «Электрон», со слов: «На кручу по кремнистой тропе взбираюсь...» (Пг., 1919. С. 20—32) — вариант с измененной разбивкой строк и строф. **2.** Вторая часть (после астериска) поэмы «Электрон», опубликованной под названием «О судьбе огненной. От слов Гераклита», в составе сборника А. Ремизова «Огненная Россия» (Ревель, 1921. С. 65—68).

Печатается по тексту первой публикации с сохранением авторской пунктуации.

Тексты-источники: четвертая часть поэмы (со слов: «— Вождь мой! Я душа человечья...») содержит авторское переложение текстов трех

орфических золотых пластинок, обнаруженных археологами в Южной Италии в 1843, 1880 и 1879 гг. Их древнегреческий текст в 1910-е гг., в частности, был известен по изданию: *Diels H.* Die Fragmente der Vorsokratiker Griechisch und Deutsch. Berlin, 1903, которое переиздавалось также в 1906 и 1912, 1922 и 1934 гг.[1]

Непосредственным источником ремизовского переложения, по всей вероятности, послужил сохранившийся в архиве писателя автограф рукой М. О. Гершензона на двойном листе из тетради в линейку с расположенными в два параллельных ряда текстами. Левый содержит реконструкцию трех орфических таблиц, воспроизведенных на древнегреческом языке. Каждая из трех строф начинается с ремарки переводчика на русском языке. Стихотворные строки размечены ударениями. Правая сторона листа содержит полный перевод таблиц:

«Золотые пластинки 4—3 века до Р. Х., клались на лбу покойника; — из Петелий, Фурий и т. д. Одна целая, потом обломки. (Ударения карандашом — для чтения гекзаметра).

I. Кто-то говорит душе покойного:
<...>[2]
...И найдешь налево от жилищ Аида криницу,
а близ нее белый стоит кипарис;
к этой кринице даже близко не подходи.
И найдешь другую — то из болот Мнемосины
текущая холодная вода; и близ нее стоят стражи.
Скажи им: я дитя Земли и Неба звездного,
А род мой небесный; да вы и сами знаете это.
Но я вся суха от жажды, и гибну; дайте же мне сейчас
Холодной воды, текущей из болот Мнемосины.
— И они подадут тебе пить из божественной криницы,
и тогда ты станешь царствовать с остальными героями.
II. Напилась, вошла в круг героев и говорит:
<...>
Иду (к вам), рожденная от чистых, сама чистая
(теперь), о царица подземных (т. е. Персефона),
Аид и Дионис и остальные бессмертные боги!
Ибо, поистине, я из вашего благословенного рода.
Но меня оделила судьба и прочие бессм<ертные> боги.

---

[1] В настоящее время полный перевод всех известных пластин, обнаруженных к 1974 г. (всего их 11), сделан А. В. Лебедевым в кн.: Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 43—45.

[2] Знаком купюры здесь отмечены тексты таблиц на древнегреческом языке, расположенные слева.

....
Но я улетела из тяжкопечального, скорбного круга.
И легкими стопами побежала за желанным венком.
III. Боги приветствуют ее:
<...>
...
Радуйся, исстрадавшая свое страдание; прежде
ты никогда не страдала так;
ты стала богом из человека, ты как
козленок, упавший в молоко...»

(РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 11).

О том, что этот автограф имеет непосредственное отношение к подготовительной работе Ремизова над поэмой, свидетельствует его надпись простым карандашом в верхнем поле листа, отчеркнутая красным карандашом: *Подорожие.*

Факт перевода, сделанного для Ремизова Гершензоном, подтверждается также поздней записью Ремизова, относящейся ко второй половине 1940-х гг., по поводу издания поэмы «Электрон» (Пг., 1919), текст которой представлял контаминацию поэмы «О судьбе огненной. Предание от Гераклита Эфесского» (Пг. 1918) и «орфической» части поэмы «Золотое подорожие. Электрумовые пластинки»: «Со стр<аницы> 22 конец Гераклита (материал: золотые пластинки из гроба — их мне перевел М. О. Гершензон)» (ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Книга с авторскими копиями инскриптов на книгах С. П. Ремизовой-Довгелло и пояснениями к изданиям. Л. 21).

Особо следует отметить, что третья и четвертая части поэмы, которые мы условно называем «орфическими» (по содержанию древнегреческих «золотых пластинок»), в первой печатной редакции (газ. «Наш век») предварялась посвящением неизвестному лицу, имя которого было сокращено до двух заглавных литер — П. Б. В отсутствии убедительных документальных свидетельств выскажем предположение, что загадочное посвящение указывает на третье лицо, причастное к истории создания поэмы. Учитывая, что ремизовская ремарка по поводу автора перевода была сделана более двадцати лет спустя, мы можем предположить, что литеры П. Б. появились в публикации 1918 г. по просьбе Гершензона, который, как филолог-классик по образованию, несомненно, и сам мог без труда сделать перевод такого уровня, однако, в данном случае он, возможно, оказал Ремизову дружескую услугу, воспользовавшись консультациями, а может быть, и переводом другого специалиста. Единственный из профессиональных исследователей античности, чье имя соответствует инициалам, — это приват-доцент Московского университета Павел Петрович Блонский, автор ориги-

нального перевода «Фрагментов» Гераклита[1] и изданной 1918 г. книги «Философия Плотина», в которой, в частности, исследуется понятие Души с точки зрения учения орфиков. Хотя Блонский и не входил в круг знакомых Ремизова, тем не менее, он пересекался в литературных делах с Гершензоном. В частности, в 1917 г. оба они стали авторами сборника «Мысль и Слово», который вышел под редакцией Г. Г. Шпета[2]. При составлении списка орфических оракулов автор подстрочного перевода, по всей вероятности, пользовался сводом древнегреческих фрагментов, составленным Г. Дильсом, где в греческой реконструкции воспроизведены шесть таблиц. В автографе сохранена последовательность выбранных оракулов, но допущены несколько купюр оригинального текста второй и третьей пластинок, отмеченные многоточием. Непосредственным источником мог также послужить Каталог Британского музея. В аннотации к петелийской пластинке, древнегреческий текст которой в автографе воспроизведен под первой латинской цифрой, автор-составитель Каталога Ф. Маршалл описывает традиционное местоположение таблиц относительно тела усопшего: «simply laid by the hand or head of the corpse»[3] (просто положены рядом с рукой или головой тела). Однако стоит отметить, что упомянутое в автографе иное функциональное назначение «золотых пластинок» («клались на лбу покойника») трансформировалось у Ремизова в контаминацию орфической традиции с православным погребальным обрядом.

Подробная исследовательская работа по изучению орфических артефактов, проведенная автором подстрочника, получила в тексте Ремизова художественное преобразование. Однако, сравнивая текст поэмы с автографом Гершензона, мы можем найти «следы» этого текста-источника. Так, в подстрочнике присутствует важное указание на географическое происхождение и степень сохранности этих артефактов: «...из Петелий, Фурий и т. д. Одна целая, потом обломки», что

---

[1] См.: *Блонский П.* Фрагменты Гераклита // Гермес. 1916. № 12. 15 янв. С. 58–67. Орфический культ, очевидно, также входил в круг профессиональных рассмотрений Блонского, который занимался досократиками (см.: *Блонский П.* Этюды по истории ранней греческой философии. М., 1914), однако специальные его работы, касающиеся философии и метафизики орфиков, нам не известны.

[2] П. Блонский опубликовал здесь большую критическую статью, посвященную книге С. Трубецкого «Метафизика Древней Греции», в которой подробно анализировалось содержание философии орфиков.

[3] Catalog of the Jewellery, Greek, Etruscan, and Roman, in the Department of Antiquities, British Museum by F. H. Marshall. London, 1911. P. 381.

свидетельствует о знакомстве переводчика с изданиями, в которых пластины изображены графически. В автографе и в поэме тексты пластин переданы прямой речью (у Ремизова они дополнительно отмечены сдвигом вправо). В автографе фрагмент I соответствует таблице, обнаруженной археологами в 1843-м; фрагмент II — в 1880-м; фрагмент III — в 1879 гг.[1] Заметим, что и Ремизов в своем примечании к тексту публикации в газете «Наш век» говорит о том, что он «пользуется осколками пластинок». Из рисованного изображения петелийской пластины (фрагмент I), представленного в Каталоге Британского музея, видно, что она имеет значительные утраты по нижнему краю[2]. В более раннем издании «Inscriptiones Graecae...», подготовленном Г. Кайблом[3], дана условная обрисовка как петелийской пластины (фрагмент I), так и пластины из Фурий (фрагмент II), хранящейся в национальном музее Наполи, которая имеет форму правильного прямоугольника с совершенно ровными краями[4]. Наконец, вторая пластинка из Фурий (фрагмент III), схематически воспроизведенная в «Inscriptiones Graecae...», является «обломком» только с точки зрения содержания текста[5].

Особого внимания заслуживают ремарки переводчика, а затем и Ремизова к греческому тексту, которые репрезентируют диалог миста (предстоятеля орфической мистерии), Души и богов. В исследовании С. Глаголева, где дан неполный прозаический перевод некоторых пластин, суммируются уже сложившиеся научные суждения о культовом назначении и диалогической природе оракулов: «Это — только несколько стихов, которые должны напомнить им <усопшим орфикам. — *Е. О.*> всю нужную им поэму. По своему содержанию эти най-

---

[1] См.: *Zuntz G.* Persephone. Three Essays on Religion and Thought in Magna Graecia. Oxford, 1971. P. 301, 329, 359.

[2] Catalog of the Jewellery, Greek, Ertruscan and Roman in the Department of Antiquities British Museum by F. H. Marshall. P. 380. См. также фото в кн.: *Zuntz G.* Persephone. Plate 29 (вклейка).

[3] Многотомное издание «Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae additis Graecis Galliae Hispaniae Britanniae Germaniae Inscriptionibus», изначально выходившее с 1873 г. в Берлине под ред. Г. Кайбела (G. Kaibel), просуществовало до 1935 г.; оно содержит подробное описание и реконструкцию текстов древнегреческих археологических древностей, их условную обрисовку, а также данные об историческом местонахождении и музейном хранении.

[4] Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae... / Edit G. Kaibel. Vol. XIV. Berolini, 1890. P. 158 (fr. 641). См. также фото в кн.: *Zuntz G.* Persephone. Plate 26a (вклейка).

[5] Ibid. P. 156 (fr. 642). См. также фото в кн.: *Zuntz G.* Persephone. Plate 27b (вклейка).

денные таблицы делят на два рода. Одни из них содержат советы душе умершего относительно ее загробного путешествия. Какою дорогою должна идти душа, каких опасностей должна избегать. Что она должна говорить, когда найдет блаженство. В других таблицах содержатся речи умершего, обращенные к подземным богам с тем, чтобы душа была допущена в царство блаженных. Перевод тех и других представляет трудности. Не везде ясно даже — монолог или диалог представляет написанное на таблице и где кончается речь одного лица и начинается речь другого»[1]. В «Золотом подорожии», вслед за подстрочником, Ремизов сохранил «сценарий» орфических таблиц.

Уместно заметить, что к моменту создания «Золотого подорожия» в трудах отечественных и зарубежных исследователей конца XIX — начала XX столетий, посвященных философии Древней Греции, тексты пластинок представлялись в неполном объеме и чаще всего описательно[2]. Единственным стихотворным переводом на русский язык (при этом только одной из пластин) является стихотворение Вяч. Иванова из статьи «О Дионисе Орфическом». Подробно раскрывая истоки культа Диониса, Иванов обращался к орфическим напутствиям, адресованным душе, отправляющейся в загробный мир:

Странствуя в долах Аида, по левую сторону встретишь
Быстрый родник и стоящий над ним кипарис белолистый;
Мимо держи ты свой путь, и к ручью берегись приближаться.
Ключ обрящешь иной: из озера Памяти плещут
Влаги студеной струи. Пред источником — грозные стражи.
Им ты скажи: «Вы — чада Земли и звездного Неба;
Я же — небесное семя, и ведом род мой самим вам.
Но иссыхаю от жажды, и гибну. Дайте ж испить мне
Вод прохладных, текущих из озера Памяти!» Стражи,
Слову послушны, допустят тебя до студеной криницы;
Струй напьешься живых, восцарствуешь в сонме героев[3].

---

[1] *Глаголев С.* Греческая религия. Ч. 1: Верования. Сергиев Посад, 1909. С. 256.

[2] См.: *Глаголев С.* Греческая религия. С. 256—257; *Гомперц Т.* Греческие мыслители. Т. 1. СПб., 1911. С. 75, 113; *Рейнак С.* Орфей. Всеобщая история религии / Автор. пер. под ред. гр. И. И. Толстого. Кн. 1. СПб., 1913. С. 148; *Kern O.* Inscriptiones Graecae. Bonn, 1913.

[3] *Иванов Вяч.* О Дионисе Орфическом // Русская мысль. 1913. Кн. 11. С. 77. В качестве источника древнегреческого текста Иванов называет сборник, в котором приведен фрагмент пластинки из Петелий — Epigrammata Greaca ex Lapidibvs Conlecta / Ed. G. Kaibel. Berlin, 1878. Fr. 1037. Известен и более ранний перевод Иванова нескольких строк из петелийской пластинки (с указанием другого ис-

Хотя автор «Золотого подорожия», несомненно, был знаком с этим текстом[1], однако мы не находим каких-либо корреляций между ним и «орфической» частью поэмы. В отличие от Вяч. Иванова, Ремизов отказался от гекзаметра оригинала, перейдя к свободному размеру. Между тем в «греческой» половине подстрочника тщательность подготовки греческого текста подчеркивалась карандашными расставленными ударениями на сильных долях стопы. И «греческий» автограф, и ремизовское переложение отличаются стремлением к аутентичности перевода. В этом смысле заслуживает внимания подбор русского эквивалента к слову κρήνη, который в подстрочнике переводится характерным для южно-западных диалектов словом криница[2], означающим «ключ, родник, колодец на водяной жиле». В «Золотом подорожии» Ремизов избрал иной вариант — «источник». Отметим также точность перевода слова λίμνης — «болота», сохраненного и в ремизовской поэме, несмотря на то, что в прозаических русских переводах[3], как и в стихотворении Иванова, используется обычное — «источник» или «озеро».

В одном случае автор подстрочника делает отступление. В переводе второй строки из пластины, найденной в городе Фурии, названы имена подземных богов — Персефоны, Аида и Диониса. Между тем в тексте оригинала, точно воспроизведенном в автографе, содержатся имена Эвклей и Эвбулей. В современном переводе эти строки звучат так: «Я прихожу чистая из чистых, о царица преисподних, / Эвклей, Эвбулей и другие бессмертные боги!»[4]. Такая замена раскрывает вполне осмысленную интерпретацию, основанную на знании древнегреческого мира богов и героев. В сложной генеалогии древнегреческих богов Эвклей и Эбуклей оказываются не только одним и тем же

точника) в сборнике «Кормчие звезды»: «“Я — дочь земли и звездного неба, но иссохла от жажды и погибаю; дайте мне тотчас напиться воды студеной, истекающей из озера Памяти” — Надпись на золотой пластинке, сопровождавшей покойника в гроб, по обычаю орфиков (Inscr. Gr. Sic. It. 638)» (см. эпиграф к стихотворению «Психея» и авторский комментарий: *Иванов Вяч.* Кормчие звезды: Книга лирики. СПб., 1903. С. 353, 371).

[1] В этом же номере журнала были опубликованы три рассказа Ремизова из цикла «Свет незаходимый».

[2] См.: *Толковый словарь В. И. Даля.* II. С. 194.

[3] Ср.: *Глаголев С.* Греческая религия. С. 256; *Рейнак С.* Орфей. С. 148, а также текст стихотворения Вяч. Иванова, использовавшего наряду с «криницей» и «источником» другие метафорические синонимы.

[4] Фрагменты ранних греческих философов. С. 43. Греческий текст см.: *Diels H.* Die Fragmente der Vorsokratiker Griechisch und Deutsch. Bd. 1. Berlin, 1912. S. 16.

лицом с двойным именем, но и прямыми «родственниками» как владыки царства мертвых Аида (Гадеса)[1], так и Диониса, воспеваемого в орфических гимнах. Дионис Орфический был предшественником Диониса элевсинских мистерий и назывался Дионисом Загреем или Загревсом[2]. Именно этот герой является центральной фигурой орфической философии, утверждающей идею возрождения души, или палингенесии. Логическую замену имени местного героя древнегреческого мифа на имена представителей загробного мира в «греческом» автографе Ремизов перенес в текст своего «Золотого подорожия».

Поэма, написанная не ранее апреля 1918 г., сначала предназначалась для публикации в газете «Дело народа», что подтверждается коротким письмом Е. И. Замятина на бланке газеты: «Жду, Алексей Михайлович, "Подорожие". Ваш Евг. З<амятин>»[3], относящимся, очевидно, к началу апреля. Однако печатная судьба поэмы была решена 17 апреля (30 апреля по новому стилю), когда, редактор газеты «Наш век» (переименованной «Речи») Д. В. Философов, направил к писателю посыльного с запиской следующего содержания: «Дорогой Алексей Михайлович. Вручите подателю сего рукопись для пасхального номера»[4].

Поэма Ремизова появилась на страницах «Нашего века» в день Святого Воскресения (4 мая). Тематически ее текст делится на две части. Первая из них отражает взгляд писателя на революционную действительность и является творческой вариацией на тему разрушения основ бытия и личной трагедии художника. Эта тема также с высоким эмоциональным накалом была выражена писателем в поэмах, написанных в период с осени 1917 по весну 1918 г.: «Огневица», «Слово о погибели Русской Земли», «Вонючая торжествующая обезьяна», «Слово к матери-земли», «Плач», «Заповедное слово Русскому народу»[5]. Вторая часть — «орфическая», представляет собой мистериальное действо, повествующее о возрождении от земной оболочки свободной и бессмертной Души. «Золотое подорожие. Электрумовые пластинки» относится к числу газетных выступлений А. Ремизова,

---

[1] Ср.: «Евбулей есть эпитет Аида и вместе элевсинский герой» (*Трубецкой С., кн.* Метафизика в Древней Греции. М., 1890. С. 97). См. также: *Zuntz G.* Persephone. P. 310—311.

[2] О Дионисе Загревсе см.: *Иванов Вяч.* О Дионисе Орфическом. С. 76—77.

[3] ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 79.

[4] См.: Переписка А. М. Ремизова и Д. В. Философова / Публ. Е. Р. Обатниной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2002 год. СПб., 2006. С. 411; письмо на бланке газеты «Речь».

[5] См. републикацию и комментарий к этим текстам в: *Взвихренная Русь-РК V* (по оглавлению).

которые впоследствии никогда не републиковались в первоначальном виде. Между тем, текст поэмы «О судьбе огненной» вместе с третьей и четвертой («орфической») частями «Золотого подорожия» составили композицию новой поэмы Ремизова «Электрон» (1919). В этой редакции авторские пояснения об электрумовых пластинках, объективирующие археологические источники поэмы, вместе с посвящением неизвестному «П. Б.» были сняты, очевидно, в связи с изменением общей идеи нового произведения.

С. 287. *Электрумовые пластинки* — Подразумеваются атрибуты погребального культа орфиков — представителей религиозной секты в ДревнейГреции и Фракии, создавших мистическое учение, получившее распространение в VI в. до н. э. Найденные археологами в Южной Италии в XIX в. пластинки (или таблицы) были изготовлены из природного соединения золота и серебра (эле́ктрума). Насеченные на них тексты содержали напутствия Душе в ее странствии по загробному миру.

С. 289. *В гроб мой возьму тебя, золотое мое подорожие ~ сохраню ледяное на холодном лбу моем.* — *Подорожие* — в православной традиции — атрибут заупокойного богослужения (отпевания), называемый также «разрешительной» молитвой, «венчиком». «Разрешительная» молитва (моление о даровании усопшему прощения от Господа всех открытых духовнику прегрешений) издревле наносилась на кусок холста или лист бумаги со словами молитвы, оглашаемой священником в самом конце заупокойной службы. Как правило, «разрешительная» молитва сворачивается в свиток и вкладывается в правую руку усопшего, однако известны случаи изменения в каноническом обряде, когда она возлагается на лоб покойному (см.: *Черепанова О. А.* Путь и Дорога в русской ментальности и в древних текстах // Мастер и народная художественная традиция Русского Севера: Доклады III научной конференции «Рябининские чтения-99». Петрозаводск, 2000. С. 312). Молитвенному разрешению от грехов также сопутствует наложение на лоб усопшего «венчика», или «венца», — специальной бумажной ленты с напечатанной на ней молитвой или изображениями святых, которую оборачивают вокруг головы покойника (см.: *Байбурин А., Беловинский Л., Конт Ф.* Полузабытые слова и значения: Словарь культуры XVIII—XIX вв. СПб., 2004. С. 75). Существует и более простая форма венчика — лента с написанными на ней церковнославянскими литерами молитвенных слов — «Святый Боже». Примечательно, что, отождествляя «разрешительную» молитву и «венчик» с «подорожием», Ремизов принимает за основу не каноническую традицию, а порицаемое церковью простонародное поверье, по которому «проходная», или «подорожная» (именно так в народе называлась

«разрешительная» молитва), считалась не столько молитвой об усопшем, сколько «пропуском» для него на тот свет. Ср. толкование, известное по житию Александра Невского, где под разрешительной молитвой понималась «напутственная грамота». При погребении тела благоверного князя Александра Невского в Рождественском монастыре во Владимире было явлено Богом «чудо дивно и памяти достойно». Эконом Севастьян и митрополит Кирилл хотели разжать руку князя, чтобы вложить напутственную грамоту. Святой князь, как живой, сам простер реку и взял грамоту из рук митрополита, хотя был мертв и тело его было привезено из Городца в зимнее время (ср.: Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. СПб., 1997. С. 368).

С. 289. *Все раздвоено: и лицо и дух.* — В соответствии с представлениями орфиков человек от рождения имеет двойственную природу: его разумная душа — божественного происхождения и обращена к идеалу Диониса, а тело — вместилище зла и нечистоты, в котором душа находится как в гробу, или темнице, несет в себе частицы бунтарского титанического духа. Пересказ и интерпретацию этого мифа см.: *Иванов Вяч.* Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. № 4. С. 39—40; № 8. С. 24; *Глаголев С.* Греческая религия. Ч. 1. С. 241; *Гомперц Т.* Греческие мыслители. С. 112.

Забвение будущего. — По верованиям орфиков, душа человека является проводником памяти о подлинной ее родине — потустороннем мире, куда она возвращается, пройдя круг земной жизни. Поэтому «забвение будущего» — это не только утрата связей с другим миром, но и потеря веры в совершенство. Ср. толкование орфических представлений о душе на примере взглядов Плотина: «Плотин отвергает понимание памяти как способности хранить впечатление. Вместо этой теории Плотин принимает взгляд на память, как на потенцию души, как на психическую силу. Наша душа стоит на грани двух миров, и ее восприятие и воспоминания относятся к обоим этим мирам. Вспоминая о предметах умственного мира, душа как бы сама становится ими, переходя из потенции в активное состояние; иными словами, воспоминание о “том” мире есть рост энергии души...» (*Блонский П. П.* Философия Плотина. М., 1918. С. 166).

С. 290. *Затеял довольную сытую жизнь сотворить на земле, хочешь, бессчастный, счастья на горькой земле!* — Аллюзии на популярный в 1910-е гг. комплекс анархо-коммунистических и социалистических идей. К их числу относится эвдемонистическая социалистическая утопия князя П. А. Кропоткина, который в книге «Хлеб и воля» утверждал, будто бы «всякий должен и может быть сытым и что революция победит именно тем, что обеспечит хлеб для всех» (цит. по: *Кропоткин П. А.* Хлеб и воля. Современная наука и анархия. М., 1990. С. 72. Впервые опубл. в 1892 г. на французском языке под на-

званием «La Conquête du pain» (Завоевание хлеба); первое русское издание состоялось в 1902 г. (Лондон; СПб.). Книга неоднократно переиздавалась в 1917 г.). В другом произведении, «Современная наука и анархизм» (1906), Кропоткин указывал на конечную цель человеческого прогресса как обеспечение человечества «наибольшей суммой счастья» (*Кропоткин П. А.* Хлеб и воля. Современная наука и анархия. С. 283).

С. 289. *Остается хрюкать и тонко и толсто — это вернее.* — Метафорический образ существа, выпадающего из любых возможных схем развития — «свиноподобный» человек сближает «Золотое подорожие» со «Словом о погибели Русской Земли», где разворачивается аналогичный коннотативный ряд: «Русский народ, что ты наделал? / Искал свое счастье и все потерял. Одураченный, плюхнулся свиньей в навоз» (цит. по: *Взвихренная Русь-РК V.* С. 409).

С. 290. *...невысоко стоял ты на лестнице...* — Подразумевается знаменитое эволюционистское понятие — «лестница существ» (термин, введенный в употребление в XVIII в. швейцарским натуралистом Ш. Бонне), восходящее к теории Аристотеля. Древнегреческий философ впервые высказал мысль о постепенном, без видимых границ, развитии живых существ от неодушевленных к одушевленным. См.: *Аристотель.* История животных. М., 1996. С. 301—302. Хотя теория Аристотеля и не имела ничего общего с эволюционизмом, однако именно она легла в основу идей Ч. Дарвина.

...еще ниже ступенью спустился... — Очевидная аллюзия к рассуждениям И. Мечникова о человеке в ряду других видов «человекообразных» в его работе «Этюды о природе человека» (1904), пятое, исправленное издание которой вышло в 1917 г. в Москве. Ср.: «...человек представляет <собой. — *Е. О.*> остановку развития человекообразной обезьяны более ранней эпохи. Он является чем-то вроде обезьяньего “урода”, не с эстетической, а с чисто зоологической точки зрения. Человек может быть рассматриваем как необыкновенное дитя человекообразных обезьян, — дитя, родившееся с гораздо более развитым мозгом и умом, чем у его родителей» (цит. по: *Мечников И. И.* Этюды о природе человека. М., 1904. С. 39—40). Сходный тезис Мечников выдвинул и в другой своей работе «Закон жизни. По поводу некоторых произведений гр. Л. Толстого». Ср.: «С точки зрения естественноисторической человека можно бы было признать за обезьяньего “урода” с непомерно развитым мозгом, лицом и кистями рук» (Вестник Европы. 1891. Кн. 9. С. 238).

Быть золотарем, трястись на бочке: в одной руке вожжи, в другой — кусок хлеба... — Значение образа «народ-золотарь» в полной мере можно оценить, обратившись к одному из репортерских очерков В. А. Гиляровского, в котором запечатлена выразительная сценка из

московского уклада жизни: «В темноте тащится ночной благоуханный обоз — десятка полтора бочек, запряженных каждая парой ободранных, облезлых кляч. Между бочкой и лошадью на телеге устроено веревочное сиденье, на котором дремлет “золотарь“ — так звали в Москве ассенизаторов. Обоз подпрыгивает по мостовой, расплескивая содержимое на камни <...>. Один “золотарь“ спит. Другой ест большой калач, который держит за дужку. <...> Бешеная четверка <на которой расположились пожарные. — *Е. О.*> с баграми мчится через площадь по Тверской и Охотному ряду, опрокидывая бочку, и летит дальше... Бочка вверх колесами. В луже разлившейся жижи барахтается “золотарь”... Он высоко поднял руку и заботится больше всего о калаче... Калач — это их специальное лакомство: он удобен, его можно ухватить за ручку, а булку грязными руками брать не совсем удобно» (*Гиляровский В. А.* Соч.: В 4 т. Т. 4: Москва и москвичи. Стихотворения. Экспромты. М., 1989. С. 184—185).

С. 290. *...несчастный мой брат...* — полисемантический образ, в первом слое которого, несомненно, лежит аллюзия к библейскому образу братоубийцы Каи́на. Вместе с тем призыв к «несчастному брату» подразумевает известную множественность контекстуальных прочтений и распространяется, по крайней мере, на двух современников писателя, с которыми его связывали дружеские отношения и общие духовные ценности. Первым среди них был историк русской общественной мысли и литературный критик, идеолог «скифства» — Иванов-Разумник (наст. имя Иванов Разумник Васильевич; 1878—1946). Подробнее о мировоззренческих расхождениях Ремизова и Иванова-Разумника см.: *Мануэльян Э.* «Слово о погибели русской земли» А. Ремизова и идеология скифства Р. Иванова-Разумника // Алексей Ремизов. Исследования и материалы. СПб., 1994. С. 81—88; *Грачева А. М.* «Слово о погибели русской земли» А. М. Ремизова и его критик — Иванов-Разумник // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре: Публикации и исследования. Вып. 2. СПб., 1998. С. 195—207; *Обатнина Е.* «Крылатый» или «земляной»? (К истории творческих взаимоотношений А. М. Ремизова и «скифов») // На рубеже двух столетий: Сборник в честь 60-летия А. В. Лаврова. М., 2009. С. 489—492; *Обатнина Е. Р.* А. М. Ремизов: «битва под Разумником» (к вопросу об авторстве и историческом контексте одного памфлета) // Русская литература. 2013. № 3. С. 188—202. В 1917—1918 гг. также был захвачен «скифскими» настроениями и поэт А. А. Блок. Заслуживает особого внимания тот факт, что его статья «Интеллигенция и революция», датированная 9 января 1918 г., начиналась почти прямыми цитатами из «Слова о погибели Русской Земли» («“Россия гибнет”, “России больше нет”, “вечная память России” — слышу я вокруг себя») (*Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 9), а заклю-

чительный призыв слушать «музыку революции» предварялся упреком, в котором снова угадывается проекция на Ремизова: «Стыдно сейчас надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать над Россией, над которой пролетает революционный циклон» (Там же. С. 18).

С. 290. *...крутящийся самум над родною несчастной равниной...* — Ветхозаветная символика предполагает зловещий образ пустыни как земли «пустой и необитаемой», земли «сухой», земли «тени смертной, по которой никто не ходил, и где не обитал человек» (Иер 2: 6). Соответствует ей и образ самума — сильного жаркого, сухого ветра, появлению которого предшествуют особые природные явления: небо окрашивается в красный цвет, воздух приходит в движение, издалека доносится сильный шум.

Нет в нем и огня попаляющего, всеочистительного... — Аллюзия к образу революции, переданному через метафору очистительного огневого вихря, которым оперировал Иванов-Разумник, резко критикуя авторскую позицию Ремизова в его поэме «Слово о погибели Русской Земли»: «Враждебен ему <Ремизову. — *Е. О.*> этот вихрь — старые, староверские, исконные, дедовские, любимые ценности сметает вихрь этот; и видит он в нем только сор, только пыль, только смрад — и не видит испепеляющего огня, не видит весенних семян» (*Иванов-Разумник.* Две России // Скифы. Сб. 2. Пг., 1918. С. 208). Символ огненного вихря, названный в поэме «самумом», восходит к сочинению А. И. Герцена «Концы и начала» (1862—1863). Размышляя о природе русской революционности 1825 г., философ представлял ее источником некий «огонь», который неожиданным образом разбудит «к новой жизни молодое поколение», духовно очистив «детей, рожденных в среде палачества и раболепия». Причины возникновения этого движения в России казались ему совершенно недоступными для постижения: «Но кто же их-то душу выжег огнем очищения, что за непочатая сила отреклась в них-то самих от своей грязи, от наносного гноя и сделала их мучениками будущего?..» (*Герцен А. И.* Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1986. С. 383—384). Для Герцена желаемое социальное и нравственное обновление Европы и России в 1860-е гг. оставалось всего лишь неясной перспективой, тогда как для его идейного восприемника — историка русской общественной мысли и литературного критика Р. В. Иванова-Разумника идея стихийного социального преобразования в 1917 г. обретала черты зримой реальности. Называя себя, как и Герцен, «скифом», Иванов-Разумник стал одним из авторов мировоззренческой программы, получившей название «скифство». Текст манифеста, построенный на мифологическом образе воинственного и свободолюбивого племени, появился на страницах первого сборника «Скифы» (Пг., 1917), вышедшего из печати в июне 1917 г. Подробнее см.: *Белоус В.* Вольфила [Петроградская Вольная Философская

Ассоциация]. 1919—1924. Кн. 1: Предыстория. Заседания. М., 2005. С. 7—28. Ср. также поэтическое переложение «скифского» мироощущения, транслируемого Ивановым-Разумником, в поэме Ремизова «Огневица»: «А Разумник с пудовым портфелем, как бесноватый из Симонова монастыря. — Это вихрь, — кличет он, — на Руси крутит огненный вихрь. В вихре сор, в вихре пыль, в вихре смрад. Вихрь несет весенние семена. Вихрь на Запад летит. Старый Запад закрутит, завьет наш скифский вихрь. Перевернется весь мир» (*Ремизов А.* Огневица // Дело народа. 1917. № 241. 24 дек. С. 3). Контекст содержит отрицательное отношение Ремизова к поэтизации революционной стихии. Ср. также дневниковую запись Ремизова от 15 сентября 1917 г.: «Россия гибнет от хулиганства. Вечером приходили Разумник и Пришвин <...>. А вихрь выше поднимается. И будет кружиться, темный» (*Ремизов А. М.* Дневник 1917—1921 гг. // *Взвихренная Русь-РК V.* С. 479).

С. 290. *На твоей Голгофе — не одна, есть разные Голгофы*! — Обширная философская тема локализована в символе Голгофы, который указывает на одну из самых актуальных для русской интеллигенции начала XX столетия проблем. Свершение революции трактовалось некоторыми ее представителями как наступление Третьего Завета, требующего своей искупительной жертвы и своей Голгофы. Ср. высказывание Иванова-Разумника в статье «Две России», главным образом критикующей отношение Ремизова к революционным событиям: «...нам — не изменить предначертанного мировой историей крестного пути возрожденного народа к новой исторической Голгофе. Это — горькая чаша, но, по-видимому, неизбежная, нас она не минует; принимая ее, мы не должны забывать однако, что Голгофа для идеи — грядущее ее воскресение “в силе и славе”. И поэтому — будем готовы к дальнейшему тяжелому, тернистому пути, по которому уже идем с самого начала “великой русской революции”» (Скифы. Сб. 2. С. 218).

...на твоем кресте только истребляют. — В контексте мировоззренческих настроений, распространенных среди ближайшего литературного окружения Ремизова эта фраза прочитывается не иначе, как ответное послание писателя к А. А. Блоку, являясь скрытой сигнатурой реальных событий, произошедших 9 января 1918 г. Именно в этот день (когда Блок завершал работу над статьей «Интеллигенция и революция») состоялся памятный для Ремизова телефонный разговор с поэтом. Ср. дневниковую запись: «Разговор с Блоком о музыке и как надо идти против себя. Голгофа! Понимаете ли вы, что значит Голгофа? Голгофа свою проливает кровь, а не расстреливает другог<о>» (*Взвихренная Русь-РК V.* С. 490). Ремизовский пересказ содержит не только изложение точки зрения А. Блока (отрешение от собственного «Я», символически отраженного в концепте «музыка»), но и личную

позицию, отрицающую идею всеобщей Голгофы, которая требует жертвоприношения чужих жизней. Ср. его дневниковую запись от 9 января 1918 г., сделанную после известия об убийстве Шингарева и Кокошкина: «Европа! Старая Европа первая же расплюется с нами за то, что нет самой и первобытной чести. Россия, хочешь осчастливить Европу, хочешь поднять бурю и смести на западе всякие вехи старой жизни. И если так было бы, я не хочу твоего цветущего сада, который насадили окровавленные руки <...>» (Там же. С. 489).

С. 290. *На кручу по кремнистой тропе взбираюсь ~ Сердце мое обожжено.* — Отождествление авторского «Я» с личностью древнегреческого философа из Эфеса — Гераклита, прозванного Темным (544—483 до н. э.). Согласно Диогену Лаэртскому, Гераклит, «возненавидев людей», «удалился» и стал жить «в горах, кормясь бырьём и травами» (*Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. С. 359).

С. 291. *Духу легче, душа высыхает и прояснился мой разум.* — Парафраз фрагмента 118 из Гераклита (в соответствии с нумерацией собрания Г. Дильса, по изд.: *Diels H.* Heraklitos von Ephesos. Berlin, 1909. 2 Auftl.; далее — *Diels: Fr.* с указанием номера). Ср.: «блеск — сухая душа, мудрейшая и наилучшая» (*Фрагменты-Нилендер.* С. 43), а также современный перевод А. В. Лебедева: «Сухая душа — мудрейшая и наилучшая» (Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989. С. 231). Ср. интерпретацию гераклитовской философемы в сочинении современника Ремизова, философа С. Н. Трубецкого: «Душа, по Гераклиту, есть эфирное тело, особого рода огненное испарение или дыхание, аналогичное астральным телам. <...> ...чем чище, “суше” огонь, горящий в человеке, тем он сильнее, божественнее; если он горит не чисто, значит в нем есть земные и влажные частицы: он заглушается плотскими испарениями, дух подавлен и осквернен плотью. “Сухая душа есть самая мудрая и наилучшая” <...>: такая душа владеет своим земным телом и проницает его, сверкает из него, как молния из облаков» (*Трубецкой С., кн.* Метафизика в Древней Греции. М., 1890. С. 252—253). Ср. также толкование этой идеи Гераклита: «...нужно помнить <...> (огонь есть насквозь ум и смысл, и чистый ум есть насквозь огонь). Поскольку огонь сушит, постольку и ум превращает все чувственное, ползучее, неустойчивое, все грязное, липкое, разливающееся в светлое сознание, в чистую мысль, в красоту живого ума, бесконечного и неисчерпаемого, но — цельного, целомудренного, самособранного» (*Лосев А. Ф.* История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963. С. 366).

...налево от дома Аида... — Речь идет о боге Аиде (греч. Aides, также Hades, Aidoneus), владеющем подземным царством мертвых.

С. 291. *...белый стоит кипарис.*— По античной традиции в символическом описании потустороннего мира кипарис (в особенности белолистный) связывался с культом умерших.

К источнику этому даже близко не подходи ~ Дайте напиться воды ключевой из болот Мнемосины! — Для того чтобы вновь приобщиться своей божественной природе, душа должна испить из озера богини Мнемосины (греч. Воспоминание), остерегаясь перепутать этот спасительный источник с водами Леты, растворяющими даже смутное воспоминание о божественном происхождении души. Души, приникнувшие к источнику забвения, возвращаются в круг человеческих смертей и рождений, и вынуждены томиться в страхе и незнании земного существования, даже не помышляя о возвращении на родину. Ср.: «...на фоне учения о переселении душ мифология памяти и забвения меняется. Назначение Леты становится прямо противоположным: ее воды больше не принимают душу, покинувшую тело, дабы заставить ее забыть о земном существовании. Напротив, Лета стирает в душе воспоминания о небесном мире, и та возвращается на землю для перевоплощения. “Забвение” символизирует уже не смерть, а возврат к жизни. Душа, имевшая неосторожность испить из Леты (по выражению Платона, “глоток забвения и зла”, — “Федр”, 248 с.), реинкарнируется и вновь попадает в круг перемен. Пифагор, Эмпедокл и им подобные мыслители, разделявшие учение о метемпсихозе, утверждали, что они помнят о своих прежних жизнях; иными словами, им каждый раз удалось сохранять память» (*Элиаде М.* История веры и религиозных идей. Т. 2: От Гаутамы Будды до триумфа христианства. М., 2002. С. 182).

...к вам, о Царица подземных, Аид, Дионис, добрый советчик... — Речь идет о супруге Аида Персефоне. В религиозно-философской системе орфиков Дионис Загрей — ключевой герой, божество, воплощавшее вечное возрождение мира. Ср.: «Непрестанное обновление мира в процессе жизни и смерти и есть не что иное, как перевоплощение Диониса, близкого каждому человеку независимо от предписаний, законов и сословный установлений» (*Тахо-Годи А. А.* Античная гимнография: жанр и стиль // Тахо-Годи А. А. Varia Historia: Античность и современность. М., 2008. С. 92). Идея обращения жизни и смерти была лаконично выражена Гераклитом на соотнесении имен. Ср.: «Аид и Дионис одно и то же» (*Diels: Fr.* 15; перевод цит. по: *Лосев А. Ф.* История античной эстетики (ранняя классика). С. 347). О культе Диониса Загрея в учении орфиков см. исследование Вяч. Иванова «О Дионисе Орфическом» (впервые: Русская мысль. 1913. Кн. 11. С. 70—98), составившую главу в его книге «Дионис и прадионисийство» (Баку, 1923).

Все же ушла я из тела, из бесконечного скорбного круга... — Ср.: «очистившись вполне, греховная душа может найти милость у Диони-

са — Гадеса и у Коры — Персефоны, она выйдет из круга рождений для того, чтобы соединиться с героями, обращаться около богов и самой стать божеством» (*Глаголев С.* Греческая религия. Ч. 1: Верования. С. 243). Ср. толкование учения орфиков о Душе и ее возвращении на «родину» по тексту петелийской золотой пластинки: «Грех души, по орфикам, — ее личное самоопределение. Она, “дочь Земли и звездного Неба”, содержит в себе божественный огненный разум, частицу растерзанного младенца Загрея: “разум в нас — разум дионисийский и подобие (икона) Дионисово”. Но соткана душа из титанической первоматерии, почему и облекает себя в физическую материю, в “телогроб”. Преступные предки — вместе титаны и все предки вообще, поскольку они преемственно продолжают богоборство титанов. Освобождаются от “круга рождений” и “колеса судьбы” (kyklos tês geneseôs, tes moiras trochos) немногие...» (*Иванов Вяч.* Дионис и прадионисийство. М., 1994. С. 186).

С. 292. *Ты томишься от жажды, как козленок, упавший в молоко.* — Ср. текст подстрочника, легший в основу поэмы Ремизова: «ты стала богом из человека, ты как козленок, упавший в молоко» (ОР РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 11. Л. 2). Символическая формула «козленок, упавший в молоко» среди исследователей орфических оракулов считается одной из самых сложных для понимания. Идея бессмертия человеческой души тесно связана с образом Диониса, способного к «палингенесии» (возрождению) и различным жизненным перевоплощениям. Козленок в этом контексте является денотатом души, возвращающейся к своей божественной, дионисийской природе. Ремизов, расширяя текст-источник словами: «Ты томишься от жажды», очевидно, подразумевает тот момент, когда желанное бессмертие душою уже достигнуто, однако еще не вполне осознано. Согласно древнегреческому мифу, Зевс превратил Диониса в козленка, спасая его от преследований богини Геры. Ср.: «<по Гесихию> культовый термин ἔριφος ὁ Διόνυσος — истолковывается как “Козленок — Дионис”» (*Иванов Вяч.* Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. № 8. С. 18). См. также обзор интерпретаций образа «козленка в молоке»: *Глаголев С.* Греческая религия. Ч. 1. С. 257—259; *Zuntz G.* Persephone. P. 324—327.

О СУДЬБЕ ОГНЕННОЙ
Предание от Гераклита Эфесского

Впервые: О судьбе огненной: Предание от Гераклита Эфесского. Пг.: [Артель художников «Сегодня»], [1918]. Обложка, рис. и клише Е. Туровой.

Прижизненные публикации фрагментов текста: **1.** Как первая часть поэмы «Электрон» (Пб.: Алконост, 1919. С. 7—19; до слов: «На кручу по кремнистой тропе взбираюсь... »); **2.** Как первая часть поэмы «Электрон», опубликованной под названием «О судьбе огненной. От слов Гераклита», в составе сборника А. Ремизова «Огненная Россия» (Ревель: Библиофил, 1921. С. 59—64; до слов: «На кручу по кремнистой тропе взбираюсь... »); **3.** Полный текст под названием «О судьбе огненной. От слов Гераклита Ефесского» (Воля России (Прага). 1926. № 2. С. 19—21, под общим заголовком «Из книги “Взвихренная Русь”», под цифрой IV); **4.** В составе романа «Взвихренная Русь» (Париж: ТАИР, 1927. С. 263—265), под названием «О судьбе огненной. От слов Гераклита Ефесского».

Печатается по тексту первой публикации с сохранением авторской пунктуации.

Возможные тексты-источники: *Фрагменты-Нилендер*; *Блонский П.* Фрагменты Гераклита // Гермес. 1916. № 12. 15 янв. С. 58—67; *Трубецкой С., кн.* Метафизика в Древней Греции. М., 1890 (глава IV: «Гераклит»). Очевидно, Ремизов пользовался обширной библиографией своего времени, охватывающей русские переводы фрагментов из Гераклита и исследования о нем и его философии. Отдельные словоупотребления, стилистические особенности переводов наложили свой отпечаток и на стилистику поэмы. В частности, использование Ремизовым слова «кормчий» («молния — кормчий»), дает основания считать одним из источников поэмы исследование С. Н. Трубецкого, который перевел фрагмент 64 с использованием однокоренного слова «окормляет», в отличие от всех других переводов. Ср.: молния — «рулевой» (*Фрагменты-Нилендер.* С. 25), «всем правит Молния» (*Маковельский А.* Досократики. Первые греческие мыслители в их творениях, в свидетельствах древности и в свете новейших исследований: Историко-критический обзор и перевод фрагментов, досократического и биографического материала. Часть первая (Доэллатовский период). Казань, 1914. С. 64; *Блонский П. П.* Фрагменты Гераклита. С. 61); «Молния точно рулевой, направляет все» (*Церетели Г. Ф.* Фрагменты Гераклита // Таннери П. Первые шаги древнегреческой науки / Пер. Н. Н. Полыновой, Г. Ф. Церетели, С. И. Церетели, Э. Л. Радлова. СПб., 1902. С. 61). Однако следует признать, что перевод В. Нилендера, его предисловие и комментарии к тексту «Фрагментов» могли стать для поэмы Ремизова базовыми, поскольку отражали символистский модус мировоззрения и соответствующие ракурсы толкания философии Гераклита[1].

[1] См. указание на этот источник поэмы в заметке М. Безродного «Об источниках книги “Электрон”» (Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 155).

Поэма «О судьбе огненной. Предание от Гераклита Эфесского» создавалась в начале марта 1918 г., что подтверждается пометой на рукописи главы «Знамя борьбы» («Взвихренная Русь»), датированной 26 февраля (11 марта по новому стилю): «Кончил “о судьбе огненной — от слов Гераклита Ефесского” (темного)» [1]. Биография писателя конца 1917 — начала 1918 гг. позволяет также раскрыть полемический контекст, следствием которого стало создание поэмы, получившей эсхатологическое звучание, центральным образом которой стал «Огонь-судия». В декабре 1917 г. на страницах второго сборника «Скифы» появилась статья Иванова-Разумника «Две России» с гневной отповедью писателю по поводу идейного содержания его поэмы «Слово о погибели Русской Земли», напечатанной в этом же номере. Иванов-Разумник обвинял Ремизова в реакционном и даже контрреволюционном отношении к революционной стихии, которую образно сравнивал с огненным вихрем, уничтожающим старый мир и расчищающим пути к преображенному, путь к которому лежит через испытания и страдания (Голгофу) (см. цитату в комм. к с. 290). В ответ, в марте 1918 г., Ремизов опубликовал книгу «О судьбе огненной», в которой выдвинул собственное понимание огненной стихии, основанной на гераклитовской идее апокстаза — огневой катастрофы, в результате которой погибает вселенная, а вместо нее рождается не преображенный мир, заслуженный ценою голгофских страданий, а совершенно новый. Поэма Ремизова отразила перестройку взглядов Ремизов на историческую действительность. Этот ракурс был неотделим от позиции онтологического фатализма.

Для печатной истории этого произведения примечателен текст инскрипта Ремизова, оставленный им на авантитуле первого издания: «Появился Натан Венгров. Затеял издание “маленьким”, а заодно и слово Гераклита. В марте 1918 г. писалось оно <...>» [2] Упоминание имени писателя Н. Венгрова (наст. имя Моисей Павлович; 1894—1962) связано с деятельностью артели «Сегодня» — творческого объединения, возникшего в феврале 1918 г. по инициативе художников-авангардистов (В. Ермолаевой, Н. Альтмана, Ю. Анненкова, Н. Лапшина, Е. Туровой), которые предложили литераторам Н. Венгрову, Е. Замятину, И. Соколову-Микитову, С. Есенину, М. Кузмину, С. Дубновой и А. Ремизову издавать их произведения малых форм, написанные, в том числе и для детей, с иллюстрациями в технике гравюры и литографии. Смелость затеи состояла, прежде всего, в том, что в первый

---

[1] См. описание рукописных источников романа А. В. Лаврова в кн.: *Взвихренная Русь-РК V*. С. 563.

[2] ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 81. См. также: *Волшебный мир Алексея Ремизова*. С. 20.

пореволюционный год вся издательская деятельность оказалась практически парализована отсутствием денежных средств для выпуска многотиражной печатной продукции при помощи фотомеханических и цинкографических способов печати. Художники артели «Сегодня» вручную изготавливали линогравюрные и цинкографические доски, непосредственно с которых производилась печать небольшого тиража, не превышающего 100—125 экземпляров книг. Очевидно, что возврат к архаическим техникам печати объективно был вызван экономическим коллапсом. Остановка печатных станков подтолкнула художников к поиску нового образа печатной иллюстрированной книги. Архаический стиль гравюр Е. Туровой, перекликавшийся с новаторскими поисками футуристов 1910-х гг., органично соответствовал поэтике текста Ремизова, основанного на изречениях древнегреческого философа. Нельзя не заметить, что, благодаря удачному стечению обстоятельств, первое издание поэмы как произведения, отразившего новую ступень в мировоззрении писателя и существенные преобразования его личной авторской стратегии, направленной на обновление художественных приемов, получило именно авангардное обличие в исполнении артели «Сегодня». Это совпадение внешней и содержательной форм сложилось в художественный артефакт, свидетельствующий об эстетической чуткости писателя и оформителя, творчеством отзывающихся на эпохальные события переживаемой реальности.

С. 295. *Огонь последний судия — все судит и все разрешает.* — Fr. 66: «ибо все огонь, когда придет, рассудит и возьмет себе» (*Фрагменты-Нилендер.* С. 25)[1].

Персть — (церк.-слав.) прах, земля, вещество, материя, противоположно духу. Ср. : «И созда Бог человека, персть [взем] от земли, и вдуну в лице его дыхание жизни: и бысть человек в душу живу (Быт 2: 7). Ремизов употребляет слово персть в значении «материя».

А молния — кормчий. — *Diels: Fr.* 64. Ср. перевод В. Нилендера, близкий по семантическому значению, вкладываемому в определение функции молнии в эсхатологии Гераклита: «говоря так: “а рулевой всего — Молния”, то есть она направляет все — говоря, что вечный огонь — молния. И еще говорит, что этот огонь разумен, и что он причина всего миропорядка...» (*Фрагменты-Нилендер.* С. 25). Ремизов

[1] В построчном комментарии к тексту поэмы далее ссылка на фрагмент из Гераклита дается в соответствии с нумерацией собрания Г. Дильса, по изд.: *Diels H.* Heraklitos von Ephesos. Berlin, 1909 (2 Aufl.); далее — *Diels: Fr.* с указанием номера). Именно этим изданием пользовался В. Нилендер для своего перевода «Фрагментов» (М., 1910; далее — *Фрагменты-Нилендер*, с указанием страницы).

использует устар. слово — кормчий, которое также имело переносное значение «мудрый руководитель». Однокоренное слово «окормлять» использовал в своем толковании первоначала Огонь, обращаясь, в частности, к данному фрагменту, С. Н. Трубецкой. Ср.: «...Гераклит учил о конечном воспламенении всей вселенной, о погружении всех стихий в огонь, из которого, впрочем, долженствует возникнуть новый мир. «Огонь придет внезапно, все рассудит и все возьмет, ничто не укроется от него, ибо он никогда не заходит: ибо “молния окормляет мир”» (*Трубецкой С. Н.* Метафизика в Древней Греции. С. 229). Слово «окормлять» в православной традиции несет в себе смысл духовного наставничества, питающего мудростью и открывающего подлинное значение явлений бытия.

С. 295. *...противоборствующее — соединяет, а разнообразие — преображает в гармонию, гармония возникает из борьбы.* — *Diels: Fr.* 8: «“противоборствующее — соединяющее” и “из разнообразия — прекраснейшая гармония“ и “все бывает благодаря распре”» (*Фрагменты-Нилендер.* С. 7).

...война ~ указует судьбу рабов и свободных.— *Diels: Fr.* 53. Ср. перевод С. Н. Трубецкого: «Война — отец всего, царь всего: одних оказала богами, других — людьми, одних свободными, других — рабами» (*Трубецкой С. Н.* Метафизика в Древней Греции. С. 229).

С. 296. *Вечная распря — война движет весь мир...* — *Diels: Fr.* 80: «но должно понять, что война есть общее и что правда — распря, и что все рождается благодаря распре и необходимости» (*Фрагменты-Нилендер.* С. 31).

Ослы солому предпочтут золоту. — *Diels: Fr.* 9: «ослы солому предпочтут — не золото» (*Фрагменты-Нилендер.* С. 7).

Люди, звери и камни родятся ~ Всякий гад бичом Бога пасется. — *Diels: Fr.* 11: «а животные — и дикие, и домашние, и питающиеся и в воздухе, и на земле, и воде и рождаются и развиваются, и погибают, повинуясь уставам Бога: “ибо всякий гад бичом ”Бога” пасется”» (*Фрагменты-Нилендер.* С. 15).

Разорение права — пожар. И его ты залей скорей, чем пожар! — Авторская интерпретация. Ср. *Diels: Fr.* 43: «преступление должно тушить скорей, чем пожар» (*Фрагменты-Нилендер.* С. 19). Ср. также перевод А. Ф. Лосева, который указывает, что слово hybris «по-гречески имеет более активный смысл», соответственно в его версии фрагмент звучит как «наглость нужно тушить скорее, чем пожар» (*Лосев А. Ф.* История античной эстетики (ранняя классика). С. 377).

Да станет народ за право, как за родные стены! — *Diels: Fr.* 44: «народ должен сражаться за закон, как за стены» (*Фрагменты-Нилендер.* С. 19).

С. 297. *...великое единство пути! вверх и вниз, спасения и гибели! — Diels: Fr.* 60. Ср.: «путь вверх и вниз — один и тот же самый» (*Фрагменты-Нилендер.* С. 23).

Кто тебя минует ~ свиньи в золоте, куры, купающиеся в пыли и золе. — Авторская интерпретация изречения Гераклита (*Diels: Fr.* 38). Ср.: «если только верить Гераклиту ефесскому, который говорит, что “свиньи в грязи, а дворцовые куры в пыли и золе купаются”» (*Фрагменты-Нилендер.* С. 17).

О, судьба! О, всемогущая! — О доминантном значении судьбы как онтологического первоначала в философских воззрениях Гераклита писал А. Ф. Лосев: «Специфика Гераклита — в трагическом пафосе веры в то, что одновременно есть и мировая война, и правда, и необходимость, и огонь, и судьба. Но в то же время это — и “гармония”...» (*Лосев А. Ф.* История античной эстетики (ранняя классика). С. 378).

ЭЛЕКТРОН

Впервые: *Ремизов А.* Электрон. Пб.: Алконост, 1919. 32 с.

Прижизненные издания: в составе сборника А. Ремизова «Огненная Россия» (Ревель, 1921. С. 59—68), под названием «О судьбе огненной. От слов Гераклита <sic!>», с датировкой «III. 1918» — вариант полного текста (изменение названия, разбивка текста на две части посредством астериска).

Печатается по тексту первой публикации с сохранением авторской пунктуации.

Поэмы «О судьбе огненной. Предание от слов Гераклита Эфесского» и «Золотое подорожие. Электрумовые пластинки» (первая полностью, вторая — только третья и четвертая «орфические» части) образовали текст поэмы «Электрон», которую издательство «Алконост» выпустило в 1919 г. отдельной книгой. О рождении замысла нового произведения свидетельствует письмо Ремизова к И. А. Рязановскому от 18 июля 1918 г.: «Затеял я предложить издать О судьбе огненной и Золотое подорожие (не все, конечно, начиная, <со слов. — *Е. О.*> как восходит на гору). Что вы скажете, если назвать Электрон? а какой подзаголовок? (он должен разъяснять содержание)» (ОР РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 33. Л. 1). Сохранившийся авторский макет «Электрона», датированный 1918 г. (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 34), показывает, что изначально книга задумывалась как сборник, который должен был включать в себя два отдельных произведения: поэму «О судьбе огненной. Предание от Гераклита Эфесского» и усеченный вариант поэмы «Золотое подорожие. Электрумовые пластинки» (только тре-

тья и четвертая части)[1]. Это подтверждается и содержанием последнего листа макета, на котором приводится состав книги с постраничной последовательностью двух текстов. Однако в конечном итоге Ремизов принял решение соединить два разноприродных текста в единое целое и внес в макет соответствующую правку, сняв название второго произведения — «Золотое подорожие». Кроме того, текст получил разделение на две части (через астериск) — первая гераклитовская, вторая — орфическая. В результате изменилась концепция замысла — вместо сборника возникло новое поэтическое произведение. На обложке правленого макета появился основной заголовок: «Алексей Ремизов. Электрон. Петербург. 1918 г.» и подзаголовок — «О судьбе огненной. От слов Гераклита Эфесского». В окончательной редакции писатель оставил только одно заглавие — «Электрон», а также внес незначительную дополнительную правку, в частности связанную с организацией текста таким образом, чтобы каждая строфа (изречение, восходящее к «Фрагментам» Гераклита, или последовательное напутствие орфических оракулов с описанием каждого этапа пути Души в загробном мире) оказалось бы набрано на отдельной странице. Новое заглавие семантически было соотнесено с латинским словом «эле́ктрум», означающим «сплав золота и серебра», которое, в свою очередь, восходит к подзаголовку поэмы «Золотое подорожие». Выбирая название для новой поэмы, Ремизов остановился на греческом эквиваленте электрума — электроне. В результате контаминации текстов двух поэм возникло произведение, объединившее две разработанные писателем темы — онтологическую, основанную на философских максимах Гераклита, и «орфическую», содержащую переложение древнегреческих оракулов о бессмертии Души.

История выхода в свет поэмы «Электрон» была сопряжена с трудностями, возникшими в связи с цензурным запретом, который был наложен в начале июля 1919 г. Петроградским Комиссариатом по делам печати, агитации и пропаганды на целый ряд произведений, включенных в производственные планы издательства С. М. Алянского «Алконост». Этот один из первых прецедентов идеологического воздействия на писательскую интеллигенцию со стороны советской власти был описан в брошюре П. Витязева, вышедшей на правах ру-

[1] Соответственно, без пролога («В гроб мой возьму тебя, золотое мое подорожие») и первой части («И горечью и омерзением вся душа моя...»); поэма должна была начинаться строфой: «На кручу по кремнистой тропе взбираюсь...», т. е. собственно текстом, содержащим орфические оракулы. Кроме того, здесь оказались снятыми посвящение «П. Б.» и ссылка на древнегреческие тексты-источники электрумовых пластинок.

кописи в 1921 г. В частности, хроникер книжного дела при новом строе опубликовал письмо А. М. Горького, направленное 9 июля 1919 г. комиссару по делам печати и пропаганды в Петрограде М. И. Лисовскому. Вступаясь за новое издательство, Горький прежде всего обращал внимание чиновника на актуальность и культурную значимость ремизовского «Электрона» наряду с философскими работами Андрея Белого «Кризис культуры» и Конст. Эрберга «Цель творчества», а также поэмой Вяч. Иванова «Прометей», оставшихся в истории литературы важными вехами пореволюционной эпохи. «Все они, — писал Горький, — имеют серьезное значение как попытка группы литераторов разобраться в ее отношении к действительности <...>» (цит. по: *Витязев П.* Частные издательства в Советской России Пг., 1921 (На правах рукописи). С. 20). Книга «Электрон» вышла в конце 1919 г., оформление ее обложки было выполнено по эскизу Ремизова.

«Электрон» является в своем роде инвариантом предшествующих текстов, возникшим в процессе мучительного перестроения в мировоззрении писателя. Однако, пожалуй, ни один из современных критиков не почувствовал философской глубины поэмы. Более того, практически никто из рецензентов не раскрыл прямых текстов-источников этого произведения. В частности, в коротком отзыве В. Я. Брюсова было выражено лишь внешнее впечатление, указывающее на трудность восприятия поэтического текста: «“Электрон” А. Ремизова написан тщательно и вдумчиво; это ряд “мыслей”, изложенных ритмической прозой; но, во всяком случае, книжка для весьма ограниченного круга читателей» (*В. Б. <Брюсов В. Я.>*. А. Ремизов. Электрон. Пг. 1919 // Художественное слово. 1920. Кн. 1. С. 57). Общая невежественность других рецензентов даже породила довольно курьезные отзывы. В своем инскрипте 1923 г. на издании поэмы «О судьбе огненной. Предание от слов Гераклита» (Пг., [1918]) Ремизов упоминает о критических откликах, затронувших не столь поэму «О судьбе огненной» и ее расширенную редакцию — поэму «Электрон», сколь, собственно, изречения Гераклита: «Какой-то шутник в “Летоп<иси> Дом<а> Литераторов” не одобрил, тоже и здесь некий «Дроздов» поругал в “Рус<ской> книге” — — Гераклита Эфесского <...>» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 81). Действительно, среди редких откликов на поэмы Ремизова по легковесности литературных оценок выделялись два. Один, написанный по поводу издания «Электрона», принадлежал А. Е. Кауфману, был напечатан не в «Летописи Дома Литераторов», как запомнилось Ремизову, а в «Вестнике литературы». В частности, критик, прибегая к цитатам из текста, интерпретировал авторский замысел, не догадываясь, что поэма основывается на переложении «Фрагментов» Эфесского мудреца и культовых текстов орфиков, начертанных на «золотых таблицах», сопровождавших покойного в загробный мир:

«Эта маленькая, изящно-изданная книжечка производит странное впечатление. По-видимому, А. Ремизов хотел в “стилизованной” архаической форме изобразить мистическое стремление души освободиться от “одеяния плоти” и слиться с “бессмертными богами”, но в действительности, ему удалось всего только придумать несколько образов, которые, однако, так и остались несоединенными в одно стройное целое и продолжают жить каждый своей самостоятельной жизнью. Эту независимость образов друг от друга А. Ремизов даже подчеркивает, предоставляя каждому по отдельной странице. Так, напр., вся 23-я страница занята четырьмя строчками: «На кручу по кремнистой тропе взбираюсь — Тучи несутся под ветром по холодному небу. И как пеленутый дым, лица плывут». <...>, 32-я — всего на всего пятью словами: “Радуйся ныне! Радость твоя беспредельна”». Неожиданный и действительно полисемантический образ «козленка в молоке», некогда интерпретируемый Вяч. Ивановым в исследовании «Эллинская религия страдающего бога» (1904), настолько завел автора рецензии в тупик, что ему не оставалось ничего лучшего, чем закончить статью сомнительной иронией: «Странствия души с “козленком в молоке” вполне подходящий заключительный аккорд этой, не в добрый час написанной талантливым автором “Посолони”, надуманной книги» (*А. <Кауфман А. Е>*. Алексей Ремизов. Электрон. Изд. Алконост, II. 1919 г. 32 стр. Ц. 12 р. // Вестник литературы. 1920. № 2 (14). С. 9). Другой отзыв, появившийся уже на страницах эмигрантской печати, был подписан критиком и беллетристом А. М. Дроздовым, который в 1921 г. возглавлял редакцию берлинского литературно-художественного и общественного журнала «Сполохи». Дроздов также, как и его петроградский коллега, не только не обратил внимания на философский подтекст поэмы «Электрон», но заведомо подошел к творческой личности Ремизова с шаблонными мерками, благодаря которым в современной литературе писателю была отведена ниша сказочника, «апокрифиста», культивирующего русскую народную речь: «Самое сладкое в писателе этом — любовь к народному языку, и самое опасное в нем — частая напыщенность, нарочитая и выдуманная, от этой любви проистекающая. Впечатление такой нарочитости оставляет и отчетная книжечка. Ремизов вещает, а глас у него не вещий, пророчит, а глубинности пророческой нет и в помине. “Электрон” построен на ряде изречений, вещаний, что ли, по форме напоминающих евангельские тексты, что пишутся на церковных фресках. “Последнее испытание через огонь. Огнем очищается перст. А молния — кормчий”. “О, судьба! О, всемогущая! О, великое единство пути!” “Радуйся ныне! Радость твоя беспредельна”. Дремуче, как в лесу» (*А. Др. <Дроздов Н. М.>* Алексей Ремизов. Электрон. Изд. «Алконост». Петербург, 1919 г. 32 стр. // Русская книга (Берлин). 1921. № 3. С. 21).

ШУМЫ ГОРОДА

Впервые: Шумы города. Ревель: Библиофил, 1921. 176 с.

Большинство рассказов сборника первоначально печатались в периодических изданиях (за исключением цикла «Современные легенды» и рассказов «Голодная песня», «Находка», «Панельная сворь», «Свет слова», «Жизнь несмертельная»). Три рассказа («Два старца», «Змея» и «Панна Мария») составили цикл «Из “Семидневца”» в ж. «Записки мечтателя» (1921. № 2/3).

12 рассказов сборника вошли в книгу «Взвихренная Русь» (Париж: Таир, 1927): «Искры», «Рука Крестителева», «Святой ковчежец», «Белое сердце», «Четвертый круг» в составе цикла «Современные легенды»; рассказ «Находка» в цикле «На даровых хлебах»; рассказы «Звезды», «Свет слова», «Заборы», «Панельная сворь» в цикле «Шумы города» и рассказы «Голодная песнь» и «Четвертый круг» вне циклов. Подробнее см.: *Взвихренная Русь-РК V.* С. 3—398, 558—588.

Две сказки, «Ефим плотник» (под заглавием «Дар») и «Находка», были включены в книгу «Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым» (Берлин: Изд. З. И. Гржебина, 1923).

Печатается по первой публикации сборника.

Книга «Шумы города», включавшая 28 текстов, вышла в издательстве «Библиофил» (Таллинн, 1921—1922), основанном знакомым Ремизова — Альбертом Георгиевичем Оргом (1886—1947) — эстонским консулом в Петрограде. В 1921 г. Орг помогал Ремизову вывезти рукописи неизданных произведений и личные документы из Советской России.

На книге, подаренной Ремизовым в 1947 г. Н. В. Кодрянской, сохранилась надпись, адресованная С. П. Ремизовой-Довгелло и датированная 1922 г.: «Первая, изданная после долгих годов, книга и так нехорошо, а положена в книгу запись, что за годы труднейшие удалось сохранить по живой памяти. Все это ты знаешь, а белая бабушка с твоих слов. Ну вот, деточка — пасмурный нынче день, к<а>к осенний — Алексей Ремизов. Charlottenburg. 12. VII. 1922» (*Волшебный мир Алексея Ремизова.* С. 21)

Критик Яр. Воинов в рецензии на сборник писал: «Слово Ремизова — огненное слово, боль живая. “Шумы города” <...> — отражение Петрограда под большевиками. Одна-другая фигура советской повседневности: прохожий, трамвайная старушка, красноармеец, девчонка с улицы, слепой, старый китаец, обессилевшая в борьбе с жизнью мать, собака “продработника” — фигуры, незначительные сами по себе, дают писателю повод нарисовать неприкрашенную картину действительности и рядом с нею вызвать к жизни незабываемые по силе душевного протеста, яркие, звездные слова-мысли. Мысли того, кто,

согнувшись под тяжестью “мерзлой съедобной гнили”, остался человеком, чей “дух, если и бодр еще чем-нибудь, то скорбью, связывающей его с миром”». Рассматривая разделы сборника «Семидневец» и «Сказки», критик отметил «яркую фабулу», «мягкий, как ласка ребенка, и острый, как бич, колоколом звонкий язык». В заключение он подчеркнул: «в любом ремизовском образе, даже таком, который внешне как будто и чужд России, Она, Россия, — на первом месте. Читая “Шумы города”, словно приоткрываешь дверь к родному, неизменно близкому, улыбаешься русской улыбкой и слезу смахнешь тоже русскую» (Последние известия (Ревель). 1921. № 268. 5 нояб. С. 3). С. Сумский противопоставил «Шумы города» произведениям о революционной России «лубочно упрощенным», являющимися «политическим, а не художественно-синтетическим отражением действительности». «Большая внутренняя правда, художественное описание не революции вообще, а собственного и народного опыта в революции — составляет самое ценное в новых произведениях А. М. Ремизова» (Новая русская книга (Берлин). 1922. № 1. С. 18—19). Критик под псевдонимом П. Ш., называя Ремизова «крупным представителем современной русской литературы», утверждал, что искать в сборнике «какой-то политики было бы напрасным трудом: в этой книге Ремизов художник слова и только художник». «Произведения, вошедшие в сборник “Шумы города”, очень разнообразны по своему характеру. <...> Но среди этого кажущегося хаоса отчетливо выделяется редкостная художественная индивидуальность автора. О чем бы он ни рассказывал, всюду чувствуется его стиль, его подход к сюжету. <...> Ремизов не руководит своим художественным талантом, а отдается на волю его. Он идет туда, куда влекут его представшие перед ним образы. И вместе с образами им владеет слово. В современной русской литературе нет ни одного писателя-художника, который так любил бы слово и так отдавался очарованию слова, как Ремизов. <...> Да, рассказы Ремизова “разноладны”. Многое в них условно, многое возможно именно только в его рассказах. Но Ремизов этим нисколько не смущается. В его творчестве царят не законы неумолимой действительности, не обыденность вседневной суеты, а свои, совершенно особые, только одному ему свойственные, то властные, то чуть слышные мотивы. Действительное незаметно переходит в чудесное и чудесное вдруг облекается в плоть и кровь»; «...всюду, где его перо касается советской действительности, слышатся те же тона: боль и скорбь» (Руль (Берлин). 1922. № 396. 5 марта. С. 6). В газете «Новое время» (Белград) критик, скрывшийся под литерой «С.», назвал Ремизова «слишком плодовитым, а потому и небрежным писателем», «манерным в смысле и содержания и стиля, в своих словечках идущим дальше Лескова и Максимова». Причину успеха произведений писателя в эмигрант-

ской среде он увидел в «тоске по утраченной родине, которую Ремизов так любит, так ценит и так понимает не только в ее настоящем, но и в далеком прошлом. <...> Ремизов влюблен в русский язык и крепко верит в мощь своей родины». «“Шумы города” — рассказы о большевичьем Петрограде <...>. Но и тут Ремизов постоянно возвращается к милой старине, например, в рассказах, собранных им у ворот “Семеновского скита” на Васильевском острове, на ночных дежурствах в тревожные для Петербурга весну и осень 1919 г.» (Новое время (Белград). 1922. № 454. 29 окт. С. 5). И. Василевский (Не-буква) в своей статье «Хихиканье в уголке» назвал «Шумы города» одной «из наиболее человеческих книг» Ремизова и предложил «всмотреться в психику автора, его манеры и приемы». Разбирая рассказы из «Семидневца», критик увидел признаки «странного желания автора поиздеваться над читателем». «Иона Благолепов над нами не издевается. У него, Ионы, и правда, других слов, кроме “тура честнейшей матери”, не было. У Ал. Ремизова они есть. Но пользоваться ими он не хочет!» «Всеми силами, всеми мерами старается он выразить свое презрение к нам, поиздеваться над нами. <...> Рассказ за рассказом, тема за темой — одного тембра, одного калибра. Как будто нарочно, сознательно и обдуманно издевается автор над читателем, выбирая свои темы и образы». Далее критик утверждал: «...тот изумительный подбор тем и образов, какой раскрывается» в книге «Шумы города» «ярко свидетельствует о какой-то болезни. <...> “Страшной болезнью, болезнью Иронии поражено наше поколение”, — говорил и писал перед войной Александр Блок. Болезнь иронии воистину страшная болезнь <...> ирония отрицает самую жизнь, ее гармонию и торжественность, ее лад и высокую настроенность. <...> Когда я читаю рассказы Ал. Ремизова о старцах, которые так и не сумели отличить отрока от отроковицы, “о куриной архиерейской части” вместо носа, о Ионе, который так эффектно обложил матом достопочтенных членов съезда, о “жидкости из уборной”, по которой сразу “не отличить жильца”, или о магической собаке, которая из десяти фунтов без всяких приспособлений приготовляет двадцать фунтов, — я так и вижу перед собой двойник Робкого Человека (странная эта робость), который весело потирает руки и беззвучно хихикает, и издевается надо мной, читателем». «Какой жуткий способ “делиться ласковым словом” избрал для себя Ал. Ремизов, какой безнадежный путь определяет он трогательными словами “Сердце к сердцу и уста к устам”», — заключил критик (Накануне. Лит. прил. (Берлин). 1922. № 33. 31 дек. С. 13—15).

Голодная песня

Впервые опубликовано: *Шумы города*. С. 7—10.
Прижизненное издание: *Взвихренная Русь*. С. 248—251.

С. 309. *В Прощеный день по обедне... — Прощеный день* (Прощеное воскресенье) — последний день перед Великим постом. *Обедня* — богослужение, совершаемое в христианских храмах утром или днем.

С. 310. *На углу Полтавской...* — Полтавская улица в Петербурге, проходящая от пр. Бакунина до Миргородской ул., пересекает Невский проспект.

...сметием всяким... — Сметие (*сметьё*) — сор, мусор (обл., новгор.).

...из поднебесной страны... — Поднебесная — первоначально китайское обозначение всего мира, позднее — территории, подвластной китайскому императору. В древности китайцы считали свою страну лежащей под небом в центре земли.

С. 311. *...последнее у нас окно вот-вот захлопнут.* — Отсылка к фразеологизму: «окно в Европу». Восходит к цитате из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» (1833): «Природой здесь нам суждено / В Европу прорубить окно».

Понимаешь ли ты... ~ который тяжелее золота и горячее огня... — С некоторыми разночтениями этот фрагмент вошел в неопубликованный при жизни Ремизова памфлет под названием «Вонючая торжествующая обезьяна...» (*Взвихренная Русь-РК V*. С. 535; 652—656).

Современные легенды

Искры

Впервые опубликовано: *Шумы города*. С. 13—14.

Прижизненное издание: *Взвихренная Русь*. С. 238—239.

С. 312. *Тяжко на разоренной земле. Родина моя! Душа изболела.* — Ср. запись в дневнике от 16—20 мая 1917 г.: «Все эти дни в тревоге и заботах. А что бывает на святой Руси — смутно на душе за нее и больно» (*Взвихренная Русь-РК V*. С. 436).

Если бы были такие могилы, куда бы клали живых, — я бы лег. — Ср. дневниковую запись от 8 апреля 1917 г.: «Нет таких могил, ч<то>б<ы> живых клали, а то бы лег» (Там же. С. 434).

Душа не *струпелая... — Острупелая* — покрытая струпьями, то есть сухими корками, образованными на ранах, ожогах свернувшейся кровью.

...хочет воплотить не бывшее... — Ср. в стих. Блока «О, я хочу безумно жить...» (1914): «Несбывшееся — воплотить!»

...как плясица-птица... — Плясица — то же, что плясунья.

I. Рука Крестителева

Впервые опубликовано: Новый вечерний час. 1917. № 2. 30 дек.

Прижизненные издания: *Шумы города*. С. 15—16; *Взвихренная Русь*. С. 239—241.

С. 313. *Как-то до Николы еще...* — Церковный праздник Святителя Николая Чудотворца, Николин день, отмечается 22 мая (Никола Вешний) и 19 декабря (Никола Зимний).

...рука-то Предтечи в Зимнем дворце у нас... ~ Вот какой долгий путь до Невы-реки. — *Антиохия* — город в римской провинции Сирия (на территории современной Турции). Четвертый по величине город Римской империи. В IV—VII вв. входил в состав Византии. Согласно некоторым древним церковным источникам, в Антиохии родился евангелист Лука. *Самари́я* — историческая область Израиля, названная по одноименному городу. В Новом Завете — это область самарян, которая вместе с Иудеей и Галилеей образовала римскую провинцию Палестина. По преданию, Лука взял в Антиохию частицу мощей Иоанна Предтечи — его правую руку (десницу), крестившую Христа. Потом она была перевезена в Константинополь (Царьград). 12 (25) октября 1799 г. нетленная рука была преподнесена Павлу I рыцарями Мальтийского ордена в Приоратском дворце Гатчины. Хранилась в соборе Спаса Нерукотворного (Большая церковь Зимнего дворца) в Петербурге. В 1918 г. реликвия была вывезена из России. Ныне десница Иоанна Крестителя хранится в церкви Рождества Богородицы Цетинского монастыря (Черногория).

...когда велел Юлиан тело сжечь Крестителево... — По преданию, римский император Юлиан Отступник приказал сжечь тело Иоанна Предтечи, лишенное головы и правой руки.

II. Святой ковчежец

Впервые опубликовано: Новый вечерний час. 1917. № 2. 30 дек. (под загл. «Свет во тьме светит»).

Прижизненные издания: *Шумы города.* С. 17—18; *Взвихренная Русь.* С. 241—243.

С. 314. *Святой ковчежец* — маленький ящик или ларец для хранения религиозных реликвий, чаще всего мощей святых.

...начнет турусы свои. — *Турусы* — пустые разговоры, болтовня.

...разве на Смоленское. — Имеется в виду Смоленское кладбище в Петербурге, расположенное на Васильевском острове возле реки Смоленки.

....возвращаясь из Озерков... — *Озерки* — исторический район на севере С.-Петербурга. Одноименная железнодорожная станция находится на участке С.-Петербург—Выборг.

...вознесен был на руки ~ спутали с кем-то из эмигрантов, возвращавшихся с тем же поездом из-за границы. — Ср. сходный эпизод в цикле «Всеобщее восстание»: «В Турке опознан был известный Бардадьан Алексей Георгиевич, которого ожидали из Женевы. Турку вытащили из вагона <...> и на руках понесли через весь вокзал к автомо-

билю, окруженному сочувствующей толпой» (Эпопея. 1922. № 2. Сент. С 88).

С. 314. *...и бородка зайцева.* — Намек на сходство с внешностью писателя Б. К. Зайцева (1881—1972).

С. 315. *...в великую пятницу... — Великая пятница* (также Страстная пятница) — пятница Страстной недели (Страстной седмицы), посвященная памяти о распятии и погребении Христа; день строжайшего поста.

III. Белое сердце

Впервые опубликовано: Новый вечерний час. 1918. № 25. 16 (3) февр. (с подзаголовком «Современная легенда»).

Прижизненные издания: *Шумы города.* С. 19—23; *Взвихренная Русь.* С. 243—247.

С. 316. *...стояли мы на углу 9-й линии...* — Имеется в виду 9-я линия Васильевского острова в Петербурге. Ремизов с 1917 г. жил по адресу: 14-я линия, д. 31.

...а бабушке путь в Новую деревню. — Новая деревня — местность в северо-западной части Петербурга, на правом берегу Большой Невки, напротив Каменного острова. О «бабушке» на шмуцтитуле книги «Шумы города», подаренной С. П. Ремизовой-Довгелло, Ремизов надписал: «...а белая бабушка с твоих слов, ну вот, деточка — пасмурный нынче день, к<а>к осенний...» (*Волшебный мир Алексея Ремизова.* С. 21)

С. 317. *...под Ковно. — Ковно* (ныне Каунас) — второй по величине город в Литве. С 1842 по 1917 г. был центром Ковенской губернии Российской империи.

С. 318—319. *...одна женщина в Москве сон видела. ~ в одной руке — скипетр, в другой — земля. — Саваоф* — одно из библейских наименований Бога. *Коломенское* — подмосковное село на реке Москве к югу от Москвы; царская резиденция. В Коломенском находится церковь Вознесения Господня, воздвигнутая, по легенде, в честь рождения Ивана IV Грозного, наследника Василия III (освящена в 1532 г.). Ремизов излагает историю, связанную с чудесным явлением иконы Божией Матери, случившимся в день 2 (15) марта 1917 г., когда царь отрекся от престола. Накануне, в феврале, крестьянка Евдокия Адрианова из подмосковной деревни Починок Бронницкого уезда увидела два необычных сна. В первом она услышала голос, возвещавший о том, что в Коломенском храме есть большая черная икона. Через несколько дней она увидела во втором сне белую церковь и восседавшую в ней Пресвятую Богородицу. Она отправилась в Коломенскую церковь. Священник Николай Лихачев помогал ей в поисках чудесного образа. Они нашли большую, почерневшую от пыли икону Богоматери, озна-

чавшую, что власть в России перешла в руки Царицы Небесной. К чудотворному образу стекались толпы богомольцев. Икона Божией Матери «Державная», созданная в конце XVIII в., находилась в Вознесенском девичьем монастыре Московского Кремля; во время войны 1812 г. была вывезена в Коломенское. Митрополит Московский и Коломенский Тихон (Беллавин) 13 октября 1917 г. послал донесение Святейшему Синоду об обретении 2 марта 1917 г. иконы «Державная». Подробнее об этом знаменательном событии и связанных с ним документах см.: Душеполезный собеседник. 1917. Октябрь. С. 314—315; Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году / Сост. М. А. БабкинаМ., 2006. С. 418—422. С 1990 г. икона находится в церкви Казанской Божией Матери в Коломенском.

С. 319. *...тихий свет веры уверенной.* — Возможно, подразумевается древнее христианское песнопение «Свете тихий», прославляющее Иисуса Христа.

Звезды

Впервые опубликовано: Красный милиционер. 1920. № 14. 15 нояб. С. 10—12 (3-е в цикле «Шум города»).

Прижизненные издания: *Шумы города.* С. 25—29; *Взвихренная Русь.* С. 449—453 (1-е в цикле «Шумы города»).

С. 320. *...на Васильевском есть такой дом серый...* — Имеется в виду Васильевский остров в Петербурге.

С. 321. *Звезды, прекрасные мои звезды!* — Ср. запись Ремизова в рабочей тетради 1920-х гг.: «Прежде я любил звезды и в звездах видел себе знак, я не мог разгадать, но непреодолимо тянулся к звездам» (*Ремизов А. М.* Из рабочей тетради 1920-х гг. / Подг. текста А. М. Грачевой // Минувшее: Истор. альманах. Т. 16. М.; СПб., 1994. С. 515).

С. 322. *Вот я к Ольге Ивановне и туркнулся.* — То есть обратился.

С. 323. *...в сон ее ударило — размаивали.* — То есть будили, не давали спать, взбадривали.

Четвертый круг

Впервые опубликовано: Москва. 1919. № 3. С. 11.

Прижизненные издания: *Шумы города.* С. 30—31; Воля России (Прага). 1926. № 2 (под загл. «Из книги "Взвихренная Русь". 6. "Четвертый круг"»); *Взвихренная Русь.* С. 269—271.

Заглавие — Согласно «Божественной комедии» Данте, в четвертом круге ада грешники вечно таскают на гору огромные глыбы, которые срываются вниз (отсюда выражение «сизифов труд»).

Источник эпиграфа выявить не удалось.

С. 324. *Весь наш мешок успокоился.* — В первой публикации было: «Весь наш колодезь успокоился». Имеется в виду характерный для петербургской застройки XIX в. «двор-колодец».

...тут и мои книги — мало их осталось — Гоголь, Достоевский. — В первой публикации отсутствует.

С. 324—325. «*Поэты берутся... ~ передовые вестники сил его*». — Цитата из книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (гл. XXXI — «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность») (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Л., 1952. Т. VIII. С. 407).

С. 325. *Николай Васильевич!* — Имеется в виду Н. В. Гоголь.

...один пепел остался... — В первой публикации далее: «и этот пепел весь народ русский».

...а потом растопчет чья-то чужая американская калоша. — В первой публикации: «а потом ее растопчут чьи-то чужие калоши».

Федор Михайлович! — Имеется в виду Ф. М. Достоевский.

Рождество

Впервые опубликовано: Красный милиционер. 1921. № 1 (15). С. 13—14 (5-е в цикле «Шум города»).

Прижизненное издание: *Шумы города.* С. 32—36.

О творческой истории рассказа см.: *Оказион-РК III.* С. 647 (комм. Е. Р. Обатниной).

После публикации рассказа в «Красном милиционере» Ремизову передали из редакции письмо читательницы, которая обвинила писателя в том, что он исказил реальные факты. «Будучи случайной читательницей вашего журнала, я натолкнулась на статью “Рождество”. Прочтя ее содержание, я пришла в ужас. Дело в том, что дом Комаровка, о котором шел рассказ, это дом *моего рождения*, в коем я жила 15 лет, и всех героев, указанных в рассказе, знаю, как себя самое. Но эпизодов, подобных описанию Р<емизова>, я не знаю: там в рассказе от начала до конца *ложь*». Ремизов воспроизвел текст письма в заметке «Винигредная ерунда» (впервые опубл.: Воля России (Прага). 1926. № 3 (курсив автора письма); см.: *Взвихренная Русь-РК V.* С. 338—340).

С. 326. *...в Петербурге Комарова дом это единственный — Комаровка. От Невского два шага, а зайдешь с Миргородской...*— Имеется в виду дом недалеко от Александро-Невской Лавры. Он был построен на участке, принадлежавшем отставному полковнику, журналисту Виссариону Виссарионовичу Комарову (1838—1907). С этим домом связано имя друга Ремизова Ивана Александровича Рязановского, который упоминается в рассказе (см. о нем: *ЛН.* Т. 92. Кн. 3. С. 120—121; комм. А. Е. Парниса; см. также комм. к повести «Неуемный бубен» на с. 612 наст. изд.). В книге «Крашеные рылá» Ремизов писал, что

И. А. Рязановский жил «на углу Золотоношской и Тележной у Комарова в доме...» (*Ремизов* А. Крашеные рылá. Театр и книга. Берлин, 1922. С. 129). *Золотоношская* улица (ныне ул. Профессора Ивашенцова) отходит от Невского проспекта к Миргородской улице. *Тележная улица* (ранее Малая Невская ул.) идет параллельно Невскому проспекту. В указанном выше письме читательницы, которая жила в «доме Комарова», указан его адрес: «дом этот стоит на Золотоношской улице д. 30/4, угол Телѐжной улицы». Дом не сохранился. На его месте в 1961 г. был построен пятиэтажный жилой дом.

С. 326. *...в Костромской Буй попал. — Костромской Буй* — уездный город в Костромской губернии, основанный в XVI в.

...а вверху над домом шпиль торчит, а на шпиле серебряное яблоко. — Ср. в книге «Крашеные рылá» о доме Комарова: «...на котором доме шпиль, на шпиле серебряное яблоко...» (*Ремизов А.* Крашеные рылá. С. 129).

...всякому шурыжнику рады. — Шурыжник — производное от шурыга, что в некоторых говорах означало непутевого человека, мошенника.

С. 327. *...архивариус, который теперь под самим Щеголевым в Сенате сидит...* — Имеется в виду А. С. Рязановский, в 1918—1920 гг. служивший архивариусом в Петроградском историко-революционном архиве, располагавшемся в здании Сената (Сенатская пл., д. 1). Управляющим этим архивом с 1918 г. был известный историк и архивист, друг Ремизова Павел Елисеевич Щеголев (1877—1931).

...приподнять свою халдейскую шапку... — Халдейский — загадочный, непонятный. Халдеями в древности называли жрецов и магов, астрологов. На Руси так именовали, в частности, шутов и скоморохов, которые наряжались в восточные одежды.

...жуя маковник медовый. — Имеется в виду маковый пирог, который обычно готовили на Медовый Спас (14 августа); для него использовались мед и мак.

...Агафьи Петровны, иоанитки. — Иоанниты — секта хлыстовского толка, образовавшаяся в России в нач. XX в. в среде фанатичных последователей митрофорного протоиерея, настоятеля Андреевского собора в г. Кронштадте Санкт-Петербургской губернии Иоанна Кронштадтского (в миру И. И. Сергиев; 1829—1908). Канонизирован в лике святых Русской Православной Церковью за границей 19 октября (1 ноября) 1964 г., Русской Православной Церковью — 8 июня 1990 г. как святой праведный Иоанн Кронштадтский. Иоанниты почитали о. Иоанна как сошедшего на землю Спасителя. Сам Иоанн Кронштадтский старался противодействовать их еретической деятельности. Иоанниты, в частности, проповедовали учение о конце света. Главным образом секту составляли женщины, иоаннитки. Центром

секты сначала был Кронштадт, а затем Ораниенбаум (ныне Ломоносов).

С. 327. *...поблескивая золотым своим картузом позументным...* — *Картуз* — мужской головной убор, фуражка с козырьком. *Позумент* — деталь украшения одежды, головного убора, мягкой мебели; золотая, серебряная или медная тесьма; золототканая лента, оторочка.

С. 329. *...прошел Михайлов день...* — Имеется в виду православный праздник в честь архангела Михаила, который особо почитается как архистратиг, т. е. небесный вождь в борьбе ангелов с дьяволом, злом и ересями. В просторечии — Михайлов день. Отмечается 8 (21) ноября.

...прошло заговенье... — *За́говенье* — в православной традиции название последнего дня перед постом.

И когда в сочельник ~ зажглась звезда... ~ склонилась перед младенцем, как волхвы, как пастухи... — Подразумеваются евангельские мотивы и образы, связанные с рождением Иисуса Христа: появившаяся на небе вифлеемская звезда, которая привела с Востока царей-волхвов с дарами, пастухи, пришедшие поклониться Младенцу (Мф 2: 7—10; Лк 2: 8—20).

...как вол и конь... — Мифические вол и конь не упоминаются в Евангелии. Они фигурируют также в рассказе Ремизова «Рождество» (Путь. 1927. № 6. С. 4).

...спец-мощевик... — *Мощевик* — емкость для хранения частиц мощей. В данном контексте, возможно, священник, отвечающий за сохранность частиц мощей.

Находка

Впервые опубликовано: *Шумы города.* С. 37—44.

Прижизненные издания: Собачья доля: Петербургский сб. рассказов. <Berlin>: Слово. 1922; *Взвихренная Русь.* С. 383—391 (1-е в цикле «На даровых хлебах»).

Рукописные источники: Черновой автограф // РНБ. Ф. 92. Ед. хр. 349.

И. Василевский (Не-буква) иронически отозвался о рассказе: «...целый рассказ “Находка” посвящен, напр., Ал. Ремизовым собаке, которой дали всего десять фунтов хлеба, а между тем... Впрочем, этого своими словами и Спинозе не рассказать. <...> Сколько ни думай, более издевательской темы никак не придумать!» (Накануне. Лит. прил. 1922. № 33. 31 дек. С. 15). В воспоминаниях о Блоке «Десять лет» Ремизов писал: «И еще, я это тоже запомнил: прощальное — последнее наше выступление. В марте 1921 г., на общем последнем чтении я читал из начатой в то время “Взвихренной Руси” рассказ “Находка”: не подлец, никакой “злодей” герой моего рассказа, а “шут гороховый” — трагикомедия из “мизерной” жизни нового складывающегося голово-

кружительного быта, и смех был последним общим словом. Пересмеявшись, Блок читал свое: Да, так любить, как любит наша кровь — / Никто из вас давно не любит... <из стих. «Скифы». — *Ред.*> Блок еще мог смеяться, так еще далек был от надвигающейся беды» (*ЛН*. Т. 92. Кн. 1. С. 136).

С. 330. *...и на Песках... — Пески* — старинное название исторического района в центре Петербурга, между Невой, Невским пр. и Лиговским пр., по обе стороны Суворовского пр. Район Песков был самым высоким в городе местом и никогда не страдал от наводнений.

...и где-нибудь у Покрова — Возможно, имеется в виду церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская церковь), в районе Коломны, на Покровской пл. Снесена в 1936 г.

С. 331. *...колодезные жильцы...* — Имеются в виду жители так называемых «домов-колодцев», которых много в центре Петербурга.

...содóм... — зд. в значении: шум, беспорядок, суматоха.

Так и в Совдепе... — Совдеп — сокращенное название Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

...сколько тюрем, острогов, не миновал секретной самой тесной, как мышеловка, сидел и в башнях... — Ремизов за свою революционную деятельность с 1896 г. отбывал наказание в разных тюрьмах и ссылках. Подробнее см.: *Лица*. С. 419—447.

С. 332. *...пастуший билет: <...> выдал я ему еще по весне с обезьяньей печатью!* — Имеется в виду «документ» придуманной Ремизовым «Обезьяньей Великой и Вольной Палаты» («Обезвелволпал»), которая «соединяла реальность с воображением и импровизацией; ее игровая условность ничуть не умаляла серьезности и конкретности самой жизни. <...> Каждый посвященный в члены общества <...> удостаивался "обезьяньей награды" — грамоты, знака или ордена...» (*Обатнина Е. Р.* Обезьянья Великая и Вольная Палата Алексея Ремизова // *Взвихренная Русь-РК V*. С. 641). Подробнее об Обезвелволпале см.: *Обатнина Е. Р.* Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. СПб., 2001. 436 с.

С. 335. *...скороходскую коробку из-под штиблет...* — То есть коробку петербургской обувной фабрики «Скороход».

Панельная сворь

Впервые опубликовано: *Шумы города*. С. 45—48.

Прижизненное издание: *Взвихренная Русь*. С. 459—464 (4-е в цикле «Шумы города»).

В воспоминаниях о Блоке Ремизов писал, мысленно обращаясь к нему: «Помните <...> наш последний вечер в "Доме литераторов" —

я читал “Панельную сворь”, а вы стихи про “французский каблук” <“Унижение” – *Ред.*>...» (*ЛН*. Т. 92. Кн. 2. С. 134).

С. 336. *Заглавие – Сворь* – вероятно, неологизм Ремизова, образованный от слова «свора», означающего бечевку, на которой водят охотничьих собак, обычно по две. В переносном значении: большое число людей, стая, компания, шайка.

...и звезда с звездою говорит. – Строка из стих. М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

«*Мучной лабаз...* – склад, помещение для хранения муки или торговли мукой.

С. 337. *Случилось то, чего так боялась Нюшка... ~ и никаким благовестным колоколом не заглушишь.* – Об этом реальном эпизоде Ремизов написал в дневнике 5 августа 1920 г. (*Взвихренная Русь-РК V*. С. 510).

С. 338. *...всжигнутое прямо по живому сердце... – Всжигнутое* – вероятно, производное от бытовавшего в некоторых русских говорах глагола «жигнуть» («жигануть») – ужалить, обжечь, ударить .

Свет слова

Впервые опубликовано: *Шумы города*. С. 49–51.

Прижизненное издание: *Взвихренная Русь*. С. 453–457 (2-е в цикле «Шумы города»).

10 октября 1920 г. Ремизов отметил в дневнике: «Весь день писал “Свет слова”» (*Взвихренная Русь-РК V*. С. 517).

М. Осоргин писал о рассказе в рецензии на сб. «Взвихренная Русь»: «Радость за другого, помощь другому, хотя бы словом. “Ласковым словом надо делиться!” И от одного сознания, что это нужно и можно – крылья вырастают у робкого и забитого. <...> И правда, ласковым словом этим проникнута вся книга Ремизова, рожденная в дни отчаяния и озаренная мягким, лучистым светом надежды. Что бы ни было – “неугасимые огни горят над Россией!”» (Современные записки. 1927. Кн. 31. С. 455).

С. 340. *...уста к устам и сердце к сердцу.* – Ср. в Евангелии: «Ибо от избытка сердца говорят уста» (Мф 12: 34). Ср. также в поэме Лермонтова «Азраил» (1831): «У сердца сердце будет горячей, / Уста к устам чем ближе, тем сильней / Немая речь любви».

С. 341. *...и такое бывает, очаянное! – Очаянное* – вероятно, опечатка; нужно: «отчаянное».

...коли нет ничего, хоть ласковым словом поделиться. – И. Василевский (Не-Буква) в рецензии на «Шумы города», в частности, отметил: «Эту простую и трогательную фразу Ал. Ремизов услышал, оказыва-

ется, на улице, от какой-то простой женщины, и сразу, “точно проснулся”, “как вырос”...» (Накануне (Берлин). Лит. прил. 1922. № 33. 31 дек. С. 15).

Заборы

Впервые опубликовано: Красный милиционер. 1920. № 14. С. 13—14 (4-е в цикле «Шум города»).

Прижизненные издания: *Шумы города.* С. 52—54; Новая русская книга (Берлин). 1922. № 1. С. 9 (без загл., в составе цикла «Крюк. Память петербургская»); *Взвихренная Русь.* С. 457—459 (3-е в цикле «Шумы города»).

Рукописные источники: Черновой автограф // РНБ. Ф. 92. Ед. хр. 349.

С. 343. *...как самое закорузлое... — Закорузлый* — то же, что «заскорузлый», то есть «грубый», «черствый».

С. 344. *...доламывали последний забор. ~ не было больше заборов...* — Ср. дневниковую запись Ремизова от 15 декабря 1919 г.: «Ломают заборы. Как я рад, что ломают заборы» (Минувшее. Т. 16. С. 488).

...весь Большой Проспект, и так далеко — до самого моря. — Большой проспект Васильевского острова в Петербурге выходит к берегу Финского залива.

Семидневец

Впервые опубликовано: *Шумы города.* С. 55—160.

О названии цикла см.: *Оказион-РК III.* С. 648.

С. 346. *...в подворотне «Семеновского скита» на Васильевском острове...* — Имеется в виду дом Е. М. Семеновой-Тян-Шанской по адресу: Васильевский остров, 14-я линия, д. 31, где Ремизов проживал с сентября 1916 г. до отъезда из Советской России.

...стоя на ночном дежурстве... — С мая по октябрь 1919 г. в связи с осадным положением Петрограда в результате наступления войск Белого движения, жителям города вменялось в обязанность нести ночные дежурства по охране домов. См. об этом, например: *Алянский С.* Встречи с Александром Блоком // Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М., 1980. С. 294—295.

...тревожные часы серебряного мая ~ поры опасной для Петербурга. — 2 мая 1919 г. Петроград был объявлен «на осадном положении» в связи с боевыми действиями между Красной армией и Олонецкой добровольческой армией в Восточной Карелии. 13 мая Северный корпус под командованием А. П. Родзянко прорвал фронт под Нарвой, а 25-го овладел Псковом. 28 мая, после взятия Гатчины, белогвардей-

ские войска оказались в непосредственной близости от Петрограда. Контрнаступление Красной армии началось 1 августа, и к концу месяца Псков был освобожден. В сентябре Северо-Западная армия генерала Н. Н. Юденича вновь пыталась овладеть Петроградом. Наступление белых было остановлено только в конце октября 1919 г.

Два старца

Впервые опубликовано: Красный балтиец: Издание политуправления Балтфлота: Ежемесячный журнал. 1921. № 3.

Прижизненные издания: Записки мечтателей. Пг., 1921. № 2/3 (в составе цикла «Из “Семидневца”. Три рассказа»; вместе с рассказами «Змея» и «Панна Мария»); *Шумы города.* С. 57—62.

С. 346. *...ревновали они друг перед другом... — Ревновать* — соревновать, подражать, последовать, или стремиться как бы в запуски, не уступая друг другу (*Толковый словарь В. И. Даля.* Т. IV. С. 88).

Клирос — в православной церкви место на возвышении перед иконостасом, на котором во время богослужения находятся певчие и чтецы.

С. 347. *Пря* — спор, прения.

Игумен — настоятель православного монастыря.

С. 348. *Канун* — четырехугольный стол с мраморной или металлической доской, на которой расположены ячейки для свеч и небольшой Крест. На канун ставят свечи в память об усопших.

Начались — управлять.

Схимник — монах, посвященный в схиму; *схима* — высшая степень монашества, предписывающая затвор и соблюдение строгих правил.

С. 349. *Заургали* — от *заýргать* — забормотать, начать издавать непонятные, странные звуки (Словарь говоров Русского Севера. Т. IV. Екатеринбург, 2009. С. 220).

Северные врата, южные врата — входы в алтарь, расположенные справа и слева от главных, царских врат. Также носят название дьяконских врат.

Царские врата — главный вход из церкви в алтарь, главная дверь иконостаса, ведущая в ту часть алтаря, где помещается *престол.*

Змея

Впервые опубликовано: Красный балтиец: Издание политуправления Балтфлота: Ежемесячный журнал. 1921. № 4. С. 33—34.

Прижизненные издания: Записки мечтателей. Пг., 1921. № 2/3 (в составе цикла «Из “Семидневца”. Три рассказа»; вместе с рассказами «Два старца» и «Панна Мария»); *Шумы города.* С. 63—66.

В основе произведения лежит фольклорный сюжет о змее, заползающей внутрь человека. Согласно народным поверьям, змея может заползти в рот человека, спящего в поле, в лесу, у воды, в результате

чего тот начинает болеть и чахнуть. Освобождение от змеи также происходит во время сна, при этом человеку снится, что он пьет воду или квас. Змею выманивают при помощи запахов ягод (малины, земляники), лошадиного пота и т. д., однако после избавления человек может испытывать тоску и даже умереть. Подробнее об этом: *Козлова Н. К.* Восточнославянские мифологические рассказы о змеях: Систематика. Исследование. Тексты. Омск, 2006. С. 171—181, 418.

Панна Мария

Впервые опубликовано: Записки мечтателей. Пг., 1921. № 2/3 (в составе цикла «Из “Семидневца”. Три рассказа». Вместе с рассказами «Два старца» и «Змея»).

Прижизненное издание: *Шумы города*. С. 67—70.

С. 353. *Костел* — католический храм в Польше, Белоруссии.

Ксендз — польский католический священник.

Добрый приставник

Впервые опубликовано: Красный балтиец: Издание политуправления Балтфлота: Ежемесячный журнал. 1921. № 1. С. 15—20.

Прижизненное издание: *Шумы города*. С. 71—81.

Рукописные источники: Беловой автограф с правкой // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 35. Под заглавием «[Добрый приставник] Переменная башка. Китайская повесть».

В беловом автографе имеется фрагмент, не вошедший в текст публикации. После фразы: «А прошлое отодвинулось так далеко ~ как чудесный сон» было: «У него был сын. Еще гимназистом он обнаруживал необыкновенные способности: весь ум его был направлен на таинственное и чудесное. Похожий на мать, он был прекрасен и все предвещало ему необыкновенное будущее».

14 декабря 1918 г. Ремизов спрашивал редакцию журнала «Рабочий мир»: «Не пожелаете ли святочный рассказ. Есть у меня такой: в нем строк до 500-т. Называется “Добрый приставник”» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 23. Л. 49). Однако публикация не состоялась. Хотя произведение выдержано в жанре святочных «страшных» историй, одним из источников его, по-видимому, послужили средневековые китайские повести в переводе В. М. Алексеева, о чем свидетельствует имеющийся в рукописи подзаголовок «Китайская повесть». Василий Михайлович Алексеев (1881—1951), ученый-китаист, переводчик, издал три сборника китайских сказок и повестей Ляо Чжая (псевдоним китайского новеллиста Пу Сун-Лина; 1622—1715) — «Лисьи чары» (1922), «Монахи волшебники» (1928), «Странные истории» (1937). Причем, по его собственному утверждению, работа над переводами

началась еще в 1919 г. См.: *Ляо Чжай.* Монахи волшебники. М.; Пг., 1928. С. 11. Ремизов, будучи лично знаком с Алексеевым, мог получать сведения об этой работе «из первых рук». В его собрании имелась рукописная книга переводов китайских сказок. Об этом свидетельствует хранящийся в ГАРФ список рукой Ремизова: «Перечень рукописей, отобранных у Орга» (т. е. рукописей, которые писатель пытался вывезти из России в 1921 г. с помощью эстонского дипломата Альберта Георгиевича Орга): «начатые рассказы мои и сказки на отд<ельных> листах, а все в белом листе, там же и китайская книга сказки порус<ски> проф. В. Алексеева» (ГАРФ. Ф. 6065. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 23).

С. 355. *...людного Ермеевского дома на Васильевском острове* — Доходный дом А. А. Еремеевой (1903—1905, арх. М. Ф. Еремеев) на 5-й линии Васильевского острова, № 46.

С. 356. *Студент Прокопов* — пример ремизовской литературной игры, когда Ремизов использует фамилию своего петроградского знакомого для обозначения вымышленного лица. Персонаж с этим именем встречается в других произведениях тех лет («Взвихренная Русь», «Аполлон Тирский» (1917)). См. об этом: *Взвихренная Русь-РК V.* С. 673.

...на Смоленском — имеется в виду Смоленское кладбище. См. комм. к с. 314.

С. 357. *...по северному морю пробегает летучий голландец. — Летучий голландец* — легендарный парусный корабль-призрак, который не может пристать к берегу и обречен вечно бороздить моря. По одной из версий легенды, корабль скитается по Северному морю. Эта версия использовалась Г. Гейне в «Мемуарах господина фон Шнабелевопского» (1834) и Р. Вагнером в опере «Летучий голландец» (1843).

С. 359. *...в виде греческой тау...* — Т, τ (название: тау, греч. ταυ) — 19-я буква греческого алфавита. От буквы «тау» произошли латинская буква Т и кириллическая Т. В древности служила символом жизни и воскрешения, означала нисхождение духа в материю.

С. 360. *...на пышную жаровскую прическу.* — Название дано по имени дамских парикмахерских Ф. Ф. Жарова, находившихся в Петербурге на Троицкой ул. (д. 30) и на Гороховой ул. (д. 54).

С. 361. *...на 7-ой линии в доме Макарова...* — возможно, пример ремизовской литературной игры: в действительности на Васильевском Острове существовал дом, владельцем которого являлся М. К. Макаров, он находился на 10-й линии (№ 13). В нем с 1861 по 1910 г. размещались известнейшая гимназия и реальное училище Карла Мая.

Околодочный — околодочный надзиратель, полицейский чин, заведовавший околодком — подразделением полицейского городского участка.

Лис преподобный

Впервые опубликовано: Красный балтиец: Издание политуправления Балтфлота: Ежемесячный журнал. 1920. № 7. С. 39—43.

Прижизненное издание: *Шумы города.* С. 82—90.

Рукописные источники: Беловой автограф с правкой // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 34.

21 июня 1919 г. Ремизов писал в редакцию «Рабочего мира»: «Многоуважаемый Петр Никанорович, посылаю Вам “Лиса преподобного”, в нем строк 400 с чем-нибудь. Прошу гонорара 5 руб. за строчку». (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 23. Л. 51). В письме от 5 июля того же года он просил: «На прошлой неделе Вам в редакцию был отдан рассказ мой “Лис преподобный”. Передававший не застал Вас и вернулся в Петербург. Если принимаете рассказ, пришлите гонорар» (Там же. Л. 52). В ответном письме от 11 июля П. Н. Зайцев, секретарь журнала, сообщал: «Многоуважаемый Алексей Михайлович! С большой благодарностью получили Ваш рассказ “Лис преподобный”. Конечно, он для нас вполне подходит. Но беда вот в чем. Как и прочие редакции, “Р<абочий> М<ир>” связан ставками. Мы у нашей редакционной коллегии вырвали с трудом разрешение на оплату беллетристики некоторым авторам 3 р<убля> за строку. Это только недавно выяснилось, и вот почему я замедлил с ответом Вам. Пока большей цифры нам провести не удается. Это тем более обидно, что я лично настаивал на большей оценке (4—5 руб.) и рассчитывал, что она пройдет. Ввиду этого я теперь не знаю, как быть с рассказом. Если бы Вы согласились с нашими ставками, Редакция смогла бы Вам немедленно перевести деньги. Если же нет, то с очень большим сожалением мы должны отказаться от рассказа» (Там же. Л. 59—60). Материальные обстоятельства заставили Ремизова согласиться на условия журнала, о чем он писал 19 июля: «очень трудный м<еся>ц, надо много денег, ч<то>б<ы> к<ак>-н<и>б<удь> перебить. Берите за 3 руб<ля> “Лиса”» (Там же. Л. 54). Однако публикация не состоялась. Рассказ, вероятно, навеян впечатлениями от китайских сказок о лисах-оборотнях в переводах В. М. Алексеева, позднее вошедших в сборники «Лисьи чары» и «Монахи-волшебники». Подробнее об этом см. с. 721—722.

С. 364. *...на лобном месте...* — зд.: на возвышенности.

С. 365. *...зародился из лягушачьей тли...* — (вариант белового автографа — *из лягушачьей мли*)... — *Тля* — вероятно, от древнерусского тьлѩ, согласно «Материалам к словарю древнерусского языка» И. И. Срезневского, это слово тождественно слову моль, одно из значений которого — мелочь, мелкие предметы или существа, напр. мелкая, только что выведшаяся рыбка, россыпь. Также ср. у Ремизова в «Взвихренной Руси»: «Да вы же говорили, что дело мое маленькое, а я — мля, сами и делайте: чай, сумеете!» (*Взвихренная Русь-РК V.* С. 179).

С. 365. *Лисий жевал какую-то осоку ~ едят лисы.* — Пример ремизовской словесной игры: для характеристики персонажа писатель использует существующее в действительности название растения — осока лисья (лат. *Carex vulpina*) — многолетнее травянистое растение семейства осоковых (*Cyperaceae*).

Келарь (в переводе с греческого «амбарный») — должностное лицо монастыря, в обязанности (послушание) которого входит заготовка и хранение продуктов.

Преподобный — в православии монашествующий святой, прославляемый за подвижническую жизнь.

С. 366. *Нилов устав* — монастырский (скитский) устав Нила Сорского (в миру Николай Майков; 1433—1508), основателя и главы *нестяжательства* в России. Нил Сорский развивал идеи нравственного самоусовершенствования и аскетизма. Будучи противником церковного землевладения, выступал за реформу монастырей на началах скитской жизни и личного труда монашествующих.

Мученица Фомаида — святая мученица Фомаида Александрийская, по преданию, принявшая мученический венец ради сохранения супружеской верности своему мужу. С древних времен почитается как особо сильная ходатаица к Богу об исцелении от блудной страсти.

С. 367. *Складень* — складная икона из двух (диптих), трех (триптих) или нескольких (полиптих) частей.

С. 368. *Келарня* — кладовая для хранения припасов в монастырях.

Не паришь ты, отче! — От глагола *пари́ть*, возноситься мыслями, воображеньем.

С. 369. *Мановенное* — от сущ. *мановение* — движение, совершаемое рукой, головой или предметом, зажатым в руке, и обычно выражающее приказание, разрешение, приглашение и т. п.

С. 370. *Накрытый воздухом... — Возду́х* — четырехугольный покров для церковных сосудов с причастием. Воздух символически изображает плащаницу, которой было обвито тело Иисуса Христа (см. Лк 23: 53). При погребении священника, лицо его покрывают воздухом.

Изошел

Впервые опубликовано: Красный милиционер: Еженедельный орган: Издание Отдела Управления Петроградского Совдепа. Петроград, 1920. № 14. В цикле «Шумы города» вместе с рассказами «Звезды» и «Заборы».

Прижизненное издание: *Шумы города.* С. 91—100.

Рукописные источники: Беловой автограф с незначительной правкой и правкой неизвестного лица // РНБ. Ф. 634 А. М. Ремизов. Ед. хр. 8.

Об истории публикации рассказа см.: *Оказион-РК III.* С. 648—649.

С. 370. *...на Аграфену...* — 23 июня (6 июля), день памяти св. мученицы Агриппины, в русской традиции Аграфены, прозванной Купальницей или Купальщицей, так как день ее памяти предшествовал празднику Ивана Купалы. Ночь с Аграфены на Ивана считалась волшебной.

С. 371. *Исправник* — начальник полиции в уезде Российской империи.

Крестики

Впервые опубликовано: Книга. Сб. 2. Пг.; М.; Киев. 1920. С. 30—50.

Прижизненные издания: Сполохи: Литературно-художественный и общественный ежемесячный журнал. Берлин. 1921. № 1. С. 4—10; *Шумы города.* С. 101—120; Московский альманах. 1923. Кн. 2.

Рукописные источники: Беловой автограф // РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 13; Ф. 420. Оп. 3. Ед. хр. 3.

Об истории, связанной с публикацией рассказа, см.: *Оказион-РК III.* С. 649.

С. 377. *...я родился не оглодком. — Оглодок* (прост.) — обглоданный кусок, обглоданная кость.

С. 379. *...розовую выцветшую коробку ~ рябиновая пастила Абрикосова...* — по названию «Товарищества А. И. Абрикосова и сыновей», одной из крупнейших российских кондитерских фирм. Разнообразные по форме и отделке, красочные упаковочные коробки нередко сохранялись в качестве памятных сувениров.

Большая Гончарная — Гончарная улица в Таганском районе Москвы, проходит от Большого Ватина переулка до Таганской площади.

Таганка — местность, расположенная в юго-восточной части центра Москвы, между Яузой и Москвой-рекой.

Каменщики — улицы Большие и Малые Каменщики в Таганском районе Москвы, расположенные на месте бывшей дворцовой Каменной слободы.

С. 380. *Шептола* (правильно: шептала) — сушеные абрикосы или персики с косточками.

С. 383. *Собак я боялся до смерти — неизгладимое воспоминание школьных лет: несчастные маленькие собачонки...* — Ср. в книге «Подстриженными глазами»: «На Найденовском дворе бегали три беленькие собачонки <...> они нападали сзади и очень больно кусались, — их никто не любил» (*Иверень-РК VIII.* С. 88).

Не меньше страшны были и коровы ~ Я боялся лошадей, свиней, пчел, ос, жуков, муравьев... — автобиографическая деталь, ср. в предисловии «Узлы и закруты» к книге «Подстриженными глазами»: «А когда я попадаю в деревню, начинаются другие страхи: я боюсь собак, ко-

ров; меня пугают комары, врывающиеся в окно жуки, пчелы, осы, шмели и падающие камнем летучие мыши» (*Иверень-РК VIII*. С. 10)

С. 384. *Коровий вал* — улица в районе Замоскворечья, проходит от Серпуховской площади до Калужской площади.

С. 385. *Поляница* (вариант: поленица; нар.-поэтич.) — женщина-богатырь.

Моя комнатенка — загон мой... — Сравнение комнаты с загоном для скота отсылает к существовавшему у Серпуховских ворот с конца XVIII в. по 1886 г. Скотопригонному, в московском просторечии Коровьему, рынку, который и дал название улице Коровий вал.

С. 389. *...с двумя камнями кровавых альмандинов... — Альмандин* — минерал группы гранатов, драгоценный камень красновато-фиолетового цвета.

С. 391. *Встретимся ли мы когда и узнаем ли друг друга?* — Парафраза строк из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно...» (1841): «И смерть пришла: наступило за гробом свиданье... / Но в мире новом друг друга они не узнали».

Жизнь несмертельная

Впервые опубликовано: *Шумы города*. С. 121—147.

Прижизненное издание: Петербургский альманах. Пб.; Берлин: Изд. З. И. Гржебина, 1922. Кн. I.

Прототипами главного героя послужили несколько человек, связанных с историей создания Романовского музея в Костроме и входивших в состав Костромской губернской ученой архивной комиссии. Среди них знакомцы Ремизова историк-архивист и археолог И. А. Рязановский (подробнее см. комм. к повести «Неуемный бубен», с. 612 наст. изд.) и собиратель древностей «старец» И. Д. Преображенский. Некоторые подробности биографии сближают образ героя также с именем Н. Н. Виноградова, тесно сотрудничавшего с Рязановским в работе над коллекциями Романовского музея. Виноградов Николай Николаевич (1876—1938) — историк, этнограф, коллекционер, один из создателей Романовского музея в Костроме. Сын священника, закончил в 1896 г. Костромскую духовную семинарию, учился в Ярославском Демидовском юридическом лицее (1903—1905) и на славяно-русском отделении историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета (1905—1909). В 1910—1916 гг. старший помощник правителя канцелярии и чиновник особых поручений при костромском губернаторе. С 1902 г. действительный член Костромской губернской ученой архивной комиссии, занимался комплектованием музея, сбором диалектологического и фольклорного материала (подробнее см.: *Сизинцева Л. И.* Виноградов Николай Ни-

колаевич // Кострома: Историческая энциклопедия. Кострома, 2002. С. 61).

Об отраженном в рассказе полемическом споре Ремизова с Достоевским, Лесковым и Толстым по поводу истинного содержания русского национального характера см.: *Данилевский А.* Полемический аспект «Жизни несмертельной» А. М. Ремизова // «Великая французская революция и пути русского освободительного движения»: Тезисы докладов научной конференции. 15—17 декабря 1989 г. Тарту, 1989. С. 100—102.

С. 391. *Иона Петрович Боголепов...* — Имя и отдельные факты биографии героя восходят к Ионе Дмитриевичу Преображенскому (1857—1915), в 1891—1904 гг. занимавшему место члена-делопроизводителя Костромской губернской ученой архивной комиссии, страстному собирателю и знатоку древностей. Ремизов писал о нем: «Есть такой археолог *Иона Дмитриевич Преображенский*, жительствующий в *Костроме*, Нижняя Дебра, д<ом> Алексеевой, замечательный человек, преданный нашей русской старине. <...> Этот старец Иона много потрудился для создания Романовского музея в Костроме» (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 3621. Л. 7 — письмо Ремизова Э. П. Юргенсону от 14 марта 1914 г.).

С. 392. *Ошалоуметь* — ошелоуметь, одуреть, обеспамятеть от чаду, угару, с испугу, от пьянства.

...пальто со следовательского плеча... — отсылка к И. А. Рязановскому, в течение ряда лет служившему судебным следователем Костромского Окружного суда.

Столбцы (или столпы) — особая форма документов в России XIV—XVII вв., текст которых был написан на склеенных в виде ленты бумажных полосах. Хранились в свернутом виде.

...доморощенный историк наш Миловзоров... — аллюзия на члена Костромской архивной комиссии Ивана Васильевича Миловидова (1851—1898), составителя «Очерка истории Костромы с древнейших времен до царствования Михаила Федоровича» (Кострома, 1886). Он выдвинул гипотезу, что город на Волге был основан еще в середине IX в. как поселение со смешанным славяно-мерянским населением, а свое название — Кострома — получил от имени одноименного славянского божества.

Губернатор Корноуховский — словесная игра Ремизова: в 1913—1915 гг. губернатором Костромы был П. П. Стремоухов.

...в казенном архиве Иона стащил автограф Благословенного Императора. —Намек на Н. Н. Виноградова. В период службы в Русском музее Александра III в Петербурге в 1909 г. он был уличен в краже предметов из фондов музея. Дело прекратили благодаря заступничеству академика А. А. Шахматова.

С. 393. *Исполать* (стар.) — хвала, слава (в восклицательном обращении).

...около церкви Стефана Сурожского... — Церковь Стефана Сурожского на Нижней Дебре (1780) в Костроме, снесена в 1935 г.

...великого князя Василия II-го задавил медведь. — Пример ремизовской литературной игры. В действительности Василий II Васильевич Темный (1415—1462) — великий московский князь, скончался в Москве от сухотки (туберкулеза). Здесь же, по-видимому, содержится аллюзия на легенду об основании Ярославля, согласно которой во время путешествия Ярослава Мудрого из Новгорода в Ростов на князя напал медведь. Изображение медведя является символом Ярославля и Ярославской земли с XVII в.

...жил великий князь Василий II не в нашем городе, а в Костроме... — Пример намеренной географической дезориентации читателя; события и топонимические реалии рассказа, как на место действия, указывают именно на Кострому.

...самом деберьном... — зд. в смысле: сложные, малоисследованные факты, явления, от *дебрь* (ст.-слав. дьбрь) — овраг, буерак, заросшая лесом низина, чаща. Слово также связано с костромской топонимикой — ср.: ул. Верхняя Дебря (ныне ул. Кооперации), церковь Воскресения на Дебре.

...обвился весь, как плащаницей... — *Плащаница* — погребальная пелена, в которую обертывали тела усопших, также полотнище с изображением тела Иисуса Христа или Богоматери, использовавшееся при богослужении.

С. 394. *Пассаж* — название костромского трактира, принадлежавшего купцу Д. Хореву, располагался на углу Сусанинской площади и Марьинской ул. (ныне — Шагова) в бывшем доме причта Благовещенской церкви.

Экспроприация — принудительное отчуждение имущества частных собственников. Слово из марксистского лексикона вошло в широкое употребление после революции 1905 г.

Res nullius (лат.) — вещь, никому не принадлежащая, бесхозяйная вещь. Понятие бесхозяйной вещи восходит к римскому праву, которое разрешило установление права собственности над такой вещью через «оккупацию» (захват с целью владения).

С. 396. *Рядом со сводчатой канцелярией ~ были сложены старые книги, рукописи и старинные вещи...* — Костромская губернская ученая архивная комиссия с 1891 г. занимала несколько помещений в здании Дворянского собрания (ныне: пр. Мира, 7).

Губернатор Гудзевич — пример авторской словесной игры: в 1861—1866 гг. костромским губернатором был Н. А. Рудзевич.

С. 396. *Археолог Рязановский* — Иван Александрович Рязановский. О нем подробнее см. комм. к повести «Неуемный бубен» на с. 612.

С. 397. *...музей устраивается...* — Формирование в Костроме музея древностей было связано с работой Костромской губернской архивной комиссии, созданной в 1885 г., с этого времени была начата собирательская работа. Однако основание музея относится к 1891 г., когда для размещения коллекций было выделено несколько комнат в здании Дворянского собрания.

...вывел от Руслана и Людмилы... — персонажи поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

Королева Матильда — Матильда, или Мод (1102—1167), — королева Англии и императрица Священной Римской империи, дочь и наследница английского короля Генриха I.

Фридрих II — существует несколько лиц с таким именем, здесь, повидимому, имеется в виду Фридрих II (1712—1786) — король Пруссии с 1740 г. Яркий представитель просвещенного абсолютизма, основоположник прусско-германской государственности.

С. 398. *...будет он хвастать всесветными связями своими с сильными мира, а особенно знакомством с царем.* — Здесь обыгрывается действительный факт биографии И. А. Рязановского, общавшегося с Николаем II во время церемонии открытия Романовского музея в Костроме.

С. 399. *...доклад о куричьих богах.* — Куричий (куриный) бог — небольшой камень с отверстием естественного происхождения, проточенном речной или морской водой. Использовался как оберег домашних животных, чаще птицы, для чего подвешивался в курятнике или под стрехами домов. В 1903 г. на Тверском археологическом съезде членом Костромской губернской ученой архивной комиссии Н. М. Бекаревичем был прочитан доклад о «куричьем боге» (*Бекаревич Н. М.* Заметка о «куричьем боге» в Костромской губернии // Труды 2-го областного Тверского археологического съезда 1903 года 10—20 августа. Тверь, 1906. С. 115—122).

С. 400. *...на пьяном солонинном лице...* — т. е. небритом; образ-ассоциация с внешним видом свиной кожи солонины, представляющей собой грубо обработанную поверхность с неровно обрезанной щетиной.

...забыдущее горькое пойло... — т. е. повергающее в забвение, усыпляющее.

Сам он никогда не записывал... — деталь, характеризующая И. А. Рязановского. Ср. у Ремизова: «Рязановский <...> в жизнь не написал ни одной строчки — явление едва ли не наше только, русское!» («Подстрижеными глазами» // *Иверень-РК VIII.* С. 131).

С. 400. *...на Козью улицу...* — возможно, от названия Козьей слободы в Костроме (ныне — ул. Красная Слобода).

С.403. *Деберь* — от дебри, зд.: большие сложности, запутанное состояние чего-либо.

Печерка — ул. Большая Печерская в Нижнем Новгороде, одна из древнейших улиц, названа по основанному в XIV в. Печерскому Вознесенскому монастырю.

Русь белокрылая, куда ты летишь, исплакана, измученная и тоскою сердце рвешь? — Аллюзия на заключительные строки первой части поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» (1842): «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа».

С. 404. *Устройство местного музея...* — Открытие Романовского музея в Костроме было приурочено к празднованию 300-летия Дома Романовых. Основой для него послужили коллекции, собранные Костромской губернской ученой архивной комиссией, работавшей с 1885 г. Для музея в 1909—1911 гг. было выстроено специальное здание по проекту архитектора Н. И. Горлицына. В устройстве музея деятельное участие принимали И. А. Рязановский, ставший его первым директором, и Н. Н. Виноградов. Музей был открыт 19 мая 1913 г. в присутствии Николая II, он включал церковный, исторический, этнографический и др. отделы. Многие экспонаты, коллекции и документы были связаны с родом Романовых.

Салоп — верхняя женская одежда, широкая длинная накидка с прорезами для рук или с небольшими рукавами.

Профит — выгода, прибыль.

Стакнулись — тайком сговорились, условились.

С. 405. *Потрафил* — угодил.

С. 406. *Провенчаю* — проучу.

С. 407. *За кощунства ли Дублянских сказок* — см. комм. к с. 46.

За Прово горе... — Ремизов приводит в измененном виде две первые строфы анонимной эротической поэмы начала XX в. Ср.: Под именем Баркова: Эротическая поэзия XVIII — начала XX века. М., 1994. С. 100—108; здесь поэма опубл. под назв. «Пров Фомич».

Бандырь — сводник, содержатель дома терпимости.

С. 408. *...как тезоименитый Иона во чреве китове.* — Ветхозаветный пророк, персонаж библейской книги Ионы, за неповиновение Богу был подвергнут смертельно опасным испытаниям: выброшен в море, проглочен огромной рыбой (в славянском переводе Библии — китом) и провел там три дня и три ночи, взывая к Божьей милости.

С. 409. *Солнцу воссиявшу пришедши на запад!* — Измененные слова молитвы «Свете тихий», ср.: «пришедше на запад солнца, видевше светъ вечерний».

С. 410. *...вывел он купцову родословную от Каина, сына Сатанаилова, через Ивана Осипова — Ваньку Каина...* — Согласно представлениям богомилов (богомильство — религиозно-социальное еретическое движение на Балканах и в Малой Азии в X—XIV вв.) Каин, персонаж библейской книги Бытия, убивший своего брата Авеля, был сыном не Адама и Евы, а Евы и соблазнившего ее в виде змея Сатанаила. Ванька Каин — Иван Осипов, по прозвищу Каин (1718 — после 1756) — знаменитый вор и разбойник, служил «доносителем» в московском сыскном приказе, изобличен в преступлениях и отправлен на каторгу в 1755 г. В фольклоре ему приписываются популярные в народе песни, в том числе песня «Не шуми, мати, зеленая дубравушка». О личном интересе Ремизова к данному персонажу см. в комм. Е. Обатниной: *Оказион-РК III.* С. 651.

...Спасов день, пчела именинница! — 1 (14) августа, церковный праздник Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста, начало Успенского поста. Считалось, что с этого времени пчелы переставали собирать пыльцу, на Руси начинался сбор меда и его освящение, отсюда народное название праздника — Медовый спас.

С. 411. *...как на Рублевской иконе...* — По-видимому, имеется в виду изображение ангела на иконе «Троица ветхозаветная» (первая четверть XV в.) работы Андрея Рублева (ок. 1370—1428), живописца, крупнейшего представителя московской школы иконописи.

Вьются слухи, как у ангелов... — В изображениях ангелов слухами называют свободно развевающиеся концы головных повязок-тороков, которые свидетельствуют о предназначении ангелов слышать волю Божию.

Мальвина

Впервые опубликовано: Творчество: Журнал художественного цеха под ред. И. Рабиновича. Харьков, 1919. № 4. Май. С. 10—12.

Прижизненное издание: *Шумы города.* С. 148—152.

Рукописные источники: Беловые автографы // РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 16. Ед. хр. Л. 164 об.—165; РГБ. Ф. 1. 2. 37 (вместе с автографами рассказов «Звезды» и «Кресты», под общим названием «Петербургские рассказы»).

С. 411. *Преображенье* — церковный праздник Преображения Господня (народное название — Яблочный Спас). См. комм. к с. 30.

С. 412. *...в Комаровке...* — см. комм. к с. 326.

...превращалась в Беатрису, Лауру, Фиаметту... — Три знаменитые женщины эпохи Возрождения: Беатриче — муза и платоническая возлюбленная Данте Алигьери; Лаура — возлюбленная Франческо Петрарки, воспетая им в стихах; Фьяметта — героиня произведений Джованни Бокаччо (ее прототипом считают Марию д'Аквино).

С. 412. *...вечно-благоуханного яблока дьявольского соблазна...* — Аллюзия на библейский сюжет соблазнения Евы змеем-искусителем и последующим грехопадением Адама.

Выя (книжн. устар.) — шея.

С. 413. *Мальвина* — имя происходит от Моины, персонажа «Поэм Оссиана» Джеймса Макферсона (1773, первый русский перевод: 1788), спутницы Оссиана, вдовы его сына Оскара. Вариант «Мальвина» возник в немецкой традиции, вероятно, из-за влияния Оссиана на Гете и др. немецких поэтов.

С. 414. *...напоминавший куриную архиерейскую часть...* — Ремизов использует русифицированный вариант французского кулинарного термина bonnet d'évêque (шляпа епископа — *фр.*):«архиерейские кусочки» или «архиерейский нос», в кулинарии — маленькие кусочки мяса домашней птицы, расположенные около гузки.

Овсяное какао — заменитель натурального какао, состоящий из овсяной муки (толокна), желудей и какао-порошка.

Крестовая барышня

Впервые опубликовано: Сирена: Пролетарский двухнедельник. Воронеж, 1918. № 1. С. 38—42.

Прижизненные издания: *Шумы города.* С. 153—165; Жар-Птица: Литературно-художественный ежемесячный журнал. Берлин, 1921. № 3. С. 22—26.

С. 415. *...свернет Надежда Дмитриевна с Симбирской и к Происхождению Честных Древ зайдет...* — Имеется в виду церковь во имя Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня на углу Симбирской (ныне — Комсомола) и Тихвинской (ныне — Михайлова) улиц Выборгской стороны (снесена в 1932 г.).

Кресты — см. коммент. к с. 221.

С. 416. *Плешак* — плешивый, лысый человек.

С. 417. *...окропленное любвиявленскою водой...* — словесная игра Ремизова: аналогия с Богоявленской водой — водой, освященной в праздник Крещения Господня (Богоявления) 6 (19) января, которой окропляются люди, вещи, помещения и пр.

Белый Георгий — орден Святого Великомученика Победоносца Георгия, высшая военная награда Российской империи, предназначался для награждения за отличия в военных подвигах. Согласно статуту, этот орден никогда не снимался. Представлял собой равноконечный крест с расширяющимися концами, покрытый белой эмалью.

Одушевленные предметы

Дверная ручка

Впервые опубликовано: Москва. 1920. № 5. С. 7; под общим заглавием «Одушевленные предметы. Рассказы», под порядковым номером 1.

Другое издание: *Шумы города.* С. 163—164.

Критик В. Александрович в рецензии на вышедшие номера ж. «Москва» (1920. № 4, 5) уничижительно отозвался о коротких рассказах писателя: «Алексей Ремизов воспевает: "Дверную ручку" и "Трамвай"...» (*Александрович В.* Сушеные овощи (Об одном литературно-художественном журнале наших дней) // Вестник литературы. 1920. № 4/5 (16/17). С. 6).

Трамвай

Впервые опубликовано: Москва. 1920. № 5. С. 7; под общим заглавием «Одушевленные предметы. Рассказы», под порядковым номером 2.

Другое издание: *Шумы города.* С. 164—165.

Отзыв критика В. Александровича см. в комм. к рассказу «Дверная ручка».

Сказки

Солозобочка

Впервые опубликовано: Красный балтиец: Издание политуправления Балтфлота: Ежемесячный журнал. 1920. № 2. С. 41—42.

Прижизненное издание: *Шумы города.* С. 166—168.

Рукописные источники: Беловой автограф // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 22.

С кваском

Впервые опубликовано: Красный балтиец: Издание политуправления Балтфлота: Ежемесячный журнал. 1920. № 3. С. 19—20.

Прижизненные издания: *Шумы города.* С. 168—170; Русская мысль. Париж, 1955. № 771. 15 июня (вместе со сказкой «Красная сосенка»).

Рукописные источники: Беловой автограф // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 21 (под загл. «Квас глокотык»).

Ефим плотник

Впервые опубликовано: Красный балтиец: Издание политуправления Балтфлота: Ежемесячный журнал. 1920. № 5. С. 23—24.

Прижизненные издания: *Шумы города.* С. 171—173; Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым. Берлин: Изд. З. И. Гржебина, 1923 (под загл. «Дар»).

Находка

Впервые опубликовано: Красный балтиец: Издание политуправления Балтфлота: Ежемесячный журнал. 1920. № 5. С. 23–24.

Прижизненные издания: *Шумы города*. С. 173–174; Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым. Берлин: Изд. З. И. Гржебина, 1923.

КОРЯВКА
Повесть

Впервые опубликовано: Нива. 1914. № 9. 1 марта. С. 162–169; № 10. 8 марта С. 182–189; под названием «Несекомая пуповина».

Прижизненные издания: *Ремизов А*. Весеннее порошье: Рассказы. Пг.: Сирин, 1915. С. 171–208 (под названием «Павочка»); *Ремизов А*. Корявка: Повесть. Берлин: Изд. Е. А. Гутнова, 1922. (Б-ка Сполохи).

Архивные источники: Неавторизованная машинопись (начало и конец повести) под названием «Корявка» с датировкой в конце текста: 1914–1922 (ГЛМ. Ф. 156. Оп. 1. Ед. хр. 5).

Печатается по изданию 1922 г. с сохранением особенностей авторской пунктуации и отдельных словоупотреблений.

Текст рассказа в течение своей печатной истории сменил три названия, повлекшие перекодировку содержания в соответствии с объективированным в заголовке «углом зрения» на историю, по замыслу автора, содержащую преобразование банального сюжета о безответной любви в мистическую мистерию о любви вечной, сохраняемой человеческой Душой. Смысл первоначального названия («Несекомая пуповина») был спрятан в тексте и характеризовал натуру главного героя — Ивана Александровича Галузина, подспудно ассоциируемую с философскими воззрениями В. В. Розанова на метафизику пола и любви. В 1915 г. рассказ был включен Ремизовым в авторский сборник «Весеннее порошье» и получил название «Павочка». Благодаря переименованию в центре повествования оказался другой равноправный персонаж — беспечная девушка с «говорящим» именем. Настоящее полное имя героини является русифицированным вариантом римского Паулина, что означает «скромная», «маленькая». Представленный Ремизовым типаж соответствует образу женщины-ребенка со всеми проявлениями этого характера, прямо противоположными обаятельной внешности, которые вроде и не заслуживают осуждения в силу ее природного простодушия и беспечности, но и небезопасны для окружающих. Павочка мало подходит под характеристику скромницы. Собственно, и смысловая окраска уменьшительной формы ее имени соотносится в русском языке со словом «пава» — самка павлина, а в переносном значении — женщина с горделивой осанкой. Так неза-

метно из имени героини, почти рефлекторно вызывающего симпатию к ее обладательнице, проявляется, скрытый и приниженный образ самодовольной бесчувственной «особи». В контексте взаимоотношений героини с Галузиным этот типаж генетически заключает в себе архетипические свойства известной героини романа Сервантеса «Дон Кихот». В глазах влюбленного сумасшедшего Галузина-Дон Кихота Павочка-Альдонса предстает прекрасной Дульсинеей. Именно под названием «Павочка», в редакции, повторяющей первую публикацию на страницах ж. «Нива», рассказ впервые попал в поле зрения критиков. Несмотря на то, что это произведение являлось всего лишь малой частью авторского сборника «Весеннее порошье» его тематика, оригинальность повествовательной манеры и особенности авторской позиции были отдельно отмечены в статье В. Г. Голикова «Мравий прах, молья пыль в мастерской златобрилльянтщика. Весеннее порошье. Рассказы Алексея Ремизова». Впервые в литературной критике отчетливо объективировалась индивидуальная способность писателя описывать «двоемирие» — видимые и оборотные (потусторонние) образы реальных явлений: «Он <Ремизов> находится на какой-то грани между реализмом и идеализмом, живет в двух мирах и видит двойным зрением — нашим и не нашим. Он даже охотнее создает свой собственный мир — полуреальный, полуфантастический. В этом мире черти играют свою роль, как люди, причудливые сочетания предметов, сцепления невероятностей кажутся естественными, лица и души, вследствие двойного освещения, принимают особую окраску» (Вестник Знания. 1915. № 12. С. 802). Автор статьи не оставил без внимания и принцип обратимости явлений, придавший рассказу философское наполнение: «Вам смешон этот плоский и тупой Иван Александрович-Балда Балдович, — “несекомая пуповина мироздания”, как его провозгласил в восхищении друг Корявка. Но скоро художник, силой своего поэтического проникновения, сотворит перед вами чудо: сделает из этого забавного и пошловатого чудака лицо патетическое и мистическое. Он совлечет случайную, уродливую земную оболочку и покажет извечную душу человеческую, в пространстве между мирами, — одну, с ее извечной любовью и извечной тоской...»; «Как будто бы эта странная душа, — фантастическая греза художника, — утратив все остальные свойства человеческих душ, превратилась в одну чистейшую эссенцию любви. И вот — маленький забавный человечек, комочек праха, прихотью поэта, или, скорее, его сочувственным внутренним зрением, проникающим в самую сущность сердца человеческого, сквозь все его поверхностные наслоения, преображен в Душу любви — надмирной, извечной и трагической» (Там же. С. 803, 805). Так, впервые в критической рецепции творчества Ремизова была зафиксирована его отчетливая ин-

тенция к созданию философии жизни, основными категориями которой становятся Душа, Любовь (Эрос) и Судьба.

В первый год эмиграции, находясь в Берлине, Ремизов вновь вернулся к рассказу, подвергнув текст значительной переработке. Появилось иное жанровое определение — «повесть» и вступительная интродукция автобиографического характера под названием «Автограф», датированная 17 мая 1922 г. Другим принципиальным нововведением стало изменение имени главного героя Ивана Александровича — теперь он был наречен Петром Ивановичем. Возникло и новое название «Корявка», которое, соответственно предшествующей авторской логике, было ориентировано на третьего «главного героя» повести — верного друга Галузина чиновника сенатского архива с забавной фамилией. Впечатление, связанное с Корявкой — героя по всем признакам характера «второстепенного», вызывает литературные аллюзии в диапазоне — от «дальнего родственника» Санчо Пансо при Дон Кихоте до более близкого — мелкого чиновника Алексеева при Иване Ильиче Обломове. Причем последнее «родство» по внешней незаметности и мизерабельности образа Алексея Тимофеевича Корявки кажется, на первый взгляд, наиболее реалистичным. Однако принцип обратимости образов и явлений, положенный Ремизовым в основание произведения, разрушает эти аналогии. Благодаря перестановке «мест слагаемых» Ремизов, уже третий раз со времени первой публикации рассказа в 1914 г., моделировал новые смыслы, потенциально содержавшиеся в этом тексте. В результате произошла перестройка и с точки зрения значимости всех персонажей для философского подтекста этого произведения. Берлинская редакция содержит также существенные изменения нарративного строя: наряду с новой разбивкой на дополнительные части посредством астерисков, текст получил более выраженную ритмическую организацию повествования, которая особенно в заключительной части, при описании стихии наводнения, приближалась к поэтическому дискурсу. Автобиографический характер построения отдельных эпизодов повести и принципиальная множественность прототипов, к которым восходят образы ее героев, раскрыт Ремизовым в инскрипте, оставленном на личном экземпляре книги «Корявка»: «Сколько таврических воспоминаний связано с этим Корявкой / Петр Иванович — это Нерадовский / Балда Балдович и Сенека <Гераклит.— зчркн. — *Е. О.*>, учитель Александра Македонского / это от В. С. Миролюбова / Доктор — конечно, Нюренберг / а привидение лунатическое от Терещенок и от Акопенки тут перепало что-то про фельдшера....» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 100).

С. 433. *...как подует, тут из пушки и бахнут...* — Традиция сигнального выстрела из вестовой пушки, расположенной на бастионе

Нарышкина в Петропавловской крепости, была установлена с первых лет строительства города и первоначально служила оповещением наступления полудня, окончания работ, торжественных событий и начала наводнений. Сохранявшийся до начала 1920-х гг. обычай в настоящее время редуцирован до пушечного залпа в полдень.

С. 433. *...возвращались мы с Павлом Елисеевичем Щеголевым домой с обезьяньих именин от князя обезьяньего и уставщика обезьянского Михаила Михайловича Исаева.* — П. Е. Щеголев (см. о нем в комм. к с. 327) стал обладателем одной из первых, изготовленных Ремизовым «обезьяньих» грамот. В конце января 1917 г. Щеголев был удостоен милости царя Асыки, даровавшего ему титул «обезьяньего князя». Подробнее о Щеголеве в Обезвелволпале см.: *Обатнина Е.* Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. СПб., 2001. С. 13—30. Михаил Михайлович Исаев (ок. 1870 — после 1948) — юрист, приват-доцент Санкт-Петербургского университета; в табели о рангах Обезвелволпала — «кавалер первой степени с мечами» (1917); «князь и уставщик (кодификатор) обезьянский», «приват-доцент уголовного права», «кавказский пулеметчик», «красноармеец отряда Мстиславского» (1921—1922). См.: Там же. С. 346.

Павел Елисеевич говорил по-персидски. — Знание фарси Щеголев приобрел на персидско-армянском отделении факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета, на который поступил в 1895 г. Впоследствии, когда Щеголев стал студентом историко-филологического факультета, он написал исследование, посвященное источникам и содержанию «Сказания Афродитиана о бывшем в Персидской земле чуде» — переводного новозаветного памятника апокрифичечкой литературы. См.: *Щеголев П. Е.* Очерки истории отреченной литературы. Сказание о Афродитиане. СПб., 1899. (Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. 1899. Т. IV. Кн. 1). О значении историко-литературного вклада Щеголева см.: *Бобров А. Г.* Апокрифическое «Сказание Афродитиана» в литературе и книжности Древней Руси: Исследование и тексты. СПб., 1994. С. 10.

С. 434. *...но не осилев — еще бы!* — Мощное телосложение Щеголева сочеталось с его природным оптимизмом. Ремизов охарактеризовал своего товарища в шуточном некрологе, написанном ко дню его освобождения из под надзора полиции по случаю окончания срока вологодской ссылки. См.: *Обатнина Е.* Царь Асыка и его подданные. С. 22—29.

Евгений Александрович Гутнов ~ кавалер обезьяньего знака ~ за доброе книгопечатание возведен на Пасху 1922 года... — Е. А. Гутнов (1888 — не ранее 1968; сообщено В. Б. Кудрявцевым) — владелец из-

дательства в Берлине, выпускавший там же журнал литературы, науки и искусства «Сполохи» (1921—1923), а также журнал современной культуры «Мысль и труд» (1922). Очевидно, возведение Гутнова в «кавалеры обезьяньего знака» было произведено в связи с выходом в его издательстве в апреле 1922 г. книги Ремизова «Ахру. Повесть Петербургская».

С. 434. *...в Шарлоттенбурге в Аффенрате.* — *Шарлоттенбург* — район Берлина, в котором в 1921—1923 гг. проживал Ремизов. «Affenrat» (нем. Обезьяний Совет) — составленный Ремизовым список членов общества с приведением полных званий и титулов. Об этом документе см.: *Обатнина Е.* Царь Асыка и его подданные. С. 226—233.

...б. канцелярист cancellarius Алексей Ремизов. — Типичная самоидентификация Ремизова, характерная для обезьяньих грамот эмигрантского периода. До отъезда из России на обезьяньих документах весны — начала лета 1921 г. он подписывался как «б<ывший> канцелярист» и «политком» Обезвелволпала.

С. 435. *...объяснять такую связанность человеческую перевоплощением нашим, как это вздумал один верующий в перевоплощение знаток — значит ни больше ни меньше как пальцем попасть в небо.* — Очевидный намек на основоположника антропософии Р. Штейнера, одним из важнейших элементов учения которого является принцип перевоплощения душ, или реинкарнации.

...петушка ~ съел и на косточках его валялся, и вот будто бы по тому-то... — Подразумевается мотив жертвоприношения петуха, сохранявшийся в славянских обрядах и связанный с представлениями о сакральной птице, воплощающей солнце, энергию жизни (в том числе и мужское начало) и даже повторное рождение: являясь символом солнца (поднимающегося в зените и заходящего), его магическая сила распространяется и на царство мертвых. Ср.: «Причастность петуха и к царству жизни, света, и к царству смерти, тьмы, делает этот образ способным к моделированию всего комплекса жизнь — смерть — новое рождение...» (*Гладкий В. Д.* Славянский мир I—XVI в.: Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 478).

...вся эта осла бритве... — «Оселок бритве», или брусок точильного камня, на котором правят острие бритвы.

...и соль земли... — Здесь подразумевается расхожее представление об интеллигенции и ее роли в историко-культурном процессе.

С. 436. *...по большим праздникам ~ по двунадесятым...* — В церковном уставе так называются двенадцать особо чтимых великих праздников. См. подробнее в комм. к с. 30.

Лихо одноглазое — традиционный персонаж русской народной сказки, воплощение горя, демон злой судьбы и несчастий, имевший

образ одноглазой старухи, чудовища или странника, ходящего от дома к дому.

С. 436. *Бес Зефеус* — персонаж, известный по разным спискам древнерусского памятника агиографии «Житие Авраамия Ростовского» (не ранее XV в.) под именем Зефеог или Зефеус. Являвшийся в разных обличиях — и «аки дым черн и смраден»», и в образе «воина люта зело» — этот «старый ненавистник добру дьявол» вступил в противоборство с основателем Богоявленского монастыря в Ростове Авраамием, однако был побежден духовной силой преподобного. См.: Великие Минеи Четии, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Октябрь, дни 19—31. СПб., 1880. Стб. 2025—2032). Ср. также: «Бес же, не могий святаго запрещениа стерпети, абие въстрепета. И нача, трепеща, глаголати: аз есмь бес Зефеус, искони ненавидяй добра роду человеческому, паче же иноком» (цит. по: *Никитина Т.* О второй редакции жития преподобного Авраамия Ростовского // Макарьевские чтения. Вып. VII: Монастыри России. Можайск, 2000. С. 463). Русский перевод Жития см.: Древнерусские предания (XI—XVI вв.) / Под ред. В. В. Кускова. М., 1982. С. 135—141.

...знамечко тут на шейке... — родимое пятно.

С. 437. *Коще́нка* — уменьшительное, как кошечка.

Ротонда — верхняя женская одежда в виде длинной накидки без рукавов.

С. 438. *И думаю я, что, в виду важности открытия, любой и самый крысиный из крысиного подполья лишил бы себя удовольствия чаю попить с баранками...* — Тема «крысиного подполья» восходит к «Запискам из подполья». Ср.: «Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 5. Л., 1973. С. 104) и знаменитому риторическому вопросу «подпольного человека»: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» (Там же. С. 174).

С. 439. *...гостившая в Павловске.* — Традиционное место загородного отдыха петербуржцев, где располагались летние дачи. Топографическая подробность, раскрывающая коннотации повести с романом Достоевского «Идиот», события которого отчасти совершаются на даче в Павловске. Персонажи повести являются сниженным, травестийными двойниками героев Достоевского: Епанчины — Ерыгины, князь Мышкин — Галузин. Павочка в этой системе предполагаемых соответствий может быть интерпретирована как пародийный антипод обобщенного образа Настасьи Филипповны и Аглаи Епанчиной.

С. 440. *...астральное тело...* — пространство вокруг физического тела человека, в границах которого находится сознание во время сна;

термин теософии и антропософии, восходящий к Парацельсу; по Р. Штейнеру — «душевное тело», или «душа ощущающая».

С. 441. *Таинственные явления допускал Петр Иванович исключительно и только в крещенские вечера...* — Крещенский вечер (сочельник) 5 (18) января предшествует Празднику Богоявления 6 (19) января; в народной традиции в этот вечер было принято гадать на будущее.

С. 444. *Цечилы* — от *щечить* — говорить скороговоркой.

С. 447. *Карлсбад* — старое название Карловых Вар, курортного города в Чехии.

С. 449. *...не менее чудесная повесть о Петре, как Петр ~ высиживал в огненной шпруделевой ванне ни много, ни мало круглые сутки...* — Обращенные в легенду подробности биографии Петра I. Речь идет о ваннах с минеральной водой на бальнеологическом курорте в Карлсбаде. Впервые Петр I посетил Карлсбад в сентябре 1711 г. и испробовал на себе местный способ лечения водами от преследовавших его приступов «перемежающейся лихорадки», «скорбута» и болезни мочевого пузыря. Тогда методы водолечения сильно отличались от современных: «Прежде всего воду пили не у источников, как это принято теперь, и не во время прогулки, а на дому, сидя и даже лежа в кровати, нередко в жарко натопленной комнате. Весьма вероятно, что Петр лечился именно так, тем более, что, как известно, Царь очень любил тепло. Лечение начиналось с того, что пациент пил воду (Шпрудель) в продолжение 7—10 дней, начиная с 15—18 кружек в день и прибавляя затем по кружке, пока число их не достигало 30—40 в день. Затем пациент принимал ванны в течение 2—3 дней» (*Военский К.* Петр I в Карлсбаде в 1711 и 1712 годах. СПб., 1908. С. 13—14). Ремизов проходил курс такого водолечения летом 1914 г.: «Наконец выбрались мы из Карлсбада <...> шпруделевые ванны помогли, но от воды отощал» (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 3621. Л. 16; письмо Э. П. Юргенсону от 8 июля).

...скучала от пуповской музыки, симфонических концертов и гранатных магазинов. — Реалии курортной жизни, в частности, ювелирные магазины, торгующие украшениями из богемского граната, и эстрадная музыка ресторанов гранд-отеля «Пупп» («Pupp»).

...дрожали над своими кружками... — Разнообразные кружки-поильники для медленного питья целебных минеральных вод — один из атрибутов курортной жизни «на водах».

С. 450. *Каждый гимназист обязан был дать ей свой серебряный герб...* — Речь идет об эмблемах на околышах гимназических фуражек с изображением двух серебряных пальмовых ветвей, обрамлявших инициалы города, номер гимназии и букву «Г».

С. 452. *...посулил часы с кукушкой — заветная мечта Корявки!* — Ср. письмо Ремизова А. А. Блоку, написанное 11 июля 1911 г. из Швейцарии, известной мастерским изготовлением часов: «А часы с ку-

кушкою, о которых мечтал, мне не придется купить. Есть тут одно здание — башня, так на этой башне часы с кукушкою: кукушка маленька вылетает, малюсенькая, а кукует, за озером слышно» (*<Блок А. А.>* Переписка с А. М. Ремизовым (1905—1920) / Вступ. ст. З. Г. Минц. Публ. и комм. А. П. Юловой // *ЛН.* Т. 92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 2. М., 1981. С. 96). Вожделенные часы с кукушкой появились в квартире Ремизова только в 1924 г. (подарок Ю. К. Балтрушайтиса). С этого времени они стали неизменной интерьерной деталью кабинета писателя, а сама комната стала называться «кукушкиной». Ср. описание последней парижской квартиры Ремизова на улице Буало: «“Кукушкина” носила свое название по тому, что в ней находились часы с гирями и кукушкой, давно испорченные, хотя от времени до времени их заводили, по старой памяти, и кукушка невпопад куковала» (*Никитин Н. П.* «Кукушкина» (памяти А. М. Ремизова): Воспоминания // Ремизов А. Павлиньим пером / Сост., вступ. статья и прим. Н. Ю. Грякаловой. СПб., 1994. С. 214).

С. 452. *...нитунис.* — В первой редакции рассказа (Нива. 1914. № 10) слово сопровождалось авторским комментарием: «ни то ни сё» (С. 182).

С. 453. *Оскорд* — род топора с длинной рукоятью (XVII в.).

С. 454. *Вербное воскресенье* — последнее воскресенье перед Пасхой, праздник в память о въезде Господнем в Иерусалим. В русской традиции верба заменяет пальмовые ветви (вайи), которыми приветствовали Иисуса Христа.

...при Александре Македонском Сенека находился. — Ошибочное утверждение, которое восходит к реальному эпизоду: «“Аполлон” не “Журнал для всех” с редактором В. С. Миролюбовым, прозванным Сенекой: поправил в статье Лундберга Аристотеля на Сенеку (учитель Александра Македонского)...» (*Ремизов А. М.* Мышкина дудочка // *Петербургский буерак-РК X.* С. 36). Ср. также надпись Ремизова на личном экземпляре книги «Корявка», приведенную в преамбуле к комментариям (наст. том, с. 736).

С. 455. *Ты меня, Алексей Тимофеевич, называй ~ Балда Балдович...* — Ср. сходный эпизод, описывающий отношения Ремизова с В. В. Розановым. «В игре и в откровенные минуты В. В. <Розанов> говорил “ты”, а себя называл Василием <...> — Не Василий Васильевич, а Балда Балдович. Так я должен был называть В. В.» (*Ремизов А.* Кукха. Розановы письма. СПб., 2011. С. 80. (Литературные памятники)). Под этим же именем Розанов упоминается и в «Разрядной росписи людям Обезьяньей Великой и Вольной палаты», составленной со слов Ремизова С. Я. Осиповым (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 13. Л. 46).

...и был глагольлив, что вергаса... — болтлив, как тараторка.

С. 456. *Мироносицы* — Святые жены, принесшие миро (благовонное масло) для помазанья Иисуса Христа во гробе.

С. 457. *«Нива»* — популярный еженедельный иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни, издававшийся в Петербурге «Товариществом А. Ф. Маркс» с 1870 по 1918 г.

С. 459. *Воздвиженье* — церковный праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (14 сентября).

С. 463. *Или это ангел, водящий облаки...* — Очевидно, аллюзия к тексту «Автографа», служащему интродукцией к повести. Здесь обозначено время действия — «ветровая ночь» «в Михайлов день» — 8 (21) ноября — православный праздник Собора Архангела Михаила и всех небесных сил бесплотных. В библейской мифологии Михаил — небесный воин, противостоящий нечистой силе. Недаром в описываемую ночь, когда погиб Петр Иванович Галузин, Корявке снились черти. Мифологический подтекст этой роковой ночи также подтверждается фольклорными источниками. В частности, в обрядах славянских народов Михаилу приписывается власть над шквальными ветрами, а в поверьях южных славян в его ведении также оказывались мертвые души, поэтому в Михайлов день молились о «легкой» смерти (*Валенцова М. М., Узенёва Е. С.* Михаил св. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. 3. М., 2004. С. 254—257). Церковнославянская форма склонения слова «облако» во множественном числе подчеркивает коннотацию с образом архангела Михаила, возможно, именно таким образом представленного в апокрифах или народных лубках.

Ветер несметный... — неисчислимый; здесь в значении несметной (чудовищной) силы.

...и нет поруки. — Здесь порука в значении защиты (ручательства).

С. 468. *Завечен* — от слова «заветный», т. е. предназначен судьбой.

ПО КАРНИЗАМ
Повесть

Впервые опубликовано: По карнизам: Повесть. Белград, 1929. (Русская библиотека. Книга № 10).

Прижизненные публикации отдельных глав:

Карнизы. Впервые под загл.: Карнизы. Памяти Э. Т. А. Гофмана. (К 150-ой годовщине со дня рождения) // Звено. 1926. 30 мая. № 174. С. 4—5; Esprit. Впервые под загл.: Esprit. Histoire-salade: сказ-вяканье [О нем самом. О мышке. Die heilige Maus. Gespenst. Несторыч] // Современные записки. 1925. Кн. 23. С. 87—112; La Matière. Впервые: La Matière [Часы. Предисловие. Пятая нога. По плану. La source. Следы. Interpenetratio. Бесовская игра. Без бесов. Ожина. Палка. Колесо.

«J'attends»] // Современные записки. 1926. Кн. 27. С. 101—157, с авторской датировкой в конце текста «7. 11 <ноября>. 1924. Paris»; Наша судьба. 1. Щипцы. Впервые: Щипцы [1. Денежка. 2. Петух и кукушка. 3. И все живое и животных. 4. Крокмитэн. 5. Хвост оторвали] // Дни. 1926. № 893. 1 янв. С. 3; 2. Без хвоста. Впервые: Без хвоста [I. Полтарифа. II. В «УРСС». III. Царевна-лягушка. IV. И кнопку содрали] // Дни. 1926. № 995. 2 мая. С. 3; С дыркой. Впервые: С дыркой [1. Маляры. 2. «Советская власть». 3. Без свечки. 4. Золотая цепочка. 5. Посылка. 6. Клад. 7. Финотдел. 8. Покойник. La désinfection. Конец] // Последние новости. 1926. № 1964. 8 авг. С. 2—3; Алжирские шишки. Впервые под загл.: Алжирские шишки. Парижская легенда [Пять бубликов от старого Моисея. Ловить ами. Диамант] // Последние новости. 1929. № 2871. 31 янв. С. 2—3; Бику. Впервые: Бику // Версты. 1928. № 3. С. 26—34; с датой в конце текста: «8. 9. 26. Roches de la Pataurie <sic! Правильно: Pataterie>».

Рукописные источники глав и отдельных рассказов:

Карнизы — под загл.: Карнизы: памяти Э. Т. А. Гофмана — к 150-ой годовщине со дня рождения — 27. I. 1776—1926. — наборная рукопись с разметкой текста рукой Ремизова и пометами наборщика. Дата в конце текста: «Paris, 19.4 26»; черновой автограф с датировкой: «Paris, 18. 4. 1926»; недатированный черновой автограф (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр 3).

Esprit (глава) — под загл.: Esprit. Salade. Корябола. Сказ-вяканье — черновые автографы, редакции и варианты, включенных в главу рассказов, под назв.: О нем самом. О мышке. Die heilige Maus. Das Gespenst. Богобойная. Несторыч (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 1—20; в тетради).

La Matière (глава) — под загл.: Matière — наборные рукописи первых редакций; черновые автографы (редакции и варианты) включенных в главу рассказов под первоначальными назв.: Закон проницаемости. Программа. Бесовская Кознь. J'attends. Конец интермедии «J'attends»; дополнительные тексты под самостоятельными заголовками, изъятыми впоследствии из канонического текста: Автограф Льва Толстого. Рыбий жир. Несознательная метафизика. Докладает Гречишкин. Цвофирзон — интермедия — Предпосылки; (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 20—124; в тетради).

Наша судьба (глава) — «Денежка»: Наша судьба. Петух и кукушка — черновые наброски (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 71, 80—86; в тетради).

Без хвоста (глава) — Без хвоста. 1. Полтарифа. 2. В «URSS». 3. Царевна лягушка — беловой автограф с правкой; черновые редакции и варианты, с нумераций римскими цифрами, в том числе с первоначальным названием второй части: «II. Письмо в Россию».

Конец — под загл.: Под автомобилем. Из книги: «По карнизам» — каллиграфический беловой автограф на русском и французском языках; Под авто<мобилем — *зчркн.*>. Показание безвинно пострадавшего — доктору А. О. Маршаку — беловой автограф с описанием уличного происшествия 1 июля 1926 г. Все автографы представляют собой часть композиции авторского альбома-тетради в с датировкой: «13. V. 1937» (Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 13).

Алжирские шишки (глава) — под загл.: Алжирская шишка: Парижская легенда. 1. Пять бубликов от старого Моисея. 2. Ловить Ами. 3. Диамант — беловая рукопись с исправлениями, черновые наброски, варианты (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 6).

Бику — беловой автограф, черновые автографы (3 экз.), варианты (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 12).

Печатается по первой публикации повести в соответствии с современной орфографией, с сохранением авторской пунктуации, а также случаев устаревшего написания современных слов (таких, как матерьял, пьянино, мэтро, комбинэзон, невральгия); авторского написания немецких слов на немецком и русском языках; немецких имен и фамилий (Гоффман) и некоторых авторских слов (безхвостье).

Автобиографический нарратив повести «По карнизам» охватывает события 1922—1928 гг. Рассказы главы «Esprit» связаны с первыми двумя годами эмиграции, проведенными писателем в Берлине (с 21 сентября 1921 г. по 23 октября 1923 г.), и путешествием по Баварии летом 1922 г. Несмотря на отсутствие датировок, тексты ранних редакций «Esprit» (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1) содержат ряд реалий, благодаря которым конкретизируется время создания рассказов главы. К хронологическим ориентирам, указывающим на август 1924 г., относится упоминание о полученном печальном известии в автографе рассказа «О мышке» — кончине переводчика и историка литературы А. С. Элиасберга (р. 1878), который умер 27 июля 1924 г. Первые некрологи о нем появились в эмигрантской печати в 10-х числах августа[1]: «А вспомнил я о святой мышке и потому, что заговорил о своей — сторожила меня семь вечеров! — и еще потому, что на святую гору Андекс взбирался с нами А. С. Элиасберг и трудно ему было: больное сердце. И вот слышу, его уж нет на белом свете: больше сердце не выдержало грешной земли» (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 5). В отличие от печатных редакций (первой — в мартовской книжке «Современных записок» за 1925 г. и окончательной — в 1929 г.), рукопись «Esprit» содержала дополнительный рассказ «Богобойная», который впоследствии был лишен заглавия и представлял собой по-

[1] См.: Руль. 1924. № 1122 13 авг.; № 1126. 17 авг.

следнюю часть этой главы, отделенную астерисками (со слов: «Фрау Карус, хозяйственная, рассудительная — “богобойная”»).

Вторая глава «La Matière» отражает впечатления от поездки в Прагу в августе 1924 г. Ранняя рукописная редакция включала помимо рассказов, известных по канонической редакции 1929 г., дополнительные тексты и фрагменты, от которых писатель отказался уже при подготовке первой публикации в ж. «Современные записки». К ним относится текст под названием «Автограф Льва Толстого», обнаруживающий причастность Льва Толстого к судьбе безвестной крестьянки. По своему генезису, содержание «Прошения», как подлинного документа из архива Толстого, сходно с текстами бытовой русской письменности, собранными Ремизовым в первом томе «Россия в письменах». В рукописи главы «La Matière» «Автограф» располагался между рассказами «Пятая нога» и «По плану» и первоначально отвечал замыслу писателя представить в повести «По карнизам» различные случаи проявления «чудесного» в реальной жизни.

Автограф Льва Толстого

В Крапивненскую земскую управу крестьянки
Новиковой прошение

В Крапивненскую Уездную Земскую Управу крестьянки Новиковой, деревни Ясенков Ясенецкой волости

Прошение

В виду того, что муж мой, Фома Иванов Новиков взят на действительную воинскую службу, Крапивненская Уездная Земская Управа постановила выдавать мне на время его отсутствия ежемесячно пособие. По расстроенному здоровью, мой муж с сентября 1904 года по апрель 1905 года был отпущен со службы. На это время выдача мне пособия была прекращена.

Убедительнейше прошу Крапивненскую Уездную Земскую Управу не отказать мне в выдаче пособия и за означенное время (сентября 1904 — по апрель 1905 г.) так как мой муж все это время находился не дома, а на излечении в военном госпитале

Крестьянка Пелагея Новикова
1905 мая 19 дня за неграмотностью подписал
Лев Толстой
(РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 23).

Публикация главы в 23-й книге «Современных записок» зафиксировала существенное изменение авторской стратегии в отношении сюжета, связанного с «Автографом Льва Толстого». Здесь упоминание об этом документе (с пояснением «подарок от В. Ф. Булгакова») и кратким изложением его содержания встречается только в контексте заключительного рассказа «J’attends» (в редакции 1929 г. — «Я жду»).

В первой печатной редакции главы «La Matière» (Современные записки. 1926. Кн. 27) также не оказалось рассказа «Рыбий жир» (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 28—30). В рукописи он помечен авторской отсылкой: «Взвихренная Русь». Извлечение этого текста из состава повести «По карнизам» объясняется тем обстоятельством, что в начале лета 1925 г. состоялась его публикация на страницах ж. «Звено» (№ 122. 1 июня) как части романа «Взвихренная Русь», полный текст которого вышел в свет в 1927 г. Такая перекомпоновка, очевидно, была вызвана тем, что в ходе работы над отдельными сюжетами о «чудесных» явлениях жизни, постепенно сформировался замысел большого произведения, локализованного сугубо на хронотопе эмигрантского бытия — пространстве Германии, Чехии и Франции, и временно́м отрезке, начиная с осени 1921 г. (то есть практически со дня приезда писателя в Берлин 21 сентября), по лето 1928 г., когда, уже в Париже, была написана последняя глава повести «По карнизам»[1].

К фрагментам, изъятым из состава главы «LaMatière» еще на этапе подготовки ее первой публикации в ж. «Современные записки», относится и текст, озаглавленный «Гречишкин докладает». Его содержание представляет собой заключенный в кавычки фрагмент рассказа Вит. Федоровича (наст. имя и фамилия Виталий Федорович Добровольский; 1885—1962) «Сказ о боге Кичаг и Федоре Козьмиче». Это произведение было прочитано Ремизовым в «Альманахе артели писателей» за 1924 г. (М.; Л.: Круг. С. 287—325). Очевидно, что цитата из современной прозы в первоначальной композиции главы составляла стилистическую «пару» с обширной цитатой из рассказа Вяч. Шишкова «Спектакль в селе Огрызове», сохраненной как в первой, так и в окончательной редакции 1929 г. Допечатная редакция второй главы также включала цикл миниатюр под названием «Цвофирзон», повествующих о деятельности вымышленного философского общества (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 66—71). Однако этот корпус текстов, связанных с берлинской жизнью писателя, Ремизов опубликовал в мае 1925 г. на страницах рижского журнала «Наш огонек» (№ 22. 30 мая). Логика, по которой «Цвофирзон» оказался за рамками даже журнальной редакции главы, объясняется, прежде всего, тем, что, по сути, «Цвофирзон» был одной из литературных мистификаций писателя, идея и стиль которых не соответствовали общей тематике рассказов, в конечном счете составивших повесть «По карнизы».

Десять рассказов, получивших общее название «La Matière», датированы Ремизовым 7 ноября 1924 г. В начале 1924 г. глава была представлена на суд ближайшего окружения писателя. В частности,

[1] Исключение составило лишь вступление «Карнизы», ассоциированное с московским топосом.

19 февраля Ремизов прочел свое новое произведение сотруднику парижской газеты «Последние новости» С. В. Познеру, о чем он сообщал в письме к С. П. Ремизовой-Довгелло в тот же день (ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Кн. 13. Л. 46). Однако первая публикация в ж. «Современные записки» состоялась значительно позже — в апреле 1926 г. Складывается впечатление, что до весны 1925 г. «La Matière», как и уже опубликованный на тот момент рассказ «Esprit», не ассоциировались самим Ремизовым с произведением крупной формы, замысел которого, очевидно, обозначился в творческих планах писателя только в это время. Тогда же, наконец, прозвучало и его название — «La Vie» («Жизнь»). Примечательно, что «La Vie» мыслилась Ремизовым как повесть, состоящая лишь из двух глав («Esprit» и «La Matière»). При этом главы первоначально имели жанровые определения: первая глава носила подзаголовок «Histoire-salade: сказ-вяканье», а вторая, ввиду большого количества включенных в нее снов, приобрела свое — «Conte-rêve», то есть «рассказ-сон». Готовый проект, в соответствующем виде предложенный в пражский журнал «Воля России» [1], был отклонен [2]. Однако запоздалый анонс новой повести появился ровно через год в связи с выходом в свет «La Matière» на страницах апрельской книги «Современных записок» за 1926 г., да и то всего лишь в набранном петитом редакционном <sic!> примечании к тексту: «“La Matière” — вторая часть повести “La Vie” (Лави), первая часть которой — “Esprit” была напечатана в 23 кн. “Современных записок”» (С. 101). На этом история создания повести под названием «Жизнь» завершилась.

Точкой отсчета в истории формирования собственно повести «По карнизам» следует считать 19 апреля 1926 г., когда был написан юбилейный очерк к 150-й годовщине со дня рождения Э. Т. А. Гофмана, озаглавленный «Карнизы». В композиции повести он займет место вступления неслучайно, поскольку его содержание раскрыто через метафорический образ «карнизов» — опасной и в тоже время притягательной для художественного сознания области существования. Тогда же произошло и переосмысление идеи произведения о «чудесах» в реальности, и вместо названия «La Vie» («Жизнь») появилось

---

[1] См. об этом в письме Ремизова Д. А. Лутохину от 24 апреля 1925 г.: Письма А. М. Ремизова к Д. А. Лутохину (1923—1925) / Публ. и комм. Е. Р. Обатниной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2005—2006 год. СПб., 2009. С. 974.

[2] См. письмо редактора журнала М. Л. Слонима Ремизову от 4 мая 1925 г. (*Keys R.* New light on Remizov's first novel, Prud (The Mere): selected correspondence of A. M. Remizov, E. A. Liatskii, M. Slonim, F. S. Mansvetov, and The «Plamia» Publishing House // Slavonica. 2004. Vol. 10. № 1. April. P. 73).

другое — «По карнизам», более точно отражающее доминантную авторскую интенцию раскрыть собственный путь познания бытия: в противовес «прозе» жизни объективировать невидимый мир чудес.

Согласно сохранившейся переписке Ремизова с женой, 27 июня он приступил к главе «С дыркой», последний рассказ которой был продиктован жизненными обстоятельствами, случившимися 1 июля 1926 г., когда писатель был сбит автомобилем. Происшествие даже попало в хронику повседневных новостей. Сохранившаяся репортерская заметка из неатрибутированной парижской газеты сообщала: «Случай с А. Ремизовым. А. Ремизов попал под такси, к счастью, отделался легкими ушибами» (ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Кн. 13. Л. 74). В составе книги «По карнизам» этот автобиографический эпизод получил драматическое название «Конец» и завершал главу «С дыркой».

Хронология создания рассказов, составивших повесть «По карнизам», показывает, что временна́я дистанция между описываемыми в рассказах реальными событиями и творческой работой над текстом, начиная со второй главы, была предельно минимализирована. Поэтому, в известном смысле, повесть содержит хронику реальной биографии писателя. Например, также как и рассказ «Конец», но уже по «следам» недавно пережитых впечатлений, связанных с летней поездкой в Бретань, 9 сентября 1926 г. был написан рассказ, названный именем маленького бретонца «Бику».

К работе над последней, четвертой, главой «Алжирские шишки» Ремизов приступил 17 июля 1928 г., что зафиксировано его письмом к жене с подробным изложением легенды о девочке под именем Занофа, приносящей бублики (рассказ «Пять бубликов от старого Моисея»; ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Кн. 13. Л. 100).

Особенностью первых редакций и вариантов текстов, составивших содержание рукописи «По карнизам», является упоминание в одном контексте мифологических имен сказочных персонажей и подлинных фамилий реальных знакомых писателя, большинство из которых были известны в литературно-художественной среде русской эмиграции. Здесь фигурируют К. В. Мочульский, К. Л. Богуславская, М. А. Осоргин, Ф. С. Мансветов, С. И. Шаршун, П. П. Сувчинский, М. В. Вишняк, К. И. Чуковский, А. Н. Толстой и многие другие. Если в первой печатной редакции главы «La Matière» Ремизов сохранил все имена в неизменности, то в редакции 1929 г. он нейтрализовал подобного рода собственную установку на подлинность, не только заменив почти все реальные имена вымышленными, но и существенно сократив описания снов, в которых также были задействованы его современники.

Именно автобиографичность и документальность, возведенная Ремизовым в художественный принцип, стала мишенью для рецензентов, достаточно критически оценивших публикации новых произ-

ведений, еще не ассоциированных с повестью «По карнизам». Рассказы, образовавшие главу «La Matière», с целым каскадом снов писателя, изобилующие бытовыми подробностями его личной жизни, вызвали откровенный протест некоторых критиков, привыкших разделять художественное творчество и литературный быт. В частности, рецензент 27-й книги «Современных записок», на страницах которой эта глава впервые увидела свет, поставив вопрос в названии своей заметки — «Зачем молодиться?», недвусмысленно намекал на стремление некоторых писателей-эмигрантов к новаторству, несоответствующее их опыту и статусу. Внимание критика также привлекла оригинальная композиция «La Matière», объединившая сюжетный нарратив, наполненный авторскими фантазиями, и пересказ трех фольклорных сказок. Невольное сравнение фольклорных и авторских «чудес» оказалось не в пользу Ремизова: «Что же касается того бесовского в жизни, которое всегда у нас перед глазами и которого мы не замечаем, то ремизовская символика этого бесовского мало убедительна, потому что уж слишком слаба у него связь между реальным и фантастическим. Несколько народных сказок в этом рассказе, в которых Ремизов так удивительно передал народный язык, еще более подчеркивают надуманную сказочность его рассказа» (*Кульман Н.* Зачем молодиться? («Современные записки», кн. 27-ая и 28-ая) // Возрождение. 1926. № 499. 14 окт. С. 3).

Другой критик был немало возмущен манерой Ремизова вводить в художественный контекст пересказы собственных снов. Завершая отзыв, преимущественно составленный из колоритных примеров ремизовского абсурдизма, он не удержался от обращения к друзьям писателя: «Неужели не найдется никого из близких этому большому и талантливому писателю людей, кто мог бы посоветовать ему раз навсегда прекратить “сны”? Ведь скучно!» (*Самсонов М.* <*Соловейчик С. М.*>. Записки читателя («Современные записки», книга 27-я) // Дни. 1926. № 978. 11 апр. С. 3).

Однако критические оценки повести «По карнизам» содержали и ценные наблюдения, касающиеся особенностей ремизовского творчества, которое именно в первые годы эмиграции приобрело отчетливую тенденцию к созданию новой автобиографической прозы. Журнальная публикация главы «Esprit» (с подзаголовком «Histoire-salade: сказ-вяканье») убедительно показала, что писатель придумал собственный модус автометаописания. Однако многие из критиков были склонны отождествлять авторское «Я» и личность самого писателя. В частности, прозвучала прямолинейная мысль о том, что «это “сказ-вяканье” — своеобразные “мемуары”» (*Бенедиктов М.* «Современные записки». Книга XXIII // Последние новости. 1925. № 1509. 26 марта. С. 2).

Издание полного текста повести «По карнизам» в 1929 г. дало уже более основательный повод для литературоведческих констатаций, касающихся творческой эволюции Ремизова. К. В. Мочульский, давний поклонник таланта писателя и герой некоторых сюжетов повести, отмечал, что идея обнаружения чудесных сторон жизни является не столько искусственным художественным приемом, сколько обусловлена природой творческого сознания Ремизова, мифологического по преимуществу, для которого не существовало условное, намеренно дистанцированное отношение к легенде, сказке или преданию, потому что «для Ремизова легенды — не археология, а жизнь со всеми ее мелочами, и сегодняшний день и вечность». Наблюдения Мочульского также касались вопроса о свойствах ремизовского автобиографизма. По убеждению критика, «нельзя понять особенностей ремизовского письма — такого единственного в своеобразии — не раскрыв его главного символа. Ремизов рассказывает от первого лица; кажется, что рассказчик и есть сам автор и что писания его — автобиографичны. Прием этот проводится так убедительно, что о личности повествователя как-то и не думаешь. А между тем "я" у Ремизова — самое удивительное и особенное из всех его созданий» (*Мочульский К.* Алексей Ремизов. Ремизов. По карнизам. Повесть. Белград, 1929 // Современные записки. 1932. Кн. 48. С. 481).

От наблюдательных читателей из круга литераторов не укрылся также тот факт, что текст повести в издании 1929 г. претерпел существенные изменения в сравнении с первыми печатными редакциями. М. Осоргин отметил, что «очерки ("Эспри", "Ла матьер", "Наша судьба") изменены сравнительно с их прежним текстом, в частности, автор, очевидно, вник печатным жалобам, заменил раздражающие подлинные фамилии — вымышленными. Ремизов стал добрее и проще». В интерпретации Осоргина новая проза Ремизова не поддается пересказу, как не поддается повторению филигранно исполненное произведение искусства. Характеризуя повесть, он отмечал исключительную и неуловимую для определений изысканность ремизовского авторского стиля: «По карнизам» — «грань между чудесным и бытовым, и, пожалуй, вообще — чудо бытия, вязь слов, чтобы где-то среди шуток сказать о человеческом, и сказать с высокой ремизовской добротой, отлично понятной детям, и не всегда доступной взрослым» (Последние новости. 1929. № 3151. 7 нояб. С. 3).

С. 473. *...мои сверстники зачитывались Майн-Ридом, Купером, Жюль Верном...* — речь идет о классиках приключенческой и фантастической литературы для детей и юношества — англичанине Томасе Майн Риде (Tomas Maine Reid; 1818—1883), американце Джеймсе Фениморе Купере (James Fenimore Cooper; 1789—1851) и французе Жюле Верне (Jules Gabriel Verne; 1828—1905)

С. 473. *Из трех моих братьев — двое лунатики.* — См. также гл. «Лунатики» в автобиографическом романе Ремизова «Подстриженными глазами».

С. 474. *...для «нормального» человека, каким я был и есть вопреки свидетельству докторов и доброжелателей.* — Подразумеваются автобиографические сюжеты, первый из которых относится ко времени северной ссылки писателя, когда в 1901 г. понадобилось медицинское заключение о состоянии психического здоровья Ремизова, позволявшее ему остаться под надзором полиции в Вологде. Ложный диагноз был поставлен известным экономистом и политологом А. А. Богдановым-Малиновским, который также отбывал ссылку в Вологде, работая в местной больнице для душевнобольных заведующим отделением. О комических обстоятельствах этого знакомства см. в автобиографическом романе Ремизова «Иверень», посвященном северной ссылке писателя: *Иверень-РК VIII*. С. 436. Другой случай свидетельства, якобы указывающего на психическое расстройство Ремизова, связан с его профессиональной деятельностью. Литературный критик В. П. Буренин дважды касался темы «невменяемости» и «умственного расстройства» Ремизова. В частности, по поводу романа «Пруд» он писал: «Я не назову и автора романа, опять-таки из жалости к нему: к чему оглашать имена очевидно помешанных, несчастных пациентов современных бедламов, называющихся ежемесячными литературно-общественными органами. Не назову и заглавия самого романа. <...> И эта бедламная беллетристика предъявляется нам не в качестве характерных писаний пациентов лечебниц св. Николая и Удельной, а в качестве новейших образчиков самой новейшей литературы» (Новое время. 1905. № 10644. 28 окт. С. 4); «Я раз уже обращал внимание читателей на этот роман и тогда же сделал догадку, что роман писан душевнобольным. Теперь, кажется, догадка может перейти в полное убеждение: если бы какому-нибудь психиатру, хотя бы профессору Ковалевскому, в числе сочинений, написанных пациентами дома умалишенных, представили рядом “маленькие произведения” студента и большой роман в двух частях, который я имею в виду, то, конечно, профессор пришел бы к такому заключению, что умалишенный студент по сравнению с автором романа еще как будто здравомыслящий писатель...» (Новое время. 1905. № 10681. 9 дек. С. 4).

«Pomialowische Fehler» и «Remisowische Fehler» — «Помяловские ошибки» и «Ремизовские ошибки» (*нем.*).

...сейчас же после Люблина... — В 1880-е гг. *Люблино* — небольшое село в Подмосковье с летней усадьбой и железнодорожной станцией.

С. 475. *...кругом сады: Хлудовский, Найденовых, Ворониных.* — Фамилии представителей известных купеческих родов. К династии Найденовых принадлежал и Ремизов как племянник старших братьев его

матери — Найденовых. Известность этой фамилии принесли не только значительный семейный капитал, но и разносторонняя общественная и благотворительная деятельность. Старший из них — Николай Александрович Найденов (1834—1905), потомственный почетный гражданин, в течение 25 лет возглавлявший московский Биржевой комитет, краевед, историк храмовой архитектуры Москвы и меценат. Младший — А. А. Найденов (1839—1916), известный московский фабрикант, был женат на дочери капиталиста-промышленника, коллекционера Г. И. Хлудова, А. Г. Хлудовой. Подробнее о купеческих династиях см.: *Бурышкин П. А.* Москва купеческая М., 1991.

С. 476. *...ярче «молоньи»...* — то есть ярче молнии (диалект. форма слова).

С. 477. *Schwager* (*нем.*) — деверь, брат жены.

...мне попался «Щелкунчик» с картинами... — возможно, издание, выпущенное с иллюстрациями известного художника-передвижника В. Е. Маковского: *Гофман Э. Т. А.* Сказка про щелкуна и мышиного царя / Пер. с нем. С. В. Флерова. Рис. акад. В. Е. Маковского. М., 1882.

Дроссельмейер — персонаж сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик».

...в Париже на avenue Mozart... — Имеется в виду парижский адрес Ремизова и его жены С. П. Ремизовой-Довгелло.

«Die Elixire des Teufels» — роман Э. Т. А. Гофмана «Эликсиры Сатаны».

С. 478. *Esprit*— дух, привидение (*фр.*). Ср. описание кабинета писателя в парижской квартире на улице Буало: «...на фоне золотой бумаги — Эспри. Это сухая веточка, напоминающая фигурку человечка с привязанной на шнурке гладкой шишкой. Эспри был найден в ящике с дровами» (*Резникова Н. В.* Огненная память: Воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley, 1980. С. 22).

А его на серебро — на стенку... — Подразумевается специальное место на стене кабинета писателя, предназначенное для его коллекции природных артефактов, где на фоне серебряной фольги были размещены ветки, шишки и высушенные морские растения, которые ассоциировались писателем с конкретными образами фольклорной мифологии.

Villa Flore — название пятиэтажного здания по avenue Mozart (120 bis), построенного в XVI округе Парижа архитектором Гектором Гимаром (Hector Guimard) в стиле d'Art Nouveau. Согласно записям писателя, на «Виллу Флор» Ремизовы переехали 26 февраля 1924 г. и прожили здесь 4 последующие года (Тетрадь с переписанными Ремизовым в 1948 г. собственными письмами к жене за 1921—1928 гг. // ГЛМ. Ф. 156. Кн. 13. Л. 30 об.).

Коляда-Коляда / русальная / вербная / лелия! — Припев одной из традиционных обрядовых песен южных славян, исполняемых на Ко-

ляду — языческий праздник, посвященный зимнему солнцестоянию — повороту времени от зимы к лету. *Лелия* — мифологический персонаж, воплощающий весеннее обновление.

С. 479. *...а по-русски лесным русским именем — «корябала». — Корябола* — от диалектного слова корябать — царапать, драть. В черновой редакции текста имеется дополнение: «Его называют "esprit", а по-русски лесным русским именем — "корябола". И портрет его есть — вместе со мной, Б. Григорьев нарисовал: перед носом у меня рыбья кость (для крепости), а за рыбьей костью он — на серебре, но без шишки, ждет...» (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 1). Портрет Ремизова работы Б. Григорьева был опубликован в парижском журнале «Иллюстрированная Россия» (1924. № 15 (100). С. 2—3).

Ученый спирит — представитель философского учения — спиритуализма, согласно которому в основе физического мира лежат субстанции, подобные человеческому духу.

...с фотографии от доктора Ришэ — материализованный дух! — Шарль Рише (Charles Richet; 1850—1935) — известный французский ученый, иммунолог, автор работ по психологии, в частности, о сомнамбулизме; лауреат Нобелевской премии 1913 г. за открытие в области физиологии; член и президент Парижской Академии наук (1914, 1933), а также иностранный член Санкт-Петербургской Академии наук (1912) и Академии наук СССР (1925). В 1905 г. Рише ввел в научный оборот понятие «метапсихика», обозначающее «науку о физических или психологических явлениях, вызванных кажущимися разумными силами или еще неизвестными скрытыми возможностями человеческого разума» (*Riche Ch.* Trite de metapsychique. Paris, 1922. P. 5). В августе 1905 г. Рише проводил исследования медиума Marthe Beraud, в присутствии которого появлялся дух Bien Boa. В ходе сеансов были сделаны фотографии излучений, впоследствии опубликованные в научных изданиях. Подлинники двух снимков, зафиксировавших ход исследования паранормальных явлений Ш. Рише («Materialisation of the ghost of Bien Boa at the Villa Carmen in Algiers. August, 1905. Two gelatin silver point 10 × 7.5 cm (each)»), хранятся в: American Philosophical Society Library (Philadelphia). См. также републикацию этих фотографий в книге: The perfect Medium: Photography and the Occult. New Haven; London, 2004. P. 192. В 1920 г. Рише вновь принял участие в исследовании нематериальных сил и явлений, изучая реакции польского медиума и поэта Франека Клуски (Franek Kluski; 1874—1944). Первая серия исследований проводилась под руководством Густава Желе (Gustave Geley) с 8 ноября по 31 декабря 1920 г., последующие — в 1921, 1922 и 1924 гг. Была поставлена задача получить отпечатки кисти и стопы духа (через снятие парафиновых слепков). Проведены 14 сеансов, из которых 11 успешных. Фотографии слепков антропо-

морфного существа были напечатаны в книге: *Geley G.* L'Ectoplasmie et la Clairvoyance. Paris, 1924, а также в ж. «Revue Metapsychique» в 1921, 1922, 1924 годах. См. также *Geley G.* Clairvoyance and Materialisation: A Record of Experiments. London, 1927. О фотографиях слепков кистей и ступней духа см. также: The perfect Medium: Photography and the Occult. P. 269.

С. 479. *Докука* — диалектное слово со значением — хлопоты, беспокойства.

С. 480. *...поехала С. П. к Морю-Океану за морскими камушками и раковинами к одной доброй бретонской волшебнице Флёри (Fleury).* — В июле 1924 г. жена Ремизова — Серафима Павловна Ремизова-Довгелло (1876—1943) — впервые отправилась отдыхать на Атлантический океан в деревню Le Clion-sur-Mer, расположенную в Бретани (департамент Атлантической Луары), в 4 км на восток от портового городка Pornic. Хозяйка виллы «Kerbellek» носила фамилию Fleury (полное имя Jeanne Hugenet-Fleury) и была женой председателя деревенской общины. Ремизовы между собой называли мадам Флёри «волшебницей», связывая ее образ и «цветочную» фамилию с кельтской мифологической культурой французской Бретани, по народным поверьям, населенной эльфами, феями и волшебниками. Ср. письмо Ремизова П. П. Сувчинскому от 24 августа 1925 г. в котором, в частности, сообщалось: «Серафима Павловна совсем расхворалась. И поднявшись, поехала к одной волшебнице» (Национальная библиотека Франции. Архив П. П. Сувчинского. RES VM DOS—92 (48)).

Как-то под вечер загнал ко мне дождик музыканта Шварца. — Под вымышленной фамилией скрыт реальный знакомый Ремизова Борис Федорович (Фердинандович) Шлёцер (Boris de Schloezer; 1883—1969) — музыкальный и литературный критик, философ; сотрудник журналов «Аполлон» и «Золотое Руно» в дореволюционном Петербурге. С 1920 г. Шлёцер жил в Париже; сотрудничал в газете «Последние новости», а также в журналах «Современные записки» и «Числа»; переводил произведения Ремизова на французский язык, а также был автором рецензий на книги писателя. Ср. первоначальный вариант рукописного текста: «Как-то под вечер загнал ко мне дождик Шлецера (Schlœzer'а)» (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 3), сохранившийся и в первой печатной редакции (*Ремизов А.* Esprit. Histoire-salade: сказ-вяканье // Современные записки. 1925. Кн. 23. С. 90).

...много вечеров пропадали мы вместе на балете и для меня начало лета было пронизано — вымузычено Стравинским... — Речь идет об одноактных балетах, поставленных труппой «Русские балеты» С. П. Дягилева. Впечатления нескольких театральных сезонов (1923—1929 гг.) от спектаклей «Свадебка», «Песнь соловья», «Весна священная», «Аполлон Мусагет»», «Зефир и Флора», соединивших авангардную

музыку Игоря Федоровича Стравинского (1882—1971), уникальную хореографию Б. Ф. Нижинской, Л. Ф. Мясина и Дж. Баланчина в исполнении В. Нижинского и С. Лифаря, отражены в очерках Ремизова, впервые опубликованных под общим названием «Дягилевские вечера». См.: Последние новости. 1925. № 1592. 3 июля. С. 3; Воля России. 1929. № 10/11. С. 95—99, а также: *Петербургский буерак-РК X*. С. 267—272.

С. 480—481. *...а глаза закрашены Пикассо, и музыкант не ходил уж, а акробатировал червем-землемером под «Голубой поезд» (Le train bleu).* — Премьера балета «Голубой экспресс», поставленного труппой С. П. Дягилева «Русские балеты» на музыку Д. Мийо и либретто Ж. Кокто, состоялась в Театре Елисейских полей 20 июня 1924 г. Этот спектакль стал выражением синтеза авангардных искусств. В его оформлении принял участие П. Пикассо, по эскизу которого был создан занавес, повторяющий картину художника «Женщины, бегущие по пляжу» (1922). Автором костюмов выступила знаменитый модельер Коко Шанель, над декорациями работал скульптор-кубист А. Лоран. По замыслу Дягилева и Кокто, балет посвящался новой субкультуре, ориентированной на технический прогресс, спорт и джаз. Соответственно хореография классического танца претерпела сильную трансформацию, продиктованную темой спорта, которая была поддержана спортивными костюмами от Коко Шанель. Среди исполнителей главных партий особым успехом у публики пользовался Антон Долин, который блестяще сочетал танцевальную технику классического балета со сложными акробатическими элементами.

С. 481. *Четвертьтоновая музыка* — авангардная музыка, основанная на звукоряде из 24 звуков, отличных интервалом в ¼ тона, вместо обычной системы, состоящей из 12 полутонов. Со второй половины 1910-х гг. «свободная музыка», написанная в четвертитоновой системе, составила отдельную страницу исследований русских футуристов Н. Кульбина, М. Матюшина, А. Лурье. В эмиграции новаторские поиски в сфере музыкального творчества приобрели идеологическую направленность. Подробнее см.: *Вишневецкий И.* Евразийское уклонение в музыке 1920—1930-х годов: история вопроса. М., 2005.

Мухин и Мирский. Разговор о стиле. — Ср. первоначальный вариант текста с заменой реального имени: «А на следующий день тоже вечером: Мочульский и кн. Мирский. Разговор о стиле — о большом, крепком русском стиле со строгим ритмом» (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 3; *Ремизов А.* Esprit. Histoire-salade: сказ-вяканье // Современные записки. 1925. Кн. 23. С. 90). Мочульский Константин Васильевич (1892—1948) — историк русской литературы, поэт, переводчик, мемуарист; эмигрировал в 1920 г. в Болгарию; с 1922 г. жил в Париже; профессор Сорбонны. Дмитрий Петрович Святополк-Мир-

ский, князь (псевд. Д. С. Мирский; D. S. Mirsky; 1890—1939) — историк русской литературы, переводчик; основатель ж. «Версты» (1924—1928), евразиец. История многолетних отношений с Ремизовым, восходящая к 1907 г., исследована в предисловии Р. Хьюза к публикации писем Д. П. Святополк-Мирского к Ремизову 1922—1929 гг.: «...С Вами беда — не перевести» Письма Д. П. Святополка-Мирского к А. М. Ремизовую 1922—1929 // Диаспора. V. Париж; СПб., 2003. С. 339—346.

С. 481. Die Heilige Maus — букв: Святая мышь (*нем.*).

С. 482. *Жили мы в Брайтбурне на Аммерзее...* — Речь идет о летнем отдыхе в Верхней Баварии в 1922 г. (с 14 по 31 июля), у подножия горы Andechs, на вершине которой располагается одноименный бенедиктинский монастырь XV в.

...«слово Andex из Eidechse. Adie Eidichse значит ящерица, веретеница!» — Правильно: Andechs (*нем.*). Здесь объясняется этимология старинного названия горы и монастыря.

Монастырь старинный ~ знаменитая пивоварня (Kloster-Brauerei). — История монастыря восходит к середине XV в., когда герцог Андекс (Andechs) передал во владение Ордену бенедиктинцев расположенный в его землях замок. Известность монастырю также принесла пивоварня (Brauerei), которая и в наши дни сохраняет старинные рецепты приготовления ячменного напитка, считавшегося целительным.

...и гвозди страстные, шип из тернового венца, риза Николы Угодника. — Крестовые походы рыцарей-бенедиктинцев XI—XII вв. пополнили дарохранительницу Андекса святынями, в частности, здесь хранится частица тернового венца Спасителя и фрагменты архиерейского облачения св. Николая.

...das Bild des heiligen Mauschen... — букв.: образ святой мыши (*нем.*).

Ein Maus zeigt durch den Zettel an, / Wo man das Heiligtum findeti kann. — Надпись под настенной фреской из галереи монастыря Андекса, в переводе с немецкого означающая: «Мышь запиской показала, где сокровище лежало».

С. 483. *...в окно воскресный звон со Старого Моабита... — Moabit* — район в центре Берлина.

Тиргартен — Tiergarten — район старого Берлина с одноименным зоологическим садом.

Навóй— от глагола навивать. Ср. однокоренное диалектное слово навивни — побеги растений (см.: *Толковый словарь В. И. Даля.* Т. II. С. 386).

...густой звон в Гедэхтнискирхе... — Gedächtniskirche — до Второй мировой войны одна из самых высоких протестантских церковей в Берлине, возведенная в честь первого германского кайзера Виль-

гельма I; в 1943 г. почти полностью разрушена бомбардировщиками союзнических войск.

С. 483. *...Рудольф Шольц — толстовского склада...* — писатель-эмигрант, корреспондент Ремизова в 1926 г., в эмиграции организовал коммуну с крестьянским укладом жизни.

Кайзер — Кайзер Рудольф (Kayser Rudolf; 1889—1964) — знакомый Ремизова по Берлину, немецкий писатель, критик, редактор известного литературного журнала «Die Neue Rundschau» (1890—1944; издатель С. Фишер — S. Fisher), представитель ж. «Новая Россия» / «Россия» в Германии.

Осипов — Сергей Яковлевич Осипов (1888—1948), заведующий конторой петербургского издательства «Сирин» в 1912—1915 гг.; многолетний товарищ Ремизова, в 1921—1929 гг. работал сначала в советском торгпредстве Ревеля (Таллина), а затем в Берлине и Гамбурге. См. о нем главу «Ключарь С. Я. Осипов» в кн.: *Обатнина Е.* Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. С. 233—238; «В России, как встретимся, будем вспоминать». I. Переписка А. М. Ремизова с С. Я. Осиповым (1913—1923) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2001 год. СПб., 2006. С. 218—265.

...жили мы в Берлине на Лессингштрассе... — Lessingstrasse, 16 — второй адрес Ремизовых Берлине, куда они переехали из района Шарлоттенбург 1 апреля 1923 г. Улица расположена недалеко от квартала, построенного вокруг церкви Св. Николая (Nikolaiviertel), где в 1748—1767 гг. останавливался Готгольд-Эфраим Лессинг (1729—1781), немецкий писатель, критик, драматург, один из крупнейших представителей литературы европейского Просвещения.

...в Шарлотенбурге вокруг Кирхштрассе, где раньше мы жили... — Речь идет о первом адресе проживания в Берлине: Kirchstrasse, 2 II bei Delion, Charlottenburg 1, 1 — Berlin.

...«дрогери»... — *Drogerie* (*нем.*) — магазин аптечных и химических товаров.

С. 484. *...пустил во все углы нить...* — Речь идет о коллекции игрушек Ремизова, которые он развешивал на веревке, протянутой через рабочий кабинет. Ср. с письмом Г. Б. Струве к братьям от 31 декабря 1922 г., описывающим атмосферу берлинской квартиры писателя: «...у него <Ремизова. — *Е. О.*> вся комната увешана занимательнейшими существами: чертиками, обезьяньими царями, лешими и п<одобного> род<а>. Все они имеют свои имена и функции, а сам Алексей Мих<айлович> относится к ним как к живым существам и примечательно о них рассказывает» (цит. по: *Колеров М. А.* Русские писатели и «Русская мысль» (1921—1923). Новые материалы // Минувшее: Истор. альманах. Вып. 19. М.; СПб., 1996. С. 248).

С. 484. *Унтергрундик* — от *Untergrund* (*нем.*) — метро.

Цверг — в германской мифологии природный дух в образе карлика, живущий в камнях и земле, избегающий солнечного света.

С. 485. *...четыре Михеля — четыре пряника...* — традиционные имбирные пряники святого Михаила, выпекаемые в Германии на Рождество.

...обезьянья вельможа в короне — «велобезвелкин»... — игрушечный образ обезьяньего царя Асыки, придуманного Ремизовым в 1908 г. для пьесы «Трагедия о Иуде, принце Искариотском». Подробнее об этом герое, ставшем ключевой фигурой в созданной Ремизовым литературной игре-фантазии «Обезьянья Великая и Вольная палата» (сокращенно: Обезвелволпал), см.: *Обатнина Е.* Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. С. 172—183.

...прыгун-хампельман... — традиционная немецкая игрушка: деревянный человечек, с подвижными руками и ногами, приводимыми в движения при помощи веревочки (по упрощенному принципу марионеток).

...белая собака Шумка, «которую волки съели»... — игрушка, образ которой ассоциировался для Ремизова с собакой детей художника Б. М. Кустодиева, которую действительно постигла такая жестокая судьба. См. комм. к рассказу «Мурка» в: *Оказион-РК III.* С. 619.

...«встреча сабаков»... — В черновой редакции текста имелось пояснение — «игрушка Ив. Пуни», раскрывающее происхождение этого экземпляра и, по-видимому, имевшее свою историю, которая так и осталась понятной только близкому кругу друзей писателя, в частности, художнику И. А. Пуни (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 7).

...Лондонская Святополк-Мирская труба... — имеется в виду игрушечная труба, подаренная Д. П. Святополк-Мирским.

Фетюх — или фетюк, т. е. растяпа, недотепа (устар.). В рукописной, а также в первой печатной редакции текста Ремизов также указывал на французское происхождение этого слова, от названия растения овсяница — la fétuque (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 16; *Ремизов А.* Esprit. Histoire-salade: сказ-вяканье // Современные записки. 1925. Кн. 23. С. 97).

...как когда-то в России... — Коллекция игрушек Ремизова, создававшаяся писателем с первых лет жизни в Петербурге и связанная с его работой над книгой «Посолонь» (1907), была описана в нескольких статьях современников. См.: *Волошин М.* Алексей Ремизов. «Посолонь». Изд. «Золотое Руно» // Русь. 1907. 5 апр. С. 3; *Кожевников П.* Коллекция А. М. Ремизова. (Творимый апокриф) // Утро России. 1910. № 243. 7 сент. С. 2; *А.* <*Измайлов А.*>. В волшебном царстве. А. М. Ремизов и его коллекция // Огонек. 1911. № 44. С. 10—11.

С. 486. *...мы, как иностранцы, «аусслендеры»... — Ausländer* — иностранец (*нем.*).

Фейермэнхен — букв.: Огненный человечек (*нем.*).

Коловертыш — диалектное слово, обозначающее верткий, быстрый. В русской мифологии имя существа-оборотня, помощника ведьм и колунов.

В следующий раз привела Элю. — Предположительно, здесь и соответственно в двух следующих предложениях утвердилась ошибка в тексте редакции первой главы «Esprit» (Современные записки. 1925. Кн. XXIII. С. 97). По смыслу должно быть имя — Эльза.

Шарлоттенбургский Шлосс — от Schloss (*нем.*) — замок.

...счет для меня, ну никак не могу, всегда в цифрах путаюсь... — ироническое умаление математических способностей писателя, выпускника Московского коммерческого училища.

С. 487. *...инженер Шапошников...* — Николай Александрович Шапошников — инженер, ассистент Петроградского политехнического института; входил в круг друзей Ремизова в 1919—1921 гг. Ср. также пассаж с перечислением предполагаемых реальных имен из философско-литературного круга друзей Ремизова в первой печатной редакции текста: «Но кто же мог взять? Накануне был Лев Шестов — приехал из Парижа, но ему не для чего телефон: Париж — город безтелефонный! Заходил Поляков-Литовцев, к телефону прицеливался, это я заметил, но зачем ему отбирать у меня телефон, ведь он же пришел, чтобы выручить меня из беды: завтра срок — платить за квартиру! Был еще Осоргин, походя что-то в руках вертел, может, Осоргин в карман как нечаянно, нет, Осоргин не позарится на такое, ему, уж если — подавай беспроволочный! Спички пропали! Но это Бердяев — эти курильщики постоянно!» (Современные записки. 1925. Кн. 23. С. 99).

С. 488. *...и не может помириться, что в революцию Кайзер бросил Германию, но главное, простить не может, что Кайзер опять женился....* — Подразумеваются события истории Германии, а также личной биографии императора Германии и короля Пруссии Вильгельма II (1859—1941), который в результате Ноябрьской революции, происшедшей в Берлине в 1918 г., 28 ноября был вынужден подписать акт об отречении от обоих престолов и, скрываясь от международного трибунала, поселиться в Нидерландах. В 1921 г. умерла его жена Августа Виктория. В том же году Вильгельм вступил в брак с принцессой Герминой фон Рёйсс. Поспешная женитьба вызвала осуждение со стороны прусской аристократии и родственников экс-кайзера.

Родом она с Мазурских озер... — территориально Мазурские озера до 1945 г. принадлежали Пруссии, по окончании Второй мировой войны отошли Польше.

С. 488. *...и не может простить, что в войну столько потопили русских...* — Речь идет о сражении 1-й и 10-й российской армии с немецкими войсками во время Первой мировой войны с 9—15 сентября 1914 г., в ходе которого русские потеряли более 42 тысяч пропавшими без вести (утонувшими в болотах) и пленными.

...когда убитого турецкого посла хоронили... — Речь идет о демонстрациях, связанных с похоронами бывшего министра внутренних дел Османской империи, одного из организаторов армянского геноцида Талаат-паши, убитого 15 марта 1921 г. армянским мстителем Согомоном Тейлеряном в Берлине.

...когда привезли из Швейцарии в Берлин советского полпреда Воровского. — Вацлав Вацлович Воровский (1871—1923) — революционер, советский дипломат. В мае 1923 г. приехал в составе советской делегации в Швейцарию для участия в международной конференции стран Антанты и Турции в Лозанне, где 10 мая был убит бывшим белогвардейским офицером М. Конради. Гроб с телом полпреда на пути в Россию был доставлен в Берлин. Немецкие пролетарии устроили траурные акции памяти коммуниста на улицах города.

Тойбиц — правильно: Тойпиц (Teupitz), город в Германии. Земля Бранденбург.

...ни в цвергов, ни в разетеров, ни в кэлписов... — Названы представители скандинавской и германской мифологии.

Поехали мы в Обераммергау на «Страсти» (die Passionsspiele)... — *Oberammergau* — деревня в Баварии, в которой, начиная с XVII в., с периодичностью раз в 10 лет разыгрываются театральные действа (Пассионшпили), посвященные страстям Христовым. Особой достопримечательностью этой местности является также роспись по штукатурке на стенах домов со сценами из евангельских сюжетов, а также с персонажами немецкой мифологии.

Унтераммергау — *Unterammergau* — городок в баварских Альпах.

С. 489. *А вот тоже в Карлсбаде, лето нынче дождливое...* — Отсылка ко времени создания глав романа «По карнизам», когда с 12 по 17 августа Ремизов находился на курорте в Карлсбаде (современное название: Карловы Вары).

...«марсианин», один всего и есть такой на всем земном шаре в Москве живет — писатель Виктор Шкловский... — Подразумевается очерк Виктора Борисовича Шкловского (1893—1984) «“Улля, улля”, марсиане!» (1919).

С. 490. *...на голове петушиная корона, в правой руке трех-хвостка, в левой венок, а ноги, как змеи...* — описание образа Обезьяньего царя Асыки. О символических корнях этого персонажа см.: *Доценко С.* Почему обезьяна кричит петухом: К объяснению одного мотива в творчестве А. М. Ремизова // Wiener Slawistischer Almanach. 1998. Bd. 42.

С. 117—121; *Обатнина Е.* Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. С. 172—183.

С. 490. *...среди самого математического в мире народа...* — Подразумеваются французы с их рационалистическим складом ума. Это свойство национального характера, на взгляд Ремизова, имманентно связано с именем французского философа и математика Рене Декарта (1596—1650), родоначальника направления «рационализм». По Декарту, математика является единственной наукой, обеспечивающей познание мира, поскольку опирается на такие понятия, как достоверность, очевидность и всеобщность, а наиболее продуктивным методом познания ученый считал дедукцию, оперирующую аксиомами и логическими выводами.

...в Париже институт Ришэ, где фотографируют духов... — Institut Métapsychique international (IMI) — научный институт, созданный в Париже в 1919 г. при участии Шарля Рише, объединил исследователей для изучения так называемых «паранормальных» явлений. Первым президентом института стал медик Р. Сантоликвидо (R. Santoliquido). Ш. Рише был избран почетным президентом Института, а с 1929 г. принял на себя руководство Институтом. Подробнее о деятельности IMI в 1920-е гг. см.: The Rise and Fall of Metapsychics // *Lachapelle S.* Investigating the Supernatural. From spiritism and Occultism to Psychical Research and Metapsychics in France. 1853—1931. Baltimore, 2011. P. 113—141.

...игрушечный мастер Смирнов. — Очевидно, А. С. Смирнов, оформивший уникальное издание народной сказки в пересказе Ремизова «Горе-злосчастное», выполненное в виде свитка с цветными оттисками рисунков и шрифта на ткани, тиражом 300 экземпляров (Берлин: Книжный Кустарь, 1922).

С. 491. *...шляпа — гречником...* — Название старинного головного убора (войлочной или суконной шляпы русского крестьянина) возникло по ассоциации с формой и цветом постных «гречников» — порционных изделий из гречневой каши, которые формировали в стаканах, а затем переворачивали, чтобы получился, сужающийся кверху куличик.

Теплá — диалектное слово южно-русского происхождения, семантически связанное со словом тепло.

...сядет Несторыч в красный угол... — «Красным» (т. е. красивым) в русской крестьянской избе назывался угол в восточной стороне комнаты, в котором устанавливался домашний иконостас.

...сама сурь сквозь... — Этимологическая интерпретация слова «суровый».

С. 493. *Вайнштубе* — От Weinstube (*нем.*) — винный кабачок.

Таррогона — название испанского вина.

С. 493. *...за «желтым билетом» (Personalausweis)...* — Обложка временного немецкого паспорта вызвала у писателя ассоциации с «желтым билетом» — документом, выдававшимся проституткам в царской России, цвет которого в общественном сознании символизировал греховность.

С. 495. *«Как бы поступал поэт Б?» Или потому что он, литовец, самый угрюмый и самый молчаливый...* — подразумевается Юргис Казимирович Балтрушайтис (1873—1944), имя которого было раскрыто в черновой редакции текста (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 16).

С. 496. *...тиргартеновский ревир...* — от *Revier* (*нем.*) — полицейский участок.

С. 498. *La matière* — букв.: материя (*фр.*) — в философском значении слова.

Я когда-то служил в часовом магазине... — Речь идет о 1902—1903 гг., когда Ремизов, отбывая ссылку за революционно-пропагандистскую деятельность в Вологде, служил бухгалтером в часовом магазине Соломона Леонтьевича Сегаля, с которым у начинающего писателя сложились дружеские отношения.

Этот день для меня был значительным днем: после многих лет ссылки ~ кроме Москвы и Петербурга... — Имеется в виду день завершения срока вологодской ссылки — 31 мая 1903 г. По решению суда на Ремизова и его невесту С. П. Довгелло как политических ссыльных был наложен запрет на проживание в столичных городах в течение пяти последующих лет.

С. 499. *Два пожара они видели...* — Первый случай относится к осени—зиме 1904 г., когда молодая семья Ремизовых поселилась в Киеве. В это время Ремизов работал над романом «Часы». Сохранился инскрипт писателя 1923 г. на издании романа, в котором он, обращаясь к жене, воскрешал обстоятельства киевского периода их жизни. Ср.: «О происхождении Часов: это самое больное, о чем со стыдом вспоминаю: это в Киеве — когда ты кормила Наташу и на уроки ходила, а я писал. <...> ...помню комнату, почему-то помню всегда, однооконная, узкая и тут же кровать складная походная, и дверь, где ты с Наташей. Пожар помню. Я взял рукопись эту “Часы”, икону и Наташу. <...>. Это память начальная — пробивания моего в люди» (цит. по: *Волшебный мир Алексея Ремизова.* С. 16—17). Второй пожар произошел в квартире Ремизовых на Таврической в Петербурге 9 марта 1911 г. из-за возгорания между стенными проемами дома. Это происшествие описано Ремизовым в письме к жене от 15/16 марта (ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Тетрадь к кн. 10, 11, 12, письмо № 208).

Три революции — Первая русская революция, начавшаяся 9 января 1905 г. и продолжавшаяся до июня 1907 г., и два революционных пе-

реворота 1917 г. — Февральский буржуазно-демократический и Октябрьский социалистический.

С. 499. *И вот в десятых числах августа — я потерял часы.* — Печальный случай упоминается в дарительной надписи Ремизова, обращенной С. П. Ремизовой-Довгелло, на английском издании его романа «Часы» (London, 1924; пер. на англ. яз. Дж. Курноса — Jonh Cournos): «13 novembre 1924. Paris. Вот, деточка, неожиданно пришла книга Часы. И в этом есть что-то связанное с потерей моих “часов”, которые соединены с этими “Часами” (вологодской повестью) <...>» (*Волшебный мир Алексея Ремизова.* С. 29).

Приснился мне о. Далмат... — вымышленный герой, прототипом которого стал экономист, публицист и литературный критик Далмат Александрович Лутохин (1885—1942). Очевидно, литераторы могли встречаться и в дореволюционном Петербурге, поскольку оба были вхожи в дом В. В. Розанова. Однако их литературное и дружеское сближение произошло только в эмиграции, после того как Лутохин, высланный из РСФСР в феврале 1923 г. и на недолгое время задержавшийся в Берлине, в самом конце мая перебрался в Прагу. Лутохин был одним из организаторов приезда Ремизовых в Чехию летом 1924 г. Подробнее см. вступ. ст. к публикации: Письма А. М. Ремизова к Д. А. Лутохину (1923—1925) / Публ. Е. Р. Обатниной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2005—2006 годы. СПб., 2009. С. 944—976.

...из московского сборника конструктивистов «Мена всех». — Речь идет о сборнике «МЕНА ВСЕХ. Конструктивисты поэты» (Москва, 1924), изданном поэтами и литераторами левого искусства К. Л. Зелинским, И. Л. Сельвинским и А. Н. Чичериным, которые в том же году объединились в группу под названием «Литературный центр конструктивистов». Особенность творчества этих авангардистов состояла в методе рационального конструирования поэтического материала, а также в реализации идеи «визуальной поэзии».

С. 500. *...в день моего приезда.* — Ремизов с женой приехали в Прагу 11 августа 1924 г.

В. В. Розанов — С философом, литературным критиком и публицистом Василием Васильевичем Розановым (1856—1919) Ремизова связывала многолетняя дружба, которой он посвятил книгу «Кукха. Розановы письма» (1923). Об истории отношений писателей см.: *Ремизов А.* Кукха. Розановы письма / Изд. подг. Е. Р. Обатнина. СПб., 2011. (Литературные памятники).

...Paul Valéry «Variété»... — первый из пяти сборников эссе поэта и философа Поля Валери (1871—1945), объединивший статьи о литературе и искусстве, был выпущен в парижском издательстве «Nouvelle revue française» в 1924 г.

С. 500. *...Louis Aragon «Une vague de Rêves»...* — Речь идет об эссе «Волна грез» Луи Арагона (1897—1982), появившемся на страницах октябрьского номера ж. «Commerce» (№ 2) за 1924 г. В этом этюде теоретик и практик сюрреализма описывал поэтическую творческую деятельность как процесс сновидений или грез.

...на обложке турецкие дамы, одна вверх ногами. — Ср. первоначальную редакцию текста: «Я лежу вроде книги: слева от меня белая — Paul Valéry “Variété”, справа большая пестрая — G. de Pavlovski “La Voyage au pays de la quatrieme dimension”, на обложке турецкие дамы, одна вверх ногами» (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 21). В окончательной редакции текста осталась только ироническая интерпретация обложки Леонарда Сарлюи (Léonard Sarluis), иллюстрировавшего фантастический роман французского писателя Г. Павловского (Gaston de Pavlovski) «Путешествие в четвертом измерении» (1912), переиздание которого было осуществлено в 1923 г. парижским издательством E. Fasquqelle. Обложка этой книги выполнена в характерной для Сарлюи манере мистического символизма. Ремизовское описание расходится с графическим сюжетом, хотя одежды изображенных здесь людей андрогинного вида, условно говоря, ассоциированы с восточным («турецким») стилем.

Ко мне подходит Розанов, головой качает: «Эка угораздило!» — Иронический намек на разделяемый с В. В. Розановым интерес к истории эротической культуры.

С. 501. *Пятая нога* — В сюжете содержится несколько аллюзий, связанных с мотивом человеческих следов. В частности, в латентном смысловом поле этой главы оказываются такие мистические и необъяснимые рациональными методами явления, как слепки со ступней «духов» в экспериментах Ш. Рише (см. комм. к с. 479, 490), а также, возможно, изображения «ступней» на египетских и кельтских мегалитах в Ирландии (см.: *Роллестон Т.* Мифы, легенды и предания кельтов / Пер. с англ. Е. В. Глушко. М., 2004. С. 31). Наконец, детективное построение рассказа о Алоизе При отдаленно напоминает рассказ А. Конан Дойля «Дьяволова нога» («The Adventure of the Devil’s Foot». 1910), в котором отпечаток ноги подозреваемого становится одним из ключевых моментов расследования, коррелирующим с названием ядовитого растения, вынесенным в заголовок — «Дьяволова нога».

С. 502. *«Библия Дьявола» XII века, хранится в Королевской библиотеке в Стокгольме...* — Речь идет о рукописной книге XIII в. из Богемии, получившей название «Кодекс Гигас» — «Большая книга» (*лат.*), или «Библия Дьявола». Манускрипт, автором которого, по мнению историков, был монах-бенедиктинец из монастыря Подлажице, расположенном неподалеку от Праги, представляет собой значительный по размерам фолиант (89,5 × 49 см) с иллюстрациями, одна из кото-

рых содержит изображение дьявола на полную страницу. Происхождение этого манускрипта окружено легендой о монахе-книжнике, вступившем в сговор с дьяволом. Книга разделена на четыре части и включает Ветхий и Новый Заветы, две работы Иосифа Флавия, «Этимологии» (*Etymologies*) Исидора Сивильского, нормативное учебное пособие по преподаванию медицины в Средние века «Ars medicinae» (*Искусство медицины*), «Chronica Boëmorum» (*Богемские хроники*) XII в. Козьмы Пражского и календарь. Особый интерес представляют разделы, свидетельствующие о чешской средневековой истории. В конце XVI в. «Кодекс» находился в коллекции Рудольфа II — короля из династии Габсбургов. Во время осады Праги войсками Швеции в конце Тридцатилетней войны (1648) рукопись была захвачена в качестве военного трофея и перевезена в Стокгольм. В настоящее время находится в собственности шведской Королевской библиотеки. В рукописи первой редакции рассказа сохранилась газетная вырезка из неустановленного печатного источника: «Библия Дьявола. Эта библия в течение уже трех веков хранится в Королевской Библиотеке в Стокгольме. 309 листов ее величиною в 1 метр и шириною в полметра, переплетены в обложку из толстых дубовых досок. Текст написан готическим стилем, а заглавные буквы изображены в золоте и цветных красках. “Библия Дьявола”, которую иначе называют “Великан книг”, относится к XII веку и была переписана монахом Поблажецкого монастыря в Чехии. Согласно легенде, монах выполнил работу за одну только ночь; приговоренный за какое-то преступление к смерти, он воззвал к помощи дьявола; в благодарность он воспроизвел фигуру Сатаны, которая занимает целую страницу Библии и окружена всеми средневековыми атрибутами Духа Зла; отсюда и название — Библия Дьявола. Во время Тридцатилетней войны шведский генерал Кенигсмарк, в числе прочей ценной добычи, увез из Праги и эту Библию. Книга содержит в себе 9 частей. Она начинается Ветхим Заветом в переводе св. Иеронима и кончается календарем и списком погибших во время войны. Ничего дьявольского, кроме изображения Сатаны, в книге нет, но легенда приписывает ей смертоносную и пагубную силу и сообщает, что чтение ее уже стоило жизни не одной сотне человеческих душ» (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 86).

С. 502. *...разговор зашел о Щеголеве, русском ученом, говорящем изумительно по-русски: такой ли он веселый и певун разбойничьих песен...* — По мемуарным свидетельствам Ремизова, его ближайший друг со времен вологодской ссылки историк литературы и русского революционного движения П. Е. Щеголев (см. о нем комм. к с. 327 и 433) отличался «осанкой», «голосом», «умом неизмеримым и богатырским телосложением». Ср. также черновой вариант текста: «...я чувствую

страшное лишение и обездоленность, когда долго не слышу русской речи, и это я особенно понимаю и страшно радуюсь, когда вдруг зазвучит хороший русский говор, “русский природный язык”, — поэтому-то верно я так часто вспоминаю П. Е. Щеголева» (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 25). Подробнее об истории взаимоотношений см.: Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Ч. 1: Вологда. (1902—1903) / Вступ. ст., подг. текстов и комм. А. М. Грачевой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб., 1999. С. 121—127; а также шуточный текст Ремизова под названием «Некролог П. Е. Щеголеву» с упоминанием любимой народной песни Щеголева «Казнь Стеньки Разина» (Там же. С. 178—193; публ. Е. Р. Обатниной).

С. 503. *Пробили Часы...* — Описание персонажей механического «театра» на астрономических пражских курантах (Pražský Orloj; XV—XVII вв.), установленных на южной стене Староместского муниципалитета. Только в полдень на авансцену выходят все двенадцать апостолов наряду с символическими изображениями Смерти и человеческих пороков.

«La Source» — название рассказа, заключенное в кавычки, несет в себе аллюзию к названию книжного магазина «La Source» (в русском варианте — «Родник»), специализировавшегося на продаже литературы на русском языке. Офис книжного дела «Родник» располагался в Париже на Rue Vieneuse. Эта парижская топографическая реалия, включенная в пражский контекст повести, усиливает абсурдистский регистр повествования.

Собор св. Вита — готический кафедральный собор в Пражском граде.

Алоиз При (*A l o y s e   P r i s t*)! — Возможно, имя героя восходит к имени пражского книгоиздателя Алоиса Сердце (Aloïs Srdce; 1888—1966), выпустившего в свет повесть Ремизова «Пятая язва» в переводе на чешский язык Л. Рышавого: *Remizov A.* Pátá jizva / Překl. L. Ryšavá. Praha: vydava Aloïse Srdec, 1919.

С. 504. *...какая-то «антоновская» банда «атамана Григорьева»...* — Игровая контаминация имен. Атаман Александр Степанович Антонов (1889—1922) в 1920—1921 гг. развернул в Тамбовской губернии ожесточенную партизанскую войну с большевиками, собрав из крестьян многочисленную «военную дружину». Никифор Григорьев (1888—1919) — атаман украинского войска, в марте 1919 г. перешел на сторону большевиков, стал «красным» командиром, освободившим Юг Украины от интервентов, за что был награжден орденом Кавалера Красного Знамени. Однако в мае того же года он организовал в своей дивизии антибольшевистский мятеж. Вместе Антонов и Григорьев, конечно же, не пересекались. Корреляция имен Ремизову понадобилось для привлечения внимания читателей из близкого ему литера-

турного круга и была связана с проникнувшей в эмигрантскую прессу ложной информацией о судьбе Д. А. Лутохина. Ср. письмо Ремизова Д. А. Лутохину от 23 июня 1924 г., в котором, в частности, сообщалось о встрече с Б. Григорьевым: «Когда был он в Париже, о вас расспрашивал: ему кто-то в Америке сказал (“читал в газетах”), что вас расстреляли по делу атамана Антонова. Очень жалел и поминал. Напишите ему» (Письма А. М. Ремизова к Д. А. Лутохину. С. 963).

С. 508. *...а вот и не знаю: pigal?* — Правильно: place Pigalle (*фр.*). Площадь Пигаль на Монмартре известна как центр района красных фонарей.

Леонид Леонов — Леонид Максимович Леонов (1899—1994) — прозаик, драматург, публицист, широкая известность и признание к которому пришли с выходом романа «Барсуки» (1924).

«Я тоже, — говорю, — не получил этот № “Prager Presse!”» — «Prager Presse» — ежедневная газета, издаваемая на немецком языке в Праге с 1921 г., в которой 21 сентября 1924 г. (№ 261) был напечатан в переводе на немецкий язык рассказ Ремизова «In Prag», написанный во время пребывания писателя в Чехии в августе 1924 г. На русском языке под названием «Самоцветное» этот рассказ появился на страницах парижской газеты «Последние новости» (1924. 28 сент. № 1358. С. 2).

...молодой талантливый писатель, погибший в ссылке в Сольвычегодске... — Речь идет о поэте Казимире Людвиговиче Тышке (1875—1902, 21 марта), покончившем жизнь самоубийством. Подробнее о нем см. во вступ. ст. А. М. Грачевой к публ.: Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Ч. 2: Одесса. Херсон. Одесса. Киев (1903—1904) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 158.

С. 509. *Тукалевский* — Владимир Николаевич Тукалевский (1881—1936) — историк литературы и библиограф, до революции член Совета Общества Толстовского музея, редактор журнала «Толстовский ежегодник»; познакомился с Ремизовым в Петербурге не позднее 1912 г. В то время часто снабжал писателя книгами по древнерусской истории и палеографии. В 1924 г. в Праге стал директором Славянской Библиотеки. Ср. фрагмент черновой редакции текста: «“Тукалевский из Териок” — русский ученый био-библиофил, собравший богатейшее книгохранилище в Праге — 300 000 названий» (Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 24).

С. 510. *Каракулевый сак* — от Sack (*англ.*) — мешок. Вид мужского пальто свободного покроя, модного в 1840-х гг.

С. 511. *Андрей Белый* — псевдоним Бориса Николаевича Бугаева (1880—1934).

И идем с ним в «Пушкинский дом». — Пушкинский Дом был образован в Петербурге в 1905 г. как музей и архивохранилище материа-

лов и рукописей, связанных с именем А. С. Пушкина. Однако уже в апреле 1918 г. Пушкинский Дом был включен в разряд научных учреждений Российской Академии Наук. С этого времени исследовательские и собирательские задачи сотрудников этого уникального учреждения распространились на всю историю русской литературы, вплоть до современной. Очевидно, Ремизов, лично знакомый с основателями Пушкинского Дома — Н. А. Котляревским, Б. Л. Модзалевским, а также с хранителем М. Л. Гофманом и библиотекарем Е. П. Казанович, в 1921 г., перед своим отъездом в эмиграцию, действительно, посетил здание Академии наук, где в конференц-зале некоторое время располагались фонды и музей. Возможно, причиной для этого визита послужила инициатива Е. П. Казанович. Увлеченная собиранием рукописей и автографов для Пушкинского Дома, она завела специальный альбом, в котором по ее просьбе оставляли автографы своих небольших произведений современные писатели и поэты. Так, 10 мая 1921 г. в альбоме Казанович появился уникальный документ — «Манифест» «верховного властителя всех обезьян» «Асыки Первого», каллиграфически исполненный Ремизовым. Подробнее об автографе см.: *Обатнина Е.* Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. С. 104—111. Начиная с 1923 г. в Пушкинском Доме стал формироваться личный фонд Ремизова. Подробнее см.: *Иванова Т. Г.* Рукописный отдел Пушкинского Дома: Исторический очерк. СПб., 2006. С. 127—128. В 1927 г. Ремизов строил планы передать все материалы своего архива в Пушкинский Дом. См. об этом: *Грачева А. М.* Алексей Ремизов и Пушкинский Дом (Статья первая. Судьба ремизовского «музея игрушек») // Русская литература. 1997. № 1. С. 185—215.

С. 512. *Interpenetratio* — взаимопроникновение (*лат.*).

Учебники политической экономии и финансового права: Чупров, Яроцкий, Ходский, Исаев, Янжул, Иванюков... — Здесь перечисляются имена русских ученых-экономистов, профессоров Московского и Санкт-Петербургского университетов, с трудами которых Ремизов был хорошо знаком в юности, в пору его активного вовлечения в революционно-пропагандистскую деятельность. См.: *Иверень-РК VIII.* С. 282. Александр Иванович Чупров (1842—1908); Василий Гаврилович Яроцкий (1856—1917); Леонид Владимирович Ходский (1854—1919); Андрей Алексеевич Исаев (1851—1924); Иван Иванович Янжул (1846—1914); Иван Иванович Иванюков (1844—1912).

Lorens, Wagner — ключевые фигуры в истории политической экономики начала XX в.: Макс Отто Лоренц (Max Otto Lorenz; 1876—1959) — американский математик и экономист, в 1905 г. предложил графическое отражение степени дифференциации доходов, впоследствии получившей название «кривая Лоренца». Адольф Вагнер

(Adolph Wagner; 1835—1917) — немецкий экономист; в 1892 г. сформулировал закон о постоянном возрастании государственных потребностей, названный его именем.

С. 512. *«Житие протопопа Аввакума»* — «Житие протопопа Аввакума им самим написанное» (1672) — жизнеописание старообрядческого протопопа Аввакума (Петрова), противника церковной реформы патриарха Никона.

...Вяч. Шишков, «Спектакль в селе Огрызове». — Речь идет о рассказе Шишкова, выпущенном в свет отдельным изданием в 1926 г. (М.; Л.: Земля и фабрика).

С. 513. *...и вместе с б. «сибирским атаманом»...* — Подразумевается Вячеслав Яковлевич Шишков (1873—1945) — прозаик; сосед Ремизова в Петрограде (1920—1921 гг.) по последнему пристанищу писателя в «Отеле Петросовета № 1» на Троицкой ул., кв. 1. Шишков входил в круг литераторов, с которыми Ремизов особенно тесно общался в начале 1920-х гг. Ср. воспоминание о нем в книге «Ахру»: «...Шишков, князь сибирский и бежецкий обезьяний — пьесу за пьесой со своим непременным комедийным пастушонком, а также память сибирскую — шаманскую повесть» (*Ахру-РК VII.* С. 22). Обезьяний титул Шишкова («князь сибирский») и ироническое прозвище, имитирующее советский канцелярский стиль, — «б. атаман» (то есть бывший атаман), возникли по ассоциации со сборником произведений писателя «Сибирский сказ» (Пг., 1916). Шишков посвятил Ремизову рассказ «Соловьиная ночь», впервые опубликованный в книге «Подножие башни» (Пг., 1920).

С. 514. *Грегорианское пение* — тип распева (преимущественно одноголосный) в римско-католической церкви, названный по имени римского папы Григория I Великого, которому в средневековой традиции приписывалось сочинение песнопений римской литургии.

...я вам «обезьяний знак» дам для ношения. — Игровые «знаки отличия» с персональной символикой, специально изготовленные Ремизовым для кавалеров и князей Обезьяньей Великой Палаты. Подробнее см.: *Обатнина Е.* Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. С. 126—131, а также раздел «Коллекция».

С. 514—515. *А главное, никаких обязанностей ~ против нормального мышления!* — Описание идеологии Обезьяньего сообщества подробнее см.: Там же. С. 107—108.

С. 515. *...какие лица со знаком ходят и не стесняются...* — Ср. первую печатную редакцию текста: «Вы посмотрите, какие лица со знаком ходят и не стесняются, напротив, носят всегда при себе в боковом кармане: Jean Chuteville, Jean Fontenoy, Brice Parain, Georges Blumberg, Michel Ossorguine, Constantin Motchoulsky, Boris de Schloetzer, Prince

D. Sviatopolk-Mirski, Jacques Chreiber, Serge Ossipov, Nicolas Berdiaev, Leon Chestov, Jean Pougni» (Современные записки. 1926. Кн. 27. С. 125). Именной список членов Обезьяньей Палаты, представленный именами известных писателей, поэтов и деятелей культуры начала XX в., см. в разделе: Синклит Обезвелволпала // *Обатнина Е.* Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. С. 336—386.

С. 515. *«— — сочинил коллективно ~ автор Мохов. — —»* — Неточная цитата из рассказа Вяч. Шишкова «Спектакль в селе Огрызове».

С. 516. *Монастырь — Эталь, где монахи говорят на всех языках...* — бенедиктинское аббатство (Kloster Ettal), расположенное в горной части Баварии, было основано в 1330 г.

...под заключительный трензель из «Свадебки» Стравинского. — *Трензель* — ударный музыкальный инструмент, представляющий собою металлический прут, изогнутый в виде треугольника. *«Свадебка»* — спектакль, музыку и либретто к которому И. Ф. Стравинский начал писать в 1914 г., был поставлен труппой С. П. Дягилева в Париже и впервые представлен публике 13 июня 1923 г. в театре Гэте-лирик (Gaîté-Lyrique). По замыслу автора, это произведение объединяло хореографические сцены и пение, положенное на народные тексты свадебных обрядов из собрания П. В. Киреевского.

Театральный зал — Theatre des Champs-Elysees — занавес Пикассо — идет перестройка... — См. комм. к с. 480—481. Ср. также первую печатную редакцию текста: «И вижу театральный зал — Theatre des Champs-Elysees— “Grande saison d’art de la VIIIe Olympiade” — занавес Пикассо — идет перестройка: на сцене делают в полу окнища, чтобы совсем незаметно можно было проваливаться. Распоряжаются: Darius Milhaud, Jean Cocteau, Georges Auric; Francis Poulenc — как на фотографии в программе у Дягилева, только снизу вверх» (Современные записки. 1926. Кн. 27. С. 127).

Борис Пильняк — Борис Андреевич Пильняк (наст. фам. Вогау; 1894—1938), писатель, причислявший себя к «школе» Ремизова, посвятил Ремизову повесть «Третья столица» (1923). См. также: Семь писем Бориса Пильняка Алексею Ремизову / Подг. текста, вступ. ст. и прим. Д. Кассек // Новое литературное обозрение. 2003. № 61. С. 247—272.

...на нем костюм одного из знаков зодиака из «Mercure» Пикассо...— Речь идет о костюмах П. Пикассо для постановки труппой «Русские балеты» С. П. Дягилева балета «Меркурий» на музыку Эрика Сати (Erik Satie), в хореографии Леонида Мясина. Премьера состоялась в парижском театре Сары Бернар 1 июня 1927 г.

...прямо из-под земли Франца-Иосифа, 77′ 31″ северной широты! — отсылка к арктическим реалиям путешествия Б. Пильняка в составе научной экспедиции на остров Шпицберген в 1924 году.

С. 516. *А С. П. молча показывает...* — Речь идет о жене писателя — С. П. Ремизовой-Довгелло.

С. 517. Жили мы на Chardon Lagache... — Речь идет о парижской квартире на rue Chardon-Lagache, 59 в XVI округе Парижа, в которой Ремизовы жили с 27 ноября 1923 г. по 1 марта 1924 г.

Пошел в Пасси... — Пасси (Passy) — район Парижа на правом берегу Сены, относящийся к XVI округу.

...к адвокату Шустову попросить ванну. — Ср. первую печатную редакцию текста с раскрытием реальных имен: «Пошел в Пасси к Осоргину попросить ванну. Рахиль Григорьевна добрый человек: и ванну сделала, и крепким чаем напоила» (Современные записки. 1926. Кн. 27. С. 129).

С. 518. *...большая бутылка «Pommery»...* — вина, названного по имени французского винодельческого дома шампанских вин.

С. 519. *...кто-то из наброжих гостей выпил...* — Подразумевается невидимый дух «чужого» домового, в отличие от тех, что охраняли семью и ее дом на протяжении нескольких поколений. Таких домовых, появившихся в доме случайно, в народе называли «наброжими», от слова «бродить», «набредать». «Наброжие» духи приходили в новый дом, если хозяева родного для них жилища не позвали их с собой, например, при переезде. См. также: *Левкиевская Е. Е.* Домовой // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. / Под ред. Н. И. Толстого. Т. 2. М., 1999. С. 123.

С. 520. *...ни одно тело не наполняет целиком пространства, а между молекулами остаются промежутки ~ с понятием об интермолекулярных пространствах...* — Отсылка к представлениям о связи материи и духа в трактовке Е. Блаватской, автора теософского сочинения «Тайная доктрина. Синтез науки, религии и философии» (1888).

Кикимора — мифологическое существо русского бестиария, приносящее человеку и его дому неприятности и ущерб. Ремизов неоднократно обращался к образу кикиморы, наделяя ее довольно привлекательными свойствами. См. комментарий Ремизова к его сказке «Кикимора» (1903) в книге «Посолонь», основанный на научной литературе по фольклористике: «Кикимора — существо проказливое, озорное. На севере любят Кикимору, и она дурного ничего не делает, там она почетная гостья; без нее и пир не в пир. На юге другое, там она родная сестра Полудницы, а Полудницы не очень-то ласковы. Встретишь Полудницу, она тебе загадку занет, да такую, что не разгадаешь, ну и пропал, — защекочет до смерти. См.: *Буслаев Ф. И.* Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861; И. П. Сахаров. Сказания русского народа. СПб., 1885» (*Докука и балагурье-РК II.* С. 34, 170).

С. 521. *«А когда еще я был попом ~ Таково-то ухищрение бесовское к нам!»* — Фрагмент из «Жития протопопа Аввакума».

С. 522. *Отель Беранек* — отель «Beránek» в Праге, в котором в 1923—1924 гг. также проходили заседания «Чешско-русского объединения».

...подымались наверх в «Prager Presse». — Речь идет об издательстве газеты «Prager Presse».

Эвклидова геометрия — геометрическая теория, основанная на системе аксиом, впервые изложенная в «Началах» Евклида (III в. до н. э.).

Хозяин ~ повертывал в другую сторону — — в свою педагогическую, — о детском журнале. — Имеется в виду Федор Северьянович Мансветов (1884—?) — эсер, член редколлегии ж. «Воля России», финансовый редактор издательства «Пламя», образованного совместно с Е. А. Ляцким в 1923 г., президент Родительского совета первой русской школы в Праге, образованной в 1922 г. Ср. первую печатную редакцию фрагмента: «...подымались на верхи “Prager Presse”, заходили в “Пламя” к Федору Северьяновичу Мансветову <...> Федор Северьянович, не отвечая прямо на геометрический вопрос, повертывал в другую сторону — в свою, педагогическую, — о детском журнале» (Современные записки. 1927. Кн. 26. С. 135).

С. 523. *...Богатырев только что вернулся из Подкарпатской Руси, двести волшебных сказок!* — Петр Григорьевич Богатырев (1983—1971) — этнограф, фольклорист, литературовед, из России эмигрировал в Прагу; член Пражского лингвистического кружка. См. его избранные работы, в том числе и по фольклорным материалам Карпат, в сборнике: *Богатырев П. Г.* Вопросы теории народного искусства. М., 1971.

И за рассказами о басаркунах... — В другом написании: босуркуны, босоркуны (ветряники). В фольклоре южных славян так называли горных духов, поднимающих сильный ветер, которые также обладали способностью вызвать засуху и причинить вред человеку, насылая порчу на людей и домашний скот. Ремизов на основе фольклорных записей П. Г. Богатырева создал несколько сказок с участием этих мифологических персонажей. Первые из них («Ожина» и «Палка») появились под общим названием «Басуркун. Сказки Подкарпатской Руси. (По материалам П. Г. Богатырева)» в 1924 г. в парижской газете «Последние новости» (№ 1418. 7 дек. С. 2).

Малага — десертное вино, производимое в одноименном испанском регионе.

...и я рассказывал ему чудесные «гоголевские» сказки — что упомнил из рассказанного Богатыревым... — В первой печатной редакции эти слова предшествуют публикации трех сказок — «Ожина», «Палка», «Колесо» (см.: *Ремизов А.* La Matière // Современные записки. 1926. Кн. 27. С. 137—144).

С. 523—524. *...поминая слова Рабле, что «смех полезен для щитовидной железы».* — Очевидно, вариация на тему предисловия Франсуа Рабле (1494—1553) к его знаменитой книге, где автор, напутствуя своих читателей, писал: «Итак, забавляйтесь, друзья, веселите себя этим чтением, телу на удовольствие, почкам на пользу!» (*Рабле Ф.* Гаргантюа и Пантагрюэль / Пер. В. Пяста. Л., 1938. С. 17). Характерно, что в кратком предисловии к своей хронике деятельности вымышленного философского общества «Цвофирзон», напечатанной в рижском журнале «Наш огонек» под названием «Z. V. S.» (1925. № 2. 30 мая. С. 2—5), Ремизов данное изречение приписывал Д. А. Лутохину, сопровождавшему его прогулках по Праге в августе 1924 г. Ср.: «Да не посетуют философы на мою память о давно-минувших днях в Берлине (1922 г.) и на мое слово не от злого сердца. “Смех полезен для щитовидной железы, а улыбка для мозга!” — припоминается мне изречение латинского философа Псевдо-Долмата (Лутохина) из Макропсов и руку окрыляет смелость подать этот поминальный свиток» (С. 2).

С. 524. *...рассказывал всякую смешную быль и смехотворные небылицы из берлинской жизни русских философов...* — Подразумевается цикл небольших заметок, объединенных темой несуществующего «Свободного философского содружества» — «Цвофирзон» (Zvovierson), которые Ремизов анонимно публиковал в берлинской газете «Голос России» в 1922 г. Содержание заметок в абсурдистском ключе отражало культурную деятельность русских писателей, издателей и философов, учредивших в Берлине отделение Вольной философской ассоциации (Вольфилы), в просветительской и исследовательской работе которой многие из них принимали участие в Петрограде в 1919—1922 гг. Очевидно, что эта печатная мистификация основывалась на некоторых реальных сюжетах из литературной жизни эмиграции в Берлине. История вымышленного философского общества «Цворфизон» под названием «Z. V. S.» была опубликована Ремизовым в 1925 г. в ж. «Наш огонек» (см. предыдущий комм.). Собрание заметок Ремизова о Цвофирзоне см. также: Неизданный «Мерлог» / Публ. А. д'Амелиа. С. 215—222. О печатной истории ремизовских анонимных публикаций и их подтекстах см.: *Флейшман Л.* В кругу ремизовских мистификаций: «Конклав» Саркофагского // Studies in Modern Russian and Polish Culture and Bibliography: Essays in Honor of Wojciech Zalewski. Stanford: Dept. of Slavic Languages and Literatures, Stanford University, 1999. Vol. 20. P. 145—176; *Обатнина Е.* Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. С. 137—141. Подробнее о Вольфиле см.: *Белоус В.* Вольфила [Петроградская Вольная Философская Ассоциации]. 1921—1924: В 2 кн. Кн. 2: Хроника. Портреты. М., 2005. Отдель-

ная глава книги содержит хронику деятельности берлинского отделения Вольфилы и описание ремизовской мистификации (С. 233—350).

С. 524. *«Каварна»* — от kavárna (*чешск.*) — кофейня.

Масариковский вокзал — самый старый железнодорожный вокзал в Праге, названный в честь первого президента Чехии Т. Г. Масарика.

Из Курса А. А. Богданова.... — Подразумевается «Краткий курс экономической науки» (М., 1897), составленный из лекций, прочитанных А. А. Богдановым в марксистских кружках. Александр Александрович Богданов (наст. фам. Малиновский; 1873—1928) — врач, экономист, философ, социал-демократ, видный политический деятель. См. также комм. к с. 474.

С. 527. *Индиата* — возможно, индюшата.

С. 528. *Carte d'identité* — удостоверение личности (*фр.*).

...конверт с автографом Л. Н. Толстого. На прошении в Крапивенскую земскую управу Пелагеи Новиковой... — Речь идет о подлинном документе из архива Л. Н. Толстого, который Ремизову предоставил В. Ф. Булгаков — последний секретарь великого писателя — в Праге в августе 1924 г. Ср. первую печатную редакцию фрагмента: «...да конверт с автографом Л. Н. Толстого (подарок В. Ф. Булгакова). На прошении в Крапивенскую земскую управу Пелагеи Новиковой о выдаче пособия — муж ее призван на военную службу в Японскую войну — Л. Н. Толстой подписался за неграмотную Новикову и надписал конверт» (Современные записки. 1927. Кн. 26. С. 152). Текст «Прошения» см. на с. 745 наст. тома. О биографическом сюжете из жизни Толстого, связанном с помощью крестьянке Новиковой, см. также: *ЛН.* Т. 90. У Толстого. 1904—1910. «Яснополянские записки» Д. П. Маковецкого. Книга первая: 1904—1905. М., 1979. С. 289.

Однажды в Москве был я в «Скоморохе»... — Ср. упоминание в письме Ремизова к Н. В. Зарецкому от 7 августа 1928 г.: «О моей встрече с Л. Толстым: как я в Москве в “Скоморохе” (такой народный театр) стоял на галерке (стоячие места за гривенник) на “Власть тьмы” вместе с Толстым и к величайшему моему стыду Толстого не заметил. Вспоминать про это совестно...» (*Морковин В.* Приспешники царя Асыки // Československá rusistika. XIV. 1969. 4. S. 182).

В граммофон слышал голос Толстого: говорил он из «Круга чтения» о каком-то мудреце... — Имеются в виду аудиозаписи чтения Л. Н. Толстым собственных произведений, которые он сделал самостоятельно на фонографе, подаренном ему Т. Эдисоном в январе 1908 г. В записи сохранилось авторское чтение написанного в том же году рассказа «Сила детства», который был включен в собрание коротких произведений писателя, получившее название «Круг чтения». Этот цикл в своей основе представляет собой подборку высказываний выдающихся мыслителей и писателей различных эпох и направлений мысли, орга-

низованных по календарному принципу, где каждый текст соответствует определенному дню в году. Разделы «Недельного чтения» были представлены небольшими художественными произведениями разных авторов, в том числе и самого Толстого. Впервые «Круг чтения» был опубликован в 1928 г. в составе Собрания сочинений в 90 томах, изданного к столетию писателя.

С. 528. *...еще в те времена дореволюционные...*— Подразумевается период с 1905 по 1917 г.

С. 529. *«Льва Толстого отлучили — —».* — Речь идет о постановлении Святейшего Правительствующего Синода от 20—22 февраля 1901 г., в котором официально извещалось, что граф Лев Толстой более не является членом Православной церкви, ввиду его философии и публичных высказываний, расходящихся с догматами Православной церкви; опубл.: Церковные Ведомости при Святейшем Правительствующем Синоде. 1901. № 8. 24 февр. С. 45—47.

«Иоаннитка!» подумал я. — Подразумевается причастность к русской псевдоправославной секте иоаннитов, образованной Матреной (Порфирией) Ивановной Киселевой (ум. 1905). Хлыстовская по своему генезису секта прославляла современного протоиерея Иоанна Кронштадтского как «нового» Спасителя. Среди участников секты был распространен психотип экзальтированных женщин. См. также комм. к с. 327.

Сказка о "Трех старцах" — «Три старца. Из народных сказок на Волге» Л. Н. Толстого, которая была написана в 1886 г. на основе сюжета о чудесном спасении, известном по устным и письменным источникам древнерусской литературы, начиная с XVI в.

...из Киево-Печерского Патерика житие Никиты-затворника... — Речь идет о житии епископа Новгородского Никиты (ум. 31 января 1108 г. в Новгороде), постриженика Киево-Печерского монастыря. Далее цитируется текст, известный по сборнику жизнеописаний святых (XIV—XV вв.) — «Киево-Печерскому патерику».

С. 532. *...мое неразменное су! ~ зеленый хвост висит нитяный.* — Отличительный знак, сделанный Ремизовым для входной двери квартиры в доме «Villa Flore». Эта деталь стала традиционной для всех последующих квартир, арендованных писателем в Париже. Ср. описание входной двери в квартиру Ремизовых на rue Boileau: «Снаружи к входной двери был прикреплен кнопкой голубой или зеленый кусочек бумаги с надписью, тщательно выведенной рукой Алексея Михайловича "Висит зеленое и поет", а на свитой зеленой шерстинке — никелевая монетка с дырочкой. Бывало, что дети срывали монетку, Алексей Михайлович деловито и терпеливо подвешивал новую (*Сосинский В.* Рассказы и публицистика. 1900—1987. М., 2002. С. 147).

Нитяный — сделанный из ниток.

С. 533. *...как на станции Круты.* — Населенный пункт в Черниговской области, расположенный на железной дороге Москва—Киев, для Ремизовых был связан с поездками в Берестовец — в родовое имение С. П. Ремизовой-Довгелло, где с 1906 г. постоянно жила на попечении родственников их дочь Наташа.

С. 535. *...у St. Sulpice...* — Церковь Сент-Сюльпис полюбилась Ремизову со времени первого его посещения Парижа в 1911 г. См. упоминания о ней в письме А. А. Блоку от 18 июня 1911 г. (*ЛН.* Т. 92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1981. Кн. 2. С. 95); а также в рассказе Ремизова «Белое знамя» (*Оказион-РК III.* С. 164—167).

...вспомнилась Вологда ~ там вот тоже с книгой бывало «с запозданием». — Подразумеваются книжные новинки и номера столичных литературных журналов, которые Ремизов получал от литераторов из Москвы и Петербурга, находясь в ссылке. Почтовые бандероли проходили полицейскую цензуру и нередко задерживались. О подобном случае ареста присланных Ремизову книг, в частности по философии (А. Шопенгауэра, И. Канта, Ж.-М. Гюйо), см. в статье: *Соболев А. Л.* Северная ссылка Ремизова: уточнение нюансов // Соболев А. Л. Страннолюбский перебарщивает. Сконапель истоар. М., 2013. С. 178. (Летейская б-ка: очерки и материалы по рус. лит. века; [Т.] II).

С. 536. *Буроба* — персонаж сказки Ремизова «Зайка», сочиненный для маленькой дочери Наташи. *Буроба* — старуха с мешком, которая уносит в лес детей, не ложащихся спать. См.: *Докука и балагурье-РК II.* С. 72, а также авторский комм. на с. 174.

С. 539. *Гоэмон* — от *Goémon* (*фр.*) — морская водоросль.

С. 540. *При слоне ~ а хвост ерундовый...* — Мотив службы при слоне в произведениях Ремизова носил обычно комический характер, сопровождавшийся скрытым эротическим подтекстом, подразумевающим коннотацию хвост/фаллос. Ср. сюжет, связанный с героем романа «Пруд» — половым Митей-Прометеем, который занимал в Зоологическом саду «какую-то нечистую тяжелую должность при слоне... во время случки» (*Пруд-РК I.* М., 2000. С. 357; вторая редакция, 1908 г.).

...чуть разве Терещенок победнее... — Подразумевается семья Михаила Ивановича Терещенко (1886—1956), до революции имевшего значительные земельные наделы и сахарный завод. В 1912 г. он вместе с сестрами (Елизаветой и Пелагеей) финансировал и возглавил издательство «Сирин», в том же году выпустившее собрание сочинений Ремизова. После Февральской революции М. И. Терещенко занял пост министра финансов Временного правительства, затем (после отставки П. Н. Милюкова) стал министром иностранных дел. В 1917 г. он вместе с сестрами эмигрировал в Париж. Подробнее о нем см. во вступ.

ст. А. В. Лаврова к публикации «“Сирин” — дневниковая тетрадь А. Ремизова» (Алексей Ремизов: Исследования и материалы / Отв. ред. А. М. Грачева и А. д’Амелия. СПб.; Салерно, 2003. С. 229—232. (Europa Orientalis; Vol. 4).

С. 542. *Ксения Леонидовна* — Ксения Леонидовна Богуславская (1892—1972) — график, художник театра и прикладного искусства; жена И. А. Пуни; эмигрировала в 1919 г., в 1922 г. возглавляла контрольную комиссию в берлинском Доме Искусств, с 1924 г. жила вместе с мужем в Париже. Член вымышленного общества Цвофирзон.

Петр Петрович — Петр Петрович Сувчинский (1892—1985) — музыковед, публицист. Видный деятель евразийского движения, вместе с Д. П. Святополк-Мирским учредил издание ж. «Версты», который начал выходить с июля 1926 г. при ближайшем участи Ремизова.

Познеры — семья, с которой Ремизовы поддерживали дружеские отношения, установившиеся до эмиграции, в России. Глава семейства — Соломон Владимирович Познер (1880—1946) — журналист; историк западноевропейского и российского еврейства; в годы Гражданской войны работал в издательстве «Всемирная литература»; с 1922 г. жил в эмиграции; с 1923 г. переехал с семьей в Париж; в 1924—1934 гг. был секретарем Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции; в 1920-е гг. сотрудник парижской газеты «Последние новости». Его сын — Владимир Соломонович Познер (1905—1992) — писатель; начинал литературную деятельность в Петрограде в содружестве «Серапионовы братья»; весной 1921 г. уехал во Францию. Отец и сын Познеры были кавалерами Обезвелволпала.

С. 543. *...прадед мой — суздальский красильный мастер...* — Имеется в виду предок писателя по материнской линии — Егор Иванович Найденов. Ср. фрагмент автобиографии Ремизова 1913 г.: «Найденовы — владимирские, из села Батыева Суздальского уезда. В 1765 году прадед мой, крепостной крестьянин капитана Матюшкина, продан был московскому первой гильдии купцу и шелковых фабрик содержателю Панкрату Васильевичу Колосову и водворен на Москве за Земляным городом на Яузе в красильные мастера, походил в мастерах и свое дело завел: Колосовское дело кончилось, началось Найденовское, — в 1816 году уволен из мастеровых и причислен в московское купечество» (*Плачужная канава-РК IV*. С. 461—462).

С. 544. *«Pain fendu»* — французский деревенский хлеб.

Ситный хлеб — хлеб высокого качества, испеченный из просеянной через сито муки.

С. 545. *В Вербную за всенощной.* — Речь идет о церковной службе в Вербное воскресенье, предшествующее празднику Пасхи; по христианскому календарю, Вербное воскресенье соответствует дню, когда Христос вошел в Иерусалим.

С. 546. *...первый мой гонорар (за «Пруд»)...* — Очевидно, гонорар за публикацию романа «Пруд» (первая редакция) в ж. «Вопросы жизни» (1905. № 4/5—10/11).

«Ресепuce» — от récépissé (*фр.*) — вид на жительство.

...художник Пуни... — Иван Альбертович Пуни (1894—1956) — художник-авангардист, с которым Ремизов был знаком до эмиграции в Петрограде. Ремизов как писатель, для которого рисование являлось неотъемлемой частью литературного творчества, интересовался авангардистской идеей беспредметности изобразительного искусства, а также направлением «леттризма», разрабатываемым Пуни во второй половине 1910-х гг. В 1921—1923 гг. пути художника и писателя снова пересеклись в Берлине. В 1924 г. Пуни вместе с женой К. Л. Богуславской переехал в Париж. В 1925 г. в рижской газете «Слово» Ремизов опубликовал «сон» под названием «Jean Pougny» (№ 1. 11 нояб. С. 3). В дневнике 1956 г. Ремизов записал: «Иван Альбертович Пуни единственный из художников по-настоящему интересовался моими многомерными рисунками. Имя Пуни я стал знать с моим первым театром. Дед Пуни — автор балета “Конек-Горбунок”. “Конек-Горбунок” первое, что я видел в театре» (*Кодрянская 1959*. С. 98).

С. 549. *...долг Кирееву...* — Георгий Сильвестрович Киреев, знакомый Ремизова по Петербургу. См. о нем рассказ «Турка», впервые опубликованный в берлинском ж. «Эпопея» (1922. № 2. С. 84—90), а также: *Взвихренная Русь-РК V*. С. 61—65. После революции 1917 г. Киреев эмигрировал в Берлин, служил посыльным и переписчиком в издательстве «Русское творчество», затем, в 1922 г., он переселился в Париж и работал шофером; в октябре 1925 г. стал студентом Католического университета в Лувене (Бельгия). О денежном долге сохранилось письмо Киреева от 14 мая 1926 г., в котором он «с покорнейшей просьбой» просит писателя вернуть ему 300 франков, необходимые для оплаты обучения (Amherst. Box 4. Folder 5).

С. 551. *Clamart — Кламар* — предместье Парижа.

С. 554. *«Жамбон де Пари!»* — От Jambon de Paris (*фр.*) — парижская ветчина.

...какой-то шалый автомобиль налетел сзади... — Несчастный случай произошел с писателем 1 июля 1926 г. Об этом он писал в комментариях к письмам к С. П. Ремизовой-Довгелло, отдыхавшей в это время на океане: «Днем на остановке № 12 на Rue d'Auteuil наскочил на меня автомобиль и я упал на спину» (ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Л. 73). Имеется также подробное описание этого случая (см. с. 602—603 наст. тома).

...как пульчинелла... — *Пульчинелла* (*итал.* Pulcinella) — персонаж итальянской комедии дель арте.

С. 554. *Париж. 14-ое июля!* — Национальный праздник Франции — День взятия Бастилии (La Fête Nationale / Bastille Day), начало Великой Французской революции.

...много вызвано демонов: месть и кровавые. — Речь идет о жертвах революционного террора.

...образок: «St. Ange soyez mon guide!» — Об этой картонной иконке Ремизов упоминал в письме к С. П. Ремизовой-Довгелло от 27 июня (воскресенье). Несколько дней спустя, когда (1 июля) писателя сбил автомобиль, этот эпизод в церкви был расценен им как ангельское благословение и прокомментирован в позднейшей вставке, обозначенной квадратными скобками: «Сегодня скачки и в Париже пусто. В St. Sulpice почти никого. Только много детей. Поэтому я и получил “молитву” и образок: “Ангел хранитель, сохрани!” [Это было предзнаменование: надвигалась катастрофа у остановки № 25 <sic!> Rue d'Auteuil попаду под автомобиль и выйду из-под колес: ничего, только ссадины да от внезапности попархивает сердце]» (ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2).

С. 555. *...оклеены чайным серебром.* — Имеется в виду фольга от упаковок чая «Lyon's tea». Установлено по рукописи черновой редакции текста (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 6. Л. 1).

Зальцман — Илья Моисеевич Зальцман, парижский знакомый Ремизова.

С. 556. *В Тульчине, известном по Пушкину и декабристам... — Тульчин* — городок в Подольской губернии, известный тем, что в 1818 г. полковник штаба второй армии П. И. Пестель с другими революционно настроенными офицерами образовал здесь тайную организацию «Союз благоденствия» — впоследствии руководящий центр Южного общества декабристов, подготовивший восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. В 1821—1822 гг. в Тульчин несколько раз приезжал А. С. Пушкин. Упоминание города и имени декабриста см. в десятой главе романа «Евгений Онегин».

С. 557. *Ами* — от ami (*фр.*) — друг.

Белая медведь, серая море. ~ хотя нос мокрый.... — Измененная цитата из романа в стихах И. Л. Сельвинского «Пушторг», фрагменты которого публиковались в ж. «Новый мир» в 1927 г. Впервые полный текст этого произведения был опубликован отдельным изданием в 1929 г.

С. 558. *...цепь начата в день ~ и все будет хорошо и в доме благоприятно...* — Пародия на так называемые «письма счастья», традиция распространения которых по цепочке известна в мировой городской культуре со времен Средневековья. Подробнее см.: *Панченко А. А.* Ускользающий текст: пророчество и магическое письмо // Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура русских мистических сект. М., 2002. С. 341—353.

С. 558. *Стихи Сельвинского, а по почерку — Корнетов!* — Стихи Сельвинского из сборников: «Госплан литературы. Литературный центр конструктивистов» (М.; Л., [1924]) и «Мена всех. Поэты-конструктивисты» (М., 1924) — были опубликованы в первом номере парижского журнала «Версты» (1926) по инициативе Ремизова, принимавшего деятельное участие в организации и составлении этого периодического издания. Очевидно, писателю, живо интересовавшемуся творчеством современных литераторов в России, импонировали новаторские приемы молодого советского поэта-конструктивиста, опиравшегося на введение в художественный текст «живого» народного языка северных народов России — зырян. Ср. письмо редактора «Верст» Д. П. Святополк-Мирского, написанное незадолго до выхода первого номера журнала в печати: «Действительно, надо новых, и молодых, и никому не известных. Мы и так Вам благодарны за Сельвинского, которого Вы нам открыли...» («...С Вами беда — не перевести» // Диаспора. V. Париж; СПб., 2003. С. 339—346). Это личное отношение Ремизова сказалось в соотнесении Сельвинского и ремизовского вымышленного героя Корнетова, многими чертами ассоциированного с личностью самого писателя.

Мои рогатые и усатые игрушки, известные по всяким интервью... — См. комм. к с. 484.

С. 559. *...именно Будильников, литературная.* — Сюжет с Будильниковым содержит реальную подоплеку, связанную с именем французского писателя русского происхождения Жозефом Кесселем (1898—1979), бывавшем в квартире Ремизовых в доме «Villa Flore». В 1925 г. Кессель издал роман «Княжеские ночи», посвященный русской эмиграции в Париже, в одном из персонажей которого легко узнавался образ Ремизова и его дома с известной коллекцией игрушек. Такого рода литературный прагматизм болезненно был воспринят писателем и его женой. Подробнее см.: *Резникова Н. В.* Огненная память: Воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley, 1980. С. 89—91. См. также: *Грачева А. М.* Герой французского романа и его русский прототип: Алексей Ремизов в романе «Княжеские ночи» Ж. Кесселя // На рубеже двух столетий. М., 2009. С. 150—164.

Кокто — Жан Морис Эжен Клеман Кокто (Jean Maurice Eugéne Clèment Cocteau; 1889—1963) — французский писатель, поэт, драматург, художник и кинорежиссер, представитель французского авангарда.

С. 560. *Францис Жамм, автор «Заяшного романа» и «Вещей»...* — Речь идет о прозаических произведениях французского поэта-символиста (Francis Jammes; 1868—1938) — «Le roman du lièvre» (1903) и «Des choses» (1889), которые Ремизов, очевидно, впервые прочел в 1924 г., когда издательство «Mercure de France» выпустило в свет

четвертый том сочинений Жамма. Сохранился перевод фрагмента «Заяшного романа», выполненный С. П. Ремизовой-Довгелло: «Я очень хорошо помню, когда впервые открылось мне о страдании вещей. Мне было три года. В нашей родной деревушке мальчик, играя, упал на стеклянный черепок и умер от раны. Через несколько дней я пошел в дом этого мальчика. Его мать плакала в кухне. На печке стояла бедная игрушка. Я очень хорошо помню: это была оловянная или свинцовая лошадка, запряженная в маленькую белого железа бочку на колесах. Мать мне сказала: “Это повозка моего несчастного Луи, хочешь, я тебе ее дам?” Тогда поток нежности затопил мое сердце. Я почувствовал, что у этой игрушки больше нет друга и хозяина и что от этого она страдает. Я принял эту лошадку с бочонком» (ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2).

С. 561. *Мерлин* — Merlin (*англ.*), мудрец и волшебник кельтских мифов, в британском цикле легенд — наставник короля Артура и его отца Утера. См. подробнее: *Комаринец А.* Энциклопедия короля Артура и рыцарей Круглого Стола. М., 2001. С. 278—284.

Из Варшавы меня извещали... — Подразумевается корреспондент Ремизова — Сергей Юлианович Кулаковский (Kułakowski Sergiusz; 1892—1949) — переводчик, литературный критик, историк русской литературы, который с 1926 г. был доцентом Польского свободного народного университета в Варшаве. Речь идет о письме, датированном 29 июля 1928 г., упоминание о котором встречается в собрании писем Ремизова к С. П. Ремизовой-Довгелло (ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Тетрадь писем в Роскофф. Л. 34).

Яносик — также Яношик, персонаж венгерских, чешских и польских легенд, называемый карпатским Робин Гудом, прототипом которого был реальный человек.

Татрский Рюбецаль — Rübezahl (*нем.*), горный дух, воплощение непогоды и обвалов. *Татры* — наивысшая горная часть Карпатских гор, расположенных на территории Словакии и Польши.

Мавки — славянские мифические существа. По ряду волшебных признаков близки русалкам, карпато-украинским «лесным паннам» или горным женским духам.

С. 562. *...чудо в Калабрии, сообщают из Козенцы: «в общине Бокильера на весеннего Николу...* — Речь идет о деревенском празднике в Боккильеро (Bocchigliero), коммуне итальянского региона Калабрия (Calabria), подчиненной административному центру Козенца (Cosenza). Покровителем этих мест считается святой Николай, день памяти которого отмечается 21 августа. Однако день Николы Вешнего (Весеннего) — 22 мая — существует лишь в церковном календаре восточных славян.

...раза два в месяц по субботам над нашей квартирой устраиваются цыганские представления... — Реалия бытовой жизни писателя

1928 г. Ср. письмо Ремизова жене от 21 июля 1928 г.: «Наверху, деточка, играют и поют цыганские песни. Весь день занимаюсь» (ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Письма 1928 г.; письмо № 130).

С. 563. — *...о «конце», который я почувствовал, не как провал в дыру по-толстовски...* — «Черная дыра» — метафора, обозначающая переход от жизни к смерти в рассказе «Жизнь Ивана Ильича». Ср.: «Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавила ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то» (*Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 22 т. Т. 12. М., 1982. С. 106).

...как взлет и восхождение по «лестнице»... — Подразумевается «лестница Иакова», символизирующая путь духовного восхождения. Ср. видение ветхозаветного пророка Иакова (Быт 28: 12—15).

С. 564. *Супо* — французский писатель, поэт Филипп Супо (Philippe Soupault; 1897—1990), один из основателей дадаизма и сюрреализма.

Marchand des diamants! — Торговец алмазами! (*фр.*)

С. 565. *Бику* — имя реального бретонского мальчика, с которым писатель познакомился в 1924 г. в Бретани. Летний отдых Ремизовых на вилле мадам Флёри продолжался в течение многих лет, до 1939 г., так что в домашнем архиве писателя сохранились фотографии подросшего Бику.

...очутился среди камней-менгиров и дольменов — священных камней друид. — Речь идет о кельтских жрецах и прорицателях — друидах, населявших территорию современной Бретани, первые упоминания о которых встречаются в античных источниках (III в. н. э.). О культе камней древних кельтов свидетельствуют многочисленные памятники, сооруженные из блоков дикого камня — мегалитов и сохранившиеся на территории Южной Англии и на прибрежных равнинах французской Бретани, в частности, вокруг деревни Кльон-сюр-Мер (La Clion-sur-Mer), где проводили лето Ремизовы. Возраст этих культовых строений ученые относят к бронзовому веку. Среди мегалитов выделяют такие сооружения, как менгиры — большие до 4—5 метров высотой, продолговатые неотесанные камни, поставленные вертикально, по-видимому служившие памятными стелами или идолами, а также дольмены, представляющие собой гробницы, сложенные из каменных глыб, в виде каменного стола или укрытия. Подробнее об учении друидов и культе камней см.: *Широкова Н.* Мифы кельтских народов. М., 2004. С. 39—107.

Памятники ставились не для мертвых, а ради живых! — Философия друидов основывалась на вере в бессмертие души.

...кориганы — духи, служили друидам... — *Корриганы* — представители низшей кельтской мифологии, духи родников и источников, обитающие под землей, рядом с дольменами — сакральными сооружениями общин друидов.

С. 566. *Барбазон* — персонаж французских народных сказок.

С. 568. *И кориганы ~ все стриженные.* — Шуточное искажение подлинной внешности корриганов. Особенность этих духов состояла в том, что они ночью принимали образы прекрасных женщин в белых одеждах с длинными волосами, опасных для мужчин. Днем их юная красота оборачивается уродливой дряхлостью старух.

Карнак — Carnak — деревня в Бретани, в окрестностях которой сохранилось крупнейшее в мире скопление кельтских менгиров и дольменов.

Бику знает про «ворону и лисицу»... — Подразумевается одноименная басня Ж. де Лафонтена.

...Броселиандский лес, там спит зачарован Мерлин. — Brocéliande (*фр.*) — мифологический топоним средневековых легенд о рыцарях Круглого Стола, короле Артуре и его учителе Мерлине. Прототипом этого сказочного леса стал бретонский лесной массив, расположенный под деревней Пемпон (Paimpont). Поклонники цикла легенд о короле Артуре ассоциируют природные достопримечательности Пемпонского леса с ключевыми сюжетами любимых сказаний. В частности, один из сохранившихся там менгиров считается склепом волшебника Мерлина (Tombeau de Merlin), жившего и умершего в Броселианде. По преданию, могила Мерлина открывает ворота в другой мир. См. также: *Комаринец А.* Энциклопедия короля Артура и рыцарей Круглого Стола. С. 63.

С. 569. *... это как Египет — та же память: и там и тут Карнак, и бык, и солнце, и «мудрость».* — Сопоставление двух древних культур, имевших сходные обряды и символы, связанные с представлениями о бессмертии души. *Карнак* в Египте (Karnak) — деревня, расположенная на территории древних Фив, известная грандиозным храмовым комплексом царя Амона-ра. На протяжении всей эры Нового Царства Карнакский храм, строительство которого было начато в XX в. до н. э., являлся средоточием религиозно-культовой жизни Египта, выполняя функцию главного святилища. Название египетского Карнака созвучно названию бретонской коммуны (Carnak), также культового места древних кельтов. Бык в символике обеих культур считался священным животным; это ключевой символ космогонических мифов Египта, наравне с символами солнца и луны. О генезисе учения кельтских друидов о бессмертии, восходящего к символике древних египетских гробниц, с символическим изображением солнца, см.: *Роллестон Т.* Мифы, легенды и предания кельтов / Пер. с англ. Е. В. Глушко. М., 2004. С. 28—32. О значении символов быка в египетской и кельтской религии см.: *Широкова Н.* Мифы кельтских народов. С. 162—164.

...последнего бретонского короля Соломона. — Один из королей Бретани Саломон (Salamun; 857—874); был убит бретонцами — Пасккветеном, графом города Ванна, и Гурваном, графом Ренна.

С. 569. *«Le magasin pittoresque»* — богато иллюстрированный французский журнал, издававшийся с 1833 по 1838 г. Эдуардом Шартоном (Édouard Charton) как популярная энциклопедия по вопросам науки, истории и искусства.

С. 570. *...сидит старик, похож на Тагора...*— Рабиндранат Тагор (1861—1941) — индийский писатель, поэт, нобелевский лауреат 1913 г.; композитор, художник, общественный деятель. Возможно, колоритный образ Тагора возник в связи с сообщениями в эмигрантской периодической печати о том, что заболевший писатель с ноября 1924 г. по январь 1925 г. поправлял здоровье в Буэнос-Айресе, на вилле Виктории Окампо — известной аргентинской писательницы, которая также была дружна с И. Стравинским, упомянутым в книге «По карнизам». Фотография Тагора и Окампо помещалась в парижских газетах зимой 1924/1925 г.

С. 571. *Вандея* — один из департаментов земли Луары, на западе Франции, образованный во время Великой Французской революции в 1790 г.

Отокар — от autocar (*фр.*), автобус.

С. 572. *...камень Марка Пен-Рюз...* — Возможно, подразумевается скалистый мыс Pointe du Raz (Пуэнт-дю-Ра), расположенный на береговой линии Атлантического океана между началом Ла-Манша и Бискайским заливом. Ср.: «Мы мечтали пройти освященные дороги до “крайнего камня” — Point de Raz <...> по многим дорогам я прошел за эти годы, побывал и на “крайнем камне”. Наши мечты были ярче и они живы в Морисе, который вспоминает мои рассказы о Броселианском лесе, о Мерлине, о каменном поле Карнака и о девяти друидессах острова Сен» (*Учитель музыки-РК IX*. С. 270—271). Эту ландшафтную достопримечательность Бретани Ремизов связывает с именем короля Марка Корноуллского — персонажа легенды о Тристане и Изольде, которая имела распространение в бретонском фольклоре. О короле Марке см.: *Комаринец А*. Энциклопедия короля Артура и рыцарей Круглого Стола. С. 270—275.

...фея Арма посылает кориганов... — Один из сюжетов бретонских легенд.

«Стоглав» — Сборник решений Стоглавого собора 1551 г., состоящий из 100 глав, содержанием которых являются уложения, законы и разъяснения по религиозно-церковным и государственно-экономическим темам.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Архивохранилища

ГАРФ — Федеральное казенное учреждение «Государственный архив Российской Федерации» (Москва).

ГЛМ — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный литературный музей». Отдел фондов рукописей. (Москва).

ИРЛИ — Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук». Рукописный отдел. Литературный музей (Санкт-Петербург).

ОГКУ ГАКО — Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Костромской области» (Кострома).

РГАЛИ — Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив литературы и искусства» (Москва).

РГБ — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека». Научно-исследовательский отдел рукописей (Москва).

РНБ — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека». Отдел рукописей (Санкт-Петербург).

Amherst — Центр Русской культуры Амхерст-Колледжа (США). Архив А. Ремизова и С. Ремизовой-Довгелло (Amherst College Center for Russian Culture (USA). «Alexei Remizov and Serafima Remizova-Dovgello Papers»).

Печатные издания

Волшебный мир Алексея Ремизова— «Волшебный мир Алексея Ремизова». Каталог выставки. СПб.: Хронограф, 1992.

Взвихренная Русь — Ремизов А. Взвихренная Русь. Париж: ТАИР, 1927.

Кодрянская 1959 — Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, [1959].

Лица — Грачева А. М. Революционер Алексей Ремизов: миф и реальность // Лица. Биографический альманах. Вып. 3. М.; СПб., 1993. С. 419—447.

ЛН — Литературное наследство.

РК I-X — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. М.: Русская книга, 2000—2003:

Пруд-РК I — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. Т. I: Пруд. М.: Русская книга, 2000.

Докука и балагурье-РК II — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. Т. II: Докука и балагурье. М.: Русская книга, 2000.

Оказион-РК III — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. Т. III: Оказион. М.: Русская книга, 2000.

Плачужная канава-РК IV — *Ремизов А. М.* Собр. соч.: В 10 т. Т. IV: Плачужная канава. М.: Русская книга, 2001.

Взвихренная Русь-РК V — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. Т. V: Взвихренная Русь. М.: Русская книга, 2000.

Лимонарь-РК VI — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. Т. VI: Лимонарь. М.: Русская книга, 2001.

Ахру-РК VII — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. Т. VII: Ахру. М.: Русская книга, 2002.

Иверень-РК VIII — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. Т. VIII: Иверень. М.: Русская книга, 2000.

Учитель музыки-РК IX — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. Т. IX: Учитель музыки. М.: Русская книга. 2002.

Петербургский буерак-РК X — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. Т. X: Учитель музыки. М.: Русская книга, 2003.

Сирин 1—8 — Ремизов А. Соч.: В 8 т. СПб.: Сирин, 1910—1912.

Толковый словарь В. И. Даля I—IV — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I—IV. М.: Русский язык, 1978—1980.

Фрагменты-Нилендер — Гераклит Ефесский. Фрагменты / Пер. В. Нилендера. М.: Мусагет, 1910.

Чертов лог и Полунощное солнце — Ремизов А. М. Чертов лог и полунощное солнце. Рассказы и поэмы. СПб.: EOS, 1908.

Шиповник 1—8 — Ремизов А. Соч.: В 8 т. СПб.: Шиповник, [1910—1912].

Diels — Diels H. Heraklitos von Ephesos. 2 Aufl. Berlin, 1909.

СОДЕРЖАНИЕ

В оформлении шмуцтитулов, обложки и форзаца использованы архивные источники из фонда А. М. Ремизова в Рукописном Отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН: документы писателя периода 1915—1917 гг.; лист из автографа романа «Плачужная канава» (1917); рисунки Ремизова из графического альбома «Именинный графический полупряник Тырло. 550 снов. 1933—1937»; автоиллюстрация к роману «Взвихренная Русь» — «Ленин»

Научное издание

А. М. Ремизов
ЗГА

Собрание сочинений
Том 11

Научный редактор тома *А. М. Грачева*

Редактор *А. П. Дмитриев*
Компьютерная верстка *С. В. Степанова*
Художественное оформление *С. А. Гавриловой*

Формат 60 × 88 $^{1}/_{16}$. Гарнитура Петербург. Изд. л. 49,5.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 2000 экз.
Заказ № 3541.

ООО «Издательство «Росток»
E-mail: rostokbooks@yandex.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: 8–921–937–98–70

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, В. О., 9-я линия, 12

доктору.

Вы представляете, что почувствовала Маша при всей её болезненной мнительности. Как еще она ~~совсем~~ не отдала[ся] [illegible] чего-нибудь? Или от неожиданности?

И когда она все сообразила и в душе ее не осталось и тени чувства к нему и она уехала к отцу

И тут вот, живя у отца, она впервые почувствовала, что сердце у нее что-то ~~не~~ болит: она его чувствовала и тоска в той мере ~~[illegible]~~ находила тяжелая — [illegible] [illegible].

× 3

Маша пересмотрела все, что было в приемной.

Приемная, как у всех, показная, „для всех": мебель под красное дерево и картина в рамах — зимний закат.

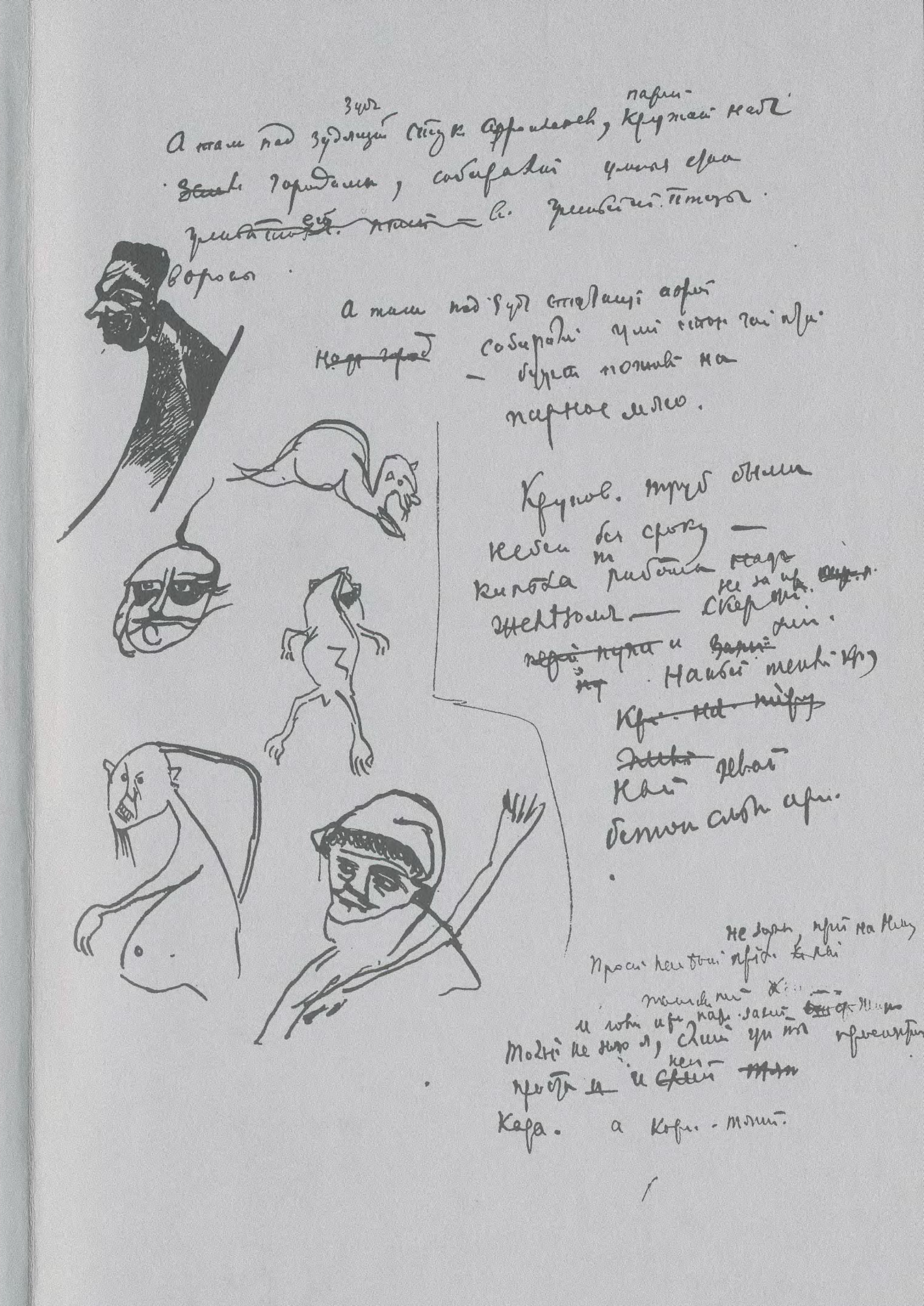
А на столе журналы с картинками.

Маша подумала:

« Как на [illegible], все надо сказать, безделушки!

И [illegible] [illegible], стала в уголок.

Про отца ей нечего рассказывать — худого ничего она не видела, [illegible]: они только и жили для нее. ~~Только~~ По ~~она~~ [illegible] не похожа на отца, она вся сама по себе: в нем, она не знает откуда это, много покорности и уступчивости, а в ней та гордость, в которой [illegible] мало чего понимать, и даже осуждать, а гордость ее заключалась в том, что она, любила ~~[illegible]~~ свое настоящее, чему верила, и это веру свою так не могла дать на растоптание, ни за что. Это любовная и крепость в своем высшем в вере своей и отдала ее и гордой и крепкой. И только теперь пала на нее тень — ее разочарование в замужестве своем, как ошиблась она!





По выборамъ въ Учредительное Собранiе.

№ 7949

УДОСТОВѢРЕНIЕ

Дано сiе избирателю (фамилiя, имя, отчество) Ремизову Алексѣю Михайловичу 40а

жительствующему 14 линiя ул., д. № 31

кв. № 48, по общему избирательному участку за № 74 на право участiя въ избранiи Членовъ въ Учредительное Собранiе по гор. Петрограду.

Припечатанная къ сему удостовѣренiю фотографiя принадлежитъ:

Фамилiя Ремизову

Имя и Отч. Алексѣю Михайловичу

Званiе лич. почетный гражданинъ

Вѣроисповѣданiе православнаго

Годъ рожденiя 1877 г.

Мѣсто службы, или родъ занятiй литераторъ

Проживающему: Рождественской ч. 3 уч. Таврическая, 7 кв. 23

Дѣйствительно имѣющему надобность неоднократно ѣздить въ ближнюю Финляндiю.

Въ чемъ своеручною подписью удостовѣряю.

№ 14107

„15“ VI 1915 г.

Примѣчанiе: Гербовая печать должна захватывать край фотографiи.